



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

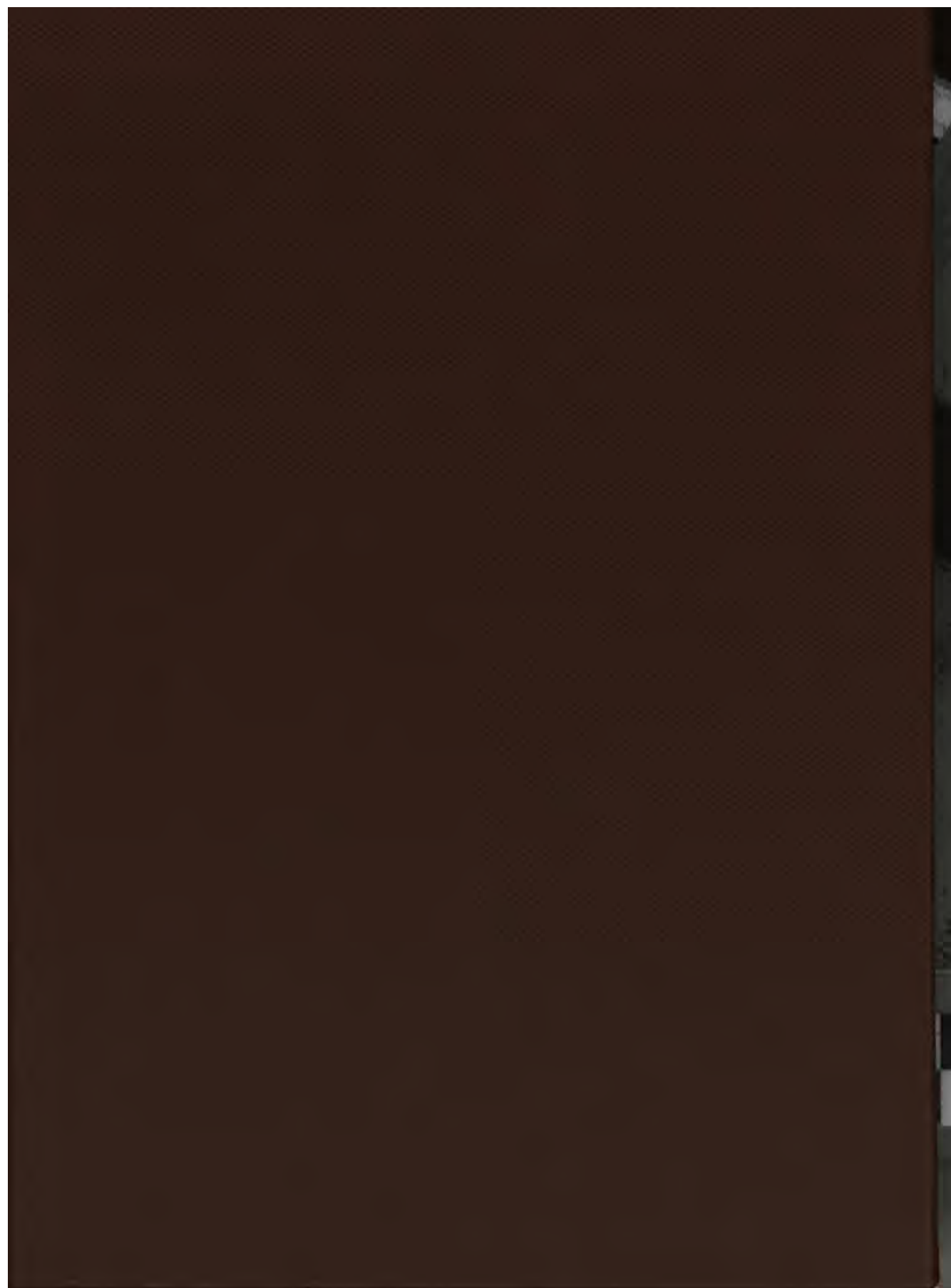
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

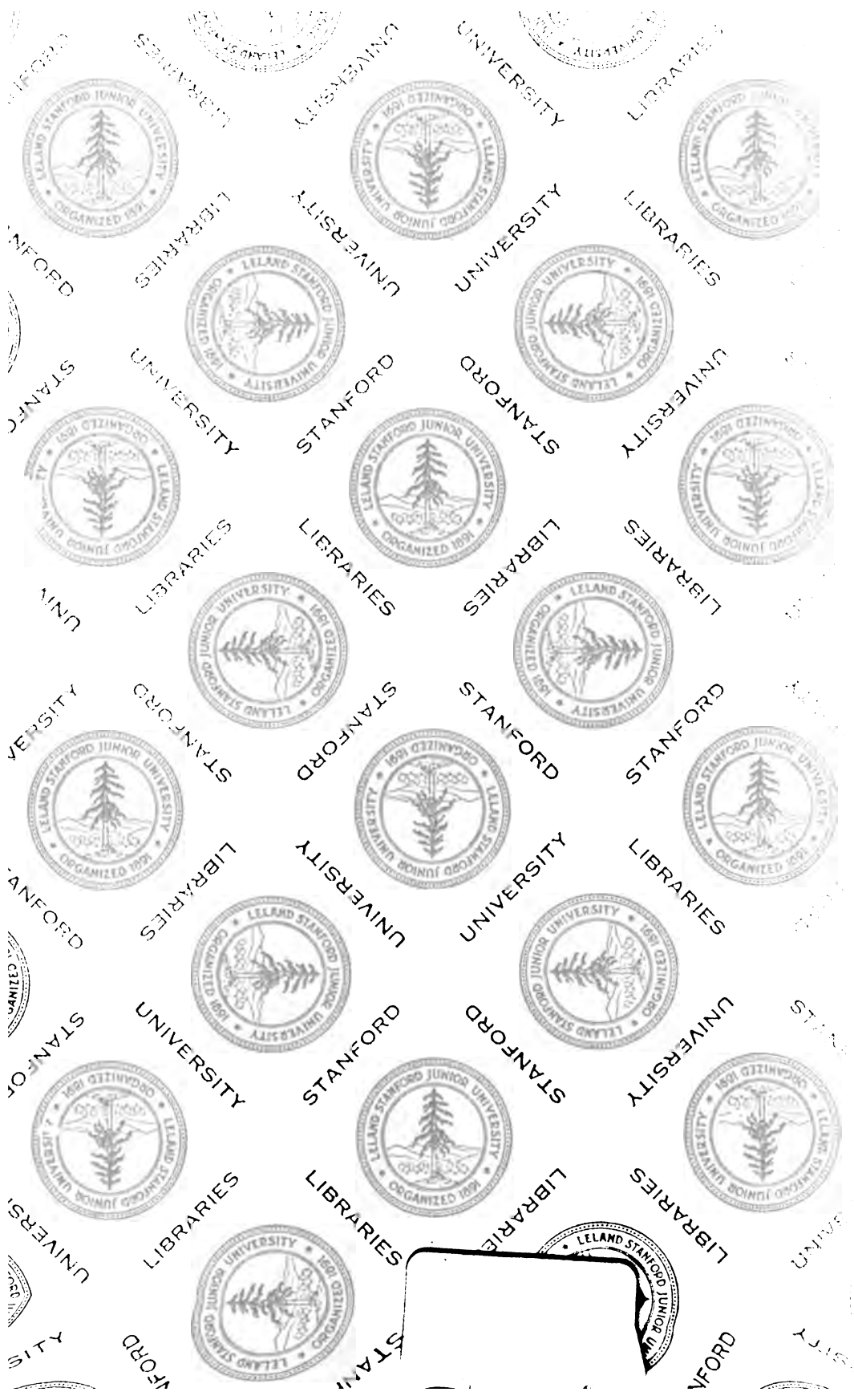
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>







~~pryo~~

Sipovskii, V.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТІЯ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

Составилъ В. В. СИПОВСКІЙ.

III, вып. 2-й: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 40—60-хъ годовъ XIX в.

Л. ТОЛСТОЙ и Ф. ДОСТОЕВСКІЙ.

ПРИМѢНИТЕЛЬНО КЪ „ИСТОРИИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ“
ТОГО ЖЕ АВТОРА Ч. III, вып. 2-ой.

Изданіе въ выпускахъ.

*Допущено Ученымъ Комит. Мин. Нар. Просв. въ качествѣ учебнаго пособія
въ среднеучебныя заведенія Мин. Нар. Просв.; вслѣдствіе такого постано-
вленія книга эта допускается и въ учебн. завед. Вѣд. Императрицы Маріи
Феодоровны и учебн. заведенія Мин. Торговли и Промышленности.*

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ Бр. БАШМАКОВЫХЪ.
1905.

2

Титулъ и оглавленіе напечатаны въ типографіи Спб. Т-ва Печ. и Изд. дѣла „Трудъ“.
Фонтанка 86.

Текстъ напечатанъ въ типографіи Т-ва М. О. Вольфъ. Вас. Остр., 16 линія. № 5—7.

Оглавление.

	СТРАН.
Л. Толстой	269—455
„ДѢТСТВО И ОТРОЧЕСТВО“	269
„ВОЙНА И МИРЪ“	309
Ф. Достоевскій	456—581
„УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ“	456
„ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ“	511

VIII.

ДѢТСТВО И ОТРОЧЕСТВО.

Учитель Карлъ Ивановичъ. 12-го августа 18... ровно въ третій день послѣ дня моего рожденія, въ который мнѣ минуло дсять лѣтъ и въ который я получилъ такіе чудесные подарки, въ 7 часовъ утра, Карлъ Ивановичъ разбудилъ меня, ударивъ надъ самой моею головою хлопнушкой — изъ сахарной бумаги на палкѣ—по мухѣ. Онъ сдѣлалъ это такъ неловко, что задѣлъ образокъ моего ангела, висѣвшій на дубовой спинкѣ кровати, и что убитая муха упала мнѣ прямо на голову. Я высунулъ носъ изъ-подъ одѣяла, остановилъ рукою образокъ, который продолжалъ качаться, скинулъ убитую муху на полъ и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинулъ Карла Ивановича. Онъ-же, въ пестромъ ваточномъ халатѣ, подпоясанномъ поясомъ изъ той-же матеріи, въ красной вязаной ермолкѣ съ кисточкой и въ мягкихъ козловыхъ сапогахъ, продолжалъ ходить около стѣнъ, прищелкиваться и хлопать.

„Положимъ, — думалъ я, — я маленькій, но зачѣмъ онъ тревожитъ меня? Отчего онъ не бьетъ мухъ около Володиной постели? вонъ ихъ сколько! Иѣтъ, Володя старше меня, а я меньше всѣхъ, оттого онъ меня и мучить. Только о томъ и думаетъ всю жизнь,—прошенталъ я,—какъ-бы мнѣ дѣлать непріятности. Онъ очень хорошо видитъ, что разбудилъ и испугалъ меня, но выказываетъ какъ будто не замѣчаетъ... противный человѣкъ! И халатъ, и шапочка, и кисточка—какіе противные!

— „Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal,—крикнулъ онъ добрымъ, нѣмецкимъ голосомъ, потомъ подошелъ ко мнѣ, сѣлъ у ногъ и досталъ изъ кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карлъ Ивановичъ сначала понюхалъ, утеръ носъ, щелкнулъ пальцами и тогда только принялся за меня. Онъ, посмѣиваясь, началъ щекотать мои пятки. — Nun, nun, Faulenzer“,—говорилъ онъ.

Какъ я ни боялся щекотки, я не вскочилъ съ постели и не отвѣчалъ ему, а только глубже запряталъ голову подъ подушки, изо всѣхъ силъ брыкалъ ногами и употреблялъ всѣ старанія удержаться отъ смѣха.

— „Какой онъ добрый и какъ насъ любить, а я могъ такъ дурно о немъ думать!“

Мнѣ было досадно и на самого себя и на Карла Ивановича, хотѣлось смѣяться и хотѣлось плакать; нервы были разстроены.

— „Ach, lassen sie, Карлъ Ивановичъ!“—закричалъ я со слезами на глазахъ, высовывая голову изъ-подъ подушекъ.

Карлъ Ивановичъ удивился, оставилъ въ покоѣ мои подошвы и съ безпокойствомъ сталъ спрашивать меня: о чемъ я? не видѣлъ-ли я чего дурного во снѣ?.. Его доброе, нѣмецкое лицо, участіе, съ которымъ онъ старался угадать причину моихъ слезъ, заставляли ихъ течъ еще обильнѣе: мнѣ было совѣстно и я не понималъ, какъ за минуту передъ тѣмъ я могъ не любить Карла Ивановича и находить противными его халатъ, шапочку и висточку; теперь, напротивъ, все это казалось чрезвычайно милымъ, и даже висточка казалась явнымъ доказательствомъ его доброты. Я сказалъ ему, что плачу оттого, что видѣлъ дурной сонъ—будто мама умерла и ее несутъ хоронить. Все это я выдумалъ, потому что рѣшительно не помнилъ, что мнѣ спилось въ эту ночь; но когда Карлъ Ивановичъ, тронутый моимъ рассказомъ, сталъ утѣшать и успокаивать меня, мнѣ казалось, что я точно видѣлъ этотъ страшный сонъ и слезы полились уже отъ другой причины.

Карлъ Ивановичъ, съ очками на носу и книгой въ рукѣ, сидѣлъ на своемъ обычномъ мѣстѣ, между дверью и окошкомъ. Надѣво отъ двери были двѣ полочки: одна—наша, дѣтская, другая—Карла Ивановича, *собственная*. Коллекція книгъ на *собственной* если не была такъ велика, какъ на нашей, то была еще разнообразнѣе. Я помню изъ нихъ три: нѣмецкую брошюру объ уваживаніи огородовъ подъ капусту — безъ переплета, одинъ томъ исторіи семилѣтней войны—въ пергаментѣ, прожженномъ съ одного угла, и полный курсъ гидростатики. Карлъ Ивановичъ большую часть своего времени проводилъ за чтеніемъ, даже испортилъ имъ свое зрѣніе; но кромѣ этихъ книгъ и „Сѣверной Пчелы“ онъ ничего не читалъ.

Какъ теперь вижу я передъ собой длинную фигуру въ ваточномъ халатѣ и въ красной шапочкѣ, изъ-подъ которой виднѣются рѣдкіе сѣдые волосы. Онъ сидитъ подлѣ столика, на которомъ стоитъ кружокъ съ парикмахеромъ, бросавшимъ тѣнь на его лицо; въ одной рукѣ онъ держитъ книгу, другая покинута на ручкѣ креселъ; подлѣ него лежатъ часы съ нарисованнымъ егеремъ на циферблатѣ, клѣтчатый платокъ, черная круглая табакерка; зеленый футляръ для очковъ, щипцы на лоточкѣ. Все это такъ чинно, аккуратно лежитъ на своемъ мѣстѣ, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совѣсть чиста и душа покойна.

Бывало, какъ до-сыта набѣгаешься внизу по залѣ, на цыпочкахъ прокрадешься наверхъ, въ классную, смотришь—Карлъ Ивановичъ сидитъ себѣ одинъ на своемъ креслѣ и съ спокойною величавымъ выраженіемъ читаетъ какую-нибудь изъ своихъ любимыхъ книгъ. Иногда я заставлялъ его и въ такія минуты, когда онъ не читалъ: очки спускались ниже на большомъ орлиномъ носу; голубые, полузакрытые глаза смотрѣли съ какимъ-то осо-

бенимъ выраженіемъ, а губы грустно улыбались. Въ комнатѣ тихо; только слышно его равномерное дыханіе и бой часовъ съ егеремъ.

Бывало онъ меня не замѣчаетъ, а я стою у двери и думаю: бѣдный, бѣдный старикъ! Насъ много, мы играемъ, намъ весело, а онъ—одинокъ-нешенекъ и никто-то его не приласкаетъ. Правду онъ говоритъ, что онъ сирота. И исторія его жизни какая ужасная! я помню, какъ онъ рассказывалъ ее Николаю—ужасно быть въ его положеніи! И такъ жалко станеть, что бывало подойдешь къ нему, возьмешь за руку и скажешь: „lieber Карлъ Иванычъ!“ Онъ любилъ, когда я ему говорилъ такъ; всегда приласкаетъ и видно, что растроганъ.

На другой стѣнѣ висѣли ландкарты, всѣ почти изорванныя, но искусно подклеенныя рукою Карла Иваныча. На третьей стѣнѣ, въ серединѣ которой была дверь внизъ, съ одной стороны висѣли двѣ линейки: одна—изрѣзанная, наша; другая — новенькая, *собственная*, употребляемая имъ болѣе для поощренія, чѣмъ для линеванія; съ другой — черная доска, на которой кружками отмѣчались наши большіе проступки и крестиками — маленькіе. Надѣво отъ доски былъ уголъ, въ который насъ ставили на колѣни.

Какъ мнѣ памятенъ этотъ уголъ! Помню заслонку въ печи, отдушникъ въ этой заслонкѣ и шумъ, который онъ производилъ, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь въ углу, такъ что колѣни и спина заболятъ, и думаешь: забылъ про меня Карлъ Иванычъ: ему, должно быть, покойно сидѣть на мягкомъ крестѣ и читать свою гидростатику,—а каково мнѣ? и начнешь, чтобы напомнить о себѣ, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штубатурку со стѣны; но если вдругъ упадетъ съ шумомъ слишкомъ большой кусокъ на землю, право, одинъ страхъ хуже всякаго наказанія. Оглянешься на Карла Иваныча,—а онъ сидитъ себѣ съ книгой въ рукѣ и какъ будто ничего не замѣчаетъ.

Мать. Такъ много возникаетъ воспоминаній прошедшаго, когда стараешься воскресить въ воображеніи черты любимаго существа, что сквозь эти воспоминанія, какъ сквозь слезы, смутно видишь ихъ. Это слезы воображенія. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какою она была въ это время, мнѣ представляются только ея каріе глаза, выражающіе всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шеѣ, немного ниже того мѣста, гдѣ вьются маленькіе волосики, шитый бѣлый воротничекъ, нѣжная сухая рука, которая такъ часто меня ласкала и которую я такъ часто цѣловалъ; но общее выраженіе ускользаетъ отъ меня.

Когда матушка улыбалась—какъ ни хорошо было ея лицо—оно дѣлалось несравненно лучше и кругомъ все какъ-будто веселѣло. Если-бы въ тяжелыя минуты жизни я хоть мелькомъ могъ видѣть эту улыбку, я бы не зналъ, что такое горе. Мнѣ кажется, что въ одной улыбкѣ состоитъ то, что называютъ красотою лица: если улыбка прибавляетъ прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не измѣняетъ его, то оно обыкновенно; если она портитъ его, то оно дурно.

Замѣтія. [Отецъ заявилъ, что оба сына скоро поѣдутъ учиться въ го-

родъ. Карлъ Ивановичъ, чувствуя, что его роль кончается, почувствовать... себя лишнимъ и обиженнымъ].

— „И двѣнадцать лѣтъ живу въ этомъ домѣ и могу сказать передъ Богомъ, Николай, — продолжалъ Карлъ Ивановичъ, поднимая глаза и табакерку къ потолку, — что я ихъ любилъ и занимался ими больше, чѣмъ ежели-бы это были мои собственныя дѣти. Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, какъ я девять дней, не смыкая глазъ, сидѣлъ у его постели. Да! тогда я былъ добрый, милый Карлъ Ивановичъ, тогда я былъ нуженъ; а теперь, — прибавилъ онъ, иронически улыбаясь, — теперь *дети большія стали: имъ надо серьезно учиться*. Точно они здѣсь не учатся, Николай?“ — „Какъ-же еще учиться, кажется,“ — сказалъ Николай, положивъ шило и протягивая обѣими руками драгвы. — „Да, теперь я не нуженъ сталъ, меня и надо прогнать; а гдѣ обѣщанія? гдѣ благодарность?“ — Наталью Николаевну я уважаю и люблю, Николай, — сказалъ онъ, прикладывая руку къ груди, — да что она?.. ея воля въ этомъ домѣ все равно, что вотъ это, — при этомъ онъ съ выразительнымъ жестомъ кинулъ на полъ обрѣзокъ кожи. — Я знаю, чѣмъ это шулки и отчего я сталъ не нуженъ: оттого, что я не льщу и не потакаю во всемъ, какъ *иные люди*. Я привыкъ всегда и передъ всѣми говорить правду, — сказалъ онъ гордо. — Богъ съ ними! Оттого, что меня не будетъ, они не разбогачатся, а я, Богъ милостивъ, найду себѣ кусокъ хлѣба... не такъ-ли, Николай?“

Николай поднялъ голову и посмотрѣлъ на Карла Ивановича такъ, какъ будто желая удостовѣриться, дѣйствительно-ли можетъ онъ найти кусокъ хлѣба, — но ничего не сказалъ.

Много и долго говорилъ въ этомъ духѣ Карлъ Ивановичъ: говорилъ о томъ, какъ лучше умѣли цѣнить его заслуги у какого-то генерала, гдѣ онъ прежде жилъ (мнѣ очень больно было это слышать), говорилъ о Саксоніи, о своихъ родителяхъ, о другѣ своемъ портномъ Schönheit и т. д., и т. д.

Я сочувствовалъ его горю, и мнѣ больно было, что отецъ и Карлъ Ивановичъ, которыхъ я почти одинаково любилъ, не поняли другъ друга; я опять отправился въ уголь, сѣлъ на пятки и разсуждалъ о томъ, какъ-бы возстановить между ними согласіе.

Вернувшись въ классную, Карлъ Ивановичъ велѣлъ мнѣ встать и приготовить тетрадь для писанія подъ диктовку. Когда все было готово, онъ величественно опустился въ свое кресло и голосомъ, который, казалось, выходилъ изъ какой-то глубины, началъ диктовать слѣдующее: Von allen Leiden-schaft-en, die grau-samste ist... „haben sie geschrieben?“ Здѣсь онъ остановился, медленно понюхалъ табакъ и продолжалъ съ новой силой: „die grausamste ist die Undank-bar-keit... „Ein grosses U.“ Въ ожиданіи продолженія, написавъ послѣднее слово, я посмотрѣлъ на него.

— „Punctum“, — сказалъ онъ съ едва замѣтной улыбкой и сдѣлалъ знакъ, чтобы мы подали ему тетради.

Нѣсколько разъ, съ различными интонаціями и съ выраженіемъ величайшаго удовольствія, прочелъ онъ это изреченіе, выражавшее его задушевленную мысль; потомъ задалъ намъ урокъ изъ исторіи и сѣлъ у окна. Лицо

его не было угрюмо какъ прежде; оно выражало довольство человѣка, достойно отмстившаго за нанесенную ему обиду.

Юродивый. Въ комнату вошелъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, съ блѣднымъ, изрытымъ оспою, продолговатымъ лицомъ, длинными сѣдыми волосами и рѣдкой рыжеватой бородкой. Онъ былъ такого большого роста, что для того, чтобы пройти въ дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всѣмъ тѣломъ. На немъ было надѣто что-то изорванное, кохоее на кафтанъ и на подрясникъ; въ рукѣ онъ держалъ огромный посохъ. Войдя въ комнату, онъ изъ всѣхъ силъ стукнулъ имъ по полу и, скрививъ брови и чрезмѣрно раскрывъ ротъ, захохоталъ самымъ страшнымъ и неестественнымъ образомъ. Онъ былъ кривъ на одинъ глазъ и бѣлый зрачокъ этого глаза прыгалъ безпрестанно и придавалъ его, и безъ того некрасивому лицу, еще болѣе отвратительное выраженіе.

— „Ага! попались! — закричалъ онъ, маленькими шажками подбѣгая къ Володѣ, схватилъ его за голову и началъ тщательно разсматривать его макушку, потомъ съ совершенно серьезнымъ выраженіемъ отошелъ отъ него, подошелъ къ столу и началъ дуть подъ клеенку и крестить ее. — О-охъ жалко! о-охъ больно!.. сердечные... улетятъ“, — заговорилъ онъ потомъ дрожащимъ отъ слезъ голосомъ, съ чувствомъ всматриваясь въ Володю, и сталъ утирать рукавомъ дѣйствительно падавшія слезы.

Голосъ его былъ грубъ и хриплъ, движенія торопливы и неровны, рѣчь бессмысленна и несвязна (онъ никогда не употреблялъ мѣстоименій), но ударенія такъ трогательны и желтое уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное выраженіе, что, слушая его, нельзя было удержаться отъ какого-то смѣшаннаго чувства сожалѣнія, страха и грусти.

Это былъ юродивый и странникъ Гриша.

Откуда былъ онъ? кто были его родители? что побудило его избрать странническую жизнь, какую онъ велъ? никто не зналъ этого. Знаю только то, что онъ съ пятнадцатаго года сталъ извѣстенъ какъ юродивый, который зиму и лѣто ходитъ босикомъ, посѣщаетъ монастыри, даритъ образочки тѣмъ, кого полюбитъ, и говоритъ загадочныя слова, которыя нѣкоторыми принимаются за предсказанія; что никто никогда не зналъ его въ другомъ видѣ, что онъ изрѣдка хаживалъ къ бабушкѣ, и что одни говорили, будто онъ несчастный сынъ богатыхъ родителей и чистая душа, а другіе, что онъ просто мужикъ и лѣнтяй.

Гриша обѣдалъ въ столовой, но за особеннымъ столикомъ; онъ не поднималъ глазъ съ своей тарелки, изрѣдка вздыхалъ, дѣлалъ страшныя гримасы и говорилъ, какъ-будто самъ съ собою: „жалко!.. улетѣла... улетитъ голубъ въ небо... охъ, на могилѣ камень!..“ и т. п.

Мамапъ съ утра была разстроена; присутствіе, слова и поступки Гриши замѣтно усиливали въ ней это расположеніе.

— „Ахъ да, и было и забыла попросить тебя объ одной вещи“, — сказала она, подавая отцу тарелку съ супомъ. — „Что такое?“ — „Вели пожалуйста запереть своихъ страшныхъ собакъ, а то онѣ чуть не закусали бѣднаго Гришу, когда онъ проходилъ по двору. Онѣ этакъ и на дѣтей могутъ броситься“.

Услыхавъ, что рѣчь идетъ о немъ, Гриша повернулся къ столу, сталъ показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать:

— „Хотѣлъ, чтобы загрызли... Богъ не попустилъ. Грѣхъ собаками травить! большой грѣхъ! Не бей, *большакъ*... ¹⁾ что бить? Богъ проститъ... дни не такіе“. — „Что это онъ говорить? — спросилъ папа, пристально и строго разсматривая его.—Я ничего не понимаю“.—„А я понимаю,—отвѣчала мама, — онъ мнѣ рассказывалъ, что какой-то охотникъ нарочно на него пускалъ собакъ, такъ онъ и говорить: „хотѣлъ, чтобы загрызли, но Богъ не попустилъ, и проситъ тебя, чтобы ты за это не наказывалъ его“.— „А! вотъ что!—сказалъ папа.—Почемъ-же онъ знаетъ, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще не большой охотникъ до этихъ господъ, — продолжалъ онъ по-французски, но этотъ особенно мнѣ не нравится и долженъ быть...“—„Ахъ, не говори этого, мой другъ, — прервала его мама, какъ-будто испугавшись чего-нибудь, — почему ты знаешь?“— „Кажется, я имѣлъ случай изучить эту породу людей—ихъ столько къ тебѣ ходить—все на одинъ покрой. Вѣчно одна и та же исторія...“

Видно было, что матушка на этотъ счетъ совершенно другого мнѣнія и не хотѣла спорить.

— „Передай мнѣ пожалуйста пирожокъ,—сказала она.—Что, хорошили они нынче?“— „Нѣтъ, меня сердить,—продолжалъ папа, взявъ въ руку пирожокъ, но держа его на такомъ разстояніи, чтобы мама не могла достать его,—нѣтъ, меня сердить,—когда я вижу, что люди умные и образованные впадаютъ въ обманъ“.

И онъ ударилъ вилкой по столу.

— „Я тебя просила передать мнѣ пирожокъ“,—повторила она, протягивая руку.—„И прекрасно дѣлаютъ,—продолжалъ папа, отодвигая руку,— что такихъ людей сажаютъ въ полицію. Они приносятъ только ту пользу, что разстраиваютъ и безъ того слабые нервы нѣкоторыхъ особъ“, — прибавилъ онъ съ улыбкой, замѣтивъ, что этотъ разговоръ очень не нравился матушкѣ, и подаль ей пирожокъ. — „И на это тебѣ только одно скажу: трудно повѣрить, чтобы человѣкъ, который, несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, жму и лѣто ходить босой и, не снимая, поситъ подъ платьемъ вериги въ два пуда вѣсомъ, и который не разъ отказывался отъ предложенія жить спокойно и на всемъ готовомъ,—трудно повѣрить, чтобы такой человѣкъ все это дѣлалъ только изъ лѣни. Пасчетъ предсказаній, — прибавила она со вздохомъ и помолчавъ немного,—*je suis paucée pour y croire*; я тебѣ рассказывала, кажется, какъ Кириша, день въ день, часъ въ часъ, предсказалъ покойнику папенькѣ его кончину“.

Охота. Обѣдъ кончился; большіе пошли въ кабинетъ пить кофе, а мы побѣжали въ садъ шаркать ногами по дорожкамъ, покрытымъ упавшими, желтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о томъ, что Володя поѣдетъ на охотничьей лошади, о томъ, какъ стыдно, что Любочка тише бѣгаетъ, чѣмъ Катенька, о томъ, что интересно было бы посмотреть

¹⁾ Такъ онъ безразлично называетъ всѣхъ мужчинъ.

вериги Гриши, и т. д.; о томъ же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. Разговоръ нашъ былъ прерванъ стукомъ подъѣзжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидѣло по дворовому мальчику. За линейкой ѣхали охотники съ собаками, за охотниками—кучеръ Игнатъ, на назначенной Володѣ лошади, и вель въ поводу моего стариннаго клепера. Сначала мы всѣ бросились къ забору, отъ котораго видны были всѣ эти интересныя вещи, а потомъ съ визгомъ и топотомъ побѣжали навѣрхъ одѣваться, и одѣваться такъ, чтобы какъ можно болѣе походить на охотниковъ. Одно изъ главныхъ къ тому средствъ было всучиваніе панталонъ въ сапоги. Ничего не медля, мы принялись за это дѣло, торопясь скорѣе кончить его и бѣжать на крыльцо наслаждаться видомъ собакъ, лошадей и разговоромъ съ охотниками.

День былъ жаркій. Бѣлыя, причудливыхъ формъ тучки съ утра показались на горизонтѣ; потомъ все ближе и ближе стали сгонять ихъ маленькій вѣтерокъ, такъ что изрѣдка онѣ закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернѣли тучи, видно, не суждено имъ было собраться въ грозу и въ послѣдній разъ помѣшкать нашему удовольствію. Къ вечеру онѣ опять стали расходиться: однѣ поблѣднѣли, подлиннѣли и бѣжали на горизонтъ; другія, надъ самой головой, превратились въ бѣлую прозрачную чешую; одна только черная большая туча остановилась на востокѣ. Карлъ Ивановичъ всегда зналъ, куда какая туча пойдетъ; онъ объявилъ, что эта туча пойдетъ къ Масловѣ, что дождя не будетъ и погода будетъ превосходная.

Фока, несмотря на свои преклонныя лѣта, сбѣжалъ съ лѣстницы очень ловко и скоро, крикнулъ: „подавай!“ и, раздвинувъ ноги, твердо сталъ по срединѣ подъѣзда, между тѣмъ мѣстомъ, куда долженъ былъ подкатить линейку кучеръ, и порогомъ, въ позиціи человѣка, которому не нужно напоминать о его обязанности. Барыни сошли и послѣ небольшого пренія о томъ, кому на какой сторонѣ сидѣть и за кого держаться (хотя, мнѣ кажется, совсѣмъ не нужно было держаться), успѣли, раскрыли зонтики и поѣхали. Когда линейка тронулась, татап, указывая на „охотничью лошадь“, спросила дрожащимъ голосомъ у кучера:

— „Эта для Владиміра Петровича лошадь?“

И когда кучеръ отвѣчалъ утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я былъ въ сильномъ нетерпѣніи: взлѣзъ на свою лошадку, смотрѣлъ ей между ушей и дѣлалъ по двору разныя эволюціи.

— „Собакъ не извольте раздавить“,—сказалъ мнѣ какой-то охотникъ. — „Будь покоенъ: мнѣ не въ первый разъ“,—отвѣчалъ я гордо.

Володя сѣлъ на „охотничью лошадь“, несмотря на твердость своего характера, не безъ нѣкотораго содроганія, и, оглаживая ее, нѣсколько разъ спросилъ:

— „Смирна ли она?“

На лошади же онъ былъ оченъ хорошъ — точно большой. Обтянутыя ляжки его лежали на сѣдлѣ такъ хорошо, что мнѣ было завидно, — особенно потому, что, сколько я могъ судить по тѣли, я далеко не имѣлъ такого прекраснаго вида.

— „Есть у тебя платокъ?“—спросилъ папа.

Я вынулъ изъ кармана и показалъ ему.

— „Ну, такъ возьми на платокъ эту сѣрую собаку“. — „Жирана?“—сказалъ я съ видомъ знатока. — „Да; и бѣги по дорогѣ. Когда придетъ полянка, остановись и смотри: ко мнѣ безъ зайца не приходите!“

Я обмоталъ платкомъ мохнатую шею Жирана и опрометью бросился бѣжать къ назначенному мѣсту. Папа смѣялся и кричалъ мнѣ вслѣдъ:

— „Скорѣй, скорѣй, а то опоздаешь“.

Жиранъ безпрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался къ порсканью охотниковъ. У меня не доставало силъ стащить его съ мѣста, и я начиналъ кричать: „ату! ату!“ Тогда Жиранъ рвался такъ сильно, что я насилу могъ удерживать его, и не разъ упалъ, покуда добрался до мѣста. Избравъ у корня высокаго дуба тѣнистое и ровное мѣсто, я легъ на траву, усадилъ подлѣ себя Жирана и началъ ожидать. Воображеніе мое, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, ушло далеко впередъ дѣйствительности: я воображалъ себѣ, что травлю уже третьяго зайца, въ то время, какъ отозвалась въ лѣсу первая гончая. Голосъ Турки громче и одушевленнѣе раздался по лѣсу; гончая взвизгивала, и голосъ ея слышался чаще и чаще; къ нему присоединился другой, басистый голосъ, потомъ третій, четвертый... Голоса эти то замолкали, то перебивали другъ друга. Звуки постепенно становились сильнѣе и непрерывнѣе и наконецъ слились въ одинъ звонкій залиvistый гулъ. *Островъ былъ голосистый и гончія варили варомъ.*

Услыхавъ это, я замеръ на своемъ мѣстѣ. Вперивъ глаза въ опушку, я безсмысленно улыбался: потъ катился съ меня градомъ, и хотя капли его, сбѣгая по подбородку, щекотали меня, я не вытиралъ ихъ. Мнѣ казалось, что не можетъ быть рѣшительнѣе этой минуты. Положеніе этой напряженности было слишкомъ неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончія то заливалась около самой опушки, то постепенно отдалялись отъ меня; зайца не было. Я сталъ смотрѣть по сторонамъ. Съ Жираномъ было то же самое: сначала онъ рвался и взвизгивалъ, потомъ легъ подлѣ меня, положилъ морду мнѣ на колѣни и успокоился.

Вдругъ Жиранъ завылъ и рванулся съ такой силой, что я чуть было не упалъ. Я оглянулся. На опушкѣ лѣса, приложивъ одно ухо и приподнявъ другое, перепрыгивалъ заяцъ. Кровь ударила мнѣ въ голову и я все забылъ въ эту минуту: закричалъ что-то неистовымъ голосомъ, пустилъ собаку и бросился бѣжать. Но не успѣлъ я этого сдѣлать, какъ уже сталъ раскаиваться: заяцъ присѣлъ, сдѣлалъ прыжокъ, — и больше я его не видалъ.

Но каковъ былъ мой стыдъ, когда вслѣдъ за гончими, которые въ голосъ вывели на опушку, изъ-за кустовъ появился Турка! Онъ видѣлъ мою ошибку (которая состояла въ томъ, что я *не выдержалъ*) и, презрительно взглянувъ на меня, сказалъ только: „эхъ, баринъ!“ Но надо знать, какъ это было сказано! Мнѣ было бы легче, ежели бы онъ меня, какъ зайца, повѣсилъ на сѣдло.

Долго стоялъ я въ сильномъ отчаяніи на томъ же мѣстѣ, не звалъ собаки и только твердилъ, ударяя себя по ляжкамъ:

— „Боже мой, что я надѣлалъ!“

Я слышалъ, какъ гончія погнали дальше, какъ застывали на другой сторонѣ острова, отбили зайца и какъ Турка въ свой огромный рогъ вы зывалъ собакъ, но все не трогался съ мѣста...

Игры. Когда насъ одѣлили мороженымъ и фруктами, дѣлать на коврѣ было нечего, и мы, несмотря на косые, палящіе лучи солнца, встали и от-правились играть.

— „Ну, во что?—сказала Любочка, щурясь отъ солнца и припрыгивая по травѣ. — Давайте въ Робинзона“. — „Нѣтъ... скучно,—сказалъ Володя, лѣниво повалившись на траву и пережевывая листья, — вѣчно Робинзонъ! Если непременно хотите, такъ давайте лучше бесѣдочку строить“.

Володя замѣтно важничалъ: должно быть, онъ гордился тѣмъ, что пріѣхалъ на охотничьей лошади, и притворялся, что очень усталъ. Можетъ быть, и то, что у него уже было слишкомъ много здраваго смысла и слишкомъ мало силы воображенія, чтобы вполне наслаждаться игрою въ Робинзона. Игра эта состояла въ представленіи сценъ изъ „Robinson Suisse“, котораго мы читали незадолго предъ этимъ.

— „Ну, пожалуйста... отчего ты не хочешь сдѣлать намъ этого удовольствія?—приставали къ нему дѣвочки. — Ты будешь Charles или Ernest, или отецъ—какъ хочешь?“—говорила Катенька, стараясь за рукавъ курточки приподнять его съ земли. — „Право не хочется—скучно!“—сказалъ Володя, потягиваясь и вмѣстѣ съ тѣмъ самодовольно улыбаясь. — „Такъ лучше бы дома сидѣть, коли никто не хочетъ играть“,—сквозь слезы выговорила Любочка.

Она была страшная плакса.

— „Ну, пойдемте; только не плачь пожалуйста: терпѣть не могу!“

Снисхожденіе Володи доставило намъ очень мало удовольствія; напротивъ, его лѣнивый и скучный видъ разрушалъ все очарованіе игры. Когда мы сѣли на землю и, воображая, что плывемъ на рыбную ловлю, изъ всѣхъ силъ начали грести, Володя сидѣлъ сложа руки и въ позѣ, не имѣющей ничего схожаго съ позой рыболова. Я замѣтилъ ему это; но онъ отвѣчалъ, что отъ того, что мы будемъ больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграемъ и не проиграемъ и все же далеко не уѣдемъ. Я невольно согласился съ нимъ. Когда, воображая, что я иду на охоту, съ палкой на плечѣ, я отправился въ лѣсъ, Володя легъ на спину, закинулъ руки подъ голову и сказалъ мнѣ, что будто бы и онъ ходилъ. Такіе поступки и слова, охлаждаая насъ къ игрѣ, были крайне непріятны тѣмъ болѣе, что нельзя было бы въ душѣ не согласиться, что Володя поступаетъ благоразумно.

Я самъ знаю, что изъ палки не только что убить птицу, да и выстрѣлить никакъ нельзя. Это игра. Коли такъ разсуждать, то и на стульяхъ ѣздить нельзя; а Володя, я думаю, самъ помнить, какъ въ долгіе зимніе вечера мы накрывали кресло платками, дѣлали изъ него коляску, одинъ са-

дился кучеромъ, другой лакеемъ, дѣвочки въ середину, три стула были тройка лошадей,—и мы отправлялись въ дорогу. И какія разныя приключенія случались въ этой дорогѣ! и какъ весело и скоро проходили зимніе вечера!.. Ежели судить по настоящему, то игры никакой не будетъ. А игры не будетъ, что-жъ тогда остается?..

[Дѣти рѣшились подсмотрѣть, какъ молится Гриша. Они забрались въ чуланъ и стали подсматривать].

Гриша. Намъ всѣмъ было жутко въ темнотѣ; мы жались одинъ къ другому и ничего не говорили. Почти вслѣдъ за нами тихими шагами вошелъ Гриша. Въ одной рукѣ онъ держалъ свой посохъ, въ другой—сальную свѣчу въ мѣдномъ подсвѣчникѣ. Мы не переводили дыханія.

— „Господи Іисусе Христе! Мати Пресвятая Богородица! Отцу и Сыну и Святому Духу“, — вдыхая въ себя воздухъ, твердилъ онъ съ различными интонаціями и сокращеніями, свойственными только тѣмъ, которые часто повторяютъ эти слова:

Съ молитвой поставивъ свой посохъ въ уголъ и осмотрѣвъ постель, онъ сталъ раздѣваться. Распоясавъ свой старенькій черный кушакъ, онъ медленно снялъ изорванный нанковый зипунъ, тщательно сложилъ его и повѣсилъ на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, какъ обыкновенно, торопливости и тупоумія, напротивъ, онъ былъ спокоенъ, задумчивъ и даже величавъ. Движенія его были медленны и обдуманны.

Оставшись въ одномъ бѣльѣ, онъ тихо опустился на кровать, окрестилъ ее со всѣхъ сторонъ и, какъ видно было, съ усиліемъ—потому что онъ поморщился—поправилъ подъ рубашкой вериги. Посидѣвъ немного и заботливо осмотрѣвъ прорванное въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бѣлье, онъ всталъ, съ молитвой поднялъ свѣчу въ уровень съ кивотомъ, въ которомъ стояло нѣсколько образовъ, перекрестился на нихъ и перевернулъ свѣчу огнемъ внизъ. Она съ трескомъ потухла.

Въ окна, обращенныя въ лѣсъ, ударила почти полная луна. Длинная бѣлая фигура юродиваго съ одной стороны была освѣщена блѣдными, серебристыми лучами мѣсяца, съ другой—черной тѣнью; вмѣстѣ съ тѣнями отъ рамъ, падала на полъ, стѣны и доставала до потолка. На дворѣ караульщикъ стучалъ въ мѣдную доску.

Сложивъ свои огромныя руки на груди, опустивъ голову и безпрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоялъ передъ иконами, потомъ съ трудомъ опустился на колѣни и сталъ молиться.

Сначала онъ тихо говорилъ извѣстныя молитвы, ударяя только на нѣкоторыя слова, потомъ повторилъ ихъ, но громче и съ большимъ одушевленіемъ. Онъ началъ говорить свои слова, съ замѣтнымъ усиліемъ стараясь выразаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Онъ молился о всѣхъ благодѣтеляхъ своихъ (такъ онъ называлъ тѣхъ, которые принимали его), въ томъ числѣ о матушкѣ, о насъ, молился о себѣ, просилъ, чтобы Богъ простилъ ему его тяжкіе грѣхи, твердилъ: „Боже, прости врагамъ моимъ!“—кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще тѣ же слова, припадалъ къ землѣ и опять поднимался, не-

смотря на тяжесть веригъ, которыя издавали сухой, рѣзкій звукъ, ударяясь о землю.

Володя уцѣпнулъ меня очень больно за ногу; но я даже не оглянулся: потеръ только рукой то мѣсто и продолжалъ съ чувствомъ дѣтскаго удивленія, жалости и благоговѣнія слѣдить за всѣми движеніями и словами Гриши.

Вмѣсто веселья и смѣха, на которые я рассчитывалъ, входя въ чуланъ, я чувствовалъ дрожь и замираніе сердца.

Долго еще находился Гриша въ этомъ положеніи религіознаго восторга и импровизировалъ молитвы. То твердилъ онъ нѣсколько разъ сряду: *Господи помилуй*, но каждый разъ съ новой силой и выраженіемъ; то говорилъ онъ: *прости мя, Господи, научи мя, что творить... научи мя, что творити, Господи!* съ такимъ выраженіемъ, какъ-будто ожидалъ сейчасъ-же отвѣта на свои слова; то слышны были одни жалобныя рыданія... Онъ приподнялся на колѣни, сложилъ руки на груди и замолкъ.

Я потихоньку высунулъ голову изъ двери и не переводилъ дыханія. Гриша не шевелился; изъ груди его вырывались тяжелые вздохи; въ мутномъ зрачкѣ сего кривого глаза, освѣщеннаго луною, остановилась слеза.

— „Да будетъ воля Твоя!“—вскричалъ онъ вдругъ съ неподражаемымъ выраженіемъ, упалъ лбомъ на землю и зарыдалъ какъ ребенокъ.

Много воды утекло съ тѣхъ поръ, много воспоминаній о быломъ потеряли для меня значеніе и стали смутными мечтами, даже и странникъ Гриша давно окончилъ свое послѣднее странствованіе; но впечатлѣніе, которое онъ произвелъ на меня, и чувство, которое возбудилъ, никогда не уирутъ въ моей памяти.

О, великій христіанинъ Гриша! Твоя вѣра была такъ сильна, что ты чувствовалъ близость Бога, твоя любовь такъ велика, что слова сами собою лились изъ устъ твоихъ—ты ихъ не повѣрялъ разсудкомъ... И какую высокую хвалу ты принесъ Его величію, когда, не находя словъ, въ слезахъ повалился на землю!..

Чувство умиленія, съ которымъ я слушалъ Гришу, не могло долго продолжаться, во-первыхъ, потому, что любопытство мое было насыщено, а во-вторыхъ, потому, что я отсидѣлъ себѣ ноги, сидя на одномъ мѣстѣ, и мнѣ хотѣлось присоединиться къ общему шептанью и вознѣ, которыя слышались сзади меня въ темномъ чуланѣ. Кто-то взялъ меня за руку и шопотомъ сказалъ: чья это рука? Въ чуланѣ было совершенно темно; но по одному прикосновенію и голосу, который шепталъ мнѣ, надъ самымъ ухомъ, я тотчасъ узналъ Катеньку.

Совершенно безсознательно я схватилъ руку въ коротенькихъ рукавичкахъ за локоть и припалъ къ ней губами. Катенька вѣрно удивилась этому поступку и отдернула руку: этимъ движеніемъ она толкнула сломанный стулъ, стоявшій въ чуланѣ. Гриша поднялъ голову, тихо оглянувшись и, читая молитвы, сталъ крестить всѣ углы. Мы съ шумомъ и шопотомъ выбѣжали изъ чулана.

Наташа Савишна. Въ половинѣ прошлаго столѣтія, по дворамъ села Хабаровки бѣгала, въ затрапезномъ платьѣ, босоногая, но веселая, толстая

и краснощекая дѣвка *Наташка*. По заслугамъ и просьбѣ отца ея, кларнетиста Саввы, дѣдъ мой взялъ ее *вверхъ*—находиться въ числѣ женской прислуги бабушки. Горничная *Наташка* отличалась въ этой должности кротостью права и усердіемъ. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на *Наташку*. И на этомъ новомъ поприщѣ она заслужила похвалы и награды за свою дѣятельность, вѣрность и привязанность къ молодой госпожѣ. Но наудренная голова и чулки съ пряжками молодого, бойкаго офиціанта Фоки, имѣвшаго по службѣ частныя сношенія съ Натальей, плѣнили ея грубое, но любящее сердце. Она даже сама рѣшилась идти къ дѣдушкѣ просить позволенія выйти за Фоку замужъ. Дѣдушка принявъ ея желаніе за неблагодарность, прогнѣвался и сослалъ бѣдную Наталью за наказаніе на скотный дворъ въ степную деревню. Черезъ 6 мѣсяцевъ, однако, такъ какъ никто не могъ замѣнить Наталью, она была возвращена въ дворъ и въ прежнюю должность. Возвратившись въ затрапезкѣ изъ изгнанія, она явилась къ дѣдушкѣ, упала ему въ ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла-было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И дѣйствительно, она сдержала свое слово.

Съ тѣхъ поръ Наташка сдѣлалась Натальей Савишной и надѣла чепецъ; весь запасъ любви, который въ ней хранился, она перенесла на барышню свою.

Когда подлѣ матушки замѣнила ее гувернантка, она получила ключи отъ кладовой, и ей на руки сданы были бѣлье и вся провизія. Всѣ обязанности эти она исполняла съ тѣмъ же усердіемъ и любовью. Она вся жила въ барскомъ добрѣ, во всемъ видѣла трату, порчу и расхищеніе и всѣми средствами старалась противодѣйствовать.

Когда матан вышла замужъ, желая чѣмъ-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ея двадцатилѣтніе труды и привязанность, она позвала ее къ себѣ и, выразивъ въ самыхъ лестныхъ словахъ всю свою къ ней признательность и любовь, вручила ей листъ гербовой бумаги, на которомъ была написана вольная Натальѣ Савишнѣ, и сказала, что, несмотря на то, будетъ ли она или нѣтъ, продолжать служить въ нашемъ домѣ, она всегда будетъ получать ежегодную пенсію въ 300 рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это, потомъ, взявъ въ руки документъ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбѣжала изъ комнаты, хлопнувъ дверью. Не понимая причины такого страннаго поступка, матан, немного погодя, вошла въ комнату Натальи Савишны. Она сидѣла съ заплаканными глазами на сундукѣ, перебирая пальцами носовой платокъ, и пристально смотрѣла на валявшіеся на полу передъ ней клочки изорванной вольной.

— „Что съ вами, голубушка Наталья Савишна?“—спросила матан, взявъ ее за руку.—„Ничего, матушка,—отвѣчала она,—должно быть, я вамъ чѣмъ-нибудь противна, что вы меня со двора гоните... Что-жъ, я пойду“.

Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь отъ слезъ, хотѣла уйти изъ комнаты. Матан удержала ее, обняла и онѣ обѣ расплакались.

Съ тѣхъ поръ, какъ я себя помню, помню я и Наталью Савишну, ея любовь и ласки; но теперь только умѣю цѣнить ихъ,—тогда же мнѣ и въ голову не приходило, какое рѣдкое, чудесное созданіе была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себѣ: вся жизнь ея была любовь и самопожертвованіе. Я такъ привыкъ къ ея безконечной, нѣжной любви къ намъ, что и не воображалъ, чтобы это могло быть иначе, нисколько не былъ благодаренъ ей и никогда не задавалъ себѣ вопросовъ: а что, счастлива ли она, довольна ли?

Бывало, подъ предлогомъ необходимой надобности, прибѣжишь отъ нея въ ея комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслухъ, нисколько стѣсняясь ея присутствіемъ. Всегда она бывала чѣмъ-нибудь занята: вязала чулокъ, или записывала бѣлье и, слушая всякій вздоръ, который я говорилъ, „какъ, когда я буду генераломъ, я женюсь на чудесной савицѣ, куплю себѣ рыжую лошадь, построю стеклянный домъ и выпишу нѣкъ Карла Иваныча изъ Саксоніи“ и т. д., она приговаривала: „да, батюшка, да“. Обыкновенно, когда я вставалъ и собирался уходить, она отворяла голубой сундукъ, на крышкѣ котораго снутри—какъ теперь знаю—были наклеены: крашеное изображеніе какого-то гусара, картинка помадной баночки и рисунокъ Володи,—вынимала изъ этого сундука свѣчку, зажигала его и, помахивая, говорила:

— „Это, батюшка, еще очаковское куренье. Когда вашъ покойникъ ушла—царство небесное—подъ Турку ходили, такъ оттуда еще пришло. Вотъ ужъ послѣдній кусочекъ остался,—прибавляла она со вздохомъ.

[Однажды съ рассказчикомъ случилась бѣда: онъ пролилъ квасъ].

Наталья Савишна, съ скатертью въ рукѣ, поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивленіе съ моей стороны, начала тереть меня мокрымъ лицомъ, приговаривая: „не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!“ Меня это обидѣло, что я разревлъся отъ злости.

„Какъ!—говорилъ я самъ себѣ, прохаживаясь по залѣ и захлебываясь слезъ,—Наталья Савишна, просто *Наталья*, говоритъ *мнѣ ты*, и еще тереть меня по лицу мокрой скатертью, какъ двороваго мальчишку. Нѣтъ, ужасно!“

Когда Наталья Савишна увидала, что я распустилъ слюни, она тотъ же убѣжала, а я, продолжая прохаживаться, разсуждалъ о томъ, какъ отплатить дерзкой *Натальей* за нанесенное мнѣ оскорбленіе.

Черезъ нѣсколько минутъ Наталья Савишна вернулась, робко подошла мнѣ и начала увѣщевать:

— „Полноте, мой батюшка, не плачьте... простите меня, дуру... я виновата... ужъ вы меня простите, мой голубчикъ... вотъ вамъ“.

Она вынула изъ-подъ платка корнетъ, сдѣланный изъ красной бумаги, въ которомъ были двѣ карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мнѣ. У меня не доставало силъ взглянуть въ лицо доброй старушкѣ; я, отвернувшись, принялъ подарокъ, и слезы потекли еще обильнѣе, но уже не отъ злости, а отъ любви и стыда.

Дѣтство. Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дѣтства! Какъ

не любить, не дѣлать воспоминаній о ней? Воспоминанія эти освѣжаютъ, возвышаютъ мою душу и служатъ для меня источникомъ лучшихъ наслажденій.

Набѣгавшись досыта, сидишь, бывало, за чайнымъ столомъ, на своемъ высокомъ креслицѣ; уже поздно, давно выпилъ свою чашку молока съ сахаромъ, сонъ смыкаетъ глаза, но не трогаешься съ мѣста, сидишь и слушаешь. И какъ не слушать? Мамап говоритъ съ кѣмъ-нибудь, и звуки голоса ея такъ сладки, такъ привѣтливы. Одни звуки эти такъ много говорятъ моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ея лицо, и вдругъ она сдѣлалась вся маленькая, маленькая—лицо ея не больше пуговки; но оно мнѣ все такъ-же ясно видно: вижу, какъ она взглянула на меня и какъ улыбнулась. Мнѣ нравится видѣть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она дѣлается не больше тѣхъ мальчиковъ, которые бывають въ зрѣчкахъ; но я пошевелился—и очарованіе разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.

И встаю, съ ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.

— „Ты опять заснешь, Николинъка,—говоритъ мнѣ мамаша,—ты бы лучше шелъ наверхъ.“ — „Я не хочу спать, мамаша“,—отвѣтишь ей, и не ясныя, но сладкія грезы наполняютъ воображеніе, здоровый дѣтскій сонъ смыкаетъ вѣки, и черезъ минуту забудешься и спишь до тѣхъ поръ, пока не разбудятъ. Чувствуешь, бывало, вприсонкахъ, что чья то нѣжная рука трогаетъ тебя; по одному прикосновенію узнаешь ее и еще во снѣ невольно схватишь эту руку и крѣпко, крѣпко прижмешь ее къ губамъ.

Всѣ уже разошлись; одна свѣча горитъ въ гостиной; мамаша сказала, что она сама разбудитъ меня; это она присѣла на кресло, на которомъ сплю, своей чудесной нѣжной ручкой провела по моимъ волосамъ, и надъ ухомъ моимъ звучитъ милый знакомый голосъ:

— „Вставай, моя душечка: пора идти спать“.

Ничьи равнодушныя взоры не стѣсняютъ ее: она не боится излить на меня всю свою нѣжность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крѣпче цѣлую ея руку.

— „Вставай же, мой ангелъ.“

Она другой рукой беретъ меня за шею, и пальчики ея быстро шевелятся и щекотятъ меня. Въ комнатѣ тихо; полу-темно: нервы мои возбуждены щекоткой и пробужденіемъ; мамаша сидитъ подлѣ самого меня; она трогаетъ меня; я слышу ея запахъ и голосъ. Все это заставляетъ меня вскочить, обвить руками ея шею, прижаться къ ея груди и, задыхаясь, сказать:

— „Ахъ, милая, милая мамаша, какъ я тебя люблю!“

Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, беретъ обѣими руками мою голову, цѣлуетъ меня въ лобъ и кладетъ къ себѣ на колѣни.

— „Такъ ты меня очень любишь?—Она молчитъ съ минуту, потомъ говоритъ:—смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будетъ твоей мамаша, ты не забудешь ее? не забудешь, Николинъка?“

Она еще нѣжнѣе цѣлуетъ меня.

— „Полно! и не говори этого, голубчикъ мой, душечка моя!“—вскрикиваю я, цѣлуя ея колѣни, и слезы ручьями льются изъ моихъ глазъ,—слезы любви и восторга.

Послѣ этого, какъ, бывало, придешь наверхъ и стапешь передъ иконами, въ своемъ ваточномъ халатцѣ, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: „спаси, Господи, папеньку и маменьку“. Повторяя молитвы, которыя въ первый разъ лепетали дѣтскія уста мои за любимой матерью, любовь къ ней и любовь къ Богу какъ-то странно сливались въ одно чувство.

Послѣ молитвы завернешься, бывало, въ одѣяльце; на душѣ легко, свѣтло и отрадно; однѣ мечты гонятъ другія, — но о чемъ онѣ? Онѣ неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на свѣтлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карлѣ Ивановичѣ и его горькой участи — единственнымъ человѣкѣ, котораго я зналъ несчастливымъ — и такъ жалко станеть, такъ полюбишь его, что слезы потекутъ изъ глазъ, и думаешь: „дай Богъ ему счастья, дай мнѣ возможность помочь ему, облегчить его горе; я всею готовъ для него пожертвовать“. — Потомъ любимую фарфоровую игрушку — зайчика или собачку — уткнешь въ уголъ пуховой подушки и любишься, какъ хорошо, тепло и уютно ей тамъ лежать. Еще помолишься о томъ, чтобы далъ Богъ счастья всею, чтобы все были довольны, и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бокъ, мысли и мечты перепутаются, смѣшаются и уснешь тихо, спокойно, еще съ мокрымъ отъ слезъ лицомъ.

Вернутся ли когда-нибудь та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и сила вѣры, которыми обладаешь въ дѣтствѣ? Какое время можетъ быть лучше того, когда двѣ лучшія добродѣтели — невинная веселость и безпредѣльная потребность любви, были единственными побужденіями въ жизни? // Сд

Гдѣ тѣ горячія молитвы? гдѣ лучший даръ — тѣ чистыя слезы умиленія? Придеталъ Ангелъ-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и напѣвалъ сладкія грезы неиспорченному дѣтскому воображенію.

Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминанія?

Стихи. [Въ именины бабушки разсказчикъ сочинилъ стихи].

Въ стихотвореніи своемъ я поздравлялъ бабушку, желалъ ей много лѣтъ здравствовать и заключалъ такъ:

Стараться будемъ утѣшать

И любимъ, какъ родную мать.

Кажется, было бы очень недурно, но послѣдній стихъ какъ-то странно оскорблялъ мой слухъ.

— „И лю-бимъ, какъ родну-ю мать, — твердилъ я себѣ подъ носъ. — Какую бы рѣму вмѣсто *мать*? играть? кровать?... Э, сойдетъ! все лучше Карлъ Ивановичевыхъ!“

И я написалъ послѣдній стихъ. Потомъ въ спальнѣ я прочелъ вслухъ

все свое сочиненіе, съ чувствомъ и жестами. Были стихи совершенно безъ размѣра, но я не останавливался на нихъ; послѣдній же еще сильнѣе и непріятнѣе поразилъ меня. Я сѣлъ на кровать и задумался...

„Зачѣмъ я написалъ: какъ *родную мать*? ее вѣдь здѣсь нѣтъ, такъ не нужно было и помянуть ее; правда, я бабушку люблю, уважаю, но все она не то... зачѣмъ я написалъ это, зачѣмъ я солгалъ? Положимъ, это стихи, да все-таки не нужно было“.

У Карла Ивановича въ рукахъ была коробочка своего издѣлія, у Володи—рисунокъ, у меня — стихи; у каждаго на языкѣ было привѣтствіе, съ которымъ онъ поднесетъ свой подарокъ. Въ ту минуту, какъ Карлъ Ивановичъ отворилъ дверь залы, священникъ надѣлъ ризу и раздались первые звуки молебна.

Бабушка была уже въ залѣ: сгорбившись и опершись на спинку стула, она стояла у стѣнки и набожно молилась; подлѣ нея стоялъ папа. Онъ обернулся къ намъ и улыбнулся, замѣтивъ, какъ мы, заторопившись, прятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамѣченными, остановились у самой двери. Весь эффектъ неожиданности, на который мы рассчитывали, былъ потерянъ.

Когда стали подходить къ кресту, я вдругъ почувствовалъ, что нахожусь подъ тяжелымъ вліяніемъ непреодолимой, одурѣвающей застѣнчивости, и, чувствуя, что у меня никогда не достанетъ духу поднести свой подарокъ, я спрятался за спину Карла Ивановича, который, въ самыхъ отборныхъ выраженіяхъ, поздравивъ бабушку, переложилъ коробочку изъ правой руки въ лѣвую, вручилъ ее именинницѣ и отошелъ нѣсколько шаговъ, чтобы дать мѣсто Володѣ. Бабушка, казалось, была въ восхищеніи отъ коробочки, оклеенной золотыми каемками, и самой ласковой улыбкой выразила свою благодарность. Замѣтно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, и, должно быть, поэтому предложила папа посмотреть, какъ удивительно искусно она сдѣлана.

Удовлетворивъ своему любопытству, папа передалъ ее протопопу, которому вещь эта, казалось, чрезвычайно понравилась: онъ покачивалъ головой и съ любопытствомъ посматривалъ то на коробочку, то на мастера, который могъ сдѣлать такую прекрасную штуку. Володя поднесъ своего турна и тоже заслужилъ самыя лестныя похвалы со всѣхъ сторонъ. Насталъ и мой чередъ: бабушка съ одобрительной улыбкой обратилась ко мнѣ.

Тѣ, которые испытали застѣнчивость, знаютъ, что чувство это увеличивается въ прямомъ отношеніи времени, а рѣшительность уменьшается въ обратномъ отношеніи, то-есть: чѣмъ больше продолжается это состояніе, тѣмъ дѣлается оно непреодолимѣе и тѣмъ менѣе остается рѣшительности.

Послѣдняя смѣлость и рѣшительность оставили меня въ то время, когда Карлъ Ивановичъ и Володя поднесли свои подарки, и застѣнчивость моя дошла до послѣднихъ предѣловъ: я чувствовалъ, какъ кровь отъ сердца безпрестанно прилиwała мнѣ въ голову, какъ одна краска на лицѣ смѣнялась другою и какъ на лбу и на носу выступали крупныя капли пота. Уши

горѣли, по всему тѣлу я чувствовалъ дрожь и испарину, переминался съ ноги на ногу и не трогался съ мѣста.

— „Ну, покажи-же, Николинъка, что у тебя — коробочка или рисованье?“—сказалъ мнѣ папа.—Дѣлать было нечего: дрожащей рукой подаль я измятый роковой свертокъ; но голосъ совершенно отказался служить мнѣ, и я молча остановился передъ бабушкой. Я не могъ придти въ себя отъ мысли, что вмѣсто ожидаемаго рисунка, при всѣхъ прочтутъ мои, никуда негодные стихи и слова: какъ *родную мать*, которыя ясно докажутъ, что я никогда не любилъ и забылъ ее. Какъ передать мои страданія въ то время, когда бабушка начала читать вслухъ мое стихотвореніе и когда, не разбирая, она останавливалась на серединѣ стиха, чтобы съ улыбкой, которая мнѣ казалась насмѣшливою, взглянуть на папа, когда она произносила не такъ, какъ мнѣ хотѣлось, и когда, по слабости зрѣнія, не дотря до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей все сначала? Мнѣ казалось, что она это сдѣлала потому, что ей надоѣло читать такіе дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа могъ самъ прочесть послѣдній стихъ, столь явно доказывающій мою безчувственность. Я ожидалъ того, что онъ щелкнетъ меня по носу этими стихами и скажетъ: „дрянной мальчишка, не забывай мать... вотъ тебѣ за это!“—но ничего такого не случилось; напротивъ, когда все было прочтено, бабушка сказала: „charmant!“ и поцѣловала меня въ лобъ.

[Отецъ представилъ гостямъ своихъ сыновей].

— „Этотъ у меня будетъ свѣтскій молодой человѣкъ,—сказалъ папа, указывая на Володю,—а этотъ поэтъ“,—прибавилъ онъ, въ то время, какъ я, цѣлуя маленькую, сухую ручку княгини, съ чрезвычайной ясностью воображалъ въ этой рукѣ розгу, подъ розгой — скамейку, и т. д. и т. д.— „Который?“ — спросила княгиня, удерживая меня за руку. — „А этотъ маленький, съ вихрами“,—отвѣчалъ папа, весело улыбаясь.

„Что ему сдѣлали мои вихры... развѣ нѣтъ другого разговора?“—подумалъ я и отошелъ въ уголъ.

Я имѣлъ самыя странныя понятія о красотѣ — даже Карла Ивановича считалъ первымъ красавцемъ въ мірѣ; но очень хорошо зналъ, что я нехорошъ собою, и въ этомъ нисколько не ошибался; поэтому каждый намекъ на мою наружность больно оскорблялъ меня.

Я очень хорошо помню, какъ разъ за обѣдомъ—мнѣ было тогда шесть лѣтъ—говорили о моей наружности, какъ мамаи старалась найти что-нибудь хорошее въ моемъ лицѣ: говорила, что у меня умные глаза, пріятная улыбка, и наконецъ, уступая доводамъ отца и очевидности, принуждена была сознаться, что я дурень; и потомъ, когда я благодарилъ ее за обѣдъ, потрепала меня по щекѣ и сказала:

— „Ты это знай, Николинъка, что за твое лицо тебя никто не будетъ любить; поэтому ты долженъ стараться быть умнымъ и добрымъ мальчикомъ“.

Эти слова не только убѣдили меня въ томъ, что я не красавецъ, но еще и въ томъ, что я непременно буду добрымъ и умнымъ мальчикомъ.

Несмотря на это, на меня часто находили минуты отчаянія: я вооб-

ражалъ, что пѣтъ счастья на землѣ для человѣка съ такимъ широкимъ носомъ, толстыми губами и маленькими глазами, какъ я; я просилъ Бога сдѣлать чудо—превратить меня въ красавца, и все что имѣлъ въ настоящемъ, все, что могъ имѣть въ будущемъ, я все, отдать-бы за красивое лицо.

Ивины.—„Володя! Володя! Ивины!“ — закричалъ я, увидѣвъ въ окно трехъ мальчиковъ въ синихъ бекешахъ съ бровными воротниками, которые, слѣдуя за молодымъ гувернеромъ-щеголемъ, переходили съ противоположнаго тротуара къ нашему дому.

Ивины приходились намъ родственниками и были почти однихъ съ нами лѣтъ; вскорѣ послѣ приѣзда нашего въ Москву, мы познакомились и сошлись съ ними.

Второй Ивипъ, Сережа, былъ смуглый, курчавый мальчикъ, со вздернутымъ, твердымъ носикомъ, очень свѣжими, красными губами, которыя рѣдко совершенно закрывали немного выдавшійся верхній рядъ бѣлыхъ зубовъ, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойкимъ выраженіемъ лица. Онъ никогда не улыбался, но или смотрѣлъ совершенно серьезно, или отъ души смѣялся своимъ звонкимъ, отчетливымъ и чрезвычайно увлекательнымъ смѣхомъ. Его оригинальная красота поразила меня съ перваго взгляда. Я почувствовалъ къ нему непреодолимое влеченіе; видѣть его было достаточно для моего счастья; и одно время всѣ силы души моей были сосредоточены въ этомъ желаніи: когда мнѣ случалось провести дня три или четыре, не выдавъ его, я начиналъ скучать и мнѣ становилось грустно до слезъ. Всѣ мечты мои, во снѣ и наяву, были о немъ: ложась спать, я желалъ, чтобы онъ мнѣ приснился; закрывая глаза, я видѣлъ его передъ собою и лелѣлъ этотъ призракъ, какъ лучшее наслажденіе. Никому въ мірѣ я не рѣшился-бы повѣрить этого чувства, такъ много я дорожилъ имъ. Можетъ быть, потому, что ему надоѣдало чувствовать, безпрестанно устремленными на него, мои беспокойные глаза, или просто, не чувствуя ко мнѣ никакой симпатіи, онъ замѣтно больше любилъ играть и говорить съ Володей, чѣмъ со мною; но я все-таки былъ доволенъ, ничего не требовалъ и вѣкъ готовъ былъ для него пожертвовать. Кромѣ страстнаго влеченія, которое онъ внушалъ мнѣ, присутствіе его возбуждало во мнѣ, въ не менѣе сильной степени, другое чувство — страхъ огорчить его, оскорбить чѣмъ-нибудь, не понравится ему: можетъ быть, потому, что лицо его имѣло надменное выраженіе, или потому, что, презирая свою наружность, я слишкомъ много цѣнилъ въ другихъ преимущества красоты, или, что вѣрнѣе всего, потому, что это есть непремѣнный признакъ любви, я чувствовалъ къ нему столько-же страху, сколько и любви. Въ первый разъ, какъ Сережа заговорилъ со мной, я до того растерялся отъ такого неожиданнаго счастья, что поблѣднѣлъ, покраснѣлъ и ничего не могъ отвѣчать ему. У него была дурная привычка, когда онъ задумывался, останавливать глаза на одной точкѣ и безпрестанно мигать, подергивая при этомъ носомъ и бровями. Всѣ находили, что эта привычка очень портитъ его, но я находилъ ее до того милою, что невольно привыкъ дѣлать то же самое, и черезъ нѣсколько дней послѣ моего съ нимъ знакомства бабушка спросила,

не болят-ли у меня глаза, что я ими хлопаю какъ филипъ. Между нами никогда не было сказано ни слова о любви; но онъ чувствовалъ свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблялъ ее въ нашихъ дѣтскихъ отношеніяхъ: я-же, какъ ни желалъ высказать ему все, что было у меня на душѣ, слишкомъ боялся его, чтобы рѣшиться на откровенность; старался казаться равнодушнымъ и безропотно подчинялся ему. Иногда вліяніе его казалось мнѣ тяжелымъ, несноснымъ; но выйти изъ-подъ него было не въ моей власти.

Мнѣ грустно вспомнить объ этомъ свѣжемъ, прекрасномъ чувствѣ безкорыстной и безпредѣльной любви, которое такъ и умерло, не излившись и не найдя сочувствія.

Странно, отчего, когда я былъ ребенкомъ, я старался быть похожимъ на большого, а съ тѣхъ поръ, какъ пересталъ быть имъ, часто желалъ быть похожимъ на него. Сколько разъ это желаніе—не быть похожимъ на маленькаго, въ моихъ отношеніяхъ съ Сережей, останавливало чувство, готовое излиться, и заставляло лицемѣрить. Я не только не смѣлъ поцѣловать его, чего мнѣ иногда очень хотѣлось, взять его за руку, сказать, какъ я радъ его видѣть, но не смѣлъ даже называть его Сережа, а непременно Сергѣй: такъ ужъ было заведено у насъ. Каждое выраженіе чувствительности доказывало рябчесть и то, что тотъ, кто позволилъ себѣ его, былъ еще *мальчишка*. Не пройдя еще черезъ тѣ горькія испытанія, которыя доводятъ взрослыхъ до осторожности и холодности въ отношеніяхъ, мы *лишались* себя чистыхъ наслажденій нѣжной дѣтской привязанности, по одному только странному желанію подражать *большимъ*.

Балъ. Наступила и вторая кадрили, которую я танцовалъ съ Соничкой. Усѣвшись рядомъ съ нею, я почувствовалъ чрезвычайную неловкость и рѣшительно не зналъ, о чемъ съ ней говорить. Когда молчаніе мое сдѣлалось слишкомъ продолжительнымъ, я сталъ бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, и рѣшился, во что-бы то ни стало, вывести ее изъ такого заблужденія на мой счетъ. „Vous êtes une habitante de Moscou? — сказалъ я ей и, послѣ утвердительнаго отвѣта, продолжалъ: — et moi, je n'ai encore jamais fréquenté la capitale“,—разсчитывая въ особенности на эффектъ слова „fréquenter“. Я чувствовалъ, однако, что, хотя это начало было очень блестяще и вполне доказывало мое высокое знаніе французскаго языка, продолжать разговоръ въ такомъ духѣ я не въ состояніи. Еще не скоро долженъ былъ придти нашъ чередъ танцовать, а молчаніе возобновилось; я съ безпокойствомъ поглядывалъ на нее, желая знать, какое произвелъ впечатлѣніе, и ожидая отъ нея помощи. „Гдѣ вы нашли такую утомительную перчатку?“—спросила она меня вдругъ, и этотъ вопросъ доставилъ мнѣ большое удовольствіе и облегченіе. Я объяснилъ, что перчатка принадлежала Карлу Ивановичу; распространился, даже нѣсколько проищески, о самой особѣ Карла Ивановича, о томъ, какой онъ бываетъ смѣшной, когда снимаетъ красную шапочку, и о томъ, какъ онъ разъ въ зеленой бекешѣ упалъ съ лошади—прямо въ лужу, и т. п. Кадриль прошла незамѣтно. Все это было очень хорошо; но зачѣмъ я съ насмѣшкой отзывался о Карлѣ

Иванычъ? Неужели я потерялъ бы доброе мнѣніе Сонички, если бы я описал ей его съ тѣми любовью и уваженіемъ, которыя я къ нему чувствовалъ?

Когда кадрили кончилась, Соничка сказала мнѣ: „merci“ съ такимъ милымъ выраженіемъ, какъ-будто я дѣйствительно заслужилъ ея благодарность. Я былъ въ восторгѣ, не помнилъ себя отъ радости и самъ не могъ узнать себя: откуда взялись у меня смѣлость, увѣренность и даже дерзость? „Нѣтъ вещи, которая бы могла меня сконфузить!—думалъ я, беззаботно разгуливая по залѣ,—я готовъ на все!“

Сережа предложилъ мнѣ быть съ нимъ *vis-à-vis*. „Хорошо, — сказалъ я,—хотя у меня нѣтъ дамы, я найду“. Окинувъ залу рѣшительнымъ взглядомъ, я замѣтилъ, что всѣ дамы были взяты, исключая одной большой дѣвицы, стоявшей у двери гостиной. Къ ней подходилъ высокій молодой человекъ, какъ я заключилъ, съ цѣлю пригласить ее: онъ былъ отъ нея въ двухъ шагахъ, а же—на противоположномъ концѣ залы. Въ мгновеніе ока граціозно скользя по паркету, пролетѣлъ я все раздѣляющее меня отъ непространство и, шаркнувъ ногой, твердымъ голосомъ пригласилъ ее въ контръ-дансъ. Большая дѣвица, покровительственно улыбаясь, подала мнѣ руку, а молодой человекъ остался безъ дамы.

Я имѣлъ такое сознаніе своей силы, что даже не обратилъ вниманія на досаду молодого человека; но послѣ узналъ, что молодой человекъ этотъ спрашивалъ, кто тотъ взъерошенный мальчикъ, который проскочилъ мимо него и передъ носомъ отнялъ даму.

[Разсказчикъ взялся танцевать и мазурку, которой не умѣлъ танцевать.]

Я зналъ, что „*pas de Basques*“ не умѣстны, не приличны и даже могутъ совершенно осрамить меня; но знакомые звуки мазурки, дѣйствуя на мой слухъ, сообщили извѣстное направленіе акустическимъ нервамъ, которые, въ свою очередь, передали это движеніе ногамъ; и эти послѣднія, совершенно невольно и къ удивленію всѣхъ зрителей, стали выдѣлывать фатальныя, круглыя и плавныя па на цыпочкахъ. Покуда мы шли прямо, дѣла еще шло кое-какъ, но на поворотѣ я замѣтилъ, что если не приму своихъ мѣръ, непременно уйду впередъ. Во избѣжаніе такой неприятности, я пріостановился, съ намѣреніемъ сдѣлать то самое *колыно*, которое такъ красиво дѣлалъ молодой человекъ въ первой парѣ. Но въ ту самую минуту какъ я раздвинулъ ноги и хотѣлъ уже припрыгнуть, вняжна, торопливо оббѣгая вокругъ меня, съ выраженіемъ тупого любопытства и удивленія по смотрѣла на мои ноги. Этотъ взглядъ убилъ меня. Я до того растерялся, что вмѣсто того, чтобы танцевать, затопталъ ногами на мѣстѣ, самымъ страннымъ, ни съ тактомъ, ни съ чѣмъ несообразнымъ образомъ и, наконецъ, совершенно остановился. Всѣ смотрѣли на меня: кто съ удивленіемъ, кто съ любопытствомъ, кто съ насмѣшкой, кто съ состраданіемъ; одна бабушка смотрѣла совершенно равнодушно.

— „*Il ne fallait pas danser, si vous ne savez pas!*“—сказалъ сердитыя голосъ папа надъ моимъ ухомъ, и, слегка оттолкнувъ меня, онъ взялъ руку моей дамы, прошелъ съ ней туръ по-старинному, при громкомъ одобреніи зрителей, и привелъ ее на мѣсто. Мазурка тотчасъ же кончилась.

„Господи! за что Ты наказываешь меня такъ ужасно!“

Всѣ презираютъ меня и всегда будутъ презирать... мнѣ закрыта дорога ко всему: къ дружбѣ, любви, почестямъ... все пропало!!! Зачѣмъ Вольдя дѣлалъ мнѣ знаки, которые всѣ видѣли и которые не могли помочь мнѣ? Зачѣмъ эта противная княжна такъ посмотрѣла на мои ноги? Зачѣмъ Соничка... она милочка; но зачѣмъ она улыбалась въ это время? Зачѣмъ она покраснѣла и схватила меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? О, это ужасно! Вотъ будь тутъ мамаша, она не покраснѣла бы за своего Николинку... И мое воображеніе унеслось далеко за этимъ милымъ образомъ. Я вспомнилъ дугъ, передъ домомъ, высокія линии сада, чистый прудъ, надъ которымъ вьются ласточки, синее небо, надъ которымъ оставались бѣлыя, прозрачныя тучи, пахучія конны свѣжаго сѣна, и еще много спокойныхъ радужныхъ воспоминаній носилось въ моемъ разстроеномъ воображеніи.

Письмо матери къ отцу. „Сейчасъ только, въ десять часовъ вечера, получила я твое доброе письмо, отъ 3 апрѣля, и, по моей всегдашней привычкѣ, отвѣчаю тотчасъ-же. Оедоръ привезъ его еще вчера изъ города, по такъ какъ было поздно, онъ подаль его Мими нынче утромъ. Мими же, подѣ предлогомъ, что я была нездорова и разстроена, не давала мнѣ его цѣлый день. У меня точно былъ маленькій жаръ и, признаться тебѣ по правдѣ, вотъ ужъ четвертый день, что я не такъ-то здорова и не встаю съ постели.

„Пожалуйста не пугайся, милый другъ: я чувствую себя довольно хорошо, и если Иванъ Васильичъ позволитъ, завтра думаю встать.

„Въ пятницу на прошлой недѣлѣ, я поѣхала съ дѣтьми кататься; но подѣ самаго выѣзда на большую дорогу, около того мостика, который всегда наводитъ на меня ужасъ, лошади завязли въ грязи. День былъ прекрасный, и мнѣ вѣдуналось пройтись пѣшкомъ до большой дороги, куда вытаскивали колыску. Дойди до часовни, я очень устала и сѣла отдохнуть, а такъ какъ, покуда собирались люди, чтобъ вытащить экипажъ, прошло около получаса, мнѣ стало холодно, особенно ногамъ, потому что на мнѣ были ботинки на тонкихъ подошвахъ, и я ихъ промочила. Послѣ обѣда я почувствовала ознобъ и жаръ, но, по заведенному порядку, продолжала ходить, а послѣ чаю сѣла играть съ Любочкой въ четыре руки. (Ты не узнаешь ее: такіе она сдѣлала усилки!) Но представь себѣ мое удивленіе, когда я замѣтила, что не могу считать такта. Нѣсколько разъ я принималась считать, по все въ головѣ у меня рѣшительно путалось, и я чувствовала страшный шумъ въ ушахъ. Я считала: разъ, два, три, потомъ вдругъ: восемь, пятнадцать, и главное — видѣла, что вру, и никакъ не могла поправиться. Наконецъ Мими пришла мнѣ на помощь и почти насильно уложила въ постель. Вотъ тебѣ, мой другъ, подробный отчетъ въ томъ, какъ я занемогла и какъ сама въ томъ виновата. На другой день у меня былъ жаръ довольно сильный и пріѣхалъ нашъ добрый, старый Иванъ Васильичъ, который до сихъ поръ живетъ у насъ и общается скоро выпустить меня на свѣтъ Божій! Чудесный старикъ этотъ

Иванъ Васильичъ! Когда у меня былъ жаръ и бредъ, онъ цѣлуетъ почву, не смыкая глазъ, просидѣлъ около моей постели, теперь же, такъ какъ знаетъ, что я пишу, сидитъ съ дѣвочками въ диванной, и мнѣ слышно изъ спальни, какъ имъ рассказываетъ нѣмецкія сказки, и какъ онѣ, слушая его, помираютъ со смѣху.

„La belle Flamande, какъ ты называешь ее, гоститъ у меня уже вторую недѣлю, потому что мать ея уѣхала куда-то въ гости, и своими попеченіями доказываетъ самую искреннюю привязанность. Она повѣряетъ мнѣ всѣ свои сердечныя тайны. Съ ея прекраснымъ лицомъ, добрымъ сердцемъ и молодостью изъ нея могла бы выйти во всѣхъ отношеніяхъ прекрасная дѣвушка, еслибъ она была въ хорошихъ рукахъ; но въ томъ обществѣ, въ которомъ она живетъ, судя по ея рассказамъ, она совершенно погибнетъ. Мнѣ приходило въ голову, что если-бы у меня не было такъ много своихъ дѣтей, я бы хорошее дѣло сдѣлала, взявъ ее.

„Любочка сама хотѣла писать тебѣ, но изорвала ужъ третій листъ бумаги и говоритъ: „я знаю, какой папа насмѣшникъ: если сдѣлать хоть одну ошибку, онъ всѣмъ покажетъ“. Катенька все также мила, Мими также добра и скупа.

„Теперь поговоримъ о серьезномъ: ты мнѣ пишешь, что дѣла твои идутъ не хорошо эту зиму и что тебѣ необходимо будетъ взять хабаровскіе деньги. Мнѣ даже странно, что ты спрашиваешь на это моего согласія! Развѣ то, что принадлежитъ мнѣ, не принадлежитъ столько же тебѣ?

„Ты такъ добръ, милый другъ, что изъ страха огорчить меня скрываешь настоящее положеніе своихъ дѣлъ; но я догадываюсь, вѣрно ты проигралъ очень много, и нисколько, божусь тебѣ, не огорчаюсь этимъ; поэтому, если только дѣло это можно поправить, пожалуйста много не думай о немъ и не мучь себя напрасно. Я привыкла не только не рассчитывать для дѣтей на твой выигрышъ, но извини меня, даже и на все твое состояніе. Меня такъ-же мало радуетъ твой выигрышъ, какъ огорчаетъ проигрышъ; меня огорчаетъ только твоя несчастная страсть къ игрѣ, которая отнимаетъ у меня часть твоей нѣжной привязанности и заставляетъ говорить тебѣ такія горькія истины, какъ теперь, а Богу извѣстно, какъ мнѣ это больно! Я не перестану молить Его объ одномъ, чтобы Онъ избавилъ насъ... не отъ бѣдности (что бѣдность?), а отъ того ужаснаго положенія, когда интересы дѣтей, которыя я должна буду защищать, придутъ въ столкновеніе съ нашими. До сихъ поръ Господь исполнялъ мою молитву: ты не переходилъ одной черты, послѣ которой мы должны будемъ или жертвовать состояніемъ, которое принадлежитъ уже не намъ, а нашимъ дѣтямъ, или... и подумать страшно, а ужасное несчастіе это всегда угрожаетъ намъ. Да, это тяжелый крестъ, который послалъ намъ обоимъ Господь!

„Ты пишешь мнѣ еще о дѣтяхъ и возвращаешься къ нашему давнишнему спору: просишь меня согласиться на то, чтобы отдать ихъ въ учебное заведеніе. Ты знаешь мое предубѣжденіе противъ такого воспитанія...

„Не знаю, милый другъ, согласишься-ли ты со мною; но во всякомъ случаѣ умоляю тебя, изъ любви ко мнѣ, дать мнѣ обѣщаніе, что покуда я

живу и послѣ моей смерти, если Богу угодно будетъ разлучить насъ, этого никогда не будетъ.

„Ты мнѣ пишешь, что тебѣ необходимо будетъ съѣздить въ Петербургъ по нашимъ дѣламъ. Христосъ съ тобой, мой дружокъ, поѣзжай и возвращайся поскорѣе. Намъ всѣмъ безъ тебя такъ скучно! Весна чудо какъ хороша: балконную дверь ужъ выставили, дорожка къ оранжереѣ, четыре дня тому назадъ, была совершенно суха, персики во всемъ цвѣту, кой-гдѣ только остался снѣгъ, ласточки прилетѣли, и нынче Любочка принесла первые весенніе цвѣты. Докторъ говоритъ, что дня черезъ три я буду совсѣмъ здорова и мнѣ можно будетъ подышать свѣжимъ воздухомъ и погрѣться на апрѣльскомъ солнышкѣ. Прощай-же, милый другъ, не беспокойся, пожалуйста, ни о моей болѣзни, ни о своемъ проигрышѣ; кончай скорѣй дѣла и пріѣзжай къ намъ съ дѣтьми на цѣлое лѣто. Я дѣлаю чудные планы о томъ, какъ мы проведемъ его, и не достааетъ только тебя, чтобы имъ осуществиться“.

Слѣдующая часть письма была написана по-французски, связнымъ и ровнымъ почеркомъ, на другомъ клочкѣ бумаги. Я перевожу его слово въ слово:

„Не вѣрь тому, что я писала тебѣ о моей болѣзни; никто не подозреваетъ, до какой степени она серьезна. Я одно знаю, что мнѣ больше не вставать съ постели. Не теряй ни одной минуты, пріѣзжай сейчасъ-же и привози дѣтей. Можетъ быть я успѣю еще разъ обнять и благословить ихъ: это мое одно послѣднее желаніе. Я знаю, какой ужасный ударъ наносишь тебѣ; но все равно рано или поздно, отъ меня или отъ другихъ, ты получишь-бы его; постарайся-же съ твердостью и надеждою на милосердіе Божіе перенести это несчастіе. Покоримся волѣ Его.“

„Не думай, чтобы то, что я пишу, было бредомъ больного воображенія; напротивъ, мысли мои чрезвычайно ясны въ эту минуту, и я совершенно спокойна. Не утѣшай же себя напрасно надеждою, что бы это были ложныя, неясныя предчувствія боязливой души. Нѣтъ, я чувствую, я знаю—и знаю потому, что Богу было угодно открыть мнѣ это—мнѣ осталось жить очень недолго.“

„Кончится ли вмѣстѣ съ жизнью моя любовь къ тебѣ и дѣтямъ? Я поняла, что это невозможно. Я слишкомъ сильно чувствую въ эту минуту, чтобы думать, что то чувство, безъ котораго я не могу понять существованія, могло бы когда-нибудь уничтожиться. Душа моя не можетъ существовать безъ любви къ вамъ, а я знаю, что она будетъ существовать вѣчно, уже по одному тому, что такое чувство, какъ моя любовь, не могло бы возникнуть, если бы оно должно было когда-нибудь прекратиться.“

„Меня не будетъ съ вами; но я твердо увѣрена, что любовь моя никогда не оставитъ васъ, и эта мысль такъ отрадна для моего сердца, что я спокойно и безъ страха ожидаю приближающейся смерти.“

„Я спокойна, и Богу извѣстно, что всегда смотрѣла и смотрю на смерть какъ на переходъ къ жизни лучшей; но отчего-жъ слезы давятъ меня?.. Зачѣмъ лишать дѣтей любимой матери? Зачѣмъ наносить тебѣ та-

кой тяжелый, неожиданный ударъ? Зачѣмъ *мнѣ* умирать, когда ваша любовь дѣлала для меня жизнь безпредѣльно счастливою?

„Да будетъ Его святая воля.

„Я не могу писать больше отъ слезъ. Можетъ быть, я не увижу тебя. Благодарю же тебя, мой безцѣнный другъ, за все счастье, которымъ ты окружилъ меня въ этой жизни; я тамъ буду просить Бога, чтобы Онъ наградилъ тебя. Прощай, милый другъ; помни, что меня не будетъ, но любовь моя никогда и нигдѣ не оставитъ тебя. Прощай, Володя, прощай, мой ангелъ, прощай, Веняминъ—мой Николенька.

„Неужели они когда-нибудь забудутъ меня?“

[*Смерть матери*]. По срединѣ комнаты, на столѣ, стоялъ гробъ, вокругъ него нагорѣвшія свѣчи, въ высокихъ серебряныхъ подсвѣчникахъ; въ дальнемъ углу сидѣлъ дядюшкѣ и тихимъ, однообразнымъ голосомъ читалъ Псалтырь.

Я остановился у двери и сталъ смотрѣть; но глаза мои были такъ заплаканы и нервы такъ разстроены, что я ничего не могъ разобрать; все какъ-то странно сливалось вмѣстѣ: свѣтъ, парча, бархатъ, большіе подсвѣчники, розовая, обшитая кружевами подушка, вѣничикъ, чепчикъ съ лентами и еще что-то прозрачное, воскового цвѣта. Я сталъ на стулъ, чтобы рассмотреть ея лицо; но на томъ мѣстѣ, гдѣ оно находилось, мнѣ опять представился тотъ же блѣдно-желтоватый, прозрачный предметъ. Я не могъ вѣрить, чтобы это было ея лицо. Я сталъ вглядываться въ него пристальнѣе и мало-по-малу сталъ узнавать въ немъ знакомыя, милыя черты. Я вздрогнулъ отъ ужаса, когда убѣдился, что это была она; но отчего закрытые глаза такъ впали? отчего эта страшная блѣдность и на одной щекѣ черноватое пятно подъ прозрачной кожей? отчего выраженіе всего лица такъ строго и холодно? отчего губы такъ блѣдны и складъ ихъ такъ прекрасенъ, такъ величественъ и выражаетъ такое неземное спокойствіе, что холодная дрожь пробѣгаетъ по моей спинѣ и волосамъ, когда я вглядываюсь въ него?..

Я смотрѣлъ и чувствовалъ, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягиваетъ мои глаза къ этому безжизненному лицу. Я не спускалъ съ него глазъ, а воображеніе рисовало мнѣ картины, цвѣтущія жизнью и счастьемъ. Я забывалъ, что мертвое тѣло, которое лежало предо мною и на которое я безмысленно смотрѣлъ, какъ на предметъ, не имѣющій ничего общаго съ моими воспоминаніями, была *она*. Я воображалъ ее то въ томъ, то въ другомъ положеніи: живую, веселую, улыбающуюся; потомъ вдругъ меня поражала какая-нибудь черта въ блѣдномъ лицѣ, на которомъ остановились мои глаза: я вспоминалъ ужасную дѣйствительность, содрогался, но не переставалъ смотрѣть. И снова мечты замѣняли дѣйствительность и снова сознаніе дѣйствительности разрушало мечты. Наконецъ, воображеніе устало, оно перестало обманывать меня; сознаніе дѣйствительности тоже исчезло, и я совершенно забылся. Не знаю, сколько времени пробылъ я въ этомъ положеніи, не знаю, въ чемъ состояло оно; знаю только то, что на время я потерялъ сознаніе своего существованія и испытывалъ какое-то высокое, неизъяснимо-пріятное и грустное наслажденіе.

Можетъ быть, отлетая къ міру лучшему, ея прекрасная душа съ грустью оглянулась на тотъ, въ которомъ она оставляла насъ; она увидѣла мою печаль, сжалилась надъ нею и на крыльяхъ любви, съ небесною улыбкою сожалѣнія, спустилась на землю, чтобы утѣшить и благословить меня.

Дверь скрипнула и въ комнату вошелъ дьячокъ на смѣлу. Этотъ шумъ разбудилъ меня, и первая мысль, которая пришла мнѣ, была та, что такъ какъ я не плачу и стою на стулѣ въ позѣ, не имѣющей ничего трогательнаго, дьячокъ можетъ принять меня за безчувственного мальчика, который изъ жалости или любопытства забрался на стулъ: я перекрестился, поклонился и заплакалъ.

Вспоминая теперь свои впечатлѣнія, я нахожу, что только одна эта минута самозабвенія была настоящимъ горемъ. Прежде и послѣ погребенія, я не переставалъ плакать и былъ грустенъ, но мнѣ совѣстно вспомнить эту грусть, потому что къ ней всегда примѣшивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желаніе показать, что я огорченъ больше всѣхъ, то заботы о дѣйствиіи, которое я произвожу и на другихъ, то безцѣльное любопытство, которое заставляло дѣлать наблюденія надъ ченцомъ Мими и лицами присутствующихъ. Я презиралъ себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, старался скрывать всѣ другія: отъ этого печаль моя была неискренна и неестественна. Сверхъ того, я испытывалъ какое-то наслажденіе, зная, что я несчастливъ, старался возбуждать сознаніе несчастія, и это эгоистическое чувство больше другихъ заглушало во мнѣ истинную печаль.

Проспавъ эту ночь крѣпко и спокойно, какъ всегда бываетъ послѣ сильнаго огорченія, я проснулся съ высохнувшими слезами и успокоившимися нервами. Въ десять часовъ насъ позвали къ панихидѣ, которую служили передъ выносомъ. Комната была наполнена дворовыми и крестьянами, которые, всѣ въ слезахъ, пришли проститься съ своей барыней. Во время службы я прилично плакалъ, крестился и кланялся въ землю, но не молился въ душѣ и былъ довольно хладнокровенъ; заботился о томъ, что новый полу-фрачекъ, который на меня надѣли, очень жалъ мнѣ подъ мышками, думалъ о томъ, какъ бы не запачкать слишкомъ панталонъ на колѣняхъ, и украдкой дѣлалъ наблюденія надъ всѣми присутствовавшими. Отецъ стоялъ у изголовья гроба, былъ блѣденъ какъ платокъ и съ замѣтнымъ трудомъ удерживалъ слезы. Его высокая фигура, въ черномъ фракѣ, блѣдное, выразительное лицо и, какъ всегда, граціозныя и увѣренныя движенія, когда онъ крестился, кланялся, доставая рукою землю, бралъ свѣчу изъ рукъ священника или подходилъ ко гробу, были чрезвычайно эффектны; но, не знаю почему, мнѣ не нравилось въ немъ именно то, что онъ могъ казаться такимъ эффектнымъ въ эту минуту. Мими стояла, прислонившись къ стѣнѣ, и, казалось, едва держалась на ногахъ; платье на ней было измято и въ пуху, чепецъ сбитъ на сторону; опухшіе глаза были красны, голова ея тряслась; она не переставала рыдать раздирающимъ душу голосомъ и безпрестанно закрывала лицо платкомъ и руками. Мнѣ казалось, что она это дѣлала для того, чтобы, закрывъ лицо отъ зрителей, на минуту отдохнуть отъ пра-

творимых рыданій. Я вспомнилъ, какъ наканунѣ она говорила отцу, что смерть татан для нея такой ужасный ударъ, котораго она никакъ не надѣется перенести, что она лишила ее всего, что этотъ ангелъ (такъ она называла татан) передъ самою смертью не забылъ ее и изъявлялъ желаніе обезпечить навсегда будущность ея и Катеньки. Она проливала горькія слезы, рассказывая это, и, можетъ быть, чувство горести ея было истинно, но оно не было чисто и исключительго. Любочка, въ черномъ платьицѣ, обшитомъ плерезами, вся мокрая отъ слезъ, опустила головку, изрѣдка взглядывала на гробъ, и лицо ея выражало при этомъ только дѣтскій страхъ. Катенька стояла подлѣ матери и, несмотря на ея вытянутое личико, была такая же розовенькая, какъ и всегда. Откровенная натура Володи была откровенна и въ горести: онъ то стоялъ задумавшись, уставивъ неподвижные взоры на какой-нибудь предметъ, то ротъ его вдругъ начиналъ кривиться, и онъ поспѣшно крестился и кланялся. Всѣ посторонніе, бывшіе на похоронахъ, были мнѣ песносны. Утѣшительныя фразы, которыя они говорили отцу—что ей тамъ будетъ лучше, что она была не для этого міра—возбуждали во мнѣ какую-то досаду.

Какое они имѣли право говорить и плакать о ней? Нѣкоторые изъ нихъ, говоря про насъ, называли насъ *сиротами*. Точно безъ нихъ не знали, что дѣтей, у которыхъ нѣтъ матери, называютъ этимъ именемъ! Имъ вѣрно нравилось, что они первые дають намъ его, точно такъ же, какъ обыкновенно торопятся только-что вышедшую замужъ дѣвушку въ первый разъ назвать *madame*.

Наталя Савишина. Тяжело, я думаю, было Натальѣ Савишнѣ жить и еще тяжелѣе умирать одной въ большомъ, пустомъ Петровскомъ домѣ, безъ родныхъ, безъ друзей. Всѣ въ домѣ любили и уважали Наталью Савишну; но она ни съ кѣмъ не имѣла дружбы и гордилась этимъ. Она полагала, что въ ея положеніи — экономки, пользующейся довѣренностью своихъ господъ и имѣющей на рукахъ столько сундуковъ со всякимъ добромъ, дружба съ кѣмъ-нибудь непременно повела бы ее къ лиценріацію и преступной снисходительности; поэтому или, можетъ быть, потому, что не имѣла ничего общаго съ другими слугами, она удалялась всѣхъ и говорила, что нея въ домѣ нѣтъ ни кумовьевъ, ни сватовъ, и что за барское добро онъ никому потачки не дастъ.

Повѣряя Богу въ теплой молитвѣ свои чувства, она искала и находила утѣшеніе; но иногда въ минуты слабости, которымъ мы всѣ подвержены, когда лучшее утѣшеніе для человѣка доставляютъ слезы и участіе живого существа, она клала себѣ на постель свою собачонку-моську (которая ли зала ея руки, уставивъ на нее свои желтые глаза), говорила съ ней и тихонько плакала, лаская ее. Когда моська начинала жалобно вить, она старалась успокоить ее и говорила: „полно, я безъ тебя знаю, что скоро умру“.

За мѣсяцъ до своей смерти она достала изъ своего сундука бѣлаго коленкора, бѣлой кисеи и розовыхъ лентъ; съ помощью своей дѣвушки сплела себѣ бѣлое платье, чепчикъ и до малѣйшихъ подробностей распорядилась всѣмъ, что нужно было для ея похоронъ. Она тоже разобрала барскіе сун-

и с величайшей отчетливостью, по описи, передала их приказчицъ; она достала два шелковых платья, старинную шаль, подаренная когда-то бабушкой, дѣдушкинъ военный мундиръ, шитый золотомъ, и отданный въ ея полную собственность. Благодаря ея заботливости, тѣ и галуны на мундирѣ были совершенно свѣжи и сукно не тронуту пью.

Передъ кончиной она изъявила желаніе, чтобы одно изъ этихъ платьевъ—розовое—было отдано Володѣ на халатъ или бешметъ, другое—розовое, въ клѣткахъ—мнѣ, для того же употребленія, а шаль—Любочкѣ. Мундиръ она завѣщала тому изъ насъ, кто прежде будетъ офицеромъ.—Остальное свое имущество и деньги, исключая сорока рублей, которые пожала на погребенье и поминанье, она предоставила получить своему брату. Братъ ея, еще давно отпущенный на волю, прсживалъ въ какой-то глухой губерніи и велъ жизнь самую беспорядочную; поэтому при жизни ей она не имѣла съ нимъ никакихъ сношеній.

Когда братъ Натальи Савишны явился для полученія наслѣдства, и его имущества покойной оказалось на двадцать пять рублей ассигнаціями, он не хотѣлъ вѣрить этому и говорилъ, что не можетъ быть, чтобы стала, которая шестидесять лѣтъ жила въ богатомъ домѣ, все на рукахъ была, весь свой вѣкъ жила скупо и надъ всякой тряпкой тряслась, чтобы ничего не оставила. Но это дѣйствительно было такъ.

Наталья Савишна два мѣсяца страдала отъ своей болѣзни и переносила страданія съ истинно-христіанскимъ терпѣніемъ: не ворчала, не жалалась, а только, по своей привычкѣ, безпрестанно поминала Бога. За тѣмъ передъ смертью она съ тихою радостью исповѣдалась, причастилась и оровалась масломъ.

У всѣхъ домашнихъ она просила прощенья за обиды, которыя могла причинить имъ, и просила духовника своего, отца Василья, передать всѣмъ имъ, что не знаетъ, какъ благодарить насъ за наши милости, и просить тѣхъ простить ее, если по глупости своей огорчила кого-нибудь, „но воровства никогда не была и могу сказать, что барской питкой не поживилась“. Было одно качество, которое она цѣнила въ себѣ.

Надѣвъ приготовленный капотъ и чепчикъ и облокотившись на подушки, она до самого конца не переставала разговаривать съ священникомъ, вспомнила, что ничего не оставила бѣднымъ, достала десять рублей и просила его раздать ихъ въ приходѣ, потомъ перекрестилась, легла и въ послѣдній разъ вдохнула съ радостной улыбкой, произнося имя Божіе.

Она оставляла жизнь безъ сожалѣнія, не боялась смерти и приняла ее съ благомъ. Часто это говорятъ, но какъ рѣдко дѣйствительно бываетъ! Наталья Савишна могла не бояться смерти, потому что она умирала съ неодолеимою вѣрою и исполнивъ законъ Евангелія. Вся жизнь ея была чистая, безкорыстная любовь и самоотверженіе.

Что-жъ, ежели ея вѣрованія могли-бы быть возвышеннѣе, ея жизнь правлена къ болѣе высокой цѣли, развѣ эта чистая душа отъ этого менше тойна любви и удивленія?

Она совершила лучшее и величайшее дѣло въ этой жизни — умерла безъ сожалѣнія и страха.

Ее похоронили, по ея желанію, не далеко отъ часовни, которая стоитъ на могилѣ матушки. Заросшія крапивой и рещейникомъ бугорки, подъ которыми она лежитъ, огорожены черною рѣшеткою, и я никогда не забуду изъ часовни подойти къ этой рѣшеткѣ и положить земной поклонъ.

Иногда я молча останавливаюсь между часовней и черной рѣшеткой. Въ душѣ моей вдругъ пробуждаются тяжелыя воспоминанія. Мнѣ приходитъ мысль: неужели Провидѣніе для того только соединило меня съ этими двумя существами, чтобы вѣчно заставить сожалѣть о нихъ?..

[Послѣ смерти матери автора, гувернантка Мими и ея дочь Катенька не знали, останутся-ли онѣ въ домѣ. Это сомнѣніе удивило автора. Онъ по наивности сталъ допрашивать Катеньку].

— „Вѣдь не всегда-же мы будемъ жить вмѣстѣ,—отвѣчала Катенька слегка краснѣя и пристально вглядываясь въ спину Филиппа. — Мама могла жить у покойницы вашей маменьки, которая была ея другомъ, а графиней, которая, говорятъ, такая сердитая, еще, Богъ знаетъ, сойдутъ ли онѣ? Кромѣ того, все-таки когда-нибудь да мы разойдемся: вы богаты у васъ есть Петровское, а мы бѣдныя—у маменьки ничего нѣтъ“.

Вы богаты—мы бѣдны: эти слова и понятія, связанныя съ ними, казались мнѣ необыкновенно странны. Бѣдными по моимъ тогдашнимъ понятіямъ могли быть только нищія и мужики, и это понятіе бѣдности я какъ не могъ соединить въ своемъ воображеніи съ граціозной, хорошенькой Катей. Мнѣ казалось, что Мими и Катенька, ежели всегда жили, то все и будутъ жить съ нами и дѣлать все поровну. Иначе и быть не могло. Теперь-же тысячи новыхъ, неясныхъ мыслей, касательно одинокаго положенія ихъ, заронилось въ моей головѣ, и мнѣ стало такъ совѣстно, что богаты, а онѣ бѣдны, что я покраснѣлъ и не могъ рѣшиться взглянуть на Катеньку.

„Что-жъ такое, что мы богаты, а онѣ бѣдны? — думалъ я,—и какъ образомъ изъ этого вытекаетъ необходимость разлуки? Отчего-же намъ раздѣлить поровну того, что имѣемъ?“ Но я понималъ, что съ Катенькой годится говорить объ этомъ и какой-то практической инстинктъ, въ противность этимъ логическимъ размышленіямъ, уже говорилъ мнѣ, что она ни въ что неумѣстно-бы было объяснять ей свою мысль.

— „Пойду въ монастырь и буду тамъ жить, буду ходить въ черномъ платьицѣ, въ бархатной шапочкѣ“.

Катенька заплакала.

Случалось-ли вамъ, читатель, въ извѣстную пору жизни, вдругъ захватить, что вашъ взглядъ на вещи совершенно измѣняется, какъ будто предметы, которые вы видѣли до тѣхъ поръ, вдругъ вернулись къ вамъ другой, неизвѣстной еще стороной? Такого рода моральная пережѣна и изощла во мнѣ въ первый разъ, во время нашего путешествія, съ которой я и считаю начало моего отрочества.

Мнѣ въ первый разъ пришла въ голову ясная мысль о томъ, что

мы одни, т.-е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего не имѣющихъ общаго съ нами, не заботящихся о насъ и даже не имѣющихъ понятія о нашемъ существованіи. Безъ сомнѣнія, я и прежде зналъ все это; но зналъ не такъ, какъ я это узналъ теперь, не сознавалъ, не чувствовалъ.

Мысль переходитъ въ убѣжденіе только однимъ извѣстнымъ путемъ, часто совершенно неожиданнымъ и особеннымъ отъ путей, которые, чтобы приобрести то-же убѣжденіе, проходятъ другіе умы. Разговоръ съ Катенькой, сильно тронувшей меня и заставившей задуматься надъ ея будущимъ положеніемъ, былъ для меня этимъ путемъ. Когда я глядѣлъ на деревни и города, которые мы проѣзжали, въ которыхъ въ каждомъ домѣ жило по крайней мѣрѣ такое-же семейство, какъ наше, на женщинъ, дѣтей, которыя съ минутнымъ любопытствомъ смотрѣли на экипажъ и навсегда исчезали изъ глазъ, на лавочниковъ, мужиковъ, которые не только не кланялись намъ, какъ я привыкъ видѣть это въ Петровскомъ, но не удостоивали насъ даже взглядомъ, мнѣ въ первый разъ пришелъ въ голову вопросъ: что-же ихъ можетъ занимать, ежели они нисколько не заботятся о насъ? и изъ этого вопроса возникли другіе: какъ и чѣмъ они живутъ, какъ воспитываютъ своихъ дѣтей, учатъ-ли ихъ, пускаютъ-ли играть, какъ называютъ? и т. д.

Старшій братъ. Я былъ только годомъ и нѣсколькими мѣсяцами моложе Володи; мы росли, учились и играли всегда вмѣстѣ. Между нами не дѣлали различія старшаго и младшаго; но именно около того времени, о которомъ я говорю, я началъ понимать, что Володя не товарищъ мнѣ по годамъ, наклонностямъ и способностямъ. Мнѣ даже казалось, что Володя самъ сознаетъ свое первенство и гордится имъ. Такое убѣжденіе, можетъ быть и ложное, внушало мнѣ самолюбіе, страдавшее при каждомъ столкновеніи съ нимъ. Онъ во всемъ стоялъ выше меня: въ забавахъ, въ ученіи, въ ссорахъ, въ умѣніи держать себя, и все это отдаляло меня отъ него и заставляло испытывать непонятныя для меня моральныя страданія. Ежели-бы, когда Володѣ въ первый разъ сдѣлали голландскія рубашки со складками, я сказалъ прямо, что мнѣ весьма досадно не имѣть такихъ, я увѣренъ, что мнѣ стало-бы легче и не казалось-бы всякій разъ, когда онъ оправлялъ воротники, что онъ дѣлаетъ это для того только, чтобы оскорбить меня.

Меня мучило больше всего то, что Володя, какъ мнѣ иногда казалось, понималъ меня, но старался скрывать это.

Кто не замѣчалъ тѣхъ таинственныхъ безсловесныхъ отношеній, проявляющихся въ незамѣтной улыбкѣ, движеніи, или взглядѣ между людьми, живущими постоянно вмѣстѣ: братьями, друзьями, мужемъ и женой, господиномъ и слугой, въ особенности когда люди эти не во всемъ откровенны между собой. Сколько не досказанныхъ желаній, мыслей и страха — быть понятнымъ — выражается въ одномъ случайномъ взглядѣ, когда робко и неопытно вѣстрѣчаются ваши глаза!

Но можетъ быть меня обманывала въ этомъ отношеніи моя излишняя

восприимчивость и склонность къ анализу; можетъ быть, Володя совсѣмъ и не чувствовалъ того-же, что я. Онъ былъ пылокъ, откровененъ и непостояненъ въ своихъ увлеченіяхъ. Увлекаясь самыми разнородными предметами, онъ предавался имъ всей душой.

То вдругъ на него находила страсть къ картинкамъ: онъ самъ принимался рисовать, покупалъ на всѣ свои деньги, выпрашивалъ у рисовальнаго учителя, у папа, у бабушки; то страсть къ вещамъ, которыми онъ украшалъ свой столикъ, собирая ихъ по всему дому; то страсть къ романамъ, которые онъ доставалъ потихоньку и читалъ по цѣлымъ днямъ и ночамъ... Я невольно увлекался его страстями, но былъ слишкомъ гордъ, чтобы идти по его слѣдамъ, и слишкомъ молодъ и несамостоятеленъ, чтобы избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовалъ столько, какъ счастливому, благородно-откровенному характеру Володи, особенно рѣзко выражавшемуся въ ссорахъ, случавшихся между нами. Я чувствовалъ, что онъ поступаетъ хорошо, но не могъ подражать ему.

Однажды, во время сильнѣйшаго пыла его страсти къ вещамъ, я подошелъ къ его столу и разбилъ, нечаянно, пустой разноцвѣтный флакончикъ.

— „Кто тебя просилъ трогать мои вещи,—сказалъ вошедшій въ комнату Володи, замѣтивъ разстройство, произведенное мною въ симетріи разнообразныхъ украшеній его столика,—а гдѣ флакончикъ? непременно ты...“ — „Нечаянно уронилъ; онъ и разбился, чтожъ за бѣда!“ — „Сдѣлай милость, никогда не смѣй прикасаться къ моимъ вещамъ“, — сказалъ онъ, составляя куски разбитаго флакончика и съ сокрушеніемъ глядя на нихъ. — „Пожалуйста, не командуй,—отвѣчалъ я.—Разбилъ, такъ разбилъ; чтожъ тутъ говорить!“

И я улыбнулся, хотя мнѣ совсѣмъ не хотѣлось улыбаться.

— „Да, тебѣ ничего, а мнѣ *чею*,—продолжалъ Володя, дѣлая жестъ подергиванія плечомъ, который онъ наследовалъ отъ папа,—разбилъ, да еще и смѣется, этакой несносный *мальчишка*.“ — „Я мальчишка, а ты большой да глухой“. — „Не намѣренъ съ тобой браниться, — сказалъ Володя, слегка отталкивая меня,—убирайся“. — „Не толкайся!“ — „Убирайся!“ — „Я тебѣ говорю, не толкайся!“

Володя взялъ меня за руку и хотѣлъ оттащить отъ стола; но я уже былъ раздраженъ до послѣдней степени: схватилъ столъ за ножку и опрокинулъ его. „Такъ вотъ-же тебѣ!“ и всѣ фарфоровыя и хрустальныя украшения съ дребезгомъ полетѣли на полъ.

— „Отвратительный мальчишка!..“—закричалъ Володя, стараясь подержать падающія вещи.

„Ну, теперь все кончено между нами, — думалъ я, выходя изъ комнаты,—мы на вѣкъ поссорились“.

До вечера мы не говорили другъ съ другомъ; я чувствовалъ себя виноватымъ, боялся взглянуть на него и цѣлый день не могъ ничѣмъ заняться; Володя, напротивъ, учился хорошо и, какъ всегда, послѣ обѣда разговаривалъ и смѣялся съ дѣвочками.

Какъ только учитель кончалъ классъ, я выходилъ изъ комнаты: мнѣ страшно, неловко и совѣстно было оставаться одному съ братомъ. Послѣ вечерняго класса исторіи, я взялъ тетради и направился къ двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мнѣ хотѣлось подойти и помириться съ нимъ, я надулся и старался сдѣлать сердитое лицо. Володя въ это самое время поднялъ голову я съ чуть замѣтной, добродушно насмѣшливой улыбкой, смѣло посмотрѣлъ на меня. Глаза наши встрѣтились, я понялъ, что онъ понимаетъ меня, и то, что я понимаю, что онъ понимаетъ меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

— „Николенька! — сказалъ онъ мнѣ самымъ простымъ, нисколько не патетическимъ голосомъ,—полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидѣлъ“.

И онъ подалъ мнѣ руку.

Какъ будто, поднимаясь все выше и выше, что-то вдругъ стало давить меня въ груди и захватывать дыханіе; но это продолжалось только одну секунду: на глазахъ показались слезы, и мнѣ стало легче.

— „Прости... ме... ня, Воло... дя!“—сказалъ я, пожимая его руку.

Володя смотрѣлъ на меня однако такъ, какъ будто никакъ не понималъ, отчего у меня слезы на глазахъ.

Ключикъ. [Отецъ просилъ автора принести изъ шкафа конфекты; авторъ полюбопытствовалъ и заглянулъ въ секретный портфель отца].

Найдя ключи на указанномъ мѣстѣ, я хотѣлъ уже отпирать ящикъ, какъ меня остановило желаніе узнать, какую вещь отпиралъ крошечный ключикъ, висѣвшій на той же связкѣ.

На столѣ, между тысячью разнообразныхъ вещей, стоялъ около перилецъ шитый портфель съ висячимъ замочкомъ, и мнѣ захотѣлось попробовать, придется ли къ нему маленькій ключикъ. Испытаніе увѣнчалось полнымъ успѣхомъ, портфель открылся, и я нашелъ въ немъ цѣлую кучу бумагъ. Чувство любопытства съ такимъ убѣжденіемъ совѣтовало мнѣ узнать, какія были это бумаги, что я не успѣлъ прислушаться къ голосу совѣсти и принялся разсматривать то, что находилось въ портфелѣ.

Дѣтское чувство безусловнаго уваженія ко всѣмъ старшимъ, и въ особенности къ папа, было такъ сильно во мнѣ, что умъ мой безсознательно отказывался выводить какія бы то ни было заключенія изъ того, что я видѣлъ. Я чувствовалъ, что папа долженъ жить въ сферѣ совершенно особенной, прекрасной, недоступной и непостижимой для меня, и что стараться проникать тайны его жизни было бы съ моей стороны чѣмъ то въ родѣ святотатства. Поэтому открытія, почти нечаянно сдѣланныя мною въ портфелѣ папа, не оставили во мнѣ никакого яснаго понятія, исключая темнаго сознанія, что я поступилъ нехорошо. Мнѣ было стыдно и неловко.

— „Что со мной будетъ?! А-а-ахъ! что я надѣлалъ?! — говорилъ я вслухъ, прохаживаясь по мягкому ковру кабинета. — О! — сказалъ я самъ себѣ, доставая конфекты и сигары,—*чему быть, того не миновать...*!“ И побѣждалъ въ домъ.

Это фаталистическое изреченіе, въ дѣтствѣ подслушанное мною у Ни-

колая, во всѣ трудныя минуты моей жизни производило на меня благотворное, временно-успокоивающее вліяніе. Входя въ залу, я находился въ нѣсколько раздраженномъ и неестественномъ, но чрезвычайно веселомъ состояніи духа.

Замѣніе. [Авторъ убѣдился, что „любимая“ имъ Соня благоволитъ болѣе къ Сережѣ Ивину, чѣмъ къ нему].

Я вдругъ почувствовалъ презрѣніе ко всему женскому полу вообще и къ Сонечкѣ въ особенности; началъ увѣрять себя, что ничего веселаго нѣтъ въ этихъ играхъ, что онѣ приличны только *дѣвчонкамъ*, и мнѣ чрезвычайно захотѣлось буянить и сдѣлать какую-нибудь такую молодецкую штучку, которая бы всѣхъ удивила. Случай не замедлилъ представиться.

Подъ вліяніемъ такого же внутренняго волненія и отсутствія размышленія, когда St-Jerome сошелъ внизъ и сказалъ мнѣ, что я не имѣю права здѣсь быть нынче за то, что такъ дурно велъ себя и учился, чтобы я сейчасъ же шелъ на верхъ, я показалъ ему языкъ и сказалъ, что не пойду отсюда.

Въ первую минуту St-Jerome не могъ слова произнести отъ удивленія и злости.

— „C'est bien, — сказалъ онъ, догоняя меня, — я уже нѣсколько разъ обѣщалъ вамъ наказаніе, отъ котораго васъ хотѣла избавить ваша бабушка; но теперь я вижу, что кромѣ розогъ васъ ничѣмъ не заставишь повиноваться, и нынче вы ихъ вполне заслужили“.

Онъ сказалъ это такъ громко, что всѣ слышали его слова. Кровь съ необыкновенной силой прилила къ моему сердцу; я почувствовалъ, какъ крѣпко оно билось, какъ краска сходила съ моего лица и какъ совершенно невольно затряслись мои губы. Я долженъ былъ быть страшенъ въ эту минуту, потому что St-Jerome, избѣгая моего взгляда, быстро подошелъ ко мнѣ и схватилъ за руку; но только-что я почувствовалъ прикосновеніе его руки, мнѣ сдѣлалось такъ дурно, что я, не помня себя отъ злобы, вырвалъ руку и изъ всѣхъ моихъ дѣтскихъ силъ ударилъ его.

— „Что съ тобой дѣлается?“ — сказалъ, подходя ко мнѣ, Володя, съ ужасомъ и удивленіемъ видѣвшій мой поступокъ. — „Оставь меня! — закричалъ я на него сквозь слезы, — никто вы не любите меня, не понимаете, какъ я несчастливъ! Всѣ вы гадки, отвратительны“, — прибавилъ я съ какимъ-то изступленіемъ, обращаясь ко всему обществу.

Но въ это время St-Jerome, съ рѣшительнымъ и блѣднымъ лицомъ, снова подошелъ ко мнѣ, и не успѣлъ я приготовиться къ защитѣ, какъ онъ уже сильнымъ движеніемъ, какъ тисками, сжалъ мои обѣ руки и потащилъ куда-то. Голова моя закружилась отъ волненія; помню только, что я отчаянно бился головой и колѣнками до тѣхъ поръ, пока во мнѣ были еще силы; помню, что пося мой нѣсколько разъ натыкался на чьи-то ляжки, что въ ротъ мнѣ попадалъ чей-то скрутокъ, что вокругъ себя со всѣхъ сторонъ я слышалъ присутствіе чьихъ-то ногъ, запахъ пыли и *violette*, которой душился St-Jerome.

Черезъ пять минутъ за мной затворилась дверь чулана.

— „Василь! — сказалъ онъ отвратительнымъ, торжествующимъ голосомъ, — принеси розогъ“

Мечты. Я не плакалъ, но что-то тяжелое какъ камень лежало у меня на сердцѣ. Мысли и представленія съ усиленной быстротой проходили въ моемъ разстроенномъ воображеніи; но воспоминаніе о несчастіи, постигшемъ меня, безпрестанно прерывало ихъ причудливую цѣпь, и я снова входилъ въ безвыходный лабиринтъ неизвѣстности о предстоящей мнѣ участи, отчаянія и страха.

То мнѣ приходитъ въ голову, что должна существовать какая-нибудь неизвѣстная общей ко мнѣ нелюбви и даже ненависти. (Въ то время я былъ твердо убѣжденъ, что всѣ, начиная отъ бабушки и до Филиппа кучера, ненавидятъ меня и находятъ наслажденіе въ моихъ страданіяхъ). Я долженъ быть не сынъ моей матери и моего отца, не братъ Володи, а несчастный сирота, подкидышъ, взятый изъ милости, говорю я самъ себѣ, и нелѣпая мысль эта не только доставляетъ мнѣ какое-то грустное утѣшеніе, но даже кажется совершенно правдоподобною. Мнѣ отраднѣе думать, что я несчастенъ не потому, что виноватъ, но потому, что такова моя судьба съ самаго моего рожденія и что участь моя похожа на участь несчастнаго Карла Ивановича.

„Но зачѣмъ скрывать эту тайну, когда я самъ уже успѣлъ проникнуть ее?—говорю я самъ себѣ,—завтра же пойду къ папа и скажу ему: „Папа! напрасно ты отъ меня скрываешь тайну моего рожденія; я знаю ее“. Онъ скажетъ: „Что-жъ дѣлать, мой другъ, рано или поздно ты узналъ-бы это,—ты не мой сынъ, но я усыновилъ тебя, и ежели ты будешь достоинъ моей любви, то я никогда не оставлю тебя“, и я скажу ему: „папа, хотя я не имѣю права называть тебя этимъ именемъ, но я теперь произношу его въ послѣдній разъ, я всегда любилъ тебя и буду любить, никогда не забуду, что ты мой благодѣтель, но не могу больше оставаться въ твоёмъ домѣ. Здѣсь никто не любитъ меня, а St-Jerome поклялся въ моей гибели. Онъ или я должны оставить твой домъ, потому что я не отвѣчаю за себя, я до такой степени ненавижу этого человѣка, что готовъ на все. Я убью его (такъ и сказать: „папа! я убью его“). Папа станетъ просить меня, но я махну рукой, скажу ему: „Нѣтъ, мой другъ, мой благодѣтель, мы не можемъ жить вмѣстѣ, апусти меня“; и я обниму его и скажу ему, почему-то по-французски: „Oh, mon père, oh, mon bienfaiteur, donnez moi pour la dernière fois ta bénédiction et que la volonté de Dieu soit faite!“ И я, сидя на сундукѣ, въ темномъ чуланѣ, плачу навзрыдъ при этой мысли. Но вдругъ я вспоминаю постыдное наказаніе, ожидающее меня; дѣйствительность представляется мнѣ въ настоящемъ свѣтѣ, и мечты мгновенно разлетаются.

То я воображаю себя уже на свободѣ, внѣ нашего дома. Я поступаю въ гусары и иду на войну. Со всѣхъ сторонъ на меня несутся враги, я размахиваю саблей и убиваю одного, другой взмахъ—убиваю другого, третьяго. Наконецъ, въ изнуреніи отъ ранъ и усталости, я падаю на землю и кричу: „побѣда!“ Генералъ подъѣзжаетъ ко мнѣ и спрашиваетъ: „гдѣ онъ — нашъ

спаситель?" Ему указывают на меня, онъ бросается мнѣ на шею и съ радостными слезами кричитъ: „побѣда!“ Я выздоравливаю и, съ подвязанной чернымъ платкомъ рукою, гуляю по Тверскому бульвару. Я генералъ! Но вотъ *Государь* встрѣчаетъ меня и спрашиваетъ, кто этотъ израненный молодой человекъ? Ему говорятъ, что это извѣстный герой Николай. Государь подходитъ ко мнѣ и говоритъ: „Благодарю тебя. Я все сдѣлаю, чтобы ты ни просилъ у меня“. Я почтительно кланяюсь и, опираясь на саблю, говорю: „Я счастливъ, великій Государь, что могъ пролить кровь за свое отечество, и желалъ-бы умереть за него; но ежели ты такъ милостивъ, что позволяешь мнѣ просить тебя, прошу объ одномъ—позволь мнѣ уничтожить врага моего, иностранца St-Jerom'a. Мнѣ хочется уничтожить моего врага St-Jerom'a“. Я грозно останавливаюсь передъ St-Jerom'омъ и говорю ему: „Ты сдѣлалъ мое несчастье, а генoux!“ Но вдругъ мнѣ приходитъ мысль, что съ минуты на минуту можетъ войти настоящий St-Jerome съ розгами, и я снова вижу себя не генераломъ, спасающимъ отечество, а самымъ жалкимъ, плачевнымъ созданиемъ.

То мнѣ приходитъ мысль о Богѣ, и я дерзко спрашиваю Его, за что Онъ наказываетъ меня? „Я, кажется, не забывалъ молиться утромъ и вечеромъ, такъ за что-же я страдаю?“ Положительно могу сказать, что первый шагъ къ религіознымъ сомнѣніямъ, тревожившимъ меня во время отрочества, былъ сдѣланъ мною теперь, не потому, чтобы несчастье побудило меня къ ропоту и невѣрію, но потому, что мысль о несправедливости Провидѣнія, пришедшая мнѣ въ голову въ эту пору душевнаго разстройства и суточного уединенія, какъ зерно, послѣ дождя упавшее на промокшую землю, съ быстротой стало разрастаться и пускать корни. То я воображалъ, что я непременно умру и живѣ представлялъ себѣ удивленіе St-Jerom'a, находящаго въ чуланѣ вмѣсто меня безжизненное тѣло. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о томъ, что душа усопшаго до сорока дней не оставляетъ дома, я мысленно послѣ смерти ношуся невидимкой по всѣмъ комнатамъ бабушкинаго дома и подслушиваю искреннія слезы Любочки, сожалѣнія бабушки и разговоръ папа съ Августомъ Антонычемъ. „Онъ славный былъ мальчикъ,—скажетъ папа со слезами на глазахъ“.—„Да,—скажетъ St-Jerome,—но большой повѣса“.—„Вы бы должны уважать мертвыхъ,—скажетъ папа,—вы были причиной его смерти, вы запугали его, онъ не могъ перенести униженія, которое вы готовили ему... Вонъ отсюда, злодѣй!“

И St-Jerome упадетъ на колѣни, будетъ плакать и просить прощенія. Послѣ сорока дней, душа моя улетаетъ на небо; я вижу тамъ что-то удивительно прекрасное, бѣлое, прозрачное, длинное и чувствую что это моя мать. Это что-то бѣлое окружаетъ, ласкаетъ меня, но я чувствую безпокойство и какъ-будто не узнаю ее. „Ежели это точно ты,—говорю я,—то покажись мнѣ лучше, чтобы я могъ обнять тебя“. И мнѣ отвѣчаетъ ея голосъ: „Здѣсь мы всѣ такіа, я не могу лучше обнять тебя. Развѣ тебѣ не хорошо такъ?“ „Нѣтъ, мнѣ очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня и я не могу цѣловать твоихъ рукъ“... „Не надо этого, здѣсь и такъ прекрасно“,—говоритъ она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вмѣстѣ

съ ней летимъ все выше и выше. Тутъ я какъ-будто просыпаюсь и нахожу себя опять на сундукѣ, въ темномъ чуланѣ, съ мокрыми отъ слезъ щеками, безъ всякой мысли, твердящаго слова: *и мы все летимъ выше и выше*. Я долго употребляю всевозможныя усилія, чтобы уяснить свое положеніе, но умственному взору моему представляется въ настоящемъ только одна страшно мрачная, непроницаемая даль. Я стараюсь снова возвратиться къ тѣмъ отраднѣмъ, счастливымъ мечтамъ, которыя прервало сознаніе дѣйствительности; но къ удивленію моему, какъ скоро вхожу въ колею прежнихъ мечтаній, я вижу, что продолженіе ихъ невозможно и, что всего удивительнѣе, не доставляетъ уже мнѣ никакого удовольствія.

Объясненіе съ отцомъ. Папа схватилъ меня за руку и строго сказалъ:

— „Пойдемъ-ка со мной, любезный! Какъ ты смѣлъ трогать портфель въ моемъ кабинетѣ,—сказалъ онъ, вводя меня за собой въ маленькую диванную.—А? что-жъ ты молчишь? А?“—прибавилъ онъ, взявъ меня за ухо. —„Виноватъ,—сказалъ я,—я самъ не знаю, что на меня напало.“—„А не знаешь, что на тебя напало, не знаешь, не знаешь, не знаешь,—повторялъ онъ, съ каждымъ словомъ потрясая мое ухо,—будешь впередъ совать носъ, куда не слѣдуетъ, будешь? будешь?“

Несмотря на то, что я ощущалъ сильнѣйшую боль въ ухѣ, я не плакалъ, а испытывалъ пріятное, моральное чувство. Только-что папа выпустилъ мое ухо, я схватилъ его руку и со слезами принялся покрывать ее поцѣлуями.

— „Бей меня еще,—говорилъ я сквозь слезы,—крѣпче, больнѣе, я негодный, я гадкій, я несчастный человѣкъ!“ — „Что съ тобой?“—сказалъ онъ, слегка отталкивая меня. — „Нѣтъ, ни за что не пойду,—сказалъ я, цѣпляясь за его сюртукъ. — Всѣ ненавидятъ меня, я это знаю, но, ради Бога, ты выслушай меня, защити меня, или выгони изъ дома. Я не могу съ нимъ жить, онъ всячески старается унижить меня, велитъ становиться на колѣни передъ собой, хочетъ высѣчь меня. Я не могу этого, я не маленький, я не перенесу этого, я умру, убью себя. Онъ сказалъ бабушкѣ, что я негодный; она теперь больна, она умретъ отъ меня, я... съ... нимъ... ради Бога, высѣки... за... что... му...чать.“

Слезы душили меня, я сѣлъ на диванъ и, не въ силахъ говорить болѣе, упалъ головой ему на колѣна, рыдая такъ, что мнѣ казалось, я долженъ былъ умереть въ ту же минуту.

— „Объ чемъ ты, пузырь?“—сказалъ папа съ участіемъ, наклоняясь ко мнѣ.—„Онъ мой тиранъ... мучитель... умру... никто меня не любитъ!“—едва могъ проговорить я, и со мной сдѣлались конвульсіи.

Отрочество. Едва-ли мнѣ повѣрятъ, какіе были любимѣйшіе и постояннѣйшіе предметы моихъ размышленій во время моего отрочества, — такъ они были несообразны съ моимъ возрастомъ и положеніемъ. Но по моему мнѣнію, несообразность между положеніемъ человѣка и его моральной дѣятельностью есть вѣрнѣйшій признакъ истины.

Въ продолженіе года, во время котораго я велъ уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ моральную жизнь, всѣ отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представи-

лись мнѣ, и дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую ступень, до которой можетъ достигать умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему.

Мнѣ кажется, что умъ человѣческій въ каждомъ отдѣльномъ лицѣ проходитъ въ своемъ развитіи по тому же пути, по которому онъ развивается и въ цѣлыхъ поколѣніяхъ, что мысли, служившія основаніемъ различныхъ философскихъ теорій, составляютъ нераздѣльныя части ума, но что каждый человѣкъ болѣе или менѣе ясно сознавалъ ихъ еще прежде, чѣмъ зналъ о существованіи философскихъ теорій.

Мысли эти представлялись моему уму съ такою ясностью и поразительностью, что я даже старался примѣнять ихъ къ жизни, воображая, что я *первый* открываю такія великія и полезныя истины.

Разъ мнѣ пришла мысль, что счастье не зависитъ отъ внѣшнихъ причинъ, а отъ нашего отношенія къ нимъ, что человѣкъ, привыкшій переносить страданія, не можетъ быть несчастливъ, и, чтобы приучить себя къ труду, и, несмотря на страшную боль, держалъ по пяти минутъ въ вытянутыхъ рукахъ лексикону Татищева, или уходилъ въ чуланъ и веревкой стегалъ себя по голой спинѣ такъ больно, что слезы невольно выступали на глазахъ.

Другой разъ, вспомнивъ вдругъ, что смерть ожидаетъ меня каждый часъ, каждую минуту, я рѣшилъ, не понимая, какъ не поняли того до сихъ поръ люди, что человѣкъ не можетъ быть иначе счастливъ, какъ пользуясь настоящимъ и не помышляя о будущемъ, — и я для три, подъ влияніемъ этой мысли, бросилъ уроки и занимался только тѣмъ, что, лежа на постели, наслаждался чтеніемъ какого-нибудь романа и фдою припиковъ съ кроновскимъ медомъ, которые я покупалъ на послѣднія деньги.

То разъ, стоя передъ черной доской и рисуя на ней мѣломъ разныя фигуры, я вдругъ былъ пораженъ мыслью: почему симметрія пріятна для глазъ? что такое симметрія? Это врожденное чувство, отвѣчалъ я самъ себѣ. На чемъ же оно основано? Развѣ во всемъ въ жизни симметрія? Напротивъ, вотъ жизнь — и я нарисовалъ на доскѣ овальную фигуру. Послѣ жизни душа переходитъ въ вѣчность; вотъ вѣчность — и я провелъ съ одной стороны овальной фигуры черту до самаго края доски. Отчего-же съ другой стороны нѣтъ такой же черты? Да и въ самомъ дѣлѣ, какая же можетъ быть вѣчность съ одной стороны, мы вѣрно существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о томъ воспоминаніе.

Это разсужденіе, казавшееся мнѣ чрезвычайно новымъ и яснымъ, и котораго связь я съ трудомъ могу уловить теперь, — поправилось мнѣ чрезвычайно и я, взявъ листъ бумаги, вздумалъ письменно изложить его, но при этомъ въ голову мою набралась вдругъ такая бездна мыслей, что я принужденъ былъ встать и пройтись по комнатѣ. Когда я подошелъ къ окну, вниманіе мое обратила водовозка, которую запрягалъ въ это время кучеръ, и всѣ мысли мои сосредоточились на рѣшеніи вопроса: въ какое животное или человѣка перейдетъ душа этой водовозки, когда она околѣетъ? Въ это

время Володя, проходя черезъ комнату, улыбнулся, замѣтивъ, что я размышлялъ о чемъ-то, и этой улыбки мнѣ достаточно было, чтобы понять, что все то, о чемъ я думалъ, была ужаснѣйшая гиль.

Я рассказалъ этотъ почему-то мнѣ памятный случай только затѣмъ, чтобы дать понять читателю о томъ, въ какомъ родѣ были мои умствованія.

Но ни однимъ изъ всѣхъ философскихъ направленій я не увлекался такъ, какъ скептицизмомъ, который одно время довелъ меня до состоянія, близкаго къ сумасшествію. Я воображалъ, что кромѣ меня никого и ничего не существуетъ во всемъ мірѣ, что предметы не предметы, а образы, являющіеся только тогда, когда я на нихъ обращаю вниманіе, и что, какъ скоро я перестаю думать о нихъ, образы эти тотчасъ-же исчезаютъ. Однимъ словомъ я сошелся съ Шеллингомъ въ убѣжденіи, что существуютъ не предметы, а мое отношеніе къ нимъ. Были минуты, что я, подъ вліяніемъ этой *постоянной идеи*, доходилъ до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался въ противоположную сторону, надѣясь врасплохъ застать пустоту (*néant*) тамъ, гдѣ меня не было.

Жалкая, ничтожная пружина моральной дѣятельности—умъ человѣка!

Слабый умъ мой не могъ проникнуть непроницаемаго, а въ непосильномъ трудѣ терялъ одно за другимъ убѣжденія, которыя для счастья моей жизни я никогда-бы не долженъ былъ смѣть затрогивать.

Изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда я не вынесъ ничего, кромѣ изворотливости ума, ослабившей во мнѣ силу воли, и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтожившей свѣжесть чувства и ясность разсудка.

Отвлеченныя мысли образуются вслѣдствіе способности человѣка уловить сознаніемъ въ извѣстный моментъ состояніе души и перенести его въ воспоминаніе. Склонность моя къ отвлеченнымъ размышленіямъ до такой степени неестественно развила во мнѣ сознаніе, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадалъ въ безвыходный кругъ анализа своихъ мыслей, я не думалъ уже о вопросѣ, занимавшемъ меня, а думалъ о томъ, о чемъ я думалъ. Спрашивая себя, о чемъ я думаю? я отвѣчалъ: я думаю, о чемъ я думаю. А теперь о чемъ я думаю? Я думаю, что я думаю, о чемъ я думаю, и такъ далѣе. Умъ за разумъ заходилъ...

Однако философскія открытія, которыя я дѣлалъ, чрезвычайно льстили моему самолюбію: я часто воображалъ себя великимъ человѣкомъ, открывающимъ для блага всего человѣчества новыя истины, и съ гордымъ сознаніемъ своего достоинства смотрѣлъ на остальныхъ смертныхъ; но, странно, приходя въ столкновеніе съ этими смертными, я робѣлъ передъ каждымъ, и чѣмъ выше ставилъ себя въ собственномъ мнѣніи, тѣмъ менѣе былъ способенъ съ другими не только выказывать сознаніе собственного достоинства, но не могъ даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движеніе.

На порогъ университета. Мнѣ весело — ясно и отчетливо связать выученные уроки. Я готовлюсь въ математическій факультетъ, и выборъ этотъ, по правдѣ сказать, сдѣланъ мной единственно потому, что слова: *синусъ*,

тапгенсы, дифференціалы и интегралы и т. д. чрезвычайно нравятся мнѣ.

И гораздо ниже ростомъ Володи, широкоплечъ и мясистъ, по-прежнему дурень и по-прежнему мучусь этимъ. Я стараюсь казаться оригиналомъ. Одно утѣшаетъ меня: это то, что про меня папа сказалъ какъ-то, что у меня *умная рожа*, и я вполне вѣрю въ это.

St-Jérome доволенъ мною, хвалить меня, и я не только не ненавижу его, но, когда онъ иногда говоритъ, что *съ моими способностями, съ моимъ умомъ* стыдно не сдѣлать того-то и того-то, мнѣ кажется даже, что я люблю его.

Вообще, я начинаю понемногу исцѣляться отъ моихъ отроческихъ недостатковъ, исключая, впрочемъ, главнаго, которому суждено надѣлать мнѣ еще много вреда въ жизни,—склонности къ умствованію.

Князь Нехлюдовъ. „Какъ вы думаете: я самолюбивъ?“ — сказалъ онъ, подсаживаясь ко мнѣ.

Несмотря на то, что у меня на этотъ счетъ было составленное мнѣніе, я такъ оробѣлъ отъ этого неожиданнаго обращенія, что не скоро могъ отвѣтить ему.

— „Я думаю, что да,—сказалъ я, чувствуя, какъ голосъ мой дрожить и краска покрываетъ лицо при мысли, что пришло время доказать ему, что я *умный*, — я думаю, что всякій человѣкъ самолюбивъ, и все то, что онъ дѣлаетъ человѣкъ — все изъ самолюбія“. — „Такъ что-же, по-вашему, самолюбіе?“ — сказалъ Нехлюдовъ, улыбаясь нѣсколько презрительно, какъ мнѣ показалось. — „Самолюбіе,—сказалъ я,—есть убѣжденіе въ томъ, что я лучше и умнѣ всѣхъ людей“. — „Да какъ-же могутъ быть всѣ въ этомъ убѣждены?“ — „Ужъ я не знаю, справедливо-ли или нѣтъ, только никто кромѣ меня не признается; я убѣжденъ, что я умнѣ всѣхъ на свѣтѣ и увѣренъ, что вы тоже увѣрены въ этомъ“. — „Нѣтъ, я про себя перваго скажу, что я встрѣчалъ людей, которыхъ признавалъ умнѣ себя“, — сказалъ Нехлюдовъ. — „Не можетъ быть,“ — отвѣчалъ я съ убѣжденіемъ. — „Неужели вы въ самомъ дѣлѣ такъ думаете?“ — сказалъ Нехлюдовъ, пристально вглядываясь въ меня. — „Серьезно,“ — отвѣчалъ я.

И тутъ мнѣ вдругъ пришла мысль, которую я тотчасъ-же высказалъ.

— „Я вамъ это докажу. Отчего мы самихъ себя любимъ больше другихъ?.. Оттого, что мы считаемъ себя лучше другихъ, болѣе достойными любви. Ежели-бы мы находили другихъ лучше себя, то мы бы и любили ихъ болѣе себя, а этого никогда не бываетъ. Ежели и бываетъ, то все-таки я правъ“, — прибавилъ я съ невольной улыбкой самодовольствія.

Нехлюдовъ помолчалъ съ минутой.

— „Вотъ я никакъ не думалъ, чтобы вы были такъ умны!“ — сказалъ онъ мнѣ съ такой добродушной, милой улыбкой, что вдругъ мнѣ показалось, что я чрезвычайно счастливъ.

Похвала такъ могущественно дѣйствуетъ не только на чувство, но и на умъ человѣка, что подъ ея пріятнымъ вліяніемъ мнѣ показалось, что я сталъ гораздо умнѣе, и мысли одна за другой съ необыкновенной быстротой набирались мнѣ въ голову. Съ самолюбія мы незамѣтно перешли къ любви,

и на эту тему разговоръ казался неистощимымъ. Несмотря на то, что наши разсужденія для посторонняго слушателя могли показаться совершенной бессмыслицею—такъ они были неясны и односторонни—для насъ они имѣли высокое значеніе. Души наши такъ хорошо были настроены на одинъ ладъ, что малѣйшее прикосновеніе къ какой-нибудь струнѣ одного находило отголосокъ въ другомъ. Мы находили удовольствіе именно въ этомъ соответственномъ звучаніи различныхъ струнъ, которыя мы затрогивали въ разговорѣ. Намъ казалось, что недостаетъ словъ и времени, чтобы выразить другъ другу всѣ тѣ мысли, которыя просились наружу.

[Въ ихъ дружбѣ наступило-было нѣкоторое охлажденіе. Кн. Нехлюдовъ объяснился].

— „Такъ отчего-же вы ушли отъ Володи? Вѣдь мы давно съ вами не разсуждали. А ужъ я такъ привыкъ, что мнѣ какъ-будто чего-то не хватаетъ“.

Досада моя прошла въ одну минуту, и Дмитрій снова сталъ въ моихъ глазахъ тѣмъ-же добрымъ и милымъ человѣкомъ.

— „Вы, вѣрно, знаете, отчего я ушелъ?“ — сказалъ я. — „Можетъ быть, — отвѣчалъ онъ, усаживаясь подлѣ меня, — но ежели я и догадываюсь, то не могу сказать отчего, а вы такъ можете“, — сказалъ онъ. — „Я и скажу: я ушелъ потому, что былъ сердитъ на васъ... не сердитъ, а мнѣ досадно было. Просто, я всегда боюсь, что вы презираете меня за то, что я еще очень молодъ“. — „Знаете, отчего мы такъ сошлись съ вами, — сказалъ онъ, добродушнымъ и умнымъ взглядомъ отвѣчая на мое признаніе, — отчего я васъ люблю больше, чѣмъ людей, съ которыми больше знакомъ и съ которыми у меня больше общаго? Я сейчасъ рѣшилъ это. У васъ есть удивительное, рѣдкое качество—откровенность“. — „Да, я всегда говорю именно тѣ вещи, въ которыхъ мнѣ стыдно признаться, — подтвердилъ я, — но только тѣмъ, въ комъ я увѣренъ“. — „Да, но чтобы быть увѣреннымъ въ человѣка, надо быть съ нимъ совершенно дружнымъ, а мы съ вами не дружны еще, Nicolas, помните, мы говорили о дружбѣ: чтобы быть истинными друзьями, нужно быть увѣреннымъ другъ въ другѣ“.

W

— „Быть увѣреннымъ въ томъ, что ту вещь, которую я скажу вамъ, уже вы никому не скажете, — сказалъ я. — А вѣдь самыя важныя, интересныя мысли именно тѣ, которыя мы ни за что не скажемъ другъ другу. И какія гадкія мысли! такія подлые мысли, что ежели-бы мы знали, что должны признаваться въ нихъ, онѣ никогда не смѣли-бы заходить къ намъ въ голову“. — „Знаете, какая пришла мнѣ мысль, Nicolas, — прибавилъ онъ, вставая со стула и съ улыбкой потирая руки. — *Сдѣлаемте* это, и вы увидите, какъ это будетъ полезно для насъ обоихъ: дадимъ себѣ слово признаваться во всемъ другъ другу. Мы будемъ знать другъ друга, и намъ не будетъ совѣстно; а для того, чтобы не бояться постороннихъ, дадимъ себѣ слово *никогда ни съ кѣмъ и ничего* не говорить другъ о другѣ. Сдѣлаемте это“. — „Давайте“, — сказалъ я.

И мы дѣйствительно *сдѣлали это*. Что вышло изъ этого, я разскажу послѣ.

Карръ сказалъ, что во всякой привязанности есть двѣ стороны: одна любить, другая позволяетъ любить себя, одна цѣлуетъ, другая подставляетъ

щеку. Это совершенно справедливо; и въ нашей дружбѣ я цѣловаль, а Дмитрій подставлялъ щеку; но и онъ готовъ былъ цѣловать меня. Мы любили ровно, потому что взаимно знали и цѣнили другъ друга; но это не мѣшало ему оказывать вліяніе на меня, а мнѣ подчиняться ему.

Само собою разумѣется, что подъ вліяніемъ Нехлюдова я невольно усвоилъ и его направленіе, сущность котораго составляло восторженное обожаніе идеала добродѣтели и убѣжденіе въ назначеніи человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человѣчество, уничтожить всѣ пороки и несчастія людскія казалось удобоисполнимою вещью,—очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить всѣ добродѣтели и быть счастливымъ...

А впрочемъ, Богъ одинъ знаетъ, точно-ли смѣшны были эти благородныя мечты юности, и кто виноватъ въ томъ, что онѣ не осуществились?..

Л. Толстой.

IX. ВОЙНА И МИРЪ.

Салонъ фрейлины Шереръ. Вскорѣ послѣ маленькой княгини вошелъ массивный, толстый молодой человѣкъ съ стриженою головой, въ очкахъ, свѣтлыхъ панталонахъ по тогдашней модѣ, съ высокимъ жабо и въ коричневомъ фракѣ. Этотъ толстый молодой человѣкъ былъ сынъ знаменитаго Екатерининскаго вельможи, графа Безухаго, умиравшаго теперь въ Москвѣ. Онъ нигдѣ не служилъ еще, только-что пріѣхалъ изъ-за границы, гдѣ онъ воспитывался, и былъ въ первый разъ въ обществѣ. Анна Павловна привѣтствовала его поклономъ, относящимся къ людямъ самой низшей іерархіи въ сія салонѣ. Но несмотря на это, низшее по своему сорту, привѣтствіе, при видѣ вошедшаго Пьера, въ лицѣ Анны Павловны изобразилось безпокойство и страхъ, подобный тому, который, выражается при видѣ чего-нибудь слишкомъ огромнаго и не свойственнаго мѣсту. Хотя дѣйствительно Пьеръ былъ нѣсколько больше другихъ мужчинъ въ комнатѣ, но этотъ страхъ могъ относиться только къ тому умному и выѣстѣ робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его отъ всѣхъ въ этой гостиной.

[Дѣйствительно, Пьеръ оказался не вполне подходящимъ гостемъ: онъ спорилъ черезчуръ горячо и откровенно, некстати вмѣшивался въ разговоръ и слишкомъ его затягивалъ. Аннѣ Павловнѣ онъ доставилъ много заботъ и опасеній].

И отдѣлавшись отъ *молодого человека, не умѣющаго жить*, она возвратилась къ своимъ занятіямъ хозяйки дома и продолжала прислушиваться и *приглядываться*, готовая подать помощь на тотъ пунктъ, гдѣ ослабѣвалъ разговоръ. Какъ хозяйка прядильной мастерской, посадивъ работниковъ по мѣстамъ, прохаживается по заведенію, замѣчая неподвижность или непривычный, скрипящій, слишкомъ громкій звукъ веретена, торопливо идетъ, сдерживаетъ или пускаетъ его въ надлежащій ходъ, такъ и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила къ замолкнувшему или слишкомъ много говорившему кружку и однимъ словомъ или перемѣщеніемъ окаты заводила равномерную, приличную, разговорную машину. Но среди этихъ заботъ все виденъ былъ въ ней особенный страхъ за Пьера. Для Пьера,

воспитаннаго за границей, этот вечеръ Анны Павловны былъ первый, который онъ видѣлъ въ Россіи. Онъ зналъ, что тутъ собрана вся интеллигенція Петербурга, и у него, какъ у ребенка въ игрушечной лавкѣ, разбѣгались глаза. Онъ все боялся пропустить умные разговоры, которые онъ можетъ услышать. Глядя на увѣренныя и изящныя выраженія лицъ, собранныхъ здѣсь, онъ все ждалъ чего-нибудь особенно умнаго.

Пьеръ и Болконскій. Въ гостиную вошло новое лицо. Новое лицо это былъ молодой князь Андрей Болконскій, мужъ маленькой княгини. Князь Болконскій былъ небольшого роста, весьма красивый, молодой человѣкъ съ опредѣленными и сухими чертами. Все въ его фигурѣ, начиная отъ усталого, скучающаго взгляда до тихаго, мѣрнаго шага, представляло самую рѣзкую противоположность съ его маленькою, оживленною женой. Ему, видимо, всѣ бывшіе въ гостиной не только были знакомы, но ужъ надоѣли ему такъ, что и смотрѣть на нихъ и слушать ихъ ему было очень скучно. Изъ всѣхъ-же прискучившихъ ему лицъ, лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всѣхъ ему надоѣло. Съ гримасой, портившею его красивое лицо, онъ отвернулся отъ нея. Онъ поцѣловалъ руку Анны Павловны и, шурясь, оглядѣлъ все общество.

Князь Андрей зажмурился и отвернулся. Пьеръ, со времени входа князя Андрея въ гостиную, не спускавшій съ него радостныхъ дружелюбныхъ глазъ, подошелъ къ нему и взялъ его за руку. Князь Андрей, не оглядываясь, сморщилъ лицо въ гримасу, выражавшую досаду на того, кто трогаетъ его за руку, но, увидавъ улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся нежданно доброй и пріятной улыбкой.

Поблагодаривъ Анну Павловну за ея обворожительный вечеръ, гости стали расходиться.

Пьеръ былъ неуклюжъ. Толстый, выше обыкновеннаго роста, широкій, съ огромными, красными руками, онъ, какъ говорится, не умѣлъ войти въ салонъ и еще менѣе умѣлъ изъ него выйти, то-есть передъ выходомъ сказать что-нибудь особенно пріятное. Кромѣ того, онъ былъ разсѣянъ. Вставая, онъ вмѣсто своей шляпы захватилъ трехъугольную шляпу съ генеральскимъ плюмажемъ и держалъ ее, дергая султанъ до тѣхъ поръ, пока генералъ не попросилъ возвратить ее. Но вся его разсѣянность и неумѣнье войти въ салонъ и говорить въ немъ выкупались выраженіемъ добродушія, простоты и скромности. Анна Павловна повернулась къ нему, и, съ христіанскою кротостью, выражая прощеніе за его выходку, кивнула ему и сказала:

— „Надѣюсь увидать васъ еще, но надѣюсь тоже, что вы перемѣните свои мнѣнія, мой милый monsieur Пьеръ“,—сказала она.

Когда она сказала ему это, онъ ничего не отвѣтилъ, только наклонился и показалъ всѣмъ еще разъ свою улыбку, которая ничего не говорила, развѣ только потъ что: „Мнѣнія мнѣніями, а вы видите, какой я добрый и славный малый“. И всѣ и Анна Павловна невольно почувствовали это.

[Пьеръ въ это время находился подъ обаяніемъ Наполеона, считалъ

его „величайшимъ человѣкомъ“ въ мірѣ. Въ то-же время идея о „вѣчномъ мірѣ“ увлекала его; онъ считалъ ее прекрасной“].

Болконскій о семейной жизни. [Онъ не былъ счастливъ въ свой частной жизни, такъ какъ жена его не подходила къ нему. Съ Безухимъ Болконскій по этому поводу говорилъ слѣдующее]:

— „Никогда, никогда не женись, мой другъ; вотъ тебѣ мой совѣтъ: не женись до тѣхъ поръ, пока ты не скажешь себѣ, что ты сдѣлалъ все, что могъ, и до тѣхъ поръ, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбралъ, пока ты не увидишь ея ясно, а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись старикомъ, никуда негоднымъ... А то пропадетъ все, что въ тебѣ есть хорошаго и высокаго. Все истратится по мелочамъ. Да, да, да! Не смотри на меня съ такимъ удивленіемъ. Если ты ждешь отъ себя чего-нибудь впереди, то на каждомъ шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено, все закрыто, кромѣ гостиней, гдѣ ты будешь стоять на одной доскѣ съ придворнымъ лакеемъ и идиотомъ... Да что!..“

Онъ энергически махнулъ рукой.

Пьеръ снялъ очки, отчего лицо его измѣнилось, еще болѣе выказывая доброту, и удивленно глядѣлъ на друга.

— „Моя жена, — продолжалъ князь Андрей, — прекрасная женщина. Это одна изъ тѣхъ рѣдкихъ женщинъ, съ которою можно быть покойнымъ за свою честь; но, Боже мой, чего бы я не далъ теперь, чтобы не быть женатымъ! Это я тебѣ одному и первому говорю, потому что я люблю тебя“.

Князь Андрей, говоря это, былъ еще менѣе похожъ, чѣмъ прежде, на того Болконскаго, который развалившись сидѣлъ въ креслахъ Анны Павловны и, сквозъ зубы, шурясь, говорилъ французскія фразы. Его сухое лицо все дрожало нервическимъ оживленіемъ каждаго мускула; глаза, въ которыхъ прежде казались потушеннымъ огонь жизни, теперь блестѣли лучистымъ, яркимъ блескомъ. Видно было, что чѣмъ безжизненнѣе казался онъ въ обыкновенное время, тѣмъ энергичнѣе былъ онъ въ эти минуты почти болѣзненного раздраженія.

— „Ты не понимаешь, отчего я это говорю, — продолжалъ онъ. — Вѣдь это цѣлая исторія жизни. Ты говоришь, Бонапарте и его карьера, — сказалъ онъ, хотя Пьеръ и не говорилъ про Бонапарте. — Ты говоришь Бонапарте, но Бонапарте, когда онъ работалъ, шагъ за шагомъ шелъ къ цѣли, онъ былъ свободенъ, у него ничего не было кромѣ его цѣли, и онъ достигъ ея. Но свяжи себя съ женщиной и, какъ скованный колодникъ, теряешь всякую свободу. И все, что есть въ тебѣ надеждъ и силъ, все только тяготитъ и раскаяніемъ мучаетъ тебя. Гостиницы, сплетни, балы, тщеславіе, ничтожество — вотъ заколдованный кругъ, изъ котораго я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гошусь. Я очень любезенъ и зло остроуменъ, — продолжалъ князь Андрей, — и у Анны Павловны меня слушаютъ. И это глупое общество, безъ котораго не можетъ жить моя жена, и эти женщины... Если бы ты только могъ знать, что это такое всѣ эти свѣтскія женщины

и вообще женщины! Отецъ мой правъ. Эгоизмъ, тщеславіе, тупоуміе, ничтожество во всемъ—вотъ женщины, когда показываются всѣ такъ, какъ онѣ есть. Посмотришь на нихъ въ свѣтѣ, кажется, что что-то есть, а ничего, ничего, ничего! Да, не женись, душа моя, не женись!“—кончилъ князь Андрей. — „Мнѣ смѣшно,—сказалъ Пьеръ,—что *вы себя, вы себя* считаете неспособнымъ, свою жизнь—испорченною жизнью. У васъ все, все впереди. И вы...”

Онъ не сказалъ *что вы*, но ужъ тонъ его показывалъ, какъ высоко цѣнитъ онъ друга и какъ много ждетъ отъ него въ будущемъ.

„Какъ онъ можетъ это говорить!“ — думалъ Пьеръ. Пьеръ считалъ князя Андрея образцомъ всѣхъ совершенствъ именно оттого, что князь Андрей въ высшей степени соединялъ всѣ тѣ качества, которыхъ не было у Пьера, и которыя ближе всего можно выразить понятіемъ — силы воли. Пьеръ всегда удивлялся способности князя Андрея спокойнаго обращенія со всякаго рода людьми, его необыкновенной памяти, начитанности (онъ все читалъ, все зналъ, обо всемъ имѣлъ понятіе) и больше всего его способности работать и учиться. Ежели часто Пьера поражало въ Андрей отсутствіе способности мечтательнаго философствованія (къ чему особенно былъ склоненъ Пьеръ), то и въ этомъ онъ видѣлъ не недостатокъ, а силу.

Князь Андрей добрыми глазами смотрѣлъ на него. Но во взглядѣ его, дружескомъ, ласковомъ, все-таки выражалось сознаніе своего превосходства.

— „Ты мнѣ дорогъ особенно потому, что ты одинъ живой человѣкъ среди всего нашего свѣта. Тебѣ хорошо. Выбери, что хочешь, это все равно. Ты вездѣ будешь хорошъ, но одно: перестань ты ѣздить къ этимъ Курагинымъ, вести эту жизнь. Такъ это не идетъ тебѣ: всѣ эти кутежи, и гусарство, и все...” — „Что дѣлать, мой другъ,—сказалъ Пьеръ, пожимая плечами,—женщины, мой другъ, женщины!“ — „Не понимаю,—отвѣчалъ Андрей. —Порядочныя женщины, это другое дѣло, но женщины Курагина, женщины и вино, не понимаю!“

Пьеръ жилъ у князя Василія Курагина и участвовалъ въ разгульной жизни его сына Анатоля, того самаго, котораго, для исправленія, собирались женить на сестрѣ князя Андрея.

— „Знаете что,—сказалъ Пьеръ, какъ будто ему пришла неожиданно счастливая мысль, —серьезно, я давно это думалъ. Съ этою жизнью я ничего не могу ни рѣшить, ни обдумать. Голова болить, денегъ нѣтъ. Нынче онъ меня звалъ, я не поѣду“.—„Дай мнѣ честное слово, что ты не будешь ѣздить?“—„Честное слово!“

Но тотчасъ же, какъ это бываетъ съ людьми, называемыми безхарактерными, ему такъ страстно захотѣлось еще разъ испытать эту столь знакомую ему безпутную жизнь, что онъ рѣшился ѣхать. И тотчасъ же ему пришла въ голову мысль, что данное слово ничего не значитъ, потому что еще прежде, чѣмъ князю Андрею, онъ далъ также князю Анатолю слово быть у него; наконецъ онъ подумалъ, что всѣ эти честныя слова такія условныя вещи, не имѣющія никакого опредѣленнаго смысла, особенно ежели

сообразить, что можетъ быть завтра же или онъ умереть, или случится съ нимъ что-нибудь такое необыкновенное, что не будетъ уже ни честнаго, ни безчестнаго. Такого рода разсужденія, уничтожая всѣ его рѣшенія и предположенія, часто приходили Пьеру. Онъ поѣхалъ къ Курагину.

[У Курагина пьянствовала гвардейская молодежь. Кутежъ кончился поѣздой всѣхъ присутствующихъ на тройкахъ и крупнымъ скандаломъ].

Наташа Ростова. Наступило молчаніе. Графиня глядѣла на гостью, пріятно улыбаясь, впрочемъ не скрывая того, что не огорчится теперь ни-сколько, если гостя поднимется и уѣдетъ. Дочь гостя уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, какъ вдругъ изъ сосѣдней комнаты послышался бѣгъ къ двери нѣсколькихъ мужскихъ и женскихъ ногъ, грохотъ зацѣпленнаго и поваленнаго стула, и въ комнату вбѣжала тринадцатилѣтняя дѣвочка, запахнувъ что-то короткою кисейною юбкою, и остановилась по срединѣ комнаты. Очевидно было, она нечаянно, съ нерасчитаннаго бѣга, заскочила такъ далеко. Въ дверяхъ, въ ту же минуту, показались студентъ съ малиновымъ воротникомъ, гвардейскій офицеръ, пятнадцатилѣтняя дѣвочка и толстый румяный мальчикъ въ дѣтской курточкѣ.

Графъ вскочилъ и, раскачиваясь, широко разставилъ руки вокругъ вбѣжавшей дѣвочки. — „А, вотъ она! — смѣясь закричалъ онъ. — Именинница! моя милая именинница!“ — „Милая, на все есть время, — сказала графиня, притворяясь строгою. — Ты ее все балуешь, Elie“, — прибавила она мужу.

Черпоглазая, съ большимъ ртомъ, некрасивая, но живая дѣвочка, съ своими дѣтскими, открытыми плечиками, которыя, сжимаясь, двигались въ своемъ корсажѣ отъ быстрого бѣга, съ своими сбившимися назадъ черными кудрями, тоненькими, оголенными руками и маленькими ножками въ кружевныхъ панталончикахъ и открытыхъ башмачкахъ, была въ томъ миломъ возрастѣ, когда дѣвочка уже не ребенокъ, а ребенокъ еще не дѣвушка. Вывернувшись отъ отца, она подбѣжала къ матери и, не обращая никакого вниманія на ея строгое замѣчаніе, спрятала свое раскрасѣвшееся лицо въ кружевахъ материной мантильи и засмѣялась. Она смѣялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула изъ-подъ юбочки.

— „Видите?... Кукла... Мими... Видите“. — И Наташа не могла больше говорить (ей все смѣшно казалось). Она упала на мать и расхохоталась такъ громко и звонко, что всѣ, даже чопорная гостя, противъ воли засмѣялись. — „Ну, поди, поди съ своимъ уродомъ!“ — сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь. — „Это моя меньшая“, — обратилась она къ гостѣ. Наташа, оторвавъ на минуту лицо отъ кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу, сквозь слезы смѣха и опять спрятала лицо.

Болконскій - старикъ. [Старикъ былъ суровъ и непреклонной воли. Его странности дѣлали его очень тяжелымъ для всѣхъ, особенно для тихой и робкой дочери его Маріи, которая безвыѣздно жила съ нимъ въ деревнѣ. Каждый день князь занимался со своей взрослой дочерью, требуя, напротивъ, отъ нея, чтобы она упорно занималась геометрией и другими математическими науками. Ученица робѣла, учитель кипятился].

Княжна испуганно взглядывала на близко отъ нея блестящіе глаза

отца; красныя пятна переливались по ея лицу, и видно было, что она ничего не понимает и такъ боится, что страхъ помѣшаетъ ей понять всѣ дальнѣйшія толкованія отца, какъ бы ясны они ни были. Виноватъ ли былъ учитель, или виновата была ученица, но каждый день повторялось одно и то же: у княжны мутилось въ глазахъ, она ничего не видѣла, не слышала, только чувствовала близко подлѣ себя сухое лицо строгаго отца, чувствовала его дыханіе и запахъ, и только думала о томъ, какъ бы ей уйти поскорѣе изъ кабинета и у себя на просторѣ понять задачу. Старикъ выходилъ изъ себя: съ грохотомъ отодвигалъ и придвигалъ кресло, на которомъ самъ сидѣлъ, дѣлалъ усилія надъ собой, чтобы не разгорячиться, и почти всякій разъ горячился, бранился, а иногда швырялъ тетрадь.

Княжна ошиблась отвѣтомъ.

— „Ну, какъ же не дура! — крикнулъ князь, оттолкнувъ тетрадь и быстро отвернувшись; но тотчасъ же всталъ, прошелся, дотронулся руками до волосъ княжны и снова сѣлъ. Онъ придвинулся и продолжалъ толкованіе. — Нельзя, княжна, нельзя, — сказалъ онъ, когда княжна, взявъ и закрывъ тетрадь съ заданными уроками, уже готовилась уходить, — математика великое дѣло, моя сударыня. А чтобы ты была похожа на нашихъ глупыхъ барынь, я не хочу. Стерпится-слюбится“. — Онъ потрепалъ ее рукой по щекѣ.

Княжна Марья возвратилась въ свою комнату съ грустнымъ, испуганнымъ выраженіемъ, которое рѣдко покидало ее и дѣлало ея некрасивое болѣзненное лицо еще болѣе некрасивымъ, и сѣла за свой письменный столъ, уставленный миниатюрными портретами и заваленный тетрадями и книгами. Княжна была столь же беспорядочна, какъ отецъ ея породченъ. Она положила тетрадь геометріи и нетерпѣливо распечатала письмо. Письмо было отъ ближайшаго съ дѣтства друга княжны; другъ этотъ была та самая Жюли Курагина, которая была на именинахъ у Ростовыхъ.

Кн. Марья [замѣтивъ, что братъ почти холоденъ къ своей молодой женѣ, пыталась его заставить иначе относиться къ женѣ].

— „Ахъ, Андрей! какое сокровище твоя жена, — сказала она, усаживаясь на диванъ противъ брата. — Она совершенный ребенокъ, такой милый, веселый ребенокъ. Я такъ ее полюбила“. — Князь Андрей молчалъ, но княжна замѣтила ироническое и презрительное выраженіе, появившееся на его лицѣ. — „Но надо быть снисходительнымъ къ маленькимъ слабостямъ; у кого ихъ нѣтъ, Андрей! Ты не забудь, что она воспитана и выросла въ свѣтѣ. И потому ея положеніе теперь не розовое. Надобно входить въ положеніе каждаго. „Кто все пойметъ, тотъ все и проститъ“. Ты подумай, каково ей бѣдняжкѣ послѣ жизни, къ которой она привыкла, разстаться съ мужемъ и остаться одной въ деревнѣ и въ ея положеніи? Это очень тяжело“.

Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, какъ мы улыбаемся, слушая людей, которыхъ, намъ кажется, что мы насквозь видимъ.

— „Ты живешь въ деревнѣ и находишь эту жизнь ужасною?“ — сказалъ онъ. — „Я — другое дѣло. Что обо мнѣ говорить! Я не желаю другой жизни, да и не могу желать, потому что не знаю никакой другой жизни. А ты подумай, Андрей, для молодой и свѣтской женщины похорониться въ лучшіе

годы жизни въ деревнѣ, одной, потому что папенька всегда занятъ, а я... ты меня знаешь... какъ я не весела для женщины, привыкшей къ лучшему обществу. Mademoiselle Бурьенъ одна"...—„Ну, а по правдѣ, Мари, тебѣ, я думаю, тяжело иногда бываетъ отъ характера отца?"—вдругъ спросилъ князь Андрей. Княжна Марья сначала удивилась, потомъ испугалась этого вопроса.—„Мнѣ?.. Мнѣ?.. Мнѣ тяжело?"—сказала она.—„Онъ и всегда былъ крутъ, а теперь тяжелѣ становится, я думаю",—сказалъ князь Андрей видимо нарочно, чтобъ озадачить или испытать сестру, такъ легко отзываясь объ отцѣ.—„Ты всемъ хороша, Андрей, но у тебя есть какая-то гордость мысли",—сказала княжна, больше слѣдуя за своимъ ходомъ мыслей, чѣмъ за ходомъ разговора, — и это большой грѣхъ. Развѣ возможно судить объ отцѣ? Да ежели-бы и возможно было, какое другое чувство кромѣ благоговѣнія можетъ возбудить такой человѣкъ, какъ батюшка? И я такъ довольна и счастлива съ нимъ. И только желала-бы, чтобы вы все были счастливы, какъ я".

[Прощаясь съ братомъ, уѣзжавшимъ на войну, кн. Марья дала ему образокъ].

— „Андрей, я тебя благословлю образомъ, и ты обѣдай мнѣ, что никогда его не будешь снимать... Обѣдаешь?"—„Ежели онъ не въ два пуда и шею не оттянетъ... Чтобы тебѣ сдѣлать удовольствіе...—сказалъ князь Андрей, но въ ту же минуту, замѣтивъ огорченное выраженіе, которое приняло лицо сестры при этой шуткѣ, онъ раскаялся.—Очень радъ, право очень радъ, мой другъ",—прибавилъ онъ.—„Противъ твоей воли Онъ спасетъ и помилюетъ тебя и обратитъ тебя къ Себѣ, потому что въ Немъ одномъ и истина и успокоеніе",—сказала она дрожащимъ отъ волненія голосомъ, съ торжественнымъ жестомъ держа въ обѣихъ рукахъ предъ братомъ овальный старинный образокъ Спасителя съ чернымъ ликомъ, въ серебряной ризѣ на серебряной цѣпочкѣ мелкой работы. Она перекрестилась, поцѣловала образокъ и подала его Андрею. — Пожалуйста, Андрей, для меня"...

Изъ большихъ глазъ ея свѣтились лучи добраго и робкаго свѣта. Глаза эти освѣщали все болѣзненное, худое лицо и дѣлали его прекраснымъ. Братъ хотѣлъ взять образокъ, но она остановила его. Андрей понялъ, перекрестился и поцѣловалъ образокъ. Лицо его въ одно и то же время было нѣжно (онъ былъ тронутъ) и насмѣшливо.

— „Благодарю тебя, мой другъ.—Она поцѣловала его въ лобъ и опять сѣла на диванъ. Они молчали.—Такъ я тебѣ говорила, Андрей, будь добръ и великодушенъ, какимъ ты всегда былъ. Не суди строго Лизу, — начала она.—Она такъ мила, такъ добра, и положеніе ея очень тяжело теперь".— „Знай одно, Маша, я ни въ чемъ не могу упрекнуть, не упрекалъ и никогда не упрекну мою жену и самъ ни въ чемъ себя не могу упрекнуть въ отношеніи къ ней, и это всегда такъ будетъ, въ какихъ-бы я ни былъ обстоятельствахъ. Но ежели ты хочешь знать правду... хочешь знать, счастлива-ли я? Нѣтъ. Счастлива-ли она? Нѣтъ. Отчего это? Не знаю".

Говоря это, онъ всталъ, подошелъ къ сестрѣ и, нагнувшись, поцѣловалъ ее въ лобъ. Прекрасные глаза его свѣтились умнымъ и добрымъ не-

привычнымъ блескомъ, но онъ смотрѣлъ не на сестру, а въ темноту отвернутой двери, черезъ ея голову.

Глаза княжны, большіе, глубокіе и лучистые (какъ-будто лучи теплаго свѣта иногда снопами выходили изъ нихъ), были такъ хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти дѣлались привлекательными красоты. Но княжна никогда не видѣла хорошаго выраженія своихъ глазъ, того выраженія, которое они принимали въ тѣ минуты, когда она не думала о себѣ. Какъ и у всѣхъ людей, лицо ея принимало натянуто-нестественное, дурное выраженіе, какъ скоро она смотрѣлась въ зеркало.

Прощанье съ отцомъ. Когда князь Андрей вошелъ въ кабинетъ, старшій князь въ стариковскихъ очкахъ и въ своемъ бѣломъ халатѣ, въ которомъ онъ никого не принималъ, кромѣ сына, сидѣлъ за столомъ и писалъ. Онъ оглянулся.

— „Гдѣшь?“—И онъ опять сталъ писать.—„Пришелъ проститься“.—„Цѣлуй сюда,—онъ показалъ щеку,—спасибо, спасибо!“—„За что вы меня благодарите?“—За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо!—И онъ продолжалъ писать, такъ что брызги летѣли съ трещащаго пера.—Ежели нужно сказать что, говори. Эти два дѣла могу дѣлать вмѣстѣ“,—прибавилъ онъ.—„О женѣ... Мнѣ и такъ совѣстно, что я вамъ ее на руки оставляю“...—„Что врешь? Говори, что нужно“.—„Когда женѣ будетъ время родить, пошлите въ Москву за акушеромъ... Чтобъ онъ тутъ былъ“.

Старшій князь остановился, и какъ-бы не понимая, уставился строгими глазами на сына.

— „Я знаю, что никто помочь не можетъ, коли натура не поможетъ“,—говорилъ князь Андрей, видимо смущенный,—согласенъ, что изъ милліона случаевъ одинъ бываетъ несчастный, но это ея и моя фантазія. Ей наговорили, она во снѣ видѣла, и она боится“.—„Гм... гм...—проговорилъ про себя старшій князь, продолжая дописывать.—Сдѣлаю.—Онъ расчеркнулъ подпись, вдругъ быстро повернулся къ сыну и засмѣялся.—Плохо дѣло, а?“—„Что плохо, батюшка?“—„Жена!“,—коротко и значительно сказалъ старшій князь.—„Я не понимаю“,—сказалъ князь Андрей.—„Да, нечего дѣлать, дружокъ“,—сказалъ князь,—онъ всѣ такія, не разженишься. Ты не бойся, никому не скажу, а ты самъ знаешь“.

Онъ схватилъ его за руку своею костлявою маленькою кистью, потрясъ ее, взглянулъ прямо въ лицо сына своими быстрыми глазами, которые, какъ казалось, насквозь видѣли человѣка, и опять засмѣялся своимъ холоднымъ смѣхомъ.

— „Ну, теперь прощай!—Онъ далъ поцѣловать сыну свою руку и обнялъ его.—Помни одно, князь Андрей, коли тебя убьютъ, мнѣ, старшему, больно будетъ...—Онъ неожиданно замолчалъ и вдругъ крикливымъ голосомъ продолжалъ,—а коли узнаю, что ты повелъ себя не какъ сынъ Николая Болконскаго, мнѣ будетъ... стыдно“,—взвизгнувъ онъ.

Болконскій на войнѣ. Въ штабѣ Кутузова, между товарищами-сослуживцами и вообще въ арміи, князь Андрей такъ-же, какъ и въ петербургъ-

скомъ обществѣ, имѣлъ двѣ совершенно противоположныя репутаціи. Одни, меньшая часть, признавали князя Андрея чѣмъ-то особеннымъ отъ себя и отъ всѣхъ другихъ людей, ожидали отъ него большихъ успѣховъ, слушали его, восхищались имъ и подражали ему; и съ этими людьми князь Андрей былъ простъ и пріятель. Другіе, большинство, не любили князя Андрея, считали его надутымъ, холоднымъ и непріятнымъ человекомъ. Но съ этими людьми князь Андрей умѣлъ поставить себя такъ, что его уважали и даже боялись.

Князь Андрей былъ одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ офицеровъ въ штабѣ, который полагалъ свой главный интересъ въ общемъ ходѣ военного дѣла. Увидавъ Мака и услышавъ подробности его гибели, онъ понялъ, что половина кампаніи проиграна, понялъ всю трудность положенія русскихъ войскъ и живо вообразилъ себѣ то, что ожидаетъ армію, и ту роль, которую онъ долженъ будетъ играть въ ней. Невольно онъ испытывалъ волнующее радостное чувство при мысли о посрамленіи самонадѣянной Австріи, и о томъ, что черезъ недѣлю, можетъ быть, придется ему увидѣть и принять участіе въ столкновеніи русскихъ съ французами, впервые послѣ Суворова. Но онъ боялся генія Бонапарта, который могъ оказаться сильнѣе всей храбрости русскихъ войскъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ не могъ допустить позора для своего героя.

Взволнованный и раздраженный этими мыслями, князь Андрей пошелъ въ свою комнату, чтобы написать отцу, которому онъ писалъ каждый день. Онъ сошелся въ корридорѣ съ своимъ сожителемъ Несвицкимъ и путникомъ Жерковымъ; они, какъ всегда, чему-то смѣялись.

[Глубоко чувствующій, нервный и раздражительный Болконскій встрѣтился съ молодымъ офицеромъ Жерковымъ, который паясничалъ, передразнивалъ другихъ].

То нервное раздраженіе, въ которое его привели видъ Мака, извѣстіе объ его пораженіи и мысли о томъ, что ожидаетъ русскую армію, нашли себѣ исходъ въ озлобленіи на неумѣстную шутку Жеркова.

— „Если вы, милостивый государь,—заговорилъ онъ проницательно съ легкимъ дрожаніемъ нижней челюсти,—хотите быть *шутомъ*, то я вамъ въ этомъ не могу воспрепятствовать, но объявляю вамъ, что если вы *осмѣлитесь* другой разъ скоморошничать въ моемъ присутствіи, то я васъ научу какъ вести себя“. — „Ну, что ты, братецъ!“ — успокаивая, сказалъ Несвицкій. — „Какъ что?—заговорилъ князь Андрей, останавливаясь отъ волненія. — Да ты пойми, что мы—или офицеры, которые служимъ своему царю и отечеству и радуемся общему успѣху и печалимся объ общей неудачѣ, или мы лакеи, которымъ дѣла нѣтъ до господскаго дѣла. Сорокъ тысячъ человекъ погибло, и союзная намъ армія уничтожена, а вы можете при этомъ шутить, — сказалъ онъ, какъ-будто этой французской фразой закрѣпляя свое мнѣніе. — Это простиительно ничтожному мальчишкѣ, какъ вотъ этотъ господинъ, котораго вы сдѣлали себѣ другомъ, но не вамъ, не вамъ. *Мальчишкамъ* только можно такъ забавляться“, — прибавилъ князь Андрей по-русски, выговаривая это слово съ французскимъ акцентомъ, замѣтивъ, что Жерковъ могъ еще

слушать его. Онъ подождать, не отвѣтитъ-ли что корнетъ. Но корнетъ повернулся и вышелъ изъ коридора.

Ростовъ въ первый разъ на полъ сраженія. Онъ стоялъ и оглядывался, какъ вдругъ затрещало по мосту будто разсыпанные орѣхи, и одинъ изъ гусаръ, ближе всѣхъ бывшій отъ него, со стономъ упалъ на перила. Ростовъ подбѣжалъ къ нему вмѣстѣ съ другими. Опять закричалъ кто-то: „Носилки!“ Гусара подхватили четыре человѣка и стали поднимать.

— „Оооо!.. Бросьте, ради Христа,“—закричалъ раненый, но его все-таки подняли и положили. Николай Ростовъ отвернулся, и какъ будто отыскивая чего-то, сталъ смотрѣть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Какъ хорошо показалось небо, какъ голубо, спокойно и глубоко! Какъ ярко и торжественно опускающееся солнце! Какъ ласково-глянцовито блестѣла вода въ далекомъ Дунаѣ! И еще лучше были далекія, голубѣющія за Дунаемъ горы, монастырь, таинственныя ущелья, залитые до макушъ туманомъ сосновые лѣса... тамъ тихо, счастливо... „Ничего, ничего-бы я не желалъ, ничего-бы не желалъ, ежели-бы я только былъ тамъ, — думалъ Ростовъ. — Во мнѣ одномъ и въ этомъ солнцѣ такъ много счастья, а тутъ... стоны страданія, страхъ, и эта неясность, эта поспѣшность... Вотъ опять кричатъ что-то, и опять всѣ побѣжали куда-то назадъ, и я побѣгу съ ними и вотъ она, вотъ она смерть надо мной, вокругъ меня... Мгновенье, и я никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья...“ Въ эту минуту солнце стало скрываться за тучами; впереди Ростова показались другія носилки. И страхъ смерти и носилокъ и любовь къ солнцу и жизни, все слилось въ одно болѣзненно-тревожное впечатлѣнїе.

„Господи Боже! Тотъ, кто тамъ въ этомъ небѣ, спаси, прости и защити меня!“—прошепталъ про себя Ростовъ.

Гусары подбѣжали къ коноводамъ, голоса стали громче и спокойнѣе, носилки скрылись изъ глазъ.

— „Что, братъ, понюхалъ пороху?..“ — прокричалъ ему надъ ухомъ голосъ Васьки Денисова.

„Все кончилось, но я трусь, да, я трусь,“—подумалъ Ростовъ и, тяжело вздыхая, взялъ изъ рукъ коновода своего оставившаго ноту Грачика и сталъ садиться.

— „Что это было, картечь?“—спросилъ онъ у Денисова. — „Да еще какая!—прокричалъ Денисовъ, — молодцами работали! А работа скверная! Атака — любезное дѣло, рубай въ пени, а тутъ чортъ знаетъ что, бьютъ какъ въ мишень.“—И Денисовъ отбѣжалъ къ остановившейся недалеко отъ Ростова группѣ: полкового командира, Несвицкаго, Жеркова и свитскаго офицера.

„Однако, кажется, никто не замѣтилъ,“ — думалъ про себя Ростовъ. И дѣйствительно никто ничего не замѣтилъ, потому что каждому было знакомо то чувство, которое испыталъ въ первый разъ необстрѣленный юнкеръ.

— „Вотъ вамъ реляція и будетъ,“—сказалъ Жерковъ, — глядишь и меня въ подпоручики произведутъ.“—„Доложите кнезу, что я мостъ зажигаю,“—

сказалъ полковникъ торжественно и весело. — „А коли про потерю спросить?“ — „Пустячокъ! — пробасилъ полковникъ, — два гусара ранено, и одинъ *наповалъ*,“ — сказалъ онъ съ видимою радостью, не въ силахъ удержаться отъ счастливой улыбки, звучко отрубая красивое слово *наповалъ*.

Кутузовъ. Кутузовъ, съ своимъ орлинымъ носомъ на пухломъ лицѣ, показался на порогѣ. Князь Андрей стоялъ прямо противъ Кутузова; но, по выраженію единственного зрячаго глаза главнокомандующаго, видно было, что мысль и забота такъ сильно занимали его, что какъ будто застилали ему зрѣніе. Онъ прямо смотрѣлъ на лицо своего адъютанта и не узнавалъ его.

— „Ну, князь, прощай, — сказалъ онъ Багратиону. — Христосъ съ тобой. Благословляю тебя на великій подвигъ“.

Лицо Кутузова неожиданно смягчилось, и слезы показались на его глазахъ. Онъ притянулъ къ себѣ лѣвою рукой Багратиона, а правою, на которой было кольцо, видимо привычнымъ жестомъ перекрестилъ его и поставилъ ему пухлую щеку, вмѣсто которой Багратионъ поцѣловалъ его въ щеку.

— „Христосъ съ тобой! — повторилъ Кутузовъ и подошелъ къ колунамъ. — Садись со мной,“ — сказалъ онъ Болконскому. — „Ваше высокопревосходительство, я желалъ-бы быть полезень здѣсь. Позвольте мнѣ остаться въ отрядѣ князя Багратиона.“ — „Садись, — сказалъ Кутузовъ, замѣтивъ, что Болконскій медлитъ, — мнѣ хорошіе офицеры самому нужны, самому нужны“.

Они сѣли въ коляску и молча проѣхали нѣсколько минутъ.

— „Еще впереди много, много всего будетъ, — сказала онъ со старческимъ выраженіемъ проницательности, какъ будто понявъ все, что дѣлалось въ душѣ Болконскаго. — Ежели изъ отряда его придетъ завтра одна десятая часть, я буду Бога благодарить,“ — прибавилъ Кутузовъ, какъ-бы говоря самъ съ собой.

Князь Андрей взглянулъ на Кутузова, и ему невольно бросились въ глаза, въ полуаршинѣ отъ него, чисто промытыя сборки шрама на вискѣ Кутузова, гдѣ измаильская пуля пронизала ему голову, и его вытекшій глазъ. „Да, онъ имѣетъ право такъ спокойно говорить о гибели этихъ людей!“ — подумалъ Болконскій.

— „Отъ этого я и прошу отправить меня въ этотъ отрядъ,“ — сказалъ онъ.

Кутузовъ не отвѣтилъ. Онъ, казалось, уже забылъ о томъ, что было сказано имъ, и сидѣлъ задумавшись. Черезъ пять минутъ, плавно раскачиваясь на мягкихъ рессорахъ коляски, Кутузовъ обратился къ князю Андрею. На лицѣ его не было и слѣда волненія. Онъ съ тонкою насмѣшливостью разспрашивалъ князя Андрея о подробностяхъ его свиданія съ императоромъ, объ отъѣздахъ, слышанныхъ при дворѣ о Кремескомъ дѣлѣ и о некоторыхъ общихъ знакомыхъ женщинахъ.

Сраженіе. Выраженіе: „началось! вотъ оно!“ было даже и на крѣпкихъ, каремъ лицѣ князя Багратиона, съ полузакрытыми, мутными, какъ будто не выспавшимися глазами. Князь Андрей съ безпокойнымъ любопыт-

ствомъ вглядывался въ это неподвижное лицо и ему хотѣлось знать: думаетъ-ли и чувствуетъ, и что думаетъ, что чувствуетъ этотъ человѣкъ въ эту минуту. „Есть-ли вообще что-нибудь тамъ, за этимъ неподвижнымъ лицомъ?“—спрашивалъ себя князь Андрей, глядя на него. Князь Багратионъ наклонилъ голову въ знакъ согласія на слова князя Андрея и сказалъ: „хорошо“, съ такимъ выраженіемъ, какъ будто все то, что происходило и что ему сообщали, было именно то, что онъ уже предвидѣлъ. Князь Андрей, запыхавшись отъ быстроты ѣзды, говорилъ быстро. Князь Багратионъ произносилъ слова съ своимъ восточнымъ акцентомъ, особенно медленно, какъ-бы внушая, что торопиться некуда.

— „Что-жъ это упало?“—наивно улыбаясь, спросилъ аудиторъ. — „Лепешки французскія,“—сказалъ Жерковъ. — „Этимъ-то бьютъ, значить?“—спросилъ аудиторъ. — „Страсть-то кака!“—И онъ, казалось, распускался весь отъ удовольствія. Едва онъ договорилъ, какъ опять раздался неожиданно страшный свистъ, вдругъ прекратившійся ударомъ во что-то жидкое и ш-ш-ш-шлепъ—казакъ, ѣхавшій нѣсколько правѣе и сзади аудитора, съ лошадыю рухнулъ на землю. Жерковъ и дежурный штабъ-офицеръ прыгнули къ сѣдламъ и прочь поворотили лошадей. Аудиторъ остановился противъ казака, со внимательнымъ любопытствомъ разсматривая его. Казакъ былъ мертвъ, лошадь еще билась.

Князь Багратионъ прищурившись оглянулся, и увидавъ причину происшедшаго замѣшательства, равнодушно отвернулся, какъ будто говоря: стоитъ-ли глупостями заниматься! Онъ остановилъ лошадь, съ пріемомъ хорошаго ѣздока, нѣсколько перегнулся и выправилъ зацѣпившуюся за бурку шпагу. Шпага была старинная, не такая, какія носились теперь. Князь Андрей вспомнилъ рассказъ о томъ, какъ Суворовъ въ Италіи подарилъ свою шпагу Багратиону, и ему въ эту минуту особенно пріятно было это воспоминаніе. Они подъѣхали къ той самой батарее, у которой стоялъ Бонконскій, когда разсматривалъ поле сраженія.

— „Чья рота?“ — спросилъ князь Багратионъ у фейерверкера, стоявшаго у ящиковъ.

Онъ спрашивалъ: чья рота? а въ сущности онъ спрашивалъ: ужъ не робѣете-ли вы тутъ? И фейерверкеръ понялъ это.

— „Капитана Тушина, ваше превосходительство,“ — вытягиваясь закричалъ веселымъ голосомъ рыжій, съ покрытымъ веснушками лицомъ фейерверкеръ. — „Такъ, такъ,“ — проговорилъ Багратионъ, что-то соображая, и мимо передковъ проѣхалъ къ крайнему орудію.

Никто не приказывалъ Тушину куда и чѣмъ стрѣлять, и онъ, посоветовавшись съ своимъ фельдфебелемъ Захарченкомъ, къ которому имѣлъ большое уваженіе, рѣшилъ, что хорошо было-бы зажечь деревню. „Хорошо!“—сказалъ Багратионъ на докладъ офицера, и сталъ оглядывать все открывавшееся предъ нимъ поле сраженія, какъ-бы что-то соображая. Съ правой стороны ближе всего подошли французы. Пониже высоты, на которой стоялъ Кіевскій полкъ, въ долину рѣчки, слышалась хватающая за душу перекатная трескотня ружей, и гораздо правѣе, за драгунами, свитскій офи-

церь указывалъ князю на обходившую нашъ флангъ колонну французовъ. Налѣво горизонтъ ограничивался близкимъ лѣсомъ. Князь Багратіонъ приказалъ двумъ баталіонамъ изъ центра идти на подкрѣпленіе, направо. Свитскій офицеръ осмѣлился замѣтить князю, что по уходѣ этихъ баталіоновъ орудія останутся безъ прикрытія. Князь Багратіонъ обернулся къ свитскому офицеру и тусклыми глазами посмотрѣлъ на него молча. Князю Андрею казалось, что замѣчаніе свитскаго офицера было справедливо, и что дѣйствительно сказать было нечего. Но въ это время прискакалъ адъютантъ отъ полкового командира, бывшаго въ лощинѣ, съ извѣстіемъ, что огромныя массы французовъ шли низомъ, что полкъ разстроенъ и отступаетъ къ кievскимъ гренадерамъ. Князь Багратіонъ наклонилъ голову въ знакъ согласія и одобренія. Шагомъ поѣхалъ онъ направо и послалъ адъютанта къ драгунамъ съ приказаніемъ атаковать французовъ. Но посланный туда адъютантъ пріѣхалъ черезъ полчаса съ извѣстіемъ, что драгунскій полковой командиръ уже отступилъ за оврагъ, ибо противъ него былъ направленъ сильный огонь, и онъ понапрасну терялъ людей, и потому спѣшили стрѣлковъ въ лѣсъ.

— „Хорошо!“—сказалъ Багратіонъ.

Въ то время, какъ онъ отъѣзжалъ отъ батареи, налѣво тоже послышались выстрѣлы въ лѣсу, и такъ какъ было слишкомъ далеко до лѣваго фланга, чтобъ успѣть самому пріѣхать во-время, князь Багратіонъ послалъ туда Жеркова сказать старшему генералу, тому самому, который представлялъ полкъ Кутузову въ Браунау, чтобъ онъ отступилъ сколь можно поспѣшнѣе за оврагъ, потому что правый флангъ вѣроятно не въ силахъ будетъ долго удерживать непріятеля. Про Тушина-же и баталіонъ, прикрывавшій его, было забыто. Князь Андрей тщательно прислушивался къ разговорамъ князя Багратіона съ начальниками и къ отдаваемымъ имъ приказаніямъ, и къ удивленію замѣчалъ, что приказаній никакихъ отдаваемо не было, а что князь Багратіонъ только старался дѣлать видъ, что все, что дѣлалось по необходимости, случайности и волѣ частныхъ начальниковъ, что все это дѣлалось, хотя не по его приказанію, но согласно съ намѣреніями. Благодаря такту, который выказывалъ князь Багратіонъ, князь Андрей замѣчалъ, что, несмотря на эту случайность событій и независимость ихъ отъ воли начальника, присутствіе его сдѣлало чрезвычайно много. Начальники, съ разстроенными лицами подѣлзжавшіе къ князю Багратіону, становились спокойны, солдаты и офицеры весело привѣтствовали его и становились оживленнѣе въ его присутствіи и видимо щеголяли предъ нимъ своею храбростью.

Худощавый, слабый на видъ старичокъ, полковой командиръ, съ пріятною улыбкой, съ вѣками, которыя больше чѣмъ на половину закрывали его старческіе глаза, придавая ему кроткій видъ, подѣлзалъ къ князю Багратіону и принялъ его, какъ хозяинъ дорогого гостя. Онъ доложилъ князю Багратіону, что противъ его полка была конная атака французовъ; но что хотя атака эта отбита, полкъ потерялъ больше половины людей. Полковой командиръ сказалъ, что атака была отбита, придумавъ это воспи-

ное названіе тому, что происходило въ его полку, но онъ дѣйствительно самъ не зналъ, что происходило въ эти полчаса во ввѣренныхъ ему войскахъ, и не могъ съ достовѣрностью сказать, была ли отбита атака, или полкъ его былъ разбитъ атакой. Въ началѣ дѣйствій, онъ зналъ только то, что по всему его полку стали летать ядра и гранаты и бить людей, что потомъ кто то закричалъ: конница, и наши стали стрѣлять. И стрѣляли до сихъ поръ уже не въ конницу, которая скрылась, а въ пѣшихъ французовъ, которые показались въ лоцинѣ и стрѣляли по нашимъ. Князь Багратіонъ наклонилъ голову въ знакъ того, что все это было совершенно такъ, какъ онъ желалъ и предполагалъ. Обратившись къ адъютанту, онъ приказалъ ему привести съ горы два баталіона 6-го егерскаго, мимо которыхъ они сейчасъ проѣхали. Князя Андрея поразила въ эту минуту перемѣна, происшедшая въ лицѣ князя Багратіона. Лицо его выражало ту сосредоточенную и счастливую рѣшимость, которая бываетъ у человѣка, готоваго въ жаркій день броситься въ воду и берущаго послѣдній разбѣгъ. Не было ни певыспавшихся тусклыхъ глазъ, ни притворно-глубокомысленнаго вида: круглые, твердые ястребинные глаза восторженно и нѣсколько презрительно смотрѣли впередъ, очевидно ни на чемъ не останавливаясь, хотя въ его движеніяхъ оставалась прежняя медленность и размѣренность.

— Ур-р-а-а-а!!—загудѣли голоса.

„Ну, попадись теперь кто бы ни былъ“,—думалъ Ростовъ, вдавливая шпоры Грачику и, перегоняя другихъ, выпустилъ его во весь карьеръ. Впереди уже виденъ былъ непріатель. Вдругъ какъ широкимъ вѣникомъ стегнуло что-то по эскадрону. Ростовъ поднялъ саблю, готовясь рубить, но въ это время впереди скакавшій солдатъ Никитенко отдѣлился отъ него, и Ростовъ почувствовалъ, какъ во снѣ, что продолжаетъ нестись съ неестественною быстротой впередъ и вмѣстѣ съ тѣмъ остается на мѣстѣ. Сзади знакомый гусарь Бондарчукъ наскочилъ на него и сердито посмотрѣлъ. Лошадь Бондарчука шарахнулась, и онъ обскакалъ мимо.

„Что же это? я не подвигаюсь? Я упалъ, я убитъ...“—въ одно мгновеніе спросилъ и отвѣтилъ Ростовъ. Онъ былъ уже одинъ посреди поля. Вмѣсто двигавшихся лошадей и гусарскихъ снѣнъ, онъ видѣлъ вокругъ себя неподвижную землю и жнивье. Теплая кровь была подъ нимъ. „Нѣтъ, я раненъ, и лошадь убита“. Грачикъ поднялся было на переднія ноги, но упалъ, придавивъ сѣдоку ногу. Изъ головы лошади текла кровь. Лошадь билась и не могла встать. Ростовъ хотѣлъ подняться и упалъ тоже: ташка зацѣпилась за сѣдло. Гдѣ были наши, гдѣ были французы, онъ не зналъ. Никого не было кругомъ.

Высвободивъ погу, онъ поднялся. „Гдѣ, съ какой стороны была теперь та черта, которая такъ рѣзко отдѣляла два войска?“—спрашивалъ онъ себя и не могъ отвѣтить. „Ужъ не дурное ли что-нибудь случилось со мной? Бываютъ ли такіе случаи, и что надо дѣлать въ такихъ случаяхъ?“—спросилъ онъ самъ себя, вставая; и въ это время почувствовалъ, что что-то лишнее виситъ на его лѣвой опѣмѣвшей рукѣ. Кисть ея была какъ чужая. Онъ оглидывалъ руку, тщетно отыскивая на ней кровь. „Ну, вотъ и люди“,—

подумалъ онъ радостно, увидавъ нѣсколько человѣкъ, бѣжавшихъ къ нему. „Они мнѣ помогутъ!“ Впереди этихъ людей бѣжалъ одинъ, въ странномъ киверѣ и въ синей шинели, черной, загорѣлой, съ горбатымъ носомъ. Еще два и еще много бѣжало сзади. Одинъ изъ нихъ проговорилъ что-то странное, не русское. Между задними такими же людьми, въ такихъ же киверахъ, стоялъ одинъ русскій гусарь. Его держали за руки; позади его, держали его лошадь.

„Вѣрно нашъ плѣнный... Да. Неужели и меня возьмутъ? Что это за люди?“—все думалъ Ростовъ, не вѣря своимъ глазамъ. „Неужели французы?“ Онъ смотрѣлъ на приближавшихся французовъ и, несмотря на то, что за секунду скавалъ только затѣмъ, чтобы настигнуть этихъ французовъ и изрубить ихъ, близость ихъ казалась ему теперь такъ ужасна, что онъ не вѣрилъ своимъ глазамъ. „Кто они? Зачѣмъ они бѣгутъ? Неужели ко мнѣ они бѣгутъ? И зачѣмъ? Убить меня? Меня, кого такъ любятъ всѣ?“ Ему вспомнилась любовь къ нему его матери, семьи, друзей, и намѣреніе неприятелей убить его показалось невозможно. „А можетъ и убить!“ Онъ болѣе десяти секундъ стоялъ, не двигаясь съ мѣста и не понимая своего положенія. Передній французъ съ горбатымъ носомъ подбѣжалъ такъ близко, что уже видно было выраженіе его лица. И разгоряченная, чуждая физиономія этого человѣка, который со штыкомъ на перевѣсѣ, сдерживалъ дыханье, легко подбѣгалъ къ нему, испугала Ростова. Онъ схватилъ пистолетъ и, вмѣсто того, чтобы стрѣлять изъ него, бросилъ имъ въ француза, и побѣжалъ къ кустамъ, что было силы. Не съ тѣмъ чувствомъ сомнѣнія и борьбы, съ какимъ онъ ходилъ на Энскій мостъ, бѣжалъ онъ, а съ чувствомъ зайца, убѣгающаго отъ собакъ. Одно пераздѣльное чувство страха за свою молодую, счастливую жизнь владѣло всѣмъ его существомъ. Быстро перепрыгивая черезъ межи, съ тою стремительностью, съ которою онъ бѣгалъ играя въ горѣлки, онъ летѣлъ по полю, изрѣдка оборачивая свое блѣдное, доброе, молодое лицо, и холодъ ужаса пробѣгалъ по его спинѣ. „Нѣтъ, лучше не смотрѣть,“—подумалъ онъ, но, подбѣжавъ къ кустамъ, оглянулся еще разъ. Французы отстали, и даже въ ту минуту, какъ онъ оглянулся, передній только-что перемѣнилъ рысь на шагъ и, обернувшись, что-то сильно кричалъ заднему товарищу. Ростовъ остановился. „Что-нибудь не такъ,“—подумалъ онъ,—не можетъ быть, чтобы они хотѣли убить меня.“ А между тѣмъ лѣвая рука его была такъ тяжела, какъ будто двухпудовая гири была привѣшена къ ней. Онъ не могъ бѣжать дальше. Французъ остановился тоже и прицѣлился. Ростовъ зажмурился и нагнулся. Одна, другая пуля пролетѣла жужжа мимо него. Онъ собралъ послѣднія силы, взялъ лѣвую руку въ правую и побѣжалъ до кустовъ. Въ кустахъ были русскіе стрѣлки.

Про батарею Тушина было забыто, и только въ самомъ концѣ дѣла, продолжая слышать канонаду въ центрѣ, князь Багратионъ послалъ туда дежурнаго штабъ-офицера и потомъ князя Андрея, чтобы велѣть батарее отступать какъ можно скорѣе. Прикрытіе, стоявшее подлѣ пушекъ Тушина, ушло, по чьему-то приказанію, въ серединѣ дѣла; но батарея продолжала

стрѣлять и не была взята французами только потому, что непріятель не могъ предполагать дерзости стрѣльбы четырехъ, никѣмъ не защищенныхъ пушекъ. Напротивъ, по энергичному дѣйствію этой батареи, онъ предполагалъ, что здѣсь въ центрѣ сосредоточены главные силы русскихъ, и два раза пытался атаковать этотъ пунктъ, и оба раза былъ прогоняемъ картечными выстрѣлами одиноко стоявшихъ на этомъ возвышеніи четырехъ пушекъ.

Скоро послѣ отбѣзда князя Багратіона, Тушину удалось зажечь Шенграбенъ.

Маленькій человѣкъ, съ слабыми, неловкими движеніями, требовалъ себѣ безпрестанно у денщика *еще трубочку за это*, какъ онъ говорилъ, и разсыпая изъ себя огонь, выбѣгалъ впередъ, и изъ-подъ маленькой ручки смотрѣлъ на французовъ.

— „Круши, ребята!“—приговаривалъ онъ и самъ подхватывалъ орудія за колеса и вывинчивать винты. Въ дыму, оглушаемый непрерывными выстрѣлами, заставлявшими его каждый разъ вздрагивать, Тушинъ, не выпуская своей носогрѣйки, бѣгалъ отъ одного орудія къ другому, то прицѣливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь перемѣной и перепряжкой убитыхъ и раненыхъ лошадей, и покрикивалъ своимъ слабымъ, тоненькимъ, нерѣшительнымъ голосомъ. Лицо его все болѣе и болѣе оживлялось. Только когда убивали или ранили людей, онъ морщился и, отворачиваясь отъ убитаго, сердито кричалъ на людей, какъ всегда мѣшавшихъ поднять раненаго или тѣло. Солдаты, большею частью красивые молодцы (какъ и всегда въ батареѣ ротѣ на двѣ головы выше своего офицера и вдвое шире его), всѣ, какъ дѣти въ затруднительномъ положеніи, смотрѣли на своего командира, и то выраженіе, которое было на его лицѣ, неизмѣнно отражалось на ихъ лицахъ.

Вслѣдствіе этого страшнаго гула, шума, потребности вниманія и дѣятельности, Тушинъ не испытывалъ ни малѣйшаго непріятнаго чувства страха; и мысль, что его могутъ убить или больно ранить, не приходила ему въ голову. Напротивъ, ему становилось все веселѣе и веселѣе. Ему казалось, что уже очень давно, едва-ли не вчера, была та минута, когда онъ увидѣлъ непріятеля и сдѣлалъ первый выстрѣлъ, и что клочокъ поля, на которомъ онъ стоялъ, былъ ему давно знакомымъ, родственнымъ мѣстомъ. Несмотря на то, что онъ все помнилъ, все соображалъ, все дѣлалъ, что могъ дѣлать самый лучший офицеръ въ его положеніи, онъ находился въ состояніи, похожемъ на лихорадочный бредъ или на состояніе пьянаго человѣка.

Изъ-за оглушающихъ со всѣхъ сторонъ звуковъ своихъ орудій, изъ-за свиста и ударовъ снарядовъ непріятеля, изъ-за вида вспотѣвшей, раскраснѣвшейся, торопящейся около орудій прислуги, изъ-за вида крови людей и лошадей, изъ-за вида дымковъ непріятеля на той сторонѣ (послѣ которыхъ всякій разъ прилетало ядро и било въ землю, въ человѣка, въ орудіе или въ лошадь), изъ-за вида этихъ предметовъ у него въ головѣ установился свой фантастическій міръ, который составлялъ его наслажденіе въ эту ми-

нуту. Неирітельскія пушки въ его воображеніи были не пушки, а трубки, изъ которыхъ рѣдкими клубами выпускалъ дымъ невидимый курильщикъ.

— „Вишь, пыхнулъ опять,—проговорилъ Тушинъ шопотомъ про себя, въ то время какъ съ горы выскакивалъ клубъ дыма и вѣѣво полосой относился вѣтромъ,—теперь мячикъ жди—отсылать назадъ.“—„Что прикажете, ваше благородіе?“ — спросилъ фейерверкеръ, близко стоявшій около него и слышавшій, что онъ бормоталъ что-то.—„Ничего, гранату...“—отвѣчалъ онъ.

„Ну-ка, наша Матвѣвна,“—говорилъ онъ про себя. Матвѣвной представлялась въ его воображеніи большая, крайняя, стариннаго литья пушка. Мұравьями представлялись ему французы около своихъ орудій. Красавецъ и пьяница, первый пумерь второго орудія, въ его мѣрѣ былъ дядя; Тушинъ чаще другихъ смотрѣлъ на него и радовался на каждое его движеніе. Звукъ то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрѣлки подъ горою представлялся ему чѣмъ-то дыханіемъ. Онъ прислушивался къ затиханью и разгоранью этихъ звуковъ.

„Ишь, задышала опять, задышала“,—говорилъ онъ про себя. Самъ онъ представлялся себѣ огромнаго роста, мощнымъ мужчиной, который обѣими руками швыряетъ французамъ ядра.

— „Ну, Матвѣвна, матушка, не выдавай!“—говорилъ онъ, отходя отъ орудія, какъ надъ его головой раздался чуждый, незнакомый голосъ:—„Капитанъ Тушинъ! Капитанъ!“

Тушинъ испуганно оглянулся. Это былъ тотъ штабъ-офицеръ, который выгналъ его изъ Грунта. Онъ занывавшимся голосомъ кричалъ ему:

— „Что вы, съ ума сошли? Вамъ два раза приказано отступать, а вы“...

„Ну за что они меня?“...—думалъ про себя Тушинъ, со страхомъ глядя на начальника.

— „Я... ничего... — проговорилъ онъ, приставляя два пальца къ козырьку.—Я“...

— „Какимъ образомъ орудіе оставлено?“ — спросилъ Багратіонъ, нахмурившись не столько на капитана, сколько на смѣявшихся, въ числѣ которыхъ громче всѣхъ слышался голосъ Жеркова. Тушину теперь только, при видѣ грознаго начальства, во всемъ ужасѣ представилась его вина и позоръ въ томъ, что онъ, оставшись живъ, потерялъ два орудія. Онъ такъ былъ взволнованъ, что до сей минуты не успѣлъ подумать объ этомъ. Смѣхъ офицеровъ еще больше сбилъ его съ толку. Онъ стоялъ предъ Багратіономъ съ дрожащею нижнею челюстью, и едва проговорилъ: —„Не знаю... ваше сіятельство... людей не было, ваше сіятельство“.—„Вы бы могли изъ прикрытія взять!“

Что прикрытія не было, этого не сказалъ Тушинъ, хотя это была сущая правда. Онъ боялся *подвести* этимъ другого начальника, и молча, остановившимися глазами, смотрѣлъ прямо въ лицо Багратіону, какъ смотритъ сбившійся ученикъ въ глаза экзаменатору.

Молчаніе было довольно продолжительно. Князь Багратіонъ, видимо, не желая быть строгимъ, не находилъ что сказать; остальные не смѣли

вмѣшаться въ разговоръ. Князь Андрей исподлобья смотрѣлъ на Тушина; пальцы его рукъ нервно двигались.

— „Ваше сіятельство,—прервалъ князь Андрей молчаніе своимъ тихимъ голосомъ,—зи меня извоили послать къ батарее капитана Тушина былъ тамъ и нашелъ двѣ трети людей и лошадей перебитыми, два орудія исковерканными, и прикрытія никакого“.

Князь Багратіонъ и Тушинъ одинаково упорно смотрѣли теперь сдержанно и взволнованно говорившаго Болконскаго.

— „И ежели, ваше сіятельство, позволите мнѣ высказать свое мнѣніе,—продолжалъ онъ,—то успѣхомъ дня мы обязаны болѣе всего дѣйствію этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина съ его ротой“,—сказалъ князь Андрей и, не ожидая отвѣта, тотчасъ-же всталъ и отошелъ стола.

Князь Багратіонъ посмотрѣлъ на Тушина, и видимо не желая вѣстать недовѣріе къ рѣзкому сужденію Болконскаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуя себя не въ состояніи вполне вѣрить ему, наклонилъ голову и сказалъ Тушину, что онъ можетъ идти. Князь Андрей вышелъ за нимъ.

— „Вотъ спасибо, выручилъ, голубчикъ“,—сказалъ ему Тушинъ.

Князь Андрей оглянулъ Тушина и, ничего не сказавъ, отошелъ отъ него. Князю Андрею было грустно и тяжело. Все это было такъ страшно такъ непохоже на то, чего онъ надѣялся.

Пьеръ. Князь Василій не обдумывалъ своихъ плановъ. Онъ не думалъ сдѣлать людямъ зло для того, чтобы пріобрѣсти выгоду. Онъ былъ только свѣтскій человѣкъ, успѣвшій въ свѣтѣ и сдѣлавшій выгоду изъ этого успѣха. У него постоянно, смотря по обстоятельствамъ, сближеніямъ съ людьми, составлялись различные планы и соображенія, которыхъ онъ самъ не отдавалъ себѣ хорошенько отчета, но которые составляли весь интересъ его жизни. Не одинъ и не два такихъ плана и соображенія бывало у него въ ходу, а десятки, изъ которыхъ одни только начинали представляться ему, другіе достигались, третьи уничтожались. Онъ не говорилъ себѣ, напримѣръ: „Этотъ человѣкъ теперь въ силѣ, я должъ пріобрѣсти его довѣріе и дружбу и черезъ него устроить себѣ выдачу единовременнаго пособія“, или онъ не говорилъ себѣ: „Вотъ Пьеръ богатъ, долженъ заманить его жениться на дочери и занять нужныя мнѣ 40 тысячъ“; но человѣкъ въ силѣ встрѣчался ему, и въ ту же минуту инстинктъ подсказывалъ ему, что этотъ человѣкъ можетъ быть полезенъ, и князь Василій сближался съ нимъ, и при первой возможности, безъ приготовленія по инстинкту, льстилъ, дѣлался фамиліаренъ, говорилъ о томъ, о чемъ нужно было.

Пьеръ былъ у него подъ рукою въ Москвѣ, и князь Василій устроилъ для него назначеніе въ камеръ-юнкеры, что тогда равнялось чину статсъ-совѣтника, и настоялъ на томъ, чтобы молодой человѣкъ съ нимъ вмѣстѣ поѣхалъ въ Петербургъ и остановился въ его домѣ. Какъ-будто разсѣянный вмѣстѣ съ тѣмъ съ несомнѣнною увѣренностью, что такъ должно было, князь Василій дѣлалъ все, что было нужно для того, чтобы жен

Пьера на своей дочери. Ежели-бы князь Василій обдумывалъ впередъ свои планы, онъ не могъ-бы имѣть такой естественности въ обращеніи и такой простоты и фамиллярности въ сношеніяхъ со всѣми людьми, выше и ниже себя поставленными. Что-то влекло его постоянно къ людямъ сильнѣе или богаче его, и онъ одаренъ былъ рѣдкимъ искусствомъ ловить именно ту минуту, когда надо и можно было пользоваться людьми.

Пьеръ, сдѣлавшись неожиданно богачомъ и графомъ Безухимъ, послѣ недавняго одиночества и беззаботности, почувствовалъ себя до такой степени окруженнымъ, занятымъ, что ему только въ постели удавалось остаться одному съ самимъ собою. Ему нужно было подписывать бумаги, вѣдаться съ присутственными мѣстами, о значеніи которыхъ онъ не имѣлъ яснаго понятія, спрашивать о чемъ-то главнаго управляющаго, ѣхать въ подмосковное имѣніе и принимать множество лицъ, которыя прежде не хотѣли и знать о его существованіи, а теперь были-бы обижены и огорчены, ежели-бы онъ не захотѣлъ ихъ видѣть. Всѣ эти разнообразныя лица: дѣловыя, родственники, знакомые, всѣ были одинаково хорошо, ласково расположены къ молодому наслѣднику; всѣ они очевидно и несомнѣнно были убѣждены въ высокихъ достоинствахъ Пьера. Безпрестанно онъ слышалъ слова: „съ вашею необыкновенною добротою“, или „при вашемъ прекрасномъ сердцѣ“, или „вы сами такъ чисты, графъ...“, или „ежели-бы онъ былъ такъ уменъ, какъ вы“, и т. п., такъ что онъ искренно начиналъ вѣрить своей необыкновенной добротѣ и своему необыкновенному уму, тѣмъ болѣе, что и всегда, въ глубинѣ души, ему казалось, что онъ дѣйствительно очень добръ и очень уменъ. Даже люди, прежде бывшіе злыми и очевидно враждебными, дѣлались съ нимъ нѣжными и любящими. Столь сердитая, старшая изъ княженъ, съ длинной таліей, съ приглаженными, какъ у кукулы, волосами, послѣ похоронъ пришла въ комнату Пьера. Опуская глаза и безпрестанно вспыхивая, она сказала ему, что очень жалѣетъ о бывшихъ между ними недоразумѣніяхъ и что теперь не чувствуетъ себя въ правѣ ничего просить, развѣ только позволенія, послѣ постигшаго ее удара, остаться на нѣсколько недѣль въ домѣ, который она такъ любила и гдѣ столько принесла жертвъ. Она не могла удержаться и заплакала при этихъ словахъ. Растроганный тѣмъ, что эта статуетообразная княжна могла такъ измѣниться, Пьеръ взялъ ее за руку и просилъ извиненія, самъ не зная за что. Съ этого дня княжна начала вязать полосатый шарфъ для Пьера и совершенно измѣнилась къ нему.

— „Сдѣлай это для нея, мой милый, все-таки она много пострадала отъ покойника“, — сказалъ ему князь Василій, давая подписать какую-то бумагу въ пользу княжны. Князь Василій рѣшилъ, что эту кость, вексель въ 30 т., надо было все-таки бросить бѣдной княжнѣ съ тѣмъ, чтобъ ей не могло придти въ голову толковать объ участіи князя Василія въ дѣлѣ мозанковаго портфеля. Пьеръ подписалъ вексель и съ тѣхъ поръ княжна стала еще добрѣе. Младшія сестры стали также ласковы къ нему, въ особенности самая младшая, хорошенькая, съ родинкой, часто смущала Пьера своими улыбками и смущеніями при видѣ его.

Пьеру такъ естественно казалось, что всѣ его любятъ, такъ казалось-бы неестественно, ежели-бы кто-нибудь не полюбилъ его, что онъ не могъ вѣрить въ искренность людей, окружавшихъ его. Притомъ ему не было времени спрашивать себя объ искренности или неискренности этихъ людей. Ему постоянно было некогда, онъ постоянно чувствовалъ себя въ состояніи кроткаго и веселаго оныянїя. Онъ чувствовалъ себя центромъ какого-то важнаго общаго движенія, чувствовалъ, что отъ него что-то постоянно оживается, что не сдѣлай онъ того-то, онъ огорчитъ многихъ и лишитъ ихъ ожидаемаго; а сдѣлай то-то и то-то, все будетъ хорошо, и онъ дѣлалъ то, что требовали отъ него, но это что-то хорошее все оставалось впереди.

Въ Петербургѣ такъ-же, какъ и въ Москвѣ, атмосфера нѣжныхъ, любящихъ людей окружила Пьера. Онъ не могъ отказаться отъ мѣста, или скорѣе званія (потому что онъ ничего не дѣлалъ), которое доставилъ ему князь Василій, а знакомствъ, зововъ и общественныхъ занятій было столько, что Пьеръ еще больше, чѣмъ въ Москвѣ, испытывалъ чувство отуманенности, торопливости и все наступающаго, но не совершающагося какого-то блага.

Анна Павловна Шереръ, такъ-же какъ и другіе, выказала Пьеру неремѣну, происшедшую въ общественномъ взглядѣ на него.

Прежде Пьеръ, въ присутствіи Анны Павловны, постоянно чувствовалъ, что то, что онъ говоритъ, неприлично, безтактио, не то что нужно что рѣчи его, кажущіяся ему умными, пока онъ готовитъ ихъ въ своемъ воображеніи, дѣлаются глупыми, какъ скоро онъ ихъ громко выговоритъ, что, напротивъ, самыя тупыя рѣчи Ипполита выходятъ умными и милыми. Теперь все, что ни говорилъ онъ, все выходило „прелестно“. Ежели даже Анна Павловна не говорила этого, то онъ видѣлъ, что ей хотѣлось это сказать, и она только въ уваженіе его скромности воздерживалась отъ этого.

Кн. Марья. [Анатолий Курагинъ прїѣхалъ съ отцомъ къ Болконскимъ въ качествѣ жениха княжны. Кн. Марья очень взволновалась].

Она, безсильно опустивъ глаза и руки, молча сидѣла и думала. Ей представлялся мужъ, мужчина, сильное, преобладающее и непонятно привлекательное существо, переносящее ее вдругъ въ свой, совершенно другой, счастливый міръ. Ребенокъ *свой*, такой, какого она видѣла вчера у дочери кормилицы, представлялся ей у своей собственной груди. Мужъ стоитъ и нѣжно смотритъ на нее и ребенка: „но нѣтъ, это невозможно, я слишкомъ дурна“, — думала она.

— „Пожалуйте къ чаю. Князь сейчасъ выйдутъ“, — сказала изъ-за двери голосъ горничной. Она очнулась и ужаснулась тому, о чемъ она думала. И прежде чѣмъ идти внизъ, она встала, вошла въ образную и, устремивъ на освѣщенный лампадой, черный ликъ большого образа Спасителя, простояла предъ нимъ нѣсколько минутъ съ сложенными руками. Въ душѣ княжны Марьи было мучительное сомнѣніе. Возможна-ли для нея радость любви, земной любви къ мужчине? Въ помысленіяхъ о бракѣ, княжнѣ Марьѣ мечталось и семейное счастье и дѣти, по главному, сильнѣйшему и затаенному ея мечтой была любовь земная. Чувство было тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе

она старалась скрывать его отъ другихъ и даже отъ самой себя. „Боже мой, — говорила она, — какъ мнѣ подавить въ сердцѣ своемъ эти мысли дьявола? Какъ мнѣ отказаться такъ навсегда отъ злыхъ помысловъ, чтобы спокойно исполнить Твою волю?“ И едва она сдѣлала этотъ вопросъ, какъ Богъ уже отвѣчалъ ей въ ея собственномъ сердцѣ. „Не желай ничего для себя, не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должна быть неизвѣстна тебѣ; но живи такъ, чтобы быть готовою ко всему. Если Богу угодно будетъ испытать тебя въ обязанностяхъ брака, будь готова исполнить Его волю“. Съ этою успокоительною мыслью (но все-таки съ надеждой на исполненіе своей запрещенной, земной мечты) княжна Марья, вздохнувъ, перекрестилась и сошла внизъ, не думая ни о своемъ платьѣ, ни о прическѣ, ни о томъ, какъ она войдетъ и что скажетъ. Что могло все это значить въ сравненіи съ предопредѣленіемъ Бога, безъ воли Котораго не падетъ ни одинъ волосъ съ головы человѣческой.

[Убѣдившись изъ поведенія Анатоля Курагина, что француженка М-ле Бурьенъ (Амели) больше ему нравится, чѣмъ она сама, хотя онъ по-прежнему не прочь на ней жениться, Марія отказалась быть его женой].

„Мое призваніе другое, — думала про себя княжна Марья, — мое призваніе — быть счастливою другимъ счастьемъ, счастьемъ любви и самопожертвованія. И чего-бы мнѣ это ни стоило, я сдѣлаю счастье бѣдной Амели. Она такъ страстно его любитъ. Она такъ страстно раскаивается. Я все сдѣлаю, чтобы устроить ея бракъ съ нимъ. Ежели онъ не богатъ, я дамъ ей средства, я попрошу отца, я попрошу Андрея. Я такъ буду счастлива, когда она будетъ его женою. Она такъ несчастлива, чужая, одинокая, безъ помощи! И Боже мой, какъ страстно она его любитъ, ежели она такъ могла забыть себя. Можетъ быть, и я сдѣлала-бы то же!..“ — думала княжна Марья.

Ростовъ. Въ мертвой тишинѣ слышался только топотъ лошадей. То была свита императоровъ. Государь подъѣхалъ къ флангу, и раздались звуки трубачей перваго кавалерійскаго полка, игравшіе генераль-маршъ. Казалось, не трубачи это играли, а сама армія, радуясь приближенію государя, естественно издавала эти звуки. Изъ-за этихъ звуковъ отчетливо слышался одинъ молодой, ласковый голосъ императора Александра. Онъ сказалъ привѣтствіе, и первый полкъ гаркнулъ: Урра! такъ оглушительно, продолжительно, радостно, что сами люди ужаснулись численности и силъ той громады, которую они составляли.

Ростовъ, стоя въ первыхъ рядахъ Кутузовской арміи, къ которой къ первой подъѣхалъ государь, испытывалъ то же чувство, какое испытывалъ каждый человѣкъ этой арміи, чувство самозабвенія, гордаго сознанія могущества и страстнаго влеченія къ тому, кто былъ причиной этого торжества.

Онъ чувствовалъ, что отъ одного слова этого человѣка зависѣло то, чтобы вся громада эта (и онъ, связанный съ ней, — ничтожная песчинка) пошла-бы въ огонь и въ воду, на преступленіе, на смерть или на величайшее геройство, и потому-то онъ не могъ не трепетать и не замирать при видѣ этого приближающаго слова.

— „Урра! Урра! Урра!“ — гремѣло со всѣхъ сторонъ, и одинокъ полкъ

за другимъ принималъ государя звуками генераль-марша, потомъ урра!.. генераль-маршъ и опять урра! и урра!! которые, все усиливаясь и прибывая, сливались въ оглушительный гулъ.

Пока не подѣзжалъ еще государь, каждый полкъ въ своей безмолвности и неподвижности казался безжизненнымъ тѣломъ; только сравниваясь съ нимъ государь, полкъ оживился и гремѣлъ, присоединяясь къ реву всей той линіи, которую уже проѣхалъ государь. При страшномъ, оглушительномъ звукѣ этихъ голосовъ, посреди массъ войска, неподвижныхъ, какъ бы окаменѣвшихъ въ своихъ четвероугольникахъ, небрежно, но симметрично и, главное, свободно двигались сотни всадниковъ свиты, и впереди ихъ два человѣка—императоры. На нихъ-то безраздѣльно было сосредоточено сдержанно-страстное вниманіе всей этой массы людей.

Красивый, молодой императоръ Александръ, въ конно-гвардейскомъ мундирѣ, въ треугольной шляпѣ, надѣтой съ поля, своимъ пріятнымъ лицомъ и звучнымъ, негромкимъ голосомъ привлекалъ всю силу вниманія.

Ростовъ стоялъ недалеко отъ трубачей и издалека своими зоркими глазами узналъ государя и слѣдилъ за его приближеніемъ. Когда государь приблизился на разстояніе 20-ти шаговъ, и Николай ясно, до всѣхъ подробностей, рассмотрѣлъ прекрасное, молодое и счастливое лицо императора, онъ испыталъ чувство нѣжности и восторга, подобно которому онъ еще не испытывалъ. Все — всякая черта, всякое движеніе казалось ему прелестно въ государѣ.

Остаповившись противъ Павлоградскаго полка, государь сказалъ что-то по-французски австрійскому императору и улыбнулся.

Увидавъ эту улыбку, Ростовъ самъ невольно началъ улыбаться и почувствовалъ еще сильнѣйшій приливъ любви къ своему государю. Ему хотѣлось выказать чѣмъ-нибудь свою любовь къ государю. Онъ зналъ, что это невозможно, и ему хотѣлось плакать. Государь вызвалъ полкового командира и сказалъ ему нѣсколько словъ.

„Боже мой!—чтобы со мной было, ежели бы ко мнѣ обратился государь!—думалъ Ростовъ,—я бы умеръ отъ счастья“.

Государь обратился и къ офицерамъ:

— „Всѣхъ, господа (каждое слово слышалось Ростову, какъ звукъ съ неба), благодарю отъ всей души“.

Какъ бы счастливъ былъ Ростовъ, ежели бы могъ теперь умереть за своего царя!

— „Вы заслужили георгіевскія знамена и будете ихъ достойны“.

„Только умереть, умереть за него!“—думалъ Ростовъ.

Государь еще сказалъ что-то, чего не разслышалъ Ростовъ, и солдаты, подсаживая свои груди, закричали: урра!

Ростовъ закричалъ тоже, пригнувшись къ сѣдлу, что было его сила, желая повредить себѣ этимъ крикомъ, только чтобы выразить вполне свой восторгъ къ государю.

Государь постоялъ нѣсколько секундъ противъ гусаръ, какъ будто онъ былъ въ нерѣшимости.

„Какъ могъ быть въ нерѣшимости государь?“ — подумалъ Ростовъ, а омы даже и эта нерѣшимость показалась Ростову величественною и орожительною, какъ и все, что дѣлалъ государь.

Нерѣшимость государя продолжалась одно мгновеніе. Нога государя, съ узкимъ, острымъ носкомъ сапога, какъ посили въ то время, до- нулась до паха англазированной гнѣдой кобылы, на которой онъ ѣхалъ; а государя въ бѣлой перчаткѣ подобрала поводья, и онъ тронулся, со- ствующимъ безпорядочно-заболѣвающимся моремъ адъютантовъ. Дальше и ыше отъѣзжалъ онъ, останавливаясь у другихъ полковъ, и наконецъ ько бѣлый плюмажъ его видѣлся Ростову изъ-за свиты, окружавшей ераторовъ.

Въ числѣ господъ свиты, Ростовъ замѣтилъ и Болконскаго, лѣниво и пущенно сидящаго на лошади. Ростову вспомнилась его вчерашняя ссора нимъ, и представился вопросъ, слѣдуетъ или не слѣдуетъ вызывать его. ьзумѣтся, не слѣдуетъ, — подумалъ теперь Ростовъ... — И стоитъ ли думать оворить про это въ такую минуту, какъ теперь? Въ минуту такого чув- а любви, восторга и самоотверженія, что значать всѣ наши ссоры и ды? Я всѣхъ люблю, всѣмъ прощаю теперь“, — думалъ Ростовъ.

Кутузовъ. Вейротеръ, бывшій полнымъ распорядителемъ предполагае- о сраженія, представлялъ своею оживленностью и торопливостью рѣзкую тивоположность съ недовольнымъ и соннымъ Кутузовымъ, неохотно играв- мъ роль предсѣдателя и руководителя военного совѣта. Вейротеръ оче- но чувствовалъ себя во главѣ движенія, которое стало уже неудержимо. ь былъ какъ запряженная лошадь, разбѣжавшаяся съ возомъ подъ гору. ь ли везъ, или его гнало, онъ не зналъ; но онъ несся во всю возмж-) быстроту, не имѣя времени уже обсуждать того, къ чему поведетъ это женіе. Вейротеръ въ этотъ вечеръ былъ два раза для личного осмотра цѣпи непріятеля и два раза у государей, русскаго и австрійскаго, для лада и объясненій, и въ своей канцеляріи, гдѣ онъ диктовалъ нѣмец-) диспозицію. Онъ, измученный, пріѣхалъ теперь къ Кутузову.

Онъ видимо такъ былъ занятъ, что забылъ даже быть почтительнымъ главнокомандующимъ: онъ перебивалъ его, говорилъ быстро, неясно, не ди въ лицо собесѣдника, не отвѣчая на дѣлаемые ему вопросы, былъ ачканъ грязью, и имѣлъ видъ жалкій, измученный, растерянный и вмѣстѣ тѣмъ самонадѣянный и гордый.

Кутузовъ въ разстегнутомъ мундирѣ, изъ котораго, какъ бы освободив- ь, выплыла на воротникъ его жирная шея, сидѣлъ въ вольтеровскомъ слѣ, положивъ симметрично пухлыя старческія руки на подлокотники и ти спалъ. На звукъ голоса Вейротера онъ съ усиленіемъ открылъ един- енный глазъ.

— „Да, да, пожалуйста, а то поздно“, — проговорилъ онъ, и кивнувъ овой, опустилъ ее и опять закрылъ глаза.

Ежели, первое время, члены совѣта думали, что Кутузовъ притворялся щимъ, то звуки, которые онъ издавалъ носомъ во время послѣдующаго чтенія, азывали, что въ эту минуту для главнокомандующаго дѣло шло о гогазко

важнѣйшемъ, чѣмъ о желаніи выказать свое презрѣніе къ диспозиціи или къ чему бы то ни было: дѣло шло для него о неудержимомъ удовлетвореніи человѣческой потребности—сна. Онъ дѣйствительно спалъ. Вейротеръ съ движеніемъ чловѣка, слишкомъ занятого для того, чтобы терять хоть одну минуту времени, взглянулъ на Кутузова, и убѣдившись, что онъ спитъ, взялъ бумагу и громкимъ однообразнымъ тономъ началъ читать диспозицію будущаго сраженія.

Болконскій. Ночь была туманная, и сквозь туманъ таинственно пробивался лунный свѣтъ. „Да, завтра, завтра!—думалъ онъ.—Завтра, можетъ быть, все будетъ кончено для меня, всѣхъ этихъ воспоминаній не будетъ болѣе, всѣ эти воспоминанія не будутъ имѣть для меня болѣе никакого смысла. Завтра же, можетъ быть, даже навѣрное завтра, и это предчувствую, въ первый разъ мнѣ придется наконецъ показать все то, что я могу сдѣлать“. И ему представилось сраженіе, потери его, сосредоточеніе боя на одномъ пунктѣ и замѣшательство всѣхъ начальствующихъ лицъ. И вотъ та счастливая минута, тотъ Тулонъ, котораго такъ долго ждалъ онъ, наконецъ представляется ему. Онъ твердо и ясно говоритъ свое мнѣніе и Кутузову, и Вейротеру, и императорамъ. Всѣ поражены вѣрностью его соображенія, но никто не берется исполнить его и вотъ онъ беретъ полкъ, дивизію, выговариваетъ условіе, чтобы уже никто не вмѣшивался въ его распоряженія, и ведетъ свою дивизію къ рѣшительному пункту, и одинъ одерживаетъ побѣду. А смерть и страданія? говорилъ другой голосъ. Но князь Андрей не отвѣчаетъ этому голосу и продолжаетъ свои успѣхи. Диспозиція слѣдующаго сраженія дѣлается имъ однимъ. Онъ носитъ названіе дежурнаго по арміи при Кутузовѣ, но дѣлаетъ все онъ одинъ. Слѣдующее сраженіе выиграно имъ однимъ. Кутузовъ смѣняется, назначается онъ... Ну, а потомъ?—говоритъ опять другой голосъ, а потомъ, ежели ты десять разъ прежде этого не будешь раненъ, убитъ или обманутъ; ну, а потомъ что-жъ? „Ну, а потомъ,—отвѣчаетъ самъ себѣ князь Андрей,—я не знаю, что будетъ потомъ, не хочу и не могу знать; но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть извѣстнымъ людямъ, хочу быть любимымъ ими, то вѣдь я не виноватъ, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого! Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой! что же мнѣ дѣлать, ежели я ничего не люблю, какъ только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мнѣ не страшно. И какъ ни дороги, ни милы мнѣ многіе люди: отецъ, сестра, жена—самые дорогіе мнѣ люди; но какъ ни страшно и ни неестественно это кажется, я всѣхъ ихъ отдамъ сейчасъ за минуту славы, торжества надъ людьми, за любовь къ себѣ людей, которыхъ я не знаю и не буду знать, за любовь вотъ этихъ людей“, подумалъ онъ, прислушиваясь къ говору на дворѣ Кутузова. На дворѣ Кутузова слышались голоса укладывавшихся денщиковъ; одинъ голосъ, вѣроятно кучера, дразниваго стараго кутузовскаго повара, котораго звалъ князь Андрей и котораго звали Титомъ, говорилъ:

— „Титъ, а, Титъ!“ — „Ну!“—отвѣчалъ старикъ.—„Титъ, ступай молотить“,—говорилъ шутникъ.—„Тыфу, ну-те къ чорту“,—раздался голосъ, покрываемый хохотомъ денщиковъ и слугъ.

„И все-таки я люблю и дорожу только торжествомъ надъ всѣми ими, дорожу этою таинственною силой и славой, которая вотъ тутъ падо мной носится въ этомъ туманѣ!“

Болконскій. [Замѣтивъ, что русскіе солдаты дрогнули, Болконскій бросился впередъ].

— „Ребята, впередъ,“ — крикнулъ онъ дѣтски-пронзительно.

„Вотъ оно!“ — думалъ князь Андрей, схвативъ древко знамени и съ наслажденіемъ слыша свистъ пуль, очевидно направленныхъ именно противъ него. Нѣсколько солдатъ упало. — „Ура!“ — закричалъ князь Андрей, едва удерживая въ рукахъ тяжелое знамя, и побѣждалъ впередъ съ несомнѣнною увѣренностью, что весь баталіонъ побѣдитъ за нимъ. Дѣйствительно онъ пробѣжалъ одинъ только нѣсколько шаговъ. Тронулся одинъ, другой солдатъ, и весь баталіонъ съ крикомъ ура побѣждалъ впередъ и обогналъ его. Унтеръ-офицеръ баталіона, побѣждавъ, взялъ колебавшееся отъ тяжести въ рукахъ князя Андрея знамя, но тотчасъ-же былъ убитъ. Князь Андрей опять схватилъ знамя и, волоча его за древко, бѣжалъ съ баталіономъ. Впереди себя онъ видѣлъ нашихъ артиллеристовъ, изъ которыхъ одни дрались, другіе бросали пушки и бѣжали къ нему навстрѣчу; онъ видѣлъ и французскихъ пѣхотныхъ солдатъ, которые хватили артиллерійскихъ лошадей и поворачивали пушки. Князь Андрей съ баталіономъ уже былъ въ 20 шагахъ отъ орудій. Онъ слышалъ надъ собою не перестававшій свистъ пуль, и безпрестанно справа и слѣва отъ него охали и падали солдаты. Но онъ не смотрѣлъ на нихъ: онъ вглядывался только въ то, что происходило впереди его — на батарее. Онъ ясно видѣлъ уже одну фигуру рыжаго артиллериста съ сбитымъ на бокъ киверомъ, тянущаго съ одной стороны банникъ, тогда какъ французскій солдатъ тянулъ банникъ къ себѣ за другую сторону. Князь Андрей видѣлъ уже ясно растерянное и вмѣстѣ озлобленное выраженіе лицъ этихъ двухъ людей, видимо не понимавшихъ того, что они дѣлали.

„Что они дѣлаютъ? — думалъ князь Андрей, глядя на нихъ, — зачѣмъ не бѣжитъ рыжій артиллеристъ, когда у него нѣтъ оружія? Зачѣмъ не колетъ его французъ? Не успѣетъ добѣжать, какъ французъ вспомнитъ о ружьѣ и заколетъ его“. Дѣйствительно другой французъ, съ ружьемъ на перевѣсѣ, побѣждалъ къ борющимся, и участь рыжаго артиллериста, все еще не понимавшаго того, что ожидаетъ его и съ торжествомъ выдернувшего банникъ, должна была рѣшиться. Но князь Андрей не видалъ, чѣмъ это кончилось. Какъ-бы со всего размаха крѣпкою палкой кто-то изъ ближайшихъ солдатъ, какъ ему показалось, ударилъ его въ голову. Немного это больно было, а главное непріятно, потому что боль эта развлекала его и мѣшала ему видѣть то, на что онъ смотрѣлъ.

„Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются“, — подумалъ онъ и упалъ на спину. Онъ раскрылъ глаза, надѣясь увидать, чѣмъ кончилась борьба французовъ съ артиллеристами, и желая знать, убитъ или нѣтъ рыжій артиллеристъ, взяты или спасены пушки. Но онъ ничего не видалъ. Надъ нимъ не было ничего уже кромѣ неба — высокаго неба, неяснаго, по

все-таки неизмѣримо высокаго, съ тихо ползущими по немъ сѣрыми облаками. „Какъ тихо, спокойно и торжественно, совсѣмъ не такъ, какъ мы бѣжали, кричали и дрались, совсѣмъ не такъ, какъ съ озлобленными и испуганными лицами тащили другъ у друга банниѣ французъ и артиллеристъ, совсѣмъ не такъ ползуть облака по этому высокому, безконечному небу. Какъ-же я не видалъ прежде этого высокаго неба? И какъ я счастливъ, что узналъ его наконецъ. Да! все пустое, все обманъ, кромѣ этого безконечнаго неба. Ничего, ничего нѣтъ кромѣ его. Но и того даже нѣтъ, ничего нѣтъ, кромѣ тишины, успокоенія. И слава Богу!..“

Съ древкомъ знамени въ рукахъ, лежалъ князь Андрей Болконскій, истекая кровью, и, самъ не зная того, стоналъ тихимъ, жалостнымъ и дѣтскимъ стономъ.

Къ вечеру онъ пересталъ стонать и совершенно затихъ. Онъ не зналъ, какъ долго продолжалось его забытѣ. Вдругъ онъ опять почувствовалъ себя живымъ и страдающимъ отъ жгучей и разрывающей что-то боли въ головѣ.

„Гдѣ оно, это высокое небо, котораго я не зналъ до сихъ поръ и увидалъ нынче?—было первою его мыслью. — И страданія этого я не зналъ также, — подумалъ онъ.—Да, я ничего, ничего не зналъ до сихъ поръ. Но гдѣ я?“

Онъ сталъ прислушиваться и услыхалъ звуки приближающагося топота лошадей и звуки голосовъ, говорившихъ по-французски. Онъ раскрылъ глаза. Надъ нимъ было опять все то же высокое небо съ еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которыя виднѣлась синѣющая безконечность. Онъ не поворачивалъ головы и не видалъ тѣхъ, которые, судя по звуку коней и голосовъ, подъѣхали къ нему и остановились.

Подъѣхавшіе верховые были Наполеонъ, сопровождаемый двумя адъютантами. Бонапарте, объѣзжая поле сраженія, отдавалъ послѣднія приказанія объ усиленіи батарей, стрѣляющихъ по плотинѣ Аугеста и разсматривалъ убитыхъ и раненыхъ, оставшихся на полѣ сраженія.

— „Вотъ прекрасная смерть“,—сказалъ Наполеонъ, глядя на Болконскаго. Князь Андрей понялъ, что это было сказано о немъ, и что говорятъ это Наполеонъ. Онъ слышалъ, какъ называли „ваше величество“ того, кто сказалъ эти слова. Но онъ слышалъ эти слова, какъ-бы онъ слышалъ жужжаніе мухи. Онъ не только не интересовался ими, но онъ и не замѣтилъ, а тотчасъ-же забылъ ихъ. Ему жгло голову; онъ чувствовалъ, что онъ истекаетъ кровью, и онъ видѣлъ надъ собою далекое, высокое и вѣчное небо. Онъ зналъ, что это былъ Наполеонъ — его герой, но въ эту минуту Наполеонъ казался ему столь маленькимъ, ничтожнымъ человекомъ, въ сравненіи съ тѣмъ, что происходило теперь между его душой и этимъ высокимъ, безконечнымъ небомъ съ бѣгущими по немъ облаками. Ему было совершенно все равно въ эту минуту, кто-бы ни стоялъ надъ нимъ, что-бы ни говорилъ о немъ; онъ радъ былъ только тому, что остановились надъ нимъ люди, и желалъ только, чтобъ эти люди помогли ему и возвратили-бы его къ жизни, которая казалась ему столь прекрасною, потому что онъ такъ иначе понималъ ее теперь. Онъ собралъ всѣ свои силы, чтобы пошевелиться и произ-

вести какой-нибудь звукъ. Онъ слабо кошевелилъ ногою и произвелъ, са-мого его разжалобившій, слабый, болѣзненный стонъ.

Князь Андрей, для полноты трофея плѣнниковъ выставленный также впередъ, на глаза императору, не хотѣлъ привлечь его вниманія. Наполеонъ видимо вспомнилъ, что онъ видѣлъ его на полѣ, и, обращаясь къ нему, онъ употребилъ то самое наименованіе „молодого человѣка“, подъ которымъ Болконскій въ первый разъ отразился въ его памяти.

— „Ну, а вы, молодой человѣкъ?—обратился онъ къ нему,—какъ вы себя чувствуете, mon brave?“

Несмотря на то, что за пять минутъ передъ этимъ князь Андрей могъ сказать нѣсколько словъ солдатамъ, переносившимъ его, онъ теперь, прямо устремивъ свои глаза на Наполеона, молчалъ... Ему такъ ничтожны казались въ эту минуту всѣ интересы, занимавшіе Наполеона, такъ мелоченъ казался ему самъ герой его, съ этимъ мелкимъ тщеславіемъ и радостью побѣды, въ сравненіи съ тѣмъ высокимъ, справедливымъ и добрымъ небомъ, которое онъ видѣлъ и понималъ,—что онъ не могъ отвѣчать ему.

Да и все казалось такъ бесполезно и ничтожно въ сравненіи съ тѣмъ строгимъ и величественнымъ строемъ мысли, который вызывали въ немъ ослабленіе силъ отъ истекшей крови, страданіе и близкое ожиданіе смерти. Глядя въ глаза Наполеону, князь Андрей думалъ о ничтожности величія, о ничтожности жизни, которой никто не могъ понять значенія, и о еще большемъ ничтожествѣ смерти, смысла которой никто не могъ понять и объяснить изъ живущихъ.

Императоръ, не дождавшись отвѣта, отвернулся и отбѣзжая обратился къ одному изъ начальниковъ:

— „Пусть позаботятся объ этихъ господахъ и свезутъ ихъ въ мой бивуакъ; пускай мой докторъ Ларрей осмотритъ ихъ раны. До свиданія, князь Репнинъ“,—и онъ, тронувъ лошадь, галопомъ поѣхалъ дальше.

На лицѣ его было сіяніе самодовольства и счастья.

Солдаты, принесшіе князя Андрея и снявшіе съ него попавшійся имъ золотой образокъ, навѣшенный на брата княжною Марьею, увидавъ ласковость, съ которою обращался императоръ съ плѣнными, поспѣшили возвратитъ образокъ.

Князь Андрей не видалъ, кто и какъ надѣлъ его опять, но на груди его сверхъ мундира вдругъ очутился образокъ на мелкой золотой цѣпочкѣ.

„Хорошо бы это было, — подумалъ князь Андрей, взглянувъ на этотъ образокъ, который съ такимъ чувствомъ и благоговѣніемъ навѣсила на него сестра,—хорошо бы это было, ежели бы все было такъ ясно и просто, какъ оно кажется княжнѣ Марьѣ. Какъ хорошо бы было знать, гдѣ искать помощи въ этой жизни и чего ждать послѣ нея тамъ, за гробомъ!“

„Какъ бы счастливъ и спокоенъ я былъ, ежели бы могъ сказать теперь: Господи, помилуй меня!.. Но кому я скажу это? Или сила—неопредѣленная, непостижимая, къ которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами, великое все или ничего,—говорилъ онъ самъ себѣ,—или это тотъ Богъ, который вотъ здѣсь зашитъ, въ этой ла-

донкѣ, княжной Марьей? Ничего, ничего нѣтъ вѣрнаго, кромѣ ничтожестъ всего того, что мнѣ понятно, и величія чего-то непонятнаго, но важнѣйшаго.

Носилки тронулись. При каждомъ толчкѣ онъ опять чувствовалъ невыносимую боль; лихорадочное состояніе усилилось, и онъ начиналъ бредить. Тѣ мечтанія объ отцѣ, женѣ, сестрѣ и будущемъ сынѣ, и нѣжность, которую онъ испытывалъ въ ночь наканунѣ сраженія, фигура маленькаго, чтожнаго Наполеона и, надъ всѣмъ этимъ, высокое небо составляли главное основаніе его горячечныхъ представленій.

Тихая жизнь и спокойное семейное счастье въ Лысыхъ Горахъ представлялись ему. Онъ уже наслаждался этимъ счастьемъ, когда вдругъ явился маленькій Наполеонъ съ своимъ безучастнымъ, ограниченнымъ счастливымъ отъ несчастія другихъ взглядомъ, и начинались сомнѣнія, муки, и только небо обѣщало успокоеніе.

Ростовъ дома. Вернувшись въ Москву изъ арміи, Николай Ростовъ былъ принятъ домашними какъ лучший сынъ, герой и ненаглядный Николушка, родными—какъ милый, пріятный и почтительный молодой человѣкъ знакомыми—какъ красивый гусарскій поручикъ, ловкій танцоръ и одинъ изъ лучшихъ жениховъ Москвы.

Знакомство у Ростовыхъ была вся Москва; денегъ въ нынѣшній годъ у стараго графа было достаточно, потому что были перезаложены всѣ имѣнія, и потому Николушка, заведя своего собственнаго рысака и самые модные рейтузы, особенные, какихъ ни у кого еще въ Москвѣ не было, сапоги самые модные, съ самыми острыми носками и маленькими серебряными шпорами, проводилъ время очень весело. Ростовъ, вернувшись домой, испыталъ пріятное чувство послѣ нѣкотораго промежутка времени пририванія себя къ старымъ условіямъ жизни. Ему казалось, что онъ очнулся, возмужалъ и выросъ. Отчаяніе за невыдержанный изъ закона Божья экзекутъ, заниманіе денегъ у Гаврилы на извозчика, тайные поцѣлуи съ Соней, онъ про все это вспоминалъ, какъ про ребячество, отъ котораго онъ неизмѣримо былъ далекъ теперь. Теперь онъ—гусарскій поручикъ въ серебряномъ ментикѣ, съ солдатскимъ Георгіемъ, готовитъ своего рысака бѣгомъ, вмѣстѣ съ извѣстными охотниками, пожилыми, почтенными. У него знакомая дама на бульварѣ, къ которой онъ ѣздитъ вечеромъ. Онъ джигировалъ мазурку на балѣ у Архаровыхъ, разговаривалъ о войнѣ съ фельдмаршаломъ Каменскимъ, бывалъ въ англійскомъ клубѣ, и былъ на ты однимъ сорокалѣтнимъ полковникомъ, съ которымъ познакомилъ его Панинъ.

Страсть его къ государю нѣсколько ослабѣла въ Москвѣ, такъ какъ онъ за это время не видалъ и не имѣлъ случая видѣть его. Но онъ въ такіе часто рассказывалъ о государѣ, о своей любви къ нему, давая чувствовать, что онъ еще не все рассказываетъ, что что-то еще есть въ его чувствѣ къ государю, что не можетъ быть всѣмъ понятно, и отъ всей души раздѣлялъ общее въ то время въ Москвѣ чувство обожанія къ императору Александру Павловичу, которому въ Москвѣ въ то время было дано названіе „ангела во плоти“.

Въ это короткое пребываніе Ростова въ Москвѣ, до отъѣзда въ армію, онъ не сблизился, а, напротивъ, разошелся съ Соней. Она была очень хороша, мила, и, очевидно, страстно влюблена въ него; но онъ былъ въ той порѣ молодости, когда кажется такъ много дѣла, что *некогда* этимъ заниматься, и молодой человѣкъ боится связываться — дорожить своею свободой, которая ему пужна на многое другое. Когда онъ думалъ о Сонѣ въ это новое пребываніе въ Москвѣ, онъ говорилъ себѣ: „Э! еще много, много такихъ будетъ и есть тамъ, гдѣ-то, мнѣ еще неизвѣстныхъ. Еще успѣю, когда захочу, заняться и любовью, а теперь *некогда*“. Кромѣ того, ему казалось что-то унижительное для своего мужества въ женскомъ обществѣ. Онъ ѣздилъ на балы и въ женское общество, притворяясь, что дѣлалъ это противъ воли. Бѣга, англійскій клубъ, кутежъ съ Денисовымъ, — это было другое дѣло: это было прилично молодцу-гусару.

Въ началѣ марта, старый графъ Илья Андреичъ Ростовъ былъ озабоченъ устройствомъ обѣда въ англійскомъ клубѣ для пріема князя Багратіона.

Графъ въ халатѣ ходилъ по залѣ, отдавая приказанія клубному эконому, знаменитому Осоевисту, старшему повару англійскаго клуба, о спаржѣ, свѣжихъ огурцахъ, земляникѣ, теляткѣ и рыбѣ для обѣда князя Багратіона. Графъ со дня основанія клуба былъ его членомъ и старшиною. Ему было поручено отъ клуба устройство торжества для Багратіона, потому что рѣдко кто умѣлъ такъ, на широкую руку, хлѣбосольно устроить пиръ, особенно потому, что рѣдко кто умѣлъ и хотѣлъ приложить свои деньги, если онѣ понадобятся на устройство пира. Поваръ и экономъ клуба съ веселыми лицами слушали приказанія графа, потому что они знали, что ни при комъ, какъ при немъ, нельзя было лучше поживиться на обѣдѣ, который стоилъ нѣсколько тысячъ.

— „Такъ, смотри же, гребешковъ, гребешковъ въ тортю положи, знаешь!“ — „Холодныхъ, стало-быть, три?...“ — спрашивалъ поваръ. Графъ задумался. — „Нельзя меньше, три... майонезъ—разъ“, — сказалъ онъ, загибая палецъ... — „Такъ прикажете стерлядей большихъ взять?“ — спросилъ экономъ. — „Что-жъ дѣлать, возьми, коли не уступаютъ. Да, батюшка ты мой, я было и забылъ. Вѣдь надо еще другую антре на столъ. Ахъ, отцы мои! — онъ схватился за голову. — Да кто же мнѣ цѣфты привезетъ? Митенька! А, Митенька! Скачи ты, Митенька, въ подмосковную, — обратился онъ къ вошедшему на его зовъ управляющему, — скачи ты въ подмосковную и вели ты сейчасъ нарядить барщину Максимѣ-садовнику. Скажи, чтобы всѣ оранжереи сюда волокъ, укутывалъ бы войлоками. Да чтобы мнѣ двѣсти горшковъ тутъ къ пятницѣ были“.

Пьеръ. [Пьеръ былъ взбѣшенъ ухаживаньемъ Долохова за его женой, сплетнями, ходившими по городу и поведеніемъ самого Долохова по отношенію къ нему. Онъ вызвалъ Долохова на дуэль. Дуэль состоялась, и Пьеръ ранилъ своего противника].

Пьеръ, едва удерживая рыданія, побѣжалъ къ Долохову и хотѣлъ уже перейти пространство, отдѣляющее барьеры, какъ Долоховъ крикнулъ: къ

барьеру! и Пьеръ, понявъ въ чемъ дѣло, остановился у своей сабли. Только десять шаговъ раздѣляло ихъ. Долоховъ опустил голову къ снѣгу, жадно укусил снѣгъ, опять поднялъ голову, поправился, подобралъ ноги и сѣлъ, отыскивая прочный центръ тяжести. Онъ глоталъ холодный снѣгъ и сосалъ его: губы его дрожали, но все улыбаясь; глаза блестѣли усиленіемъ и злобой послѣднихъ собранныхъ силъ. Онъ поднялъ пистолетъ и сталъ цѣлиться.

— „Бокомъ, закройте пистолетомъ“, — проговорилъ Несвицкій. — „Закройтеся“, — не выдержавъ, крикнулъ даже Денисовъ своему противнику.

Пьеръ съ кроткою улыбкой сожалѣнія и раскаянія, безпомощно разставивъ ноги и руки, прямо своею широкою грудью стоялъ предъ Долоховымъ и грустно смотрѣлъ на него. Денисовъ, Ростовъ и Несвицкій зажмурились. Въ одно и то же время они услышали выстрѣлъ и злой крикъ Долохова.

— „Мимо!“ — крикнулъ Долоховъ и безсильно легъ на снѣгъ лицомъ внизъ. Пьеръ схватился за голову и, повернувшись назадъ, пошелъ въ лѣсъ, шагая цѣликомъ по снѣгу и вслухъ приговаривая непонятныя слова:

— „Глупо... глупо! Смерть... ложь...“ — твердилъ онъ, морщась. Несвицкій остановилъ его и повезъ домой.

Ростовъ съ Денисовымъ повезли раненаго Долохова.

Долоховъ, молча, съ закрытыми глазами, лежалъ въ саняхъ и ни слова не отвѣчалъ на вопросы, которые ему дѣлали; но, вѣхавъ въ Москву, онъ вдругъ очнулся, и съ трудомъ приподнявъ голову, взялъ за руку сидѣвшаго подлѣ себя Ростова. Ростова поразило совершенно измѣнившееся и неожиданно восторженно нѣжное выраженіе лица Долохова.

— „Ну, что? какъ ты чувствуешь себя?“ — спросилъ Ростовъ. — „Скверно! но не въ томъ дѣло. Другъ мой, — сказалъ Долоховъ прерывающимся голосомъ, — гдѣ мы? Мы въ Москвѣ, я знаю. Я ничего, но я убилъ ее, убилъ... Она не перенесетъ этого. Она не перенесетъ...“ — „Кто?“ — спросилъ Ростовъ. — „Мать моя. Моя мать, мой ангелъ, мой обожаемый ангелъ, мать“, — и Долоховъ заплакалъ, сжимая руку Ростова. Когда онъ нѣсколько успокоился, онъ объяснилъ Ростову, что живетъ съ матерью, что ежели мать увидитъ его умирающимъ, она не перенесетъ этого. Онъ умолялъ Ростова ѣхать къ ней и приготовить ее.

Ростовъ поѣхалъ впередъ исполнять порученіе, и къ великому удивленію своему узналъ, что Долоховъ, этотъ бунтъ, бретеръ-Долоховъ жилъ въ Москвѣ съ старушкой матерью и горбатою сестрой и былъ самый нѣжный сынъ и братъ.

Кн. Марья. [Къ отцу пришло извѣстіе, что кн. Андрей убитъ].

— „Батюшка! Андрей?..“ — сказала неграціозная, неловкая княжна съ такою невыразимою прелестью печали и самозабвенія, что отецъ не выдержалъ съ взгляда и, всхлипнувъ, отвернулся. — „Получилъ извѣстіе. Въ числѣ плѣнныхъ нѣтъ, въ числѣ убитыхъ нѣтъ. Кутузовъ пишетъ, — крикнулъ онъ пронзительно, какъ будто желая прогнать княжну этимъ крикомъ. — Убитъ!“

Княжна не упала, съ ней не сдѣлалось дурноты. Она была уже блѣдна, но когда она услышала эти слова, лицо ея измѣнилось, и что-то просіяло

въ ея лучистыхъ, прекрасныхъ глазахъ. Какъ будто радость, высшая радость, независимая отъ печалей и радостей этого міра, разлилась сверхъ той сильной печали, которая была въ ней. Она забыла весь страхъ къ отцу, подошла къ нему, взяла его за руку, потянула къ себѣ и обняла за сухую, жилистую шею.

— „Батюшка,—сказала она. — Не отвертывайтесь отъ меня, будемте плакать вмѣстѣ“. — „Мерзавцы, подлецы! — закричалъ старикъ, отстраняя отъ нея лицо. — Губить армію, губить людей! За что? Поди, поди, скажи Лизѣ“.

Княжна безсильно опустилась въ кресло подлѣ отца и заплакала. Она видѣла теперь брата въ ту минуту, какъ онъ прощался съ ней и съ Лизой, съ своимъ нѣжнымъ и вмѣстѣ высокомернымъ видомъ. Она видѣла его въ ту минуту, какъ онъ нѣжно и насмѣшливо надѣвалъ образокъ на себя. „Вѣрилъ-ли онъ? Раскался-ли онъ въ своемъ невѣріи? Тамъ-ли онъ теперь? Тамъ-ли, въ обители вѣчнаго спокойствія и блаженства?“ — думала она.

Пьеръ на почтовой станціи. Вошелъ смотритель и униженно сталъ просить его сіятельство подождать только два часика, послѣ которыхъ онъ для его сіятельства (что будетъ, то будетъ) дастъ курьерскихъ. Смотровитель очевидно вралъ и хотѣлъ только получить съ проѣзжаго лишнія деньги. „Дурно-ли это было, или хорошо? — спрашивалъ себя Пьеръ. — Для меня хорошо, для другого проѣзжающаго дурно, а для него самого неизбежно, потому что ему ѣсть нечего: онъ говорилъ, что его прибилъ за это офицеръ. А офицеръ прибилъ за то, что ему ѣхать надо было скорѣе. А я стрѣлялъ въ Долохова за то, что я счелъ себя оскорбленнымъ. А Людовика XVI казнили за то, что его считали преступникомъ; а черезъ годъ убили тѣхъ, кто его казнилъ, тоже за что-то. Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидѣть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляетъ всѣмъ?“ — спрашивалъ онъ себя. И не было отвѣта ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ, кромѣ одного, нелогическаго отвѣта, вовсе не на эти вопросы. Отвѣтъ этотъ былъ: „умрешь — все кончится. Умрешь и все узнаешь, или перестанешь спрашивать“. Но и умереть было страшно.

Торжковская торговка визгливымъ голосомъ предлагала свой товаръ и въ особенности козловыя туфли. „У меня сотни рублей, которыхъ мнѣ некуда дѣть, а она въ прорванной шубѣ стоитъ и робко смотритъ на меня, — думалъ Пьеръ. — И зачѣмъ нужны ей эти деньги? Точно на одинъ волосъ могутъ прибавить ей счастья, спокойствія души, эти деньги. Развѣ можетъ что-нибудь въ мірѣ сдѣлать ее и меня менѣе подверженными злу и смерти? Смерть, которая все кончитъ и которая должна придти нынче или завтра — все равно черезъ мгновеніе, въ сравненіи съ вѣчностью“. И онъ опять нажималъ на ничего не захватывающій винтъ, и винтъ все такъ-же вертѣлся на одномъ и томъ-же мѣстѣ.

Все въ немъ самомъ и вокругъ него представлялось ему запутаннымъ, бессмысленнымъ и отвратительнымъ.

Беседа Пьера съ масономъ Баздеевымъ. — „Я боюсь, — сказалъ Пьеръ, улыбаясь и колеблясь между довѣріемъ, внушаемымъ ему личностью масона

и привычкой насмѣшки надъ вѣрованіями масоновъ,—я боюсь, что я очень далеко отъ пониманія, какъ это сказать, я боюсь, что мой образъ мыслей насчетъ всего мірозданія такъ противоположенъ вашему, что мы не поймемъ другъ друга“. — „Миѣ извѣстенъ вашъ образъ мыслей,—сказалъ масонъ,—и тотъ вашъ образъ мыслей, о которомъ вы говорите, и который вамъ кажется произведеніемъ вашего мысленнаго труда, есть образъ мыслей большинства людей, есть однообразный плодъ гордости, лѣни и невѣжества. Извините меня, государь мой, ежели-бы я не зналъ его, я бы не заговорилъ съ вами. Вашъ образъ мыслей есть печальное заблужденіе“. — „Точно такъ же, какъ я могу предполагать, что и вы находитесь въ заблужденіи“, — сказалъ Пьеръ, слабо улыбаясь. — „Я никогда не посмѣю сказать, что я знаю истину, — сказалъ масонъ, все болѣе и болѣе поражая Пьера своею определенностью и твердостью рѣчи. — Никто одинъ не можетъ достигнуть до истины; только камень за камнемъ, съ участіемъ всѣхъ, милліонами поколѣній отъ праотца Адама и до нашего времени, воздвигается тотъ храмъ который долженъ быть достойнымъ жилищемъ Великаго Бога“, — сказалъ масонъ и закрылъ глаза. — „Я долженъ вамъ сказать, я не вѣрю, не... вѣрю въ Бога“, — съ сожалѣніемъ и усиліемъ сказалъ Пьеръ, чувствовалъ необходимость высказать всю правду.

Масонъ внимательно посмотрѣлъ на Пьера и улыбнулся, какъ улыбнулся-бы богачъ, державшій въ рукахъ милліоны, бѣдняку, который-бы сказалъ ему, что нѣтъ у него, у бѣдняка, пяти рублей, могущихъ сдѣлать его счастіе.

— „Да, вы не знаете Его, государь мой, — сказалъ масонъ. — Вы не можете знать Его. Вы не знаете Его, оттого вы и несчастны“. — „Да, да я несчастенъ, — подтвердилъ Пьеръ, — но что-жъ миѣ дѣлать?“ — „Вы не знаете Его, государь мой, и оттого вы очень несчастны. Вы не знаете Его, а Онъ здѣсь, Онъ во миѣ, Онъ въ моихъ словахъ, Онъ въ тебѣ, и даже въ тѣхъ кощунствующихъ рѣчахъ, которыя ты произнесъ сейчасъ“, — строгимъ дрожащимъ голосомъ сказалъ масонъ.

Онъ помолчалъ и вздохнулъ, видимо стараясь успокоиться.

— „Ежели-бы Его не было, — сказалъ онъ тихо, — мы бы съ вами и говорили о Немъ, государь мой. О чемъ, о комъ мы говорили? Кого ты отрицалъ? — вдругъ сказалъ онъ съ восторженною строгостью и властью въ голосъ. — Кто Его выдумалъ, ежели Его нѣтъ? Почему явилось въ тебѣ предположеніе, что есть такое непонятное существо? Почему ты и весь міръ предположили существованіе такого непостижимаго существа, существа всемогущаго, вѣчнаго и безконечнаго во всѣхъ своихъ свойствахъ?...“ — Онъ остановился и долго молчалъ.

Пьеръ не могъ и не хотѣлъ прерывать этого молчанія.

— „Онъ есть, но понять Его трудно, — заговорилъ опять масонъ, глядя не на лицо Пьера, а предъ собою, своими старческими руками, которыя отъ внутренняго волненія не могли остаться покойными, перебирая листы книги. — Ежели это былъ человѣкъ, въ существованіи котораго ты бы сомнѣвался, я бы привелъ къ тебѣ этого человѣка, взялъ бы его за руку и по

казалъ тебѣ. Но какъ я, ничтожный смертный, покажу все могущество, всю вѣчность, всю благодѣть Его тому, кто слѣпъ, или тому, кто закрываетъ глаза, чтобы не видать, не понимать Его, и не увидать, и не понять всю свою мерзость и порочность.—Онъ помолчалъ.—Кто ты? Что ты? Ты мечтаешь о себѣ, что ты мудрецъ, потому что ты могъ произнести эти кощунственные слова,—сказалъ онъ съ мрачною и презрительною усмѣшкой,—а ты глупѣе и безумнѣе малаго ребенка, который-бы, играя частями искусно сдѣланныхъ часовъ, осмѣлился-бы говорить, что потому, что онъ не понимаетъ назначенія этихъ часовъ, онъ и не вѣрить въ мастера, который ихъ сдѣлалъ. Познать Его трудно. Мы вѣками, отъ праотца Адама и до нашихъ дней, работаемъ для этого познанія и на безконечность далеки отъ достиженія нашей цѣли; но въ непониманіи Его мы видимъ только нашу слабость и Его величіе...”

Пьеръ съ замираніемъ сердца, блестящими глазами глядя въ лицо масона, слушалъ его, не перебивалъ, не спрашивалъ его, а всею душою вѣрилъ тому, что говорилъ ему этотъ чужой человѣкъ. Вѣрилъ-ли онъ тѣмъ разумнымъ доводамъ, которые были въ рѣчи масона, или вѣрилъ, какъ вѣрятъ дѣти, интонаціямъ, убѣжденности и сердечности, которыя были въ рѣчи масона, дрожанію голоса, которое иногда почти прерывало масона, или этимъ блестящимъ старческимъ глазамъ, состарившимся на томъ-же убѣжденіи, или тому спокойствію, твердости и знанію своего назначенія, которыя свѣтили изъ всего существа масона, и которыя особенно сильно поражали его въ сравненіи съ своею опущенностью и безнадежностью, но онъ всею душою желалъ вѣрить, и вѣрилъ, и испытывалъ радостное чувство успокоенія, обновленія и возвращенія къ жизни.

— „Онъ не постигается умомъ, а постигается жизнью“,—сказалъ масонъ.—„Я не понимаю,“—сказалъ Пьеръ, со страхомъ, чувствуя поднимающееся въ себѣ сомнѣніе. Онъ боялся неясности и слабости доводовъ своего собесѣдника, онъ боялся не вѣрить ему. — Я не понимаю,—сказалъ онъ,—какимъ образомъ умъ человѣческій не можетъ постигнуть того знанія, о которомъ вы говорите“.

Масонъ улыбнулся своею кроткою, отеческою улыбкой.

— „Высшая мудрость и истина есть какъ-бы чистѣйшая влага, которую мы хотимъ воспринять въ себя, — сказалъ онъ. — Могу-ли я въ нечистый сосудъ воспринять эту чистую влагу и судить о чистотѣ ея? Только внутреннимъ очищеніемъ самого себя я могу до извѣстной чистоты довести воспринимаемую влагу“. — „Да, да, это такъ“,—радостно сказалъ Пьеръ. — „Высшая мудрость основана не на одномъ разумѣ, не на тѣхъ свѣтскихъ наукахъ физики, исторіи, химіи и т. д., на которыя распадается знаніе умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имѣетъ одну науку—науку всего, науку объясняющую все мірозданіе и занимаемое въ немъ мѣсто человѣка. Для того, чтобы вмѣстить въ себя эту науку, необходимо очистить и обновить своего внутреннего человѣка, и потому прежде, чѣмъ знать, нужно вѣрить и совершенствоваться. И для достиженія этихъ цѣлей въ души нашей вложенъ свѣтъ Божій, называемый совѣстью“. — „Да, да“,—подумавъ

ждалъ Пьеръ. — „Погляди духовными глазами на своего внутреннего человека и спроси у самого себя, доволенъ-ли ты собой. Чего ты достигъ, руководясь однимъ умомъ? Что ты такое? Вы молоды, вы богаты, вы умны, образованы, государь мой. Что вы сдѣлали изъ всѣхъ этихъ благъ, данныхъ вамъ? Довольны-ли собой и своею жизнью?“ — „Нѣтъ, я ненавижу свою жизнь“,—сморщась проговорилъ Пьеръ.—„Ты ненавидишь, такъ измѣни ее, очисти себя, и, по мѣрѣ очищенія, ты будешь познавать мудрость. Посмотрите на свою жизнь, государь мой. Какъ вы проводили ее? Въ буйныхъ оргіяхъ и развратѣ, все получая отъ общества и ничего не отдавая ему. Вы получили богатство. Какъ вы употребили его? Что вы сдѣлали для ближняго своего? Подумали-ли вы о десяткахъ тысячъ вашихъ рабовъ, помогли-ли вы имъ физически и нравственно? Нѣтъ. Вы пользовались ихъ трудами, чтобы вести распутную жизнь. Вотъ что вы сдѣлали. Избрали-ли вы мѣсто служенія, гдѣ-бы вы приносили пользу ближнему? Нѣтъ. Вы въ праздности проводили свою жизнь. Потомъ вы женились, государь мой, взяли на себя отвѣтственность въ руководствѣ молодой женщины, и что-же вы сдѣлали? Вы не помогли ей, государь мой, найти путь истины, а ввергли ее въ пучину лжи и несчастья. Человѣкъ оскорбилъ васъ, и вы убили его, и вы говорите, что вы не знаете Бога и что вы ненавидите свою жизнь. Тутъ нѣтъ ничего мудренаго, государь мой“.

Послѣ этихъ словъ, масонъ, какъ-бы уставъ отъ продолжительнаго разговора, опять облокотился на спинку дивана и закрылъ глаза. Пьеръ смотрѣлъ на это строгое, неподвижное, старческое, почти мертвое лицо, беззвучно шевелилъ губами. Онъ хотѣлъ сказать: да, мерзкая, праздная развратная жизнь,—и не смѣлъ прерывать молчаніе.

„Неужели-же онъ уйдетъ и оставитъ меня одного, не договоривъ все и не обѣщавъ мнѣ помощи? — думалъ Пьеръ, вставая и опустивъ голову изрѣдка взглядывая на масона и начиная ходить по комнатѣ. — Да, я и думалъ этого, но я вѣдь презрѣнную, развратную жизнь, но я не любилъ ее, и не хотѣлъ этого,—думалъ Пьеръ,—а этотъ человѣкъ знаетъ истину и ежели-бы онъ захотѣлъ, онъ могъ-бы открыть мнѣ ее“. Пьеръ хотѣлъ не смѣлъ сказать этого масону. Проѣзжающій, привычными, старческими руками уложивъ свои вещи, застегивалъ свой тулупчикъ. Окончивъ это дѣла, онъ обратился къ Безухому, и равнодушно, учтивымъ тономъ, сказалъ ему:

— „Вы куда теперь изволите ѣхать, государь мой?“—„Я?.. Я въ Петербургъ,—отвѣчалъ Пьеръ дѣтскимъ, нерѣшительнымъ голосомъ. Я благодарю васъ. Я во всемъ согласенъ съ вами. Но вы не думайте, чтобы я былъ такъ дурень. Я всею душой желалъ быть тѣмъ, чѣмъ вы хотѣли-бы чтобы я былъ, но я ни въ комъ никогда не находилъ помощи... Впрочемъ я самъ прежде всего виноватъ во всемъ. Помогите мнѣ, научите меня, и можетъ быть, я буду“... — Пьеръ не могъ говорить дальше; онъ засопѣлъ носомъ и отвернулся.

Масонъ долго молчалъ, видимо что-то обдумывая.

— „Помощь дается токмо отъ Бога,—сказалъ онъ,—но ту мѣру по-

монщи, которую во власти подать нашъ орденъ, онъ подастъ вамъ, государь мой. Вы ѣдете въ Петербургъ, передайте это графу Вилларскому“ (онъ досталъ бумажникъ и на сложенномъ вчетверо большомъ листѣ бумаги написалъ нѣсколько словъ).

Проѣзжающій былъ Осипъ Алексѣевичъ Баздѣевъ, какъ узналъ Пьеръ по книгѣ смотрителя. Баздѣевъ былъ однимъ изъ извѣстнѣйшихъ масоновъ и мартинистовъ еще Новиковскаго времени. Долго послѣ его отъѣзда Пьеръ, не ложась спать и не спрашивая лошадей, ходилъ по станціонной комнатѣ, обдумывая свое порочное прошедшее, и съ восторгомъ обновленія представляя себѣ свое блаженное, безупречное и добродѣтельное будущее, которое казалось ему такъ легко. Онъ былъ, какъ ему казалось, порочнымъ только потому, что онъ какъ-то случайно запаматовалъ, какъ хорошо быть добродѣтельнымъ. Въ душѣ его не оставалось ни слѣда прежнихъ сомнѣній. Онъ твердо вѣрилъ въ возможность братства людей, соединенныхъ съ цѣлью поддерживать другъ друга на пути добродѣтели, и такимъ представлялось ему масонство.

Масонство. [Принятіе Пьера въ масонскую ложу сопровождалось различными обрядами. Между прочимъ, ему были сообщены основы ученія масоновъ].

— „Теперь я долженъ открыть вамъ главную цѣль нашего ордена,—сказалъ онъ,— и ежели цѣль эта совпадетъ съ вашею, то вы съ пользою вступите въ наше братство. Первая главнѣйшая цѣль и купно основаніе нашего ордена, на которомъ онъ утвержденъ и котораго никакая сила человѣческая не можетъ низвергнуть, есть сохраненіе и преданіе потомству нѣкоего важнаго таинства... отъ самыхъ древнѣйшихъ вѣковъ и даже отъ перваго человѣка до насъ дошедшаго, отъ котораго таинства, можетъ быть, зависитъ судьба рода человѣческаго. Но такъ какъ сіе таинство такого свойства, что никто не можетъ его знать и имъ пользоваться, если долговременнымъ и прилежнымъ очищеніемъ самого себя не приуготовленъ, то не всякъ можетъ надѣяться скоро обрѣсти его. Поэтому мы имѣемъ вторую дѣль, которая состоитъ въ томъ, чтобы приуготовлять нашихъ членовъ, сколько возможно исправлять ихъ сердце, очищать и просвѣщать ихъ разумъ тѣми средствами, которыя намъ преданіемъ открыты отъ мужей, потрудившихся въ исканіи сего таинства, и тѣмъ учинять ихъ способными къ воспріятію онаго. Очищая и исправляя нашихъ членовъ, мы стараемся въ третьихъ исправлять и весь человѣческій родъ, предлагая ему въ членахъ нашихъ примѣръ благочестія и добродѣтели, и тѣмъ стараемся всѣми силами противоборствовать злу, царствующему въ мірѣ. Подумайте объ этомъ, и я опять приду къ вамъ“,—сказалъ онъ и вышелъ изъ комнаты.

— „Противоборствовать злу, царствующему въ мірѣ“... — повторилъ Пьеръ, и ему представилась его будущая дѣятельность на этомъ поприщѣ. Ему представлялись такіе-же люди, какимъ онъ былъ самъ двѣ недѣли тому назадъ, и онъ мысленно обращалъ къ нимъ поучительно-наставническую рѣчь. Онъ представлялъ себѣ порочныхъ и несчастныхъ людей, которымъ онъ помогалъ словомъ и дѣломъ; представлялъ себѣ угнетателей, отъ кото-

рыхъ онъ спасалъ ихъ жертвы. Изъ трехъ поименованныхъ риторомъ цѣлей, эта послѣдняя—исправленіе рода человѣческаго, особенно близка была Пьеру. Нѣкое важное таинство, о которомъ упомянулъ риторъ, хотя и подстрекало его любопытство, не представлялось ему существеннымъ; а вторая цѣль, очищеніе и исправленіе себя, мало занимала его, потому что онъ въ эту минуту съ наслажденіемъ чувствовалъ себя уже вполне исправленнымъ отъ прежнихъ пороковъ и готовымъ только на одно доброе.

Черезъ полчаса вернулся риторъ передать ищущему тѣ семь добродѣтелей, соотвѣтствующія семи ступенямъ храма Соломона, которыя долженъ былъ воспитывать въ себѣ каждый масонъ. Добродѣтели эти были: 1) *скромность*, соблюденіе тайны ордена, 2) *повиновеніе* высшимъ чинамъ ордена, 3) *добронравіе*, 4) *любовь къ человѣчеству*, 5) *мужество*, 6) *щедрость* и 7) *любовь къ смерти*.

— „Въ *седьмизъ* старайтесь, — сказалъ риторъ, — частымъ помышленіемъ о смерти довести себя до того, чтобы она не казалась вамъ болѣе страшнымъ врагомъ, но другомъ... который освобождаетъ отъ бѣдственной сей жизни въ трудахъ добродѣтели томившуюся душу, для введенія ея въ мѣсто награды и успокоенія“.

„Да, это должно быть такъ, — думалъ Пьеръ, когда послѣ этихъ словъ риторъ снова ушелъ отъ него, оставляя его уединенному размышленію. — Это должно быть такъ, но я еще такъ слабъ, что люблю свою жизнь, которой смыслъ только теперь понемногу открывается мнѣ“. Но остальные пять добродѣтелей, которыя, перебирая по пальцамъ, вспомнилъ Пьеръ, онъ чувствовалъ въ душѣ своей: и *мужество*, и *щедрость*, и *добронравіе*, и *любовь къ человѣчеству*, и въ особенности *повиновеніе*, которое даже не представляють ему добродѣтелью, а счастьемъ. (Ему такъ радостно было теперь избавиться отъ своего произвола и подчинить свою волю тому и тѣмъ, которые знали несомнѣнную истину). Седьмую добродѣтель Пьеръ забылъ и никакъ не могъ вспомнить ее.

Пьеръ въ своемъ имѣніи. Приѣхавъ въ Кіевъ, Пьеръ вызвалъ въ главную контору всѣхъ управляющихъ и объяснилъ имъ свои намѣренія и желанія. Онъ сказалъ имъ, что немедленно будутъ приняты мѣры для совершеннаго освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, что до тѣхъ поръ крестьяне не должны быть отягчаемы работой, что женщины съ дѣтьми и должны посылаться на работы, что крестьянамъ должна быть оказываемъ помощь, что наказанія должны быть употребляемы увѣщательныя, а не телесныя, что въ каждомъ имѣніи должны быть учреждены больницы, пріютъ и школы. Нѣкоторые управляющіе (тутъ были и полуграмотные экономы) слушали испуганно, предполагая смыслъ рѣчи въ томъ, что молодой графъ недоволенъ ихъ управленіемъ и утайкой денегъ; другіе, послѣ перваго страха, находили забавнымъ шепелявленіе Пьера и новыя, неслыханныя ими слова; третьи находили просто удовольствіе послушать, какъ говоритъ баринъ; четвертые, самые умные, въ томъ числѣ и главноуправляющій, поняли изъ этой рѣчи то, какимъ образомъ надо обходиться съ баринномъ для достиженія своихъ цѣлей.

Съ одной стороны главноуправляющій выставялъ дѣла въ самомъ дуриномъ свѣтѣ, показывая Пьеру необходимость уплачивать долги и принимать новыя работы силами крѣпостныхъ мужиковъ, на что Пьеръ не соглашался; съ другой стороны, Пьеръ требовалъ приступленія къ дѣлу освобожденія, на что управляющій выставялъ необходимость прежде уплатить долгъ Опекунскому Совѣту, и потому невозможность быстрого исполненія.

Управляющій не говорилъ, что это совершенно невозможно: онъ предлагалъ для достиженія этой цѣли продажу лѣсовъ Костромской губерніи, продажу земель низовыхъ и Крымскаго имѣнія. Но всѣ эти операціи въ рѣчахъ управляющаго связывались съ такою сложностью процессовъ, снятій запрещеній, истребованій разрѣшеній и т. п., что Пьеръ терялся и только говорилъ ему: „Да, да, такъ и сдѣлайте“.

Пьеръ не имѣлъ той практической цѣлкости, которая-бы дала ему возможность непосредственно взяться за дѣло, и потому онъ не любилъ его и только старался притвориться предъ управляющимъ, что онъ занятъ дѣломъ. Управляющій-же старался притвориться предъ графомъ, что онъ считаетъ эти занятія весьма полезными для хозяина и для себя стѣснительными.

Въ большомъ городѣ нашлись знакомые; незнакомые посѣщали познакомиться и радушно привѣтствовали вновь пріѣхавшаго богача, самаго большаго владѣльца губерніи. Искушенія по отношенію главной слабости Пьера, той, въ которой онъ признался во время пріема въ ложу, тоже были такъ сильны, что Пьеръ не могъ воздержаться отъ нихъ. Опять цѣлые дни, недѣли, мѣсяцы жизни Пьера проходили такъ-же озабоченно и занято между вечерами, обѣдами, завтраками, балами, не давая ему времени опомниться, какъ и въ Петербургѣ. Въмѣсто новой жизни, которую надѣялся повести Пьеръ, онъ жилъ все тою-же прежнею жизнью, только въ другой обстановкѣ.

Изъ трехъ назначеній масонства Пьеръ сознавалъ, что онъ не исполнялъ того, которое предписывало каждому масону быть образцомъ нравственной жизни, и изъ семи добродѣтелей совершенно не имѣлъ въ себѣ двухъ: добронравія и любви къ смерти. Онъ утѣшалъ себя тѣмъ, что за то онъ исполнялъ другое назначеніе,— исправленія рода человѣческаго, и имѣлъ другія добродѣтели, любовь къ ближнему и въ особенности щедрость.

Главноуправляющій, считавшій всѣ затѣи молодого графа почти безумствомъ, невыгодой для себя, для него, для крестьянъ, — сдѣлалъ уступки. Продолжая дѣло освобожденія представлять невозможнымъ, онъ распорядился для пріѣзда барина постройкой во всѣхъ имѣніяхъ большихъ зданій школъ, больницъ и пріютовъ, вездѣ приготовилъ встрѣчи не пышно-торжественныя, которыя, онъ зналъ, не поправятся Пьеру, но именно такія религіозно-благодарственные, съ образами и хлѣбомъ-солью, именно такія, которыя, какъ онъ понималъ барина, должны были подѣйствовать на графа и обмануть его.

Южная весна, покойное, быстрое путешествіе въ вѣнской коляскѣ и единеніе дороги радостно дѣйствовали на Пьера. Имѣнія, въ которыхъ онъ не бывалъ еще, были—одно живописнѣе другого; пародъ вездѣ представлялся благоденствующимъ и трогательно-благодарнымъ за сдѣланный ему

благодѣянія. Вездѣ были встрѣчи, которыя хотя и приводили въ смущеніе Пьера, но въ глубинѣ души его вызывали радостное чувство. Въ одномъ мѣстѣ мужики подносили ему хлѣбъ-соль и образъ Петра и Павла и просили позволенія въ честь его ангела Петра и Павла, въ знакъ любви и благодарности за сдѣланныя имъ благодѣянія, воздвигнуть на свой счетъ новый придѣлъ въ церкви. Въ другомъ мѣстѣ его встрѣтили женщины съ грудными дѣтьми, благодаря его за избавленіе отъ тяжелыхъ работъ. Въ третьемъ имѣніи его встрѣчалъ священникъ съ крестомъ, окруженный дѣтьми, которыхъ онъ по милостямъ графа обучалъ грамотѣ и религіи. Во всѣхъ имѣніяхъ Пьеръ видѣлъ своими глазами по одному плану воздвигавшіяся и воздвигнутыя уже каменные зданія больницъ, школъ, богадѣленъ, которыя должны были быть, въ скоромъ времени, открыты. Вездѣ Пьеръ видѣлъ отчеты управляющихъ о барщинскихъ работахъ, уменьшенныхъ противъ прежняго, и слышалъ за то трогательныя благодаренія депутацій крестьянъ въ синихъ кафтанахъ.

Пьеръ только не зналъ того, что тамъ, гдѣ ему подносили хлѣбъ-соль и строили придѣлъ Петра и Павла, было торговое село и ярмарка въ Петровъ день, что придѣлъ уже строился давно богачами-мужиками села, тѣми, которые явились къ нему, а что девять десятыхъ мужиковъ этого села были въ величайшемъ разореніи. Онъ не зналъ, что вслѣдствіе того, что перестали по его приказу посылать *ребятницъ*-женщинъ съ грудными дѣтьми на барщину, эти самыя ребятницы тѣмъ труднѣйшую работу несли на своей половинѣ. Онъ не зналъ, что священникъ, встрѣтившій его съ крестомъ, отягощалъ мужиковъ своими поборами, и что собранные къ нему ученики со слезами были отдаваемы ему и за большія деньги были откупаемы родителями. Онъ не зналъ, что каменные, по плану, зданія воздвигались своими рабочими и увеличили барщину крестьянъ, уменьшенную только на бумагѣ. Онъ не зналъ, что тамъ, гдѣ управляющій указывалъ ему по книгѣ на уменьшеніе по его волѣ оброка на одну треть, была наполовину прибавлена барщинская повинность. И потому Пьеръ былъ восхищенъ своимъ путешествіемъ по имѣніямъ, и вполне возвратился къ тому филантропическому настроенію, въ которомъ онъ выѣхалъ изъ Петербурга, и писалъ восторженные письма своему наставнику-брату, какъ онъ называлъ великаго мастера.

„Какъ легко, какъ мало усилія нужно, чтобы сдѣлать такъ много добра,—думалъ Пьеръ,—и какъ мало мы объ этомъ заботимся!“

Онъ счастливъ былъ выказываемою ему благодарностью, но стыдился, принимая ее. Эта благодарность напоминала ему, насколько онъ *еще больше* бы былъ въ состояніи сдѣлать для этихъ простыхъ, добрыхъ людей.

Главноуправляющій, весьма глупый и хитрый человекъ, совершенно понимая умнаго и наивнаго графа и играя имъ, какъ игрушкой, увидавъ дѣйствіе, произведенное на Пьера приготовленными приемами, рѣшительнѣе обратился къ нему съ доводами о невозможности и, главное, ненужности освобожденія крестьянъ, которые и безъ того были совершенно счастливы.

Пьеръ въ тайнѣ своей души соглашался съ управляющимъ въ томъ,

— 51. —
что трудно было представить себѣ людей, болѣе счастливыхъ, и что Богъ знаетъ, что ожидало ихъ на волѣ; но Пьеръ, хотя и неохотно, настаивалъ на томъ, что онъ считалъ справедливымъ. Управляющій общалъ употребить всѣ силы для исполненія воли графа, ясно понимая, что графъ никогда не будетъ въ состояніи повѣрить его не только въ томъ, употреблены-ли всѣ мѣры для продажи лѣсовъ и имѣній для выкупа изъ Совѣта, но и никогда вѣроятно не спроситъ и не узнаетъ о томъ, какъ построенныя зданія стоятъ пустыми и крестьяне продолжаютъ давать работой и деньгами все то, что они даютъ у другихъ, т.-е. все, что они могутъ давать.

Бесѣда Пьера съ Болконскимъ. За обѣдомъ зашелъ разговоръ о женитьбѣ Пьера.

— „Я очень удивился, когда услышалъ объ этомъ,“ — сказалъ князь Андрей.

Пьеръ покраснѣлъ такъ-же, какъ онъ краснѣлъ всегда при этомъ, и торопливо сказалъ:

— „Я вамъ расскажу когда-нибудь, какъ это все случилось. Но вы знаете, что все это кончено и навсегда.“ — „Навсегда? — сказалъ князь Андрей. — Навсегда ничего не бываетъ.“ — „Но вы знаете, какъ это все кончилось? Слышали про дуэль?“ — „Да, ты прошелъ и черезъ это?“ — „Одно, за что я благодарю Бога, это за то, что я не убилъ этого человѣка,“ — сказалъ Пьеръ. — „Отчего-же? — сказалъ князь Андрей. — Убить злую собаку даже очень хорошо.“ — „Нѣтъ, убить человѣка нехорошо, несправедливо...“ — „Отчего-же несправедливо? — повторилъ князь Андрей, — то, что справедливо и несправедливо — не дано судить людямъ. Люди вѣчно заблуждались и будутъ заблуждаться, и ни въ чемъ больше, какъ въ томъ, что они считаютъ справедливымъ и несправедливымъ.“ — „Несправедливо то, что есть зло для другого человѣка,“ — сказалъ Пьеръ, съ удовольствіемъ чувствуя, что въ первый разъ со времени его пріѣзда князь Андрей оживлялся и начиналъ говорить и хотѣлъ высказать все то, что сдѣлало его такимъ, какимъ онъ былъ теперь. — „А кто тебѣ сказалъ, что такое зло для другого человѣка?“ — спросилъ онъ. — „Зло? зло? — сказалъ Пьеръ, — мы всѣ знаемъ, что такое зло для себя.“ — „Да, мы знаемъ, но то зло, которое я знаю для себя, я не могу сдѣлать другому человѣку, — все болѣе и болѣе оживляясь, говорилъ князь Андрей, видимо желая высказать Пьеру свой новый взглядъ на вещи. — Онъ говорилъ по-французски. — Я знаю въ жизни только два дѣйствительныя несчастья: угрызеніе совѣсти и болѣзнь. И единственное благо есть отсутствіе этихъ двухъ золъ: вотъ вся моя мудрость теперь.“ — „А любовь къ ближнему, а самопожертвованіе? — заговорилъ Пьеръ. — Нѣтъ, я съ вами не могу согласиться. Жить только такъ, чтобы не дѣлать зла, чтобы не раскаиваться, этого мало. Я жилъ такъ, я жилъ для себя и погубилъ свою жизнь. И только теперь, когда я живу, по крайней мѣрѣ стараюсь (изъ скромности поправился Пьеръ) жить для другихъ, только теперь я понимаю все счастье жизни. Нѣтъ, я не соглашусь съ вами, да и вы не думаете того, что вы говорите.

Князь Андрей молча глядѣлъ на Пьера и насмѣшливо улыбался.

— „Вотъ увидишь сестру, княжну Марью. Съ ней вы сойдетесь,—сказалъ онъ.—Можетъ быть, ты правъ для себя,—продолжалъ онъ, помолчавъ немного,—но каждый живетъ по своему: ты жилъ для себя и говоришь, что этимъ чуть не погубилъ свою жизнь, а узналъ счастье только тогда, когда сталъ жить для другихъ. А я испыталъ противоположное. Я жилъ для славы. (Вѣдь что-же слава? та же любовь къ другимъ, желаніе сдѣлать для нихъ что-нибудь, желаніе ихъ похвалы). Такъ я жилъ для другихъ, и не почти, а совсѣмъ погубилъ свою жизнь. И съ тѣхъ поръ сталъ спокойнѣе, какъ живу для одного себя.“ — „Да какъ-же жить для одного себя?—разгорячаясь, спросилъ Пьеръ. — А сынъ, а сестра, а отецъ?“ — „Да это все тотъ-же я, это не другіе, — сказалъ князь Андрей, — а другіе ближніе, какъ вы съ княжной Марьей называете, это главный источникъ заблужденія и зла. Ближніе это тѣ, твои кievскіе мужики, которымъ ты хочешь сдѣлать добро.“

И онъ посмотрѣлъ на Пьера насмѣшливо вызывающимъ взглядомъ. Онъ, видимо, вызывалъ Пьера.

— „Вы шутите,—все болѣе и болѣе оживляясь, говорилъ Пьеръ.—Какое-же можетъ быть заблужденіе и зло въ томъ, что я желалъ (очень мало и дурно исполнилъ), но желалъ сдѣлать добро, да и сдѣлалъ хотя кое-что? Какое-же можетъ быть зло, что несчастные люди, наши мужики, люди такіе-же, какъ и мы, вырастающіе и умирающіе безъ другого понятія о Богѣ и правдѣ, какъ обрядъ и бессмысленная молитва, будутъ поучаться въ утѣшительныхъ вѣрованіяхъ будущей жизни, возмездія, награды, утѣшенія? Какое-же зло и заблужденіе въ томъ, что люди умираютъ отъ болѣзни безъ помощи, когда такъ легко матеріально помочь имъ, и я имъ дамъ лѣкаря, и больницу, и пріютъ старику? И развѣ не ощутительное, не несомнѣнное благо то, что мужикъ, баба съ ребенкомъ не имѣютъ дня и ночи покоя, а я дамъ имъ отдыхъ и досугъ?..—говорилъ Пьеръ, торопясь и шепелявя.—И я это сдѣлалъ, хоть плохо, хоть немного, но сдѣлалъ кое-что для этого, и вы не только меня не разуверите въ томъ, что то, что я сдѣлалъ, хорошо, но и не разуверите, чтобы вы сами этого не думали. А главное,—продолжалъ Пьеръ,—я вотъ что знаю и знаю вѣрно, что наслажденіе дѣлать это добро есть единственное вѣрное счастье жизни“. — „Да, если такъ поставить вопросъ, то это другое дѣло,—сказалъ князь Андрей.—Я строю домъ, развожу садъ, а ты больницы. И то и другое можетъ служить пренесовѣщеніемъ времени. А что справедливо, что добро—предоставь судить тому, кто все знаетъ, а не намъ. Ну, ты хочешь спорить,—прибавилъ онъ,—ну, давай“.

Они вышли изъ-за стола и сѣли на крыльцо, закрѣпленное балкономъ.

— „Ну, давай спорить,—сказалъ князь Андрей.—Ты говоришь школы,—продолжалъ онъ, загибая палецъ,—поученія и такъ далѣе, то-есть ты хочешь вывести его,—сказалъ онъ, указывая на мужика, снявшаго шапку и проходившаго мимо ихъ,—изъ его животнаго состоянія и дать ему нравственныхъ потребностей, а мнѣ кажется, что единственное возможное счастье—есть счастье животное, а ты его-то хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хочешь его сдѣлать мною, но не давъ ему моихъ средствъ.“

Другое, ты говоришь: облегчить его работу. А по моему, трудъ физическій для него есть такая-же необходимость, такое-же условіе его существованія, какъ для меня и для тебя трудъ умственный. Ты не можешь не думать. Я ложусь спать въ 3-мъ часу, мнѣ приходятъ мысли, и я не могу заснуть, ворочаюсь, не сплю до утра оттого, что я думаю и не могу не думать, какъ онъ не можетъ не пахать, не косить; иначе онъ пойдетъ въ кабакъ, или сдѣлается боленъ. Какъ я не перенесу его страшнаго физическаго труда, а умру черезъ недѣлю, такъ онъ не перенесетъ моей физической праздности, онъ растолстѣетъ и умретъ. Третье,—что бишь еще ты сказалъ? — Князь Андрей загнулъ третій палецъ. — Ахъ, да, больницы, лѣкарства. У него ударъ, онъ умираетъ, а ты пустилъ ему кровь, вылѣчилъ. Онъ калѣкой будетъ ходить десять лѣтъ, всѣмъ въ тягость. Гораздо покойнѣй и проще ему умереть. Другіе родятся, и такъ ихъ много. Ежели-бы ты жалѣлъ, что у тебя лишній работникъ пропасть,—какъ я смотрю на него, а то ты изъ любви-же къ нему его хочешь лѣчить. А ему этого не нужно. Да и потомъ, что за воображеніе, что медицина кого-нибудь и когда-нибудь вылѣчивала! Убивать—такъ!“ — сказалъ онъ, злобно нахмурившись и отвернувшись отъ Пьера.

Князь Андрей высказывалъ свои мысли такъ ясно и отчетливо, что, видно было, онъ не разъ думалъ объ этомъ, и онъ говорилъ охотно и быстро, какъ человекъ, долго не говорившій. Взглядъ его оживлялся тѣмъ больше, чѣмъ безнадежнѣе были его сужденія.

— „Ахъ, это ужасно, ужасно!—сказалъ Пьеръ.—Я не понимаю только, какъ можно жить съ такими мыслями. На меня находили такія-же минуты, это недавно было въ Москвѣ и дорогой, но тогда я опускаюсь до такой степени, что я не живу, все мнѣ гадко... главное, я самъ. Тогда я не ѣмъ, не умываюсь... ну, какъ-же вы?..“ — „Отчего-же не умываться, это не чисто,—сказалъ князь Андрей,—напротивъ, надо стараться сдѣлать свою жизнь какъ можно болѣе пріятною. Я живу, и въ этомъ не виноватъ, стало быть надо какъ-нибудь получше, никому не мѣшая, дожить до смерти“. — „Но что-же васъ побуждаетъ жить съ такими мыслями? Будешь сидѣть не двигаясь, ничего не предпринимая...“ — „Жизнь и такъ не оставляетъ въ покоѣ. Я-бы радъ ничего не дѣлать, а вотъ, съ одной стороны, дворянство здѣшнее удостоило меня чести избранія въ предводители, я насилу отдѣлался. Они не могли понять, что во мнѣ нѣтъ того, что нужно, нѣтъ этой извѣстной добродушной и озабоченной пошлости, которая нужна для этого. Потомъ вотъ этотъ домъ, который надо было построить, чтобъ имѣть свой уголь, гдѣ можно быть спокойнымъ. Теперь ополченіе“.

Князь Андрей все болѣе и болѣе оживлялся. Глаза его лихорадочно блестя въ то время, какъ онъ старался доказать Пьеру, что никогда въ его поступкѣ не было желанія добра ближнему.

— „Ну, вотъ ты хочешь освободить крестьянъ, — продолжалъ онъ.— Это очень хорошо, но не для тебя (ты, я думаю, никого не засѣкалъ и не посылалъ въ Сибирь) и еще меньше для крестьянъ. Ежели ихъ бьютъ, сѣкутъ, посылаютъ въ Сибирь, то я думаю, что имъ отъ этого нисколько не хуже. Въ Сибири ведетъ онъ ту-же свою скотскую жизнь, а рубцы на тѣлѣ

заживуть, и онъ такъ-же счастливъ, какъ и былъ прежде. А нужно это для тѣхъ людей, которые гибнутъ нравственно, наживають себѣ раскаяніе, подавливаютъ это раскаяніе и грубѣютъ отъ того, что у нихъ есть возможность казнить право и неправу. Вотъ кого мнѣ жалко, и для кого-бы я желалъ освободить крестьянъ. Ты можешь быть не видалъ, а я видѣлъ, какъ хорошіе люди, воспитанные въ этихъ преданіяхъ неограниченной власти, съ годами, когда они дѣлаются раздражительнѣе, дѣлаются жестоки, грубы, знаютъ это, не могутъ удержаться и все дѣлаются несчастнѣе и несчастнѣе“.

Князь Андрей говорилъ это съ такимъ увлеченіемъ, что Пьеръ невольно подумалъ о томъ, что мысли эти наведены были Андреемъ его отцомъ. Онъ ничего не отвѣчалъ ему.

— „Такъ вотъ кого мнѣ жалко—человѣческаго достоинства, спокойствія совѣсти, чистоты, а не ихъ спинъ и лбовъ, которыхъ сколько ни сѣки, сколько ни брей, все останутся такими-же спинами и лбами“.—„Нѣтъ, нѣтъ и тысячу разъ нѣтъ! я никогда не соглашусь съ вами, — сказалъ Пьеръ. — Нѣтъ, отчего-же вы думаете,—вдругъ началъ Пьеръ, опуская голову и принимая видъ бодающагося быка,—отчего вы такъ думаете? Вы не должны такъ думать“.—„Про что я думаю?“ — спросилъ князь Андрей съ удивленіемъ.—„Про жизнь, про назначеніе человѣка. Это не можетъ быть. Я такъ-же думалъ, и меня спасло, вы знаете что? масонство. Нѣтъ, вы не улыбайтесь. Масонство—это не религіозная, не обрядная секта, какъ и я думалъ, а масонство есть лучшее, единственное выраженіе лучшихъ, вѣчныхъ сторонъ человѣчества“.—И онъ началъ излагать князю Андрею масонство, какъ онъ понималъ его.

Онъ говорилъ, что масонство есть ученіе христіанства, ученіе равенства, братства и любви.

— „Только наше святое братство имѣетъ дѣйствительный смыслъ въ жизни; все остальное есть сонъ,—говорилъ Пьеръ.—Вы поймите, мой другъ, что внѣ этого союза все исполнено лжи и неправды, и я согласенъ съ вами, что умному и доброму человѣку ничего не остается, какъ только, какъ вы, доживать свою жизнь, стараясь не мѣшать другимъ. Но усвойте себѣ наши основныя убѣжденія, вступите въ наше братство, дайте намъ себя, позвольте руководить собой, и вы сейчасъ почувствуете себя, какъ и я почувствовалъ, частью этой огромной, невидимой цѣпи, которой начало скрывается въ небесахъ,—говорилъ Пьеръ. — Ну, что же вы думаете объ этомъ?—спросилъ Пьеръ.—Что же вы молчите?“ — „Что я думаю? я слушалъ тебя. Все это такъ,—сказалъ князь Андрей.—Но ты говоришь: вступи въ наше братство, и мы тебѣ укажемъ цѣль жизни и назначенія человѣка, и законы, управляющіе міромъ. Да кто же мы?—люди? Отчего же вы все знаете? Отчего я одинъ не вижу того, что вы видите? Вы видите на землѣ царство добра и правды, а я его не вижу“.

Пьеръ перебилъ его.

— „Вѣрите вы въ будущую жизнь?“ — спросилъ онъ. — „Въ будущую жизнь?“—повторилъ князь Андрей, но Пьеръ не далъ ему времени отвѣтить и принялъ это повтореніе за отрицаніе, тѣмъ болѣе, что онъ зналъ преж-

атеистическія убѣжденія князя Андрея. — „Вы говорите, что не можете цѣль царства добра и правды на землѣ. И я не видалъ его, и его нельзя цѣль, ежели смотрѣть на нашу жизнь какъ на конецъ всего. На *землѣ*, именно на этой землѣ (Пьеръ указалъ въ поле), нѣтъ правды—все ложь и ; но въ мірѣ, во всемъ мірѣ есть царство правды, и мы теперь дѣти ми, а вѣчно дѣти всего міра. Развѣ я не чувствую въ своей душѣ, что оставляю часть этого огромнаго, гармоническаго цѣлаго? Развѣ я не чувую, что я въ этомъ огромномъ безчисленномъ количествѣ существъ, въ горнихъ проявляется Божество, высшая сила, — какъ хотите, — что я со- вляю одно звено, одну ступень отъ низшихъ существъ къ высшимъ? ели я вижу, ясно вижу эту лѣстницу, которая ведетъ отъ растенія къ ювѣку, то отчего же я предположу, что эта лѣстница прерывается со ою, а не ведетъ дальше и дальше? Я чувствую, что я не только не могу ьезнать, какъ ничто не исчезаетъ въ мірѣ, но что я всегда буду и всегда ль. Я чувствую, что кромѣ меня надо мной живутъ духи, и что въ этомъ ѣ есть правда“. — „Да, это ученіе Гердера, — сказалъ князь Андрей, — но то, душа моя, убѣдитъ меня, а жизнь и смерть, вотъ что убѣждаетъ. ѣждаетъ то, что видишь дорогое тебѣ существо, которое связано съ то- ѣ, предъ которымъ ты былъ виноватъ и надѣялся оправдаться (князь дрей дрогнулъ голосомъ и отвернулся), и вдругъ это существо страдаетъ, ается и перестаетъ быть... Зачѣмъ? не можетъ быть, чтобъ не было ѣта! И я вѣрю, что онъ есть... Вотъ что убѣждаетъ, вотъ что убѣдило ни“, — сказалъ князь Андрей. — „Ну да, ну да, — говорилъ Пьеръ, — развѣ то же самое и я говорю!“ — „Нѣтъ. Я говорю только, что убѣждаютъ въ оходимости будущей жизни не доводы, а то, когда идешь въ жизни рука въ руку съ человѣкомъ, и вдругъ человѣкъ этотъ исчезнетъ *тамъ въ нидѣ*, ты самъ останавливаешься предъ этою пропастью и заглядываешь туда. я заглянулъ...“ — „Ну, такъ что-жъ! Вы знаете, что есть *тамъ* и что съ *кто-то*? Тамъ есть — будущая жизнь. Кто-то есть — Богъ“. — „Ежели съ Богъ и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродѣтель; и выс- е счастье человѣка состоитъ въ томъ, чтобы стремиться къ достиженію ѣ. Надо жить, надо любить, надо вѣрить, — говорилъ Пьеръ, — что живемъ нынче только на этомъ клочкѣ земли, а жили и будемъ жить вѣчно мъ во всемъ“ — (онъ указалъ на небо).

Князь Андрей стоялъ, облокотившись на перила парома и слушая ера, не спуская глазъ, смотрѣлъ на красный отблескъ солнца по синѣю- му разливу. Пьеръ замолкъ. Было совершенно тихо. Паромъ давно при- алъ, и только волны теченія съ слабымъ звукомъ ударялись о дно парома. князю Андрею казалось, что это полосканье волнъ къ словамъ Пьера приго- ривало: „правда, вѣрь этому“.

Князь Андрей вздохнулъ, и лучистымъ, дѣтскимъ, нѣжнымъ взглядомъ глянулъ въ раскрасѣвшееся, восторженное, но все робкое предъ первен- вующимъ другомъ, лицо Пьера.

— „Да, коли бы это такъ было! — сказалъ онъ. — Однако пойдемъ са- ться“, — прибавилъ князь Андрей, и выходя съ парома, онъ поглядѣлъ

на небо, на которое указывалъ ему Пьеръ, и въ первый разъ, послѣ Аустерлица, онъ увидалъ то высокое, вѣчное небо, которое онъ видѣлъ, лежа на Аустерлицкомъ полѣ, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было въ немъ, вдругъ радостно и молодо проснулось въ его душѣ. Чувство это исчезло, какъ скоро князь Андрей вступилъ опять въ привычныя условія жизни, но онъ зналъ, что это чувство, которое онъ не умѣлъ развить, жило въ немъ. Свиданіе съ Пьеромъ было для князя Андрея эпохой, съ которой началась хотя во внѣшности и та же самая, но во внутреннемъ мірѣ его новая жизнь.

Пьеръ у Болконскихъ. „Пойдемъ къ сестрѣ, — сказалъ князь Андрей, возвратившись къ Пьеру, — я еще не видалъ ее, она теперь приеѣдетъ и сидитъ съ своими Божьими людьми. По дѣломъ ей, она сконфузится, а ты увидишь Божьихъ людей. Это интересно, право“. — „Что такое Божьи люди?“ — спросилъ Пьеръ. — „А вотъ увидишь“.

Княжна Марья дѣйствительно сконфузилась и покраснѣла пятнами, когда вошли къ ней. Въ ее уютной комнатѣ съ лампадами передъ кѣтами, на диванѣ, за самоваромъ, сидѣлъ рядомъ съ ней молодой мальчикъ съ длиннымъ носомъ и длинными волосами, и въ монашеской рясѣ.

На креслѣ, подлѣ, сидѣла сморщенная, худая старушка съ кроткимъ выраженіемъ дѣтскаго лица.

— „Андрюша, зачѣмъ ты не предупредилъ меня? — сказала она съ кроткимъ упрекомъ, становясь предъ своими странниками, какъ насѣды предъ цыплятами. — Очень рада васъ видѣть, очень рада“, — сказала она Пьеру, въ то время какъ онъ дѣловалъ ей руку. Она знала его ребенкомъ и теперь дружба его съ Андреемъ, его несчастіе съ женою, а главное, его доброе, простое лицо расположили ее къ нему. Она смотрѣла на него своими прекрасными, лучистыми глазами и, казалось, говорила: „я васъ очень люблю, но, пожалуйста, не смѣйтесь надъ моими“. Обмѣнявшись первыми фразами привѣтствія, они сѣли. — „А, и Иванушка тутъ“, — сказалъ князь Андрей, указывая улыбкой на молодого странника. — „Андрюша!“ — умоляюще сказала княжна Марья. — „Ты знаешь, это женщина“, — сказалъ Андрей Пьеру, по-французски. — „Андрюша, ради Бога“, — повторила княжна Марья.

Видно было, что насмѣшливое отношеніе князя Андрея къ странникамъ и бесполезное заступничество за нихъ княжны Марьи были привычныя, установившіяся между ними отношенія.

— „Но, мой добрый другъ, — сказалъ князь Андрей, — ты бы должна была мнѣ быть благодарна за то, что я объясняю Пьеру твою интимность съ этимъ молодымъ человѣкомъ“. — „Право?“ — сказалъ Пьеръ, любопытно и серьезно (за что особенно ему благодарна была княжна Марья) вглядываясь черезъ очки въ лицо Иванушки, который, понявъ, что рѣчь шла о немъ, хитрыми глазами оглядывалъ всѣхъ.

Княжна Марья совершенно напрасно смутилась за своихъ. Они нисколько не робѣли. Старушка, опустивъ глаза, но искоса поглядывая на вошедшихъ, опрокинувъ чашку вверхъ дномъ на блюдечко и положивъ подлѣ

обкусанный кусочекъ сахара, спокойно и неподвижно сидѣла на своемъ креслѣ, ожидая, чтобъ ей предложили еще чаю. Иванушка, попивая изъ блюдечка, исподлобья лукавыми женскими глазами смотрѣлъ на молодыхъ людей.

— „Гдѣ, въ Кіевѣ была?“—спросилъ старуху князь Андрей.—„Была, отецъ,—отвѣчала словоохотливая старуха,—на самое Рождество удостоилась у угодниковъ сообщиться святыхъ небесныхъ тайнъ. А теперь изъ Колязина, отецъ, благодать великая открылась.“—Что-жъ, Иванушка съ тобой?“—„Я самъ по себѣ иду, кормилецъ,—стараясь говорить басомъ, сказалъ Иванушка.—Только въ Юхновѣ съ Пелагеюшкой сошлись...“

[Князь Андрей сталъ иронизировать надъ слѣпой дѣтской вѣрой Пелагеюшки. Та сперва не замѣчала, потомъ пришла въ ужасъ].

— „Позвольте у нея спросить,—сказалъ Пьеръ.—Ты сама видѣла?“—спросилъ онъ.—„Какъ же, отецъ, сама удостоилась. Сіяніе такое на лицѣ то, какъ свѣтъ небесный, а изъ щечки у матушки такъ и каплетъ, такъ и каплетъ...“—„Да вѣдь это обманъ,“—наивно сказалъ Пьеръ, внимательно слушавшій странницу.

Пелагеюшка вдругъ поблѣднѣла и всплеснула руками.

— „Отецъ, отецъ, грѣхъ тебѣ, у тебя сынъ!“—заговорила она, изъ блѣдности вдругъ переходя въ яркую краску.—Отецъ, что ты сказалъ такое, Богъ тебя прости.—Она перекрестилась.—Господи, прости его. Матушка, что-жъ это?...“—обратилась она къ княжнѣ Марьѣ. Она встала и чуть не плача стала собирать свою сумочку. Ей, видно, было и страшно, и стыдно, что она воспользовалась благодѣяніями въ домѣ, гдѣ могли говорить это, и жалко, что надо было теперь лишиться благодѣяній этого дома.—„Ну, что вамъ за охота?“—сказала княжна Марья.—Зачѣмъ вы пришли ко мнѣ?...“—„Нѣтъ, вѣдь я шучу, Пелагеюшка,—сказалъ Пьеръ.—Княжна, я право не хотѣлъ ее обидѣть, я такъ только. Ты не думай, я пошутилъ,—говорилъ онъ, робко улыбаясь и желая загладить свою вину.—Вѣдь это я, а онъ такъ, пошутилъ только.“

Пелагеюшка остановилась недовѣрчиво, но въ лицѣ Пьера была такая искренность раскаянія, и князь Андрей такъ кротко смотрѣлъ то на Пелагеюшку, то на Пьера, что она понемногу успокоилась.

[Пелагеюшка продолжала рассказы].

Пьеръ внимательно и серьезно слушалъ ее. Князь Андрей вышелъ изъ комнаты. И вслѣдъ за нимъ, оставивъ Божьихъ людей допивать чай, княжна Марья повела Пьера въ гостиную.

— „Вы очень добры,“—сказала она ему.—„Ахъ, я право не думала оскорбить ее, я такъ понимаю и высоко цѣню эти чувства.“

Княжна Марья молча посмотрѣла на него и нѣжно улыбнулась.

— „Вѣдь я васъ давно знаю и люблю какъ брата,—сказала она.—Какъ вы нашли Андрея?—спросила она поспѣшно, не давая ему времени сказать что-нибудь въ отвѣтъ на ея ласковыя слова.—Онъ очень беспокоитъ меня. Здоровье его зимой лучше, по прошлой весной рана открылась, и докторъ сказалъ, что онъ долженъ ѣхать лѣчиться. И нравственно я очень

боюсь за него. Онъ не такой характеръ, какъ мы, женщины, чтобы выстрадать и выплакать свое горе. Онъ внутри себя носитъ его. Нынче онъ веселъ и оживленъ; но это вашъ прїѣздъ подѣйствовалъ такъ на него: онъ рѣдко бываетъ такимъ. Ежели бы вы могли уговорить его поѣхать за границу! Ему нужна дѣятельность, а эта ровная, тихая жизнь губить его. Другіе не замѣчаютъ, а я вижу.“

— „Ну, братъ,—обратился князь Николай Андреичъ къ сыну, хлопая по плечу Пьера,—молодецъ твой прїятель, я его полюбилъ! Разжигаетъ меня. Другой и умныя рѣчи говорить, а слушать не хочется, а онъ и вретъ, да разжигаетъ меня, старика. Ну, идите, идите,—сказалъ онъ,—можетъ быть приду, за ужиномъ вашимъ посижу. Опять поспорю. Мою дуру; княжну Марью, полюби,“—прокричалъ онъ Пьеру изъ двери.

Пьеръ теперь только, въ свой прїѣздъ въ Лысыя Горы, оцѣнилъ всю силу и прелесть своей дружбы съ княземъ Андреемъ. Эта прелесть выразилась не столько въ его отношеніяхъ съ нимъ самимъ, сколько въ отношеніяхъ со всѣми родными и домашними. Пьеръ съ старымъ, суровымъ княземъ и съ кроткою и робкою княжной Марьей, несмотря на то, что онъ ихъ почти не зналъ, чувствовалъ себя сразу старымъ другомъ. Они всѣ уже любили его. Не только княжна Марья, подкупленная его кроткими отношеніями къ странницамъ, самымъ лучистымъ взглядомъ смотрѣла на него, но маленькій, годовой князь Николай, какъ звалъ дѣдъ, улыбнулся Пьеру и пошелъ къ нему на руки. Михаилъ Ивановичъ, m-lle Бурьенъ съ радостными улыбками смотрѣли на него, когда онъ разговаривалъ съ старымъ княземъ.

Ростовъ въ полку. Возвратившись въ этотъ разъ изъ отпуска, Ростовъ въ первый разъ почувствовалъ и узналъ, до какой степени сильна была его связь съ Денисовымъ и со всѣмъ полкомъ.

Когда Ростовъ подъѣзжалъ къ полку, онъ испытывалъ чувство, подобное тому, которое онъ испытывалъ, подъѣзжая къ Поварскому дому. Когда онъ увидалъ перваго гусара въ разстегнутомъ мундирѣ своего полка, когда онъ узналъ рыжаго Дементьева, увидалъ коновязи рыжихъ лошадей, когда Лаврушка радостно закричалъ своему барину: „Графъ прїѣхалъ!“ и лохматый Денисовъ, спавшій на постели, выбѣжалъ изъ землянки, обнялъ его, и офицеры сошлись къ прїѣзжему,—Ростовъ испытывалъ такое же чувство, какъ когда его обнимала мать, отецъ и сестры, и слезы радости, подступившія ему къ горлу, помѣшали ему говорить. Полкъ былъ тоже домъ, и домъ неизмѣнно милый и дорогой, какъ и домъ родительскій.

Явившись къ полковому командиру, получивъ назначеніе въ прежній эскадронъ, сходявши на дежурство и на фуражировку, войдя во всѣ маленькіе интересы полка и почувствовавъ себя лишеннымъ свободы и закованнымъ въ одну узкую неизмѣнную рамку, Ростовъ испыталъ то же успокоеніе, ту же опору и то же сознаніе того, что онъ здѣсь дома, на своемъ мѣстѣ, которыя онъ чувствовалъ и подъ родительскимъ кровомъ. Не было этой всей безурядицы вольнаго свѣта, въ которомъ онъ не находилъ себѣ мѣста и ошибался въ выборахъ; не было Сони, съ которой надо было или

не надо было объясняться. Не было возможности ѣхать туда или не ѣхать туда; не было этихъ 24 часовъ сутокъ, которые столькими различными способами можно было употребить; не было этого безчисленнаго множества людей, изъ которыхъ никто не былъ ближе, никто не былъ дальше; не было этихъ неясныхъ и неопредѣленныхъ денежныхъ отношеній съ отцомъ, не было напоминанія объ ужасномъ проигрышѣ Долохову! Тутъ въ полку все было ясно и просто. Весь міръ былъ раздѣленъ на два неровные отдѣла: одинъ—нашъ Павлоградскій полкъ, и другой—все остальное. И до этого остального не было никакого дѣла. Въ полку все было извѣстно: кто былъ поручикъ, кто ротмистръ, кто хорошій, кто дурной человекъ, и главное товарищъ. Маркитантъ вѣрить въ долгъ, жалованье получается въ треть; выдумывать и выбирать нечего, только не дѣлай ничего такого, что считается дурнымъ въ Павлоградскомъ полку, а пошлуть, дѣлай то, что ясно и отчетливо, опредѣлено и приказано, и все будетъ хорошо.

[Извѣстіе о заключеніи Тильзитскаго мира поразило Ростова].

Ростовъ. Ростовъ долго стоялъ у угла, издалека глядя на пирующихъ. Въ умѣ его происходила мучительная работа, которую онъ никакъ не могъ довести до конца. Въ душѣ поднимались страшныя сомнѣнія. То ему вспоминался Денисовъ съ своимъ измѣнившимся выраженіемъ, съ своею покорностью и весь госпиталь съ этими оторванными руками и ногами, съ этою грязью и болѣзнями. Ему такъ живо казалось, что онъ теперь чувствуетъ этотъ больничный запахъ мертваго тѣла, что онъ оглядывался, чтобы понять, откуда могъ происходить этотъ запахъ. То ему вспоминался этотъ самодовольный Бонапарте съ своею бѣлою ручкой, который былъ теперь императоръ, котораго любить и уважаетъ императоръ Александръ. Для чего-же оторванные руки, ноги, убитые люди? То вспоминался ему награжденный Лазаревъ и Денисовъ, наказанный и непростенный. Онъ заставлялъ себя на такихъ странныхъ мысляхъ, что путался ихъ.

Запахъ ѣды Преображенцевъ и голодъ вызвали его изъ этого состоянія: надо было поѣсть что-нибудь, прежде чѣмъ уѣхать. Онъ пошелъ къ гостиницѣ, которую видѣлъ утромъ. Въ гостиницѣ онъ засталъ такъ много народу и офицеровъ, такъ-же какъ и онъ, пріѣхавшихъ въ статскихъ платьяхъ, что онъ насилу добился обѣда. Два офицера одной съ нимъ дивизіи присоединились къ нему. Разговоръ естественно зашелъ о мирѣ. Офицеры, товарищи Ростова, какъ и большая часть арміи, были не довольны миромъ, заключеннымъ послѣ Фридланда. Говорили, что еще бы подержаться, Наполеонъ бы пропалъ, что у него въ войскахъ ни сухарей, ни зарядовъ ужъ не было. Николай молча ѣлъ и преимущественно пилъ. Онъ выпилъ одинъ двѣ бутылки вина. Внутренняя подпавшая въ немъ работа, не разрѣшаясь, все такъ-же томила его. Онъ боялся предаваться своимъ мыслямъ и не могъ отстать отъ нихъ. Вдругъ на слова одного изъ офицеровъ, что обидно смотрѣть на французовъ, — Ростовъ началъ кричать съ горячностью, ничѣмъ не оправданною и потому очень удивившею офицеровъ.

— „И какъ вы можете судить, что было-бы лучше! — закричалъ онъ съ лицомъ, вдругъ налившимся кровью. — Какъ вы можете судить о постыжѣ-

какъ государя, какое мы имѣемъ право разсуждать? Мы не можемъ понять ни цѣли, ни поступковъ государя!“ — „Да я ни слова не говорилъ о государѣ“, — оправдывался офицеръ, не могшій иначе какъ тѣмъ, что Ростовъ пьянъ, объяснить себѣ его вспыльчивость.

Но Ростовъ не слушалъ его.

— „Мы не чиновники дипломатическіе, а мы солдаты и больше ничего, — продолжалъ онъ. — Умирать велятъ намъ — такъ умирать. А коли наказываютъ, такъ значитъ — виноваты; не намъ судить. Угодно государю императору признать Бонапарте императоромъ и заключить съ нимъ союзъ — значитъ такъ надо. А то, коли-бы мы стали обо всемъ судить да разсуждать, такъ этакъ ничего святого не останется. Этакъ мы скажемъ, что ни Бога нѣтъ, ничего нѣтъ, — ударяя по столу, кричалъ Николай, весьма некстати, по понятіямъ своихъ собесѣдниковъ, но весьма послѣдовательно по ходу своихъ мыслей. — Наше дѣло исполнять свой долгъ, рубиться и не думать, вотъ и все“, — заключилъ онъ. — „И пить“, — сказалъ одинъ изъ офицеровъ, не желавшій ссориться. — „Да, и пить, — подхватилъ Николай. — Эй, ты! Еще бутылку!“ — крикнулъ онъ.

Болконскій у Ростовыхъ. Князь Андрей безвыѣздно прожилъ два года въ деревнѣ. Всѣ тѣ предпріятія по имѣніямъ, которыя затѣялъ у себя Пьеръ и не довелъ ни до какого результата, безпрестанно переходя отъ одного дѣла къ другому, всѣ эти предпріятія, безъ выказыванья ихъ кому-бы то ни было и безъ замѣтнаго труда, были исполнены княземъ Андреемъ.

Онъ имѣлъ въ высшей степени ту не достававшую Пьеру практическую цѣльность, которая безъ размаховъ и усилій съ его стороны давала движеніе дѣлу.

Одно имѣніе его въ триста душъ крестьянъ было перечислено въ вольные хлѣбопашцы (это былъ одинъ изъ первыхъ примѣровъ въ Россіи), въ другихъ барщина замѣнена оброкомъ. Въ Богучарово была выписана на его счетъ ученая бабка для помощи родильницамъ, и священникъ за жалованье обучалъ дѣтей крестьянскихъ и дворовыхъ грамотѣ.

Весною 1809-го года князь Андрей поѣхалъ въ рязанскія имѣнія своего сына, котораго онъ былъ опекуномъ.

Пригрѣваемый весеннимъ солнцемъ, онъ сидѣлъ въ коляскѣ, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы бѣлыхъ весеннихъ облаковъ, разбѣгавшихся по яркой синевѣ неба. Онъ ни о чемъ не думалъ, а весело и бессмысленно смотрѣлъ по сторонамъ.

Истръ. — „Ваше сіятельство, лѣгко какъ!“ — сказалъ онъ, почтительно улыбаясь. — „Что?“ — „Лѣгко, ваше сіятельство“. — „Что онъ говоритъ? — подумалъ князь Андрей. — Да, объ веснѣ вѣрно, — подумалъ онъ, оглядываясь по сторонамъ. — И то, зелено все уже... какъ скоро! И береза, и черемуха, и ольха ужъ начинается... А дубъ и не замѣтно. Да, вотъ онъ, дубъ“.

На краю дороги стоялъ дубъ. Вѣроятно въ десять разъ старше березъ, составлявшихъ лѣсъ, онъ былъ въ десять разъ толще и два раза выше каждой березы. Это былъ огромный, въ два обхвата дубъ, съ обломанными, давно видно, суками и съ обломанной корой, заросшею старыми болячками.

Съ огромными своими неуклюжими, несимметрично-растопыренными, корявыми руками и пальцами, онъ старымъ, сердитымъ и презрительнымъ уродомъ стоялъ между улыбающимися березами. Только однѣ мертвыя, вѣчно зеленныя ели, разсыпанныя по лѣсу, вмѣстѣ съ дубомъ не хотѣли подчиняться объясненію весны и не хотѣли видѣть ни весны, ни солнца.

„Весна и любовь и счастье! — какъ будто говорилъ этотъ дубъ, — и какъ не надоѣсть вамъ все одинъ и тотъ-же глупый и бессмысленный обманъ. Все одно и то-же, и все обманъ! Нѣтъ ни весны, ни солнца, ни счастья. Вонъ смотрите, сидятъ задавленные мертвыя ели, всегда одинакія, и вотъ и я растопырилъ свои обломанные, ободранные пальцы, гдѣ ни выросли они—изъ спины, изъ боковъ; какъ выросли—такъ и стою, и не вѣрю вашимъ надеждамъ и обманамъ“.

Князь Андрей нѣсколько разъ оглянулся на этотъ дубъ, проѣзжая по лѣсу, какъ будто онъ чего-то ждалъ отъ него. Цвѣты и трава были и подъ дубомъ, но онъ все такъ-же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно стоялъ посреди ихъ.

„Да, онъ правъ, тысячу разъ правъ этотъ дубъ, — думалъ князь Андрей: — пускай другіе, молодые, вновь поддаются на этотъ обманъ, а мы знаемъ жизнь, — наша жизнь кончена!“ Цѣлый новый рядъ мыслей безнадежныхъ, но грустно-пріятныхъ въ связи съ этимъ дубомъ возникъ въ душѣ князя Андрея. Во время этого путешествія онъ какъ будто вновь обдумалъ всю свою жизнь, и пришелъ къ тому-же прежнему успокоительному и безнадежному заключенію, что ему начинать ничего было не надо, что онъ долженъ ~~оживить~~ ~~оживать~~ свою жизнь, не дѣлая зла, не тревожась и ничего не желая.

Князь Андрей, невеселый и озабоченный соображеніями о томъ, что и что ему нужно о дѣлахъ спросить у предводителя, подбѣзжалъ по аллеѣ сада къ Отраденскому дому Ростовыхъ. Вправо изъ-за деревьевъ онъ слышалъ женскій веселый крикъ, и увидалъ бѣгущую наперѣрезъ его коляски толпу дѣвушекъ. Впереди другихъ ближе подбѣгала къ коляскѣ черноволосяя, очень тоненькая, странно-тоненькая, черноглазая дѣвушка въ желтомъ ситцевомъ платьѣ, повязанная бѣлымъ носовымъ платкомъ, изъ-подъ котораго выбивались пряди расчесавшихся волосъ. Дѣвушка что-то кричала, но узнавъ чужого, не взглянувъ на него, со смѣхомъ побѣжала назадъ.

Князю Андрею вдругъ стало отъ чего-то больно. День былъ такъ хорошъ, солнце такъ ярко, кругомъ все такъ весело, а эта тоненькая и хорошенькая дѣвушка не знала и не хочетъ знать про его существованіе и была довольна и счастлива какою-то своею отдѣльною, — вѣрно глупою, — но веселою и счастливою жизнью. Чему она такъ рада? о чемъ она думаетъ? Не объ уставѣ военномъ, не объ устройствѣ рязанскихъ оброчныхъ. „О чемъ она думаетъ? И чѣмъ она счастлива?“ — невольно съ любопытствомъ спрашивалъ себя князь Андрей.

[Кн. Андрей остался ночевать у Ростовыхъ]. Комната князя Андрея была въ среднемъ этажѣ; въ комнатахъ надъ нимъ тоже жили и не спали. Онъ слышалъ сверху женскій говоръ.

— „Только еще одинъ разъ“, — сказалъ сверху женскій голосъ, который

сейчасъ узналъ князь Андрей.—„Да когда-же ты спать будешь?“—отвѣчалъ другой голосъ.—„Я не буду, я не могу спать, что-жъ мнѣ дѣлать! Ну, послѣдній разъ“...

Два женскіе голоса запѣли какую-то музыкальную фразу, составлявшую конецъ чего-то.

— „Ахъ, какая прелесть! Ну, теперь спать, и конецъ“.—„Ты спи, а я не могу“, — отвѣчалъ первый голосъ, приблизившійся къ окну. Она видимо совсѣмъ высунулась въ окно, потому что слышно было шуршанье ея платья и даже дыханіе. Все затихло и окаменѣло, какъ и луна и ея свѣтъ и тѣни. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольнаго присутствія.

— „Соня! Соня!—послышался опять первый голосъ.—Ну, какъ можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ахъ, какая прелесть! Да проснись-же, Соня!—сказала она почти со слезами въ голосѣ.—Вѣдь такой прелестной ночи никогда, никогда не бывало“.

Соня неохотно что-то отвѣчала.

— „Нѣтъ, ты посмотри, что за луна!.. Ахъ, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Такъ-бы вотъ сѣла на корточки, вотъ такъ, подхватила-бы себя подъ колѣнны, — ту же, какъ можно ту же—натужиться надо и полетѣла-бы... Вотъ такъ!“ — „Полно, ты упадешь“.

Послышалась борьба и недовольный голосъ Сони:

— „Вѣдь второй часъ“. — „Ахъ, ты только все портишь мнѣ. Ну, иди, иди“.

Опять все замолкло, но князь Андрей зналъ, что она все еще сидитъ тутъ, онъ слышалъ иногда тихое шевеленье, иногда вздохи.

— „Ахъ, Боже мой! Боже мой! что-жъ это такое!—вдругъ вскрикнула она.—Спать такъ спать!“—и захлопнула окно.

„И дѣла нѣтъ до моего существованія!“—подумалъ князь Андрей въ то время, какъ онъ прислушивался къ ея говору, почему-то ожидая и боясь, что она скажетъ что-нибудь про него.—„И опять она! И какъ нарочно!“—думалъ онъ. Въ душѣ его вдругъ поднялась такая неожиданная путаница молодыхъ мыслей и надеждъ, противорѣчащихъ всей его жизни, что онъ, чувствуя себя не въ силахъ уяснить себѣ свое состояніе, тотчасъ-же заснулъ.

[Черезъ нѣсколько времени князю Андрею пришлось побывать опять у Ростовыхъ].

Цѣлый день былъ жаркій, гдѣ-то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Лѣвая сторона лѣса была темна—въ тѣни; правая—мокрая, глянцевитая—блестѣла на солнцѣ, чуть колыхаясь отъ вѣтра. Все было въ цвѣту; соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко.

„Да, здѣсь, въ этомъ лѣсу былъ этотъ дубъ, съ которымъ мы были согласны, — подумалъ князь Андрей.—Да гдѣ онъ“, —подумалъ опять князь Андрей, глядя на лѣвую сторону дороги и, самъ того не зная, не узнавая его, любовался тѣмъ дубомъ, котораго онъ искалъ. Старый дубъ, весь пре-

ображенный, раскинувшись шатромъ сочной, темной зелени, млѣлъ чуть колыхаясь въ лучахъ вечерняго солнца. Ни корявыхъ пальцевъ, ни болячекъ, ни стараго недовѣрія и горя, — ничего не было видно. Сквозь жесткую, столѣтнюю кору пробились безъ сучковъ сочные, молодые листья, такъ что вѣрить нельзя было, что этотъ старикъ произвелъ ихъ. „Да, это тотъ самый дубъ“, — подумалъ князь Андрей, и на него вдругъ нашло безпричинное, весеннее чувство радости и обновленія. Всѣ лучшія минуты его жизни вдругъ въ одно и то-же время вспомнились ему. И Аустерлицъ съ высокимъ небомъ, и мертвое, укоризненное лицо жены, и Пьеръ на паромѣ, и дѣвочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна, и — все это вдругъ вспомнилось ему.

„Нѣтъ, жизнь не кончена въ 31 годъ, — вдругъ окончательно, безпремѣнно рѣшилъ князь Андрей. — Мало того, что я знаю все то, что есть во мнѣ, надо, чтобъ и всѣ знали это: и Пьеръ, и эта дѣвочка, которая хотѣла улетѣть на небо; надо, чтобы всѣ знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не жили они такъ независимо отъ моей жизни, чтобы на всѣхъ она отражалась и чтобы всѣ они жили со мною вмѣстѣ!“

Возвратившись изъ своей поѣздки, князь Андрей рѣшился осенью ѣхать въ Петербургъ и придумывалъ разныя причины этого рѣшенія. Цѣлый рядъ разумныхъ, логическихъ доводовъ, почему ему необходимо ѣхать въ Петербургъ и даже служить, ежеминутно былъ готовъ къ его услугамъ. Онъ даже теперь не понималъ, какъ могъ онъ когда-нибудь сомнѣваться въ необходимости принять дѣятельное участіе въ жизни, точно такъ-же, какъ мѣсяцъ тому назадъ онъ не понималъ, какъ могла-бы ему придти мысль уѣхать изъ деревни. Ему казалось ясно, что всѣ его опыты жизни должны были пропасть даромъ и быть безсмыслицей, ежели-бы онъ не приложилъ ихъ къ дѣлу и не принялъ опять дѣятельнаго участія въ жизни. Онъ даже не понималъ того, какъ прежде на основаніи такихъ-же бѣдныхъ разумомъ доводовъ очевидно было, что онъ бы унизился, ежели-бы теперь послѣ своихъ уроковъ жизни опять-бы повѣрилъ въ возможность приносить пользу и въ возможность счастья и любви. Теперь разумъ подсказывалъ совсѣмъ другое. Послѣ этой поѣздки князь Андрей сталъ скучать въ деревнѣ, прежнія занятія не интересовали его, и часто, сидя одинъ въ своемъ кабинетѣ, онъ вставалъ, подходилъ къ зеркалу и долго смотрѣлъ на свое лицо. Потомъ онъ отворачивался и смотрѣлъ на портретъ покойницы Лизы, которая съ взбитыми à la grecque бровями нѣжно и весело смотрѣла на него изъ золотой рамки. Она уже не говорила мужу прежнихъ страшныхъ словъ, она просто и весело съ любопытствомъ смотрѣла на него. И князь Андрей, заживъ назадъ руки, долго ходилъ по комнатѣ, то хмурился, то улыбаясь, передумывая тѣ неразумныя, невыразимыя словомъ, тайныя какъ преступленіе мысли, связанныя съ Пьеромъ, съ славой, съ дѣвушкой на окнѣ, съ дубомъ, съ женскою красотою и съ любовью, которыя измѣнили всю его жизнь. И въ эти-то минуты, когда кто входилъ къ нему, онъ бывалъ особенно сухъ, строго-рѣшителенъ и въ особенности непріятно-логиченъ.

Сперанскій. [Кн. Андрей пріѣхалъ въ Петербургъ, чтобы опять *служить* родинѣ, но на этотъ разъ не на военномъ поприщѣ, а на гражданскомъ. Личность Сперанскаго его привлекала].

Сперанскій, какъ въ первое свиданіе съ нимъ у Кочубея, такъ и потомъ въ среду дома, гдѣ Сперанскій, съ глазу на глазъ принявъ Болконскаго, долго и довѣрчиво говорилъ съ нимъ, сдѣлалъ сильное впечатлѣніе на князя Андрея.

Князь Андрей такое огромное количество людей считалъ презрѣнными и ничтожными существами, такъ ему хотѣлось найти въ другомъ живой идеалъ того совершенства, къ которому онъ стремился, что онъ легко повѣрилъ, что въ Сперанскомъ онъ нашелъ этотъ идеалъ вполне разумнаго и добродѣтельнаго человѣка. Ежели-бы *Сперанскій* былъ изъ того-же общества, изъ котораго былъ князь Андрей, того-же воспитанія и нравственныхъ привычекъ, то Болконскій скоро-бы нашелъ его слабыя, человѣческія, не геройскія стороны, но теперь этотъ странный для него логическій складъ ума тѣмъ болѣе внушалъ ему уваженія, что онъ не вполне понималъ его. Кромѣ того, Сперанскій, потому-ли, что онъ оцѣнилъ способности князя Андрея, или потому, что нашелъ нужнымъ пріобрѣсть его себѣ, Сперанскій кокетничалъ предъ княземъ Андреемъ своимъ безпристрастнымъ, спокойнымъ разумомъ и льстилъ князю Андрею тою тонкою лестью, соединенною съ самонадѣянностью, которая состоитъ въ молчаливомъ признаваніи своего собесѣдника съ собою вмѣстѣ единственнымъ человѣкомъ, способнымъ понимать всю глупость *всѣхъ* остальныхъ и разумность и глубину своихъ мыслей.

Во время длиннаго ихъ разговора въ среду вечеромъ, Сперанскій не разъ говорилъ: „У насъ смотреть на все, что выходитъ изъ общаго уровня закоренѣлой привычки...“ или съ улыбкой: „Но мы хотимъ, чтобы и волки были сыты, и овцы цѣлы...“ или: „Они этого не могутъ понять...“ и все съ такимъ выраженіемъ, которое говорило: „Мы: вы да я, мы понимаемъ, что *они* и кто *мы*“.

Этотъ первый, длинный разговоръ съ Сперанскимъ только усилилъ въ князѣ Андрей то чувство, съ которымъ онъ въ первый разъ увидалъ Сперанскаго. Онъ видѣлъ въ немъ разумнаго, строго мыслящаго, огромнаго ума человѣка, энергіей и упорствомъ достигшаго власти и употребляющаго ее только для блага Россіи. Сперанскій въ глазахъ князя Андрея былъ именно тотъ человѣкъ, разумно объясняющій всѣ явленія жизни, признающій значительнымъ только то, что разумно, и ко всему умѣющій прилагать мѣрilo разумности, которымъ онъ самъ такъ хотѣлъ быть. Все представлялось такъ просто, ясно въ изложеніи Сперанскаго, что князь Андрей невольно соглашался съ нимъ во всемъ. Ежели онъ возражалъ и спорилъ, то только потому, что хотѣлъ нарочно быть самостоятельнымъ и не совсѣмъ подчиняться мнѣніямъ Сперанскаго. Все было такъ, все было хорошо, но одно смущало князя Андрея: это былъ холодный, зеркальный, не пропускающій къ себѣ въ душу взглядъ Сперанскаго и его бѣлая, нѣжная рука, на которую невольно смотрѣлъ князь Андрей, какъ смотреть обыкновенно на руки людей,

мышлющихъ власть. Зеркальный взглядъ и нѣжная рука эта почему-то раздражали князя Андрея. Непріятно поражало князя Андрея еще слишкомъ большое презрѣніе къ людямъ, которое онъ замѣчалъ въ Сперанскомъ, и разнообразность пріемовъ въ доказательствахъ, которыя онъ приводилъ въ подтвержденіе своихъ мнѣній. Онъ употреблялъ всѣ возможные орудія мысли, исключая сравненія, и слишкомъ смѣло, какъ казалось князю Андрею, переходилъ отъ одного къ другому. То онъ становился на почву практическаго дѣятеля и осуждалъ мечтателей, то на почву сатирика и иронически подсмѣивался надъ противниками, то становился строго логичнымъ, то вдругъ поднимался въ область метафизики. (Это послѣднее орудіе доказательствъ онъ особенно часто употреблялъ). Онъ переносилъ вопросъ на метафизическія высоты, переходилъ въ опредѣленія пространства, времени, мысли и, вынося оттуда опроверженія, опять спускался на почву спора.

Вообще главная черта ума Сперанскаго, поразившая князя Андрея, была несомнѣнная, непоколебимая вѣра въ силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла придти въ голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнѣніе въ томъ, что не вздоръ-ли все то, что я думаю, и все то, во что я вѣрю? И этотъ-то особенный складъ ума Сперанскаго болѣе всего привлекалъ къ себѣ князя Андрея.

Первое время своего знакомства съ Сперанскимъ князь Андрей питалъ къ нему страстное чувство восхищенія, похожее на то, которое онъ когда-то испытывалъ къ Бонапарте.

Пьеръ. Жизнь его между тѣмъ шла по-прежнему, съ тѣми-же увлеченіями и распущенностью. Онъ любилъ хорошо пообѣдать и выпить, и хотя и считалъ это безнравственнымъ и унижительною, не могъ воздерживаться отъ увеселеній холостыхъ обществъ, въ которыхъ онъ участвовалъ.

Въ чадѣ своихъ занятій и увлеченій, Пьеръ однако, по прошествіи года, началъ чувствовать, какъ та почва масонства, на которой онъ стоялъ, тѣмъ болѣе уходила изъ-подъ его ногъ, чѣмъ тверже онъ старался стать на ней. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ, что чѣмъ глубже уходила подъ его ноги почва, на которой онъ стоялъ, тѣмъ невольнѣе онъ былъ связанъ съ ней. Когда онъ приступилъ къ масонству, онъ испытывалъ чувство чужака, довѣрчиво становящаго ногу на ровную поверхность болота. Поставивъ ногу, онъ провалился. Чтобы вполнѣ увѣриться въ твердости почвы, на которой онъ стоялъ, онъ поставилъ другую ногу и провалился еще больше, завязъ и уже невольно ходилъ по колѣно въ болотѣ.

Всѣхъ братьевъ, которыхъ онъ зналъ, онъ подраздѣлялъ на четыре разряда. Къ первому разряду онъ причислялъ братьевъ, не принимающихъ дѣятельнаго участія ни въ дѣлахъ ложъ, ни въ дѣлахъ человѣческихъ, но занятыхъ исключительно таинствами науки ордена, занятыхъ вопросами о тройственномъ наименованіи Бога, или о трехъ началахъ вещей—сѣрѣ, меркуріѣ и соли, или о значеніи квадрата и всѣхъ фигуръ храма Соломонова. Пьеръ уважалъ этотъ разрядъ братьевъ-масоновъ, къ которому принадлежали преимущественно старшіе братья и самъ Іосифъ Алексѣевичъ, по мнѣ-

нію Пьера, но не раздѣлялъ ихъ интересовъ. Сердце его не лежало къ истинской сторонѣ масонства.

Ко второму разряду Пьеръ причислялъ себя и себѣ подобныхъ братьевъ, ищущихъ, колеблющихся, не нашедшихъ еще въ масонствѣ прямого и понятнаго пути, но надѣющихся найти его.

Къ третьему разряду онъ причислялъ братьевъ (ихъ было самое большое число), не видящихъ въ масонствѣ ничего, кромѣ внѣшней формы и обрядности, и дорожащихъ строгимъ исполненіемъ этой внѣшней формы, не заботясь о ея содержаніи и значеніи. Таковы были Виларскій и даже великій мастеръ главной ложи.

Къ четвертому разряду наконецъ причислялось тоже большое количество братьевъ, въ особенности въ послѣднее время вступившихъ въ братство. Это были люди, по наблюденіямъ Пьера, ни во что не вѣрующіе, ничего не желающіе и поступавшіе въ масонство только для сближенія съ молодыми, богатыми и сильными по связямъ и знатности братьями, которыхъ весьма много было въ ложѣ.

Пьеръ начиналъ чувствовать себя неудовлетвореннымъ своею дѣятельностью. Масонство, по крайней мѣрѣ то масонство, которое онъ зналъ здѣсь, казалось ему иногда, основано было на одной внѣшности. Онъ и не думалъ сомнѣваться въ самомъ масонствѣ, но подозревалъ, что русское масонство пошло по ложному пути и отклонилось отъ своего источника. И потому въ концѣ года Пьеръ поѣхалъ за границу для посвященія себя въ высшія тайны ордена.

Лѣтомъ еще въ 1809 году Пьеръ вернулся въ Петербургъ. По перепискѣ нашихъ масоновъ съ заграничными было извѣстно, что Безуховъ успѣлъ за границей получить довѣріе многихъ высокопоставленныхъ лицъ, проникъ многія тайны, былъ возведенъ въ высшую степень и везетъ съ собою многое для общаго блага каменщического дѣла въ Россіи. Петербургскіе масоны всѣ пріѣхали къ нему, заискивая въ немъ, и всѣмъ показалось, что онъ что-то скрываетъ и готовитъ.

Назначено было торжественное засѣданіе ложи 2-го градуса, въ которой Пьеръ обѣщалъ сообщить то, что онъ имѣетъ передать петербургскимъ братьямъ отъ высшихъ руководителей ордена. Засѣданіе было полно. Послѣ обыкновенныхъ обрядовъ Пьеръ всталъ и началъ свою рѣчь.

— „Любезные братья, — началъ онъ, краснѣя и запинаясь и держа въ рукѣ написанную рѣчь. — Недостаточно блюсти втиши ложи наши таинства, — нужно дѣйствовать... дѣйствовать. Мы находимся въ усыпленіи, а намъ нужно дѣйствовать“. — Пьеръ взялъ свою тетрадь и началъ читать:

„Для распространенія чистой истины и доставленія торжества добродѣтели, — читалъ онъ, — должны мы очистить людей отъ предрасудковъ, распространить правила, сообразныя съ духомъ времени, принять на себя воспитаніе юношества, соединиться неразрывными узами съ умнѣйшими людьми, смѣло и вмѣстѣ благо разумно преодолевать суевѣріе, невѣріе и глупость,

образовать изъ преданныхъ намъ людей связанныхъ между собою единствомъ цѣли и имѣющихъ власть и силу.

„Для достиженія сей цѣли должно доставить добродѣтели перевѣсъ надъ порокомъ, должно стараться, чтобы честный человѣкъ обрѣталъ еще въ семь мѣсяцевъ вѣчную награду за свои добродѣтели. Но въ сихъ великихъ намѣреніяхъ препятствуютъ намъ весьма много нынѣшнія политическія учрежденія. Что же дѣлать при такомъ положеніи вещей? Благопріятствовать ли революціямъ, все ниспровергнуть, изгнать силу силой?.. Нѣтъ, мы весьма далеки отъ того. Всякая насильственная реформа достойна порицанія, потому что нисколько не исправитъ зла, пока люди остаются таковы, каковы они есть, и потому что мудрость не имѣетъ нужды въ насиліи.

„Весь планъ ордена долженъ быть основанъ на томъ, чтобы образовывать людей твердыхъ, добродѣтельныхъ и связанныхъ единствомъ убѣжденія, убѣжденія, состоящаго въ томъ, чтобы всѣми силами преслѣдовать порокъ и глупость и покровительствовать таланты и добродѣтели: извлекать изъ праха людей достойныхъ, присоединяя ихъ къ нашему братству. Тогда только орденъ нашъ будетъ имѣть власть — нечувствительно вязать руки покровителямъ безпорядка и управлять ими такъ, чтобы они того не примѣчали. Однимъ словомъ, надобно учредить всеобщій владычествующій образъ правленія, который распространялся бы надъ цѣлымъ свѣтомъ, не разрушая гражданскихъ узъ, и при коемъ всѣ прочія правленія могли бы продолжаться обыкновеннымъ своимъ порядкомъ и дѣлать все, кромѣ того только, что препятствуетъ великой цѣли нашего ордена, то-есть доставленію добродѣтели торжества надъ порокомъ. Сію цѣль предполагало само христіанство. Оно учило людей быть мудрыми и добрыми и для собственной своей выгоды слѣдовать примѣру и наставленіямъ лучшихъ и мудрейшихъ человѣковъ.

„Тогда, когда все погружено было во мракъ, достаточно было, конечно, одного проповѣданія: новостъ истины придавала ей особенную силу, но нынѣ нужны для насъ гораздо сильнѣйшія средства. Теперь нужно, чтобы человѣкъ, управляемый своими чувствами, находилъ въ добродѣтели чувственныя прелести. Нельзя искоренить страстей; должно только стараться направить ихъ къ благородной цѣли, и потому надобно, чтобы каждый могъ удовлетворять своимъ страстямъ въ предѣлахъ добродѣтели и чтобы нашъ орденъ доставлялъ къ тому средства“.

Рѣчь эта произвела не только сильное впечатлѣніе, но и волненіе въ ложѣ. Большинство же братьевъ съ удивившею Пьера холодною приняло его рѣчь. Великій мастеръ сталъ возражать Пьеру. Пьеръ съ большимъ и большимъ жаромъ сталъ развивать свои мысли. Давно не было столь бурнаго засѣданія. Пьера въ первый разъ поразило на этомъ собраніи то безконечное разнообразіе умовъ человѣческихъ, которое дѣлаетъ то, что никакая истина одинаково не представляется двумъ людямъ.

[Мечты Пьера о преобразованіи масонства были встрѣчены враждебно; онъ увидѣлъ въ этомъ разрушеніе одного изъ заветныхъ своихъ мечтаній и затосковалъ].

Въ это время онъ получилъ письмо отъ жены, которая умоляла его о свиданіи, писала о своей грусти по немъ и о желаніи посвятить ему всю свою жизнь.

Въ это же самое время теща его, жена князя Василія, прислала за нимъ, умоляя его хоть на нѣсколько минутъ посѣтить ее для переговоровъ о весьма важномъ дѣлѣ. Пьеръ видѣлъ, что былъ заговоръ противъ него, что его хотѣли соединить съ женою, и это было даже не непріятно ему въ томъ состояніи, въ которомъ онъ находился. Ему было все равно: Пьеръ ничего въ жизни не считалъ дѣломъ большой важности, и подъ вліяніемъ тоски, которая теперь овладѣла имъ, онъ не дорожилъ ни своей свободой, ни своимъ упорствомъ въ наказаніи жены.

„Никто не правъ, никто не виноватъ, стало быть, и она не виновата“, — думалъ онъ. Если Пьеръ не изъявилъ тотчасъ же согласія на соединеніе съ женою, то только потому, что въ состояніи тоски, въ которомъ онъ находился, онъ не былъ въ силахъ ничего предпринять. Если бы жена пріѣхала къ нему, онъ бы теперь не прогналъ ея. Развѣ не все равно было въ сравненіи съ тѣмъ, что занимало Пьера, жить или не жить съ женою?

[Послѣ колебаній Пьеръ рѣшилъ, что онъ долженъ простить жену, и вотъ что написалъ въ своемъ дневникѣ]:

„Петербургъ, 23-го ноября.

„Я опять живу съ женою. Теща моя въ слезахъ пріѣхала ко мнѣ и сказала, что Эленъ здѣсь и что она умоляетъ меня выслушать ее, что она невинна, что она несчастна моимъ оставленіемъ, и многое другое. Я зналъ, что ежели я только допущу себя увидать ее, то не въ силахъ буду болѣе отказать ей въ ея желаніи. Въ сомнѣніи своемъ я не зналъ, къ чьей помощи и совѣту прибѣгнуть. Я удалился къ себѣ, перечелъ письма Іосифа Алексѣевича, вспомнилъ свои бесѣды съ нимъ, и изъ всего вывелъ то, что я не долженъ отказывать просящему и долженъ подать руку помощи всякому, тѣмъ болѣе человѣку, столь связанному со мною, и долженъ нести крестъ свой. Но ежели я для добродѣтели простилъ ее, то пускай и будетъ мое соединеніе съ нею имѣть одну духовную цѣль. Такъ я рѣшилъ и такъ написалъ Іосифу Алексѣвичу. Я сказалъ женѣ, что прошу ее забыть все старое, прошу простить мнѣ то, въ чемъ я могъ быть виноватъ предъ нею, а что мнѣ прощать ей нечего. Мнѣ радостно было сказать ей это. Пусть она не знаетъ, какъ тяжело мнѣ было вновь увидать ее. Устроился въ большомъ домѣ въ верхнихъ покояхъ и испытываю счастливое чувство обновленія“.

Выдержки изъ дневника Пьера. „Всталъ въ восемь часовъ, читалъ Св. Писаніе, потомъ пошелъ къ должности (Пьеръ, по совѣту благодѣтеля, поступилъ на службу въ одинъ изъ комитетовъ), возвратился къ обѣду, обѣдалъ одинъ (у графини много гостей, мнѣ непріятныхъ), ѣлъ и пилъ умеренно и послѣ обѣда списывалъ піесы для братьевъ. Вечеру сошелъ къ графинѣ и рассказалъ смѣшную исторію о Б., и только тогда вспомнилъ, что этого не должно было дѣлать, когда всѣ уже уже громко смѣялись.

„Ложусь спать съ счастливымъ и спокойнымъ духомъ. Господи Великій, помоги мнѣ ходить по стезямъ Твоимъ: 1) побѣждать часть гнѣвную—тихостью, медленіемъ, 2) похоть—воздержаніемъ и отвращеніемъ, 3) удаляться отъ суеты, но не отлучать себя: а) отъ государственныхъ дѣлъ службы, б) отъ заботъ семейныхъ, с) отъ дружескихъ сношеній, и д) экономическихъ занятій“.

„27-го ноября.

„Всталъ поздно и, проснувшись, долго лежалъ на постели, предаваясь зѣбни. Боже мой, помоги мнѣ и укрѣпи меня, дабы я могъ ходить по путямъ Твоимъ. Читалъ Св. Писаніе, но безъ надлежащаго чувства. Пришелъ братъ Урусовъ, бесѣдовали о суетахъ міра. Рассказывалъ о новыхъ предначертаніяхъ государя. Я началъ было осуждать, но вспомнилъ о своихъ правилахъ и слова благодѣтеля нашего о томъ, что истинный масонъ долженъ быть усерднымъ дѣятелемъ въ государствѣ, когда требуется его участіе, и спокойнымъ созерцателемъ того, къ чему онъ не призванъ. Языкъ мой—врагъ мой. Посѣтили меня братья Г. В. и О., была пріуготовительная бесѣда для принятія новаго брата. Они возлагаютъ на меня обязанность риторика. Чувствую себя слабымъ и недостойнымъ. Потомъ зашла рѣчь объ объясненіи семи столбовъ и ступеней храма—7 наукъ, 7 добродѣтелей, 7 пороковъ, 7 даровъ Святаго Духа. Братъ О. былъ очень краснорѣчивъ. Вечеромъ совершилось принятіе. Новое устройство помѣщенія много содѣйствовало великолѣпію зрѣлища. Принять былъ Борисъ Друбецкой. Я предлагалъ его, я и былъ риторомъ. Странное чувство волновало меня во все время моего пребыванія съ нимъ въ темной хранилѣ. Я засталъ въ себѣ къ нему чувство ненависти, которое я тщетно стремлюсь преодолѣть. И потому-то я желалъ бы истинно спасти его отъ злого и ввести его на путь истинны; но дурныя мысли о немъ не оставляли меня. Мнѣ думалось, что его цѣль вступленія въ братство состояла только въ желаніи сблизиться съ людьми, быть въ фаворѣ у находящихся въ нашей ложѣ. Кромѣ тѣхъ основаній, что онъ нѣсколько разъ спрашивалъ, не находится ли въ нашей ложѣ N. и S. (на что я не могъ ему отвѣчать), кромѣ того, онъ по моимъ наблюденіямъ неспособенъ чувствовать уваженія къ нашему святому ордену и слишкомъ занятъ и доволенъ внѣшнимъ человекомъ, чтобы желать улучшения духовнаго. Я не имѣлъ основаній сомнѣваться въ немъ, но онъ мнѣ казался неискреннимъ, и все время, когда я стоялъ съ нимъ съ глазуна-глазъ въ темной хранилѣ, мнѣ казалось, что онъ презрительно улыбается на мои слова, и хотѣлось дѣйствительно уколоть его обнаженную грудь шпагой, которую я держалъ приставленную къ ней.

Наташа. Однажды вечеромъ, когда старая графиня, вздыхая и кряхтя, въ ночномъ чепцѣ и кофточкѣ, безъ накладныхъ букей и съ однимъ бѣднымъ пучкомъ волосъ, выступавшимъ изъ-подъ бѣлаго коленкорового чепчика, клала на коврикъ земные поклоны вечерней молитвы, ея дверь скрипнула, и въ туфляхъ на-босу-ногу, тоже въ кофточкѣ и въ папильоткахъ, вошла Наташа. Графиня оглянулась и нахмурилась. Она дочитывала свою послѣднюю молитву: „Неужели мнѣ одръ сей гробъ будетъ?“ Молитвенное

настроение ея было уничтожено. Наташа, красная, оживленная, увидав мать на молитвѣ, вдругъ остановилась на своемъ бѣгу, присѣла и невольно высунула языкъ, грозясь самой себѣ. Захѣтивъ, что мать продолжала молитву, она на цыпочкахъ подбѣжала къ кровати, быстро скользнувъ одною маленькою ножкой о другую, скинула туфли и прыгнула на тотъ одръ, за который графиня боялась, какъ-бы онъ не былъ ея гробомъ. Одръ этотъ былъ высокій, перинный, съ пятью все уменьшающимися подушками. Наташа вскочила, утонула въ перинѣ, перевалилась къ стѣнѣ и начала возиться подъ одѣяломъ, укладываясь, подгибая колѣнки къ подбородку, брякая ногами и чуть слышно смѣясь, то закрываясь съ головой, то взглядывая на мать. Графиня кончила молитву и съ строгимъ лицомъ подошла къ постели; но, увидавъ, что Наташа закрыта съ головой, улыбнулась своею доброю, слабою улыбкой.

— „Ну, ну, ну“, — сказала мать. — „Мама, можно поговорить, да? — сказала Наташа. — Ну, въ душкѣ одинъ разъ, ну, еще, и будетъ.“ — И она обхватила шею матери и поцѣловала ея подбородокъ. Въ обращеніи своемъ съ матерью Наташа выказывала виѣшнюю грубость манеры, но такъ была чутка и ловка, что какъ бы она ни обхватила руками мать, она всегда умѣла это сдѣлать такъ, чтобы матери не было ни больно, ни непріятно, ни неловко. — „Ну, о чемъ же нынче?“ — сказала мать, устроившись на подушкахъ и дожидаясь, пока Наташа, также перекатившись раза два черезъ себя, не легла съ ней рядомъ подъ однимъ одѣяломъ, выпроставъ руки и принявъ серьезное выраженіе.

Эти ночныя посѣщенія Наташи, совершавшіяся до возвращенія графини изъ клуба, были однимъ изъ любимѣйшихъ наслажденій матери и дочери.

— „О чемъ же нынче? А мнѣ нужно тебѣ сказать...“

Наташа закрыла рукою ротъ матери.

— „О Борисѣ... Я знаю, — сказала она серьезно, — я затѣмъ и пришла. Не говорите, я знаю. Нѣтъ, скажите! — Она отпустила руку. — Скажите, мама. Онъ милъ?“ — „Наташа, тебѣ шестнадцать лѣтъ, въ твои года я была замужемъ. Ты говоришь, что Боря милъ. Онъ очень милъ, и я его люблю какъ сына, но что же ты хочешь?.. Что ты думаешь? Ты ему вскружила совсѣмъ голову, зачѣмъ? Что ты хочешь отъ него? Ты знаешь, что тебѣ нельзя выйти за него замужъ.“ — „Отчего?“ — не перемѣняя положенія, сказала Наташа. — „Оттого, что онъ молодъ, оттого, что онъ бѣденъ, оттого, что онъ родня... оттого, что ты и сама не любишь его“. — „А почему вы знаете?“ — „Я знаю. Это не хорошо, мой дружокъ“. — „А если я хочу...“ — сказала Наташа. — „Перестань говорить глупости“, — сказала графиня. — „А если я хочу...“ — „Наташа, я серьезно...“

Наташа не дала ей договорить, притянула къ себѣ большую руку графини и поцѣловала ее сверху, потомъ въ ладонь, потомъ опять перевернула и стала цѣловать ее въ косточку верхняго сустава пальца, потомъ въ промежутокъ, потомъ опять въ косточку, шопотомъ приговаривая: „январь, февраль, мартъ, апрѣль, май...“

— „Говорите, мама, что же вы молчите? Говорите“, — сказала она,

оглядываясь на мать, которая нѣжнымъ взглядомъ смотрѣла на дочь и изъ-за этого созерцанія, казалось, забыла все, что она хотѣла сказать.— „Это не годится, душа моя. Не всѣ поймутъ вашу дѣтскую связь, а видѣть его такимъ близкимъ съ тобою можетъ повредить тебѣ въ глазахъ другихъ молодыхъ людей, которые къ намъ ѣздятъ, и, главное, напрасно мучаетъ его. Онъ, можетъ быть, нашелъ себѣ партію по-себѣ, богатую; а теперь онъ съ ума сходитъ. Ему не надо такъ часто ѣздить...“ — „Отчего же не надо, коли ему хочется?“ — „Оттого, что я знаю, что это ничѣмъ не кончится“. — „Почему вы знаете? Нѣтъ, мама, вы не говорите ему. Что за глупости!—говорила Наташа тономъ человѣка, у котораго хотятъ отнять его собственность.—Ну, не выйду замужъ, такъ пускай ѣздитъ, коли ему весело и мнѣ весело“.

Наташа, улыбаясь, поглядѣла на мать.

— „Не замужъ, а *такъ*“, — повторила она. — „Какъ же это, мой другъ?“ — „Да *такъ*. Ну, очень нужно, что замужъ не выйду, а... *такъ*“. — „Такъ, такъ“, — повторила графиня и, трясаясь всѣмъ своимъ тѣломъ, засмѣялась добрымъ, неожиданнымъ, старушечьимъ смѣхомъ. — „Полноте смѣяться, перестаньте, — закричала Наташа, — всю кровать трясете. Ужасно вы на меня похожи, такая же хохотунья... Постойте...“

Она схватила обѣ руки графини, поцѣловала на одной кость мизинца — юнь, и продолжала цѣловать іюль, августъ на другой рубѣ.

— „Мама, а онъ очень влюбленъ? Какъ на ваши глаза? Въ васъ были такъ влюблены? И очень милъ, очень, очень милъ! Только не совсѣмъ въ моемъ вкусѣ, — онъ узкій такой, какъ часы столовые... Вы не понимаете?.. Узкій, знаете, сѣрый, свѣтлый...“ — „Что ты врешь!“ — сказала графиня.

Наташа продолжала:

— „Неужели вы не понимаете? Николенька бы понялъ... Безуховъ — тотъ синій, темно-синій съ краснымъ, и онъ четвероугольный“. — „Ты и съ нимъ кокетничаешь“, — смѣясь сказала графиня. — „Нѣтъ, онъ франмасонъ, я узнала. Онъ славный, темно-синій съ краснымъ, какъ вамъ растолковать...“

Она долго не могла заснуть. Она все думала о томъ, что никто никакъ не можетъ понять всего, что она понимаетъ, и что въ ней есть.

„Соня? — подумала она, глядя на спящую, свернувшуюся кошечку съ ея огромной косою. — Нѣтъ, куда ей! Она добродѣтельная. Она влюбилась въ Николеньку и больше ничего знать не хочетъ. Мама, и та не понимаетъ. Это удивительно, какъ я умна и какъ... она мила“, — продолжала она, говоря про себя въ третьемъ лицѣ и воображая, что это говоритъ про нее какой-то очень умный, самый умный и самый хорошій мужчина... „Все, все въ ней есть, — продолжалъ этотъ мужчина, — умна необыкновенно, мила и потомъ хороша, необыкновенно хороша, ловка, — плаваетъ, верхомъ ѣздитъ отлично, а голосъ! Можно сказать, удивительный голосъ!“ — Она пропѣла свою любимую, музыкальную фразу, изъ Керубиніевской оперы, бросилась въ постель, засмѣялась отъ радостной мысли, что она сейчасъ заснетъ, крикнула Дуняшу потушить свѣчку, и еще Дуняша не успѣла выйти

изъ комнаты, какъ она уже перешла въ другой, еще болѣе счастливый міръ сновидѣній, гдѣ все было такъ-же легко и прекрасно, какъ и въ дѣйствительности, но только было еще лучше, потому что было по-другому.

Кн. Андрей и Наташа на балу. Князь Андрей, какъ всѣ люди, выросшіе въ свѣтѣ, любилъ встрѣчать въ свѣтѣ то, что не имѣло на себѣ общаго свѣтскаго отпечатка. И такова была Наташа, съ ея удивленіемъ, радостью и робостью и даже ошибками во французскомъ языкѣ. Онъ особенно нѣжно и бережно обращался и говорилъ съ нею. Сидя подлѣ нея, разговаривая съ нею о самыхъ простыхъ и ничтожныхъ предметахъ, князь Андрей любовался на радостный блескъ ея глазъ и улыбки, относившейся не къ говореннымъ рѣчамъ, а къ ея внутреннему счастью. Въ то время, какъ Наташу выбирали и она съ улыбкой вставала и танцевала по залѣ, князь Андрей любовался въ особенности на ея робкую грацію. Въ срединѣ котильона Наташа, окончивъ фигуру, еще тяжело дыша, подходила къ своему мѣсту. Новый кавалеръ опять пригласилъ ее. Она устала и запыхалась, и видимо подумала отказаться, но тотчасъ опять весело подняла руку на плечо кавалера и улыбнулась князю Андрею.

„Я бы рада была отдохнуть и посидѣть съ вами, я устала; но вы видите, какъ меня выбираютъ, и я этому рада, и я счастлива, и я всѣхъ люблю, и мы съ вами все это понимаемъ“, и еще многое и многое сказала эта улыбка. Когда кавалеръ оставилъ ее, Наташа побѣжала черезъ залу, чтобы взять двухъ дамъ для фигуръ.

„Ежели она подойдетъ прежде къ своей кузинѣ, а потомъ къ другой дамѣ, то она будетъ моею женой“,—сказалъ совершенно неожиданно самъ себѣ князь Андрей, глядя на нее. Она подошла прежде къ кузинѣ.

„Какой вздоръ иногда приходитъ въ голову!—подумалъ князь Андрей,—но вѣрно только то, что эта дѣвушка такъ мила, такъ особенна, что она не протанцуетъ здѣсь мѣсяца и выйдетъ замужъ... Это здѣсь рѣдкость“,—думалъ онъ, когда Наташа, поправляя откинувшуюся у корсажа розу, усаживалась подлѣ него.

—„Такъ весело, какъ никогда въ жизни!“—сказала она, и князь Андрей замѣтилъ, какъ быстро поднялись было ея худыя руки, чтобы обнять отца и тотчасъ-же опустились. Наташа была такъ счастлива, какъ никогда еще въ жизни. Она была на той высшей ступени счастья, когда человѣкъ дѣлается вполне добръ и хорошъ, и не вѣритъ въ возможность зла, несчастья и горя.

Кн. Андрей у Ростовыхъ. Наташа одна изъ первыхъ встрѣтила его. Она была въ домашнемъ синемъ платьѣ, въ которомъ она показалась князю Андрею еще лучше, чѣмъ въ балномъ. Она и все семейство Ростовыхъ приняли князя Андрея, какъ стараго друга, просто и радушно. Все семейство, которое строго судилъ прежде князь Андрей, теперь показалось ему составленнымъ изъ прекрасныхъ, простыхъ и добрыхъ людей. Гостепріимство и добродушіе стараго графа, особенно мило поразительное въ Петербургѣ было таково, что князь Андрей не могъ отказаться отъ обѣда. „Да, эт добрые, славные люди,—думалъ Болконскій,—разумѣется, не понимающіе ни на волосъ того сокровища, которое они имѣютъ въ Наташѣ; но добры

и, которые составляют наилучшій фонъ для того, чтобы на немъ от-
лилась эта особенно-поэтическая, переполненная жизни, прелестная дѣ-
лка!"

Князь Андрей чувствовалъ въ Паташѣ присутствіе совершенно чуждаго
и особеннаго міра, преисполненнаго какихъ-то неизвѣстныхъ ему ра-
тей, того чуждаго міра, который еще тогда, въ Отраденской аллеѣ и
окнѣ, въ лунную ночь, такъ дразнилъ его. Теперь этотъ міръ уже болѣе
дразнилъ его, не былъ чуждый міръ; но онъ самъ, вступивъ въ него,
нашелъ въ немъ новое для себя наслажденіе.

Послѣ обѣда Наташа, по просьбѣ князя Андрея, пошла къ клавикор-
къ и стала пѣть. Князь Андрей стоялъ у окна, разговаривая съ дамами,
слушалъ ее. Въ серединѣ фразы князь Андрей замолчалъ и почувствовалъ
ожиданно, что къ его горлу подступаютъ слезы, возможность которыхъ
онъ не зналъ за собой. Онъ посмотрѣлъ на покоющую Наташу, и въ душѣ
произошло что-то новое и счастливое. Онъ былъ счастливъ, и ему вмѣстѣ
съ тѣмъ было грустно. Ему рѣшительно не о чемъ было плакать, но онъ
все-таки плакалъ. О чемъ? О прежней любви? О маленькой княгинѣ?
о своихъ разочарованіяхъ?... О своихъ надеждахъ на будущее?... Да, и
тѣ. Главное, о чемъ ему хотѣлось плакать, была вдругъ живо-сознанная
и страшная противоположность между чѣмъ-то безконечно-великимъ и
предѣльнымъ, бывшимъ въ немъ, и чѣмъ-то узкимъ и тѣлеснымъ, чѣмъ
онъ былъ самъ и даже была она. Эта противоположность томила и радовала
его въ это время пѣнія.

Только-что Наташа кончила пѣть, она подошла къ нему и спросила
его, какъ ему нравится ея голосъ? Она спросила это и смутилась уже послѣ
того, какъ она это сказала, понявъ, что этого не надо было спрашивать.
Онъ улыбнулся, глядя на нее, и сказалъ, что ему нравится ея пѣніе такъ-
какъ и все, что она дѣлаетъ.

Князь Андрей поздно вечеромъ уѣхалъ отъ Ростовыхъ. Онъ легъ спать
привычкѣ ложиться, но увидалъ скоро, что онъ не можетъ спать. Онъ,
зажегши свѣчку, сидѣлъ въ постели, то вставалъ, то опять ложился,
сколько не тяготился безсонницей: такъ радостно и ново ему было на душѣ,
какъ будто онъ изъ душной комнаты вышелъ на вольный свѣтъ Божій. Ему
въ голову не приходило, чтобы онъ былъ влюбленъ въ Ростову; онъ не
думалъ о ней; онъ только воображалъ ее себѣ, и вслѣдствіе этого вся жизнь
представилась ему въ новомъ свѣтѣ. „Изъ чего я бьюсь, изъ чего я
почу въ этой узкой, замкнутой рамкѣ, когда жизнь со всѣми ея радо-
стями открыта мнѣ?“—говорилъ онъ себѣ. И онъ въ первый разъ послѣ
долгого времени сталъ дѣлать счастливые планы на будущее. Онъ рѣшилъ
идти съ собою, что ему надо заняться воспитаніемъ своего сына, найти ему
читателя и поручивъ ему; потомъ надо выйти въ отставку и ѣхать за гра-
ницу, видѣть Англію, Швейцарію, Италію. „Мнѣ надо пользоваться своею
свободой, пока такъ много въ себѣ чувствую силы и молодости,—говорилъ
онъ самъ себѣ.—Нѣтъ былъ правъ, говори, что надо вѣрить въ возмож-
ность счастья, чтобы быть счастливымъ, и я теперь вѣрю въ него. Оста-

вимъ мертвымъ хоронить мертвыхъ, а пока живъ, надо жить и быть счастливымъ,—думалъ онъ.

Кн. Андрей и Наташа. Она приблизилась къ нему и остановилась. Онъ взялъ ея руку и поцѣловалъ,

— „Любите ли вы меня?“—„Да, да“,—какъ будто съ досадой проговорила Наташа, громко вздохнула, другой разъ, чаще и чаще, и зарыдала. — „О чемъ? Что съ вами?“—„Ахъ, я такъ счастлива“,—отвѣчала она, улыбулась сквозь слезы, нагнулась ближе къ нему, подумала секунду, какъ будто спрашивая себя, можно ли это, и поцѣловала его.

Князь Андрей держалъ ея руки, смотрѣлъ ей въ глаза, и не находилъ въ своей душѣ прежней любви къ ней. Въ душѣ его вдругъ повернулось что-то, не было прежней поэтической и таинственной прелести желанія, а была жалость къ ея женской и дѣтской слабости, былъ страхъ предъ ея преданностью и довѣрчивостью, тяжелое и вмѣстѣ радостное сознаніе долга, на-вѣки связавшаго его съ нею. Настоящее чувство, хотя и не было такъ свѣтло и поэтично какъ прежде, было серьезнѣе и сильнѣе.

Кн. Андрей у Ростовыхъ. Когда князь Андрей говорилъ (онъ очень хорошо рассказывалъ), Наташа съ гордостью слушала его; когда она говорила, то со страхомъ и радостью замѣчала, что онъ внимательно и испытующе смотритъ на нее. Она съ недоумѣніемъ спрашивала себя: „Что онъ ищетъ во мнѣ? Чего-то онъ добивается своимъ взглядомъ? что, какъ нѣтъ во мнѣ того, что онъ ищетъ этимъ взглядомъ?“ Иногда она входила въ свойственное ей безумно-веселое расположеніе духа, и тогда она особенно любила слушать и смотрѣть, какъ князь Андрей смѣялся. Онъ рѣдко смѣялся, но за то, когда онъ смѣялся, то отдавался весь своему смѣху, и всякій разъ послѣ этого смѣха она чувствовала себя ближе къ нему. Наташа была бы совершенно счастлива, ежели бы мысль о предстоящей и приближающейся разлукѣ не пугала ея, такъ какъ и онъ блѣднѣлъ и холодѣлъ при одной мысли о томъ.

Письмо кн. Марьи. Вскорѣ послѣ отъѣзда князя Андрея, княжна Марья писала изъ Лысыхъ Горъ въ Петербургъ своему другу Жюли Карагиной, которую княжна Марья мечтала, какъ мечтаютъ всегда дѣвушки, выдать за своего брата, и которая въ это время была въ траурѣ по случаю смерти своего брата, убитаго въ Турціи.

„Горести, видно, общій удѣлъ нашъ, милый и нѣжный другъ Жюли.

Ваша потеря такъ ужасна, что я иначе не могу себѣ объяснить ее, какъ особенную милость Бога, который хочетъ испытать—любя васъ—васъ и вашу превосходную мать. Ахъ, мой другъ, религія, и только одна религія можетъ насъ, уже не говорю утѣшить, но избавить отъ отчаянія; одна религія можетъ объяснить намъ то, чего безъ ея помощи не можетъ понять человѣкъ: для чего, зачѣмъ существа добрыя, возвышенныя, умѣющія находить счастье въ жизни, никому не только не вредящія, но необходимыя для счастья другихъ—призываются къ Богу, а остаются жить злыя, бесполезныя, вредныя, или такія, которыя въ тягость себѣ и другимъ. Первая смерть, которую я видѣла и которую никогда не забуду—смерть моей милой не-

вѣстки — произвела на меня такое впечатлѣніе. Точно такъ-же, какъ и вы спрашиваете судьбу, для чего было умирать вашему прекрасному брату, точно такъ-же спрашивала я, для чего было умирать этому ангелу—Лизѣ, которая не только не сдѣлала какого-нибудь зла человѣку, но никогда кромѣ добрыхъ мыслей не имѣла въ своей душѣ. И что-жъ, мой другъ? вотъ прошло съ тѣхъ поръ пять лѣтъ, и я, съ своимъ ничтожнымъ умомъ, уже начинаю ясно понимать, для чего ей нужно было умереть, и какимъ образомъ эта смерть была только выраженіемъ безкопечной благодати Творца, всѣ дѣйствія Котораго, хотя мы ихъ большею частью не понимаемъ, суть только проявленія Его безконечной любви къ своему творенію. Можетъ быть, я часто думаю, она была слишкомъ ангельски-невинна для того, чтобъ имѣть силу перенести всѣ обязанности матери. Она была безупречна, какъ молодая жена: можетъ быть, она не могла бы быть такою матерью. Теперь, мало того, что она оставила намъ, и въ особенности князю Андрею, самое чистое сожалѣніе и воспоминаніе, она тамъ вѣроятно получитъ то мѣсто, котораго я не смѣю надѣяться для себя. Но, не говоря уже о ней одной, эта ранняя и страшная смерть имѣла самое благотворное вліяніе, несмотря на всю печаль, на меня и на брата. Тогда, въ минуту потери, эти мысли не могли придти мнѣ; тогда я съ ужасомъ отогнала бы ихъ, но теперь это такъ ясно и несомнѣнно. Пишу все это вамъ, мой другъ, только для того, чтобъ убѣдить васъ въ евангельской истинѣ, сдѣлавшейся для меня жизненнымъ правиломъ: ни одинъ волосъ съ головы не упадетъ безъ Его воли. А воли Его руководствуется только одною безпредѣльною любовью къ намъ, и потому все, что ни случается съ нами, все для нашего блага. Вы спрашиваете, проведемъ ли мы слѣдующую зиму въ Москвѣ? Несмотря на все желаніе васъ видѣть, не думаю и не желаю этого. И вы удивитесь, что причиною тому Буонапарте. И вотъ почему: здоровье отца моего замѣтно слабѣетъ; онъ не можетъ переносить противорѣчій и дѣлается раздражителенъ. Раздражительность эта, какъ вы знаете, обращена преимущественно на политическія дѣла. Онъ не можетъ перенести мысли о томъ, что Буонапарте ведетъ дѣло, какъ съ равными, со всѣми государями Европы и въ особенности съ нашимъ, впукомъ Великой Екатерины! Какъ вы знаете, я совершенно равнодушна къ политическимъ дѣламъ, но изъ словъ моего отца и разговоровъ его съ Михаиломъ Ивановичемъ, я знаю все, что дѣлается въ мірѣ, и въ особенности всѣ почести, воздаваемые Буонапарте, котораго, какъ кажется, еще только въ Лысыхъ Горахъ на всемъ земномъ шарѣ не признаютъ ни великимъ человѣкомъ, ни еще менѣе французскимъ императоромъ. И мой отецъ не можетъ переносить этого. Мнѣ кажется, что мой отецъ, преимущественно вслѣдствіе своего взгляда на политическія дѣла и предвидя столкновенія, которыя у него будутъ вслѣдствіе его манеры, не стѣсняясь ни съ кѣмъ высказывать свои мнѣнія, неохотно говоритъ о поѣздѣ въ Москву. Все, что онъ выиграетъ отъ лѣченія, онъ потеряетъ вслѣдствіе споровъ о Буонапарте, которые неминуемы. Во всякомъ случаѣ это рѣшится очень скоро. Семейная жизнь наша идетъ по старому, за исключеніемъ присутствія брата Андрея. Онъ, какъ я уже писала вамъ, очень

измѣнился послѣднее время. Послѣ его горя, онъ теперь только, въ нынѣшнемъ году, совершенно нравственно ожилъ. Онъ сталъ такимъ, какиѣ я его знала ребенкомъ: добрымъ, нѣжнымъ, съ тѣмъ золотымъ сердцемъ, которому я не знаю равнаго. Онъ понялъ, какъ мнѣ кажется, что жизнь для него не кончена. Но вмѣстѣ съ этою нравственною переменой, онъ физически очень ослабѣлъ. Онъ сталъ худѣе чѣмъ прежде, нервнѣе. Я боюсь за него и рада, что онъ предпринялъ эту поѣздку за границу, которую доктора уже давно предписывали ему. Я надѣюсь, что это поправитъ его. Вы мнѣ пишете, что въ Петербургѣ о немъ говорятъ, какъ объ одномъ изъ самыхъ дѣятельныхъ, образованныхъ и умныхъ молодыхъ людей. Простите за самолюбіе родства,—я никогда въ этомъ не сомнѣвалась. Нельзя счесть добро, которое онъ сдѣлалъ всѣмъ, начиная съ своихъ мужиковъ и до дворянъ. Приѣхавъ въ Петербургъ, онъ взялъ только то, что ему слѣдовало. Удивляюсь, какиѣмъ образомъ вообще доходятъ слухи изъ Петербурга въ Москву и особенно такіе невѣрные, какъ тотъ, о которомъ вы мнѣ пишете,—слухъ о мнимой жепитѣбѣ брата на маленькой Ростовоѣ. Я не думаю, чтобы Андрей когда-нибудь женился на комъ бы то ни было и въ особенности на ней. И вотъ почему: во-первыхъ, я знаю, что хотя онъ и рѣдко говоритъ о покойной женѣ, но печаль этой потери слишкомъ глубоко вкоренилась въ его сердце, чтобы когда-нибудь онъ рѣшился дать ей преемницу и мачиху нашему маленькому ангелу. Во-вторыхъ, потому, что, сколько я знаю, эта дѣвушка не изъ того разряда женщинъ, которыя могутъ правиться князю Андрею. Не думаю, чтобы князь Андрей выбралъ ее своею женою, и откровенно скажу: я не желаю этого. Но я заболталась, кончаю свой второй листокъ. Прощайте, мой милый другъ; да сохранитъ васъ Богъ подъ Своими святымъ и могучимъ покровомъ. Моя милая подруга, m^{lle} Бурьенъ, цѣлуетъ васъ.

„Мари“.

Кн. Марья. Николушка и его воспитаніе, братъ Андрей и религія были утѣшеніями и радостями княжны Марьи; но, кромѣ того, такъ какъ каждому человеку нужны были свои личныя надежды, у княжны Марьи была въ самой глубокой тайнѣ ея души скрытая мечта и надежда, доставлявшая ей главное утѣшеніе въ ея жизни. Утѣшительную эту мечту и надежду дали ей Божьи люди—юродивые и странники, посѣщавшіе ее тайно отъ князя. Чѣмъ больше жила княжна Марья, чѣмъ больше испытывала она жизнь и наблюдала ее, тѣмъ болѣе удивляла ее близорукость людей, ищущихъ здѣсь на землѣ наслажденій и счастья, трудящихся, страдающихъ, борящихся и дѣлающихъ зло другъ другу, для достиженія этого невозможнаго, призрачнаго и порочнаго счастья. Князь Андрей любилъ жену, она умерла; ему мало этого, онъ хочетъ связать свое счастье съ другою женщиной. Отецъ не хочетъ этого, потому что желаетъ для Андрея болѣе знатнаго и богатаго супружества. И всѣ они борются и страдаютъ, и мучаются, и портятъ свою душу, свою вѣчную душу, для достиженія благъ, которымъ срокъ есть мгновеніе. Мало того, что мы сами знаемъ это,—Христосъ, Сынъ Бога, сошелъ на землю и сказалъ намъ, что эта жизнь есть мгновенная жизнь, испытаніе, а мы все

держимся за нее и думаемъ въ ней пайти счастье. „Какъ никто не понималъ этого?—думала княжна Марья.—Никто кромѣ этихъ презрѣнныхъ Божьихъ людей, которые съ сумками за плечами приходятъ ко мнѣ съ задняго крыльца, боясь попасться на глаза князю, и не для того, чтобы не пострадать отъ него, а для того, чтобы его не ввести въ грѣхъ. Оставить семью, родину, всѣ заботы о мірскихъ благахъ, для того, чтобы, не прилѣпляясь ни къ чему, ходить въ посконномъ рубищѣ, подъ чужимъ именемъ, съ мѣста на мѣсто, не дѣлая вреда людямъ и молясь за нихъ, молясь и за тѣхъ, которые гонятъ, и за тѣхъ, которые покровительствуютъ: выше этой истины и жизни нѣтъ истины и жизни!“

Была одна странница, Оедосьюшка, 50-лѣтняя, маленькая, тихонькая, рябая женщина, ходившая уже болѣе 30-ти лѣтъ босикомъ и въ веригахъ. Ее особенно любила княжна Марья. Однажды, когда въ темной комнатѣ, при свѣтѣ одной лампадки, Оедосьюшка рассказывала о своей жизни, княжнѣ Марьѣ вдругъ съ такою силой пришла мысль о томъ, что Оедосьюшка одна нашла вѣрный путь жизни, что она рѣшилась сама пойти странствовать. Когда Оедосьюшка пошла спать, княжна Марья долго думала надъ этимъ и наконецъ рѣшила, что—какъ ни странно это было—ей надо было идти странствовать. Она повѣрила свое намѣреніе только одному духовнику-монаху, отцу Акинфію, и духовникъ одобрилъ ея намѣреніе. Подъ предлогомъ подарка странницамъ, княжна Марья припасла себѣ полное одѣяніе странницы: рубашку, лапти, кафтанъ и черный платокъ. Часто подходя къ заветному комоду, княжна Марья останавливалась въ нерѣшительности о томъ, не наступило-ли уже время для приведенія въ исполненіе ея намѣренія.

Часто слушая рассказы странницъ, она возбуждалась ихъ простыми, для нихъ механическими, а для нея полными глубокаго смысла рѣчами, такъ что она была нѣсколько разъ готова бросить все и бѣжать изъ дому. Въ воображеніи своемъ она уже видѣла себя съ Оедосьюшкой въ грубомъ рубищѣ, шагающею съ палочкой и котомочкой по пыльной дорогѣ, направляя свое странствіе безъ зависти, безъ любви человѣческой, безъ желаній, отъ угодишковъ къ угодишкамъ и, въ концѣ концовъ, туда, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія, а вѣчная радость и блаженство.

„Приду къ одному мѣсту, помолюсь; не успѣю привыкнуть, полюбить—пойду дальше. И буду идти до тѣхъ поръ, пока ноги подкосятся, и лягу и умру гдѣ-нибудь, и приду наконецъ въ ту вѣчную, тихую пристань, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія!“— думала княжна Марья.

Но потомъ, увидавъ отца и особенно маленькаго Коко, она ослабѣвала въ своемъ намѣреніи, потихоньку плакала и чувствовала, что она грѣшница: любила отца и племянника больше, чѣмъ Бога.

Ростовъ. Ростовъ сдѣлался загрубѣлымъ, добрымъ малымъ, котораго московскіе знакомые нашли-бы нѣсколько дурного типа, но который былъ любимъ и уважаемъ товарищами, подчиненными и начальствомъ, и который былъ доволенъ своею жизнью. Въ послѣднее время, въ 1809 году, онъ чаще въ письмахъ изъ дому находилъ сѣтованія матери на то, что дѣла раз-

страняются хуже и хуже, и что пора-бы ему пріѣхать домой, обрадовать и успокоить стариковъ-родителей.

Читая эти письма, Николай испытывалъ страхъ о томъ, что хотѣтъ вывести его изъ той среды, въ которой онъ, оградивъ себя отъ всей житейской путаницы, жилъ такъ тихо и спокойно. Онъ чувствовалъ, что рано или поздно придется опять вступить въ тотъ омутъ жизни съ разстройствами и поправленіями дѣлъ, съ учетами управляющихъ, ссорами, интригами, съ связями, съ обществомъ, съ любовью Сони и обѣщаніемъ ей. Все это было страшно трудно, запутано, и онъ отвѣчалъ на письма матери холодными классическими французскими письмами, начинавшимися „Милая матушка“ и кончавшимися: „Вашъ послушный сынъ“, умалчивая о томъ, когда онъ намѣренъ пріѣхать. Въ 1810 году онъ получилъ письма родныхъ, въ которыхъ извѣщали его о помолвѣ Наташи съ Болконскимъ и о томъ, что свадьба будетъ черезъ годъ, потому что старый князь несогласенъ. Это письмо огорчило, оскорбило Николая. Во-первыхъ, ему жалко было потерять изъ дому Наташу, которую онъ любилъ больше всѣхъ изъ семьи; во-вторыхъ, онъ съ своей гусарской точки зрѣнія жалѣлъ о томъ, что его не было при этомъ, потому что онъ бы показалъ этому Болконскому, что совсѣмъ не такая большая честь родство съ нимъ и что, ежели онъ любитъ Наташу, то можетъ обойтись и безъ разрѣшенія сумасброднаго отца. Минуту онъ колебался, не попроситься-ли въ отпускъ, чтобъ увидать Наташу невѣстой, но тутъ подошли маневры, пришли соображенія о Сонѣ, о путаницѣ, и Николай опять отложилъ. Но весной того-же года онъ получилъ письмо матери, писавшей тайно отъ графа, и письмо это убѣдило его ѣхать. Она писала, что ежели Николай не пріѣдетъ и не возьмется за дѣла, то все имѣніе пойдетъ съ молотка и всѣ пойдутъ по міру. Графъ такъ слабъ, такъ вѣтринъ Митенькѣ и такъ добръ, и такъ всѣ его обманываютъ, что все идетъ хуже и хуже. „Ради Бога, умоляю тебя, пріѣзжай сейчасъ-же, ежели ты не хочешь сдѣлать меня и все твое семейство несчастными“, — писала графиня.

Письмо это подѣйствовало на Николая. У него былъ тотъ здравый смыслъ посредственности, который показывалъ ему, что было должно.

Теперь должно было ѣхать, если не въ отставку, то въ отпускъ.

Охота. Графъ оглянувшись и направо увидалъ Митьку, который выскатывавшимися глазами смотрѣлъ на графа и, поднявъ шапку, указывалъ ему впередъ, на другую сторону.

— „Береги!“ — закричалъ онъ такимъ голосомъ, что видно было, что слово давно уже мучительно просилось у него наружу. И поскакалъ, выпустивъ собакъ, по направленію къ графу.

Графъ и Семенъ выскакали изъ опушки и налѣво отъ себя увидали волка, который, мягко переваливаясь, тихимъ скокомъ подскакивалъ лѣвѣе ихъ къ той самой опушкѣ, у которой они стояли. Злобныя собаки визгнули и, сорвавшись со своръ, понеслись къ волку, мимо ногъ лошадей.

Волкъ пріостановилъ бѣгъ, неловко, какъ больной жабой, повернулъ свою лобастую голову къ собакамъ, и также мягко переваливаясь, прыгнулъ

разъ, другой, и мотнувъ полѣномъ (хвостомъ), скрылся въ опушку. Въ ту-же минуту, изъ противоположной опушки съ ревомъ, похожимъ на плачь, растерянно выскочила одна, другая, третья гончая, и вся стая понеслась по полю, по тому самому мѣсту, гдѣ пролѣзъ (пробѣжалъ) волкъ. Вслѣдъ за гончими разступились кусты орѣшника, и показалась бурая, почернѣвшая отъ поту лошадь Данилы. На длинной спинѣ ея комочкомъ, ваяясь впередъ, сидѣлъ Данило безъ шапки съ сѣдыми, встрепанными волосами надъ краснымъ, потнымъ лицомъ.

— „Улюлюю, улюлю“... — кричалъ онъ. — Когда онъ увидалъ графа, въ глазахъ его сверкнула молнія. — „Ж... — крикнулъ онъ, грозясь поднятымъ арапникомъ на графа. — Про... ли волка-то!.. охотники!“ — И какъ-бы не удостоивая сконфуженнаго, испуганнаго графа дальнѣйшимъ разговоромъ, онъ со всей злобой, приготовленною на графа, ударилъ по ввалившимся мокрымъ бокамъ бурога мерина и понесся за гончими. Графъ, какъ наказанный, стоялъ оглядываясь и стараясь улыбкой вызвать въ Семенѣ сожалѣніе къ своему положенію. Но Семена уже не было: онъ, въ объѣздъ по кустамъ, заскакивалъ волка отъ засѣки. Съ двухъ сторонъ также перескакивали звѣря борзятники. Но волкъ пошелъ кустами, и ни одинъ охотникъ не перехватилъ его.

Николай Ростовъ между тѣмъ стоялъ на своемъ мѣстѣ, ожидая звѣря. По приближенію и отдаленію гона, по звукамъ голосовъ извѣстныхъ ему собакъ, по приближенію, отдаленію и возвышенію голосовъ добѣжающихъ, онъ чувствовалъ то, что совершалось въ островѣ. Онъ зналъ, что въ островѣ были прибылые (молодые) и матерые (старые) волки; онъ зналъ, что гончія разбились на двѣ стаи, что гдѣ-нибудь травили, и что что-нибудь случилось неблагополучное. Онъ всякую секунду на свою сторону ждалъ звѣря. Онъ дѣлалъ тысячи различныхъ предположеній о томъ, какъ и съ какой стороны побѣжитъ звѣрь и какъ онъ будетъ травить его. Надежда смѣнялась отчаяніемъ. Нѣсколько разъ онъ обращался къ Богу съ мольбой о томъ, чтобы волкъ вышелъ на него; онъ молился съ тѣмъ страстнымъ и совѣстливымъ чувствомъ, съ которымъ молятся люди въ минуты сильнаго волненія, зависящаго отъ ничтожной причины. „Ну, что Тебѣ стоитъ, — говорилъ онъ Богу, — сдѣлать это для меня! Знаю, что Ты великъ и что грѣхъ Тебя просить объ этомъ; но ради Бога сдѣлай, чтобы на меня вылѣзъ матерый, и чтобы Карай, на глазахъ „дядюшки“, который вонъ оттуда смотритъ, влѣпился ему мертвою хваткой въ горло“. Тысячу разъ въ эти полчаса упорнымъ, напряженнымъ и безпокойнымъ взглядомъ окидывалъ Ростовъ опушку лѣсовъ съ двумя рѣдкими дубами надъ осиновымъ подсѣдомъ, и оврагъ съ измытымъ краемъ, и шапку дядюшки, чуть видѣвшагося изъ-за куста направо.

„Нѣтъ, не будетъ этого счастья, — думалъ Ростовъ, — а чтобы стоило! Не будетъ! Мнѣ всегда, и въ картахъ и на войнѣ, во всемъ несчастье“. Аустерлицъ и Долоховъ, ярко, но быстро смѣняясь, мелькали въ его воображеніи. „Только одинъ разъ-бы въ жизни затравить матераго волка, больше я не желаю!“ — думалъ онъ, напрягая слухъ и зрѣніе, оглядываясь направо

и опять направо и прислушивался къ малѣйшимъ отбѣнкамъ звуковъ гона. Онъ взглянулъ опять направо и увидалъ, что по пустынному полю навстрѣчу къ нему бѣжало что-то. „Итъ, это не можетъ быть!“—подумалъ Ростовъ, тяжело вздыхая, какъ вздыхаетъ человѣкъ при совершеніи того, что было долго ожидаемо имъ. Совершилось величайшее счастье—и такъ просто, безъ шума, безъ блеска, безъ ознаменованія. Ростовъ не вѣрилъ своимъ глазамъ, и сомнѣніе это продолжалось болѣе секунды. Волкъ бѣжалъ впередъ и перепрыгнулъ тяжело рытвину, которая была на его дорогѣ: Это былъ старый звѣрь, съ сѣдою спиной и съ надепнымъ красноватымъ брюхомъ. Онъ бѣжалъ не торопливо, очевидно убѣжденный, что никто не видитъ его. Ростовъ не дыша оглянулся на собакъ. Онѣ лежали, стояли, не видя волка и ничего не понимая. Старый Карай, завернувъ голову и оскаливъ желтые зубы, сердито отыскивая блоху, щелкалъ ими на заднихъ ляжкахъ.

— „Улюлюлю!“ — шопотомъ, оттопыривая губы, проговорилъ Ростовъ. Собаки, дрогнувъ желѣзками, вскочили, настороживъ уши. Карай почесалъ свою ляжку и всталъ, настороживъ уши, и слегка мотнулъ хвостомъ, на которомъ висѣли войлоки шерсти.

— „Пускать? не пускать?“—говорилъ самъ себѣ Николай въ то время, какъ волкъ подвигался къ нему, отбѣлаясь отъ лѣса. Вдругъ вся физиономія волка измѣнилась; онъ вздрогнулъ, увидавъ еще вѣроятно никогда не виданные имъ человѣческіе глаза, устремленные на него, и слегка поворотивъ къ охотнику голову, остановился—назадъ или впередъ? „Э! все равно впередъ!“ видно какъ будто сказалъ онъ самъ себѣ и пустился впередъ уже не оглядываясь, мягкимъ, рѣдкимъ, вольнымъ, но рѣшительнымъ скокомъ.

— „Улюлюлю!“—не своимъ голосомъ закричалъ Николай, и сама собой стремглавъ понеслась его добрая лошадь подъ гору, перескакивая черезъ водомоины въ поперечь волку; и еще быстрее, обогнавъ ее, понеслись собаки. Николай не слышалъ ни своего крика, не чувствовалъ того, что онъ скачетъ, не видалъ ни собакъ, ни мѣста, по которому онъ скачетъ; онъ видѣлъ только волка, который, усиливъ свой бѣгъ, скакалъ, не перемѣняя направленія, по лощинѣ. Первая показалась вблизи звѣря черно-пѣгая, широкозадая Милка и стала приближаться къ звѣрю. Ближе, ближе... вотъ она приспѣла къ нему. Но волкъ чуть покосился на нее, и вмѣсто того, чтобы наддаться, какъ это она всегда дѣлала, Милка вдругъ, поднявъ хвостъ, стала упряться на переднія ноги.

— „Улюлюлюлю!“—кричалъ Николай.

Красный Любимъ выскочилъ изъ-за Милки, стремительно бросился на волка и схватилъ его за гачи (ляжки заднихъ ногъ), но въ ту же секунду испуганно перескочилъ на другую сторону. Волкъ присѣлъ, щелкнулъ зубами и опять поднялся и поскакалъ впередъ, провожаемый на аршинъ разстоянія всѣми собаками, не приближавшимися къ нему.

„Уйдетъ! Итъ, это невозможно!“—думалъ Николай, продолжая кричать охрипнувшимъ голосомъ.

— „Карай! Улюлю!“—кричалъ онъ, отыскивая глазами старого ко-

тя, единственную свою надежду. Карай изъ всѣхъ своихъ старыхъ силъ, тянувшись сколько могъ, глядя на волка, тяжело скакалъ въ сторону отъ бря, наперерѣзъ ему. Но по быстротѣ скока волка и медленности скока баки было видно, что расчетъ Карая былъ ошибоченъ. Николай уже не-теко впереди себя видѣлъ тотъ лѣсъ, до котораго добѣжавъ волкъ идетъ навѣрное. Впереди показались собаки и охотникъ, скакавшій почти встрѣчу. Еще была надежда. Незнакомый Николаю, муругій, молодой, инный кобель чужой своры стремительно подлетѣлъ спереди къ волку и эти опрокинулъ его. Волкъ быстро, какъ нельзя было ожидать отъ него, поднялся и бросился къ муругому кобелю, щелкнулъ зубами—и окровавленный, съ распоротымъ бокомъ кобель, пронзительно завизжавъ, ткнулся ловой въ землю.

— „Караюшка! Отецъ!“—плакалъ Николай.

Старый кобель, съ своими мотавшимися на ляжкахъ клоками, благодаря происшедшей остановкѣ, перерѣзывая дорогу волку, былъ уже въ пяти шагахъ отъ него. Какъ будто почувствовавъ опасность, волкъ покосился направа, еще дальше спрятавъ полѣно (хвостъ) между ногъ, и надалъ скоку. Тутъ—Николай видѣлъ только, что что-то сдѣлалось съ Караемъ,—онъ повенно очутился на волкѣ и съ нимъ вмѣстѣ повалился кубаремъ въ домонну, которая была предъ ними.

Та минута, когда Николай увидалъ въ водомоннѣ копошащихся съ кокомъ собакъ, изъ-подъ которыхъ виднѣлась сѣдая шерсть волка, его тинувшаяся задняя нога, и съ прижатыми ушами испуганная и задыхающаяся голова (Карай держалъ его за горло), минута, когда увидалъ это Николай, была счастливѣйшею минутою его жизни. Онъ взялся уже за луку для, чтобы слѣзть и колоть волка, какъ вдругъ изъ этой массы собакъ сунулась вверхъ голова звѣря, потомъ переднія ноги стали на край водомонны. Волкъ ляснулъ зубами (Карай уже не держалъ его за горло), выгнулъ задними ногами изъ водомонны и, поджавъ хвостъ, опять отдѣлившись отъ собакъ, двинулся впередъ.

[Волка наконецъ затравили].

Графъ Илья Андреичъ тоже подѣхалъ и потрогалъ волка.

— „О, материцѣй какой,—сказалъ онъ.—Матерый, а?“—спросилъ онъ Данилы, стоявшаго подлѣ него. — „Матерый, ваше сіятельство,“—отвѣлъ Данило, поспѣшно снимая шапку.

Графъ вспомнилъ своего прозваннаго волка и свое столкновение съ нимъ.

— „Однако, братъ, ты сердить,“—сказалъ графъ.

Данило ничего не сказалъ и только застѣнчиво улыбнулся дѣтски-откою и пріятною улыбкой.

Пляска Наташи. Наташа сбросила съ себя платокъ, который былъ кинуть на ней, забѣжала впередъ дядюшки и, подперши руки въ боки, блала движеніе плечами и стала.

Гдѣ, какъ, когда, всосала въ себя изъ того русскаго воздуха, котомъ она дышала, эта графинечка, воспитанная эмигранткой-французенькой,

Наташа
Наташа

этотъ духъ, откуда взяла она эти приемы, которые *pas de châte* давно-бы должны были вытѣснить? Но духъ и приемы эти были тѣ самые, неподражаемые, неизучаемые, русскіе, которыхъ и ждалъ отъ нея дядюшка. Какъ только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страхъ, который охватилъ было Николая и всѣхъ присутствующихъ, страхъ, что она не то сдѣлаетъ, прошелъ и они уже любовались ею.

Она сдѣлала то самое и такъ точно, такъ вполнѣ точно это сдѣлала, что Анисья Федоровна, которая тотчасъ подала ей необходимый для ея дѣла платокъ, сквозь смѣхъ прослезилась, глядя на эту тоненькую, граціозную, такую чужую ей, въ шелку и въ бархатъ воспитанную графиню, которая умѣла понять все то, что было и въ Анисѣ, и въ отцѣ Анисѣ, и въ теткѣ, и въ матери, и во всякомъ русскомъ человѣкѣ.

— „Ну, графинечка, чистое дѣло маршъ!—радостно смѣясь, сказалъ дядюшка, окончивъ пляску.—Ай да племянница! Вотъ только-бы муженька тебѣ молодца выбрать,—чистое дѣло маршъ.“

Ряженые. Выѣхавъ на торную, большую дорогу, примасленную пологими и всю изсѣченную слѣдами шиповъ, видными въ свѣтѣ мѣсяца, лошади сами собой стали натягивать вожжи и прибавлять ходу. Лѣвая пристяжная, загнувъ голову, прыжками подергивала свои постромки. Коренной раскачивался, поводя ушами, какъ будто спрашивая: „начинать или рано еще?“ Впереди, уже далеко отдѣлившись и звеня удаляющимися густымъ колокольцомъ, ясно виднѣлась на бѣломъ снѣгу черная тройка Захара. Слышны были изъ его саней покрикиванье и хохотъ и голоса ~~на-~~ряженныхъ.

— „Ну-ли вы, разлюбезные!“—крикнулъ Николай, съ одной стороны подергивая вожжу и отводя съ кнутомъ руку. И только по усилившемся какъ будто навстрѣчу вѣтру и по подергиванью натягивающихъ и все прибавляющихъ скоку пристяжныхъ замѣтно было, какъ шибко полетѣла тройка. Николай оглянулся назадъ. Съ крикомъ и визгомъ, махая кнутами и заставляя скакать коренныхъ, поспѣвали другія тройки. Коренной стойко поколыхивался подъ дугой, не думая сбивать и обѣщая еще и еще наддать, когда понадобится.

Николай догналъ первую тройку. Они съѣхали съ какой то горы, въѣхали на широко-развѣзженную дорогу по луку около рѣки.

„Гдѣ это мы ѣдемъ? — подумалъ Николай. — По Косому луку должно быть. Но нѣтъ, это что то новое, чего я никогда не видалъ. Это не Косой лугъ и не Демкина гора, а это Богъ знаетъ что такое? Это что-то новое и волшебное. Ну, что бы тамъ ни было!“—И онъ, крикнувъ на лошадей, сталъ объѣзжать первую тройку.

Захаръ сдержалъ лошадей и обернулъ свое уже обиндевѣвшее до бровей лицо.

Николай пустил своихъ лошадей; Захаръ, вытянувъ впередъ руки, чмокнулъ и пустил своихъ.

— „Ну, держись, баринъ,“ — проговорилъ онъ. Еще быстрѣе рядомъ полетѣли тройки, и быстро перемѣнялись ноги скачущихъ лошадей. Нико-

лай сталъ забирать впередъ. Захаръ, не переменяя положенія вытянутыхъ рукъ, приподнял одну руку съ вожжами.

— „Врешь, баринъ,“ — прокричалъ онъ Николаю. Николай въ скокъ пустилъ всѣхъ лошадей и перегналъ Захара. Лошади засыпали мелкимъ, сухимъ снѣгомъ лица сѣдоковъ, рядомъ съ ними звучали частые переборы и путались быстро движущіяся ноги и тѣни перегоняемой тройки. Свистъ полозьевъ по снѣгу, женскіе взвизги слышались съ разныхъ сторонъ.

Опять остановивъ лошадей, Николай оглянулся кругомъ себя. Кругомъ была все та же пропитанная насквозь луннымъ свѣтомъ волшебная равнина съ разсыпанными по ней звѣздами.

„Захаръ кричитъ, чтобы я взялъ палѣво, а зачѣмъ палѣво?—думалъ Николай. — Развѣ мы къ Мелюковымъ ѣдемъ, развѣ это Мелюковка? Мы Богъ знаетъ гдѣ ѣдемъ, и Богъ знаетъ что съ нами дѣлается — и очень странно и хорошо то, что съ нами дѣлается.“ — Онъ оглянулся въ сани.

— „Посмотри, у него и усы и рѣсницы все бѣлое,“ — сказалъ одинъ изъ сидѣвшихъ странныхъ, хорошенъкихъ и чужихъ людей съ тонкими усами и бровями.

Однако, вотъ какой-то волшебный лѣсъ съ переливающимися черными тѣнями и блестками алмазовъ и съ какою-то афиладой мраморныхъ ступеней, и какія-то серебряныя крыши волшебныхъ зданій, и пронзительный визгъ какихъ-то звѣрей. „А ежели и въ самомъ дѣлѣ это Мелюковка, то еще страннѣе то, что мы ѣхали Богъ знаетъ гдѣ и пріѣхали въ Мелюковку“, — думалъ Николай.

Дѣйствительно это была Мелюковка, и на подъѣздъ выбѣжали дѣвки и лакеи со свѣчами и радостными лицами.

— „Кто такой?“ — спрашивали съ подъѣзда. — „Графскіе наряженные, по лошадямъ вижу,“ — отвѣчали голоса.

Пьеръ. Пьеръ, послѣ сватовства князя Андрея и Наташи, безъ всякой очевидной причины, вдругъ почувствовалъ невозможность продолжать прежнюю жизнь. Какъ ни твердо онъ былъ убѣжденъ въ истинахъ, открытыхъ ему его благодѣтелемъ, какъ ни радостно ему было то первое время увлеченія внутреннею работой самосовершенствованія, которой онъ предался съ такимъ жаромъ, послѣ помолвки князя Андрея съ Наташей и послѣ смерти Іосифа Алексѣевича, о которой онъ получилъ извѣстіе почти въ то же время—вся прелесть этой прежней жизни вдругъ пропала для него. Онъ пересталъ писать свой дневникъ, избѣгалъ общества братьевъ, сталъ опять ѣздить въ клубъ, сталъ опять много пить, опять сблизился съ холостыми компаніями, и началъ вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужнымъ сдѣлать ему строгое замѣчаніе. Пьеръ, почувствовавъ, что она была права, и чтобы не компрометировать свою жену, уѣхалъ въ Москву.

Московское общество все, начиная отъ старухъ до дѣтей, какъ своего давно жданнаго гостя, котораго мѣсто всегда было готово и не занято, — приняло Пьера. Для московскаго свѣта Пьеръ былъ самымъ милымъ, добрымъ, умнымъ, веселымъ, великодушнымъ чудакомъ, разсѣяннымъ и душев-

нымъ, русскимъ, стараго покроя, бариномъ. Кошелекъ его всегда былъ пустъ, потому что открытъ для всѣхъ.

Бенефисы, дурныя картины, статуи, благотворительныя общества, цыгане, школы, подписныя обѣды, кутежи, масоны, церкви, книги—никогда и ничто не получало отказа, и ежели бы не два его друга, занявшіе у него много денегъ и взявшіе его подъ свою опеку, онъ бы все роздалъ. Въ клубѣ не было ни обѣда, ни вечера безъ него. Какъ только онъ приваливался на свое мѣсто на диванѣ послѣ двухъ бутылокъ Марго, его окружали, и завязывались толки, споры, шутки. Гдѣ ссорились, онъ—одною своею доброю улыбкой и кстати сказанною шуткой—мирилъ. Масонскія столовыя ложи были скучны и вялы, ежели его не было.

Пьеръ былъ тѣмъ отставнымъ добродушно-доживающимъ свой вѣкъ въ Москвѣ камергеромъ, какихъ были сотни.

Какъ бы онъ ужаснулся, ежели бы семь лѣтъ тому назадъ, когда онъ только пріѣхалъ изъ-за границы, кто-нибудь сказалъ бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его коленъ давно пробита, опредѣлена предвѣчно, и что, какъ онъ не вертись, онъ будетъ тѣмъ, чѣмъ были всѣ въ его положеніи. Онъ не могъ бы повѣрить этому! Развѣ не онъ всею душой желалъ то произвести республику въ Россіи, то самому быть Наполеономъ, то философомъ, то тактикомъ, побѣдителемъ Наполеона? Развѣ не онъ видѣлъ возможность и страстно желалъ переродить порочный родъ человѣческій и самого себя довести до высшей степени совершенства? Развѣ не онъ учреждалъ и школы и больницы, и отпускалъ своихъ крестьянъ на волю?

Въ минуты гордости, когда онъ думалъ о своемъ положеніи, ему казалось, что онъ совѣтъ другой, особенный отъ тѣхъ остальныхъ камергеровъ, которыхъ онъ презиралъ прежде, что тѣ были пошлые и глупые, довольные и успокоенные своимъ положеніемъ, „а я и теперь все недоволенъ, все мнѣ хочется сдѣлать что-то для человѣчества,“—говорилъ онъ себѣ въ минуты гордости.—„А можетъ быть и всѣ тѣ мои товарищи, точно такъ-же, какъ и я, бились, искали какой-то новой, своей дороги въ жизни, и такъ же, какъ и я, силой обстановки, общества, породы, тою стихійною силой, противъ которой не властенъ человѣкъ, были приведены туда же, куда и я“,—говорилъ онъ себѣ въ минуты скромности, и поживши въ Москвѣ нѣсколько времени, онъ не презиралъ уже, а начиналъ любить, уважать и жалѣть, такъ-же, какъ и себя, своихъ по судьбѣ товарищей.

На Пьера не находили, какъ прежде, минуты отчаянія, хандры и отвораченія къ жизни; по та же болѣзнь, выражавшаяся прежде рѣзкими припадками, была вогнана внутрь и ни на мгновенье не покидала его. Къ чему? Зачѣмъ? Что такое творится на свѣтѣ? спрашивалъ онъ себя съ недоумѣніемъ по нѣскольку разъ въ день, невольно начиная вдумываться въ смыслъ явленій жизни, но опытомъ зная, что на вопросы эти не было отвѣтовъ, онъ поспѣшно старался отвернуться отъ нихъ, брался за книгу, или спѣшилъ въ клубъ, или къ Аполлону Николаевичу болтать о городскихъ сплетняхъ.

„Я понимаю эту ложь и путаницу,—думалъ онъ,—но какъ мнѣ раз-
сказать имъ все, что я понимаю? Я пробовалъ и всегда находилъ, что и
въ глубинѣ души понимаютъ то же, что и я, но стараются только не
сказать *ей*. Стало-быть такъ надо? Но мнѣ-то, мнѣ куда дѣваться?“—думалъ
срѣ. Онъ испытывалъ несчастную способность многихъ, особенно русскихъ
дей, — способность видѣть и вѣрить въ возможность добра и правды, и
инкомъ ясно видѣть зло и ложь жизни, для того чтобы быть въ силахъ
внимать въ ней серьезное участіе. Всякая область труда въ глазахъ его
одна была со зломъ и обманомъ. Чѣмъ онъ ни пробовалъ быть, за что
и ни брался—зло и ложь отталкивали его и загораживали ему всѣ пути
истинности. А между тѣмъ надо было жить, надо было быть заняти-
нкомъ страшно было быть подъ гнетомъ этихъ неразрѣшимыхъ вопро-
зовъ жизни, и онъ отдавался первымъ увлеченіямъ, чтобы только забыть
ихъ. Онъ ѣздилъ во всевозможныя общества, много пилъ, покупалъ картины
строилъ, а главное читалъ.

Онъ читалъ и читалъ все, что попадалось подъ руку, и читалъ такъ,
о, пріѣхавъ домой, когда лакеи еще раздѣвали его, онъ, уже взявъ книгу,
талъ — и отъ чтенія переходилъ ко сну, и отъ сна къ болтовнѣ въ гос-
ныхъ и клубѣ, отъ болтовни къ кутежу, отъ кутежа опять къ болтовнѣ,
снѣю и вину. Пить вино для него становилось все больше и больше фи-
ческою и вмѣстѣ нравственною потребностью.

Иногда Пьеръ вспоминалъ о слышанномъ имъ разсказѣ о томъ, какъ
боннѣ солдаты, находясь подъ выстрѣлами въ прикрытіи, когда имъ дѣ-
тъ нечего, старательно изыскиваютъ себѣ занятіе, для того, чтобы легче
решить опасность. И Пьеру всѣ люди представлялись такими сол-
тами, спасающимися отъ жизни: кто честолубіемъ, кто картами, кто
саніемъ законовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто
литикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дѣлами.
Итъ ни ничтожнаго, ни важнаго, все равно: только-бы спастись отъ
я какъ умѣю! — думалъ Пьеръ. — Только-бы не видать *ее*, эту страш-
ю *ее*“.

[Анатолий Курагинъ своею красотою произвелъ сильное впечатлѣніе на
Наташу. Увлекающаяся дѣвушка отдалась власти новаго чувства].

Вернувшись домой, Наташа не спала всю ночь: ее мучилъ неразрѣши-
ный вопросъ, кого она любила: Анатоля или князя Андрея? Князя Андрея
а любила—она помнила ясно, какъ сильно она любила его. Но Анатоля
а любила тоже, это было несомнѣнно. „Иначе, развѣ-бы все это могло
тъ? — думала она. — Ежели я могла послѣ этого, прощаясь съ нимъ, могла
мѣлкой отвѣтить на его улыбку, ежели я могла допустить до этого, то
ачить, что я съ первой минуты полюбила его. Значитъ, онъ добръ, бла-
роденъ и прекрасенъ, и нельзя было не полюбить его. Что-же мнѣ дѣлать,
гда я люблю его и люблю другого?“—говорила она себѣ, не находя отвѣ-
въ на эти страшные вопросы.

Разговоръ съ Соней. [Ей Наташа разсказала о своей новой любви].

— „А Волконскій?“—сказала она.—„Ахъ, Соня, ахъ, коли-бы ты могла

знать, какъ я счастлива!—сказала Наташа.—Ты не знаешь, что такое любовь...“—„Но, Наташа, неужели *то* все кончено?“

Наташа большими открытыми глазами смотрѣла на Соню, какъ-будто не понимая ея вопроса.

— „Что-жъ ты отказываешь князю Андрею?“—сказала Соня. — „Ахъ, ты ничего не понимаешь, ты не говори глупости, ты слушай“, — съ мгновенною досадою сказала Наташа.—„Нѣтъ, я не могу этому вѣрить,—повторила Соня.—Я не понимаю. Какъ-же ты годъ цѣлый любила одного человѣка, и вдругъ... Вѣдь ты только три раза видѣла его. Наташа, я тебѣ не вѣрю, ты шутишь. Въ три дня забыть все и такъ...“—„Три дня,—сказала Наташа.—Мнѣ кажется, я сто лѣтъ люблю его. Мнѣ кажется, что я никого никогда не любила прежде его. Ты этого не можешь понять. Соня, постой, садись тутъ.—Наташа обняла и поцѣловала ее. — Мнѣ говорили, что это бывастъ, и ты вѣрно слышала, но я теперь только испытала эту любовь. Это не то, что прежде. Какъ только я увидала его, я почувствовала, что онъ мой властелинъ, и я раба его, и что я не могу не любить его. Да, раба! Что онъ мнѣ велитъ, то я и сдѣлаю. Ты не понимаешь этого. Что-жъ мнѣ дѣлать? Что-жъ мнѣ дѣлать, Соня?“ — говорила Наташа съ счастливымъ и испуганнымъ лицомъ.—„Но ты подумай, что ты дѣлаешь,—говорила Соня,—я не могу этого такъ оставить. Эти тайныя письма... Какъ ты могла его допустить до этого?“—говорила она съ ужасомъ и съ отвращеніемъ, которое она съ трудомъ скрывала.—„И тебѣ говорила,—отвѣчала Наташа,—что у меня нѣтъ воли, какъ ты не понимаешь этого: я его люблю!“—„Такъ я не допущу до этого, я расскажу“, — съ прорвавшимися слезами вскрикнула Соня. — „Что ты, ради Бога... Ежели ты расскажешь, ты мой врагъ,—заговорила Наташа.—Ты хочешь моего несчастья, ты хочешь, чтобы насъ разлучили...“

— „Наташа, я боюсь за тебя“.—„Чего бояться?“—„Я боюсь, что ты погубишь себя“, — рѣшительно сказала Соня, сама испугавшись того, что она сказала.

Лицо Наташи опять выразило злобу.

— „И погублю, погублю, какъ можно скорѣе погублю себя. Не ваше дѣло. Не вамъ, а мнѣ дурно будетъ. Оставь, оставь меня. Я ненавижу тебя“.—„Наташа!“—испуганно взывала Соня.

Балага. [Съ согласія Наташи Анатолий Курагинъ рѣшился ее увезти. Для этого онъ сговорился съ ямщикомъ Балагою].

Анатолий всталъ и вошелъ въ столовую. Балага былъ извѣстный троечный ямщикъ, уже лѣтъ шесть знавшій Долохова и Анатолия и служившій имъ своими тройками. Не разъ онъ, когда полкъ Анатолия стоялъ въ Твери, съ вечера увозилъ его изъ Твери, къ разсвѣту доставлялъ въ Москву и увозилъ на другой день ночью. Не разъ онъ увозилъ Долохова отъ погони, не разъ онъ по городу каталъ ихъ съ цыганами и дамочками, какъ называлъ Балага. Не разъ онъ съ ихъ работою давилъ по Москвѣ народъ и извозчиковъ, и всегда его выручали его господа, какъ онъ называлъ ихъ. Не одну лошадь онъ загналъ подъ ними. Не разъ онъ былъ битъ ими, не разъ на-

напивали они его шампанскимъ и мадерой, которую онъ любилъ, и не одну штуку онъ зналъ за каждымъ изъ нихъ, которая обыкновенному человѣку давно-бы заслужила Сибирь. Въ кутежахъ своихъ они часто зазывали Балагу, заставляли его пить и плясать у цыганъ, и не одна тысяча ихъ денегъ перешла черезъ его руки. Служа имъ, онъ двадцать разъ въ году рисковалъ и своею жизнью и своею шкурой, и на ихъ работѣ переморилъ больше лошадей, чѣмъ они ему переплатили денегъ. Но онъ любилъ ихъ, любилъ эту безумную ѣзду, по восемнадцати верстѣ въ часъ, любилъ перекувырнуть извозчика и раздавить пѣшехода по Москвѣ и во весь скокъ пролетѣть по московскимъ улицамъ. Онъ любилъ слышать за собой этотъ дивный крикъ пьяныхъ голосовъ: „пошелъ! пошелъ!“ тогда какъ ужъ и такъ нельзя было ѣхать шибче; любилъ вытянуть больно по шеѣ мужика, который и такъ ни живъ, ни мертвъ сторонился отъ него. „Настоящіе господа!“ — думалъ онъ.

Анатолий и Долоховъ тоже любили Балагу за его мастерство ѣзды и за то, что онъ любилъ то же, что и они. Съ другими Балага рязился, бралъ по двадцати пяти рублей за двухчасовое катанье и съ другими только изрѣдка ѣздилъ самъ, а больше посылалъ своихъ молодцовъ. Но съ своими господами, какъ онъ называлъ ихъ, онъ всегда ѣхалъ самъ и никогда ничего не требовалъ за свою работу. Только узнавъ черезъ камердинеровъ время, когда были деньги, онъ разъ въ нѣсколько мѣсяцевъ приходилъ поутру, трезвый, и, низко кланяясь, просилъ выручить его. Его всегда сажали господа.

— „Ужъ вы меня вызвольте, батюшка Оедоръ Ивановичъ или ваше сіятельство, — говорилъ онъ. — Обезлошадничалъ вовсе, на ярмарку ѣхать ужъ ссудите, что можете“.

И Анатолий и Долоховъ, когда бывали при деньгахъ, давали ему по тысячѣ и по двѣхъ рублей.

Балага былъ русый, съ краснымъ лицомъ и въ особенности красною, толстою шеей, приземистый, курносый мужикъ, лѣтъ двадцати семи, съ блестящими маленькими глазами и маленькою бородкой. Онъ былъ одѣтъ въ тонкомъ синемъ кафтанѣ на шелковой подкладкѣ, надѣтомъ на полушубкѣ.

Онъ перекрестился на передній уголъ и подошелъ къ Долохову, протягивая черную, небольшую руку.

— „Оедору Ивановичу!“ — сказалъ онъ, кланяясь. — „Здорово, братъ. Ну, вотъ и онъ“. — „Здравствуй, ваше сіятельство, — сказалъ онъ входившему Анатолию, и тоже протянулъ руку.“

[Наташѣ не удалось бѣжать изъ дому. Ее задержали. Пьеру, какъ другу дома, было все рассказано].

Пьеръ, приподнявъ плечи и разинувъ ротъ, слушалъ то, что говорила ему Марья Дмитріевна, не вѣря своимъ ушамъ. Невѣстѣ князя Андрея, такъ сильно любимой, этой прежде милой Наташѣ Ростовой, промѣнять Болконскаго на дурака Анатоля, уже женатаго (Пьеръ зналъ тайну его женитьбы), и такъ влюбиться въ него, чтобы согласиться бѣжать съ нимъ! — этого Пьеръ не могъ понять и не могъ себѣ представить.

Милое впечатлѣніе Наташи, которую онъ зналъ съ дѣтства, не могла

ниться въ его душѣ съ новымъ представленіемъ стокости. Онъ вспомнилъ о своей женѣ. „Всѣ онъ однѣ и тѣ же, онъ самъ себѣ, думая, что не ему одному достался печальный удѣлъ, связаннымъ съ гадкою женщиной. Но ему все-таки до слезъ жалко о князя Андрея, жалко было его гордости. И чѣмъ больше онъ жалѣлъ его друга, тѣмъ съ большимъ презрѣніемъ и даже отвращеніемъ думалъ о этой Наташѣ, съ такимъ выраженіемъ холоднаго достоинства сѣмъ опешей мимо него по залѣ. Онъ не зналъ, что душа Наташи была переполнена отчаянія, стыда, униженія, и что она не виновата была въ томъ, го лицо ея нечаянно выражало спокойное достоинство и строгость.

— „Да какъ обвиняться! — проговорилъ Пьеръ на слова Марьи Дмитриевны. — Онъ не могъ обвиняться: онъ женатъ“.

Пьеръ и Наташа. Наташа, блѣдная, строгая сидѣла подлѣ Марьи Дмитриевны и отъ самой двери встрѣтила Пьера лихорадочно-блестящимъ, вопросительнымъ взглядомъ. Она не улыбнулась, не кивнула ему головой; она только упорно смотрѣла на него, и взглядъ ея спрашивалъ его только про то: другъ ли онъ, или такой же врагъ, какъ и всѣ другіе, по отношенію къ Анатолю? Самъ по себѣ Пьеръ очевидно не существовалъ для нея.

— „Онъ все знаетъ, — сказала Марья Дмитриевна, указывая на Пьера и обращаясь къ Наташѣ. — Онъ пускай тебѣ скажетъ, правду ли я говорила“.

Наташа, какъ подстрѣленный, загнанный звѣрь смотритъ на приближающихся собакъ и охотниковъ, смотрѣла то на ту, то на другого.

— „Наташа Ильинична, — началъ Пьеръ, опустивъ глаза и испытывая чувство жалости къ ней и отвращенія къ той операци, которую онъ долженъ былъ дѣлать, — правда это или неправда, это для васъ должно быть все равно, потому что...“ — „Такъ это неправда, что онъ женатъ?“ — „Нѣтъ это правда...“ — „Онъ женатъ былъ и давно?“ — спросила она, — честное слово?

Пьеръ далъ ей честное слово.

— „Онъ здѣсь еще?“ — спросила она быстро. — „Да, я его сейча видѣлъ“.

Она очевидно была не въ силахъ говорить и дѣлала руками знакъ, чтобъ оставили ее.

Объясненіе Пьера съ Курагинымъ. Пьеръ, не здороваясь съ женою, в которой онъ не видалъ послѣ пріѣзда (она больше чѣмъ когда-нибудь ненавидѣла ему въ эту минуту), вошелъ въ гостиную и, увидавъ Анатоля, шелъ къ нему.

— „А, Пьеръ, — сказала графиня, подходя къ мужу. — Ты не въ какомъ положеніи нашъ Анатоль...“ — Она остановилась, увидавъ шенной низко головѣ мужа, въ его блестящихъ глазахъ, въ его рѣшительной походкѣ то страшное выраженіе бѣшенства и силы, которое он и испытала на себѣ послѣ дуэли съ Долоховымъ. — „Гдѣ вы — тамъ разлу, — сказалъ Пьеръ женѣ. — Анатоль, пойдемте, мнѣ надо поговорить“, — сказалъ онъ по-французски.

Анатолий оглянулся на сестру и покорно всталъ, готовый слѣдовать за Пьеромъ.

Пьеръ взялъ его за руку, дернулъ къ себѣ и пошелъ изъ комнаты. — „Ежели вы позволите себѣ въ моей гостиной“, — шопотомъ проговорила Эленъ, но Пьеръ, не отвѣчая ей, вышелъ изъ комнаты.

Анатолий шелъ за нимъ обычною, молодцоватою походкой. Но на лицѣ его было замѣтно безпокойство.

Войдя въ свой кабинетъ, Пьеръ затворилъ дверь и обратился къ Анатолю, не глядя на него:

— „Вы общались графинѣ Ростовой жениться на ней? хотѣли увести ее?“ — „Мой милый, — отвѣчалъ Анатолий по-французски (какъ и шелъ весь разговоръ), — я не считаю себя обязаннымъ отвѣчать на допросы, дѣлаемые въ такомъ тонѣ“.

Лицо Пьера, и прежде блѣдное, исказилось бѣшенствомъ. Онъ схватилъ своею большою рукою Анатолия за воротникъ мундира и сталъ трясти изъ стороны въ сторону до тѣхъ поръ, пока лицо Анатолия не приняло достаточное выраженіе испуга.

— „Когда я говорю, что *мнѣ надо* говорить съ вами“... — повторилъ Пьеръ. — „Ну что, это глупо. А?“ — сказалъ Анатолий, ощущывая оторванную съ сукномъ пуговицу воротника. — „Вы негодяй и мерзавецъ, и не знаю, что меня воздерживаетъ отъ удовольствія размоzzжить вамъ голову вотъ этимъ“, — говорилъ Пьеръ, выражаясь такъ искусственно потому, что онъ говорилъ по-французски. Онъ взялъ въ руку тяжелое пресспапье и угрожающе поднималъ и тотчасъ же торопливо положилъ его на мѣсто. — „Общались вы ей жениться?“ — „Я, я, я не думалъ: впрочемъ, я никогда не общался, потому что...“

Пьеръ перебилъ его.

— „Есть у васъ письма ея? Есть у васъ письма?“ — повторилъ Пьеръ, подвигаясь къ Анатолю.

Анатолий взглянулъ на него и тотчасъ же, засунувъ руку въ карманъ, досталъ бумажникъ.

Пьеръ взялъ подаваемое ему письмо и, оттолкнувъ стоявшій на дорогѣ столъ, повалился на диванъ.

— „Я ничего не сдѣлаю, не бойтесь, — сказалъ Пьеръ, отвѣчая на испуганный жестъ Анатолия. — Письма — разъ, — сказалъ Пьеръ, какъ будто повторяя урокъ для самого себя. — Второе, — послѣ минутнаго молчанія продолжалъ онъ, опять вставая и начиная ходить, — вы завтра должны уѣхать изъ Москвы“. — „Но какъ же я могу...“ — „Третье, — не слушая его, продолжалъ Пьеръ, — вы никогда ни слова не должны говорить о томъ, что было между вами и графиней. Этого, я знаю, я не могу запретить вамъ, но ежели въ васъ есть искра совѣсти... — Пьеръ нѣсколько разъ молча прошелъ по комнатѣ. Анатолий сидѣлъ у стола и нахмурившись кусалъ себѣ губы. — Вы не можете не понять наконецъ, что кромѣ вашего удовольствія есть счастье, спокойствіе другихъ людей, что вы губите цѣлую жизнь изъ-за того, что вамъ хочется веселиться. Забавляйтесь съ женщинами подобными моей сус-

пругъ—съ этими вы въ своемъ правѣ, онѣ знаютъ, чего вы хотите отъ нихъ. Онѣ вооружены противъ васъ тѣмъ же опытомъ разврата; но обѣщать двушкѣ жениться на ней... обмануть, украсть... Какъ вы не понимаете, что это такъ-же подло, какъ прибить старика или ребенка!...”

Наташа. Пьеръ поспѣшно подошелъ къ ней. Онъ думалъ, что она ему, какъ всегда, подастъ руку; но она, близко подойдя къ нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустивъ руки, совершенно въ той же позѣ, въ которой она выходила на середину залы, чтобы пѣть, но совсѣмъ съ другимъ выраженіемъ.

— „Петръ Кириллычъ,—начала она быстро говорить,—князь Болконскій былъ вамъ другъ, онъ и есть вамъ другъ,—поправилась она (ей казалось, что все только было, и что теперь все другое).—Онъ говорилъ мнѣ тогда, чтобъ обратиться къ вамъ“...

Пьеръ молча сопѣлъ носомъ, глядя на нее. Онъ до сихъ поръ въ душѣ своей упрекалъ и старался презирать ее; но теперь ему сдѣлалось такъ жалко ея, что въ душѣ его не было мѣста упреку.

— „Онъ теперь здѣсь, скажите ему... чтобъ онъ прост... простилъ меня“.—Она остановилась и еще чаще стала дышать, но не плакала.—„Да... и скажу ему,—говорилъ Пьеръ,—но...“—Онъ не зналъ, что сказать.

Наташа видимо испугалась той мысли, которая могла придти Пьеру.

— „Нѣтъ, я знаю, что все кончено,—сказала она поспѣшно.—Нѣтъ, это не можетъ быть никогда. Меня мучаетъ только зло, которое я ему сдѣлала. Скажите ему, что я прошу его простить, простить, простить меня за все...“—Она затряслась всѣмъ тѣломъ и сѣла на стулъ.

Еще никогда неиспытанное чувство жалости переполнило душу Пьера.

— „Я скажу ему, я все еще разъ скажу ему,—сказалъ Пьеръ—но... я бы желалъ знать одно“...

„Что знать?“—спросилъ взглядъ Наташи.

— „Я бы желалъ знать, любили ли вы...—Пьеръ не зналъ какъ назвать Анатоля и покраснѣлъ, при мысли о немъ,—любили ли вы этого дурного человѣка?“— „Не называйте его дурнымъ,—сказала Наташа.—Но я ничего, ничего не знаю...“—Она опять заплакала.

И еще больше чувство жалости, нѣжности и любви охватило Пьера—Онъ слышалъ, какъ подъ очками его текли слезы и надѣялся, что ихъ не замѣтятъ.

— „Не будемъ больше говорить, мой другъ“,—сказалъ Пьеръ.

Такъ странно вдругъ для Наташи показался этотъ его кроткій, нѣжный, задушевный голосъ.

— „Не будемъ говорить, мой другъ, я все скажу ему, но объ одномъ прошу васъ—считайте меня своимъ другомъ и ежели вамъ нужна помощь совѣтъ, просто нужно будетъ излить свою душу кому-нибудь—не теперь, когда у васъ ясно будетъ въ душѣ, вспомните обо мнѣ.—Онъ взялъ и поцѣловалъ ея руку.—Я счастливъ буду, ежели въ состояніи буду...“—Пьеръ смутился.—„Не говорите со мной такъ: я не стою этого!“—вскрикнула Наташа и хотѣла уйти изъ комнаты, но Пьеръ удержалъ ее за руку. Онъ

лъ, что ему нужно что-то еще сказать ей. Но когда онъ сказалъ это, онъ извился самъ своимъ словамъ.—„Перестаньте, перестаньте, вся жизнь впереди для васъ“, — сказалъ онъ ей.—„Для меня! Нѣтъ! Для меня все пропало“, — сказала она со стыдомъ и самоуниженіемъ.—„Все пропало?—повторь онъ.—Ежели бы я былъ не я, а красивѣйшій, умнѣйшій и лучшій ювѣкъ въ мірѣ, и былъ бы свободенъ, я бы сію минуту на колѣняхъ осыпалъ руки и любви вашей“.

Наташа въ первый разъ послѣ многихъ дней заплакала слезами благодарности и умиленія и, взглянувъ на Пьера, вышла изъ комнаты.

Взглядъ пр. Толстого на исторію. Съ конца 1811-го года началось усиленное вооруженіе и сосредоточеніе силъ западной Европы, и въ 1812 году эти — миллионы людей (считая тѣхъ, которые перевозили и кормили мю), двинулись съ запада на востокъ, къ границамъ Россіи, къ которымъ такъ-же съ 1811-го года стягивались силы Россіи. Двѣнадцатого июля силы западной Европы перешли границы Россіи, и началась война, е. совершилось противное человѣческому разуму и всей человѣческой природѣ событіе. Милліоны людей совершали другъ противъ друга такое безсленное количество злодѣяній, обмановъ, измѣнъ, воровства, поддѣлокъ выпуска фальшивыхъ ассигнацій, грабежей, поджоговъ и убійствъ, котораго въ цѣлые вѣка не соберетъ лѣтопись всѣхъ судовъ міра, и на которые, этотъ періодъ времени, люди, совершавшіе ихъ, не смотрѣли какъ на преступленія.

Что произвело это необычайное событіе? Какія были причины его? Историки съ наивной увѣренностью говорятъ, что причина этого событія были ида, нанесенная герцогу Ольденбургскому, несоблюденіе континентальной системы, властолюбіе Наполеона, твердость Александра, ошибки дипломатъ и т. п.

Слѣдовательно стоило только Меттерниху, Румянцеву или Талейрану, жду выходомъ и раутомъ, хорошенько постараться и написать поискуснѣ мажку, или Наполеону написать къ Александру: Государь, братъ мой, я глашаюсь возвратить герцогство герцогу Ольденбургскому, и войны-бы было.

Понятно, что такимъ представлялось дѣло современникамъ. Понятно, о Наполеону казалось, что причиной войны были интриги Англіи (какъ ть и говорилъ это на островѣ св. Елены); понятно, что членамъ англійской палаты казалось, что причиной войны было властолюбіе Наполеона; о принцу Ольденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное отивъ него насиліе; что купцамъ казалось, что причиной войны была континентальная система, разорявшая Европу; что старымъ солдатамъ и генераламъ казалось, что главной причиной была необходимость употребить ихъ дѣло; легитимистамъ того времени то, что необходимо было возстановить s bons principes, а дипломатамъ того времени то, что все произошло отъ го, что союзъ Россіи съ Австріей въ 1809 году не былъ достаточно истно скрытъ отъ Наполеона, и что неловко былъ написанъ memorandum № 178. Понятно, что эти и еще безчисленное, безконечное количество

Наташа

причинъ, количество которыхъ зависитъ отъ безчисленнаго различія точекъ зрѣнія, представлялось современникамъ; но для насъ—потомковъ, созерцающихъ во всемъ его объемѣ громадность совершившагося событія и вникающихъ въ его простой и страшный смыслъ, причины эти представляются недостаточными. Для насъ непонятно, чтобы милліоны людей-христіанъ убивали и мучили другъ друга, потому что Наполеонъ былъ властолюбивъ, Александръ твердъ, политика Англіи хитра и герцогъ Ольденбургскій обиженъ. Нельзя понять, какую связь имѣютъ эти обстоятельства съ самымъ фактомъ убійства и насилія; почему вслѣдствіе того, что герцогъ обиженъ, тысячи людей съ другого края Европы убивали и разоряли людей Смоленской и Московской губерній и были убиваемы ими.

Для насъ—потомковъ не историковъ, не увлеченныхъ процессомъ изысканія, и потому съ незатемненнымъ здравымъ смысломъ созерцающихъ событіе, причины его представляются въ неисчислимомъ количествѣ. Чѣмъ больше мы углубляемся въ изысканіе причинъ, тѣмъ больше намъ ихъ открывается, и всякая отдѣльно взятая причина или цѣлый родъ причинъ представляются намъ одинаково справедливыми сами по себѣ и одинаково ложными по своей ничтожности въ сравненіи съ громадностью событія, и одинаково ложными по недействительности своей (безъ участія всѣхъ другихъ совпавшихъ причинъ) произвести совершившееся событіе. Такой же причиной, какъ отказъ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назадъ герцогство Ольденбургское, представляется намъ и желаніе или нежеланіе перваго французскаго капрала поступить на вторичную службу: ибо, ежели-бы онъ не захотѣлъ идти на службу и не захотѣлъ-бы другой третій и тысячный капраль и солдатъ, настолько менѣе людей было-бы въ войскѣ Наполеона, и войны не могло-бы быть.

Ежели-бы Наполеонъ не оскорбился требованіемъ отступить за Вислу и не велѣлъ наступать войскамъ, не было-бы войны; но ежели-бы всѣ сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло-бы быть. Тоже не могло-бы быть войны, ежели-бы не было интригъ Англіи и не было-бы принца Ольденбургскаго, и чувства оскорбленія въ Александрѣ, и не было-бы самодержавной власти въ Россіи, и не было-бы французской революціи и послѣдовавшихъ диктаторства и имперіи, и всего того, что произвело французскую революцію, и такъ далѣе. Безъ одной изъ этихъ причинъ ничего не могло-бы быть. Стало быть, причины эти всѣ—милліарды причинъ—совпали для того, чтобы произвести то, что было. И слѣдовательно ничто не было исключительной причиной событія, а событіе должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были милліоны людей, отрехшись отъ своихъ человѣческихъ чувствъ и своего разума, идти на востокъ съ запада и убивать себѣ подобныхъ, точно такъ же, какъ нѣсколько вѣковъ тому назадъ съ востока на западъ шли толпы людей, убивая себѣ подобныхъ.

Дѣйствія Наполеона и Александра, отъ слова которыхъ зависѣло, казалось, чтобы событіе совершилось или не совершилось—были такъ же мало произвольны, какъ и дѣйствіе каждаго солдата, шедшаго въ походъ по

ебію или по набору. Это не могло-бы быть иначе потому, что для того, чтобы воля Наполеона и Александра (тѣхъ людей, отъ которыхъ, казалось, исходило событіе) была исполнена, необходимо было совпаденіе безчисленныхъ обстоятельствъ, безъ одного изъ которыхъ событіе не могло-бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, въ рукахъ которыхъ была дѣйствительная сила, солдаты, которые стрѣляли, везли провіантъ и пушки, то было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичныхъ и слабыхъ людей, и были приведены къ этому безчисленнымъ количествомъ сложныхъ, разнообразныхъ причинъ.

Фатализмъ въ исторіи неизбѣженъ для объясненія неразумныхъ явленій (есть тѣхъ, разумность которыхъ мы не понимаемъ). Чѣмъ болѣе мы стараемся разумно объяснить эти явленія въ исторіи, тѣмъ они становятся для насъ неразумнѣе, непонятнѣе.

Каждый человѣкъ живетъ для себя, пользуется свободой для достиженія своихъ личныхъ цѣлей и чувствуетъ всѣмъ существомъ своимъ, что онъ можетъ сейчасъ сдѣлать или не сдѣлать такое-то дѣйствіе; но какъ скоро онъ сдѣлаетъ его, такъ дѣйствіе это, совершенное въ извѣстный моментъ времени, становится невозвратимымъ и дѣлается достояніемъ исторіи, которой оно имѣетъ не свободное, а предопредѣленное значеніе.

Есть двѣ стороны жизни въ каждомъ человѣкѣ: жизнь личная, которая болѣе свободна, чѣмъ отвлеченнѣе ея интересы, и жизнь стихійная, въ которой человѣкъ неизбѣжно исполняетъ предписанные ему законы.

Человѣкъ сознательно живетъ для себя, но служитъ безсознательнымъ орудіемъ для достиженія историческихъ общечеловѣческихъ цѣлей. Совершенный поступокъ невозвратимъ, и дѣйствіе его, совпадая во времени съ миллионами дѣйствій другихъ людей, получаетъ историческое значеніе. Чѣмъ выше стоитъ человѣкъ на общественной лѣстницѣ, чѣмъ съ большими силами онъ связанъ, тѣмъ больше власти онъ имѣетъ на другихъ людей, тѣмъ очевиднѣе предопредѣленность и неизбѣжность каждаго его поступка.

Исторія, т.-е. безсознательная, общая, роковая жизнь человѣчества, каждой минутой жизни царей пользуется для себя, какъ орудіемъ для своихъ цѣлей.

Когда созрѣло яблоко и падаетъ, — отчего оно падаетъ? Оттого-ли, что тяготѣетъ къ землѣ, что засыхаетъ стержень, оттого-ли, что сушится солнцемъ, что тяжелѣетъ, что вѣтеръ страшетъ его, оттого-ли, что стоявшему внизу мальчику хочется съѣсть его?

Ничто не причина. Все это только совпаденіе тѣхъ условій, при которыхъ совершается всякое жизненное, органическое, стихійное событіе. И такъ ботаникъ, который найдетъ, что яблоко падаетъ оттого, что клетчатка разлагается и тому подобное, будетъ такъ-же правъ, какъ и тотъ ребенокъ, сидящій внизу, который скажетъ, что яблоко упало оттого, что ему хотѣлось съѣсть его и что онъ молится объ этомъ. Такъ-же правъ и неправъ тотъ, кто скажетъ, что Наполеонъ пошелъ въ Москву потому, что захотѣлъ этого, и оттого погибъ, что Александръ захотѣлъ его погнать; какъ правъ и неправъ будетъ тотъ, кто скажетъ, что завалившаяся

въ миллионъ пудовъ подкопанная гора упала оттого, что послѣдній работникъ ударилъ подъ нее послѣдній разъ киркою. Въ историческихъ событіяхъ такъ-называемые великіе люди суть ярлыки, дающіе наименование событію, которые такъ-же, какъ ярлыки, менѣ всего имѣютъ связи съ самымъ событіемъ.

Каждое дѣйствіе ихъ, кажущееся имъ произвольнымъ для самихъ себя, въ историческомъ смыслѣ произвольно, а находится въ связи со всѣмъ ходомъ исторіи и опредѣлено предвѣчно.

Кн. Андрей. [Онъ былъ потрясенъ извѣстіемъ о происшедшемъ съ Наташей. Бракъ ихъ разстроился].

— „Ахъ, Боже мой! Боже мой! — сказалъ онъ. — И какъ подумаешь, что и это—какое ничтожество можетъ быть причиной несчастія людей!“ — сказалъ онъ со злобою, испугавшею княжну Марью. — „Андрей, объ одномъ я прошу, я умоляю тебя, — сказала она, дотрогиваясь до его локтя и сіяющими слезою глазами глядя на него. — Я понимаю тебя (княжна Марья опустила глаза). Не думай, что горе сдѣлалъ люди. Люди — орудіе Его. — Она взглянула немного повыше головы князя Андрея тѣмъ увѣреннымъ, привычнымъ взглядомъ, которымъ смотрятъ на знакомое мѣсто портрета. — Горе послано Имъ, а не людьми. Люди Его орудія; они не виноваты. Ежели тебѣ кажется, что кто-нибудь виноватъ предъ тобой, — забудь это и прости. Мы не имѣемъ права наказывать. И ты поймешь счастье прощать“. — „Ежели бы я былъ женщина, я бы это дѣлалъ, Мари. Это добродѣтель женщины. Но мужчина не долженъ и не можетъ забыть и прощать“, — сказалъ онъ, и хотя онъ до этой минуты не думалъ о Курагинѣ, вся невымещенная злоба вдругъ поднялась въ его сердцѣ. „Ежели княжна Марья уже уговариваетъ меня простить, то значитъ давно мнѣ надо было наказать“, — подумалъ онъ. И, не отвѣчая болѣе княжѣ Марьѣ, онъ сталъ думать теперь о той радостной, злобной минутѣ, когда онъ встрѣтитъ Курагина, который (онъ зналъ) находится въ арміи.

[Онъ отправился въ дѣйствующую армію и сталъ всматриваться въ начальствующихъ, въ порядки арміи и настроеніе войскъ].

Онъ уже успѣлъ вывести изъ своего военнаго опыта то убѣжденіе, что въ военномъ дѣлѣ ничего не значатъ самые глубокомысленно-обдуманые планы (какъ онъ видѣлъ это въ Аустерлицкомъ походѣ), что все зависитъ отъ того, какъ отвѣчаютъ на неожиданныя и не могущія быть предвидѣнными дѣйствія непріятеля, что все зависитъ отъ того, какъ и кѣмъ ведется все дѣло. Для того, чтобы уяснить себѣ этотъ послѣдній вопросъ, князь Андрей, пользуясь своимъ положеніемъ и знакомствами, старался впикнуть въ характеръ управленія арміей, лицъ и партій, участвовавшихъ въ ономъ.

[На основаніи своего боевого опыта, князь Андрей очень скептически относился къ разнымъ „планамъ“ и диспозиціямъ сраженій. Присутствуя на военномъ совѣтѣ, онъ былъ полонъ сомнѣній].

Тѣ, давно и часто приходившія ему во время его военной дѣятельности, мысли, что нѣтъ и не можетъ быть никакой военной науки, и по

этому не можетъ быть никакого такъ-называемаго военнаго генія, теперь получили для него совершенную очевидность истины. „Какая же могла быть теорія и наука въ дѣлѣ, котораго условія и обстоятельства неизвѣстны и не могутъ быть опредѣлены, въ которомъ сила дѣателей войны еще менѣе можетъ быть опредѣлена? Никто не могъ и не можетъ знать, въ какомъ будетъ положеніи наша и непріятельская армія черезъ день и никто не можетъ знать, какая сила этого или того отряда. Иногда, когда нѣтъ труса впереди, который закричитъ: „мы отрѣзаны!“ и побѣжитъ, а есть впереди веселый и смѣлый человѣкъ, который крикнетъ: „ура“, — отрядъ въ 5 тысячъ стоитъ 30-ти тысячъ, какъ подъ Шенграбенемъ, а иногда 50 тысячъ бѣгутъ передъ 8-ю, какъ подъ Аустерлицемъ. — Какая же можетъ быть наука въ такомъ дѣлѣ, въ которомъ, какъ во всякомъ практическомъ дѣлѣ, ничто не можетъ быть опредѣлено и все зависитъ отъ безчисленныхъ условій, значеніе которыхъ опредѣляется въ одну минуту, про которую никто не знаетъ, когда она наступитъ. И отчего всѣ говорятъ: геній военный? Развѣ геній тотъ человѣкъ, который во-время умѣетъ велѣть подвести сухари и идти тому направо, тому налѣво? Оттого только, что военные люди облечены блескомъ и властью, и массы поддѣловъ лѣзятъ власти, придавая ей несвойственныя качества генія, ихъ называютъ геніями. Напротивъ, лучшіе генералы, которыхъ я зналъ — глупые или разсѣянные люди. Лучшій Багратионъ — самъ Наполеонъ призналъ это. А самъ Бонапартъ! Я помню самодовольное и ограниченное его лицо на Аустерлицкомъ полѣ. Не только генія и какихъ-нибудь особенныхъ качествъ не нужно хорошему полководцу, но, напротивъ, ему нужно отсутствіе самыхъ высшихъ, лучшихъ человѣческихъ качествъ — любви, поэзіи, нѣжности, философскаго, пытливаго сомнѣнія. Онъ долженъ быть ограниченъ, твердо увѣренъ въ томъ, что то, что онъ дѣлаетъ, очень важно (иначе у него не достанетъ терпѣнія), и тогда только онъ будетъ храбрый полководецъ. Избави Богъ, коли онъ человѣкъ, полюбитъ кого-нибудь, пожалѣетъ, подумаетъ о томъ, что справедливо и что нѣтъ. Понятно, что изстари еще для нихъ поддѣляли теорію геніевъ, потому что они — власть. Заслуга въ успѣхѣхъ военнаго дѣла зависитъ не отъ нихъ, а отъ того человѣка, который въ рядахъ закричитъ: пропали, или закричитъ: ура! И только въ этихъ рядахъ можно служить съ увѣренностью, что ты полезенъ!“

На другой день на смотрѣ государь спросилъ у князя Андрея, гдѣ онъ желаетъ служить, и князь Андрей на-вѣки потерялъ себя въ придворномъ мірѣ, не попросивъ остаться при особѣ государя, а попросивъ позволенія служить въ арміи.

Наташа. Наташа была спокойнѣе, но не веселѣе. Она не только избегала всѣхъ внѣшнихъ условій радости: баловъ, катанья, концертовъ, театра, но она ни разу не смѣлась такъ, чтобы изъ-за смѣха ей не слышны были слезы. Она не могла пѣть. Какъ только начинала она смѣяться или пробовала одна сама съ собой пѣть, слезы душили ее: слезы раскаянія, слезы воспоминаній о томъ невозвратномъ, чистомъ времени; слезы досады, что такъ, задаромъ, погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы

быть такъ счастлива. Смѣхъ и пѣніе особенно казались ей кощунствомъ надъ ея горемъ. О кокетствѣ она и не думала; ей не приходилось даже воздерживаться. Она говорила и чувствовала, что въ это время всѣ мужчины были для нея совершенно то же, что шутъ Настасья Ивановна. Внутренній стражъ твердо воспрещалъ ей всякую радость. Да и не было въ ней всѣхъ прежнихъ интересовъ жизни изъ того дѣвичьяго, беззаботнаго, полного надеждъ склада жизни. Чаше и болѣзненнѣе всего она вспоминала осенніе мѣсяцы, охоту, дядюшку и святки, проведенные съ Николаемъ въ Отрадномъ. Что бы она дала, чтобы возвратить хоть одинъ день изъ того времени! Но ужъ это навсегда было кончено. Предчувствіе не обманывало ея тогда, что то состояніе свободы и открытости для всѣхъ радостей никогда уже не возвратится больше. Но жить надо было.

Ей отраднo было думать, что она не лучше, какъ она прежде думала, а хуже и гораздо хуже всѣхъ, всѣхъ, кто только есть на свѣтѣ. Но этого мало было. Она знала это и спрашивала себя: „что-жъ дальше?“—А дальше ничего не было. Не было никакой радости въ жизни, а жизнь проходила. Наташа видимо старалась только никому не быть въ тягость и никому не мѣшать, но для себя ей ничего не нужно было. Она удалялась отъ всѣхъ домашнихъ и только съ братомъ Петей ей было легко. Съ нимъ она любила бывать больше, чѣмъ съ другими, и иногда, когда бывала съ нимъ съ-глазу-на-глазъ, смѣялась. Она почти не выѣзжала изъ дому и изъ прѣзжавшихъ къ нимъ рада была только одному человѣку — Пьеру. Нельзя было пѣжнѣе, осторожнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ серьезнѣе обращаться, чѣмъ обращался съ нею графъ Безухій. Наташа безсознательно чувствовала эту нѣжность обращенія и потому находила большое удовольствіе въ его обществѣ. Но она не была даже благодарна ему за его нѣжность. Ничто хорошее со стороны Пьера не казалось ей усиленіемъ. Пьеру, казалось, такъ естественно быть добрымъ со всѣми, что не было никакой заслуги къ его добротѣ. Иногда Наташа замѣчала смущеніе и неловкость Пьера въ ея присутствіи, въ особенности когда онъ хотѣлъ сдѣлать для нея что-нибудь пріятное, или когда онъ боялся, чтобы что-нибудь въ разговорѣ не навело Наташу на тяжелыя воспоминанія. Она замѣчала это и приписывала это его общей добротѣ и застѣнчивости, которая по ея понятіямъ таковая-же какъ съ нею должна была быть и со всѣми. Послѣ тѣхъ нечаянныхъ словъ о томъ, что ежели-бы онъ былъ свободенъ, онъ на колѣняхъ-бы просилъ ея руки и любви, сказанныхъ въ минуту такого сильнаго волненія для нея, Пьеръ никогда не говорилъ ничего о своихъ чувствахъ къ Наташѣ и для нея было очевидно, что тѣ слова, тогда такъ утѣшившія ее, были сказаны, какъ говорится всякія безсмысленныя слова для утѣшенія плачущаго ребенка.

Не оттого, что Пьеръ былъ женатый человѣкъ, но оттого, что Наташа чувствовала между собою и имъ въ высшей степени ту силу нравственной преграды—отсутствіе которой она чувствовала съ Курагинымъ—она никогда въ голову не приходило, чтобы изъ ея отношеній съ Пьеромъ могъ выйти не только любовь съ ея или еще менѣе съ его стороны, но даже

тотъ родъ нѣжной, признающей себя, поэтической дружбы между мужчиной и женщиной, которой она знала нѣсколько примѣровъ.

Въ концѣ Петровскаго поста Аграфена Ивановна Бѣлова, Отраденская сосѣдка Ростовыхъ, пріѣхала въ Москву поклониться московскимъ угодникамъ. Она предложила Наташѣ говѣть, и Наташа съ радостью ухватилась за эту мысль. Несмотря на запрещеніе докторовъ выходить рано утромъ, Наташа настояла на томъ, чтобы говѣть и говѣть не такъ, какъ говѣли въ домѣ Ростовыхъ, обыкновенно, то-есть отслушать на дому три службы, а чтобы говѣть такъ, какъ говѣла Аграфена Ивановна, то-есть всю недѣлю, не пропуская ни одной вечерни, обѣдни или заутрени.

Графинѣ понравилось это усердіе Наташи; она въ душѣ своей, послѣ безуспѣшнаго медицинскаго лѣченія, надѣялась, что молитва поможетъ ей больше лѣкарствъ, и хотя со страхомъ и скрывая отъ доктора, но согласилась на желаніе Наташи и поручила ее Бѣловой. Аграфена Ивановна въ три часа ночи приходила будить Наташу и большею частью находила ее уже не спящею. Наташа боялась проспять время заутрени. Поспѣшно умываясь и съ смиреніемъ одѣваясь въ самое дурное свое платье и старенькую мантилью, содрогаясь отъ свѣжести, Наташа выходила на пустынные улицы, прозрачно освѣщенныя утренней зарей. По совѣту Аграфены Ивановны, Наташа говѣла не въ своемъ приходѣ, а въ церкви, въ которой, по словамъ набожной Бѣловой, былъ священникъ весьма строгой и высокой жизни. Въ церкви всегда было мало народа; Наташа съ Бѣловой становились на привычное мѣсто предъ иконою Божіей Матери, вдѣланной въ задъ лѣваго клироса, и новое для Наташи чувство смиренія предъ великимъ, непостижимымъ охватывало ее, когда она въ этотъ непривычный часъ утра, глядя на черныи ликъ Божіей Матери, освѣщенный и свѣчами, горѣвшими предъ нимъ, и свѣтомъ утра, падавшимъ изъ окна, слушала звуки службы, за которыми она старалась слѣдить, понимая ихъ. Когда она понимала ихъ, ея личное чувство съ своими оттѣнками присоединялось къ ея молитвѣ; когда она не понимала, ей еще сладостнѣе было думать, что желаніе понимать все есть гордость, что понимать всего нельзя, что надо только вѣрить и отдаваться Богу, Который въ эти минуты—она чувствовала—управлялъ ея душою. Она крестилась, кланялась и когда не понимала, то только, ужасаясь предъ своею мерзостью, просила Бога простить ее за все, за все, и помиловать. Молитвы, которымъ она больше всего отдавалась, были молитвы раскаянія. Возвращаясь домой въ ранній часъ утра, когда встрѣчались только камешники, шедшіе на работу, дворники, выметавшіе улицу, и въ домахъ еще всѣ спали, Наташа испытывала новое для нея чувство возможности исправленія себя отъ своихъ пороковъ и возможности новой, чистой жизни и счастья.

Въ продолженіе всей недѣли, въ которую она вела эту жизнь, чувство это росло съ каждымъ днѣмъ. И счастье пріобщиться или сообщиться, какъ, радостно играя этимъ словомъ, говорила ей Аграфена Ивановна, представлялось ей столь великимъ, что ей казалось, что она не доживетъ до этого блаженнаго воскресенья.

Но счастливый день наступилъ, и когда Наташа, въ это памятное для нея воскресенье, въ бѣломъ кисейномъ платьѣ вернулась отъ причастія, она въ первый разъ послѣ долгихъ мѣсяцевъ почувствовала себя спокойной и не тяготящеюся жизнью, которая ей предстояла.

Пріѣзжавшій въ этотъ день докторъ осмотрѣлъ Наташу и велѣлъ продолжать тѣ послѣдніе порошки, которые онъ прописалъ двѣ недѣли тому назадъ.

— „Непремѣнно продолжать утромъ и вечеромъ,—сказалъ онъ, видимо самъ добросовѣстно довольный своимъ успѣхомъ.—Только, пожалуйста, аккуратно. Будьте покойны, графиня,—сказалъ шутливо докторъ, въ якую руки ловко подхватывая золотой,—скоро опять запоетъ и зарѣзвится. Очень, очень ей въ пользу послѣднее лѣкарство. Она очень посвѣжѣла“.

Графиня посмотрѣла на ногти и поплевала, съ веселымъ лицомъ возвращаясь въ гостиную.

Наташа въ церкви. Благообразный, чистый старичокъ служилъ съ тою кроткою торжественностью, которая такъ величаво, успокоительно дѣйствуетъ на души молящихся. Царскія двери затворились, медленно задернулась завѣса, таинственный, тихій голосъ произнесъ что-то отсюда. Непонятныя для нея самой слезы стояли въ груди Наташи, и радостное и томительное чувство волновало ее.

„Научи меня, что мнѣ дѣлать, какъ мнѣ быть съ моею жизнью, какъ мнѣ исправиться навсегда, навсегда!“...—думала она.

Дьяконъ вышелъ на амвонъ, выправилъ, широко отставивъ большой палецъ, свои длинные волосы изъ-подъ стихаря и, положивъ на груди крестъ, громко и торжественно сталъ читать слова молитвы:

— „Міромъ Господу помолимся“.

„Міромъ, всѣ вмѣстѣ, безъ различія сословій, безъ вражды, а соединенные братскою любовью—будемъ молиться“,—думала Наташа.

— „О свышнемъ мірѣ и о спасеніи душъ нашихъ!“

„О мірѣ ангеловъ и душъ всѣхъ безтѣлесныхъ существъ, которые живутъ надъ нами“,—молилась Наташа.

Когда молились за воинство, она вспомнила брата и Денисова. Когда молились за плавающихъ и путешествующихъ, она вспомнила князя Андрея и молилась за него, и молилась за то, чтобы Богъ простилъ ей то зло, которое она ему сдѣлала. Когда молились за любящихъ насъ, она молилась о своихъ домашнихъ, объ отцѣ, матери, Сонѣ,—въ первый разъ теперь понимая всю свою вину предъ ними и чувствуя всю силу своей любви къ нимъ. Когда молились о ненавидящихъ насъ, она придумывала себѣ враговъ и ненавидящихъ, для того чтобы помолиться за нихъ. Она причисляла къ врагамъ кредиторовъ и всѣхъ тѣхъ, которые имѣли дѣло съ ея отцомъ, и всякій разъ, при мысли о врагахъ и ненавидящихъ, она вспоминала Анатоля, сдѣланшаго ей столько зла, и хотя онъ не былъ ненавидящій, она радостно молилась за него, какъ за врага. Только на молитвѣ она чувствовала себя въ силахъ ясно и спокойно вспоминать и о князѣ Андрѣ и объ Анатолѣ, какъ о людяхъ, къ которымъ чувства ея уничтожались въ сравненіи съ ея

чувствомъ страха и благоговѣнія къ Богу. Когда молились за царскую фамилію и за Синодъ, она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себѣ, что ежели она не понимаетъ, она не можетъ сомнѣваться и все-таки любить Правительствующій Синодъ и молится за него.

Окончивъ эктенью, дьяконъ перекрестилъ вокругъ груди орарь и произнесъ:

— „Сами себя и животъ нашъ Христу Богу предадимъ.“

„Сами себя Богу предадимъ,—повторила въ своей душѣ Наташа.— Боже мой, предаю себя Твоей волѣ, — думала она. — Ничего не хочу, не желаю; научи меня, что мнѣ дѣлать, какъ употребить свою волю! Да возьми же меня, возьми меня!“—съ умиленнымъ нетерпѣніемъ въ душѣ говорила Наташа, не крестясь, опустивъ свои тонкія руки и какъ будто ожидая, что вотъ-вотъ невидимая сила возьметъ ее и избавитъ отъ себя, отъ своихъ сожалѣній, желаній, укоровъ, надеждъ и пороковъ.

Графиня нѣсколько разъ во время службы оглядывалась на умиленное, съ блестящими глазами, лицо своей дочери и молилась Богу о томъ, чтобы Онъ помогъ ей.

[Во время богослуженія была прочитана только-что присланная молитва о ниспосланіи побѣды русскому войску].

Въ томъ состояніи раскрытости душевной, въ которомъ находилась Наташа, эта молитва сильно подѣйствовала на нее. Она слушала каждое слово о побѣдѣ Моисея на Амалика, и Гедсона на Мадіама, и Давида на Голиаа, и о разореніи Іерусалима Твоего, и просила Бога съ тою нѣжностью и размягченностью, которою было переполнено ея сердце; но не понимала хорошенько, о чемъ она просила Бога въ этой молитвѣ. Она всею душой участвовала въ прошеніи о духѣ правомъ, объ укрѣпленіи сердца вѣрою, надеждою и о воодушевленіи ихъ любовью. Но она не могла молиться о поправленіи подъ ноги враговъ своихъ, когда она за нѣсколько минутъ предъ этимъ только желала имѣть ихъ больше, чтобы любить ихъ, молиться за нихъ. Но она тоже не могла сомнѣваться въ правотѣ читаемой, колѣнопреклонной молитвы. Она ощущала въ душѣ своей благоговѣйный и трепетный ужасъ предъ наказаніемъ, постигшемъ людей за ихъ грѣхи и въ особенности за свои грѣхи, и просила Бога о томъ, чтобы Онъ простилъ ихъ всѣхъ и ее, и далъ бы имъ всѣмъ и ей спокойствіе и счастье въ жизни. И ей казалось, что Богъ слышитъ ея молитву.

Пьеръ. Съ того дня какъ Пьеръ, уѣзжая отъ Ростовыхъ и вспоминая благодарный взглядъ Наташи, смотрѣлъ на комету, стоявшую на небѣ, и почувствовалъ, что для него открылось что-то новое,—вѣчно мучившій его вопросъ о тщетѣ и безумности всего земного пересталъ представляться ему. Этотъ страшный вопросъ: зачѣмъ? къ чему? который прежде представлялся ему въ серединѣ всякаго занятія, теперь замѣнился для него не другимъ вопросомъ и не отвѣтомъ на прежній вопросъ, а представленіемъ ея. Слышалъ ли онъ или самъ велъ ничтожные разговоры, читалъ ли онъ или узнавалъ про подлость и бессмысленность людскую, онъ не ужасался какъ прежде, не спрашивалъ себя, изъ чего хлопочутъ люди, когда все такъ

кратко и неизвѣстно, но вспоминая ее въ томъ видѣ, въ которомъ онъ видѣлъ ее послѣдній разъ, и всѣ сомнѣнія его исчезали, не потому, что она отвѣчала на вопросы, которые представлялись ему, но потому, что представленье о ней переносило его мгновенно въ другую, свѣтлую область душевной дѣятельности, въ которой не могло быть праваго или виноватаго, въ область красоты и любви, для которой стоило жить. Какая бы мерзость житейская не представлялась ему, онъ говорилъ себѣ:

„Ну и пускай такой-то обокралъ государство и царя, а государство и царь воздаютъ ему почести, а она вчера улынулась мнѣ и просила пріѣхать и я люблю ее, и никто никогда не узнаетъ этого,“ — думалъ онъ.

Пьеръ все также ѣздилъ въ общество, такъ-же много пилъ и велъ ту же праздную и разсѣянную жизнь, потому что кромѣ тѣхъ часовъ, которые онъ проводилъ у Ростовыхъ, надо было проводить и остальное время, и привычки и знакомства, сдѣланныя имъ въ Москвѣ, непреодолимо влекли его къ той жизни, которая захватила его. Но въ послѣднее время, когда съ театра войны приходили все болѣе и болѣе тревожные слухи, и когда здоровье Наташи стало поправляться, и она перестала возбуждать въ немъ прежнее чувство бережливой жалости, имъ стало овладѣвать болѣе и болѣе непонятное для него безпокойство. Онъ чувствовалъ, что то положенье, въ которомъ онъ находился, не могло продолжаться долго, что наступаетъ катастрофа, долженствующая измѣнить всю его жизнь, и съ нетерпѣніемъ отыскивалъ во всемъ признаки этой приближающейся катастрофы. Пьеру было открыто однимъ изъ братьевъ-масоновъ слѣдующее, выведенное изъ Апокалипсиса Іоанна Богослова, пророчество относительно Наполеона.

[Это заинтересовало Пьера, онъ сталъ подсчитывать цифры, соответствующія буквамъ его имени и фамиліи, и открылъ, что слово „l'Russes Besuhof“ равняется 666].

Открытіе это взволновало его. Какъ, какою связью былъ онъ соединенъ съ тѣмъ великимъ событіемъ, которое было предсказано въ Апокалипсисѣ, онъ не зналъ, но онъ ни на минуту не усумнился въ этой связи. Его любовь къ Ростовымъ, антихристъ, нашествіе Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoleon и l'Russes Besuhof, все это вмѣстѣ должно было созрѣть, разразиться и вывести его изъ того заколдованнаго, ничтожнаго міра московскихъ привычекъ, въ которыхъ онъ чувствовалъ себя плѣненнымъ, и привести его къ великому подвигу и великому счастью.

Князь Андрей. Князь Андрей командовалъ полкомъ, и устройству полка, благосостояніе его людей, необходимость полученія и отдачи приказаній занимали его. Пожаръ Смоленска и оставленіе его были эпохой для князя Андрея. Новое чувство озлобленія противъ врага заставляло его забывать свое горе. Онъ весь былъ преданъ дѣламъ своего полка, онъ былъ заботливъ о своихъ людяхъ и офицерахъ и ласковъ съ ними. Въ полку его называли *нашъ князь*, имъ гордились и его любили. Но добръ и кротокъ онъ былъ только съ своими полковыми, съ Тимохинымъ и т. п., съ людьми совершенно новыми и въ чужой средѣ, съ людьми, которые не мо-

знать и понимать его прошедшаго; но какъ только онъ сталкивался съ чѣмъ-нибудь изъ своихъ прежнихъ, изъ штабныхъ, онъ тотчасъ опять етенивался: дѣлался злобенъ, насмѣшливъ и презрителенъ. Все, что связало его воспоминаніе съ прошедшимъ, отталкивало его, и потому онъ рался въ отношеніяхъ этого прежняго міра только не быть несправедливымъ и исполнять свой долгъ.

Взглядъ гр. Толстого на войну 1812 г. Историкъ Наполеона Тьеръ такъ-же, какъ и другіе историки Наполеона, говоритъ, стараясь оправдать своего героя, что Наполеонъ былъ привлеченъ къ стѣнамъ Москвы невольно. Онъ правъ, какъ и правы всѣ историки, ищущіе объясненія событій историческихъ въ волѣ одного человѣка; онъ правъ такъ-же, какъ и русскіе историки утверждающіе, что Наполеонъ былъ привлеченъ къ Москвѣ искусствомъ русскихъ полководцевъ. Здѣсь кромѣ закона ретроспективности (возвратности), представляющаго все прошедшее приготовленіемъ къ совершившемуся факту, есть еще взаимность, путающая все дѣло. Хорошій игрокъ, игравшійся въ шахматы, искренно убѣжденъ, что его проигрышъ произошелъ отъ его ошибки, и онъ отыскиваетъ эту ошибку въ началѣ своей игры, но забываетъ, что въ каждомъ его шагѣ, въ продолженіе всей игры, были такія же ошибки, что ни одинъ его ходъ не былъ совершененъ. Ошибка, которую онъ обращаетъ вниманіе, замѣтна ему только потому, что проигравшій воспользовался ею. Насколько же сложнѣе этого игра войны, продолжающаяся въ извѣстныхъ условіяхъ времени, гдѣ не одна воля руководить жизненными машинами, а гдѣ все вытекаетъ изъ безчисленнаго столкненія различныхъ произволовъ?

Какъ пишется исторія. [Лаврушка попалъ въ плѣнъ къ французамъ; приняли за казака].

Нѣсколько адъютантовъ поскакало, и черезъ часъ крѣпостной чело-вѣкъ Денисова, уступленный имъ Ростову, Лаврушка, въ денщицкой шинелѣ, на французскомъ кавалерійскомъ сѣдлѣ, съ плутовскимъ и пьянымъ, веселымъ лицомъ, подѣхалъ къ Наполеону. Наполеонъ велѣлъ ему идти рядомъ съ собой и началъ спрашивать:

— „Вы — казакъ?“ — „Казакъ-съ, ваше благородіе“.

„Казакъ, не знавшій, въ какомъ обществѣ онъ находился, потому что юность Наполеона не имѣла ничего такого, что бы могло обличить для точнаго воображенія присутствіе государя, разговаривалъ съ чрезвычайной фамиллярностью объ обстоятельствахъ настоящей войны“, — говоритъ Тьеръ, рассказывая этотъ эпизодъ. Дѣйствительно, Лаврушка, напившійся за нѣсколько часовъ пьянымъ и оставившій барина безъ обѣда, былъ высѣченъ наказаніемъ и отправленъ въ деревню за курами, гдѣ онъ увлекся мародерствомъ. Онъ былъ взятъ въ плѣнъ французами. Лаврушка былъ одинъ изъ тѣхъ гру-бо, наглыхъ лакеевъ, выдававшихъ всякіе виды, которые считаютъ долгомъ дѣлать съ подлостью и хитростью, которые готовы сослужить всякую службу своему барину и которые хитро угадываютъ барскія дурныя мысли, особенности тщеславіе и мелочность.

Попавъ въ общество Наполеона, котораго личность онъ очень хорошо

и легко призналъ, Лаврушка нисколько не смутился и только старался от всей души заслужить новымъ господамъ.

Онъ очень хорошо зналъ, что это самъ Наполеонъ, и присутствіе Наполеона не могло смутить его больше, чѣмъ присутствіе Ростова, или вахмистра съ розгами, потому что не было ничего у него, чего бы ни могъ лишить его ни вахмистръ, ни Наполеонъ.

Онъ вралъ все, что толковалось между денщиками. Многое изъ этого была правда. Но когда Наполеонъ спросилъ его, какъ же думаютъ русскіе, побѣдятъ они Бонапарта или нѣтъ, Лаврушка прищурился и задумался.

Онъ увидалъ тутъ тонкую хитрость, какъ всегда во всемъ видятъ хитрость люди, подобные Лаврушкѣ, насупился и помолчалъ.

— „Оно значитъ колъ быть сраженію, — сказалъ онъ задумчиво, — и въ скорости, то ваша возьметъ. Это такъ точно. Ну, а коли пройдетъ три дня, а послѣ того самаго числа, ну тогда, значитъ, это самое сраженіе въ оттяжку пойдетъ“.

Наполеону перевели это такъ: „ежели сраженіе будетъ дано раньше трехъ дней, то французы выиграютъ его, но ежели позже, то Богъ знаетъ, что можетъ изъ этого выйти“, — улыбаясь передалъ Лелормъ-Дидевиль. Наполеонъ не улыбнулся, хотя онъ видимо былъ въ самомъ веселомъ расположеніи духа, и велѣлъ повторить себѣ эти слова.

Лаврушка замѣтилъ это и, чтобы развеселить его, сказалъ, притворяясь, что не знаетъ, кто онъ.

— „Знаемъ, у васъ есть Бонапартъ, онъ всѣхъ въ мірѣ побилъ, ну да объ насъ другая статья...“ — сказалъ онъ, самъ не зная, какъ и отъ чего подъ-конецъ проскочилъ въ его словахъ хвастливый патристизмъ.

Переводчикъ передалъ эти слова Наполеону безъ окончанія, и Бонапартъ улыбнулся.

„Молодой казакъ заставилъ улыбнуться своего могущественнаго собесѣдника“, — говоритъ Тьеръ.

Проѣхавъ нѣсколько шаговъ молча, Наполеонъ обратился къ Бертье и сказалъ, что онъ хочетъ испытать дѣйствіе, которое произведетъ „на это дитя Дона извѣстіе о томъ, что человѣкъ, съ которымъ говоритъ это дитя Дона“, есть самъ императоръ, тотъ самый императоръ, который написалъ на пирамидахъ безсмертно-побѣдоносное имя.

Извѣстіе было передано.

Лаврушка (понявъ, что это дѣлалось, чтобъ озадачить его, и что Наполеонъ думаетъ, что онъ испугается), чтобъ угодить новымъ господамъ, тотчасъ же притворился изумленнымъ, ошеломленнымъ, выпучилъ глаза и сдѣлалъ такое же лицо, которое ему привычно было, когда его водили съъ. „Едва, — говоритъ Тьеръ, — какъ только переводчикъ Наполеона сказалъ это казаку, казакъ, охваченный какимъ-то остоленіемъ, не произнесъ болѣе ни одного слова и продолжалъ ѣхать, не спуская глазъ съ завоевателя, имя котораго достигло до него черезъ степи Востока. Вся его разговорчивость внезапно пропала и замѣнилась наивнымъ и молчаливымъ чув-

своём восторге. Наполеонъ, наградивъ казака, приказалъ дать ему свободу, какъ птицѣ, которую возвращаютъ ея роднымъ полямъ“.

Ростовъ и кн. Марья. [Въ имѣніи Болконскихъ начался бунтъ. Мужики не хотѣли вывозить кн. Марью. Между тѣмъ французы приближались. На счастье въ деревню заѣхалъ Ростовъ съ гусарами, онъ спасъ кн. Марью].

— „Староста гдѣ?“—кричалъ Ростовъ.

Дронъ, съ нахмуреннымъ и блѣднымъ лицомъ, вышелъ изъ толпы.

— „Ты староста? Вязать, Лаврушка,—кричалъ Ростовъ, какъ будто это приказаніе не могло встрѣтить препятствій. И дѣйствительно еще два мужика стали вязать Дрона, который, какъ-бы помогая имъ, снялъ съ себя кушакъ и подаль имъ. — А вы всѣ—слушайте меня,—Ростовъ обратился къ мужикамъ:—Сейчасъ маршъ по домамъ, и чтобы голоса вашего я не слышалъ“. — „Что-жъ, мы никакой обиды не сдѣлали. Мы только, знаешь, по глупости. Только вздоръ надѣлали... Я же сказывалъ, что неподатки“,—послышались голоса, упрекавшіе другъ друга.—„Вотъ я же вамъ оворилъ,—сказалъ Алпатычъ, вступая въ свои права. — Не хорошо, ребята“. — „Глупость наша, Яковъ Алпатычъ“,—отвѣчали голоса, и толпа тотчасъ же стала расходиться и разсыпаться по деревнѣ.

Связанныхъ двухъ мужиковъ повели на барскій дворъ. Два пьяные мужика шли за ними.

— „Эхъ, посмотрю я на тебя!“—говорилъ одинъ изъ нихъ, обращаясь къ Карпу.—„Развѣ можно такъ съ господами говорить? Ты думалъ что?“ „Дуракъ,—подтверждалъ другой,—право дуракъ“.

Черезъ два часа подводы стояли на дворѣ Богучаровскаго дома. Мужики живою выносили и укладывали на подводы господскія вещи, и Дронъ, по желанію княжны Марьи выпущенный изъ рундука, куда его заперли, стоя на дворѣ, распоряжался мужиками.

— „Ты ея такъ дурно не клади,—говорилъ одинъ изъ мужиковъ, высокій человѣкъ съ круглымъ, улыбающимся лицомъ, принимая изъ рукъ горничной шкатулку.—Она вѣдь тоже денегъ стоитъ. Что же ты ее такъ-то вотъ бросишь, или подъ веревку,—а она и потрется. Я такъ не люблю. А чтобы все честно, по закону было. Вотъ такъ-то, подъ рогожку, да сѣнцомъ прикрой, вотъ и важно“. — „Ишь книгъ-то, книгъ,—сказалъ другой мужикъ, выносившій библиотечные шкапы князя Андрея.—Ты не цѣляй! А грузно, ребята, книги здоровыя!“ — „Да, писали не гуляли!“—значительно подмигивувъ, сказалъ высокій, круглолицый мужикъ, указывая на лексиконы, лежавшіе сверху.

Кутузовъ. Кутузовъ слушалъ докладъ дежурнаго генерала (главнымъ предметомъ котораго была критика позиціи при Царевѣ-Займищѣ) такъ-же, какъ онъ слушалъ Денисова, такъ-же, какъ онъ слушалъ семь лѣтъ тому назадъ пренія Аустерлицкаго военнаго совѣта. Онъ очевидно слушалъ только оттого, что у него были уши, которыя, несмотря на то, что въ одномъ изъ нихъ былъ морской канатъ, не могли не слышать; но очевидно было, что ничто изъ того, что могъ сказать ему дежурный генералъ, не могло не только

удивить или заинтересовать его, но что онъ зналъ впередъ все, что ему скажутъ и слушалъ все это только потому, что надо прослушать, какъ надо прослушать поющійся молебень. Все, что говорилъ Денисовъ, было дѣльно и умно. То, что говорилъ дежурный генералъ, было еще дѣльнѣе и умнѣе, но очевидно было, что Кутузовъ презиралъ и знаніе и умъ, и зналъ что-то другое, что должно было рѣшить дѣло,—что-то другое, независимое отъ ума и знанія. Князь Андрей внимательно слѣдилъ за выраженіемъ лица главнокомандующаго, и единственное выраженіе, которое онъ могъ замѣтить въ немъ, было выраженіе скуки, любопытства къ тому, что такое означалъ женскій шопотъ за дверью, и желанія соблюсти приличіе. Очевидно было, что Кутузовъ презиралъ умъ и знаніе и даже патріотическое чувство, которое выказывалъ Денисовъ, но презиралъ не умомъ, не чувствомъ, не знаніемъ (потому что онъ и не старался выказывать ихъ), а онъ презиралъ ихъ чѣмъ-то другимъ. Онъ презиралъ ихъ своею старостью, своею опытностью жизни.

[Кутузовъ предлагалъ князю Андрею остаться при немъ, но князь Андрей заявилъ, что хочетъ служить въ рядахъ войска].

— „Жалѣю, ты бы мнѣ нуженъ былъ; но ты правъ, ты правъ. Намъ не сюда люди нужны. Совѣтчиковъ всегда много, а людей нѣтъ. Не такіе бы полки были, если бы всѣ совѣтчики служили тамъ, въ полкахъ, какъ ты. Я тебя съ Аустерлица помню. Помню, помню, съ знаменемъ помню,—сказалъ Кутузовъ, и радостная краска бросилась въ лицо князя Андрея при этомъ воспоминаніи. Кутузовъ притянулъ его за руку, подставляя ему щеку, и опять князь Андрей на глазахъ старика увидалъ слезы. Хотя князь Андрей и зналъ, что Кутузовъ былъ слабъ на слезы, и что онъ особенно ласкаетъ его и жалѣетъ вслѣдствіе желанія выказать сочувствіе къ его потерѣ, но князю Андрею и радостно и лестно было это воспоминаніе объ Аустерлицѣ. —Иди съ Богомъ своей дорогой. Я знаю, твоя дорога—это дорога чести.—Онъ помолчалъ. — Я жалѣлъ объ тебѣ въ Букарештѣ: мнѣ послать надо было. — И, переѣхавъ разговоръ, Кутузовъ началъ говорить о Турецкой войнѣ и о заключенномъ мирѣ.—Да, не мало упрекали меня,—сказалъ Кутузовъ,—и за войну и за миръ... а все пришло во-время. „Все приходитъ во-время для того, кто умѣетъ ждать“, — сказалъ онъ французскую поговорку.—А и тамъ совѣтчиковъ не меньше было, чѣмъ здѣсь...—продолжалъ онъ, возвращаясь къ совѣтчикамъ, которые видимо занимали его.—Охъ, совѣтчики, совѣтчики!—сказалъ онъ,—если бы всѣхъ слушать, мы бы тамъ въ Турціи и мира не заключили, да и войны бы не кончили. Все поскорѣе, а скорое на долгое выходитъ. Если бы Каменскій не умеръ, онъ бы пропалъ. Онъ съ тридцатью тысячами штурмовалъ крѣпости. Взять крѣпость не трудно, трудно кампанію выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно *терпѣніе и время*. Каменскій на Рущукъ солдатъ послалъ, а я ихъ однихъ (терпѣніе и время) посылалъ и взялъ больше крѣпостей, чѣмъ Каменскій, и лошадиное мясо турокъ ѣсть заставилъ.—Онъ покачалъ головой.—И французы тоже будутъ. Вѣрь моему слову, — воодушевляясь проговорилъ Кутузовъ, ударяя себя въ грудь,—будутъ у меня лошадиное мясо ѣсть.“—И

ять глаза его залоснились слезами.—„Однако должно же будетъ принять сраженіе?“—сказалъ князь Андрей.—„Должно будетъ, если всѣ этого захотятъ, чего дѣлать... А вѣрь, голубчикъ. Нѣтъ сильнѣе тѣхъ двухъ воиновъ, *тригнѣ и время*; тѣ все сдѣлаютъ, да совѣтчики этимъ ухомъ не слышатъ, тѣ что плохо! Одни хотятъ, другіе не хотятъ. Чтожъ дѣлать?—спросилъ, видимо ожидая отвѣта.—Да, что ты велишь дѣлать?—повторилъ онъ, и аза его блестяи глубокимъ, умнымъ выраженіемъ.—Я тебѣ скажу, что звать,—проговорилъ онъ, такъ какъ князь Андрей все-таки не отвѣчалъ.—тебѣ скажу, что дѣлать, и что я дѣлаю. „Въ нерѣшительности“, мой илнй,—онъ помолчалъ,—„воздерживайся“,—выговорилъ онъ съ разстановою эту французскую пословицу. — Ну, прощай, дружокъ; помни, что я всей ушой несу съ тобой твою потерю и что я тебѣ не свѣтлѣйшій, не князь не главнокомандующій, а я тебѣ отецъ. Ежели что нужно, прямо ко мнѣ. рошай, голубчикъ!“ — Онъ опять обнялъ и поцѣловалъ его. И еще князь ндрей не успѣлъ выйти въ дверь, какъ Кутузовъ успокоительно вздохнулъ взялся опять за неконченный романъ мадамъ Жанлисъ *Les chevaliers du ugne*.

Какъ и отчего это случилось, князь Андрей не могъ бы никакъ объяснить; но послѣ этого свиданія съ Кутузовымъ онъ вернулся къ своему мѣлу успокоенный насчетъ общаго хода дѣлъ и насчетъ того, кому оно брено было. Чѣмъ больше онъ видѣлъ отсутствіе всего личнаго въ этомъ тарикѣ, въ которомъ оставались какъ будто однѣ привычки страстей и мѣсто ума (группирующаго событія и дѣлающаго выводы) одна способность покойнаго созерцанія хода событій, тѣмъ болѣе онъ былъ спокоенъ за то, что все будетъ такъ, какъ должно быть. „У него не будетъ ничего своего. въ ничего не придумаетъ, ничего не предприметъ,—думалъ князь Андрей,—онъ все выслушаетъ, все запомнитъ, все поставитъ на свое мѣсто, никому полезному не помѣшаетъ и ничего вреднаго не позволитъ. Онъ понимаетъ, что есть что-то сильнѣе и значительнѣе его воли,—это неизбѣжный ходъ событій, и онъ умѣетъ видѣть ихъ, умѣетъ понимать ихъ значеніе и въ виду этого значенія умѣетъ отречься отъ участія въ этихъ событіяхъ, въ своей личной воли, направленной на другое. А главное,—думалъ князь Андрей,—почему вѣришь ему, это то, что онъ русскій, несмотря на романъ Жанлисъ и французскія поговорки, это то, что голосъ его задрожалъ, когда онъ сказалъ: „до чего довели!“ и что онъ захлипалъ, говоря о томъ, что онъ „заставитъ ихъ ѣсть лошадиное мясо“. На этомъ же чувствѣ, которое болѣе или менѣе смутно испытывали всѣ, и основано было то единомысліе общее одобреніе, которое сопутствовало народному, противному придворнымъ соображеніямъ, избранію Кутузова въ главнокомандующіе.

Кн. Андрей наканунѣ Бородинскаго боя. Какъ ни тѣсна, и никому не нужна, и ни тяжка теперь казалась князю Андрею его жизнь, онъ такъ-же, какъ и семь лѣтъ тому назадъ въ Аустерлицѣ, наканунѣ сраженія чувствовалъ себя взволнованнымъ и раздраженнымъ.

Приказанія на завтрашнее сраженіе были отданы и получены имъ. Дѣ-

1 // лать ему было больше нечего. Но мысли самыя простыя, ясныя и потому страшныя мысли не оставляли его въ покоѣ. Онъ зналъ, что завтрашнее сраженіе должно было быть самое страшное изъ всѣхъ тѣхъ, въ которыхъ онъ участвовалъ, и возможность смерти, въ первый разъ въ его жизни, безъ всякаго отношенія къ житейскому, безъ соображеній о томъ, какъ она по-дѣйствуетъ на другихъ, а только по отношенію къ нему самому, къ его душѣ, съ живостью, почти съ достовѣрностью, просто и ужасно, представилась ему. И съ высоты этого представленія все, что прежде мучило и занимало его, вдругъ освѣтилось холоднымъ бѣлымъ свѣтомъ, безъ тѣней, безъ перспективъ, безъ различія очертаній. Вся жизнь представилась ему волшебнымъ фонаремъ, въ который онъ долго смотрѣлъ сквозь стекло и при искусствѣнномъ освѣщеніи. Теперь онъ увидалъ вдругъ безъ стекла, при яркомъ дневномъ свѣтѣ, эти дурно намалеванныя картины.—„Да, да, вотъ они, тѣ волновавшіе и восхищавшіе и мучившіе меня ложные образы,—говорилъ онъ себѣ, перебирая въ своемъ воображеніи главныя картины своего волшебнаго фонаря жизни, глядя теперь на нихъ при этомъ холодномъ, бѣломъ свѣтѣ дня—ясной мысли о смерти.—Вотъ онѣ, эти грубо намалеванныя фигуры, которыя представлялись чѣмъ-то прекраснымъ и таинственнымъ. Слава, общественное благо, любовь къ женщинѣ, самое отечество,—какъ велики казались мнѣ эти картины, какого глубокаго смысла казались онѣ исполненными! И все это такъ просто, блѣдно и грубо при холодномъ бѣломъ свѣтѣ того утра, которое я чувствую, поднимается для меня“. Три главныя горя его жизни въ особенности останавливали его вниманіе. Его любовь къ женщинѣ, смерть его отца и французское нашествіе, захватившее половину Россіи.—„Любовь!.. Эта дѣвочка, мнѣ казавшаяся преисполненною таинственныхъ силъ. Какъ-же я любилъ ее! я дѣлалъ поэтическіе планы о любви, о счастьи съ нею.—О, милый мальчикъ!—съ злостью вслухъ проговорилъ онъ.—Какъ-же! я вѣрилъ въ какую-то идеальную любовь, которая должна была мнѣ сохранить ея вѣрность за цѣлый годъ моего отсутствія! Какъ нѣжный голубокъ басни, она должна была зачахнуть въ разлукѣ со мной.—А все это гораздо проще... Все это ужасно просто, гадко!

„Отецъ тоже строилъ въ Лысыхъ Горахъ и думалъ, что это его мѣсто, его земля, его воздухъ, его мужики, а пришелъ Наполеонъ и, не зная объ его существованіи, какъ щепку съ дороги, столкнулъ его, и развалились его Лысыя Горы и вся его жизнь. А княжна Марья говоритъ, что это испытаніе, посланное свыше. Для чего-же испытаніе, когда его уже нѣтъ и не будетъ? никогда больше не будетъ! Его нѣтъ! Такъ кому-же это испытаніе? Отечество, погибель Москвы! А завтра меня убьютъ—и не французъ даже, а свой, какъ вчера разрядилъ солдатъ ружье около моего уха, и придутъ французы, возьмутъ меня за поги и за голову и швырнутъ въ яму, чтобъ я не воцѣпился имъ подъ посомъ, и сложатся новыя условія жизни, которыя будутъ такъ-же привычны для другихъ, и я не буду знать про нихъ, и меня не будетъ“.

Онъ поглядѣлъ на полосу березъ съ ихъ неподвижною желтизною, зеленою и бѣлою корой, блестящихъ на солнцѣ. „Умереть, чтобы меня убили

завтра, чтобы меня не было... чтобы все это было, а меня-бы не было". Онъ живо представилъ себѣ отсутствіе себя въ этой жизни. И эти березы съ ихъ свѣтомъ и тѣнью, и эти курчавыя облака, и этотъ дымъ костровъ, все вокругъ преобразилось для него и показалось чѣмъ-то страшнымъ и угрожающимъ. Морозъ пробѣжалъ по его спинѣ. Быстро вставъ, онъ вышелъ изъ сарая и сталъ ходить.

Кн. Андрей и Пьеръ. — „Я не понимаю, что такое значить искусный полководец“, — съ насмѣшкой сказалъ князь Андрей. — „Искусный полководец“, — сказалъ Пьеръ, — ну тотъ, который предвидѣлъ всѣ случайности... ну, угадалъ мысли противника“. — „Да это невозможно“, — сказалъ князь Андрей, какъ будто про давно рѣшенное дѣло.

Пьеръ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него.

— „Однако, — сказалъ онъ, — вѣдь говорятъ-же, что война [подобна шахматной игрѣ]“. — „Да, — сказалъ князь Андрей, — только съ тою небольшою разницей, что въ шахматахъ надъ каждымъ шагомъ ты можешь думать сколько угодно, что ты тамъ внѣ условій времени, и еще съ тою разницей, что конь всегда сильнѣе пѣшки, и двѣ пѣшки всегда сильнѣе одной, а на войнѣ одинъ баталіонъ иногда сильнѣе дивизіи, а иногда слабѣе роты. Относительная сила войскъ никому не можетъ быть извѣстна. Повѣрь мнѣ, — сказалъ онъ, — что ежели-бы что зависѣло отъ распоряженій штабовъ, то я-бы былъ тамъ и дѣлалъ-бы распоряженія, а вмѣсто того я имѣю честь служить здѣсь, въ полку, вотъ съ этими господами, и считаю, что отъ насъ дѣйствительно будетъ зависѣть завтрашній день, а не отъ нихъ... Успѣхъ никогда не зависѣлъ и не будетъ зависѣть ни отъ позиціи, ни отъ вооруженія, ни даже отъ числа, а ужъ меньше всего отъ позиціи“. — „А отъ чего-же?“ — „Отъ того чувства, которое есть во мнѣ, въ немъ, — онъ указалъ на Тимохина, — въ каждомъ солдатѣ“.

Князь Андрей взглянулъ на Тимохина, который испуганно и недоумѣвая смотрѣлъ на своего командира. Въ противность своей прежней сдержанной молчаливости князь Андрей казался теперь взволнованнымъ. Онъ видимо не могъ удержаться отъ высказыванія тѣхъ мыслей, которыя неожиданно приходили ему.

— „Сраженіе выигрываетъ тотъ, кто твердо рѣшилъ его выиграть. Отчего мы подъ Аустерлицемъ проиграли сраженіе? У насъ потеря была почти равная съ французамъ; но мы сказали себѣ очень рано, что мы проиграли сраженіе и проиграли. А сказали мы это потому, что намъ тамъ не зачѣмъ было драться: поскорѣе хотѣлось уйти съ поля сраженія. „Програли—ну, такъ бѣжать!“ мы и побѣжали. Ежели-бы до вечера мы не говорили этого, Богъ знаетъ, что-бы было. А завтра мы этого не скажемъ. Ты говоришь: наша позиція, лѣвый флангъ слабъ, правый флангъ растянутъ, — продолжалъ онъ, — все это вздоръ, ничего этого нѣтъ. А что намъ предстоитъ завтра? сто милліоновъ самыхъ разнообразныхъ случайностей, которыя будутъ рѣшаться мгновенно тѣмъ, что побѣжали или побѣгутъ они или ваши, что убьютъ того, убьютъ другого; а то, что дѣлается теперь, — все это забава. Дѣло въ томъ, что не только тѣ, съ кѣмъ ты бѣжалъ по позн-

цин, не только не содѣйствуютъ общему ходу дѣла, но мѣшаютъ ему. Они заняты только своими маленькими интересами“. — „Въ такую минуту?“ — укоризненно сказалъ Пьеръ. — „Въ такую минуту, — повторилъ князь Андрей, — для нихъ это только такая минута, въ которую можно подкопаться подъ врага и получить лишній крестикъ или ленточку. Для меня на завтра вотъ что: стотысячное русское и стотысячное французское войска сошлись драться, и фактъ въ томъ, что эти 200 тысячъ дерутся, и кто будетъ злѣй драться и себя меньше жалѣть, тотъ побѣдитъ. И хочешь, я тебѣ скажу, что, что-бы тамъ ни было, что-бы ни путали тамъ вверху, мы выиграемъ сраженіе завтра. Завтра, что-бы тамъ ни было, мы выиграемъ сраженіе!“ — „Вотъ, ваше сіятельство, правда, правда истинная, — проговорилъ Тимохинъ, — что себя жалѣть теперь! Солдаты въ моемъ баталіонѣ, повѣрите-ли, не стали водку пить: не такой день, говорить“. — Всѣ помолчали.

Взглядъ г-на Толстого на исторію. Многіе историки говорятъ, что Бородинское сраженіе не выиграно французами потому, что у Наполеона былъ насморкъ, что ежели-бы у него не было насморка, то распоряженія его да и во время сраженія были-бы еще геніальнѣе, и Россія-бы погибла, и обликъ міра измѣнился-бы. Для историковъ, признающихъ то, что Россія образовалась по волѣ одного человѣка — Петра Великаго, и Франція изъ республики сложилась въ Имперію, и французскія войска пошли въ Россію по волѣ одного человѣка — Наполеона, такое разсужденіе, что Россія осталась могущественна, потому что у Наполеона былъ большой насморкъ 26 числа, такое разсужденіе для такихъ историковъ неизбѣжно-последовательно.

Ежели отъ воли Наполеона зависѣло дать или не дать Бородинское сраженіе и отъ его воли зависѣло сдѣлать такое или другое распоряженіе, то очевидно, что насморкъ, имѣвшій вліяніе на проявленіе его воли, могъ быть причиной спасенія Россіи, и что поэтому тотъ камердинеръ, который забылъ подать Наполеону 24 числа непромокаемыя сапоги, былъ спасителемъ Россіи. На этомъ пути мысли выводъ этотъ несомнѣненъ; такъ-же несомнѣненъ, какъ тотъ выводъ, который, шутя (самъ не зная надъ чѣмъ), дѣлалъ Вольтеръ, говоря, что Варооломеевская ночь произошла отъ разстройства желудка Карла IX. Но для людей, не допускающихъ того, чтобы Россія образовалась по волѣ одного человѣка, Петра I, и чтобы французская Имперія сложилась и война съ Россіей началась по волѣ одного человѣка — Наполеона, разсужденіе это не только представляется невѣрнымъ, неразумнымъ, но и противнымъ всему существу человѣческому. На вопросъ о томъ, что составляетъ причину историческихъ событій, представляется другой отвѣтъ, заключающійся въ томъ, что ходъ мировыхъ событій предопредѣленъ свыше, зависитъ отъ совпаденія всѣхъ произволовъ людей, участвующихъ въ этихъ событіяхъ и что вліяніе Наполеоновъ на ходъ этихъ событій есть только виѣшнее и фиктивное.

Какъ ли странно кажется съ перваго взгляда предположеніе того, что Варооломеевская ночь, приказаніе на которую отдано Карломъ IX, произошла не по его волѣ, а что ему только казалось, что онъ велѣлъ это сдѣлать, и что Бородинское побойче 80 тысячъ человѣкъ произошло не по

воля Наполеона (несмотря на то, что он отдавал приказанія о началѣ и ходѣ сраженія), а что ему казалось только, что онъ это велѣлъ,—какъ ни странно кажется это предположеніе, но человѣческое достоинство, говорящее мнѣ, что всякій изъ насъ ежели не больше, то никакъ не меньше человѣкъ, чѣмъ всякій Наполеонъ, велитъ допустить это рѣшеніе вопроса, и историческія изслѣдованія обильно подтверждаютъ это предположеніе.

Въ Бородинскомъ сраженіи Наполеонъ ни въ кого не стрѣлялъ и никого не убилъ. Все это дѣлали солдаты. Стало быть, не онъ убивалъ людей.

Солдаты французской арміи шли убивать другъ друга въ Бородинскомъ сраженіи не вслѣдствіе приказанія Наполеона, но по собственному желанію. Вся армія,—французы, итальянцы, нѣмцы, поляки—голодные, оборванные и измученные походомъ, въ виду арміи, загоразивавшей отъ нихъ Москву, чувствовали, что *le vin est tiré et qu'il faut le boire*. Ежели-бы Наполеонъ запретилъ имъ теперь драться съ русскими, они-бы его убили и пошли-бы драться съ русскими, потому что это было имъ необходимо.

Когда они слушали приказъ Наполеона, представлявшаго имъ за ихъ увѣчья и смерть въ утѣшеніе слова потомства о томъ, что и они были въ битвѣ подъ Москвою, они кричали: „Vive l'Empereur!“ точно такъ-же, какъ они кричали „Vive l'Empereur“ при видѣ изображенія мальчика, протыкающаго земной шаръ палочкой отъ бильбоке, точно такъ-же, какъ-бы они кричали „Vive l'Empereur“ при всякой бессмыслицѣ, которую-бы имъ сказали. Имъ ничего больше не оставалось дѣлать, какъ кричать: „Vive l'Empereur!“ и идти драться, чтобы найти пищу и отдыхъ побѣдителей въ Москвѣ. Стало быть не вслѣдствіе приказанія Наполеона они убивали себя подобныхъ.

И не Наполеонъ распоряжался ходомъ сраженія, потому что изъ диспозиціи его ничего не было исполнено, и во время сраженія онъ не зналъ про то, что происходило впереди его. Стало быть и то, какимъ образомъ эти люди убивали другъ друга, происходило не по волѣ Наполеона, а шло независимо отъ него, по волѣ сотенъ тысячъ людей, участвовавшихъ въ общемъ дѣлѣ. Наполеону казалось только, что все дѣло происходило по волѣ его. И потому вопросъ о томъ, былъ-ли или не былъ у Наполеона насморкъ, не имѣетъ для исторіи большого интереса, чѣмъ вопросъ о насморкѣ послѣдняго фуhrштатскаго солдата.

Тѣмъ болѣе 26 августа насморкъ Наполеона не имѣлъ значенія, что показанія писателей о томъ, будто насморкъ Наполеона былъ причиной его (не такъ хорошо составленной какъ прежнія) диспозиціи и распоряженій во время сраженій, не столько хорошихъ какъ прежнія, — совершенно несправедливы.

Выписанная здѣсь диспозиція нисколько не была хуже, а даже лучше всѣхъ прежнихъ диспозицій, по которымъ выигрывались сраженія. Мнимыя распоряженія во время сраженія были тоже не хуже прежнихъ, а точно такъ-же, какъ и всегда. Но диспозиція и распоряженія эти кажутся только хуже прежнихъ потому, что Бородинское сраженіе было первое, которое ка

выигралъ Наполеонъ. Всѣ самыя прекрасныя и глубокомысленныя диспозиціи и распоряженія кажутся очень дурными, и каждый ученый-военный съ значительнымъ видомъ критикуетъ ихъ, когда сраженіе по нимъ не выиграно, и самыя плохія диспозиціи и распоряженія кажутся очень хорошими, и серьезные люди въ цѣлыхъ томахъ доказываютъ достоинства плохихъ распоряженій, когда по нимъ выиграно сраженіе.

Диспозиція, составленная Вейротеромъ въ Аустерлицкомъ сраженіи, была образецъ совершенства въ сочиненіяхъ этого рода, но ее все-таки осудили, осудили за ее совершенство, за слишкомъ большую подробность.

Наполеонъ въ Бородинскомъ сраженіи исполнялъ свое дѣло представителя власти такъ-же хорошо и еще лучше, чѣмъ въ другихъ сраженіяхъ. Онъ не сдѣлалъ ничего вреднаго для хода сраженія; онъ склонялся на мнѣнія болѣе благоразумныя; онъ не путалъ, не противорѣчилъ самъ себѣ, не испугался и не убѣжалъ съ поля сраженія, а съ своимъ большимъ тактомъ и опытомъ войны спокойно и достойно исполнялъ свою роль каждагося начальствованія.

Кутузовъ. Кутузовъ сидѣлъ, понуривъ сѣдую голову и опустившись тяжелымъ тѣломъ, на покрытой ковромъ лавкѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ утромъ его видѣлъ Пьеръ. Онъ не дѣлалъ никакихъ распоряженій, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему.

„Да, да, сдѣлайте это“,—отвѣчалъ онъ на различныя предложенія.— „Да, да, съѣзди, голубчикъ, посмотри“,—обращался онъ то къ тому, то къ другому изъ приближенныхъ; или: „Нѣтъ, не надо, лучше подождемъ“,—говорилъ онъ. Онъ выслушивалъ привозимыя ему донесенія, отдавалъ приказанія, когда это требовалось подчиненными; но, выслушивая донесенія, онъ, казалось, не интересовался смысломъ словъ того, что ему говорили, а что-то другое въ выраженіи лицъ, въ тонѣ рѣчи доносившихъ интересовало его. Долголѣтнимъ военнымъ опытомъ онъ зналъ, и старческимъ умомъ понималъ, что руководить сотнями тысячъ человѣкъ, борющихся съ смертью, нельзя одному человѣку, и зналъ, что рѣшаютъ участь сраженія не распоряженія главнокомандующаго, не мѣсто, на которомъ стоятъ войска, не количество пушекъ и убитыхъ людей, а та неуловимая сила, называемая духомъ войска, и онъ слѣдилъ за этою силой и руководилъ ею, насколько это было въ его власти.

Общее выраженіе лица Кутузова было сосредоточенное, спокойное вниманіе и напряженіе, едва превозмогавшее усталость слабого и стараго тѣла.

Кн. Андрей въ лазаретъ. [Князь Андрей былъ раненъ въ Бородинскомъ бою].

Князя Андрея внесли и положили на только-что очистившійся столъ, съ котораго фельдшеръ споласкивалъ что-то. Князь Андрей не могъ разобратъ въ отдѣльности того, что было въ палаткѣ. Жалобныя стоны съ разныхъ сторонъ, мучительная боль бедра, живота и спины развлекали его. Все, что онъ видѣлъ вокругъ себя, слилось для него въ одно общее впечатлѣніе обнаженнаго, окровавленнаго человѣческаго тѣла, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, какъ нѣсколько недѣль тому назадъ въ этотъ

жаркій, августовскій день это же тѣло наполняло грязный прудъ по Смоленской дорогѣ. Да, это было то самое тѣло, то самое „мясо для пушекъ“, видъ котораго еще тогда, какъ бы предсказывая теперешнее, возбудилъ въ немъ ужасъ.

Въ палатѣ было три стола. Два были заняты, на третій положили князя Андрея. Нѣсколько времени его оставили одного, и онъ невольно увидалъ то, что дѣлалось на другихъ двухъ столахъ. На ближнемъ столѣ сидѣлъ татаринъ, вѣроятно казакъ, судя по мундиру, брошенному подлѣ. Четверо солдатъ держали его. Докторъ въ очкахъ что-то рѣзалъ въ его коричневой, мускулистой спинѣ.

— „Ухъ, ухъ, ухъ!“..—какъ будто хрюкалъ татаринъ, и вдругъ, поднявъ вверхъ свое скуластое, черное, курносое лицо, оскаливъ бѣлые зубы, начиналъ рваться, дергаться и визжать пронзительно звенящимъ, протяжнымъ визгомъ. На другомъ столѣ, около котораго толпилось много народа, на спинѣ лежалъ большой, полный человѣкъ съ закинутаю назадъ головой (выпшіе волосы, ихъ цвѣтъ и форма головы показались странно-знакомы князю Андрею). Нѣсколько человѣкъ фельдшеровъ навалились на грудь этому человѣку и держали его. Бѣлая, большая, полная нога быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаніями. Человѣкъ этотъ судорожно рыдалъ и захлебывался. Два доктора молча—одинъ былъ блѣденъ и дрожалъ—что-то дѣлали надъ другою, красною ногой этого человѣка. Управившись съ татариномъ, на котораго накинули шинель, докторъ въ очкахъ, обтирая руки, подошелъ къ князю Андрею.

Онъ взглянулъ въ лицо князя Андрея и поспѣшно отвернулся.

— „Раздѣть! что стоитъ?“—крикнулъ онъ сердито на фельдшеровъ.

Самое первое далекое дѣтство вспомнилось князю Андрею, когда фельдшеръ торопившимися засученными руками разстегивалъ ему пуговицы и снималъ съ него платье. Докторъ низко нагнулся надъ раной, ощупалъ ее и тяжело вздохнулъ. Потомъ онъ сдѣлалъ знакъ кому-то. И мучительная боль внутри живота заставила князя Андрея потерять сознание. Когда онъ очнулся, разбитыя кости бедра были вынуты, клоки мяса отрѣзаны, и рана перевязана. Ему прыскали въ лицо водою. Какъ только князь Андрей открылъ глаза, докторъ нагнулся надъ нимъ, молча поцѣловалъ его въ губы и поспѣшно отошелъ.

Послѣ перенесеннаго страданія, князь Андрей чувствовалъ блаженство, давно не испытанное имъ. Всѣ лучшія, счастливѣйшія минуты въ его жизни, въ особенности самое дальнее дѣтство, когда его раздѣвали и клали въ кроватку, когда няня, убаюкивая, цѣла надъ нимъ, когда, зарывшись головою въ подушки, онъ чувствовалъ себя счастливымъ однимъ сознаниемъ жизни, представлялись его воображенію даже не какъ прошедшее, а какъ дѣйствительность.

Около того раненаго, очертанія головы котораго казались знакомыми князю Андрею, суеились доктора; его поднимали, успокаивали.

— „Покажите мнѣ... Ооооо! о! ооооо!“—слышался его прерываемый рыданіями, испуганный и покорившійся страданію стонъ. Слушая эти стоны,

князь Андрей хотѣлъ плакать. Оттого ли, что онъ безъ славы умиралъ, оттого ли, что жалко ему было разставаться съ жизнью, отъ этихъ ли невозвратимыхъ дѣтскихъ воспоминаній, оттого ли, что онъ страдалъ, что другіе страдали и такъ жалостно предъ нимъ стоналъ этотъ человѣкъ, но ему хотѣлось плакать дѣтскими, добрыми, почти радостными слезами.

Раненому показали въ сапогѣ съ запекшеюся кровью отрѣзанную ногу.

— „О! Ооооо!“ — зарыдалъ онъ какъ женщина. Докторъ, стоявшій передъ раненымъ, загораживая его лицо, отошелъ. — „Боже мой! Что это? Зачѣмъ онъ здѣсь?“ — сказалъ себѣ князь Андрей.

Въ несчастномъ, рыдающемъ, обезсилѣвшемъ человѣкѣ, которому только что отняли ногу, онъ узналъ Анатоля Курагина. Анатоля держали на рукахъ и предлагали ему воду въ стаканѣ, края котораго онъ не могъ поймать дрожащими, распухшими губами. Анатолий тяжело всхлипывалъ. „Да, это онъ; да, этотъ человѣкъ чѣмъ-то близко и тяжело связанъ со мною“, — думалъ князь Андрей, не понимая еще ясно того, что было предъ нимъ.

— „Въ чемъ состоитъ связь этого человѣка съ моимъ дѣтствомъ, съ моею жизнью?“ — спрашивалъ онъ себя, не находя отвѣта. И вдругъ новое, неожиданное воспоминаніе отъ міра дѣтскаго, чистаго и любовнаго представилось князю Андрею. Онъ вспомнилъ Наташу такую, какою онъ видѣлъ ее въ первый разъ на балѣ 1810 года, съ тонкою шеей и тонкими руками, съ готовымъ на восторгъ, испуганнымъ, счастливымъ лицомъ, и любовь и нѣжность къ ней еще живѣе и сильнѣе чѣмъ когда-либо проснулись въ его душѣ. Онъ вспомнилъ теперь ту связь, которая существовала между нимъ и этимъ человѣкомъ, сквозь слезы, наполнившія распухшіе глаза, мутно смотрѣвшимъ на него. Князь Андрей вспомнилъ все, и восторженная жалость и любовь къ этому человѣку наполнили его счастливое сердце.

Князь Андрей не могъ удержаться болѣе и заплакалъ нѣжными, любовными слезами надъ людьми, надъ собой, и надъ ихъ и своими заблужденіями.

„Остраданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ, любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ, да, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой меня учила княжна Марья и которой я не понималъ; вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно то, что еще оставалось мнѣ, сжели бы я былъ живъ. Но теперь уже поздно. Я знаю это!“

Наполеонъ. Адъютантъ пріѣхалъ сказать, что по приказанію императора 200 орудій направлены на русскихъ, но что русскіе все такъ же стоятъ.

— „Нашъ огонь рядами вырываетъ ихъ, а они стоятъ“, — сказалъ адъютантъ. — „Имъ еще хочется!..“ — сказалъ Наполеонъ охриплымъ голосомъ. — „Государь?“ — повторилъ не разслушавшій адъютантъ. — „Еще хочется, — нахмурившись, прокричѣлъ Наполеонъ осиплымъ голосомъ, — ну такъ зайдите же имъ“.

И безъ его приказанія дѣлалось то, чего онъ не хотѣлъ, и онъ распорядился только потому, что думалъ, что отъ него ждали приказанія. И онъ опять перенесся въ свой прежній искусственный міръ призраковъ какого-то величія, и опять (какъ та лошадь, ходящая на покато́мъ колесѣ

привода, воображаетъ себѣ, что она что-то дѣлаетъ для себя) онъ опкорно сталъ исполнять ту жестокую, печальную и тяжелую, нечеловѣческую роль, которая ему была предназначена.

И не на одинъ только этотъ часъ и день были помрачены умъ и совѣсть этого человѣка, тяжеле всѣхъ другихъ участниковъ этого дѣла носившаго на себѣ всю тяжесть совершавшагося; но и никогда, до конца жизни своей, не могъ понимать онъ ни добра, ни красоты, ни истины, ни значенія своихъ поступковъ, которые были слишкомъ противоположны добру и правдѣ, слишкомъ далеки отъ всего человѣческаго для того, чтобы онъ могъ понимать ихъ значеніе. Онъ не могъ отречься отъ своихъ поступковъ, восхваляемыхъ половиной свѣта и потому долженъ былъ отречься отъ правды и добра и всего человѣческаго.

Не въ одинъ только этотъ день, обѣзжая поле сраженія, уложенное мертвыми и изувѣченными людьми (какъ онъ думалъ, по его волѣ), онъ, глядя на этихъ людей, считалъ, сколько приходится русскихъ на одного француза и, обманывая себя, находилъ причины радоваться, что на одного француза приходилось пять русскихъ. Не въ одинъ только этотъ день онъ писалъ въ письмѣ въ Парижъ, что поле сраженія было великолѣпно, потому что на немъ было 50 тысячъ труповъ, но и на островѣ св. Елены, въ тиши уединенія, гдѣ онъ говорилъ, что онъ намѣренъ былъ посвятить свои досуги изложенію великихъ дѣлъ, которыя онъ сдѣлалъ, онъ писалъ:

„Русская война должна бы была быть самая популярная въ новѣйшія времена; это была война здраваго смысла и настоящихъ выгодъ, война спокойствія и безопасности всѣхъ; она была чисто миролюбивая и консервативная.

„Это было для великой цѣли, для конца случайностей и для начала спокойствія. Новый горизонтъ, новые труды открывались бы, полные благосостоянія и благоденствія всѣхъ. Система европейская была основана, вопросъ заключался бы уже только въ ея учрежденіи“.

Онъ, предназначенный Провидѣніемъ на печальную, несвободную роль палача народовъ, увѣрялъ себя, что цѣль его поступковъ была благо народовъ и что онъ могъ руководить судьбами миллионовъ и путемъ власти дѣлать благодѣянія!

Наполеонъ, представляющійся намъ руководителемъ всего этого движенія (какъ дикимъ представлялась фигура, вырѣзанная на носу корабля, силою, управляющю кораблемъ), Наполеонъ во все это время былъ подобенъ ребенку, который, держась за тесемочки, привязанныя внутри кареты, воображаетъ, что онъ править.

Онъ воображалъ себѣ, что по его волѣ произошла война съ Россіей, и ужасъ совершившагося не поражалъ его душу. Онъ смѣло принималъ на себя всю отвѣтственность событія, и его помраченный умъ видѣлъ оправданіе въ томъ, что въ числѣ сотенъ тысячъ погибшихъ людей было меньше французовъ, чѣмъ гессенцевъ и баварцевъ.

Поле Бородинской битвы. Нѣсколько десятковъ тысячъ человѣкъ лежало жертвами въ разныхъ положеніяхъ и мундирахъ на поляхъ и лугахъ,

принадлежавшихъ господамъ Давыдовымъ и казеннымъ крестьянамъ, на тѣхъ поляхъ и лугахъ, на котрыхъ сотни лѣтъ одновременно собирали урожай и пасли скотъ крестьяне деревень Бородина, Горокъ, Шевардина и Семеновскаго. На перевязочныхъ пунктахъ, на десятину мѣста, травы и земля были пропитаны кровью. Толпы раненыхъ и не раненыхъ разныхъ командъ людей, съ испуганными лицами, съ одной стороны брели назадъ къ Можайску, съ другой стороны назадъ къ Валуеву. Другія толпы, измученныя и голодныя, ведомыя начальниками, шли впередъ. Третьи стояли на мѣстахъ и продолжали стрѣлять.

Надъ всѣмъ полемъ, прежде столь весело-красивымъ, съ его блестящими штыковъ и дымами въ утреннемъ солнцѣ, стояла теперь мгла сырости и дыма, и пахло странною кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и сталъ накрапывать дождикъ на убитыхъ, на раненыхъ, на испуганныхъ и на измученныхъ, и на сомнѣвающихся людей. Какъ-будто онъ говорилъ: „Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы дѣлаете?“

Измученнымъ, безъ пищи и безъ отдыха, людямъ той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнѣніе о томъ, слѣдуетъ-ли имъ еще истреблять другъ друга, и на всѣхъ лицахъ было замѣтно колебанье, и въ каждой душѣ одинаково поднимался вопросъ: „Зачѣмъ, для кого мнѣ убивать и быть убитому? Убивайте кого хотите, дѣлайте, что хотите, а я не хочу больше!“ Мысль эта къ вечеру одинаково созрѣла въ душѣ каждаго. Всякую минуту могли всѣ эти люди ужаснуться того, что они дѣлали, бросить все и побѣжать куда попало.

Но хотя уже къ концу сраженія люди чувствовали весь ужасъ своего поступка, хотя они рады-бы были перестать, какая-то непонятная таинственная сила еще продолжала руководить ими, и запотѣлые, въ порохѣ и крови, оставшіеся по одному на три артиллеристы, хотя и спотыкаясь и задыхаясь отъ усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра такъ-же быстро и жестоко перелетали съ обѣихъ сторонъ и расплюскивали человѣческое тѣло, и продолжало совершаться то страшное дѣло, которое совершается не по волѣ людей, а по волѣ Того, Кто руководить людьми и мірами.

Взглядъ гр. Толстого на исторію. Движеніе человѣчества, вытекающее изъ безчисленнаго количества людскихъ произволовъ, совершается непрерывно. Постигненіе законовъ этого движенія есть цѣль исторіи.

Всякій разъ, когда были завоеванія, были завоеватели; всякій разъ, когда дѣлались перевороты въ государствахъ, были великіе люди, говорятъ исторія. Дѣйствительно, всякій разъ, когда являлись завоеватели, были и войны, отвѣчаетъ умъ человѣческій, но это не доказываетъ, чтобы завоеватели были причинами войнъ, и чтобы возможно было найти законы войны въ личной дѣятельности одного человѣка. Всякій разъ, когда я, глядя на свои часы, вижу, что стрѣлка подошла къ 10, я слышу, что въ сосѣдней церкви начинается благовѣстъ; но изъ того, что всякій разъ, что стрѣлка приходитъ на 10 часовъ тогда, какъ начинается благовѣстъ, я не имѣю права заключить, что положеніе стрѣлки есть причина движенія колоколовъ.

Всякій разъ, какъ я вижу движеніе паровоза, я слышу звукъ свиста, у открытіе клапана и движеніе колесъ, но изъ этого я не имѣю права заключить, что свистъ и движеніе колесъ суть причины движенія паровоза.

Крестьяне говорятъ, что поздней весной дуетъ холодный вѣтеръ, по у что почка дуба развертывается, и дѣйствительно всякую весну дуетъ одный вѣтеръ, когда развертывается дубъ. Но хотя причина дующаго развертыванія дуба холоднаго вѣтра мнѣ неизвѣстна, я не могу согласиться съ крестьянами въ томъ, что причина холоднаго вѣтра есть развертыванье почки дуба потому только, что сила вѣтра находится внѣ вліяній еи. Я вижу совпаденіе только тѣхъ условій, которыя бывають во всякомъ зненномъ явленіи, и вижу, что, сколько-бы и какъ-бы подробно я ни наодалъ стрѣлку часовъ, клапанъ и колеса паровоза и почку дуба, я не имѣю причину благовѣста, движенія паровоза и весенняго вѣтра. Для того я долженъ измѣнить совершенно свою точку наблюденія и изучать законы движенія пара, колокола и вѣтра. То-же должна сдѣлать исторія. попытки этого уже были сдѣланы.

Для изученія законовъ исторіи мы должны измѣнить совершенно предѣлы наблюденія, оставить въ покоѣ царей, министровъ и генераловъ, а искать однородные, безконечно малые элементы, которые руководятъ массами. Никто не можетъ сказать, насколько дано человѣку достигнуть этимъ путемъ пониманія законовъ исторіи; но очевидно, что на этомъ пути только китъ возможность уловленія историческихъ законовъ.

Ростовъ. [Передъ сдачей Москвы всѣ жители ея стали выѣзжать отсюда, Ростовы запоздали].

— „Мама, голубчикъ,—сказала Наташа, становясь на колѣни предъ герцога и близко приставляя свое лицо къ ея лицу.—Виновата, простите, когда не буду, я васъ разбудила. Меня Мавра Кузьминична послала, чтобы раненыхъ привезли, офицеровъ, позвольте? А имъ некуда дѣваться; я знаю, что вы позволите...“—говорила она быстро, не переводя духа.—„Какіе офицеры? Кого привезли?“—ничего не понимая, сказала графиня.

Наташа засмѣялась, графиня тоже слабо улыбалась.

— „Я знала, что вы позволите... такъ я такъ и скажу“.—И Наташа, простоявъ мать, встала и пошла къ двери.

Въ залѣ она встрѣтила отца, съ дурными извѣстіями возвратившагося изъ Москвы.

— „Досидѣлись мы!—съ невольною досадою сказалъ графъ:—и клубъ закрытъ, и полиція выходитъ“.—„Папа, ничего, что я раненыхъ пригласила въ домъ?“—сказала ему Наташа.—„Разумѣется, ничего,—разсѣянно сказалъ графъ.—Не въ томъ дѣло, а теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, помогать укладывать и ѣхать, ѣхать завтра...“ И графъ передалъ дворянину приказаніе.

Проснувшись утромъ 1-го числа, графъ Илья Андреевичъ потихоньку шелъ изъ спальни, чтобы не разбудить къ утру только-что заснувшую афиню, и въ своемъ лиловомъ шелковомъ халатѣ вышелъ на крыльцо. Дворцы уязвленные стояли на дворѣ. У крыльца стояли экипажи. Дворецкіе

стоялъ у подъѣзда, разговаривая со старикомъ-денщикомъ и съ молодымъ, блѣднымъ офицеромъ съ подвязанной рукой. Дворецкій, увидавъ графа, сдѣлалъ офицеру и денщику значительный и строгій знакъ, чтобы они удалились.

— „Ну что, все готово, Васильичъ?“ — сказалъ графъ, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая имъ головой (графъ любилъ новыя лица). — „Хоть сейчасъ запрягать, ваше сіятельство“. — „Ну и славно, вотъ графиня проснется, и съ Богомъ! Вы что, господа? — обратился онъ къ офицеру. — У меня въ домѣ?“

Офицеръ придвинулся ближе. Блѣдное лицо его вспыхнуло вдругъ яркою краской.

— „Графъ, сдѣлайте одолженіе, позвольте мнѣ... ради Бога... гдѣ-нибудь пріютиться на вашихъ подводахъ. Здѣсь у меня ничего съ собой нѣтъ... Мнѣ на возу все равно...“ — Еще не успѣлъ договорить офицеръ, какъ денщикъ съ тою-же просьбой для своего господина обратился къ графу. — „Ахъ! да, да, да, — поспѣшно заговорилъ графъ. — Я очень, очень радъ. Васильичъ, ты распорядись, ну тамъ очистить одну или двѣ телеги, ну тамъ... что-же... что нужно...“ — какими-то неопредѣленными выраженіями, что-то приказывая, сказалъ графъ. Но въ то-же мгновеніе горячее выраженіе благодарности офицера уже закрѣпило то, что онъ приказывалъ. Графъ оглянулся вокругъ себя: на дворѣ, въ воротахъ, въ окнѣ флигеля виднѣлись раненые и денщики. Всѣ они смотрѣли на графа и подвигались къ крыльцу. — „Пожалуйте, ваше сіятельство, въ галерею: тамъ какъ прикажете насчетъ картинъ?“ — сказалъ дворецкій. И графъ вмѣстѣ съ нимъ вошелъ въ домъ, повторяя свое приказаніе о томъ, чтобы не отбазывать раненымъ, которые просятъ ѣхать. — „Ну, что-же, можно сложить что-нибудь,“ — прибавилъ онъ тихимъ таинственнымъ голосомъ, какъ-будто боясь, чтобы кто-нибудь его не услыхалъ.

Графиня велѣла попросить къ себѣ мужа.

— „Что это, мой другъ, я слышу, вещи опять снимаютъ?“ — „Знаешь, дружокъ, я вотъ что хотѣлъ тебѣ сказать... графинюшка... ко мнѣ приходилъ офицеръ, просятъ, чтобы дать нѣсколько подводъ подъ раненыхъ. Вѣдь это все дѣло наживное, а каково имъ оставаться, подумай!.. Право, у насъ на дворѣ, сами мы ихъ зазвали, офицеры тутъ есть... Знаешь, думаю, право, дружокъ мой, вотъ... пускай ихъ свезутъ... куда-же торопиться?...“ — Графъ робко сказалъ это, какъ онъ всегда говорилъ, когда дѣло шло о деньгахъ. Графиня-же привыкла ужъ къ этому тону, всегда предшествовавшему дѣлу, разорявшему дѣтей, какъ какая-нибудь постройка галлерей, оранжерей, устройство домашняго театра или музыки, и привыкла и долгомъ считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этимъ робкимъ тономъ.

Она приняла свой покорно-плачевный видъ и сказала мужу:

— „Послушай, графъ, ты довелъ до того, что за домъ ничего не даютъ, а теперь и все наше — *дѣтское* состояніе погубить хочешь. Вѣдь ты самъ говоришь, что въ домѣ на 100 тысячъ добра. Я, мой другъ, несогласна и несогласна. Воля твоя! На раненыхъ есть правительство. Они знаютъ. По-

гри, вонъ напротивъ, у Лопухиныхъ, еще третьягодня все дочиста выи. Вотъ какъ люди дѣлають. Одни мы дураки. Пожалѣй хоть не меня, тѣ дѣтей“.

Наташа вышла вмѣстѣ съ отцомъ и, какъ будто съ трудомъ соображая то, сначала пошла за нимъ, а потомъ побѣжала внизъ.

На крыльцѣ стоялъ Петя, занимавшійся вооруженіемъ людей, которые ли изъ Москвы. На дворѣ все такъ-же стояли заложенныя подводы. Двѣ нихъ были развязаны, и на одну изъ нихъ влѣзалъ офицеръ, поддерживаемый денщикомъ.

— „Ты знаешь, за что?—спросилъ Петя Наташу (Наташа поняла, что и разумѣлъ, за что поссорились отецъ съ матерью). Она не отвѣчала. За то, что папенька хотѣлъ отдать всѣ подводы подъ раненыхъ,—ска- ть Петя. — Мнѣ Васильичъ сказалъ. По моему...“ — „По моему,—вдругъ ричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо къ Петѣ, — по му это такая гадость, такая мерзость, такая... я не знаю. Развѣ мы цы какіе-нибудь?...“—Горло ея задрожало отъ судорожныхъ рыданій, и , боясь ослабѣть и выпустить даромъ зарядъ своей злобы, повернулась тремительно бросилась по лѣстницѣ.

Бергъ сидѣлъ подлѣ графини и родственно-почтительно утѣшалъ ее. фѣ съ трубкой въ рукахъ ходилъ по комнатѣ, когда Наташа, съ изу- ованнымъ злобой лицомъ, какъ буря, ворвалась въ комнату и быстрыми ами подошла къ матери.

— „Это гадость! Это мерзость!—закричала она.—Это не можетъ быть, бы вы приказали“.

Бергъ и графиня недоумѣвающе и испуганно смотрѣли на нее. Графъ ановился у окна, прислушиваясь.

— „Маменька, это нельзя, посмотрите, что на дворѣ! —кричала ,—они остаются!...“—„Что съ тобой? Кто они? Что тебѣ надо?“—„Ра- ыме, вотъ кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже... Нѣтъ, енька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка... Ма- ька, ну что намъ то, что мы увеземъ, вы посмотрите только, что на рѣ... Маменька!... Это не можетъ быть!...“

Графъ стоялъ у окна и, не поворачивая лица, слушалъ слова Наташи. ругъ онъ засопѣлъ носомъ и приблизилъ свое лицо къ окну.

Графиня взглянула на дочь, увидала ея пристыженное за мать лицо, дала ея волненіе, поняла, отчего мужъ теперь не оглядывался на нее, тѣ растеряннымъ видомъ оглянулась вокругъ себя.

— „Ахъ, да дѣлайте, какъ хотите! Развѣ я мѣшаю кому-нибудь?“— зала она, еще не вдругъ сдаваясь. — „Маменька, голубушка, про- те меня“.

Но графиня оттолкнула дочь и подошла къ графу.

— „Другъ мой, ты распорядись какъ надо... Я вѣдь не знаю этого“,— зала она, виновато опуская глаза. — „Яйца... яйца курицу учатъ...“— озъ счастливыми слезы проговорилъ графъ и обнялъ жену, которая рада а скрыть на его груди свое пристыженное лицо.

Всѣ домашніе, какъ-бы выплачивая за то, что они раньше не взялись за это, принялись съ хлопотливостью за новое дѣло размѣщенія раненныхъ. Раненные повиползли изъ своихъ комнатъ и съ радостными, блѣдными лицами окружили подводы. Въ сосѣднихъ домахъ тоже разнесся слухъ, что есть подводы, и на дворъ къ Ростовымъ стали приходить раненные изъ другихъ домовъ. Многіе изъ раненныхъ просили не снимать вещей и только посадить ихъ сверху. Но разъ начавшееся дѣло свалки вещей уже не могло остановиться. Было все равно, оставлять все или половину. На дворѣ лежали неубранные сундуки съ посудой, съ бронзой, съ картинами, зеркалами, которые такъ старательно укладывали въ прошлую ночь, и все искали и находили возможность сложить то и то, и отдать еще и еще подводы.

Пьеръ. [Подъ впечатлѣніемъ Бородинскаго боя, смущенный той мистической связью, которая оказалась между нимъ и Наполеономъ, Пьеръ рѣшился остаться въ Москвѣ и убить его].

Онъ долженъ былъ, скрывая имя свое, остаться въ Москвѣ, встрѣтить Наполеона и убить его, съ тѣмъ чтобъ или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходившее, по мнѣнію Пьера, отъ одного Наполеона.

Пьеръ зналъ всѣ подробности покушенія нѣмецкаго студента на жизнь Бонапарта въ Вѣнѣ въ 1809-мъ году и зналъ то, что студентъ этотъ былъ разстрѣлянъ. И та опасность, которой онъ подвергалъ свою жизнь при исполненіи своего намѣренія, еще сильнѣе возбуждала его.

Два одинаково-сильныя чувства неотразимо привлекали Пьера къ его намѣренію. Первое было чувство потребности жертвы и страданія при сознаніи общаго несчастья, то чувство, вслѣдствіе котораго онъ 25-го поѣхалъ въ Можайскъ и заѣхалъ въ самый пылъ сраженія, теперь убѣжалъ изъ своего дома и, вмѣсто привычной роскоши и удобствъ жизни, спалъ не раздѣваясь на жесткомъ диванѣ и ѣлъ одну пищу съ Герасимомъ; другое было то неопредѣленное, исключительно-русское чувство презрѣнія ко всему условному, искусственному, человѣческому, ко всему тому, что считается большинствомъ людей высшимъ благомъ міра. Въ первый разъ Пьеръ испыталъ это странное и обаятельное чувство въ Слободскомъ дворцѣ, когда онъ вдругъ почувствовалъ, что и богатство, и власть, и жизнь, все то, что съ такимъ стараніемъ устраиваютъ и берегутъ люди, все это ежели и стоитъ чего-нибудь, то только по тому наслажденію, съ которымъ все это можно бросить.

[Ему хотѣлось слиться съ народомъ]. „Войти въ эту общую жизнь всѣмъ существомъ, проникнуться тѣмъ, что дѣластъ ихъ такими. Но какъ скинуть съ себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внѣшняго человѣка? Одно время я могъ быть этимъ. Я могъ бѣжать отъ отца, какъ я хотѣлъ. Я могъ еще послѣ дуэли съ Долоховымъ быть посланъ солдатомъ“.

Физическое состояніе Пьера, какъ и всегда это бываетъ, совпадало съ нравственнымъ. Непривычная, грубая пища, водка, которую онъ пилъ эти дни, отсутствіе вина и сигаръ, грязное, переперѣненное бѣлье, на половину безсонныя двѣ ночи, проведенныя на короткомъ диванѣ, безъ постели, всѣ

поддерживало Пьера въ состояніи раздраженія, близкомъ къ помѣльству.

„Да, одинъ за всѣхъ, я долженъ совершить или погибнуть!—думалъ.—Да, я подойду... и потомъ вдругъ... Пистолетомъ или кинжаломъ!—алъ Пьеръ. — Впрочемъ все равно. Не я, а рука Провидѣнія казнить я... скажу я (думалъ Пьеръ слова, которыя онъ произнесетъ, убивая юлеона). — Ну что-жъ, берите, казните меня“,—говорилъ дальше самъ Пьеръ, съ грустнымъ, но твердымъ выраженіемъ на лицѣ, опуcкалъ ову.

Князь Андрей. [Онъ попалъ въ тотъ обозъ, съ которымъ ѣхали Росс. Наташа узнала, что съ ними ѣдетъ ея бывший женихъ].

Князю Андрею дали чаю. Онъ жадно пилъ, лихорадочными глазами идя впередъ себя на дверь, какъ бы стараясь что-то понять и приинить.

— „Не хочу больше. Тимохинъ тутъ?“ — спросилъ онъ.

Тимохинъ подползъ къ нему по лавкѣ.

— „Я здѣсь, ваше сіятельство“. — „Какъ рана?“ — „Моя-то-съ? Ничего. ть вы-то?“

Князь Андрей опять задумался, какъ-будто припоминая что-то.

— „Нельзя ли достать книгу?“ — сказалъ онъ. — „Какую книгу?“ — **вангеліе! У меня нѣтъ“.**

Докторъ обѣщался достать и сталъ спрашивать князя о томъ, онъ чувствуетъ. Онъ все говорилъ о томъ, чтобъ ему достали поскорѣе книгу и подложили бы ее туда.

— „И что это вамъ стоитъ! — говорилъ онъ. — У меня ея нѣтъ, — доныте пожалуйста, — подложите на минуточку“, — говорилъ онъ жалкимъ тономъ.

Въ первый разъ князь Андрей понялъ, гдѣ онъ былъ и что съ нимъ ло, и вспомнилъ то, что онъ былъ раненъ и какъ, въ ту минуту когдаиска остановилась въ Мытищахъ, онъ попросился въ избу. Спутавшись отъ боли, онъ опомнился другой разъ въ избѣ, когда пилъ чай, и съ опять, повторивъ въ своемъ воспоминаніи все, что съ нимъ было, онъ вѣе всего представилъ себѣ ту минуту на перевязочномъ пунктѣ, когда, и видѣ страданій любимого имъ человѣка, ему пришли эти новыя, сущія ему счастье мысли. И мысли эти, хотя и неясно и неопредѣленно, перъ опять овладѣли его душой. Онъ вспомнилъ, что у него было теперь все счастье, и что это счастье имѣло что-то такое общее съ Евангеліемъ. тому то онъ попросилъ Евангеліе.

„Да, мнѣ открылось новое счастье, несотъемлемое отъ человѣка, — малъ онъ, лежа въ полутемной тихой избѣ и глядя впередъ лихорадочно-крытыми, остановившимися глазами. — Счастье, находящееся внѣ матеріальныхъ силъ, внѣ матеріальныхъ вѣшнихъ вліяній на человѣка, счастье ной души, счастье любви! Понять его можетъ всякій человѣкъ, но сознать предписать его могъ только одинъ Богъ. Но какъ же Богъ предписалъ ть законъ? Почему сынъ?...“ — И вдругъ ходъ мыслей этихъ оборвался, ч

князь Андрей слышалъ (не зная въ бреду или въ дѣйствительности онъ слышитъ это), слышалъ какой-то тихій шепчущій голосъ, неумолкаемо въ тактъ твердившій: „И пити-пити-пити“ и потомъ „и ти-ти,“ и опять „и пити-пити-пити“, и опять „и ти-ти“. Въѣстъ съ этимъ, подъ звукъ этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовалъ, что надъ лицомъ его, надъ самою серединой, воздвигалось какое-то странное воздушное зданіе изъ тонкихъ игловокъ или лучинокъ.

— „Довольно, перестань пожалуйста, оставь“, — тяжело просилъ кого-то князь Андрей. И вдругъ опять выплывала мысль и чувство съ необыкновенною ясностью и силой.

„Да, любовь (думалъ онъ опять съ совершенною ясностью), но не та любовь, которая любить за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь, но та любовь, которую я испыталъ первый разъ, когда, умирая, я увидалъ своего врага и все-таки полюбилъ его. Я испыталъ то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. И я теперь испытываю это блаженное чувство. — Любить ближнихъ, любить враговъ своихъ. Все любить — любить Бога во всѣхъ проявленіяхъ. Любить челоѣка дорогого можно челоѣческой любовью, но только врага можно любить Божескою. И отъ этого-то я испыталъ такую радость, когда я почувствовалъ, что люблю того челоѣка. Что съ нимъ? Живъ ли онъ?... Люби челоѣческой любовью, можно отъ любви перейти къ ненависти, но Божеская любовь не можетъ измѣниться. Ничто, ни смерть, ничто не можетъ разрушить ее. Она есть сущность души. А какъ много людей я ненавидѣлъ въ своей жизни. И изъ всѣхъ людей никого больше не любилъ я и не ненавидѣлъ, какъ ее“. — И онъ живо представилъ себѣ Наташу не такъ, какъ онъ представлялъ себѣ ее прежде, съ одною ея прелестью, радостною для себя, но въ первый разъ представилъ себѣ ея душу. И онъ понималъ ея чувство, ея страданія, стыдъ, раскаяніе. Онъ теперь въ первый разъ понималъ всю жестокость своего отказа, видѣлъ жестокость своего разрыва съ нею. „Ежели бы мнѣ было возможно только еще одинъ разъ увидать ее. Одинъ разъ, глядя въ эти глаза, сказать...“

И пити-пити-пити и ти-ти, и пити-пити — бумъ, — ударила муха... И вниманіе его вдругъ перенеслось въ другой міръ дѣйствительности и бреда, въ которомъ что-то происходило особенное. Все такъ же въ этомъ мірѣ все воздвигалось, не разрушаясь, зданіе, все такъ же тянулось что-то, такъ же съ краснымъ кругомъ горѣла свѣчка, та же рубашка-сфинксъ лежала у двери; но кромѣ всего этого, что-то скрипнуло, пахнуло свѣжимъ вѣтромъ, и новый бѣлый сфинксъ, стоячій, явился предъ дверью. И въ головѣ этого сфинкса было блѣдное лицо и блестящіе глаза той самой Наташи, о которой онъ сейчасъ думалъ.

„О, какъ тяжелъ этотъ не перестающій бредъ!“ — подумалъ князь Андрей, стараясь изгнать это лицо изъ своего воображенія. Но лицо это стояло предъ нимъ съ силою дѣйствительности, и лицо это приближалось. Князь Андрей хотѣлъ вернуться къ прежнему міру чистой мысли, но онъ не могъ, и бредъ втягивалъ его въ свою область. Тихій шепчущій голосъ

продолжалъ свой мѣрный лепетъ, что-то давило, тянулось, и странное лицо стояло предъ нимъ. Князь Андрей собралъ всѣ свои силы, чтобъ опомниться; онъ пошевелился, и вдругъ въ ухахъ его зазвенѣло, въ глазахъ помутилось, и онъ, какъ человѣкъ, окунувшійся въ воду, потерялъ сознание. Когда онъ очнулся, Наташа, та самая живая Наташа, которую изъ всѣхъ людей въ мірѣ ему болѣе всего хотѣлось любить тою новою, чистою, Божескою любовью, которая была теперь открыта ему, стояла предъ нимъ на колѣняхъ. Онъ понялъ, что это была живая, настоящая Наташа, и не удивился, но тихо обрадовался. Наташа, стоя на колѣняхъ, испуганно, но прикованно (она не могла двинуться) глядѣла на него, удерживая рыданія. Лицо ея было блѣдно и неподвижно. Только въ нижней части его трепетало что-то.

Князь Андрей облегчительно вздохнулъ, улыбнулся и протянулъ руку.

— „Вы?—сказалъ онъ.—Какъ счастливо!“

Наташа быстрымъ, но осторожнымъ движеніемъ подвинулась къ нему на колѣняхъ и, взявъ осторожно его руку, нагнулась надъ ней лицомъ и стала цѣловать ее, чуть дотрогиваясь губами.

— „Простите! — сказала она шопотомъ, поднявъ голову и взглядывая на него.—Простите меня!“—„Я васъ люблю“,—сказалъ князь Андрей.—„Простите...“—„Что простить?“—спросилъ князь Андрей.—„Простите меня за то, что я сдѣлала“,—чуть слышнымъ, прерывнымъ шопотомъ проговорила Наташа и чаще стала, чуть дотрогиваясь губами, цѣловать руку.—„Я люблю тебя больше, лучше, чѣмъ прежде“,—сказалъ князь Андрей, поднимая рукой ея лицо такъ, чтобъ онъ могъ глядѣть въ ея глаза.

Глаза эти, налитые счастливыми слезами, робко-сострадательно и радостно-любовно смотрѣли на него. Худое и блѣдное лицо Наташи съ распухшими губами было болѣе чѣмъ некрасиво,—оно было страшно. Но князь Андрей не видѣлъ этого лица, онъ видѣлъ сіяющіе глаза, которые были прекрасны.

Ростовъ и кн. Марья. [Ростовъ, спасшій кн. Марью, произвелъ на нее сильное впечатлѣніе. Она тоже ему понравилась. Потомъ въ городѣ онъ сталъ ее посѣщать].

Когда Ростовъ вошелъ въ комнату, княжна опустила на мгновеніе голову, какъ бы предоставляя время гостю поздороваться съ теткой, и потомъ, въ самое то время, какъ Николай обратился къ ней, она подняла голову и блестящими глазами встрѣтила его взглядъ. Полнымъ достоинства и граціи движеніемъ она съ радостною улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нѣжную руку и заговорила голосомъ, въ которомъ въ первый разъ звучали новые женскіе, грудные звуки. M-elle Бурень, бывшая въ гостинной, съ недоумѣвающимъ удивленіемъ смотрѣла на княжну Марью. Самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрѣчѣ съ человѣкомъ, которому надо было понравиться.

„Или ей черное такъ къ лицу, или дѣйствительно она такъ похорошѣла, и я не замѣтила. И главное—этотъ тактъ и грація!“—думала m-elle Бурень.

Ежели бы княжна Марья въ состояніи была думать въ эту минуту

она еще болѣе чѣмъ m-elle Бурьенъ удивилась бы переменѣ, происшедшей въ ней. Съ той минуты, какъ она увидѣла это милое, любимое лицо, какая-то новая сила жизни овладѣла ею и заставляла ее помимо ея воли говорить и дѣйствовать. Лицо ея, съ того времени, какъ вошелъ Ростовъ, вдругъ преобразилось. Какъ вдругъ, когда зажигается свѣтъ внутри росписного и рѣзного фонаря, съ неожиданною поражающею красотой выступаетъ на стѣнкахъ та сложная, искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною, такъ вдругъ преобразилось лицо княжны Марьи. Въ первый разъ вся та чистая, духовная, внутренняя работа, которою она жила до сихъ поръ, выступила наружу. Вся ея внутренняя, недовольная собой работа, ея страданія, стремленіе къ добру, покорность, любовь, самопожертвованіе—все это свѣтилось теперь въ этихъ лучистыхъ глазахъ, въ тонкой улыбкѣ, въ каждой чертѣ ея нѣжнаго лица.

Ростовъ увидалъ все это такъ-же ясно, какъ будто онъ зналъ всю ея жизнь. Онъ чувствовалъ, что существо, бывшее предъ нимъ, было совсѣмъ другое, лучшее, чѣмъ всѣ тѣ, которыя онъ встрѣчалъ до сихъ поръ, и лучшее, главное, чѣмъ онъ самъ.

Николай съ удивленіемъ смотрѣлъ на ея лицо. Это было то же лицо, которое онъ видѣлъ прежде, то же было въ немъ общее выраженіе тонкой, внутренней, духовной работы, но теперь оно было совершенно иначе освѣщено. Трогательное выраженіе печали, мольбы и надежды было на немъ. Какъ и прежде бывало съ Николаемъ въ ея присутствіи, онъ, не дожидаясь совѣта губернаторши подойти къ ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли, или нѣтъ будетъ его обращеніе къ ней здѣсь въ церкви, подошелъ къ ней и сказалъ, что онъ слышалъ о ея горѣ и всею душой соболѣзнуетъ ему. Едва только она услышала его голосъ, какъ вдругъ яркій свѣтъ загорѣлся въ ея лицѣ, освѣщая въ одно и то же время и печаль ея и радость.

Княжна Марья произвела на него пріятное впечатлѣніе подъ Смоленскомъ. То, что онъ встрѣтилъ ее тогда въ такихъ особенныхъ условіяхъ, и то, что именно на нее одно время его мать указывала ему какъ на богатую партію, сдѣлали то, что онъ обратилъ на нее особенное вниманіе. Въ Воронежѣ, во время его посѣщенія, впечатлѣніе это было не только пріятное, но сильное. Николай былъ пораженъ тою особенною, нравственною красотой, которую онъ въ этотъ разъ замѣтилъ въ ней. Однако онъ собирався уѣзжать и ему въ голову не приходило пожалѣть о томъ, что, уѣзжая изъ Воронежа, онъ лишается случая видѣть княжну. Но нынѣшняя встрѣча съ княжной Марьей въ церкви (Николай чувствовалъ это) засѣла ему глубже въ сердцѣ, чѣмъ онъ это предвидѣлъ, и глубже, чѣмъ онъ желалъ для своего спокойствія. Это блѣдное, тонкое, печальное лицо, этотъ лучистый взглядъ, эти тихія, граціозныя движенія и главное—эта глубокая и нѣжная печаль, выражавшаяся во всѣхъ чертахъ ея, тревожили его и требовали его участія. Въ мужчинахъ Ростовъ терпѣть не могъ видѣть выраженіе высшей, духовной жизни (оттого онъ не любилъ князя Андрея), онъ презрительно называлъ это философіей, мечтательностью; но въ княжнѣ

Марья именно въ этой печали, выказывавшей всю глубину этого чуждаго для Николая духовнаго міра, онъ чувствовалъ неотразимую привлекательность.

„Чудная должна быть дѣвушка! Вотъ именно ангелъ!“—говорилъ онъ самъ съ собою. „Отчего я не свободенъ, отчего я поторопился съ Соней?“—И невольно ему представилось сравненіе между двумя: бѣдность въ одной и богатство въ другой тѣхъ духовныхъ даровъ, которыхъ не имѣлъ Николай и которые потому онъ такъ высоко цѣнилъ. Онъ попробовалъ себя представить, что-бы было, если-бы онъ былъ свободенъ. Какимъ образомъ онъ сдѣлалъ-бы ей предложеніе, и она стала-бы его женою? Нѣтъ, онъ не могъ себя представить этого. Ему дѣлалось жутко, и никакіе ясные образы не представлялись ему. Съ Соней онъ давно уже составилъ себя будущую картину, и все это было просто и ясно, именно потому, что все это было выдуманно, и онъ зналъ все, что было въ Сонѣ; но съ княжной Марьей нельзя было себя представить будущей жизни, потому что онъ не понималъ ея, а только любилъ.

Мечтанія о Сонѣ имѣли въ себѣ что-то веселое, игрушечное. Но думать о княжнѣ Марьѣ всегда было трудно и немного страшно.

„Какъ она молилась! — вспомнилъ онъ. — Видно было, что вся душа ея была въ молитвѣ. Да, это та молитва, которая сдвигаетъ горы, и я увѣренъ, что молитва ея будетъ исполнена. Отчего я не молюсь о томъ, что мнѣ нужно? — вспомнилъ онъ. — Что мнѣ нужно? Свободы, развязки съ Соней. Она правду говорила, — вспомнилъ онъ слова губернаторши, — кромѣ несчастія ничего не будетъ изъ того, что я женюсь на ней. Путаница, горе маленьки... дѣла... путаница, страшная путаница! Да я и не люблю ея. Да, не такъ люблю, какъ надо. Боже мой! выведи меня изъ этого ужаснаго, безвыходнаго положенія! — началъ онъ вдругъ молиться. — Да, молитва сдвигаетъ гору, но надо вѣрить и не такъ молиться, какъ мы дѣтми молились съ Наташей о томъ, чтобы снѣгъ сдѣлался сахаромъ, и выбѣгали на дворъ пробовать, дѣлается-ли изъ снѣгу сахаръ. Нѣтъ, но я не о пустякахъ молюсь теперь,“—сказалъ онъ, ставя въ уголъ трубку и, сложивъ руки, становясь предъ образомъ. И умиленный воспоминаніемъ о княжнѣ Марьѣ, онъ началъ молиться такъ, какъ онъ давно не молился. Слезы у него были на глазахъ и въ горлѣ.

Пьеръ. [Французы казнили въ Москвѣ нѣсколькихъ русскихъ, подозрѣваемыхъ въ поджигательствѣ и шпионствѣ. Пьеръ въ это время былъ въ числѣ русскихъ плѣнныхъ].

Съ той минуты, какъ Пьеръ увидалъ это страшное убійство, совершенное людьми, не хотѣвшими этого дѣлать, въ душѣ его какъ будто вдругъ выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живымъ, и все завалилось въ кучу бессмысленнаго сора. Въ немъ, хотя онъ и не отдавалъ себя отчета, уничтожилась вѣра и въ благоустройство міра, и въ человѣческую и въ свою душу, и въ Бога. Это состояніе было испытываемо Пьеромъ прежде, но никогда съ такою силой какъ теперь.

Рядомъ съ нимъ сидѣлъ согнувшись какой-то маленькій человѣкъ,

присутствіе котораго Пьеръ замѣтилъ сначала по крѣпкому запаху пота, который отдѣлялся отъ него при всякомъ его движеніи. Человѣкъ этотъ что-то дѣлалъ въ темнотѣ съ своими ногами и, несмотря на то, что Пьеръ не видалъ его лица, онъ чувствовалъ, что человѣкъ этотъ безпрестанно взглядывалъ на него. Присмотрѣвшись въ темнотѣ, Пьеръ понялъ, что человѣкъ этотъ разувался. И то, какимъ образомъ онъ это дѣлалъ, заинтересовало Пьера.

Размотавъ бичевки, которыми была завязана одна нога, онъ аккуратно свернулъ бичевки и тотчасъ принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вѣшала бичевку, другая уже принималась разматывать другую ногу. Такимъ образомъ аккуратно, круглыми, спорыми, безъ замедленій слѣдовавшими одно за другимъ движеніями, разувшись, человѣкъ развѣсилъ свою обувь на колышки, вбитые у него надъ головами, досталъ ножикъ, обрѣзалъ что-то, сложилъ ножикъ, положилъ подъ изголовье и, получше устѣвшись, обнялъ свои поднятыя колѣни обѣими руками и прямо устался на Пьера. Пьеру чувствовалось что-то пріятное, успокоительное и круглое въ этихъ спорыхъ движеніяхъ, въ этомъ благоустроенномъ въ углу его хозяйствѣ, въ запахахъ даже этого человѣка, и онъ, не спуская глазъ, смотрѣлъ на него.

— „А много вы нужды увидали, баринъ? А?—сказаль вдругь маленькій человекъ. И такое выраженіе ласки и простоты было въ пѣвучемъ голосѣ человекъ, что Пьеръ хотѣль отвѣчать, но у него задрожала челюсть, и онъ почувствовалъ слезы. Маленькій человекъ въ ту же секунду, не давая Пьеру времени выказать свое смущеніе, заговорилъ тѣмъ-же пріятнымъ голосомъ.—Э, соколикъ, не тужи, — сказаль онъ съ тою нѣжно-пѣвучею лаской, съ которою говорятъ старыя русскія бабы.—Не тужи, дружокъ: часъ терпѣть, а вѣкъ жить! Вотъ такъ-то, милый мой. А живемъ тутъ, слава богу, оооооооо. Тоже люди и худые и добрые есть,“ — сказаль онъ и, еще говоря, гибкимъ движеніемъ перенесся на другой стулъ, всталъ и, прогладываясь, пошелъ куда-то.

— „Ишь, шельма, пришла!—услыхалъ Пьеръ въ концѣ балагана тотъ же ласковый голосъ.—Пришла, шельма, помнишь! Ну-ну, буде.—И солдатъ, отталкивая отъ себя собачонку, прыгавшую къ нему, вернулся къ своему мѣсту и сѣлъ. Въ рукахъ у него было что-то завернуто въ тряпкѣ.—Вотъ, покушайте, баринъ,—сказалъ онъ, опять возвращаясь къ прежнему почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру нѣсколько печеныхъ картошекъ.—Въ обѣдѣ похлебка была. А картошки важнѣющія!“

Пьеръ не ѣлъ цѣлый день, и запахъ картофеля показался ему необыкновенно пріятнымъ. Онъ поблагодарилъ солдата и сталъ ѣсть.

— „Что-жъ такъ-то? — улыбаясь сказалъ солдатъ и взялъ одну изъ картошекъ. — А ты вотъ какъ. — Онъ досталъ опять складной ножикъ, разрѣзалъ на своей ладони картошку на равныя двѣ половины, посыпалъ соли изъ тряпки и поднесъ Пьеру. — Картошки важнѣющія, — повторилъ онъ. — Ты покушай вотъ такъ-то.“

Перу казалось, что онъ никогда не ѣлъ кушанья вкуснѣе этого.

— „Нѣтъ, мнѣ все ничего,—сказалъ Пьеръ,—по за что они разстрѣляли этихъ несчастныхъ!.. Послѣдній лѣтъ двадцати.“ — „Тс... тц... — сказалъ маленькій человѣкъ. — Грѣха-то, грѣха-то... — быстро прибавилъ онъ и, какъ будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали изъ него, онъ продолжалъ:—Что-жъ это, баринъ, вы такъ въ Москвѣ-то остались?“ — „Я не думалъ, что они такъ скоро придутъ. Я нечаянно остался,“—сказалъ Пьеръ. — „Да какъ-же они взяли тебя, соколикъ, изъ дома твоего?“ — „Нѣтъ, я пошелъ на пожаръ, а тутъ они схватили меня, судили за поджигателя.“ — „Гдѣ судъ, тамъ и неправда,“ — вставилъ маленький человѣкъ. — „А ты давно здѣсь?“—спросилъ Пьеръ, дожевывая послѣднюю картошку. — „Я-то? Въ то воскресенье меня взяли изъ гошпиталя въ Москвѣ.“ — „Ты кто-же, солдатъ?“ — „Солдаты Апшеронскаго полка. Отъ лихорадки умиралъ. Намъ и не сказали ничего. Нашихъ человѣкъ двадцать лежало. И не думали, не гадали.“ — „Что-жъ, тебѣ скучно здѣсь?“ — спросилъ Пьеръ. — „Какъ не скучно, соколикъ. Меня Платономъ звать; Каратаевы прозвище,—прибавилъ онъ видимо съ тѣмъ, чтобъ облегчить Пьеру обращеніе къ нему. — Соколикомъ на службѣ прозвали. Какъ не скучать, соколикъ! Москва—она городамъ мать. Какъ не скучать на это смотрѣть. Да червь капусту гложетъ, а самъ прежде того пропадаетъ: такъ-то старички говаривали,“ — прибавилъ онъ быстро. — „Какъ, какъ это ты сказалъ?“ — спросилъ Пьеръ. — „Я-то? — спросилъ Каратаевъ. — Я говорю не нашимъ умомъ, а Божьимъ судомъ, — сказалъ онъ, думая, что повторяетъ сказанное. И тотчасъ-же продолжалъ:—Какъ-же у васъ, баринъ, и вотчины есть? И домъ есть? Стало быть полная чаша! И хозяйка есть? А старики-родители живы?“—спрашивалъ онъ, и хотя Пьеръ не видѣлъ въ темнотѣ, но чувствовалъ, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой ласки въ то время, какъ онъ спрашивалъ это. Онъ видимо былъ огорченъ тѣмъ, что у Пьера не было родителей, въ особенности матери. — Жена для совѣта, теща для привѣта, а нѣтъ милѣй родной матушки!—сказалъ онъ. — Ну, а дѣтки есть?“—продолжалъ онъ спрашивать. Отрицательный отвѣтъ Пьера опять видимо огорчилъ его, и онъ поспѣшилъ прибавить: — Что-жъ, люди молодые, еще дастъ Богъ будутъ. Только-бы въ совѣтѣ жить...“ — „Да теперь все равно,“—невольно сказалъ Пьеръ. — „Эхъ, милый человѣкъ ты, — возразилъ Платонъ.—Отъ сумы, да отъ тюрьмы никогда не отказывайся.—Онъ усѣлся получше, прокашлялся, видимо приготавливаясь къ длинному разсказу.—Такъ-то, другъ мой любезный, жилъ и еще дома,—началъ онъ.—Вотчина у насъ богатая, земли много, хорошо живутъ мужики, и нашъ домъ—слава тебѣ Богу. Самъ-семъ батюшка косить выходилъ. Жили хорошо. Христьяне настоящіе были. Случись...—и Платонъ Каратаевъ разсказалъ длинную исторію о томъ, какъ онъ поѣхалъ въ чужую рощу за лѣсомъ и попался сторожу, какъ его сѣкли, судили и отдали въ солдаты.—Что-жъ, соколикъ,—говорилъ онъ измѣняющимся отъ улыбки голосомъ, — думали горе, а нѣтъ радость. Брату-бы идти, кабы не мой грѣхъ. А у брата меньшаго самъ-пять ребятъ, а у меня, гляди, одна солдатка осталась. Была дѣвочка, да еще до солдатства Богъ прибралъ. Пришелъ я на побывку, скажу я тебѣ.

Гляжу—лучше прежняго живутъ. Животовъ полонъ дворъ, бабы дома, два брата на заработкахъ. Одинъ Михайло, меньшей, дома. Батюшка и говорить, всё дѣтки равны: какой палецъ ни укуси, все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайлѣ-бы идти. Позвалъ насъ всѣхъ—вѣришь—поставилъ предъ образа. Михайло,—говорить, поди сюда, кланяйся ему въ ноги, и ты, баба, кланяйся, и, внучата, кланяйтесь. Поняли? говорить.—Такъ-то, другъ мой любезный. Рокъ головы ищетъ. А мы все судимъ: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружокъ, какъ вода въ бреднѣ: тянешь—надулось, а вытащишь—ничего нѣту. Такъ-то.“—И Платонъ пересѣлъ на своей соломѣ.

Помолчавъ нѣсколько времени, Платонъ всталъ.

— „Что-жъ, я чай, спать хочешь? — сказалъ онъ и быстро началъ креститься, приговаривая: — Господи Иисусъ Христосъ, Никола угодникъ, Фрола и Лавра, Господи Иисусъ Христосъ, Никола угодникъ! Фрола и Лавра, Господи Иисусъ Христосъ—помилуй и спаси насъ! — заключилъ онъ, поклонился въ землю, всталъ, вздохнулъ и сѣлъ на свою солому.—Вотъ такъ-то. Положи, Боже, камушкомъ, подними калачикомъ,“—проговорилъ онъ и легъ, натягивая на себя шинель.—„Какую это ты молитву читалъ?“ — спросилъ Пьеръ.—„Ась?“—проговорилъ Платонъ (онъ было уже заснулъ).—Читалъ что? Богу молился. А ты развѣ не молишься?“—„Нѣтъ, и я молюсь,“—сказалъ Пьеръ.—Но что ты говорилъ: Фрола и Лавра?“—„А какъ-же, — быстро отвѣчалъ Платонъ,—лошадиный праздникъ. И скота жалѣть надо,“—сказалъ Каратаевъ. — Вишь, шельма, свернула. Угрѣлась, сукина дочь,“—сказалъ онъ, ощупавъ собаку у своихъ ногъ и, повернувшись опять, тотчасъ-же заснулъ.

Снаружи слышались гдѣ-то вдалекѣ плачъ и крики, и сѣвозъ щели балагана видѣлся огонь, но въ балаганѣ было тихо и темно. Пьеръ долго не спалъ и съ открытыми глазами лежалъ въ темнотѣ на своемъ мѣстѣ, прислушиваясь къ мѣрному храпѣнью Платона, лежавшаго подлѣ него, и чувствовалъ, что прежде разрушенный міръ теперь съ новою красотой, на какихъ-то новыхъ и незблемыхъ основахъ, двигался въ его душѣ.

Платонъ Каратаевъ. Платонъ Каратаевъ остался навсегда въ душѣ Пьера самымъ сильнымъ и дорогимъ воспоминаніемъ и олицетвореніемъ всего русскаго, добраго и круглаго. Когда на другой день, на разсвѣтѣ — Пьеръ увидалъ своего сосѣда, первое впечатлѣніе чего-то круглаго подтвердилось вполне: вся фигура Платона въ его подпоясанной веревкою французской шинели, въ фуражкѣ и лаптяхъ, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которыя онъ носилъ какъ-бы всегда собиравшись обнять что-то, были круглыя; пріятная улыбка и большіе каріе нѣжныя глаза были круглые.

Платону Каратаеву должно было быть за 50 лѣтъ, судя по его разсказамъ о походахъ, въ которыхъ онъ участвовалъ давнишнимъ солдатомъ. Онъ самъ не зналъ и никакъ не могъ опредѣлить, сколько ему было лѣтъ, но зубы его, ярко-бѣлые и крѣпкіе, которые всѣ выказывались своими двумя полукругами, когда онъ смѣялся (что онъ часто дѣлалъ), были всѣ хороши

цѣлы; ни одного сѣдого волоса не было въ его бородѣ и волосахъ, и все ю его имѣло видъ гибкости и въ особенности твердости и сносливости.

Лицо его, несмотря на мелкія круглыя морщинки, имѣло выраженіе юности и юности; голосъ у него былъ пріятный и пѣвучій. Но главная особенность его рѣчи состояла въ непосредственности и спорости. Онъ никогда не думалъ о томъ, что онъ сказалъ и что онъ скажетъ, и этого въ быстротѣ и вѣрности его интонацій была особенная неотразимая убѣдительность.

Физическія силы его и поворотливость были таковы первое время плѣна, казалось, что онъ не понималъ, что такое усталость и болѣзнь. Каждый день утромъ и вечеромъ онъ, ложась, говорилъ: — „положи, Господи, пушкомъ, подними калачикомъ“; поутру вставая, всегда одинаково помахивая плечами, говорилъ: „легъ—свернулся, всталъ—встряхнулся“. И дѣйствительно, стоило ему лечь, чтобы тотчасъ-же заснуть камнемъ, и стоило ряхнуться, чтобы тотчасъ-же, безъ секунды промедленія, взяться за ка-нибудь дѣло, какъ дѣти, вставши, берутся за игрушки. Онъ все умѣлъ пать не очень хорошо, но и не дурно. Онъ пекъ, варилъ, шилъ, строилъ, точалъ сапоги. Онъ всегда былъ занятъ и только по ночамъ позволялъ себѣ разговоры, которые онъ любилъ, и пѣсни. Онъ пѣлъ пѣсни не пѣлъ, какъ поютъ пѣсенники, знающіе, что ихъ слушаютъ, но пѣлъ, какъ отъ птицы, очевидно потому, что звуки эти ему было такъ-же необходимо издавать, какъ необходимо бываетъ потянуться или расхотиться; и эти всегда бывали тонкіе, пѣжные, почти женскіе, заунывные и лицо при этомъ бывало очень серьезно.

Попавъ въ плѣнъ и обросши бородою, онъ видимо отбросилъ отъ себя напущенное на него чуждое, солдатское, и невольно возвратился къ своему крестьянскому, народному складу.

— „Солдатъ въ отпуску—рубаша изъ портокъ“,—говаривалъ онъ. Онъ хотн говорилъ про свое солдатское время, хотя не жаловался и часто сторялъ, что онъ всю службу ни разу битъ не былъ. Когда онъ рассказывалъ, то преимущественно рассказывалъ изъ своихъ старыхъ и видимо югихъ ему воспоминаній „христіанскаго“, какъ онъ выговаривалъ крестьянскаго, быта. Поговорки, которыя наполняли его рѣчь, не были тѣ ышею частью неприличныя и бойкія поговорки, которыя говорятъ сол-ты, но это были тѣ народныя изреченія, которыя кажутся столь незначи-ыными взятыя отдѣльно, и которыя получаютъ вдругъ значеніе глубокой рости, когда онѣ сказаны кстати.

Часто онъ говорилъ совершенно противоположное тому, что онъ гово-тъ прежде, но и то и другое было справедливо. Онъ любилъ говорить и орилъ хорошо, украшая свою рѣчь ласкательными и пословицами, кото-ъ. Пьеру казалось, онъ самъ выдумывалъ, но главная прелесть его раз-зовъ состояла въ томъ, что въ его рѣчи событія самыя простыя, иногда самыя, которыя, не замѣчая ихъ, видѣлъ Пьеръ, получали характеръ жественнаго благообразія. Онъ любилъ слушать сказки, которыя рассказ-алъ по вечерамъ (все одинъ и тѣ-же) одинъ солдатъ, но больше всего

онъ любилъ слушать рассказы о настоящей жизни. Онъ радостно улыбался, слушая такіе рассказы, вставляя слова и дѣлая вопросы, клонившіеся къ тому, чтобъ уяснить себѣ благообразіе того, что ему рассказывали. Привязанностей, дружбы, любви, какъ понималъ ихъ Пьеръ, Каратаевъ не имѣлъ никакихъ, но онъ любилъ и любовно жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ человѣкомъ—не съ извѣстнымъ какимъ-нибудь человѣкомъ, а съ тѣми людьми, которые были предъ его глазами. Онъ любилъ свою шавку, любилъ товарищей, французовъ, любилъ Пьера, который былъ его сосѣдомъ, но Пьеръ чувствовалъ, что Каратаевъ, несмотря на всю свою ласковую нѣжность къ нему (которою онъ невольно отдавалъ должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился-бы разлукой съ нимъ. И Пьеръ то-же чувство начиналъ испытывать къ Каратаеву.

Платонъ Каратаевъ былъ для всѣхъ остальныхъ плѣнныхъ самымъ обыкновеннымъ солдатомъ; его звали соколикомъ или Платоша, добродушно трунили надъ нимъ, посылали его за посылками. Но для Пьера, какимъ онъ представился въ первую ночь, непостижимымъ, круглымъ и вѣчнымъ олицетвореніемъ духа простоты и правды, такимъ онъ и остался навсегда.

Платонъ Каратаевъ ничего не зналъ наизусть, кромѣ своей молитвы. Когда онъ говорилъ свои рѣчи, онъ, начиная ихъ, казалось, не зная, чѣмъ онъ ихъ кончить.

Когда Пьеръ, иногда пораженный смысломъ его рѣчи, просилъ повторить сказанное, Платонъ не могъ вспомнить того, что онъ сказалъ минуту тому назадъ, такъ-же какъ онъ никакъ не могъ словами сказать Пьеру свою любимую пѣсню. Тамъ было: „родимая, березанька и тошненько мнѣ“, но на словахъ не выходило никакого смысла. Онъ не понималъ и не могъ понять значенія словъ, отдѣльно взятыхъ изъ рѣчи. Каждое слово и каждое дѣйствіе было проявленіемъ неизвѣстной ему дѣятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ. Его слова и дѣйствія выливались изъ него такъ-же равномерно, необходимо и непосредственно, какъ запахъ отдѣляется отъ цвѣтка. Онъ не могъ понять ни цѣны, ни значенія отдѣльно взятаго дѣйствія или слова.

Кн. Марья. Въ послѣднее время своего пребыванія въ Воронежѣ княжна Марья испытала лучшее счастье въ своей жизни. Любовь ея къ Ростову уже не мучила, не волновала ее. Любовь эта наполняла всю ея душу, сдѣлалась нераздѣльною частью ея самой, и она не боролась болѣе противъ нея. Въ послѣднее время княжна Марья убѣдилась—хотя она никогда ясно словами опредѣленно не говорила себѣ этого—убѣдилась, что она была любима и любила. Въ этомъ она убѣдилась въ послѣднее свое свиданіе съ Николаемъ, когда онъ пріѣхалъ ей объявить о томъ, что ея братъ былъ съ Ростовыми. Николай ни однимъ словомъ не намекнулъ на то, что теперь (въ случаѣ выздоровленія князя Андрея) прежнія отношенія между нимъ и Платашей могли возобновиться, но княжна Марья видѣла по его лицу, что онъ знаетъ и думалъ это. И, несмотря на то, его отношенія къ ней—осто-

князя, нѣжныя и любовныя, не только не измѣнились, но онъ, казалось, довался тому, что теперь родство между нимъ и княжной Марьей позволило ему свободнѣе выражать ей свою дружбу-любовь, какъ иногда думала княжна Марья.

Встрѣча кн. Марьи съ Наташей. [Кн. Марья пріѣхала въ Ростовымъ видать своего брата кн. Андрея].

Въ дверяхъ слышались легкіе, стремительные, какъ будто веселые шаги. Княжна оглянулась и увидала почти вбѣгающую Наташу, ту Наташу, горя въ то давнишнее свиданіе въ Москвѣ такъ не понравилась ей.

Но не успѣла княжна взглянуть на лицо этой Наташи, какъ она поняла, что это былъ ея искренній товарищъ по горю и потому ея другъ. Она бросилась ей навстрѣчу и, обнявъ ее, заплакала на ея плечѣ.

Какъ только Наташа, сидѣвшая у изголовья князя Андрея, узнала о вѣздѣ княжны Марьи, она тихо вышла изъ его комнаты тѣми быстрыми, какъ показалось княжнѣ Марьѣ, какъ будто веселыми шагами и побѣжала къ ней.

На взволнованномъ лицѣ ея, когда она вбѣжала въ комнату, было только одно выраженіе — выраженіе любви, безпредѣльной любви къ нему, къ ней, ко всему тому, что было близко любимому человѣку, выраженіе жадности, страданія за другихъ и страстнаго желанія отдать себя всю для того, чтобы помочь имъ. Видно было, что въ эту минуту ни одной мысли о себѣ, своихъ отношеніяхъ къ нему, не было въ душѣ Наташи.

Чуткая княжна Марья съ перваго взгляда на лицо Наташи поняла все, и съ горестнымъ наслажденіемъ плакала на ея плечѣ.

— „Пойдемте, пойдемте къ нему, Мари“, — проговорила Наташа, отводя ее въ другую комнату.

Княжна Марья подняла лицо, отерла глаза и обратилась къ Наташѣ. Она чувствовала, что отъ нея она все пойметъ и узнаетъ.

— „Что...“ — начала она вопросъ, но вдругъ остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни отвѣтить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснѣе и глубже.

Наташа смотрѣла на нее, но, казалось, была въ страхѣ и сомнѣніи — сказать или не сказать все то, что она знала; она какъ будто почувствовала, что передъ этими лучистыми глазами, проникавшими въ самую глубь ея сердца, нельзя не сказать всю, всю истину, какою она ее видѣла. Губы Наташи вдругъ дрогнули; уродливыя морщины образовались вокругъ ея рта, она, зарыдавъ, закрыла лицо руками.

Княжна Марья поняла все.

Княжна Марья понимала то, что Наташа разумѣла словами: *съ нимъ училось это два дня тому назадъ*. Она понимала, что это означало то, что въ этотъ день вдругъ смягчился, и что смягченіе, умиленіе эти были признаками смерти. Она, подходя къ двери, уже видѣла въ воображеніи своемъ то лицо Андрюши, которое она знала въ дѣтствѣ, нѣжное, кроткое, умиленное, которое такъ часто бывало у него и потому такъ сильно всегда на нее дѣйствовало. Она знала, что онъ скажетъ ей тихія, нѣжныя слова.

Князь Андрей. Князь Андрей не только зналъ, что онъ умретъ, но онъ чувствовалъ, что онъ умираетъ, что онъ уже умеръ наполовину. Онъ испытывалъ сознание отчужденности отъ всего земного и радостной и странной легкости бытія. Онъ, не торопясь и не тревожась, ожидалъ того, что предстояло ему. То грозное, вѣчное, невѣдомое и далекое, присутствіе котораго онъ не переставалъ ощущать въ продолженіе всей своей жизни, теперь для него было близкое и — по той странной легкости бытія, которую онъ испытывалъ — почти понятное и ощущаемое.

Прежде онъ боялся конца. Онъ два раза испыталъ это страшно-мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понималъ его.

Первый разъ онъ испыталъ это чувство тогда, когда граната волчкомъ вертѣлась передъ нимъ, и онъ смотрѣлъ на жнивье, на кусты, на небо, и зналъ, что передъ нимъ была смерть. Когда онъ очнулся послѣ раны и въ душѣ его, мгновенно, какъ бы освобожденный отъ удерживавшаго его гнета жизни, распустился этотъ цвѣтокъ любви вѣчной, свободной, не зависящей отъ этой жизни, онъ уже не боялся смерти и не думалъ о ней.

Чѣмъ больше онъ, въ тѣ часы страдальческаго уединенія и полубреда, которые онъ провелъ послѣ своей раны, вдумывался въ новое, открытое ему начало вѣчной любви, тѣмъ болѣе онъ, самъ не чувствуя того, отрекался отъ земной жизни. Все, всѣхъ любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнью. И чѣмъ больше онъ проникался этимъ началомъ любви, тѣмъ больше онъ отрекался отъ жизни и тѣмъ совершеннѣе уничтожалъ ту страшную преграду, которая безъ любви стоитъ между жизнью и смертью. Когда онъ, это первое время, вспоминалъ о томъ, что ему надо было умереть, онъ говорилъ себѣ: ну что-жъ, тѣмъ лучше.

Но послѣ той ночи въ Мытищахъ, когда въ полубреду передъ нимъ явилась та, которую онъ желалъ и когда онъ, прижавъ къ своимъ губамъ ея руку, заплакалъ тихими, радостными слезами, любовь къ одной женщинѣ незамѣтно закралась въ его сердце и опять привязала его къ жизни. И радостныя, и тревожныя мысли стали приходить ему. Вспоминая ту минуту на перевязочномъ пунктѣ, когда онъ увидалъ Курагина, онъ теперь не могъ возвратиться къ тому чувству: его мучилъ вопросъ о томъ, живъ ли онъ? И онъ не смѣлъ спросить этого.

Болезнь его шла своимъ физическимъ порядкомъ, но то, что Наташа называла: *это случилось съ нимъ*, случилось съ нимъ два дня передъ пріѣздомъ княжны Марьи. Это была та послѣдняя, нравственная борьба между жизнью и смертью, въ которой смерть одержала побѣду. Это было неожиданное сознание того, что онъ еще дорожилъ жизнью, представлявшейся ему въ любви къ Наташѣ, и послѣдній, покоренный припадокъ ужаса передъ невѣдомымъ.

Это было вечеромъ. Онъ былъ, какъ обыкновенно послѣ обѣда, въ легкомъ, лихорадочномъ состояніи, и мысли его были чрезвычайно ясны.

Соня сидѣла у стола. Онъ задремалъ. Вдругъ ощущеніе счастья охватило его.

„А, это она вошла!“—подумалъ онъ.

Дѣйствительно, на мѣстѣ Сони сидѣла только-что неслышными шагами вошедшая Наташа.

„Могло или не могло это быть?—думалъ онъ теперь, глядя на нее и прислушиваясь къ легкому стальному звуку спицы.—Неужели только затѣмъ такъ странно свела меня съ нею судьба, чтобы мнѣ умереть?.. Неужели мнѣ открылась истина жизни только для того, чтобы я жилъ во лжи? Я люблю ее больше всего въ мірѣ. Но что же дѣлать мнѣ, ежели я люблю ее?“—сказалъ онъ, и онъ вдругъ невольно застоналъ по привычкѣ, которую онъ приобрѣлъ во время своихъ страданій.

Засыпая онъ думалъ все о томъ же, о чемъ онъ думалъ все это время—о жизни и смерти. И больше о смерти. Онъ чувствовалъ себя ближе къ ней.

„Любовь? Что такое любовь?—думалъ онъ.—Любовь мѣшаетъ смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существуетъ только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Богъ, и умереть—значитъ мнѣ, частицѣ любви, вернуться къ общему и вѣчному источнику“. Мысли эти показались ему утѣшительны. Но это были только мысли. Чего-то недоставало въ нихъ, что-то было односторонне личное, умственное—не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Онъ заснулъ.

Онъ видѣлъ во снѣ, что онъ лежитъ въ той же комнатѣ, въ которой онъ лежалъ въ дѣйствительности, но что онъ не раненъ, а здоровъ. Много разныхъ лицъ, ничтожныхъ, равнодушныхъ, являются передъ княземъ Андреемъ. Онъ говоритъ съ ними, споритъ о чемъ-то ненужномъ. Они собираются ѣхать куда-то. Князь Андрей смутно припоминаетъ, что все это ничтожно и что у него есть другія важнѣйшія заботы, но онъ продолжаетъ говорить, удивляя ихъ, какія-то пустыя, остроумныя слова. Понемногу, незамѣтно, всѣ эти лица начинаютъ исчезать, и все замѣняется однимъ вопросомъ о затворенной двери. Онъ встаетъ и идетъ къ двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. Отъ того, что онъ успѣетъ или не успѣетъ запереть ее, зависитъ все. Онъ идетъ, спѣшитъ, ноги его не двигаются, и онъ знаетъ, что не успѣетъ запереть дверь, но все-таки бо-лѣзненно напрягаетъ всѣ свои силы. И мучительный страхъ охватываетъ его. И этотъ страхъ есть страхъ смерти: за дверью стоитъ оно. Но въ то же время, какъ онъ бесильно-неловко подползаетъ къ двери, это что-то ужасное, съ другой стороны уже, надавливая, ломится въ нее. Что-то нечеловѣческое—смерть—ломится въ дверь, и надо удержать ее. Онъ ухватывается за дверь, напрягаетъ послѣднія усилія—запереть уже нельзя—хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и надавливаемая ужаснымъ дверь отворяется и опять затворяется.

Еще разъ оно надало, оттуда. Послѣднія, сверхъестественныя усилія тщетны, и обѣ половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умеръ.

Но въ то-же мгновеніе, какъ онъ умеръ, князь Андрей вспомнилъ, что онъ спитъ, и въ то-же мгновеніе какъ онъ умеръ, онъ, сдѣлавъ надъ собою усиліе, проснулся.

„Да, это была смерть. Я умеръ—я проснулся. Да, смерть—пробужденіе“,—вдругъ просвѣтлѣло въ его душѣ, и завѣса, скрывавшая до сихъ поръ невѣдомое, была приподнята передъ его душевнымъ взоромъ. Онъ почувствовалъ какъ бы освобожденіе прежде связанной въ немъ силы и ту странную легкость, которая съ тѣхъ поръ не оставляла его.

Когда онъ, очнувшись въ холодномъ поту, зашевелился на диванѣ, Наташа подошла къ нему и спросила, что съ нимъ. Онъ не отвѣтилъ ей и, не понимая ея, посмотрѣлъ на нее страннымъ взглядомъ.

Съ этого дня началось для князя Андрея вмѣстѣ съ пробужденіемъ — отъ сна — пробужденіе отъ жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему болѣе медленно, чѣмъ пробужденіе отъ сна относительно продолжительности сновидѣнія.

Ничего не было страшнаго и рѣзкаго въ этомъ, относительно-медленномъ, пробужденіи.

Послѣдніе дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившія отъ него, чувствовали это. Онѣ не плакали, не содрогались и, послѣднее время, сами чувствуя это, ходили уже не за нимъ (его уже не было, онъ ушелъ отъ нихъ), а за самымъ близкимъ воспоминаніемъ о немъ—за его тѣломъ. Чувства обѣихъ были такъ сильны, что на нихъ не дѣйствовала виѣшняя, страшная сторона смерти; и онѣ не находили нужнымъ растравлять свое горе. Онѣ не плакали ни при немъ, ни безъ него, но и никогда не говорили про него между собою. Онѣ чувствовали, что не могли выразить словами того, что онѣ понимали.

Онѣ обѣ видѣли, какъ онъ глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался отъ нихъ куда-то туда, и обѣ знали, что это такъ должно быть, и что это хорошо.

Пьеръ. Одѣяніе Пьера теперь состояло изъ грязной продранной рубашки, единственномъ остаткѣ его прежняго платья, солдатскихъ портокъ, завязанныхъ для тепла веревочками на щиколкахъ по совѣту Каратаева, изъ кафтана и мужицкой шапки. Пьеръ очень измѣнился физически въ это время. Онъ не казался уже толстѣ, хотя и имѣлъ все тотъ же видъ крупности и силы, наслѣдственной въ ихъ породѣ. Борода и усы обросли нижнюю часть лица; отросшіе, спутанные волосы на головѣ, наполненные вшами, курчавились теперь шапкою. Выраженіе глазъ было твердое, спокойное и оживленно-готовое, такое, какого никогда не имѣлъ прежде взглядъ Пьера. Прежняя его распушенность, выражавшаяся и во взглядѣ, замѣнилась теперь энергичной, готовой на дѣятельность и отпоръ, подобранностью. Ноги его были босыя.

Пьеръ смотрѣлъ то внизъ по полю, по которому въ нынѣшнее утро разѣздились повозки и верховые, то вдаль за рѣку, то на собачонку, при-
творявшуюся, что она не на шутку хочетъ укусить его, то на свои босыя ноги, которыя онъ съ удовольствіемъ переставлялъ въ различныя положе-

ніа, пошевєливая грязными, толстыми, большими пальцами. И всякій разъ, какъ онъ взглядывалъ на свои босыя ноги, на лицѣ его пробѣгала улыбка оживленія самодовольства. Видъ этихъ босыхъ ногъ напоминалъ ему все то, что онъ пережилъ и понялъ за это время, и воспоминаніе это было ему пріятно.

Въ разоренной и сожженной Москвѣ Пьеръ испыталъ почти крайніе предѣлы лишеній, которыя можетъ переносить человѣкъ; но, благодаря своему сильному сложенію и здоровью, котораго онъ не сознавалъ до сихъ поръ, и въ особенности благодаря тому, что эти лишенія подходили такъ незамѣтно, что нельзя было сказать, когда они начались, онъ переносилъ не только легко, но и радостно свое положеніе. И именно въ это самое время онъ получилъ то спокойствіе и довольство собой, къ которымъ онъ тщетно стремился прежде. Онъ долго въ своей жизни искалъ съ разныхъ сторонъ этого успокоенія, согласія съ самимъ собою, того, что такъ поразило его въ солдатахъ въ Бородинскомъ сраженіи, — онъ искалъ этого въ филантропіи, въ масонствѣ, въ разсѣяніи свѣтской жизни, въ винѣ, въ геройскомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романтической любви къ Наташѣ; онъ искалъ этого путемъ мысли, и всѣ эти исканія и попытки всѣ обманули его. И онъ, самъ не думая о томъ, получилъ это успокоеніе и это согласіе съ самимъ собою только черезъ ужасъ смерти, черезъ лишенія и черезъ то, что онъ понялъ въ Каратаевѣ. Тѣ страшныя минуты, которыя онъ пережилъ во время казни, какъ-будто смыли навсегда изъ его воображенія и воспоминанія тревожныя мысли и чувства, прежде казавшіяся ему важными. Ему не приходило и мысли ни о Россіи, ни о войнѣ, ни о политикѣ, ни о Наполеонѣ. Ему очевидно было, что все это не касалось его, что онъ не призванъ былъ и потому не могъ судить обо всемъ этомъ. „Россіи да лѣту — союзу нѣту“, повторялъ онъ слова Каратаева, и эти слова странно успокоивали его. Ему казалось теперь непонятнымъ и даже смѣшнымъ его намѣреніе убить Наполеона, и его ~~мысли о мести~~ и звѣрѣ Апокалипсиса. Озлобленіе его противъ жены и тревога о томъ, чтобы не было посрамлено его имя, теперь казались ему не только ничтожны, но забавны. Что ему было за дѣло до того, что эта женщина вела тамъ гдѣ-то ту жизнь, которая ей нравилась? Кому, въ особенности ему, какое дѣло было до того, что узнають или не узнають, что имя ихъ плѣннаго было графъ Безухой?

Теперь онъ часто вспоминалъ свой разговоръ съ княземъ Андреемъ и вполне соглашался съ нимъ, только нѣсколько иначе понимая мысль князя Андрея. Князь Андрей думалъ и говорилъ, что счастье бываетъ только отрицательное, но онъ говорилъ это съ оттѣнкомъ горечи и ироніи. Какъ-будто, говоря это, онъ высказывалъ другую мысль — о томъ, что всѣ вложенныя въ насъ стремленія къ счастью положительному вложены только для того, чтобы, не удовлетворяя, мучить насъ. Но Пьеръ безъ всякой задней мысли признавалъ справедливость этого. Отсутствіе страданій, удовлетвореніе потребностей и вслѣдствіе того свобода выбора занятій, т.-е. образа жизни, представлялись теперь Пьеру несомнѣннымъ и высшимъ счастьемъ.

человѣка. Здѣсь, теперь только, въ первый разъ Пьеръ вполне оцѣнилъ наслажденіе ѣды, когда хотѣлось ѣсть, питья, когда хотѣлось пить, сна, когда хотѣлось спать, тепла, когда было холодно, разговора съ человѣкомъ, когда хотѣлось говорить и послушать человѣческій голосъ. Удовлетвореніе потребностей—хорошая пища, чистота, свобода — теперь, когда онъ былъ лишенъ всего этого, казались Пьеру совершеннымъ счастьемъ, а выборъ занятія, т.-е. жизнь, теперь, когда выборъ этотъ былъ такъ ограниченъ, казались ему такимъ легкимъ дѣломъ, что онъ забывалъ то, что избытокъ удобствъ жизни уничтожаетъ все счастье удовлетворенія потребностей, а большая свобода выбора занятій, та свобода, которую ему въ жизни давали образованіе, богатство, положеніе въ свѣтѣ, что эта-то свобода и дѣлаетъ выборъ занятій неразрѣшимо-труднымъ, и уничтожаетъ самую потребность и возможность занятія.

Всѣ мечтанія Пьера теперь стремились къ тому времени, когда онъ будетъ свободенъ. А, между тѣмъ, въ послѣдствіи и во всю свою жизнь Пьеръ съ восторгомъ думалъ и говорилъ объ этомъ мѣсяцѣ плѣна, о тѣхъ невозвратимыхъ сильныхъ и радостныхъ ощущеніяхъ и, главное, о томъ полномъ, душевномъ спокойствіи, о совершенной внутренней свободѣ, которыя онъ испытывалъ только въ это время.

Когда онъ въ первый день, вставъ рано утромъ, вышелъ на зарѣ изъ балагана и увидалъ сначала темные купола, кресты Новодѣвичьяго монастыря, увидалъ морозную росу на пыльной травѣ, увидалъ холмы Воробьевыхъ горъ и извивающійся надъ рѣкою и скрывающійся въ лиловой дали лѣсистый берегъ, когда ощутилъ прикосновеніе свѣжаго воздуха и услышалъ звуки летѣвшихъ изъ Москвы черезъ поле галокъ и когда потомъ вдругъ брызнуло свѣтомъ съ востока и торжественно выплылъ край солнца изъ-за тучи, и купола, и кресты, и роса, и даль, и рѣка, все заиграло въ радостномъ свѣтѣ, — Пьеръ почувствовалъ новое, неиспытанное имъ чувство радости и крѣпости жизни.

И чувство это не только не покидало его во все время плѣна, но, напротивъ, возрастало въ немъ по мѣрѣ того, какъ увеличивались трудности его положенія.

Чувство это — готовности на все, нравственной подобранности, еще болѣе поддерживалось въ Пьерѣ тѣмъ высокимъ мнѣніемъ, которое, вскорѣ по его вступленіи въ балаганъ, установилось о немъ между его товарищами. Пьеръ съ своимъ знаніемъ языковъ, съ тѣмъ уваженіемъ, которое ему оказывали французы, съ своей простотой, отдававшей все, что у него просили (онъ получалъ офицерскіе три рубля въ недѣлю), съ своей силой, которую онъ показывалъ солдатамъ, вдавливая гвозди въ стѣну балагана, съ кротостью, которую онъ выказывалъ въ обращеніи съ товарищами, съ своей непонятной для нихъ способностью сидѣть неподвижно и, ничего не дѣлая, думать, представлялся солдатамъ нѣсколько таинственнымъ и высшимъ существомъ. Тѣ самыя свойства его, которыя въ томъ свѣтѣ, въ которомъ онъ жилъ прежде, были для него, если не вредны, то стѣснительны,—его сила, пренебреженіе къ удобствамъ жизни, разсѣянность, простота, здѣсь, между

этими людьми, давали ему положеніе почти героя. И Пьеръ чувствовалъ, что этотъ взглядъ обязывалъ его.

Отъ офицеровъ до послѣдняго солдата было замѣтно въ каждомъ какъ-будто личное озлобленіе противъ cadaго изъ плѣнныхъ, такъ неожиданно замѣнившее прежде дружелюбныя отношенія.

Озлобленіе это еще болѣе усилилось, когда при пересчитываніи плѣнныхъ оказалось, что во время суеты выхода изъ Москвы одинъ русскій солдатъ, притворявшійся больнымъ отъ живота — бѣжалъ. Пьеръ видѣлъ, какъ французъ избилъ русскаго солдата за то, что тотъ отошелъ далеко отъ дороги, и слышалъ, какъ капитанъ, его пріятель, выговаривалъ унтеръ-офицеру за побѣгъ русскаго солдата и угрожалъ ему судомъ. На отговорку унтеръ-офицера о томъ, что солдатъ былъ боленъ и не могъ идти, офицеръ сказалъ, что вѣрно пристрѣливать тѣхъ, кто будетъ отставать. Пьеръ чувствовалъ, что та роковая сила, которая смяла его во время казни и которая была незамѣтна во время плѣна, теперь опять овладѣла его существованіемъ. Ему было страшно, но онъ чувствовалъ, какъ по мѣрѣ усилій, которыя дѣлала роковая сила, чтобы раздавить его, въ душѣ его выростала и крѣпла независимая отъ нея сила жизни.

Пьеръ поужиналъ похлебкою изъ ржаной муки съ лошадинымъ мясомъ и поговорилъ съ товарищами.

Ни Пьеръ и никто изъ товарищей его не говорили ни о томъ, что они видѣли въ Москвѣ, ни о грубости обращенія французовъ, ни о томъ распоряженіи пристрѣливать, которое было объявлено имъ: всѣ были, какъ-бы въ отпоръ ухудшающему положенію, особенно оживлены и веселы. Говорили о личныхъ воспоминаніяхъ, о смѣшныхъ сценахъ, видѣнныхъ во время похода, и заминали разговоры о настоящемъ положеніи.

Пьеръ вернулся, но не къ костру, къ товарищамъ, а къ отпряженной повозкѣ, у которой никого не было. Онъ, поджавъ ноги и опустивъ голову, сѣлъ на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидѣлъ, думая. Прошло болѣе часа. Никто не тревожилъ Пьера. Вдругъ онъ захохоталъ своимъ толстымъ, добродушнымъ смѣхомъ такъ громко, что съ разныхъ сторонъ съ удивленіемъ оглянулись люди на этотъ странный, очевидно-одинокій смѣхъ.

— „Ха, ха, ха!“—смѣялся Пьеръ. И онъ проговорилъ вслухъ самъ съ собою:—Не пустилъ меня солдатъ. Поймали меня, заперли меня. Въ плѣну держать меня, Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!“—смѣялся онъ съ выступившими на глаза слезами.

Какой-то человѣкъ всталъ и подошелъ посмотреть, о чемъ одинъ смѣется этотъ странный, большой человѣкъ. Пьеръ пересталъ смѣяться, всталъ, отошелъ подальше отъ любопытнаго и оглянулся вокругъ себя.

Прежде громко шумѣвшій трескомъ костровъ и говоромъ людей, огромный, нескончаемый бивакъ затихалъ; красные огни костровъ потухали и блѣднѣли. Высоко въ свѣтломъ небѣ стоялъ полный мѣсяцъ. Лѣса и поля, невидные прежде вѣтрасположенія лагеря, открывались теперь вдали. И еще дальше этихъ лѣсовъ и полей виднѣлась свѣтлая, колеблющаяся, зовущая

въ себя безконечная даль. Пьеръ взглянулъ въ небо, вглубь уходящихъ, играющихъ звѣздъ. „И все это мое, и все это во мнѣ, и все это я!—думалъ Пьеръ.—И все это они поймали и посадили въ балаганъ, загороженный досками!“ Онъ улыбнулся и пошелъ укладываться спать къ своимъ товарищамъ.

Кутузовъ. Кутузовъ, какъ и всѣ старые люди, мало спалъ по ночамъ. Онъ днемъ часто неожиданно задремывалъ, но ночью онъ, не раздѣваясь лежа на своей постели, большею частью не спалъ и думалъ.

Такъ онъ лежалъ и теперь на своей кровати, облокотивъ тяжелую, большую, изуродованную голову на пухлую руку и думалъ, открытымъ однимъ глазомъ присматриваясь къ темнотѣ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Бенигсенъ, переписывавшійся съ государемъ и имѣвшій болѣе всѣхъ силы въ штабѣ, избѣгалъ его, Кутузовъ былъ спокоенъ въ томъ отношеніи, что его съ войсками не заставятъ опять участвовать въ бесполезныхъ наступательныхъ дѣйствіяхъ. Урокъ Тарутинскаго сраженія и канунъ его, болѣзненно памятный Кутузову, тоже долженъ былъ подѣйствовать, думалъ онъ.

„Они должны понять, что мы только можемъ проиграть, дѣйствуя наступательно. Терпѣніе и время, вотъ мои войны-богатыри!“—думалъ Кутузовъ. Онъ зналъ, что не надо срывать яблока, пока оно зелено. Оно само упадетъ, когда будетъ зрѣло, а сорвешь зелено, испортишь яблоко и дерево, и самъ оскомину набьешь. Онъ, какъ опытный охотникъ, зналъ, что звѣрь раненъ, раненъ такъ, какъ только могла ранить вся русская сила, но смертельно или нѣтъ, это былъ еще не разъясненный вопросъ. Теперь, по присылкамъ Лористона и Бертеми и по донесеніямъ партизановъ, Кутузовъ почти зналъ, что онъ раненъ смертельно. Но нужны были еще доказательства, надо было ждать.

„Имъ хочется бѣжать посмотрѣть, какъ они его убили. Подождите, увидите. Все маневры, все наступленія!—думалъ онъ.—Къ чему? Все отличится. Точно что-то новое есть въ томъ, чтобы драться. Они точно нѣтъ. отъ которыхъ не обьешься толку, какъ было дѣло, оттого что всѣ хотятъ доказать, что они умѣютъ драться. Да не въ томъ теперь дѣло.—И какіе искусные маневры предлагаютъ мнѣ всѣ эти! Имъ кажется, что когда они выдумали двѣ-три случайности (онъ вспомнилъ объ общемъ планѣ изъ Петербурга), они выдумали ихъ всѣ. А имъ всѣмъ нѣтъ числа!“

Неразрѣшенный вопросъ о томъ, смертельна или не смертельна была рана, нанесенная въ Бородинѣ, уже цѣлый мѣсяцъ висѣлъ надъ головой Кутузова.

Комъ снѣга невозможно растаять мгновенно. Существуетъ извѣстный предѣлъ времени, ранѣ котораго никакія усилія тепла не могутъ растаять снѣга. Напротивъ, чѣмъ больше тепла, тѣмъ болѣе крѣпнетъ остающійся снѣгъ.

Изъ русскихъ военачальниковъ никто кромѣ Кутузова не понималъ этого. Когда опредѣлилось направленіе бѣгства французской арміи по Смоленской дорогѣ, тогда то, что предвидѣлъ Коновницынъ въ ночь на 11 ок-

тября, начало сбываться. Всѣ высшіе чины арміи хотѣли отличиться, отрѣзать, перехватить, полонить, опрокинуть французовъ и всѣ требовали наступленія.

Кутузовъ одинъ всѣ силы свои (силы эти очень не велики у каждаго главнокомандующаго) употреблялъ на то, чтобы противодѣйствовать наступленію.

Онъ не могъ имъ сказать то, что мы говоримъ теперь: зачѣмъ сраженіе и загоразиваніе дороги и потеря своихъ людей и безчеловѣчное добываніе несчастныхъ, зачѣмъ все это, когда отъ Москвы до Вязмы безъ сраженія растаяла одна треть этого войска; но онъ говорилъ имъ, выводя изъ своей старческой мудрости то, что они могли-бы понять—онъ говорилъ имъ про золотой мостъ, и они смѣялись надъ нимъ, клеветали его, и рвали, и метали, и куражились надъ убитымъ звѣремъ.

Подъ Вязмой, Ермоловъ, Милорадовичъ, Платовъ и другіе, находясь въ близости отъ французовъ, не могли воздержаться отъ желанія отрѣзать и опрокинуть два французскіе корпуса. Кутузову, извѣщая его объ ихъ намѣреніи вмѣсто донесенія, они прислали въ конвертѣ листъ бѣлой бумаги.

И сколько ни старался Кутузовъ удержатъ войска, войска наши атаковали, стараясь загородить дорогу. Пѣхотные полки, какъ рассказываютъ, съ музыкой и барабаннымъ боемъ ходили въ атаку и побили и потеряли тысячи людей.

Но отрѣзать — никого не отрѣзали и не опрокинули. И французское войско, станувшись крѣпче отъ опасности, продолжало, равномерно тая, все тотъ-же свой гибельный путь къ Смоленску.

Пьеръ. Въ плѣну, въ балаганѣ, Пьеръ узналъ не умомъ, а всѣмъ существомъ своимъ, жизнью, что человѣкъ сотворенъ для счастья, что счастье въ немъ самомъ, въ удовлетвореніи естественныхъ, человѣческихъ потребностей, и что все несчастье происходит не отъ недостатка, а отъ излишка; но теперь, въ эти послѣднія три недѣли похода, онъ узналъ еще новую, утѣшительную истину—онъ узналъ, что на свѣтѣ нѣтъ ничего страшнаго. Онъ узналъ, что такъ какъ нѣтъ на свѣтѣ положенія, въ которомъ бы человѣкъ былъ счастливъ и вполне свободенъ, такъ и нѣтъ положенія, въ которомъ бы онъ былъ бы несчастливъ и несвободенъ. Онъ узналъ, что есть граница страданій и граница свободы и что эта граница очень близка; что тотъ человѣкъ, который страдалъ отъ того, что въ розовой постели его завернулся одинъ листокъ, точно такъ-же страдалъ, какъ страдалъ онъ теперь, засыпая на голой, сырой землѣ, остужая одну сторону и согрѣвая другую; что, когда онъ бывало надѣвалъ свои бальные, узкіе башмаки, онъ точно такъ-же страдалъ, какъ и теперь, когда онъ шелъ уже босой совсѣмъ (обувь его давно растрепалась) ногами, покрытыми болячками. Онъ узналъ, что когда онъ, какъ ему казалось, по собственной своей волѣ, женился на своей женѣ, онъ былъ не болѣе свободенъ, чѣмъ теперь, когда его запирали на ночь въ конюшню. Изъ всего того, что потомъ и онъ называлъ страданіемъ, но которое тогда онъ почти не чувствовалъ, главное были босыя, стертые, заструпились ноги. (Лошадиное мясо было вкусно и питательно, селитряный

букетъ пороха, употребляемаго вмѣсто соли, былъ даже пріятенъ, холода большого не было, и днемъ на-ходу всегда бывало жарко, а ночью были костры; вши, бѣвшія его, согрѣвали его тѣло). Одно было тяжело въ первое время—это ноги.

Во второй день перехода, осмотрѣвъ у костра свои болячки, Пьеръ думалъ невозможнымъ ступить на нихъ, но когда всѣ поднялись, онъ пошелъ прихрамывая и потомъ, когда разогрѣлся, пошелъ безъ боли, хотя къ вечеру страшнѣе еще было смотрѣть на ноги. Но онъ не смотрѣлъ на нихъ и думалъ о другомъ.

Теперь только Пьеръ понялъ всю силу жизненности человѣка и спасительную силу перемѣщенія вниманія, вложенную въ человѣка, подобную тому спасительному клапану въ паровикахъ, который выпускаетъ лишній паръ, какъ только плотность его превышаетъ извѣстную норму.

Онъ не видалъ и не слыхалъ, какъ пристрѣливали отсталыхъ плѣнныхъ, хотя болѣе сотни изъ нихъ уже погибли такимъ образомъ. Онъ не думалъ о Каратаевѣ, который слабѣлъ съ каждымъ днемъ и очевидно скоро долженъ былъ подвергнуться той же участи. Еще менѣе Пьеръ думалъ о себѣ. Чѣмъ труднѣе становилось его положеніе, чѣмъ страшнѣе была будущность, тѣмъ независимѣе отъ того положенія, въ которомъ онъ находился, приходили ему радостныя и успокоительныя мысли, воспоминанія и представленія.

Вчера, на ночномъ привалѣ, озябнувъ у потухшаго огня, Пьеръ всталъ и перешелъ къ ближайшему, лучше горящему костру. У костра, къ которому онъ подошелъ, сидѣлъ Платонъ, укрывшись, какъ ризой, съ головой шинелью, и рассказывалъ солдатамъ, своимъ споримъ, пріятнымъ, но слабымъ, болѣзненнымъ голосомъ, знакомую Пьеру исторію. Было уже за полночь. Это было то время, въ которое Каратаевъ обыкновенно оживалъ отъ лихорадочнаго припадка и бывалъ особенно оживленъ. Подойдя къ костру и услыхавъ слабый, болѣзненный голосъ Платона и увидавъ его ярко освѣщенное огнемъ жалкое лицо, Пьера что-то непріятно кольнуло въ сердце. Онъ испугался своей жалости къ этому человѣку и хотѣлъ уйти, но другого костра не было, и Пьеръ, стараясь не глядѣть на Платона, подсѣлъ къ костру.

— „Что, какъ твое здоровье?“ — спросилъ онъ. — „Что здоровье? На болѣзнь плакаться—Богъ смерти не дастъ,—сказалъ Каратаевъ, и тотчасъ же воротился къ начатому разсказу. — И вотъ, братецъ ты мой, — продолжалъ Платонъ съ улыбкой на худомъ, блѣдномъ лицѣ, и съ особеннымъ, радостнымъ блескомъ въ глазахъ.—Вотъ, братецъ ты мой...“

Пьеръ зналъ эту исторію давно, Каратаевъ разъ шесть ему одному рассказывалъ эту исторію и всегда съ особеннымъ радостнымъ чувствомъ. Но какъ ни хорошо зналъ Пьеръ эту исторію, онъ теперь прислушался къ ней, какъ къ чему-то новому, и тотъ тихій восторгъ, который, рассказывая, видимо испытывалъ Каратаевъ, сообщился и Пьеру. Исторія эта была о старомъ купцѣ, благообразно и богобоязненно жившемъ съ семьей и *похавшимъ* однажды съ товарищемъ, богатымъ купцомъ, къ Макарью.

Остановившись на постояломъ дворѣ, оба купца заснули и на другой день товарищъ купца былъ найденъ зарѣзаннымъ и ограбленнымъ. Окровавленный ножъ найденъ былъ подъ подушкой стараго купца. Купца судили, наказали внудомъ и, выдернувъ поздри—какъ слѣдуетъ по порядку,—говорилъ Каратаевъ,—сослали въ каторгу.

— „И вотъ, братецъ ты мой (на этомъ мѣстѣ Пьеръ засталъ разсказъ Каратаева), проходитъ тому дѣлу годовъ десять или больше того. Живетъ старичокъ на каторгѣ. Какъ слѣдоваетъ покоряется, худого не дѣлаетъ. Только у Бога смерти просить. Хорошо. И соберись они, ночнымъ дѣломъ, каторжные-то, такъ же вотъ какъ мы съ тобой, и старичокъ съ ними. И зашелъ разговоръ, кто за что страдаетъ, въ чемъ Богу виноватъ. Стали сказывать, тотъ душу загубилъ, тотъ двѣ, тотъ поджегъ, тотъ бѣглый, такъ ни за что. Стали старичка спрашивать: ты за что молъ, дѣдушка, страдаешь? Я, братцы мои миленькіе, говоритъ, за свои да людскіе грѣхи страдаю. А я ни душъ не губилъ, ни чужого не бралъ, акромья, что нищую братію одѣлялъ. Я, братцы мои миленькіе, купецъ, и богатство большое имѣлъ. Такъ и такъ, говоритъ. И разсказалъ имъ, какъ все дѣло было по порядку. Я, говоритъ, о себѣ не тужу. Меня, значитъ, Богъ сыскалъ. Одно, говоритъ, мнѣ свою старуху и дѣтокъ жалъ. И такъ-то заплакалъ старичокъ. Случись въ ихъ компаніи тотъ самый человѣкъ, значитъ, что купца убилъ. Гдѣ, говоритъ, дѣдушка, было? Когда, въ какомъ мѣсяцѣ? все разспросилъ. Заболѣло у него сердце. Подходить такимъ манеромъ къ старичку — хлопъ въ ноги. За меня ты, говоритъ, старичокъ, пропадаешь. Правда, истинная; безвинно, напрасно, говоритъ, ребятушки, человѣкъ этотъ мучится. Я, говоритъ, то самое дѣло сдѣлалъ и ножъ тебѣ подъ голову сонному подложилъ. Прости, говоритъ, дѣдушка, меня ты ради Христа“.

Каратаевъ замолчалъ, радостно улыбаясь, глядя на огонь и поправилъ полѣнья.

„Старичокъ и говоритъ: Богъ, молъ, тебя простить, а мы всѣ, говорить, Богу грѣшны. Я за свои грѣхи страдаю,—самъ заплакалъ горючими слезами. Что же думаешь, соколикъ,—все свѣтлѣе и свѣтлѣе сіяя восторженной улыбкой, говорилъ Каратаевъ, какъ будто въ томъ, что онъ имѣлъ теперь разсказать, заключалась главная прелесть и все значеніе разсказа,—что же думаешь, соколикъ, объявился этотъ убійца самый по начальству. Я, говоритъ, шесть душъ загубилъ (большой злодѣй былъ), но всего мнѣ жалъ старичка этого. Пускай же онъ на меня не плачется. Объявился: списали, послали бумагу какъ слѣдоваетъ. Мѣсто дальнее, пока судъ да дѣло, пока всѣ бумаги списали какъ должно, по начальствамъ значить. До царя доходило. Пока что, пришелъ царскій указъ: выпустить купца, дать ему награжденія сколько тамъ присудили—пришла бумага, стали старичка разыскивать. Гдѣ такой старичокъ безвинно страдалъ? Отъ царя бумага вышла. Стали искать.—Нижняя челюсть Каратаева дрогнула.—А его ужъ Богъ простилъ—померъ. Такъ-то, соколикъ“,—закончилъ Каратаевъ и долго, молча улыбаясь, смотрѣлъ передъ собой.

Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла въ лицѣ Каратаева при этомъ рассказѣ, таинственное значеніе этой радости, это-то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера.

— „По мѣстамъ!—вдругъ закричалъ голосъ. Между плѣнными и конвойными произошло радостное смятеніе и ожиданіе чего-то счастливаго и торжественнаго. Со всѣхъ сторонъ послышались крики команды, и съ лѣвой стороны, рысью, объѣзжая плѣнныхъ, показались кавалеристы, хорошо одѣтые, на хорошихъ лошадяхъ. На всѣхъ лицахъ было выраженіе напряженности, которая бываетъ у людей при близости высшихъ властей. Плѣнные сбились въ кучу, ихъ столкнули съ дороги; конвойные построились.

„Императоръ! Маршалъ! Герцогъ!..“ — и только-что проѣхали сытые конвойные, какъ прогремѣла карета цугомъ, на сѣрыхъ лошадяхъ. Пьеръ мелькомъ увидалъ спокойное, красивое, толстое и блѣлое лицо чело­вѣка въ треугольной шляпѣ. Это былъ одинъ изъ маршаловъ. Взглядъ маршала обратился на крупную, замѣтную фигуру Пьера, и въ томъ выраженіи, съ которымъ маршалъ этотъ нахмурился и отвернулъ лицо, Пьеру показалось состраданіе и желаніе скрыть его.

Генералъ, который велъ депо, съ краснымъ, испуганнымъ лицомъ; погоняя свою худую лошадь, скакалъ за каретой. Нѣсколько офицеровъ сошлось вмѣстѣ, солдаты окружили ихъ. У всѣхъ были взволнованно-напряженные лица.

— „Что онъ сказалъ? Что-жъ сказалъ?“...—слышалъ Пьеръ.

Во время проѣзда маршала, плѣнные сбились въ кучу, и Пьеръ увидалъ Каратаева, котораго онъ не видалъ еще въ нынѣшнее утро. Каратаевъ въ своей шинелькѣ сидѣлъ, прислонившись къ березѣ. Въ лицѣ его, кромѣ выраженія вчерашняго радостнаго умиленія при рассказѣ о безвинномъ страданіи купца, свѣтилось еще выраженіе тихой торжественности.

Каратаевъ смотрѣлъ на Пьера своими добрыми круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и видимо подзывалъ его къ себѣ, хотѣлъ сказать что-то. Но Пьеру слишкомъ страшно было за себя. Онъ сдѣлалъ такъ, какъ-будто не видалъ его взгляда, и поспѣшно отошелъ.

Когда плѣнные опять тронулись, Пьеръ оглянулся назадъ. Каратаевъ сидѣлъ на краю дороги, у березы, и два француза что-то говорили надъ нимъ. Пьеръ не оглядывался больше. Онъ шелъ, прихрамывая, въ гору.

Сзади, съ того мѣста, гдѣ сидѣлъ Каратаевъ, послышался выстрѣлъ. Пьеръ слышалъ явственно этотъ выстрѣлъ, но въ то же мгновеніе, какъ онъ услыхалъ его, Пьеръ вспомнилъ, что онъ не кончилъ еще начатое передъ проѣздомъ маршала вычисленіе о томъ, сколько переходовъ оставалось до Смоленска. И онъ сталъ считать. Два французскіе солдата, изъ которыхъ одинъ держалъ въ рукѣ снятое, дымящееся ружье, пробѣжали мимо Пьера. Они оба были блѣдны и въ выраженіи ихъ лицъ—одинъ изъ нихъ робко взглянулъ на Пьера—было что-то похожее на то, что онъ видѣлъ въ молодомъ солдатѣ на казни. Пьеръ посмотрѣлъ на солдата и вспо-

мнилъ о томъ, какъ этотъ солдатъ третьягодня сжегъ, высушивая на кострѣ, свою рубаху и какъ смѣялись надъ нимъ.

Собака завыла сзади, съ того мѣста, гдѣ сидѣлъ Каратаевъ. „Экая дура, о чемъ она воетъ?“—подумалъ Пьеръ.

Солдаты, товарищи, шедшіе рядомъ съ Пьеромъ, не оглядывались такъ же, какъ и онъ на то мѣсто, съ котораго послышался выстрѣлъ и потомъ вой собаки, но строгое выраженіе лежало на всѣхъ лицахъ.

„Жизнь есть все. Жизнь есть Богъ. Все перемѣщается и движется, и это движеніе есть Богъ. И пока есть жизнь, есть наслажденіе самосознанія Божества. Любить жизнь, любить Бога. Труднѣе и блаженнѣе всего любить эту жизнь въ своихъ страданіяхъ, въ безвинности страданій“.—„Каратаевъ!“—вспомнилось Пьеру.

И вдругъ Пьеру представился, какъ живой, давно забытый, кроткій старичокъ учитель, который въ Швейцаріи преподавалъ Пьеру географію. — „Постой“,—сказалъ старичокъ. И онъ показалъ Пьеру глобусъ. Глобусъ этотъ былъ живой, колеблющійся шаръ, не имѣющій размѣровъ. Вся поверхность шара состояла изъ капель, плотно сжатыхъ между собой. И капли эти всѣ двигались, перемѣщались и то сливались изъ нѣсколькихъ въ одну, то изъ одной раздѣлялись на многія. Каждая капля стремилась разлитъ, захватить наибольшее пространство, но другія, стремясь къ тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались съ нею.— „Вотъ жизнь“,—сказалъ старичокъ-учитель.

„Какъ это просто и ясно, — подумалъ Пьеръ. — Какъ я могъ не знать этого прежде. Въ серединѣ Богъ, и каждая капля стремится расшириться, чтобы въ наибольшихъ размѣрахъ отражать Его. И растетъ, и сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходитъ въ глубину и опять всплываетъ. Вотъ онъ, Каратаевъ, вотъ разлился и исчезъ.“

Наполеонъ. „Отъ величественнаго до смѣшного только одинъ шагъ“ (онъ что-то величественное видитъ въ себѣ)—говоритъ онъ. И весь міръ 50 лѣтъ повторяетъ: величественное! великое! Наполеонъ великій. Отъ величественнаго до смѣшного только шагъ.

И никому въ голову не придетъ, что признаніе величія, не измѣримаго мѣрой хорошаго и дурного, есть только признаніе своей ничтожности и неизмѣримой малости.

Для насъ, съ данной намъ Христомъ мѣрой хорошаго и дурного, нѣтъ дурного, нѣтъ неизмѣримаго. И нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды.

Наташа и княжна Марья.—„Маша, — сказала она, робко притянувъ къ себѣ ея руку, — Маша, ты не думай, что я дурная. Нѣтъ? Маша, голубушка. Какъ я тебя люблю. Будемъ совсѣмъ, совсѣмъ друзьями“.

И Наташа, обнимая, стала цѣловать руки и лицо княжны Марья. Княжна Марья стыдилась и радовалась этому выраженію чувствъ Наташи.

Съ этого дня между княжной Марьей и Наташей установилась та страстная и нѣжная дружба, которая бываетъ только между женщинами.— Онѣ безпрестанно цѣловались, говорили другъ другу нѣжныя слова и болѣ-

пую часть времени проводили вмѣстѣ. Если одна выходила, то другая была безпокойна и спѣшила присоединиться къ ней. Онѣ вдвоемъ чувствовали большее согласіе между собой, чѣмъ порознь, каждая сама съ собою. Между ними установилось чувство сильнѣйшее, чѣмъ дружба: это было исключительное чувство возможности жизни только въ присутствіи другъ друга.

Иногда онѣ молчали цѣлые часы; иногда, уже лежа въ постеляхъ, онѣ начинали говорить и говорили до утра. Онѣ говорили большей частью о дальнемъ прошедшемъ. Княжна Марья рассказывала про свое дѣтство, про свою мать, про своего отца, про свои мечтанія, и Наташа, прежде съ спокойнымъ непониманіемъ отворачивавшаяся отъ этой жизни преданности, покорности, отъ поэзіи христіанскаго самоотверженія, теперь, чувствуя себя связанной любовью съ княжной Марьей, полюбила и прошедшее княжны Марьи и поняла непонятную ей прежде сторону жизни. Она не думала прилагать къ своей жизни покорность и самоотверженіе, потому что она привыкла искать другихъ радостей, но она поняла и полюбила въ другой эту, прежде непонятную ей, добродѣтель. Для княжны Марьи, слушавшей рассказы о дѣтствѣ и первой молодости Наташи, тоже открывалась прежде непонятная сторона жизни, вѣра въ жизнь, въ наслажденія жизни.

Онѣ все точно такъ же никогда не говорили про *него* съ тѣмъ, чтобы не нарушать словами, какъ имъ казалось, той высоты чувства, которая была въ нихъ, а это умолчаніе о немъ дѣлало то, что понемногу, не вѣря этому, онѣ забывали его.

Кутузовъ. Въ 12 и 13 годахъ Кутузова прямо обвиняли за ошибки. Государь былъ недоволенъ имъ. И въ исторіи, написанной недавно по высочайшему повелѣнію, сказано, что Кутузовъ былъ хитрый придворный лжецъ, боявшійся имени Наполеона и своими ошибками подъ Краснымъ и подъ Березиною лишившій русскія войска славы полной побѣды надъ французами ¹⁾.

Такова судьба великихъ людей, не *grand-homme*, которыхъ не признаетъ русскій умъ; а судьба тѣхъ рѣдкихъ, всегда одинокихъ людей, которые, постигая волю Провидѣнія, подчиняютъ ей свою личную волю. Ненависть и презрѣніе толпы наказываютъ этихъ людей за прозрѣніе высшихъ законовъ.

Для русскихъ историковъ — странно и страшно сказать — Наполеонъ, это ничтожнѣйшее орудіе исторіи, никогда и нигдѣ, даже въ изгнаніи, не выказавшій человѣческаго достоинства, Наполеонъ есть предметъ восхищенія и восторга; онъ *grand*. Кутузовъ же, тотъ человекъ, который отъ начала и до конца своей дѣятельности въ 1812 году, отъ Бородина и до Вильны, ни разу ни однимъ дѣйствіемъ, ни словомъ не измѣняя себѣ, являетъ необычайный въ исторіи примѣръ самоотверженія и сознанія въ настоящемъ будущаго значенія событія, — Кутузовъ представляется имъ чѣмъ-то неопредѣленнымъ и жалкимъ и, говоря о Кутузовѣ и 12 годѣ, имъ всегда какъ будто немножко стыдно.

¹⁾ Исторія 1812 года Богдановича, характеристика Кутузова и разсужденіе о неудовлетворительности результатовъ Красненскихъ сраженій.

А между тѣмъ, трудно себѣ представить историческое лицо, дѣятельность котораго такъ неизмѣнно постоянно была бы направлена къ одной и той же цѣли. Трудно вообразить себѣ цѣль болѣе достойную и болѣе совпадающую съ волею всего народа. Еще труднѣе найти другой примѣръ въ исторіи, гдѣ бы цѣль, которую поставило себѣ историческое лицо, была бы такъ совершенно достигнута, какъ та цѣль, къ достиженію которой была направлена вся дѣятельность Кутузова въ 12 году.

Кутузовъ никогда не говорилъ о 40 вѣкахъ, которые смотрятъ съ пирамидъ, о жертвахъ, которыя онъ приносить отечеству, о томъ, что онъ намѣренъ совершить или совершилъ; онъ вообще ничего не говорилъ о себѣ, не игралъ никакой роли, казался всегда самымъ простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ и говорилъ самыя простыя и обыкновенныя вещи. Онъ писалъ письма своимъ дочерямъ и м-ше Сталь, читалъ романы, любилъ общество красивыхъ женщинъ, шутилъ съ генералами, офицерами и солдатами и никогда не противорѣчилъ тѣмъ людямъ, которые хотѣли ему что-нибудь доказывать. Когда графъ Растопчинъ на Яузскомъ мосту подсккалъ къ Кутузову съ личными упреками о томъ, кто виноватъ въ гибели Москвы, и сказалъ:—„Какъ же вы общали не оставлять Москвы, не давъ сраженія?“—Кутузовъ отвѣчалъ:—„Я и не оставлю Москвы безъ сраженія“, несмотря на то, что Москва была уже оставлена. Когда пріѣхавшій къ нему отъ государя Аракчеевъ сказалъ, что надо бы Ермолова назначить начальникомъ артиллеріи, Кутузовъ отвѣчалъ:—„Да я и самъ только-что говорилъ это“,—хотя онъ за минуту говорилъ совсѣмъ другое. Какое дѣло было ему, одному понимавшему тогда весь громадный смыслъ событія, среди безтолковой толпы, окружавшей его, какое ему дѣло было до того, къ себѣ или къ нему отнесетъ графъ Растопчинъ бѣдствіе столицы? Еще менѣе могло занимать его то, кого назначать начальникомъ артиллеріи.

Не только въ этихъ случаяхъ, но безпрестанно этотъ старый человѣкъ, дошедшій опытомъ жизни до убѣжденія въ томъ, что мысли и слова, служащія имъ выраженіемъ, не суть двигатели людей, говорилъ слова совершенно безсмысленныя,—первыя, которыя ему приходили въ голову.

Но этотъ самый человѣкъ, такъ пренебрегавшій своими словами, ни разу во всю свою дѣятельность не сказалъ ни одного слова, которое было бы не согласно съ той единственной цѣлью, къ достиженію которой онъ шелъ во время всей войны. Очевидно, невольно, съ тяжелой увѣренностью, что не поймутъ его, онъ неоднократно въ самыхъ разнообразныхъ обстоятельствахъ высказывалъ свою мысль. Начиная отъ Бородинскаго сраженія, съ котораго начался его разладъ съ окружающими, онъ одинъ говорилъ, что *Бородинское сраженіе есть побѣда*, и повторялъ это и изустно, и въ рапортахъ; и въ донесеніяхъ, до самой своей смерти. Онъ одинъ сказалъ, что *потеря Москвы не есть потеря Россіи*. Онъ въ отвѣтъ Лористону на предложенія о мирѣ отвѣчалъ, что *мира не можетъ быть, потому что таковая воля народа*; онъ одинъ во время отступленія французовъ говорилъ, что *всѣ наши маневры не нужны, что все сдѣлается само собою лучше, чѣмъ мы тою желаемъ, что непріятелю надо дать золотой мостъ, что ни Тару-*

тинское, ни Вяземское, ни Красненское сраженія не нужны, что съ чѣмъ-нибудь надо придти на границу, что за десять французовъ онъ не отдастъ одного русскаго.

И онъ одинъ, этотъ придворный человѣкъ, какъ намъ изображаютъ его, человѣкъ, который лжетъ Аракчееву съ цѣлью угодить государю,—онъ одинъ, этотъ придворный человѣкъ, въ Вильно, тѣмъ заслуживая немилость государя, говорить, что *дальнѣйшая война за границей вредна и бесполезна*.

Но одни слова не доказали-бы, что онъ тогда понималъ значеніе событія. Дѣйствія его—всѣ безъ малѣйшаго отступленія, всѣ направлены къ одной и той же троякой цѣли: 1) напяркъ всѣ свои силы для столкновенія съ французами, 2) побѣдить ихъ и 3) изгнать изъ Россіи, облегчая, насколько возможно, бѣдствія народа и войска.

Онъ, тотъ медлитель Кутузовъ, котораго девизъ есть терпѣніе и время, врагъ рѣшительныхъ дѣйствій, онъ даетъ Бородинское сраженіе, облекая приготовленія къ нему въ безпримѣрную торжественность. Онъ, тотъ Кутузовъ, который въ Аустерлицкомъ сраженіи, прежде начала его, говоритъ, что оно будетъ проиграно, въ Бородинѣ, несмотря на увѣренія генераловъ о томъ, что сраженіе проиграно, несмотря на неслыханный въ исторіи примѣръ того, что послѣ выиграннаго сраженія войско должно отступать, онъ одинъ, въ противность всѣмъ, до самой смерти утверждаетъ, что Бородинское сраженіе—побѣда. Онъ одинъ во все время отступленія настаиваетъ на томъ, чтобы не давать сраженій, которыя теперь бесполезны, не начинать новой войны и не переходить границъ Россіи.

Теперь понятъ значеніе событія, если только не прилагать къ дѣятельности массъ цѣлей, которыя были въ головѣ десятка людей, легко, такъ какъ все событіе съ его послѣдствіями лежитъ передъ нами.

Но какимъ образомъ тогда этотъ старый человѣкъ, одинъ, въ противность мнѣнія всѣхъ, могъ угадать такъ вѣрно значеніе народнаго смысла событія, что ни разу во всю свою дѣятельность не измѣнилъ ему?

Источникъ этой необычайной силы прозрѣнія въ смыслъ совершающихся явленій лежалъ въ томъ народномъ чувствѣ, которое онъ носилъ въ себѣ во всей чистотѣ и силѣ его.

Только признаніе въ немъ этого чувства заставило народъ такими странными путями, въ немилости находящагося старика, выбрать его, противъ воли царя, въ представители народной войны. И только это чувство поставило его на ту высшую человѣческую высоту, съ которой онъ, главнокомандующій, направлялъ всѣ свои силы не на то, чтобы убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать и жалѣть ихъ.

Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улесться въ ту лживую форму европейскаго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія.

Для лакея не можетъ быть великаго человѣка, потому что у лакея свое понятіе о величіи.

— „Что ты говоришь?—спросилъ онъ у генерала, продолжавшаго докладывать и обращающаго вниманіе главнокомандующаго на французскія

взятія знамена, стоявшія передъ фронтомъ Преображенскаго полка. — А, знамена! — сказалъ Кутузовъ, видимо съ трудомъ отрываясь отъ предмета, занимавшаго его мысли. Онъ разсѣянно оглянулся. Тысячи глазъ со всѣхъ сторонъ, ожидая его слова, смотрѣли на него.

Передъ Преображенскимъ полкомъ онъ остановился, тяжело вздохнулъ и закрылъ глаза. Кто-то изъ свиты махнулъ, чтобы державшіе знамена солдаты подошли и поставили ихъ древками знаменъ вокругъ главнокомандующаго. Кутузовъ помолчалъ нѣсколько секундъ и видимо неохотно, подчиняясь необходимости своего положенія, поднялъ голову и началъ говорить. Толпы офицеровъ окружили его. Онъ внимательнымъ взглядомъ обвелъ кругомъ офицеровъ, узнавъ нѣкоторыхъ изъ нихъ

— „Благодарю всѣхъ! — сказалъ онъ, обращаясь къ солдатамъ и опять къ офицерамъ. Въ тишинѣ, воцарившейся вокругъ него, отчетливо слышны были его медленно выговариваемыя слова. — Благодарю всѣхъ за трудную и вѣрную службу. Побѣда совершенная, и Россія не забудетъ васъ. Вамъ слава во-вѣки! — Онъ помолчалъ, оглядываясь. — Нагни, нагни ему головуто, — сказалъ онъ солдату, державшему французскаго орла и нечаянно опустившему его передъ знаменемъ Преображенцевъ. — Пониже, пониже, такъ-то вотъ. Ура! ребята“, — быстрымъ движеніемъ подбородка, обратясь къ солдатамъ, проговорилъ онъ. — „Ура-ра-ра!“ — заревѣли тысячи голосовъ.

Пока кричали солдаты, Кутузовъ, согнувшись на сѣдлѣ, склонилъ голову, и глазъ его засвѣтился кроткимъ, какъ-будто насмѣшливымъ, блескомъ.

— „Вотъ что, братцы...“ — сказалъ онъ, когда замолкли голоса.

И вдругъ голосъ и выраженіе лица его измѣнилось: пересталъ говорить главнокомандующій, а заговорилъ простой, старый человѣкъ, очевидно что-то самое нужное желавшій сообщить теперь своимъ товарищамъ.

Въ толпѣ офицеровъ и въ рядахъ солдатъ произошло движеніе, чтобы яснѣе слышать то, что онъ скажетъ теперь.

— „А вотъ что, братцы. Я знаю, трудно вамъ, да что-же дѣлать! Потерпите: не долго осталось. Выпроводимъ гостей, отдохнемъ тогда. За службу вашу васъ царь не забудетъ. Вамъ трудно, да все-же вы дома, а они — видите, до чего они дошли, — сказалъ онъ, указывая на плѣнныхъ. — Хуже нищихъ послѣднихъ. Пока они были сильны, мы себя не жалѣли, а теперь ихъ и пожалѣть можно. Тоже и они люди. Такъ, ребята?“

Онъ смотрѣлъ вокругъ себя и въ упорныхъ почтительно недоумѣвающихъ, устремленныхъ на него взглядахъ онъ читалъ сочувствіе своимъ словамъ: лицо его становилось все свѣтлѣе и свѣтлѣе отъ старческой кроткой улыбки, звѣздами морщившейся въ углахъ губъ и глазъ. Онъ помолчалъ и какъ-бы въ недоумѣніи опустилъ голову

— „А и то сказать, кто-же ихъ къ намъ звалъ? Подѣломъ, м... и... в.г...“, — вдругъ сказалъ онъ, поднявъ голову. И взмахнувъ нагайкой, онъ галопомъ, въ первый разъ во всю кампанію, поѣхалъ прочь отъ радостно кохотавшихъ и ревѣвшихъ ура разстроивавшихъ ряды солдатъ.

Слова, сказанныя Кутузовымъ, едва-ли были поняты войсками. Никто

не сумѣлъ-бы передать содержанія сначала торжественной и подъ конецъ простодушно-стариковской рѣчи фельдмаршала, но сердечный смыслъ этой рѣчи не только былъ понятъ, но то самое, то самое чувство величественнаго торжества въ соединеніи съ жалостью къ врагамъ и сознаніемъ своей правоты, выраженнаго этимъ, именно этимъ стариковскимъ, добродушнымъ ругательствомъ,—это самое чувство лежало въ душѣ каждого солдата и выразилось радостнымъ, долго неумолкавшимъ крикомъ. Когда послѣ этого одинъ изъ генераловъ, съ вопросомъ о томъ, не прикажетъ-ли главнокомандующій пріѣхать коляскѣ, обратился къ нему, Кутузовъ, отвѣчая, неожиданно всхлипнулъ, видимо находясь въ сильномъ волненіи.

Пьеръ послѣ освобожденія изъ плѣна.—„Ахъ, какъ хорошо! Какъ славно!—говорилъ онъ себѣ, когда ему подвигали чисто накрытый столъ съ душистымъ бульономъ, или когда онъ на ночь ложился на мягкую чистую постель, или когда ему вспоминалось, что жены и французовъ нѣтъ больше.—Ахъ, какъ хорошо, какъ славно.—И по старой привычкѣ онъ дѣлалъ себѣ вопросъ: — ну, а потомъ что? что я буду дѣлать? И тотчасъ-же онъ отвѣчалъ себѣ: ничего. Буду жить. Ахъ, какъ славно!“

То самое, чѣмъ онъ прежде мучился, чего онъ искалъ постоянно, цѣли жизни, теперь для него не существовало. Эта искомая цѣль жизни теперь не случайно не существовала для него только въ настоящую минуту, но онъ чувствовалъ, что ея нѣтъ и не можетъ быть. И это-то отсутствіе цѣли давало ему то полное, радостное сознаніе свободы, которое въ это время составляло его счастье.

Онъ не могъ имѣть цѣли, потому что онъ теперь имѣлъ вѣру, — не вѣру въ какія-нибудь правила, или слова, или мысли, но вѣру въ живого, всегда ощущаемаго Бога. Прежде онъ искалъ Его въ цѣляхъ, которыя онъ ставилъ себѣ. Это исканіе цѣли было только исканіе Бога; и вдругъ онъ узналъ въ своемъ плѣну не словами, не разсужденіями, но непосредственнымъ чувствомъ то, что ему давно ужъ говорила нянюшка: что Богъ вотъ Онъ, тутъ, вездѣ. Онъ въ плѣну узналъ, что Богъ въ Каратаевѣ болѣе великъ, безконеченъ и непостижимъ, чѣмъ въ признаваемомъ масонами Архитектонѣ вселенной. Онъ испытывалъ чувство челоуѣка, нашедшаго искомое у себя подъ ногами, тогда какъ онъ напрягалъ зрѣніе, глядя далеко отъ себя. Онъ всю жизнь свою смотрѣлъ туда куда-то, поверхъ головъ окружающихъ людей, а надо было не напрягать глазъ, а только смотрѣть передъ собой.

Онъ не умѣлъ видѣть прежде великаго, непостижимаго и безконечнаго ни въ чемъ. Онъ только чувствовалъ, что оно должно быть гдѣ-то и искалъ его. Во всемъ близкомъ, понятномъ, онъ видѣлъ одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное. Онъ вооружался умственной зрительной трубой и смотрѣлъ вдаль, туда, гдѣ это мелкое житейское, скрываясь въ туманной дали, казалось ему великимъ и безконечнымъ, оттого только, что оно было не ясно видимо. Такимъ ему представлялась европейская жизнь, политика, масонство, философія, филантропія. Но и тогда, въ тѣ минуты, которыя онъ считалъ своей слабостью, умъ его проникалъ и въ

эту даль, и тамъ онъ видѣлъ то же мелкое, житейское, бессмысленное. Теперь-же онъ выучился видѣть великое, вѣчное и безконечное во всемъ, и потому естественно, чтобы видѣть его, чтобы наслаждаться его созерцаніемъ, онъ бросилъ трубу, въ которую смотрѣлъ до сихъ поръ черезъ головы людей, и радостно созерцалъ вокругъ себя вѣчно измѣняющуюся, вѣчно великую, непостижимую и безконечную жизнь. И чѣмъ ближе онъ смотрѣлъ, тѣмъ больше онъ былъ спокоенъ и счастливъ. Прежде разрушавшій все его умственные постройки, страшный вопросъ: зачѣмъ? теперь для него не существовалъ. Теперь на этотъ вопросъ—зачѣмъ? въ душѣ его всегда готовъ былъ простой отвѣтъ: зачѣмъ, что есть Богъ, тотъ Богъ, безъ воли котораго не спадетъ волосъ съ головы человѣка.

Пьеръ почти не измѣнился въ своихъ внѣшнихъ приемахъ. На видъ онъ былъ точно такимъ-же, какимъ онъ былъ прежде. Такъ-же, какъ и прежде, онъ былъ разсѣянъ и казался занятымъ не тѣмъ, что было передъ глазами, а чѣмъ-то своимъ, особеннымъ. Разница между прежнимъ и теперешнимъ его состояніемъ состояла въ томъ, что прежде, когда онъ забывалъ то, что было передъ нимъ, то, что ему говорили, онъ, страдальчески сморщивши лобъ, какъ будто пытался и не могъ разглядѣть чего-то, далеко отстоящаго отъ него. Теперь онъ такъ-же забывалъ то, что ему говорили и то, что было передъ нимъ; но теперь съ чуть замѣтной, какъ будто насмѣшливой улыбкой, онъ всматривался въ то самое, что было передъ нимъ, вслушивался въ то, что ему говорили, хотя очевидно видѣлъ и слышалъ что-то совсѣмъ другое. Прежде онъ казался хотя и добрымъ человѣкомъ, но несчастнымъ, и потому невольно люди отдалялись отъ него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла около его рта, и въ глазахъ его свѣтилось участіе къ людямъ,—вопросъ: довольны-ли они такъ-же, какъ и онъ? И людямъ пріятно было въ его присутствіи.

Пережѣна, происшедшая въ Пьерѣ, была замѣчена по своему и его слугами—Терентіемъ и Васькой. Они находили, что онъ много попростѣлъ. Терентій часто, раздѣвъ барина, съ сапогами и платьемъ въ рукѣ, пожелавъ покойной ночи, медлилъ уходить, ожидая, не вступитъ-ли баринъ въ разговоръ. И большею частью Пьеръ останавливалъ Терентія, замѣчая, что ему хочется поговорить.

— „Ну, такъ скажи мнѣ... да какъ-же вы доставали себѣ ѣду?“—спрашивалъ онъ. — И Терентій начиналъ рассказъ о Московскомъ разореніи, о покойномъ графѣ и долго стоялъ съ платьемъ, рассказывая, а иногда слушая рассказы Пьера, и съ пріятнымъ сознаніемъ близости къ себѣ барина и дружелюбія къ нему уходилъ въ переднюю.

Докторъ, лѣчившій Пьера и навѣщавшій его каждый день, несмотря на то, что, по обязанности докторовъ, считалъ своимъ долгомъ имѣть видъ человѣка, каждая минута котораго драгоцѣнна для страждущаго человѣчества, засиживался часами у Пьера, рассказывая свои любимыя исторіи и наблюденія надъ нравами больныхъ вообще и въ особенности дамъ.

— „Да, вотъ съ такимъ человѣкомъ поговорить пріятно, не то, что у насъ въ провинціи“,—говорилъ онъ.

Въ Орлѣ жило нѣсколько плѣнныхъ французскихъ офицеровъ, и докторъ привелъ одного изъ нихъ, молодого итальянскаго офицера.

Офицеръ этотъ сталъ ходить къ Пьеру, и княжна смѣялась надъ тѣми нѣжными чувствами, которыя выражалъ итальянецъ къ Пьеру.

Итальянецъ видимо былъ счастливъ только тогда, когда онъ могъ приходить къ Пьеру и разговаривать и рассказывать ему про свое прошедшее, про свою домашнюю жизнь, про свою любовь и изливать ему свое негодование на французовъ и въ особенности на Наполеона.

— „Ежели всѣ русскіе хотя немножко похожи на васъ,—говорилъ онъ Пьеру,—это кощунство воевать съ такимъ народомъ, какъ вы. Вы, пострадавшіе столько отъ французовъ, вы даже злобы не имѣете противъ нихъ“.

И страстную любовь итальянца Пьеръ теперь заслужилъ только тѣмъ, что онъ вызывалъ въ немъ лучшія стороны его души и любовался ими.

Въ отношеніяхъ своихъ съ Вилларскимъ, съ княжною, съ докторомъ, со всѣми людьми, съ которыми онъ встрѣчался теперь, въ Пьерѣ была новая черта, заслуживавшая ему расположеніе всѣхъ людей: — это признаніе возможности каждаго человѣка думать, чувствовать и смотрѣть на вещи по своему; признаніе невозможности словами разубѣдить человѣка. Эта законная особенность каждаго человѣка, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участія и интереса, которые онъ принималъ въ людяхъ. Различіе, иногда совершенное противорѣчіе взглядовъ людей съ своею жизнью и между собою радовало Пьера и вызывало въ немъ насмѣшливую и кроткую улыбку.

Пьеръ испытывалъ, во все время своего выздоровленія въ Орлѣ, чувство радости, свободы, жизни; но когда онъ, во время своего путешествія, очутился на вольномъ свѣтѣ, увидалъ сотни новыхъ лицъ, чувство это еще болѣе усилилось. Онъ все время путешествія испытывалъ радость школьника на вакаціи. Всѣ лица: ямщикъ, смотритель, мужики на дорогѣ или въ деревнѣ,—всѣ имѣли для него новый смыслъ. Присутствіе и замѣчанія Вилларскаго, постоянно жаловавшагося на бѣдность, отсталость отъ Европы, невѣжество Россіи, только возвышали радость Пьера. Тамъ, гдѣ Вилларскій видѣлъ мертвенность, Пьеръ видѣлъ необычайно могучую силу жизненности, ту силу, которая въ снѣгу, на этомъ пространствѣ, поддерживала жизнь этого цѣлаго, особеннаго и единаго народа. Онъ не противорѣчилъ Вилларскому и, какъ будто соглашаясь съ нимъ (такъ какъ притворное согласіе было кратчайшее средство обойти разсужденія, изъ которыхъ ничего не могло выйти), радостно улыбался, слушая его.

Побужденія людей, стремящихся со всѣхъ сторонъ въ Москву послѣ ея очищенія отъ врага, были самыя разнообразныя, личныя и въ первое время, большей частью—дикія, животныя. Одно только побужденіе было общее всѣмъ—стремленіе туда, въ то мѣсто, которое прежде называлось Москвой, для приложенія тамъ своей дѣятельности.

Черезъ недѣлю въ Москвѣ уже было 15 тысячъ жителей, чрезъ двѣ было 25 тысячъ и т. д. Все возвышаясь и возвышаясь, число это къ осени 1813 года дошло до цифры, превосходящей населеніе 12-го года.

Первые русскіе люди, которые вступили въ Москву, были казаки отряда Винцингероде, мужики изъ сосѣднихъ деревень и бѣжавшіе изъ Москвы и скрывавшіеся въ ея окрестностяхъ жители. Вступившіе въ разоренную Москву, русскіе, заставъ ее разграбленною, стали тоже грабить. Они продолжали то, что дѣлали французы. Обозы мужиковъ пріѣзжали въ Москву съ тѣмъ, чтобы увозить по деревнямъ все, что было брошено по разореннымъ московскимъ домамъ и улицамъ. Казаки увозили, что могли, въ свои ставки; хозяева домовъ забирали все то, что они находили въ другихъ домахъ и переносили къ себѣ подъ предлогомъ, что это была ихъ собственность.

Но за первыми грабителями пріѣзжали другіе, третьи, и грабежъ съ каждымъ днемъ, по мѣрѣ увеличенія грабителей, становился труднѣе и труднѣе и принималъ болѣе опредѣленные формы.

Французы застали Москву хотя и пустою, но со всѣми формами органически-правильно жившаго города, съ его различными отправлениями торговли, ремеслъ, роскоши, государственнаго управленія, религіи. Формы эти были безжизненны, но онѣ еще существовали. Были ряды, лавки.

Пьеръ.—„Говорятъ: несчастія—страданія,—сказалъ Пьеръ.—Да, ежели бы сейчасъ, сию минуту мнѣ сказали: хочешь оставаться, чѣмъ ты былъ до плѣна, или сначала пережить все это? Ради Бога, еще разъ плѣнъ и лошадиное мясо. Мы думаемъ, что какъ насъ выкинетъ изъ привычной дорожки, все пропало; а тутъ только начинается новое, хорошее. Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вамъ говорю“,—сказалъ онъ, обращаясь къ Наташѣ. — „Да, да,—сказала она, отвѣчая на совсѣмъ другое,—и я ничего бы не желала, какъ только пережить все сначала“.

Пьеръ внимательно смотрѣлъ на нее.

— „Да, и больше ничего“, — подтвердила Наташа. — „Неправда, неправда,—закричалъ Пьеръ.—Я не виноватъ, что я живъ и хочу жить, и вы тоже“.

Вдругъ Наташа опустила голову на руки и заплакала.

— „Что ты, Наташа?“—сказала княжна Марья. — „Ничего, ничего.— Она улыбалась сквозь слезы Пьеру.—Прощайте, пора спать“.

Пьеръ всталъ и простился.

Наташа. Съ перваго того вечера, когда Наташа, послѣ отъѣзда Пьера, съ радостно-насмѣшливой улыбкой сказала княжнѣ Марьѣ, что онъ точно, ну, точно изъ бани, и сюртучокъ, и стриженный, съ этой минуты что-то скрытое и самой ей неизвѣстное, но непреодолимое проснулось въ душѣ Наташи.

Все: лицо, походка, взглядъ, голосъ — все вдругъ измѣнилось въ ней. Неожиданныя для нея самой сила жизни, надежды на счастье всплыли наружу и требовали удовлетворенія. Съ перваго вечера Наташа какъ будто забыла все то, что съ ней было. Она съ тѣхъ поръ ни разу не пожаловалась на свое положеніе, ни одного слова не сказала о прошедшемъ и не боялась уже дѣлать веселые планы на будущее. Она мало говорила о Пьерѣ, но когда княжна Марья упоминала о немъ, давно потухшій блескъ зажигался въ ея глазахъ, и губы морщились странной улыбкой.

Перемена, происшедшая въ Наташѣ, сначала удивила княжну Марью, но когда она поняла ея значеніе, то перемена эта огорчила ее. Неужели она такъ мало любила брата, что такъ скоро могла забыть его, думала княжна Марья, когда она одна обдумывала происшедшую перемену. Но когда она была съ Наташей, то не сердилась на нее и не упрекала ее. Проснувшаяся сила жизни, охватившая Наташу, была очевидно такъ неудержима, такъ неожиданна для нея самой, что княжна Марья въ присутствіи Наташи чувствовала, что она не имѣла права упрекать ее даже въ душѣ своей.

Наташа съ такой полнотой и искренностью вся отдалась новому чувству, что и не пыталась скрывать, что ей было теперь не горестно, а радостно и весело.

Когда, послѣ ночного объясненія съ Пьеромъ, княжна Марья вернулась въ свою комнату, Наташа встрѣтила ее на порогѣ.

— „Онъ сказалъ? Да? Онъ сказалъ? — повторила она. И радостное и вмѣстѣ жалкое, просящее прощенія за свою радость, выраженіе остановилось на лицѣ Наташи. — Я хотѣла слушать у двери; но я знала, что ты скажешь мнѣ!“

Какъ ни понятенъ, какъ ни трогателенъ былъ для княжны Марьи тотъ взглядъ, которымъ смотрѣла на нее Наташа, какъ ни жалко ей было видѣть ея волненіе, но слова Наташи въ первую минуту оскорбили княжну Марью. Она вспомнила о братѣ, о его любви.

„Но что же дѣлать! она не можетъ иначе“, — подумала княжна Марья, и съ грустнымъ и нѣсколько строгимъ лицомъ передала она Наташѣ все, что сказалъ ей Пьеръ. Услыхавъ, что онъ собирается въ Петербургъ, Наташа изумилась.

— „Въ Петербургъ! — повторила она, какъ бы не понимая. Но взгляды въ грустное выраженіе лица княжны Марьи, она догадалась о причинѣ ея грусти и вдругъ заплакала. — Мари, — сказала она, — научи, что мнѣ дѣлать: я боюсь быть дурной. Что ты скажешь, то я и буду дѣлать; научи меня...“ — „Ты любишь его?“ — „Да“, — прошептала Наташа. — „Объ чемъ же ты плачешь? Я счастлива за тебя“ — сказала княжна Марья, за эти слезы простивъ уже совершенно радость Наташи.

Взглядъ г-на Толстого на исторію. Если допустить, какъ то дѣлаютъ историки, что великіе люди ведутъ человѣчество къ достиженію извѣстныхъ цѣлей, состоящихъ или въ величіи Россіи или Франціи, или въ равновѣсіи Европы, или въ разнесеніи идей революціи, или въ общемъ прогрессѣ, или въ чемъ бы то ни было, то невозможно объяснить явленій исторіи безъ понятій о *смыслѣ* и о *цѣли*.

Если цѣль европейскихъ войнъ начала нынѣшняго столѣтія состояла въ величіи Россіи, то эта цѣль могла быть достигнута безъ всѣхъ предшествовавшихъ войнъ и безъ нашествія. Если цѣль — величіе Франціи, то эта цѣль могла быть достигнута и безъ революціи и безъ имперіи. Если цѣль — распространеніе идей, то книгопечатаніе исполнило бы это гораздо лучше, чѣмъ солдаты. Если цѣль — прогрессъ цивилизаціи, то весьма легко пред-

положить, что, кромѣ истребленія людей и ихъ богатствъ, есть другіе болѣе цѣлесообразные пути для распространенія цивилизаціи.

Почему же это случилось такъ, а не иначе?

Потому что это такъ случилось. „Случай сдѣлалъ положеніе; *геній* воспользовался имъ“,—говоритъ исторія.

Но что такое *случай*? Что такое *геній*?

Слова *случай* и *геній* не обозначаютъ ничего дѣйствительно существующаго и потому не могутъ быть опредѣлены. Слова эти только обозначаютъ извѣстную степень пониманія явленій. Я не знаю, почему происходитъ такое-то явленіе; думаю, что не могу знать, потому не хочу знать и говорю: *случай*. Я вижу силу, производящую несоразмѣрное съ общечеловѣческими свойствами дѣйствіе; не понимаю, почему это происходитъ и говорю: *геній*.

Для стада барановъ тотъ баранъ, который каждый вечеръ отгоняется овчаромъ въ особый денникъ къ корму и становится вдвое толще другихъ, долженъ казаться *геніемъ*. И то обстоятельство, что каждый вечеръ именно этотъ самый баранъ попадаетъ не въ общую овчарню, а въ особый денникъ къ овсу, и что этотъ, именно этотъ самый баранъ, облитый жиромъ, убивается на мясо, должно представляться поразительнымъ соединеніемъ *геніальности* съ цѣлымъ рядомъ необычайныхъ случайностей.

Но баранамъ стоитъ только перестать думать, что все, что дѣлается съ ними, происходитъ только для достиженія ихъ бараньихъ цѣлей; стоитъ допустить, что происходящія съ ними событія могутъ имѣть и непонятныя для нихъ цѣли, и они тотчасъ-же увидятъ единство, послѣдовательность въ томъ, что происходитъ съ откармливаемымъ бараномъ. Ежели они и не будутъ знать, для какой цѣли онъ откармливался, то по крайней мѣрѣ они будутъ знать, что все случившееся съ бараномъ случилось не нечаянно, и имъ уже не будетъ нужды ни въ понятіи *случая*, ни въ понятіи *генія*.

Только отрѣшившись отъ знанія близкой понятной цѣли и признавъ, что конечная цѣль намъ недоступна, мы увидимъ цѣлесообразность въ жизни историческихъ лицъ; намъ откроется причина того несоразмѣрнаго съ общечеловѣческими свойствами дѣйствія, которое они производятъ, и не нужны будутъ намъ слова *случай* и *геній*.

Стоитъ только признать, что цѣль волненій европейскихъ народовъ намъ неизвѣстна, а извѣстны только факты, состоящіе въ убійствахъ, сначала во Франціи, потомъ въ Италіи, въ Африкѣ, въ Пруссіи, въ Австріи, въ Испаніи, въ Россіи, и что движеніе съ запада на востокъ и съ востока на западъ составляютъ сущность и цѣль событій, и намъ не только не нужно будетъ видѣть исключительность и *геніальность* въ характерахъ Наполеона и Александра, но нельзя будетъ представить себѣ эти лица иначе, какъ такими-же людьми, какъ и всѣ остальные; и не только не нужно будетъ объяснять *случайностью* тѣхъ мелкихъ событій, которыя сдѣлали этихъ людей тѣмъ, чѣмъ они были, но будетъ ясно, что всѣ эти мелкія событія были необходимы.

Отрѣшившись отъ знанія конечной цѣли, мы ясно поймемъ, что точно такъ-же, какъ ни къ одному растенію нельзя придумать другихъ, болѣе

соотвѣтственныхъ ему, цвѣта и сѣмени, чѣмъ тѣ, которое оно производитъ, точно также невозможно придумать другихъ двухъ людей, со всѣмъ ихъ прошедшимъ, которое соотвѣтствовало-бы до такой степени, до такихъ мельчайшихъ подробностей тому назначенію, которое имъ предлежало исполнить.

Основной, существенный смыслъ европейскихъ событій начала нынѣшняго столѣтія есть воинственное движеніе массъ европейскихъ народовъ съ запада на востокъ и потомъ съ востока на западъ. Первымъ зачинщикомъ этого движенія было движеніе съ запада на востокъ. Для того, чтобы народы запада могли совершить то воинственное движеніе до Москвы, которое они совершили, необходимо было: 1) чтобы они сложились въ воинственную группу такой величины, которая была-бы въ состояніи вынести столкновеніе съ воинственной группой востока; 2) чтобы они отрѣшились отъ всѣхъ установившихся преданій и привычекъ и 3) чтобы, совершая свое воинственное движеніе, они имѣли во главѣ своей человѣка, который и для себя и для нихъ могъ-бы оправдывать имѣющіе совершиться обманы, грабежи и убійства, которые сопутствовали этому движенію.

И начиная съ французской революціи, разрушается старая, недостаточно великая группа; уничтожаются старыя привычки и преданія; вырабатываются, шагъ за шагомъ, группа новыхъ размѣровъ, новыя привычки и преданія, и готовится тотъ человѣкъ, который долженъ стоять во главѣ будущаго движенія и нести на себѣ всю отвѣтственность имѣющаго совершиться.

Человѣкъ безъ убѣжденій, безъ привычекъ, безъ преданій, безъ имени, даже не французъ, самими, кажется, странными случайностями, продвигается между всѣми волнующими Францію партіями и, не приставаая ни къ одной изъ нихъ, выносится на замѣтное мѣсто.

Невѣжество сотоварищей, слабость и ничтожество противниковъ, искренность лжи и блестящая и самоуверенная ограниченность этого человѣка выдвигаютъ его во главу арміи. Блестящій составъ солдатъ итальянской арміи, нежеланіе драться противниковъ, ребяческая дерзость и самоуверенность пріобрѣтаютъ ему военную славу. Безчисленное количество такъ-называемыхъ случайностей сопутствуетъ ему вездѣ. Немилость, въ которую онъ впадаетъ у правителей французовъ, служить ему въ пользу. Попытки его измѣнить предназначенный ему путь не удаются: его не принимаютъ на службу въ Россію и не удается ему опредѣленіе въ Турцію. Во время войнъ въ Италіи, онъ нѣсколько разъ находится на краю гибели и всякій разъ спасается неожиданнымъ образомъ. Русскія войска, тѣ самцы, которые могутъ разрушить его славу, по разнымъ дипломатическимъ соображеніямъ, не вступаютъ въ Европу до тѣхъ поръ, пока онъ тамъ.

По возвращеніи изъ Италіи, онъ находитъ правительство въ Парижѣ въ томъ процессѣ разложенія, въ которомъ люди, попадающіе въ это правительство, неизбежно стираются и уничтожаются. И самъ собой для него является выходъ изъ этого опаснаго положенія, состоящій въ безсмысленной, безпричинной экспедиціи въ Африку. Опять тѣ же такъ-называемыя слу-

чайности сопутствуютъ ему. Непрístupная Мальта сдается безъ выстрѣла; самыя неосторожныя распоряженія увѣнчиваются успѣхомъ. Непріятельскій флотъ, который не пропуститъ послѣ ни одной лодки, пропускаетъ цѣлую армію. Въ Африкѣ надъ безоружными почти жителями совершается цѣлый рядъ злодѣяній. И люди, совершающіе злодѣянія эти, и въ особенности ихъ руководитель, увѣряютъ себя, что это прекрасно, что это слава, что это похоже на Кесаря и Александра Македонскаго, и что это хорошо.

Тотъ идеалъ *славы* и *величія*, состоящій въ томъ, чтобы не только ничего не считать для себя дурнымъ, но гордиться всякимъ своимъ преступленіемъ, приписывая ему непонятное сверхъестественное значеніе,—этотъ идеалъ, долженствующій руководить этимъ человѣкомъ и связанными съ нимъ людьми, на просторѣ вырабатывается въ Африкѣ. Все, что онъ ни дѣлаетъ, удается ему. Чума не пристаётъ къ нему. Жестокость убійства плѣнныхъ не ставится ему въ вину. Ребячески неосторожный, безпричинный и неблагородный отъѣздъ его изъ Африки, отъ товарищей въ бѣдѣ, ставится ему въ заслугу, и опять непріятельскій флотъ два раза выпускаетъ его. Въ то время, какъ онъ, уже совершенно одурманенный совершенными имъ счастливыми преступленіями, готовый для своей роли, безъ всякой цѣли пріѣзжаетъ въ Парижъ, то разложеніе республиканскаго правительства, которое могло погубить его годъ тому назадъ, теперь дошло до крайней степени, и присутствіе его, свѣжаго отъ партій человѣка, теперь только можетъ возвысить его.

Онъ не имѣетъ никакого плана; онъ всего бонется; по партіи ухватываются за него и требуютъ его участія.

Онъ одинъ, съ своимъ выработаннымъ въ Италіи и Египтѣ идеаломъ славы и величія, съ своимъ безуміемъ самообожанія, съ своей дерзостью преступленій, съ своей искренностью лжи,—онъ одинъ можетъ оправдать то, что имѣетъ совершиться.

Онъ нуженъ для того мѣста, которое ожидаетъ его, и потому, почти независимо отъ его воли и несмотря на его нерѣшительность, на отсутствіе плана, на всѣ ошибки, которыя онъ дѣлаетъ, онъ втягивается въ заговоръ, имѣющій цѣлью овладѣніе властью, и заговоръ увѣнчивается успѣхомъ.

Его вталкиваютъ въ засѣданіе правителей. Испуганный, онъ хочетъ бѣжать, считая себя погибшимъ; притворяется, что падаетъ въ обморокъ; говоритъ бессмысленныя вещи, которыя должны бы погубить его. Но правители Франціи, прежде смѣтливые и гордые, теперь, чувствуя, что роль ихъ сыграна, смущены еще болѣе чѣмъ онъ, говорятъ не тѣ слова, которыя имъ нужно бы было говорить, для того чтобы удержать власть и погубить его.

Случайность, миллионы *случайностей* даютъ ему власть, и всѣ люди, какъ бы сговорившись, содѣйствуютъ утвержденію этой власти. *Случайности* дѣлаютъ характеры тогдашнихъ правителей Франціи подчиняющимися ему; *случайности* дѣлаютъ характеръ Павла I, признающаго его власть; *случайность* дѣлаетъ противъ него заговоръ, не только не вредящій ему, но утверждающій его власть. *Случайность* посылаетъ ему въ руки Энгіенскаго и печально заставляетъ его убить, тѣмъ самымъ, сильнѣе всѣхъ другихъ

средствъ, убѣждая толпу, что онъ имѣетъ право, такъ какъ онъ имѣетъ силу. *Случайность* дѣлаетъ то, что онъ напрягаетъ всѣ силы на экспедицію въ Англію, которая очевидно погубила бы его, и никогда не исполняетъ этого намѣренія, а нечаянно нападаетъ на Мака съ австрійцами, которые сдаются безъ сраженія. *Случайность* и *геніальность* даютъ ему побѣду подъ Аустерлицомъ, и *случайно* всѣ люди, не только французы, но и вся Европа, за исключеніемъ Англіи, которая и не приметъ участія въ имѣющихъ совершиться событіяхъ, всѣ люди, несмотря на прежній ужасъ и отвращеніе къ его преступленіямъ, теперь признаютъ за нимъ его власть, названіе, которое онъ себѣ далъ, и его идеалъ величія и славы, который кажется всѣмъ чѣмъ-то прекраснымъ и разумнымъ.

Какъ бы примѣриваясь и приготавливаясь къ предстоящему движенію, силы запада нѣсколько разъ въ 1805, 6, 7, 9-мъ годахъ стремятся на востокъ, крѣпчая и нарастая. Въ 1811 году группа людей, сложившаяся во Франціи, сливается въ одну огромную группу съ серединными народами. Выѣстъ съ увеличивающейся группой людей дальше развивается сила оправданія человѣка, стоящаго во главѣ движенія. Въ десятилѣтній приготавительный періодъ времени, предшествующій большому движенію, человѣкъ этотъ сводится со всѣми коронованными лицами Европы. Разоблаченные владыки міра не могутъ противопоставить наполеоновскому идеалу *славы и величія*, не имѣющаго смысла, никакого разумнаго идеала. Одинъ передъ другимъ они стремятся показать ему свое ничтожество. Король прусскій посылаетъ свою жену заискивать милости великаго человѣка; императоръ Австріи считаетъ за милость то, что человѣкъ этотъ принимаетъ въ свое ложе дочь кесарей; папа, блюститель святости народовъ, служитъ своей религіей возвышенію великаго человѣка. Не столько самъ Наполеонъ приготавливаетъ себя для исполненія своей роли, сколько все окружающее готовитъ его къ принятію на себя всей отвѣтственности того, что совершается и имѣетъ совершиться. Нѣтъ поступка, нѣтъ злодѣянія или мелочнаго обмана, который бы онъ совершилъ и который тотчасъ же въ устахъ его окружающихъ не отразился бы въ формѣ великаго дѣянія. Лучшій праздникъ, который могутъ придумать для него германцы, это празднованіе Іены и Ауерштета. Не только онъ великъ, но велики его предки, его братья, его пасынки, зятья. Все совершается для того, чтобы лишить его послѣдней силы разума и приготовить къ его страшной роли. И когда онъ готовъ, готовы и силы. Нашествіе стремится на востокъ, достигаетъ конечной цѣли—Москвы. Столица взята; русское войско болѣе уничтожено, чѣмъ когда-нибудь были уничтожены непріятельскія войска въ прежнихъ войнахъ отъ Аустерлица до Ваграма. Но вдругъ вмѣсто тѣхъ *случайностей* и *геніальности*, которыя такъ послѣдовательно вели его до сихъ поръ непрерывнымъ рядомъ успѣховъ къ предназначенной цѣли, является безчисленное количество обратныхъ *случайностей*: отъ насморка въ Бородинѣ до морозовъ и искры, зажегшей Москву; и вмѣсто *геніальности* являются глупость и подлость, не имѣющія примѣровъ.

Нашествіе бѣжитъ, возвращается назадъ, опять бѣжитъ, и всѣ *слу-*

чайности постоянно теперь уже не за, а противъ него. Совершается противодвиженіе съ востока на западъ съ замѣчательнымъ сходствомъ съ предшествовавшимъ движеніемъ съ запада на востокъ. Тѣ же попытки движенія съ востока на западъ какъ въ 1805.—1807—1809-мъ годахъ предшествуютъ большому движенію; то же сцѣпленіе въ группу огромныхъ размѣровъ; то же приставаніе срединныхъ народовъ къ движенію; то же колебаніе въ срединѣ пути и та же быстрота, по мѣрѣ приближенія къ цѣли.

Парижъ,—крайняя цѣль достигнута. Наполеоновское правительство и войска разрушены. Самъ Наполеонъ не имѣетъ больше смысла; всѣ дѣйствія его очевидно жалки и гадки; но опять совершается необъяснимая случайность: союзники ненавидятъ Наполеона, въ которомъ они видятъ причину своихъ бѣдствій; лишенный силы и власти, изблеченный въ злодѣйствахъ и коварствахъ, онъ бы долженъ былъ представляться имъ такимъ, какимъ онъ представлялся имъ десять лѣтъ тому назадъ, и годъ послѣ—разбойникомъ внѣ закона. Но, по какой-то странной случайности, никто не видитъ этого. Роль его еще не кончена. Человѣка, котораго, десять лѣтъ тому назадъ и годъ послѣ, считали разбойникомъ внѣ закона, посылаютъ, въ два дня переѣзда отъ Франціи, на островъ, отдаваемый ему во владѣніе съ гвардіей и милліонами, которые платятъ ему за что-то.

Наполеонъ и Александръ I. Человѣкъ, опустошившій Францію, одинъ, безъ заговора, безъ солдатъ, приходитъ во Францію. Каждый сторожъ можетъ взять его; но, по странной случайности, никто не только не беретъ, но всѣ съ восторгомъ встрѣчаютъ того человѣка, котораго проклинали день тому назадъ и будутъ проклинять черезъ мѣсяцъ.

Человѣкъ этотъ нуженъ еще для оправданія послѣдняго совокупнаго дѣйствія.

Дѣйствіе совершено. Послѣдняя роль сыграна. Актеру велѣно раздѣться и смыть сурьму и румяны: онъ больше не понадобится.

И проходятъ нѣсколько лѣтъ въ томъ, что этотъ человѣкъ, въ одиночествѣ на своемъ островѣ, играетъ самъ передъ собою жалкую комедію, интригуетъ и лжетъ, оправдывая свои дѣянія, когда оправданіе это уже не нужно и показываетъ всему міру, что такое было то, что люди принимали за силу, когда невидимая рука водила имъ.

Распорядитель, окончивъ драму и раздѣвъ актера, показалъ его намъ.

— „Смотрите, чему вы вѣрили! Вотъ онъ! Видите ли вы теперь, что не онъ, а я двигалъ васъ?“

Но, ослѣпленные силой движенія, люди долго не понимали этого.

Еще большую послѣдовательность и необходимость представляетъ жизнь Александра I, того лица, которое стояло во главѣ противодвиженія съ востока на западъ.

Что нужно для того человѣка, который бы, заслоняя другихъ, стоялъ во главѣ этого движенія съ востока на западъ?

Нужно чувство справедливости, участіе къ дѣламъ Европы, но отдаленное, не затемненное мелочными интересами; нужно преобладаніе высоты нравственной надъ сотоварищами—государами того времени; нужна кроткая

и привлекательная личность; нужно личное оскорбленіе противъ Наполеона. И все это есть въ Александрѣ I; все это подготовлено безчисленными такъ-называемыми *случайностями* всей его прошедшей жизни: и воспитаніемъ, и либеральными начинаніями, и окружающими совѣтниками, и Аустерлицемъ, и Тильзитомъ, и Эрфуртомъ.

Во время народной войны лицо это бездѣйствуетъ, такъ какъ оно не нужно. Но какъ скоро является необходимость общей европейской войны, лицо это въ данный моментъ является на свое мѣсто, и соединяя европейскіе народы, ведетъ ихъ къ цѣли.

Цѣль достигнута. Послѣ послѣдней войны 1815 года Александръ находится на вершинѣ возможной человѣческой власти. Какъ же онъ употребляетъ ее?

Александръ I, умиротворитель Европы, человѣкъ съ молодыхъ лѣтъ стремившійся только къ благу своихъ народовъ, первый зачинщикъ либеральныхъ нововведеній въ своемъ отечествѣ, теперь, когда, кажется, онъ владѣетъ наибольшей властью и потому возможностью сдѣлать благо своихъ народовъ, въ то время какъ Наполеонъ въ изгнаніи дѣлаетъ дѣтскіе и лживые планы о томъ, какъ бы онъ осчастливилъ человѣчество, если бы имѣлъ власть, Александръ I, исполнивъ свое призваніе и почуявъ на себѣ руку Божію, вдругъ признаетъ ничтожность этой мнимой власти, отворачивается отъ нея, передаетъ ее въ руки презираемыхъ имъ и презрѣнныхъ людей и говоритъ только:

„Не намъ, не намъ, а имени Твоему! Я человѣкъ тоже, какъ и вы; оставьте меня жить, какъ человѣка, и думать о своей душѣ и о Богѣ“.

Какъ солнце и каждый атомъ эира есть шаръ, законченный въ самомъ себѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ только атомъ недоступнаго человѣку по огромности цѣлаго, такъ и каждая личность носить въ самой себѣ свои цѣли и между тѣмъ носить ихъ для того, чтобы служить недоступнымъ человѣку цѣлямъ общимъ.

Пчела, сидѣвшая на цвѣткѣ, ужалила ребенка. И ребенокъ боится пчелъ, говоритъ, что цѣль пчелы состоитъ въ томъ, чтобы жалить людей. Поэтъ любитъ пчелой, вливающейся въ чашечку цвѣтка, и говоритъ, — цѣль пчелы состоитъ во вливаніи въ себя аромата цвѣтовъ. Пчеловодъ, замѣчая, что пчела собираетъ цвѣточную пыль и приноситъ ее въ улей, говоритъ, что цѣль пчелы состоитъ въ собираніи меда. Другой пчеловодъ, ближе изучивъ жизнь роя, говоритъ, что пчела собираетъ пыль для выкармливанія молодыхъ пчелъ и выведенія матки, что цѣль ея состоитъ въ продолженіи рода. Ботаникъ замѣчаетъ, что, перелетая съ пылью двудомнаго цвѣтка на пестикъ, пчела оплодотворяетъ его, и ботаникъ въ этомъ видитъ цѣль пчелы. Другой, наблюдая переселеніе растений, видитъ, что пчела содѣйствуетъ этому переселенію, этотъ новый наблюдатель можетъ сказать, что въ этомъ состоитъ цѣль пчелы. Но конечная цѣль пчелы не исчерпывается ни тою, ни другою, ни третьей цѣлью, которая въ состояніи открыть умъ человѣческій. Чѣмъ выше поднимается умъ человѣческій въ открытіи этихъ цѣлей, тѣмъ очевиднѣе для него недоступность конечной цѣли.

Человѣку доступно только наблюденіе надъ соотвѣтственностью жизни

пчелы съ другими явленіями жизни. То же съ цѣлями историческихъ лицъ и народовъ.

Со времени своего замужества, Наташа жила съ мужемъ въ Москвѣ, въ Петербургѣ и подмосковной деревнѣ, и у матери, т.-е. у Николая. Въ обществѣ молодую графиню Безухую видѣли мало, и тѣ, которые видѣли, остались ею недовольны. Она не была ни мила, ни любезна. Наташа не то, что любила уединеніе (она не знала, любила-ли она или нѣтъ, ей даже казалось, что нѣтъ), но она нося, рождая и кормя дѣтей и принимая участіе въ каждой минутѣ жизни мужа, не могла удовлетворить этимъ потребностямъ иначе, какъ отказавшись отъ свѣта. Всѣ, знавшіе Наташу до замужества, удивлялись происшедшей въ ней перемѣнѣ, какъ чему-то необыкновенному.

Наташа замужемъ. Наташа не слѣдовала тому золотому правилу, проповѣдываемому умными людьми, въ особенности французами, и состоящему въ томъ, что дѣвушка, выходя замужъ, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще болѣе чѣмъ въ дѣвушкахъ заниматься своей внѣшностью, должна прельщать мужа такъ-же, какъ она прельщала не мужа. Наташа, напротивъ, бросила сразу всѣ свои очарованія, изъ которыхъ у ней было одно необычайно сильное — пѣніе. Она оттого и бросила его, что это было сильное очарованіе. Наташа не заботилась ни о своихъ манерахъ, ни о деликатности рѣчей, ни о томъ, чтобы показаться своему мужу въ самыхъ выгодныхъ позахъ, ни о своемъ туалетѣ, ни о томъ, чтобы не стѣснять мужа своею требовательностью. Она дѣлала все противное этимъ правиламъ. Она чувствовала, что тѣ очарованія, которыя инстинктъ ея научалъ употреблять прежде, теперь только были-бы смѣшны въ глазахъ ея мужа, которому она съ первой минуты отдалась вся—т.-е. всей душой, не оставивъ ни одного уголка не открытымъ для него. Она чувствовала, что связь ея съ мужемъ держалась не тѣми поэтическими чувствами, которыя привлекали его къ ней, а держалась чѣмъ-то другимъ, неопредѣленнымъ, но твердымъ, какъ связь ея собственной души съ тѣломъ.

Взбивать локоны, надѣвать роброны и пѣть романсы для того, чтобы привлечь къ себѣ своего мужа, показалось-бы ей такъ-же страннымъ, какъ украшать себя для того, чтобы быть самой собою довольной. Украшать-же себя для того, чтобы правиться другимъ, можетъ быть, это и было-бы пріятно ей — она не знала — но было совершенно некогда. Главная-же причина, по которой она не занималась ни пѣніемъ, ни туалетомъ, ни обдумываніемъ своихъ словъ, состояла въ томъ, что ей было совершенно некогда заниматься этимъ.

Извѣстно, что человѣкъ имѣетъ способность погружаться весь въ одинъ предметъ, какимъ-бы онъ ни казался ничтожнымъ. И извѣстно, что нѣтъ такого ничтожнаго предмета, который-бы при сосредоточенномъ вниманіи, обращенномъ на него, не разросся-бы до безконечности.

Предметъ, въ который погрузилась вполне Наташа—была семья, т.-е. мужъ, котораго надо было держать такъ, чтобы онъ нераздѣльно принадлежалъ ей, дому,—и дѣти, которыхъ надо было носить, рожать, кормить и воспитывать.

И чѣмъ больше она вникала, не умомъ, а всей душой, въ сущ-

ствомъ своимъ въ занимавшій ее предметъ, тѣмъ болѣе предметъ этотъ разростался подъ ея вниманіемъ и тѣмъ слабѣе и ничтожнѣе казались ей ея силы, такъ что она ихъ всѣ сосредоточивала на одно и то-же, и все-таки не успѣвала дѣлать всего того, что ей казалось нужно.

Толки и разсужденія о правахъ женщинъ, объ отношеніяхъ супруговъ, о свободѣ и правахъ ихъ, хотя и не назывались еще какъ теперь *вопросами*, были тогда точно такіе-же, какъ и теперь; но эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она рѣшительно не понимала ихъ.

Вопросы эти и тогда, какъ и теперь, существовали только для людей, которые въ бракѣ видятъ одно удовольствіе, получаемое супругами другъ отъ друга, т.-е. одно начало брака, а не все его значеніе, состоящее въ семьѣ.

Разсужденія эти и теперешніе вопросы, подобные вопросамъ о томъ, какимъ образомъ получить какъ можно болѣе удовольствія отъ обѣда, тогда, какъ и теперь, не существуютъ для людей, для которыхъ цѣль обѣда есть питаніе, и цѣль супружества—семья.

Если цѣль обѣда—питаніе тѣла, то тотъ, кто съѣстъ вдругъ два обѣда, достигнетъ можетъ быть большаго удовольствія, но не достигнетъ цѣли, ибо оба обѣда не переварятся желудкомъ.

Если цѣль брака есть семья, то тотъ, кто захочетъ имѣть много женъ и мужей, можетъ быть получить много удовольствія, но ни въ какомъ случаѣ не будетъ имѣть семьи.

Весь вопросъ, ежели цѣль обѣда есть питаніе, а цѣль брака — семья, разрѣшается только тѣмъ, чтобы не ѣсть больше того, что можетъ переварить желудокъ—и не имѣть больше женъ и мужей, чѣмъ столько, сколько нужно для семьи, т.-е. одной и одного. Наташѣ нуженъ былъ мужъ. Мужъ былъ данъ ей. И мужъ далъ ей семью. И въ другомъ лучшемъ мужѣ она не только не видѣла надобности, но такъ какъ всѣ силы душевныя ея были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и семьѣ, она и не могла себѣ представить и не видѣла никакого интереса въ представленіи о томъ, что-бы было, если-бъ было другое.

Наташа не любила общества вообще, но она тѣмъ болѣе дорожила обществомъ родныхъ—графини Марьи, брата, матери и Сони. Она дорожила обществомъ тѣхъ людей, къ которымъ она, растрепанная, въ халатѣ, могла выйти большими шагами изъ дѣтской съ радостнымъ лицомъ и показать неленку съ желтымъ вмѣсто зеленого пятномъ, и выслушать утѣшенія о томъ, что теперь ребенку гораздо лучше.

Наташа до такой степени опустила, что ея костюмы, ея прически, ея невпопадъ сказанныя слова, ея ревность — она ревновала къ Сонѣ, къ гувернантѣ, ко всякой красивой и некрасивой женщинѣ — были обычнымъ предметомъ шутокъ всѣхъ ея близкихъ. Общее мнѣніе было то, что Пьеръ былъ подъ баншикомъ своей жены, и дѣйствительно это было такъ. Съ самыхъ первыхъ дней ихъ супружества Наташа заявила свои требованія. Пьеръ удивился очень этому совершенно новому для него воззрѣнію жены, состоящему въ томъ, что каждая минута его жизни принадлежитъ ей и семьѣ; Пьеръ удивился требованіямъ своей жены, но былъ польщенъ ими и

подчинился имъ. Подвластность Пьера заключалась въ томъ, что онъ не смѣлъ не только ухаживать, но не смѣлъ съ улыбкой говорить съ другой женщиной, не смѣлъ ѣздить въ клубы на обѣды, *такъ*, для того, чтобы провести время, не смѣлъ расходовать деньги для прихотей, не смѣлъ уѣзжать на долгіе сроки, исключая какъ по дѣламъ, въ число которыхъ жена включала и его занятія науками, въ которыхъ она ничего не понимала, но которымъ она приписывала большую важность. Взамѣнъ этого, Пьеръ имѣлъ полное право у себя въ домѣ располагать не только самимъ собою, какъ онъ хотѣлъ, но и всею семьею. Наташа у себя въ домѣ ставила себя на ногу рабы мужа; и весь домъ ходилъ на цыпочкахъ, когда Пьеръ занимался — читалъ или писалъ въ своемъ кабинетѣ. Стоило Пьеру показать какое-нибудь пристрастіе, чтобы то, что онъ любилъ, постоянно исполнялось. Стоило ему выразить желаніе, чтобы Наташа вскакивала и бѣжала исполнять его.

Весь домъ руководился только мнимыми повелѣніями мужа, т.-е. желаніями Пьера, которыя Наташа старалась угадывать. Образъ, мѣсто жизни, знакомства, связи, занятія Наташи, воспитаніе дѣтей—не только все дѣлалось по выраженной волѣ Пьера, но Наташа стремилась угадать то, что могло вытекать изъ высказанныхъ въ разговорахъ мыслей Пьера. И она вѣрно угадывала то, въ чемъ состояла сущность желаній Пьера и, разъ угадавъ ее, она уже твердо держалась разъ избраннаго. Когда Пьеръ самъ уже хотѣлъ измѣнить своему желанію, она боролась противъ него его-же оружіемъ.

Такъ въ тяжелое время, навсегда памятное Пьеру, послѣ родовъ перваго слабаго ребенка, когда имъ пришлось перемѣнить трехъ кормилицъ и Наташа заболѣла отъ отчаянія, Пьеръ однажды сообщилъ ей мысли Руссо, съ которыми онъ былъ совершенно согласенъ, о неестественности и вредѣ кормилицъ. Съ слѣдующимъ ребенкомъ, несмотря на противодѣйствіе матери, докторовъ и самого мужа, возстававшихъ противъ ея кормленія, какъ противъ вещи, тогда неслыханной и вредной, она настояла на своемъ и съ тѣхъ поръ всѣхъ дѣтей кормила сама.

Весьма часто, въ минуты раздраженія, случалось, что мужъ съ женой спорили, но долго потомъ послѣ спора Пьеръ къ радости и удивленію своему находилъ не только въ словахъ, но и въ дѣйствіяхъ жены свою, ту самую мысль, противъ которой она спорила. И не только онъ находилъ ту-же мысль, но онъ находилъ ее очищенною отъ всего того, что было лишняго, вызваннаго увлеченіемъ и споромъ, въ выраженіи мысли Пьера.

Послѣ семи лѣтъ супружества Пьеръ чувствовалъ радостное твердое сознаніе того, что онъ не дурной человѣкъ, и чувствовалъ онъ это потому, что онъ видѣлъ себя отраженнымъ въ своей женѣ. Въ себѣ онъ чувствовалъ все хорошее и дурное смѣшаннымъ и затемнявшемъ одно другое. Но на женѣ его отражалось только то, что было истинно хорошо; все не совсѣмъ хорошее было откинуто. И отраженіе это произошло не путемъ логической мысли, а другимъ, таинственнымъ, непосредственнымъ отраженіемъ.

Л. Толстой.

Х.

УМИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ.

[Авторъ рассказываетъ о томъ, какъ счастливо протекло его дѣтство въ домѣ Николая Сергѣевича Ихменева, управлявшаго имѣніемъ князя. Ихменевъ принялъ автора въ домъ и воспиталъ, какъ родного сына, вмѣстѣ съ дочерью своей Наташей].

Мы росли съ ней какъ братъ съ сестрой. О, мое милое дѣтство! Какъ глупо тосковать и жалѣть о тебѣ на двадцать-пятомъ году жизни и, умирая, вспомнать только объ одномъ тебѣ съ восторгомъ и благодарностью! Тогда на небѣ было такое ясное, такое не-петербургское солнце и такъ рѣзко, весело бились наши маленькія сердца. Тогда кругомъ были поля и лѣса, а не груда мертвыхъ камней, какъ теперь. Что за чудный былъ садъ и паркъ на Васильевскомъ, гдѣ Николай Сергѣичъ былъ управляющимъ; въ этотъ садъ мы съ Наташей ходили гулять, а за садомъ былъ большой, сырой лѣсъ, гдѣ мы, дѣти, оба разъ заблудились... Золотое, прекрасное время! Жизнь сказывалась впервые, таинственно и заманчиво, и такъ сладко было знакомиться съ нею. Тогда за каждымъ кустомъ, за каждымъ деревомъ какъ-будто еще кто-то жилъ, для насъ таинственный и невѣдомый; сказочный міръ сливался съ дѣйствительнымъ; и когда, бывало, въ глубокихъ долипахъ густѣлъ вечерній паръ и сѣдыми, извилистыми космами цѣплялся за кустарникъ, лѣзвшійся по каменистымъ ребрамъ нашего большого оврага, мы съ Наташей, на берегу, держась за руки, съ боязливымъ любопытствомъ заглядывали вглубь и ждали, что вотъ-вотъ выйдетъ кто-нибудь къ намъ или откликнется изъ тумана, съ овражьяго дна, и нянины сказки окажутся настоящей, законной правдой.

[Князь, владѣлецъ имѣнія, хорошо относился къ Ихменеву, довѣрялъ ему и даже прислалъ къ нему своего сына на исправленіе].

Явился и молодой князь, они приняли его какъ родного сына. Вскорѣ Николай Сергѣичъ горячо полюбилъ его, не менѣе, чѣмъ свою Наташу; даже потомъ, уже послѣ окончательнаго разрыва между княземъ-отцомъ и Ихменевымъ, старикъ съ веселымъ духомъ вспоминалъ иногда о своемъ Алешѣ,—такъ привыкъ онъ называть князя Алексѣя Петровича. Въ самомъ

дѣлѣ, это былъ премилѣйшій мальчикъ: красавчикъ собою, слабый и нервный, какъ женщина, но вмѣстѣ съ тѣмъ веселый и простодушный, съ душою отверстою и способною къ благороднѣйшимъ ощущеніямъ, съ сердцемъ любящимъ, правдивымъ и признательнымъ, онъ сдѣлался идоломъ въ домѣ Ихменевыхъ. Несмотря на свои девятнадцать лѣтъ, онъ былъ еще совершенный ребенокъ. Трудно было представить, за что его могъ сослать отецъ, который, какъ говорили, очень любилъ его? Говорили, что молодой человекъ въ Петербургѣ жилъ праздно и вѣтрено, служить не хотѣлъ и огорчалъ этимъ отца. Николай Сергѣичъ не спрашивалъ Алешу, потому что князь Петръ Александровичъ видимо умалчивалъ въ своемъ письмѣ о настоящей причинѣ изгнанія сына. Впрочемъ, носились слухи про какую-то непростительную вѣтренность Алеши: про какую-то связь съ одной дамой, про какой-то вызовъ на дуэль, про какой-то невѣроятный проигрышъ въ карты; доходили даже до какихъ-то чужихъ денегъ, имъ будто-бы растраченныхъ. Былъ тоже слухъ, что князь рѣшился удалить сына вовсе не за вину, а вслѣдствіе какихъ-то особенныхъ эгоистическихъ соображеній. Николай Сергѣичъ съ негодованіемъ отвергалъ этотъ слухъ, тѣмъ болѣе, что Алеша чрезвычайно любилъ своего отца, котораго не зналъ въ продолженіе всего своего дѣтства и отрочества; онъ говорилъ о немъ съ восторгомъ, съ увлеченіемъ; видно было, что онъ вполне подчинился его вліянію. Алеша болталъ тоже иногда про какую-то графиню, за которой волочились и онъ, и отецъ вмѣстѣ, но что онъ, Алеша, одержалъ верхъ, а отецъ на него за это ужасно разсердился. Онъ всегда рассказывалъ эту исторію съ восторгомъ, съ дѣтскимъ простодушіемъ, съ звонкимъ веселымъ смѣхомъ, но Николай Сергѣичъ тотчасъ-же его останавливалъ. Алеша подтверждалъ тоже слухъ, что отецъ его хочетъ жениться.

[Затѣмъ отношенія князя измѣнились: онъ пересталъ довѣрять своему управляющему, оскорблялъ своего недавняго друга].

Вдругъ случилось непонятное происшествіе: безъ всякой видимой причины послѣдовалъ ожесточенный разрывъ между княземъ и Николаемъ Сергѣичемъ. Подслушаны были горячія, обидныя слова, сказанныя съ обѣихъ сторонъ. Съ негодованіемъ удалился Ихменевъ изъ Васильевского, но исторія еще этимъ не кончилась. По всему околотку вдругъ распространилась отвратительная сплетня. Увѣрили, что Николай Сергѣичъ, разгадавъ характеръ молодого князя, имѣлъ намѣреніе употребить всѣ недостатки его въ свою пользу; что дочь его Наташа (которой уже было тогда семнадцать лѣтъ) сумѣла влюбить въ себя двадцатилѣтняго юношу; что и отецъ, и мать этой любви покровительствовали, хотя и дѣлали видъ, что ничего не замѣчаютъ; что хитрая и „безнравственная“ Наташа околдовала, наконецъ, совершенно молодого человѣка, не выдаваго въ цѣлый годъ, ея стараніями, почти ни одной настоящей благородной дѣвицы, которыхъ такъ много зрѣетъ въ почтенныхъ домахъ сосѣднихъ помѣщиковъ. Увѣрили, наконецъ, что между любовниками уже было условлено обвиняться, въ пятнадцати верстахъ отъ Васильевского, въ селѣ Григорьевѣ, повидимому, тихонько отъ родителей Наташи, но которые однако-же знали все до малѣйшей подроб-

ности и руководили дочь гнусными своими совѣтами. Однимъ словомъ, въ цѣлой книгѣ не умѣстить всего, что уѣздныя кумушки обоего пола успѣли насплетничать по поводу этой исторіи. Но удивительнѣе всего, что князь повѣрилъ всему этому совершенно и даже пріѣхалъ въ Васильевское единственно по этой причинѣ, вслѣдствіе какого-то анонимнаго доноса, присланнаго къ нему въ Петербургъ изъ провинціи. Конечно, всякій, кто зналъ хоть сколько-нибудь Николая Сергѣича, не могъ-бы, кажется, и одному слову повѣрить изъ всѣхъ взводимыхъ на него обвиненій, а между тѣмъ, какъ водится, всѣ суетились, всѣ говорили, всѣ сговаривались, всѣ покачивали головами и... осуждали безвозвратно. Ихменевъ-же былъ слишкомъ гордъ, чтобъ оправдывать дочь свою предъ кумушками, и настрого запретилъ своей Аннѣ Андреевнѣ вступать въ какія-бы то ни было объясненія съ сосѣдями. Сама-же Наташа, такъ оклеветанная, даже еще цѣлый годъ спустя, не знала почти ни одного слова изъ всѣхъ этихъ наговоровъ и сплетней: отъ нея тщательно скрывали всю исторію и она была весела и невинна какъ двѣнадцатилѣтній ребенокъ.

[Прежняя дружба окончилась ссорой и тяжбой. Старикъ Ихменевъ съ женой и дочерью пріѣхалъ въ Петербургъ. Здѣсь авторъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ разлуки опять встрѣтился съ Наташей; она произвела на него большое впечатлѣніе. Они очень сблизились другъ съ другомъ. Наташа особенно интересовалась литературною дѣятельностью автора. Однажды онъ въ семейномъ кругу Ихменевыхъ читалъ свой романъ].

Мы начали сейчасъ послѣ чаю, а просидѣли до двухъ часовъ пополудни. Старикъ сначала нахмурился. Онъ ожидалъ чего-то непостижимо-высокаго, такого, чего-бы онъ, пожалуй, и самъ не могъ понять, но только непременно высокаго; а вмѣсто того, вдругъ такія будни и все такое извѣстное,—вотъ, точь-въ-точь, какъ то самое, что обыкновенно кругомъ совершается. И добро-бы большой или интересный человекъ былъ герой, или изъ историческаго что-нибудь, въ родѣ Рославлева или Юрія Милославскаго; а то выставленъ какой-то маленькій, забитый и даже глуповатый чиновникъ, у котораго и пуговицы на вицмундирѣ обсыпались; и все это такимъ простымъ слогомъ описано, ни дать ни взять, какъ мы сами говоримъ... Странно! Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергѣевича и даже немного надулась, точно чѣмъ-то обидѣлась: „Ну, стоитъ, право, такой вздоръ печатать и слушать, да еще и деньги за это даютъ“, написано было на лицѣ ея. Наташа была вся вниманіе, съ жадностью слушала, не сводила съ меня глазъ, всматривалась въ мои губы, какъ я произношу каждое слово, и сама шевелила за мною своими хорошенькими губками. И что-жъ? Прежде чѣмъ я дочелъ до половины, у всѣхъ моихъ слушателей текли изъ глазъ слезы. Анна Андреевна искренно плакала, отъ всей души сожалѣя моего героя и пренаивно желая хоть чѣмъ-нибудь помочь ему въ его несчастіяхъ, что поплялъ я изъ ея восклицаній. Старикъ уже отбросилъ всѣ мечты о высокомъ. „Съ перваго шага видно, что далеко кулику до Петрова дня; такъ себѣ, просто разскажецъ, за то сердце захватываетъ,—говорилъ онъ,—за то становится понятно и памятно, что кругомъ

происходить; за то познается, что самый забытый, послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ мой“.

Наташа слушала, плакала и подъ столомъ, украдкой, крѣпко пожимала мою руку. Кончилось чтеніе. Она встала; щеки ея горѣли, слезинки стояли въ глазахъ; вдругъ она схватила мою руку, поцѣловала ее и выбѣжала вонъ изъ комнаты. Отецъ и мать переглянулись между собою.

— „Гм! Вотъ она какая восторженная, — проговорилъ старикъ, пораженный поступкомъ дочери, — это ничего, впрочемъ, это хорошо, хорошо, благородный порывъ! Она добрая дѣвушка...“ — бормоталъ онъ, смотря вскользь на жену, какъ будто желая оправдать Наташу, а вмѣстѣ съ тѣмъ почему-то желая оправдать и меня.

Но Анна Андреевна, несмотря на то, что во время чтенія сама была въ нѣкоторомъ волненіи и тронута, смотрѣла теперь такъ, какъ будто хотѣла выговорить: „Оно, конечно, Александръ Македонскій герой, но за тѣмъ-же стулья ломать?“ и т. д.

Наташа воротилась скоро, веселая и счастливая, и, проходя мимо, потихоньку ущипнула меня. Старикъ принялся было опять „серьезно“ оцѣнивать мою повѣсть, но отъ радости не выдержалъ характера и увлекся:

— „Ну, братъ Ваня, хорошо, хорошо! Утѣшилъ! Такъ утѣшилъ, что я даже и не ожидалъ. Не высокое, не великое, это видно... Вотъ у меня тамъ „Освобожденіе Москвы“ лежитъ, въ Москвѣ-же и сочинили, — ну, такъ оно съ первой строки, братецъ, видно, что, такъ сказать, орломъ воспарилъ человѣкъ... Но знаешь-ли, Ваня, у тебя оно какъ-то проще, понятнѣе. Вотъ именно за то и люблю, что понятнѣе! Роднѣе какъ-то оно; какъ будто со мной самимъ все это случилось. А то что высокое-то? И самъ-бы не понималъ. Слогъ-бы я выправилъ; я вѣдь хвалю, а что ни говори, все-таки мало возвышеннаго... Ну, да ужъ теперь поздно: напечатано. Развѣ во второмъ изданіи? А что, братъ, вѣдь и второе изданіе чай будетъ? Тогда опять деньги... Гм!“

Алеша у Ихменевыхъ. Молодой князь, изъ-за котораго началась вся исторія этого процесса, мѣсяцевъ пять тому назадъ, нашелъ случай побывать у Ихменевыхъ. Старикъ, любившій своего милаго Алешу, какъ родного сына, почти каждый день вспоминавшій о немъ, принялъ его съ радостью. Анна Андреевна вспомнила про Васильевское и расплакалась. Алеша сталъ ходить къ нимъ чаще и чаще, потихоньку отъ отца; Николай Сергѣичъ, честный, открытый, прямотушный, съ негодованіемъ отвергъ всѣ предосторожности. Изъ благородной гордости онъ не хотѣлъ и думать, что скажетъ князь, если узнаетъ, что его сынъ опять принятъ въ домъ Ихменевыхъ, и мысленно презиралъ всѣ его нелѣпныя подозрѣнія. Но старикъ не зналъ, достанетъ-ли у него силъ вынести новыя оскорбленія. Молодой князь началъ бывать у нихъ почти каждый день. Весело было съ нимъ старикамъ. Цѣлые вечера и далеко за полночь просиживалъ онъ у нихъ. Разумѣется, отецъ узналъ, наконецъ, обо всемъ. Вышла гнуснѣйшая сплетня. Онъ оскорбилъ Николая Сергѣича ужаснымъ письмомъ, все на ту же тему, какъ и прежде, а сыну положительно запретилъ посѣщать Ихменевыхъ. Это счѣ-

чилось за двѣ недѣли до моего къ нимъ прихода. Старикъ загрузилъ ужасно. Какъ! Его Наташу, невинную, благородную, замѣшивать опять въ эту грязную клевету, въ эту низость! Ея имя было оскорбительно произнесено уже и прежде обидѣвшимъ его человѣкомъ... И оставить все это безъ удовлетворенія! Въ первые дни онъ слегъ въ постель отъ отчаянія.

Наташа. [Она полюбила Алешу и рѣшилась оставить родителей, чтобы жить только для него].

Три недѣли какъ мы не видались. Я глядѣлъ на нее съ недоумѣніемъ и страхомъ. Какъ перемѣнилась она въ эти три недѣли! Сердце мое защемило тоской, когда я разглядѣлъ эти впалыя, блѣдныя щеки, губы, запекшіяся какъ въ лихорадкѣ, и глаза, сверкавшіе изъ-подъ длинныхъ, темныхъ рѣсницъ горячечнымъ огнемъ и какой-то страстной рѣшимостью.

Но, Боже, какъ она была прекрасна! Никогда, ни прежде, ни послѣ, не видалъ я ее такою, какъ въ этотъ роковой день. Та-ли, та-ли это Наташа, та-ли это дѣвочка, которая, еще только годъ тому назадъ, не спуская съ меня глазъ и шевеля за мною губами, слушала мой романъ, и которая такъ весело, такъ безопасно хохотала и шутила въ тотъ вечеръ съ отцомъ и со мною за ужиномъ? Та-ли это Наташа, которая тамъ, въ той комнатѣ, наклонивъ головку и вся загорѣвшись румянцемъ, сказала мнѣ: *да*.

Раздался густой звукъ колокола, призывавшаго къ вечернѣ. Она вздрогнула; старушка перекрестилась.

— „Ты къ вечернѣ собиралась, Наташа, а вотъ ужъ и благовѣстятъ, — сказала она. — Сходи, Наташенька, сходи, помолись, благо близко! Да и прошлась бы заодно. Что взаперти-то сидѣть! Смотри, какая ты блѣдная, ровно слезлики“. — „Я... можетъ быть... не пойду сегодня, — проговорила Наташа медленно и тихо, почти шопотомъ. — Я... нездорова“, — прибавила она и поблѣднѣла какъ полотно. — „Лучше бы пойти, Наташа; вѣдь ты же хотѣла давеча, и шляпку вотъ принесла. Помолись, Наташенька, помолись, чтобъ тебѣ Богъ здоровья послалъ“, — уговаривала Анна Андреевна, робко смотря на дочь, какъ будто боялась ея. — „Ну, да, сходи; а къ тому-жъ и пройдешься, — прибавилъ старикъ, тоже съ безпокойствомъ всматриваясь въ лицо дочери. — Мать правду говоритъ. Вотъ Ваня тебя и проводитъ“.

Мнѣ показалось, что горькая усмѣшка промелькнула на губахъ Наташи. Она подошла къ фортепіано, взяла шляпку и надѣла ее; руки ея дрожали. Всѣ движенія ея были какъ будто безсознательны, — точно она не понимала, что дѣлала. Отецъ и мать пристально въ нее всматривались.

— „Прощайте!“ — чуть слышно проговорила она. — „И, ангелъ мой, что прощаться, далекій-ли путь! На тебя хоть вѣтеръ подуетъ; смотри, какал ты блѣденькая. Ахъ! Да вѣдь я и забыла (все-то я забываю!), ладонку я тебѣ кончила; молитву зашила въ нее, ангелъ мой; монашенка изъ Кіева научила прошлаго года; пригодная молитва; еще давеча зашила. Надѣнь, Наташа. Авось, Господь Богъ тебѣ здоровья пошлетъ. Одна ты у насъ“.

И старушка вынула изъ рабочаго ящика натѣльный золотой крестикъ Наташи; на той же ленточкѣ была привѣшена только-что спитая ладонка.

— „Носи на здоровье! — прибавила она, надѣвая крестъ и крестя дочь. — Когда-то я тебя каждую ночь такъ крестила, на сонъ грядущій, молитву читала, а ты за мной причитывала. А теперь ты не та стала, и не даетъ тебѣ Господь спокойнаго духа. Ахъ, Наташа, Наташа! Не помогаютъ тебѣ и молитвы мои материнскія!“

И старушка заплакала.

Наташа молча поцѣловала ея руку и ступила шагъ къ дверямъ; но вдругъ быстро воротилась назадъ и подошла къ отцу. Грудь ея глубоко волновалась.

— „Папенька, перекрестите и вы... свою дочь!“ — проговорила она задыхающимся голосомъ и опустила передъ нимъ на колѣни.

Мы всѣ стояли въ смущеніи отъ неожиданнаго, слишкомъ торжественнаго ея поступка. Нѣсколько мгновеній отецъ смотрѣлъ на нее совѣмъ потерявшись.

— „Наташенька, дѣточка моя, дочка моя, милочка, что съ тобою? — вскричалъ онъ, наконецъ, и слезы градомъ хлынули изъ глазъ его. — Отчего ты тоскуешь? Отчего плачешь и день, и ночь? Вѣдь я все вижу; я ночей не сплю, встаю и слушаю у твоей комнаты!.. Скажи мнѣ все, Наташа, откройся мнѣ во всемъ, старику, и мы...“

Онъ не договорилъ, поднялъ ее и крѣпко обнялъ. Она судорожно прижалась къ его груди и скрыла на его плечѣ свою голову.

— „Ничего, ничего, это такъ... я нездорова...“ — твердила она, задыхаясь отъ внутреннихъ, подавленныхъ слезъ. — „Да благословить же тебя Богъ, какъ я благословляю тебя, дитя мое милое, безцѣнное дитя! — сказалъ отецъ. — Да пошлетъ Онъ тебѣ навсегда миръ души и оградить тебя отъ всякаго горя. Помолись Богу, другъ мой, чтобъ грѣшная молитва моя дошла до Него“. — „И мое, и мое благословеніе надъ тобою!“ — прибавила старушка, заливаясь слезами. — „Прощайте!“ — прошептала Наташа.

У дверей она остановилась, еще разъ взглянула на нихъ, хотѣла было еще что-то сказать, но не могла и быстро вышла изъ комнаты. Я бросился вслѣдъ за нею, предчувствуя недоброе.

Она шла молча, скоро, потупивъ голову и не смотря на меня. Но пройдя улицу и ступивъ на набережную, вдругъ остановилась и схватила меня за руку.

— „Душно! — прошептала она. — Сердце тѣснить... душно!“ — „Воротись, Наташа!“ — вскричалъ я въ испугѣ. — „Неужели-жъ ты не видишь, Ваня, что я вышла *совсѣмъ*, ушла отъ нихъ и никогда не возвращусь назадъ?“ — сказала она, съ невыразимой тоской смотря на меня.

Сердце упало во мнѣ. Все это я предчувствовалъ еще идя къ нимъ; все это уже представлялось мнѣ, какъ въ туманѣ, еще, можетъ быть, задолго до этого дня, но теперь слова ея поразили меня какъ громомъ.

Мы печально шли по набережной. Я не могъ говорить; я соображалъ, размышлялъ и потерялся совершенно. Голова у меня закружилась. Мнѣ казалось это такъ безобразно, такъ невозможно!

— „Ты винишь меня, Вани?“ — сказала она, наконецъ. — „Нѣтъ, но...“

но я не вѣрю; этого быть не можетъ!...“ — отвѣчалъ я, не помня, вѣрю. — „Нѣтъ, Ваня, это ужъ есть! Я ушла отъ нихъ и не знаю, какими будутъ... не знаю, что будетъ и со мною!“ — „Ты къ нему, Да?“ — „Да!“ — отвѣчала она. — „Но это невозможно!“ — вскричалъ я въ пленіи. — Знаешь-ли, что это невозможно, Наташа, бѣдная ты моя, это безуміе. Вѣдь ты ихъ убьешь и себя погубишь! Знаешь-ли ты, Наташа?“ — „Знаю, но что-же мнѣ дѣлать, не моя воля!“ — сказала она. Словахъ ея слышалось столько отчаянія, какъ будто она шла на казнь. — „Неужели-жъ ты такъ его полюбила!“ — вскричалъ я, съ замѣшеніемъ сердца смотря на нее и почти самъ не понимая, что спрашиваю. — „Отвѣчать тебѣ, Ваня? Ты видишь: онъ велѣлъ мнѣ придти, и я пришла“, — проговорила она съ той-же горькой улыбкой. — „Но послушай только, — началъ я опять умолять ее, хватаясь за соломенку, — еще можно поправить, еще можно обдѣлать другимъ образомъ, еще другимъ какимъ-нибудь образомъ! Можно и не уходить изъ дому. научу какъ сдѣлать, Наташечка. Я берусь вамъ все устроить, все дать, и все... Только изъ дому-то не уходи! Я буду переносить ваши отчего-же не переносить? Это лучше, чѣмъ теперешнее. Я сумѣю думать; я вамъ угожу обоимъ; вотъ увидите, что угожу... И ты не забудь себя, Наташенька, какъ теперь... А то вѣдь ты совсѣмъ себя теряешь, совсѣмъ! Согласись, Наташа: все пойдетъ и прекрасно, и съ тобой и любить вы будете другъ друга, сколько захотите... А когда отцы будутъ ссориться (потому что они непременно перестанутъ ссориться) —“ — „Полно, Ваня, оставь, — прервала она, вѣжливо сжавъ мою руку и выйдя изъ слезъ. — Добрый, добрый Ваня! Добрый, честный вѣдь! И ни слова-то о себѣ! Я же тебя оставила первая, а ты все только о моемъ счастьѣ и думаешь. Письма намъ переносить хочешь.“

Она заплакала.

— „Я вѣдь знаю, Ваня, какъ ты любилъ меня, какъ до сих поръ еще любишь, и ни однимъ-то упрекомъ, ни однимъ горькимъ словомъ не упрекнулъ меня во все это время! А я, я!... Боже мой, какъ я виновата! Помнишь, Ваня, помнишь и наше время съ тобой, лучше-бъ я не знала, не встрѣчала-бъ его никогда!... Жила-бъ я съ тобой, добренькій ты мой, голубчикъ ты мой!... Нѣтъ, я стою! Видишь, я какая: въ такую минуту, тебѣ же напоминаю о прошломъ счастьѣ, а ты и безъ того страдаешь! Вотъ ты три раза приходилъ; клянусь-же тебѣ, Ваня, ни одного разу не приходила голову мысль, что ты меня проклялъ и ненавидишь. Я знала, он ушелъ! Ты не хотѣлъ намъ мѣшать и быть намъ живымъ укоромъ! Тебѣ развѣ не было тяжело на насъ смотрѣть? А какъ я ждала тебя, ужъ какъ ждала! Ваня, послушай, если я и люблю Алешу какъ ты, какъ сумасшедшая, то тебя, можетъ-быть, еще больше, какъ друга люблю. Я ужъ слышу, знаю, что безъ тебя я не проживу; ты мнѣ и мнѣ твое сердце надобно, твоя душа золотая... Охъ, Ваня! Какое какое тяжелое время наступаетъ!“ — „Наташа, это онъ самъ потр

чтобъ ты шла къ нему?“ — „Нѣтъ, не онъ одинъ, больше я. Онъ, правда, говорилъ, да я и сама... Видишь, голубчикъ, я тебѣ все расскажу: ему сватаютъ невѣсту богатую и очень знатную, очень знатымъ людямъ родня. Отецъ непременно хочетъ, чтобъ онъ женился на ней, а отецъ, вѣдь ты знаешь,—ужасный интриганъ; онъ всѣ пружины въ ходъ пустилъ; и въ десять лѣтъ такого случая не нажить. Связи, деньги... А она, говорятъ, очень хороша собою; да и образованіемъ, и сердцемъ,—всѣмъ хороша; ужъ Алеша увлекается ею. Да къ тому-же отецъ и самъ его хочетъ поскорѣй съ плечъ долой сбить, чтобъ самому жениться, а потому, непременно и во что-бы то ни стало, положилъ расторгнуть нашу связь. Онъ боится меня и моего вліянія на Алешу...“ — „Да развѣ князь,—прервалъ я ее съ удивленіемъ,—про вашу любовь знаетъ? Вѣдь онъ только подозрѣвалъ, да и то не навѣрно.“ — „Знаетъ, все знаетъ.“ — „Да ему кто сказалъ?“ — „Алеша-же все и рассказалъ, недавно. Онъ мнѣ самъ говорилъ, что все это рассказалъ отцу.“ — „Господи! Что-жъ это у васъ происходитъ! Самъ-же все и рассказалъ, да еще въ такое время?...“ — „Не вини его, Ваня, — перебила Наташа,—не смѣйся надъ нимъ! Его судить нельзя, какъ всѣхъ другихъ. Будь справедливъ. Вѣдь онъ не таковъ, какъ вотъ мы съ тобой. Онъ ребенокъ; его и воспитали не такъ. Развѣ онъ понимаетъ, что дѣлаетъ? Первое впечатлѣніе, первое чужое вліяніе способно его отвлечь отъ всего, чему онъ за минуту передъ тѣмъ отдавался съ клятвой. У него нѣтъ характера. Онъ вотъ поклянется тебѣ, да въ тотъ-же день, такъ-же правдиво и искренно, другому отдастся, да еще самъ первый къ тебѣ придетъ рассказать объ этомъ. Онъ и дурной поступокъ, пожалуй, сдѣлаетъ; да обвинить-то его за этотъ дурной поступокъ, пожалуй, нельзя будетъ, а развѣ что пожалѣть. Онъ и на самопожертвованіе способенъ и даже, знаешь, на какое! Да только до какого-нибудь новаго впечатлѣнія: тутъ ужъ онъ опять все забудетъ. *Такъ и меня забудетъ, если я не буду постоянно при немъ.* Вотъ онъ какой!“ — „Какъ! Самъ-же и сказалъ тебѣ, что можетъ другую любить, а отъ тебя потребовалъ теперь такой жертвы?“ — „Нѣтъ, Ваня, нѣтъ! Ты не знаешь его, ты мало съ нимъ былъ; его надо короче узнать и ужъ потомъ судить. Нѣтъ сердца на свѣтѣ правдивѣе и чище его сердца! Что-жъ? Лучше что-ль, если-бъ онъ лгалъ? А что онъ увлекся, такъ вѣдь стоитъ только мнѣ недѣлю съ нимъ не видаться, онъ и забудетъ меня и полюбитъ другую, а потомъ, какъ увидитъ меня, то и опять у ногъ моихъ будетъ. Нѣтъ! Это еще и хорошо, что я знаю, что не скрыто отъ меня это, а то бы я умерла отъ подозрѣній. Да, Ваня! Я ужъ рѣшилась: *если я не буду при немъ всегда, постоянно, каждое мгновеніе, онъ разлюбитъ меня, забудетъ и броситъ.* Ужъ онъ такой; его всякая другая за собой увлечь можетъ. А что же я тогда буду дѣлать? Я тогда умру... да что умереть! Я бы рада и теперь умереть! А вотъ каково жить-то мнѣ безъ него? Вотъ что хуже самой смерти, хуже всѣхъ мукъ! О, Ваня, Ваня! Вѣдь есть-же что-нибудь, что я вотъ бросила теперь для него и мать, и отца! Не уговаривай меня: все рѣшено! Онъ долженъ быть подлѣ меня каждый часъ, каждое мгновеніе; я не могу воротиться. Я знаю, что погибла и другихъ погубила... Ахъ, Ваня!—вскричала

она вдругъ и вся задрожала,—что если онъ, въ самомъ дѣлѣ, ужъ не любить меня! Что если ты правду про него сейчасъ говорилъ (я никогда этого не говорилъ), что онъ только обманываетъ меня и только кажется такимъ правдивымъ и искреннимъ, а самъ злой и тщеславный! Я вотъ теперь защищаю его передъ тобой. а онъ, можетъ быть, въ эту-же минуту съ другою, и смѣется про себя... а я, я, низкая, бросила все и хожу по улицамъ, ищу его... Охъ, Ваня!“ — „Слишкомъ ужъ любишь ты его, Наташа, слишкомъ! Не понимаю я такой любви“. — „Да, люблю, какъ сумасшедшая, — отвѣчала она, поблѣднѣвъ какъ будто отъ боли. — Я тебя никогда такъ не любила, Ваня. Я вѣдь и сама знаю, что съ ума сошла и не такъ люблю, какъ надо. Нехорошо я люблю его... Слушай, Ваня: я вѣдь и прежде знала и даже въ самыя счастливыя минуты наши предчувствовала, что онъ дастъ мнѣ однѣ только муки. Но что-же дѣлать, если мнѣ теперь даже муки отъ него — счастье? Я развѣ на радость иду къ нему? Развѣ я не знаю впередъ, что меня у него ожидаетъ и что я перенесу отъ него? Вѣдь вотъ онъ клялся мнѣ любить меня, всѣ обѣщанія давалъ, а вѣдь я ничему не вѣрю изъ его обѣщаній, ни во что ихъ не ставлю и прежде не ставила, хоть и знала, что онъ мнѣ не лгалъ, да и солгать не можетъ. Я сама ему сказала, сама, что не хочу его ничѣмъ связывать. Съ нимъ это лучше: привязи никто не любить, я первая. А все-таки я рада быть его рабой, добровольной рабой; переносить отъ него все, все, только-бы онъ былъ со мной, только-бы я глядѣла на него! Кажется, пусть-бы онъ и другую любилъ, только-бы при мнѣ это было, чтобъ и я тутъ подлѣ была...“ — „Такъ онъ и не женится на тебѣ, Наташа?“ — „Объщала, все общала. Онъ вѣдь для того меня и зоветъ теперь, чтобъ завтра-же обвѣнчаться потихоньку, за городомъ; да вѣдь онъ не знаетъ, что дѣлаетъ. Онъ, можетъ быть, какъ и вѣнчаются-то не знаетъ. И какой онъ мужъ! Смѣшно, право. А женится, такъ несчастливъ будетъ, попрекать начнетъ... Не хочу я, чтобъ онъ когда-нибудь въ чемъ-нибудь попрекнулъ меня. Все ему отдамъ, а онъ мнѣ пускай ничего. Что-жъ коль онъ несчастливъ будетъ отъ женитьбы, зачѣмъ же его несчастнымъ дѣлать?“

И она жадно посмотрѣла вдаль, но никого еще не было.

— „И его еще нѣтъ! И ты первая пришла!“ — вскричалъ я съ негодованіемъ.

Наташа какъ будто пошатнулась отъ удара. Лицо ея болѣзненно исказилось.

— „Онъ, можетъ быть, и совсѣмъ не придетъ, — проговорила она съ горькой усмѣшкой. — Третьягодня онъ писалъ, что если я не дамъ ему слова придти, то онъ поневолѣ долженъ отложить свое рѣшеніе — ѣхать и обвѣнчаться со мною, а отецъ увезетъ его къ невѣстѣ. И такъ просто, такъ натурально написалъ, какъ будто это и совсѣмъ ничего... Что, если онъ и вправду поѣхалъ къ ней, Ваня?“

Алеша. Я жадно въ него всматривался, хоть и видѣлъ его много разъ до этой минуты; я смотрѣлъ въ его глаза, какъ будто его взглядъ могъ разрѣшить всѣ мои недоумѣнія, могъ разъяснить мнѣ: чѣмъ, какъ этотъ ре-

бенокъ могъ очаровать ее, могъ зародить въ ней такую безумную любовь,— любовь до забвенія самаго перваго долга, до безразсудной жертвы всѣмъ, что было для Наташи до сихъ поръ самой полной святынѣй. Князь взялъ меня за обѣ руки, крѣпко пожалъ ихъ, и его взглядъ, кроткій и ясный, проникъ въ мое сердце.

Я почувствовалъ, что могъ ошибаться въ заключеніяхъ моихъ на его счетъ ужъ по тому одному, что онъ былъ врагъ мой. Да, я не любилъ его и, каюсь, я никогда не могъ его полюбить,—только одинъ я, можетъ быть, изъ всѣхъ его знавшихъ. Многое въ немъ мнѣ упорно не нравилось, даже изящная его наружность и, можетъ быть, именно потому, что она была какъ-то ужъ слишкомъ изящна. Впослѣдствіи я понялъ, что и въ этомъ судилъ пристрастно. Онъ былъ высокъ, строенъ, тонокъ; лицо его было продолговатое, всегда блѣдное; блѣлые волосы, большіе голубые глаза, кроткіе и задумчивые, въ которыхъ вдругъ, порывами, блистала иногда самая простодушная, самая дѣтская веселость. Полныя небольшія пунцовыя губы его, превосходно обрисованныя, почти всегда имѣли какую-то серьезную складку; тѣмъ неожиданнѣе и тѣмъ очаровательнѣе была вдругъ появлявшаяся на нихъ улыбка, до того наивная и простодушная, что вы сами, вслѣдъ за нимъ, въ какомъ-бы вы ни были настроеніи духа, ощущали немедленную потребность, въ отвѣтъ ему, точно такъ-же какъ и онъ улыбнуться. Одѣвался онъ не изысканно, но всегда изящно; видно было, что ему не стоило ни малѣйшаго труда это изящество во всемъ, что оно ему прирожденно.

Правда, и въ немъ было нѣсколько нехорошихъ замашекъ, нѣсколько дурныхъ привычекъ хорошаго тона: легкомысліе, самодовольство, вѣжливая дерзость. Но онъ былъ слишкомъ ясенъ и простъ душою, и самъ, первый, обличалъ въ себѣ эти привычки, каялся въ нихъ и смѣялся надъ ними. Мнѣ кажется, этотъ ребенокъ никогда, даже и въ шутку, не могъ-бы солгать, а если-бы и солгалъ, то, право, не подозрѣвая въ этомъ дурного. Даже самый эгоизмъ былъ въ немъ какъ-то привлекателенъ, именно потому, можетъ быть, что былъ откровененъ, а не скрытъ. Въ немъ ничего не было скрытнаго. Онъ былъ слабъ, довѣрчивъ и робокъ сердцемъ; воли у него не было никакой. Обидѣть, обмануть его было-бы и грѣшно, и жалко, такъ-же, какъ грѣшно обмануть и обидѣть ребенка. Онъ былъ не по лѣтамъ наивенъ и почти ничего не понималъ въ дѣйствительной жизни; впрочемъ, и въ сорокъ лѣтъ ничего-бы, кажется, въ ней не узналъ. Такіе люди какъ-бы осуждены на вѣчное несовершеннѣе. Мнѣ кажется, не было человека, который-бы могъ не полюбить его; онъ заласкался-бы къ вамъ, какъ дитя. Наташа сказала правду: онъ могъ-бы сдѣлать и дурной поступокъ, принужденный къ тому чѣмъ-нибудь сильнымъ вліяніемъ, но, сознавъ послѣдствія такого поступка, я думаю, онъ-бы умеръ отъ раскаянія. Наташа инстинктивно чувствовала, что будетъ его госпожей, владычицей; что онъ будетъ даже жертвой ея. Она предвкушала наслажденіе любить безъ памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, можетъ быть, и поспѣшила отдаться ему въ жертву первая. Но и въ

его глазахъ сіла любовь, и онъ съ восторгомъ смотрѣлъ на нее. Она съ торжествомъ взглянула на меня. Она забыла въ это мгновеніе все—и родителей, и прощанье, и подозрѣнія... Она была счастлива.

— „Когда-же вы обвѣнчаетесь?“—спросилъ я, взглянувъ на Наташу. — „Завтра или послѣзавтра; по крайней мѣрѣ, послѣзавтра—навѣрно. Вотъ видите, я и самъ еще хорошо не знаю и, по правдѣ, ничего еще тамъ не устроилъ. Я думалъ, что Наташа, можетъ быть, еще и не придетъ сегодня. Къ тому-же отецъ непремѣнно хотѣлъ меня взять сегодня къ невѣстѣ (вѣдь миѣ сватають невѣсту; Наташа вамъ сказывала? Да я не хочу). Ну, такъ я еще и не могъ разсчитать всего навѣрное. Но все-таки мы навѣрное обвѣнчаемся послѣзавтра. Миѣ, по крайней мѣрѣ, такъ кажется, потому что вѣдь нельзя-же иначе. Завтра-же мы выѣзжаемъ по исковской дорогѣ. Тутъ у меня недалеко, въ деревнѣ, есть товарищъ, лицейскій, очень хорошій человѣкъ; я васъ, можетъ быть, познакомлю. Тамъ въ селѣ есть и священникъ, а впрочемъ, навѣрно не знаю, есть или нѣтъ. Надо было заранѣе справиться, да я не успѣлъ... А впрочемъ, по настоящему, все это мелочи. Было-бы главное-то въ виду. Можно вѣдь изъ сосѣдняго какого-нибудь села пригласить священника; какъ вы думаете?—Вѣдь есть-же тамъ сосѣднія села! Одно жалъ, что я до сихъ поръ не успѣлъ ни строчки написать туда, предупредить-бы надо. Пожалуй, моего пріятеля нѣтъ теперь и дома... Но—это послѣдняя вещь! Была-бъ рѣшимость, а тамъ все само собою устроится, не правда-ли? А покажѣтъ, до завтра или хоть до послѣзавтра, она пробудетъ здѣсь у меня. Я напалъ особую квартиру, въ которой мы и воротясь будемъ жить. Я ужъ не пойду жить къ отцу,—не правда-ли? Вы къ намъ придете? Я премило устроился. Ко миѣ будутъ ходить наши лицейскіе; я заведу вечера...”

Я съ недоумѣніемъ и тоскою смотрѣлъ на него. Наташа умоляла меня взглядомъ не судить его строго и быть снисходительнѣе. Она слушала его рассказы съ какою-то грустною улыбкой, а вмѣстѣ съ тѣмъ какъ будто и любовалась имъ, такъ-же, какъ любятъ милымъ, веселымъ ребенкомъ, слушая его перазумную, но милую болтовню. Я съ упрекомъ поглядѣлъ на нее. Миѣ стало невыносимо тяжело.

— „Я буду жить своими трудами. Наташа говоритъ, что это гораздо лучше, чѣмъ жить на чужой счетъ, какъ мы всѣ живемъ. Если-бъ мы только знали, сколько она миѣ говоритъ хорошаго! Я-бы самъ этого ни когда не выдумалъ,—не такъ я росъ, не такъ меня воспитали. Правда, и самъ знаю, что легкомысленъ и почти ни къ чему не способенъ; но вы знаете-ли, у меня третьягодня явилась удивительная мысль. Теперь хотѣю и не время, но я вамъ расскажу, потому что надо-же и Наташѣ услышать, а вы намъ дадите совѣтъ. Вотъ видите: я хочу писать повѣсти и продавать въ журналы, такъ-же какъ и вы. Вы миѣ поможете съ журналистами, не правда-ли? Я разсчитывалъ на васъ и вчера всю ночь обдумывалъ одинъ романъ, такъ, для пробы, и знаете-ли: могла-бы выйти премиленькая вещица. Сюжетъ я взялъ изъ одной комедіи Скриба... Но я вамъ потомъ расскажу. Главное, за него дадутъ денегъ... вѣдь вамъ-же платять!“

Я не могъ не усмѣхнуться.

— „Смѣйтесь, смѣйтесь, поправляйте меня; вѣдь это для нея-же вы едѣлаете, а вы ее любите. Я вамъ правду скажу: я не стою ея; я это чувствую; мнѣ это очень тяжело, и я не знаю, за что это она меня такъ полюбила? А я-бы, кажется, всю жизнь за нее отдалъ! Право, я до этой минуты ничего не боялся, а теперь боюсь: что это мы затѣваемъ! Господи! Неужели-жъ въ человѣкѣ, когда онъ вполне преданъ своему долгу, какъ нарочно неостанетъ умѣнья и твердости исполнить свой долгъ? Помогайте намъ хоть вы, другъ нашъ! Вы одинъ только другъ у насъ и остались. А вѣдь я что понимаю одинъ-то! Простите, что я на васъ такъ рассчитываю; я васъ считаю слишкомъ благороднымъ человѣкомъ и гораздо лучше меня. Но я исправлюсь, будьте увѣрены, и буду достоинъ васъ обоихъ.“

Тутъ онъ опять пожалъ мнѣ руку и въ прекрасныхъ глазахъ его появилось доброе, прекрасное чувство. Онъ такъ довѣрчиво протягивалъ мнѣ руку, такъ вѣрилъ, что я ему другъ.

— „Но, Алексѣй Петровичъ, подумали-ль вы, какая исторія выйдетъ теперь между вашимъ и ея отцомъ? Какъ вы думаете, что сегодня будетъ вечеромъ у нихъ въ домѣ?“

И я указалъ ему на помертвѣвшую отъ моихъ словъ Наташу. Я былъ безжалостенъ.

— „Да, да, вы правы, это ужасно!—отвѣчалъ онъ,—я уже думалъ объ этомъ и душевно страдалъ... Но что же дѣлать? Вы правы: хоть только бы ея-то родители насъ простили! А какъ я ихъ люблю обоихъ, если-бъ вы знали! Вѣдь они мнѣ все равно что родные, и вотъ чѣмъ я имъ плачу! Охъ, ужъ эти ссоры, эти процессы! Вы не повѣрите, какъ это намъ теперь неприятно! И за что они ссорятся! Всѣ мы такъ другъ друга любимъ, а ссоримся! Помирились бы, да и дѣло съ концомъ! Право, я бы такъ поступилъ на ихъ мѣстѣ... Страшно мнѣ отъ вашихъ словъ. Наташа, это ужасъ, что мы съ тобой затѣваемъ! Я это и прежде говорилъ... Ты сама настаиваешь... Но, послушайте, Иванъ Петровичъ, можетъ быть, все это уладится къ лучшему; какъ вы думаете? Вѣдь помирятся же они, наконецъ! Мы ихъ помиримъ. Это такъ, это непременно; они не устоятъ противъ нашей любви... Пусть они насъ проеблинаютъ, а мы ихъ все-таки будемъ любить; они и не устоятъ. Вы не повѣрите, какое иногда бываетъ доброе сердце у моего старика! Онъ вѣдь это такъ только смотритъ исподлобья, а вѣдь въ другихъ случаяхъ онъ преразсудительный. Если-бъ вы знали, какъ онъ мягко со мной говорилъ сегодня, убѣждалъ меня! А я вотъ сегодня же противъ него иду; это мнѣ очень грустно. А все изъ-за этихъ негодныхъ предразсудковъ! Просто—сумасшествіе! Ну что, если-бъ онъ на нее посмотрѣлъ хорошенько и пробылъ съ нею хоть полчаса? Вѣдь онъ тотчасъ же все бы намъ позволилъ“.

Говоря это, Алеша нѣжно и страстно взглянулъ на Наташу.

— „Я тысячу разъ съ наслажденіемъ воображалъ себѣ,—продолжалъ онъ свою болтовню,—какъ онъ полюбитъ ее, когда узнаетъ, и какъ она ихъ всѣхъ изумитъ. Вѣдь они всѣ и не видывали никогда такой дѣвушки!“

Отецъ убѣжденъ, что она просто какал-то интриганка. Моя обязанность возстановить ея честь, и я это сдѣлаю! Ахъ, Наташа! Тебя всѣ любятъ, нѣтъ такого человѣка, который бы могъ тебя не любить,—прибавилъ онъ въ восторгѣ.—Хоть я не стою тебя совсѣмъ, но ты люби меня, Наташа, а ужъ я... ты вѣдь знаешь меня! Да и много-ль нужно намъ для нашего счастья! Нѣтъ, я вѣрю, вѣрю, что этотъ вечеръ долженъ принести намъ всѣмъ и счастье, и миръ, и согласіе! Будь благословенъ этотъ вечеръ! Такъ-ли, Наташа? Но что съ тобой? Боже мой, что съ тобой?"

Она была блѣдна, какъ мертвая. Все время, какъ разглагольствовало Алеша, она пристально смотрѣла на него; но взглядъ ея становился все мутнѣе и неподвижнѣе, лицо все блѣднѣе и блѣднѣе. Во взглядѣ этомъ было отчаяніе; я никогда не забуду этого страшнаго взгляда. Страхъ охватилъ и меня; я видѣлъ, что она теперь только вполнѣ почувствовала весь ужасъ своего поступка. Она силилась мнѣ что-то сказать, даже начала говорить и вдругъ упала въ обморокъ.

Изменевъ. [Горе стариковъ Ихменевыхъ, когда ихъ покинула Наташа, было громадно. Мать готова была все простить, но отецъ былъ неумолимъ. Судебное его дѣло съ княземъ было имъ проиграно].

— „Видишь, Вани,—сказалъ онъ вдругъ,—мнѣ жаль, мнѣ не хотѣлось бы говорить, но пришло такое время, и я долженъ объясниться откровенно, безъ закорючекъ, какъ слѣдуетъ всякому прямому человѣку... понимаешь, Вани? Я радъ, что ты пришелъ, и потому хочу громко сказать при тебѣ же, такъ, чтобъ и другіе слышали, что весь этотъ вздоръ, всѣ эти слезы, вздохи, несчастья мнѣ, наконецъ, надоѣли. То, что я вырвалъ изъ сердца моего, можетъ быть, съ кровью и болью, никогда опять не воротится въ мое сердце. Да! Я сказалъ и сдѣлаю. Я говорю про то, что было полтора года назадъ, понимаешь, Вани!—и говорю про это такъ откровенно, такъ прямо именно для того, чтобъ ты никакъ не могъ ошибиться въ словахъ моихъ,—прибавилъ онъ, воспаленными глазами смотря на меня и видимо избѣгая испуганныхъ взглядовъ жены.—Повторяю: это вздоръ; я не желаю!... Меня именно бѣситъ, что меня, какъ дурака, какъ самаго низкаго подлеца, всѣ считаютъ способнымъ имѣть такія низкія, такія слабыя чувства... думаютъ, что я съ ума схожу отъ горя... Вздоръ! Я отбросилъ, я забылъ старыя чувства! Для меня нѣтъ воспоминаній... да! да! да! и да!..."

Онъ вскочилъ со стула и ударилъ кулакомъ по столу такъ, что чашки зазвенѣли.

— „Николай Сергѣичъ! Неужели вамъ не жаль Анну Андреевну! Посмотрите, что вы съ ней дѣлаете“,—сказалъ я, не въ силахъ удержаться и почти съ негодованіемъ смотря на него. Но я только къ огню подлилъ масла.—„Не жаль!—закричалъ онъ, задрожавъ и поблѣднѣвъ,—не жаль, потому что и меня не жалѣютъ! Не жаль, потому что въ моемъ же домѣ составляются заговоры противъ поруганной моей головы за развратную дочь, достойную проклятій и всѣхъ наказаній!..."—„Батюшка! Николай Сергѣичъ, не проклинай!... Все, что хочешь, только дочь не проклинай!“—вскричала Анна Андреевна. — „Проклину! — кричалъ старикъ вдвое громче, чѣмъ

реже, — потому что отъ меня же, обиженного, поруганнаго, требуютъ, чтобъ я шелъ къ этой проклятой и у ней же просилъ прощенія! Да, да, но такъ. Этимъ мучать меня каждодневно, денно и ночью у меня же въ мѣ, слезами, вздохами, глупыми намеками! Хотятъ меня разжалобить... смотри, смотри, Ваня, — прибавилъ онъ, поспѣшно вынимая дрожащими руками изъ своего бокового кармана бумаги, — вотъ тутъ выписки изъ моего дѣла! По этому дѣлу выходить теперь, что я воръ, что я обманщикъ, что я обокралъ моего благодѣтеля!... Я ошельмованъ, опозоренъ изъ-за нея. Вотъ, вотъ, смотри, смотри!...

И онъ началъ выбрасывать изъ бокового кармана своего сюртука разныя бумаги, одну за другою, на столъ, нетерпѣливо отыскивая между ними, которую хотѣлъ мнѣ показать; но нужная бумага какъ нарочно не отыскивалась. Въ нетерпѣніи онъ рванулъ изъ кармана все, что захватилъ, немъ рукой, и вдругъ — что-то звонко и тяжело упало на столъ... Анна Андреевна вскрикнула. Это былъ потерянный медальонъ.

Я едва вѣрнулъ глазамъ своимъ. Кровь бросилась въ голову старика залила его щеки; онъ вздрогнулъ. Анна Андреевна стояла, сложивъ руки, съ мольбою смотрѣла на него. Лицо ея просіяло свѣтлою, радостною надеждою. Эта краска въ лицѣ, это смущеніе старика передъ нами... да, она ошиблась, она понимала теперь, какъ пропала ее медальонъ!

Она поняла, что онъ нашелъ его, обрадовался своей находкѣ и, можетъ быть, дрожа отъ восторга, ревниво спряталъ его у себя отъ всѣхъ; что гдѣ-нибудь одинъ, тихонько отъ всѣхъ, онъ съ безпредѣльною любовью смотрѣлъ на личико своего возлюбленнаго дитяти, — смотрѣлъ и не могъ насмотрѣться; что, можетъ быть, онъ такъ же, какъ и бѣдная мать, запирался одинъ отъ всѣхъ разговаривать съ своей безцѣнной Наташей, выдумывать ей отвѣты, отвѣчать на нихъ самому; а ночью, въ мучительной тоскѣ, съ подавленными въ груди рыданіями, ласкалъ и цѣловалъ милый образъ и, вмѣсто проклятій, призывалъ прощеніе и благословіе на ту, которую не хотѣлъ видѣть и проклиналъ передъ всѣми.

— „Голубчикъ мой, такъ ты ее еще любишь!“ — вскричала Анна Андреевна, не удерживаясь болѣе передъ суровымъ отцомъ, за минуту проклинявшимъ ее Наташу.

Но лишь только онъ услышалъ ее крикъ, безумная ярость сверкнула въ глазахъ его. Онъ схватилъ медальонъ, съ силою бросилъ его на полъ съ бѣшенствомъ началъ топтать ногою.

— „На-вѣки, на-вѣки будь проклята мною! — хрипѣлъ онъ, задыхаясь. — На-вѣки, на-вѣки!“ — „Господи! — закричала старушка, — ее, ее! Мою Наташу! Ея личико... топчетъ ногами! Тиранинъ! Безчувственный, жестокосердый гордецъ!“

Услышавъ вопль жены, безумный старикъ остановился въ ужасѣ отъ того, что сдѣлалось. Вдругъ онъ схватилъ съ полу медальонъ и бросился изъ комнаты, но, сдѣлавъ два шага, упалъ на колѣни, уперся руками въ стоявшій передъ нимъ диванъ и въ изнеможеніи склонилъ свою голову.

Онъ рыдалъ какъ дитя, какъ женщина. Рыданія тѣснили грудь его,

какъ будто хотѣли ее разорвать. Грозный старикъ въ одну минуту сталъ слабѣе ребенка. О, теперь ужъ онъ не могъ проклинать; онъ уже не стыдился никого изъ насъ и, въ судорожномъ порывѣ любви, опять покрывалъ, при насъ, безчисленными поцѣлуями портретъ, который за минуту назадъ топталъ ногами. Казалось, вся нѣжность, вся любовь его къ дочери, такъ долго въ немъ сдержанная, стремилась теперь вырваться наружу съ неудержимою силою, и силою порыва разбивала все существо его.

— „Прости, прости ее!—воскликала, рыдая, Анна Андреевна, склонившись надъ нимъ и обнимая его.—Вороти ее въ родительскій домъ, голубчикъ, и самъ Богъ на страшномъ судѣ Своемъ зачтетъ тебѣ твое смиреніе и милосердіе!...“ — „Нѣтъ, нѣтъ! Ни за что, никогда! — восклицалъ онъ хриплымъ, задушаемымъ голосомъ.—Никогда! Никогда!“

Жизнь Наташи. Я пришелъ къ Наташѣ уже поздно, въ десять часовъ. Она жила тогда на Фонтанкѣ, у Семеновскаго моста, въ грязномъ „капитальномъ“ домѣ купца Колотушкина, въ четвертомъ этажѣ. Въ первое время послѣ ухода изъ дому, она и Алеша жили въ прекрасной квартирѣ, небольшой, но красивой и удобной, въ третьемъ этажѣ, на Литейной. Но скоро ресурсы молодого князя истощились. Учителемъ музыки онъ не сдѣлался, но началъ занимать и вошелъ въ огромные для него долги. Деньги онъ употреблялъ на украшеніе квартиры, на подарки Наташѣ, которая возставала противъ его мотовства, журила его, иногда даже плакала. Чувствительный и проникательный сердцемъ Алеша, иногда цѣлую недѣлю обдумывавшій съ наслажденіемъ, какъ-бы ей что подарить и какъ-то она приметъ подарокъ, дѣлавшій изъ этого для себя настоящіе праздники, съ восторгомъ сообщавшій мнѣ заранѣе свои ожиданія и мечты, впалъ въ уныніе отъ ея журьбы и слезъ, такъ что его становилось жалко, а впоследствии между ними бывали изъ-за подарковъ упреки, огорченія и ссоры. Кромѣ того, Алеша много проживалъ денегъ тихонько отъ Наташи; увлекался за товарищами, измѣнялъ ей, а между тѣмъ онъ все-таки любилъ ее. Онъ любилъ ее какъ-то съ мученіемъ; часто онъ приходилъ ко мнѣ разстроенный и грустный, говоря, что не стоитъ мизинчика своей Наташи, что онъ грубъ и золъ, не въ состояніи понимать ее и недостойнъ ея любви. Онъ былъ отчасти правъ: между ними было совершенное неравенство; онъ чувствовалъ себя передъ нею ребенкомъ, да и она всегда считала его за ребенка. Со слезами каялся онъ мнѣ въ знакомствѣ съ Жозефиной, въ то-же время умоляя не говорить объ этомъ Наташѣ; и когда, робкій и трепещущій, онъ отправлялся, бывало, послѣ всѣхъ этихъ откровенностей, со мною къ ней (непремѣнно со мною, увѣряя, что боится взглянуть на нее послѣ своего преступленія, и что я одинъ могу поддержать его), то Наташа съ перваго-же взгляда на него уже знала, въ чемъ дѣло. Она была очень ревнива и, не понимая какимъ образомъ, всегда прощала ему всѣ его вѣтренности. Обыкновенно такъ случалось: Алеша войдетъ со мною, робко заговоритъ съ ней, съ робкою нѣжностью смотритъ ей въ глаза. Она тотчасъ-же угадаетъ, что онъ виноватъ, но не покажетъ и вида, никогда не заговоритъ объ этомъ первая, ничего не выпытываетъ,

напротивъ, тотчасъ-же удвоить къ нему свои ласки, станеть пѣжиѣе, веселѣе, — и это не была какая-нибудь игра или обдуманная хитрость съ ея стороны. Нѣтъ; для этого прекраснаго созданія было какое-то безконечное наслажденіе прощать и миловать, какъ-будто въ самомъ процессѣ прощенія Алеша она находила какую-то особенную, утонченную прелесть. Видя ее кроткую и прощающую, Алеша уже не могъ утерпѣть и тотчасъ-же самъ во всемъ каялся, безъ всякаго спроса, чтобъ облегчить сердце и „быть по-прежнему“, говорилъ онъ. Получивъ прощеніе, онъ приходилъ въ восторгъ, иногда даже плакалъ отъ радости и умиленія, цѣловалъ, обнималъ ее. Потомъ тотчасъ-же развеселился и начиналъ съ ребяческою откровенностью рассказывать всѣ подробности своихъ похожденій, смѣялся, хохоталъ, благословлялъ и восхвалялъ Наташу, и вечеръ кончался счастливо и весело. Когда прекратились у него всѣ деньги, онъ началъ продавать вещи. По настоянію Наташи, отыскана была маленькая, но дешевая квартира на Фонтанкѣ. Вещи продолжали продаваться; Наташа продала даже свои платья и стала искать работы; когда Алеша узналъ объ этомъ, отчаянію его не было предѣловъ; онъ проклиналъ себя, кричалъ, что самъ себя презираетъ, а между тѣмъ ничѣмъ не поправилъ дѣла. Въ настоящее время прекратились даже и эти послѣдніе ресурсы; оставалась только одна работа, но плата за нее была самая ничтожная.

[Наташа переживала тяжелыя минуты. Она видѣла, что любовь Алеша къ ней совсѣмъ не прочна, что отецъ имѣетъ на него слишкомъ большое вліяніе и женить его подѣ-конецъ на томъ, на комъ захочеть].

— „Ваня, — сказала она чуть слышнымъ голосомъ, — я просила тебя къ себѣ за дѣломъ“. — „Что такое?“ — „Я расстаюсь съ нимъ“. — „Разсталась или расстаешься?“ — „Надо кончить съ этою жизнью. Я и звала тебя, чтобъ выразить все, все, что накопилось теперь и что я скрывала отъ тебя до сихъ поръ“.

Она всегда такъ начинала со мной, повѣряя мнѣ свои тайныя намѣренія, и всегда почти выходило, что всѣ эти тайны я давно уже зналъ отъ нея-же.

— „Ахъ, Наташа, я тысячу разъ это отъ тебя слышала! Конечно, вамъ жить вмѣстѣ нельзя, ваша связь какая-то странная, между вами нѣтъ ничего общаго. Но... достанетъ-ли силъ у тебя?“ — „Прежде были только намѣренія, Ваня, теперь-же я рѣшилась совсѣмъ. Я люблю его безконечно, а, между тѣмъ, выходитъ, что я ему первый врагъ; я гублю его будущность. Надо освободить его. Жениться онъ на мнѣ не можетъ; онъ не въ силахъ пойти противъ отца. Я тоже не хочу его связывать. И потому я даже рада, что онъ влюбился въ невѣсту, которую ему сватаютъ. Ему легче будетъ разстаться со мной. Я это должна! Это долгъ... Если я люблю его, то должна всѣмъ для него пожертвовать, должна доказать ему любовь мою, это долгъ! Не правда-ли?“ — „Но вѣдь ты не уговоришь его“. — „Я и не буду уговаривать. Я буду съ нимъ попрежнему, войди онъ хоть сейчасъ. Но я должна принести средство, чтобъ ему было легко оставить меня безъ угрызений совѣсти. Вотъ что меня мучитъ, Ваня. Помоги. Не прісовѣтцешь-ли

чего-нибудь?" — "Такое средство одно, — сказать я, — разлюбить его совсѣмъ и полюбить другого. Но врядъ-ли это будетъ средствомъ. Вѣдь ты знаешь его характеръ? Вотъ онъ къ тебѣ пять дней не ѣздитъ. Предположи, что онъ совсѣмъ оставилъ тебя; тебѣ стоитъ только написать ему, что ты сама его оставляешь, и онъ тотчасъ-же прибѣжитъ къ тебѣ". — "За что ты его же любишь, Ваня?" — "Я?" — "Да, ты, ты! Ты ему врагъ, тайный и явный! Ты не можешь говорить о немъ безъ мщенія. Я тысячу разъ замѣчала, что тебѣ первое удовольствіе унижать и чернить его! Именно чернить, я правду говорю!" — "И тысячу разъ уже говорила мнѣ это. Довольно, Наташа, оставимъ этотъ разговоръ". — "Я бы хотѣла переѣхать на другую квартиру, — заговорила она опять послѣ нѣкотораго молчанія. — Да ты не сердись, Ваня..." — "Что-жъ, онъ придетъ и на другую квартиру, а я ей-Богу не сержусь". — "Любовь сильна, новая любовь можетъ удержать его. Если и воротится ко мнѣ, такъ только развѣ на минуту, какъ ты думаешь?" — "Не знаю, Наташа, въ немъ все въ высшей степени ни съ чѣмъ несообразно, онъ хочетъ и на той жениться, и тебя любить. Онъ какъ-то можетъ все это вмѣстѣ дѣлать". — "Если-бъ я знала навѣрно, что онъ любитъ ее, я бы рѣшилась... Ваня! Не таи отъ меня ничего! Знаешь ты что-нибудь, чего мнѣ не хочешь сказать, или нѣтъ?"

Она смотрѣла на меня безпокойнымъ испытывающимъ взглядомъ.

— "Ничего не знаю, другъ мой, даю тебѣ честное слово; съ тобой я былъ всегда откровененъ. Впрочемъ, я вотъ что еще думаю: можетъ быть, онъ вовсе не влюбленъ въ падчерицу графини такъ сильно, какъ мы думаемъ. Такъ, увлеченіе..." — "Ты думаешь, Ваня? Боже, если-бъ я это знала навѣрное! О, какъ-бы я желала его видѣть въ эту минуту, только взглянуть на него. Я бы по лицу его все узнала! И нѣтъ его! Нѣтъ его!" — "Да развѣ ты ждешь его, Наташа?" — "Нѣтъ, онъ у ней; я знаю; я посылала узнавать. Какъ-бы я желала взглянуть и на нее... Послушай, Ваня, я скажу вздоръ, но неужели-жъ мнѣ никакъ нельзя съ нею встрѣтиться? Какъ ты думаешь?"

Она съ безпокойствомъ ожидала, что я скажу.

— "Увидать еще можно. Но вѣдь только увидеть — мало". — "Довольно-бы того хотъ увидеть, а тамъ я бы и сама угадала. Послушай: я вѣдь такъ глупа стала; хожу-хожу здѣсь, все одна, все одна, все думаю; мысли какъ какой-то вихрь, такъ тяжело! Я и выдумала, Ваня: нельзя-ли тебѣ съ ней познакомиться? Вѣдь графиня (тогда ты самъ рассказывалъ) хвалила твой романъ; ты вѣдь ходишь иногда на вечера къ князю Р***; она тамъ бываетъ. Сдѣлай, чтобъ тебя ей тамъ представили. А то, пожалуй, и Алеша могъ-бы тебя съ ней познакомить. Вотъ ты бы мнѣ все и рассказалъ про нее". — "Наташа, другъ мой, объ этомъ послѣ. А вотъ что: неужели ты серьезно думаешь, что у тебя достанетъ силъ на разлуку? Посмотри теперь на себя, неужели ты покойна?" — "До-ста-нетъ! — отвѣчала она чуть слышно. Все для него. Вся жизнь моя для него. Но, знаешь, Ваня, не могу я перенести, что онъ теперь у нея, обо мнѣ позабылъ, сидитъ возлѣ нея, рассказываетъ, смѣется, помнишь, какъ здѣсь, бывало, сидѣлъ... Смотритъ ей

рямо въ глаза; онъ всегда такъ смотритъ,—и въ мысль ему не приходитъ еперь, что я вотъ здѣсь... съ тобой“.

[Наташа легко прощала Алешѣ все—это его трогало].

— „О, Боже мой!—вскрикнулъ онъ въ восторгѣ,—если-бъ только мнѣ виновать, я бы не смѣлъ, кажется, и взглянуть на нее послѣ этого! [осмотрите, посмотрите!—кричалъ онъ, обращаясь ко мнѣ,—вотъ: она читаетъ меня виноватымъ; все противъ меня, всѣ видимости противъ меня! [пять дней не ѣзжу! Есть слухи, что я у невѣсты—и что-жъ? Она ужъ рождаетъ меня! Она ужъ говоритъ: „дай руку и кончено!“ Наташа, губчикъ мой, ангелъ мой! Я не виновать, и ты знай это! Я не виновать и на столечко! Напротивъ! Напротивъ!“—„Но... Но вѣдь ты теперь *тамъ*... себя теперь *туда* звали... Какъ же ты здѣсь? Ко... который часъ?“—„Половина одиннадцатаго! Я и былъ тамъ... Но я сказался больнымъ и уѣхалъ—это первый, первый разъ въ эти пять дней, что я свободенъ, что я былъ въ состояніи урваться отъ нихъ и пріѣхать къ тебѣ, Наташа. Тостъ я могъ и прежде пріѣхать, но я нарочно не ѣхалъ! А почему? Ты ейчасъ узнаешь, объясню: я затѣмъ и пріѣхалъ, чтобъ объяснить; только й-Богу въ этотъ разъ я ни въ чемъ передъ тобой не виновать, ни въ емъ! Ни въ чемъ!“

Наташа подняла голову и взглянула на него... Но отвѣтный взглядъ ея сіялъ такою правдивостью, лицо его было такъ радостно, такъ честно, какъ весело, что не было возможности ему не повѣрить. Я думалъ, они экрикнутъ и бросятся другъ другу въ объятія, какъ это уже нѣсколько азъ прежде бывало при подобныхъ же примиреніяхъ. Но Наташа, какъ удто подавленная счастьемъ, опустила на грудь голову и вдругъ... тихо аплакала... Тутъ ужъ Алеша не могъ выдержать. Онъ бросился къ ногамъ я. Онъ цѣловалъ ея руки, ноги; онъ былъ какъ въ изступленіи. Я привинулъ ей кресла. Она сѣла. Ноги ея подкашивались.

Разсказъ Алеши.—„Со мной сегодня случилось еще происшествіе и даже очень странное, и я до сихъ поръ еще пораженъ,—продолжалъ Алеша.—Надо вамъ замѣтить, что хотъ у отца съ графиней и порѣшено наше сватовство, но офиціально еще до сихъ поръ рѣшительно ничего не было, такъ что мы хотъ сейчасъ разойдемся и никакого скандала; одинъ только графъ Наинскій знаетъ, но вѣдь это считается родственникъ и покровитель. Мало того, хотъ я въ эти двѣ недѣли и очень сошелся съ Катей, но до самаго сегодняшняго вечера мы ни слова не говорили съ ней о будущемъ, то-есть о бракѣ и... ну, и о любви. Кромѣ того, положено сначала испросить согласіе княгини К., отъ которой ждутъ у насъ всевозможнаго покровительства и золотыхъ дождей. Что скажетъ она, то скажетъ и вѣтъ; у ней такія связи... А меня непременно хотятъ вывести въ свѣтъ и въ люди. Но особенно на всѣхъ этихъ распоряженіяхъ настаиваетъ графиня, мачиха Кати. Дѣло въ томъ, что княгиня, за всѣ ея заграничныя штуки, пожалуй, еще ее и не приметъ, а княгиня не приметъ, такъ и другіе, пожалуй, не примутъ; такъ вотъ и удобный случай—сватовство мое съ Катей. И потому графиня, которая прежде была противъ сватовства,

страшно обрадовалась сегодня моему успѣху у княгини, но это въ сторону, а вотъ что главное: Катерину Федоровну я зналъ еще съ прошлаго года; но вѣдь я былъ тогда еще мальчикъ и ничего не могъ понимать, а потому ничего и не разглядѣлъ тогда въ ней... — „Просто, ты тогда любилъ меня больше, — прервала Наташа, — оттого и не разглядѣлъ, а теперь...“ — „Ни слова, Наташа! — вскричалъ съ жаромъ Алеша. — Ты совершенно ошибаешься и меня оскорбляешь!.. Я даже не возражаю тебѣ; выслушай дальше, и ты все увидишь... Охъ, если-бъ ты знала Катю! Если-бъ ты знала, что это за нѣжная, ясная, голубиная душа! Но ты узнаешь; только дослушай до конца! Двѣ недѣли тому назадъ, когда, по прїѣздѣ ихъ, отецъ повезъ меня къ Катѣ, я сталъ въ нее пристально вглядываться. Я замѣтилъ, что и она въ меня вглядывается. Это завлекло мое любопытство вполнѣ; ужъ я не говорю про то, что у меня было свое особенное намѣреніе узнать ее поближе, — намѣреніе, еще съ того самаго письма отъ отца, которое меня такъ поразило. Не буду ничего говорить, не буду хвалить ее, скажу только одно: она яркое исключеніе изъ всего круга. Это такая своеобразная натура, такая сильная и правдивая душа, сильная именно своей чистотой и правдивостью, что я передъ ней просто мальчикъ, младшій братъ ея, не смотря на то, что ей всего только семнадцать лѣтъ. Одно еще я замѣтилъ: въ ней много грусти, точно тайны какой-то; она неговорлива; въ домѣ почти всегда молчитъ, точно запугана... Она какъ будто что-то обдумываетъ. Отца моего какъ будто боится. Мачиху не любитъ, — я догадался объ этомъ; это сама графиня распускаетъ, для какихъ-то цѣлей, что падчерица ее ужасно любитъ; все это неправда. Катя только слушается ее безпрекословно и какъ будто уговорила съ ней въ этомъ. Четыре дня тому назадъ, послѣ всѣхъ моихъ наблюденій, я рѣшился исполнить мое намѣреніе и сегодня вечеромъ исполнилъ его. Это: рассказать все Катѣ, признаться ей во всемъ, склонить ее на нашу сторону и тогда разомъ покончить все дѣло...“ — „Какъ! Что рассказать, въ чемъ признаться?“ — спросила съ безпокойствомъ Наташа. — „Все, рѣшительно все, — отвѣчалъ Алеша, — и благодарю Бога, Который внушилъ мнѣ эту мысль, но слушайте, слушайте! Четыре дня тому назадъ, я рѣшилъ такъ: удалиться отъ васъ и покончить все самому. Если-бъ я былъ съ вами, я бы все колебался, я бы слушалъ васъ и никакъ бы не рѣшился. Одинъ же, поставивъ именно себя въ такое положеніе, что каждую минуту долженъ былъ твердить себѣ, что надо кончить и что я *долженъ* кончить, я собрался съ духомъ, и — кончилъ! И положилъ воротиться къ вамъ съ рѣшеніемъ, и воротился съ рѣшеніемъ!“ — „Что же, что же? Какъ было дѣло? Рассказывай поскорѣе!“ — „Очень просто! Я подошелъ къ ней прямо, честно и смѣло... Но, во-первыхъ, я долженъ вамъ рассказать одинъ случай передъ этимъ, который ужасно поразилъ меня. Передъ тѣмъ, какъ намъ ѣхать, отецъ получилъ какое-то письмо. Я въ это время входилъ въ его кабинетъ и остановился у двери. Онъ не видалъ меня. Онъ до того былъ пораженъ этимъ письмомъ, что говорилъ самъ съ собою, восклицалъ что-то, внѣ себя ходилъ по комнатѣ и, наконецъ, вдругъ захохоталъ, а въ рукахъ письмо держитъ. Я

даже побоялся войти, переждалъ еще и потомъ пошелъ. Отецъ былъ такъ радъ чему-то, такъ радъ; заговорилъ со мной какъ-то странно; потомъ вдругъ прервалъ и велѣлъ мнѣ тотчасъ же собираться ѣхать, хотя еще было очень рано. У нихъ сегодня никого не было, только мы одни, и ты напрасно думала, Наташа, что тамъ былъ званый вечеръ. Тебѣ не такъ передали".—„Ахъ, не отвлекайся, Алеша, пожалуйста; говори, какъ ты рассказалъ все Катѣ?"—„Счастье въ томъ, что мы съ ней цѣлыхъ два часа оставались одни. Я просто объявилъ ей, что хоть насъ и хотятъ сосватать, но бракъ нашъ невозможенъ; что въ сердцѣ моемъ всѣ симпатіи къ ней и что она одна можетъ спасти меня. Тутъ я открылъ ей все. Представь себѣ, она ничего не знала изъ нашей исторіи про насъ съ тобой, Наташа! Если-бъ ты могла видѣть, какъ она была тронута; сначала даже испугалась. Поблѣднѣла вся. Я рассказалъ ей всю нашу исторію: какъ ты бросила для меня свой домъ, какъ мы жили одни, какъ мы теперь мучаемся, боимся всего, и что теперь мы прибѣгаемъ къ ней (я и отъ твоего имени говорилъ, Наташа), чтобъ она сама взяла нашу сторону и прямо сказала бы махнѣ, что не хочетъ идти за меня; что въ этомъ все наше спасеніе и что намъ болѣе нечего ждать ни откуда. Она съ такимъ любопытствомъ слушала, съ такой симпатіей. Какіе у ней были глаза въ ту минуту! Кажется, вся душа ея перешла въ ея взглядъ. У ней совсѣмъ голубые глаза. Она благодарила меня, что я не усомнился въ ней, и дала слово помогать намъ всѣми силами. Потомъ о тебѣ стала разспрашивать, говорила, что очень хочетъ познакомиться съ тобой, просила передать, что уже любитъ тебя, какъ сестру, и чтобъ и ты ее любила, какъ сестру; а когда узнала, что я уже пятый день тебя не видалъ, тотчасъ же стала гнать меня къ тебѣ".

Наташа была тронута.

— „И ты прежде этого могъ рассказывать о своихъ подвигахъ у какой-то глухой княгини! Ахъ, Алеша, Алеша!—воскликнула она, съ упрекомъ на него глядя.—Ну, что-жъ Катя? Была рада, весела, когда отпускала тебя?"—„Да, она была рада, что удалось ей сдѣлать благородное дѣло, а сама плакала. Потому что она вѣдь тоже любитъ меня, Наташа! Она призналась, что начинала уже любить меня; что она людей не видитъ и что я понравился ей уже давно; она отличила меня особенно потому, что кругомъ все хитрость и ложь, а я показался ей человѣкомъ искреннимъ и честнымъ. Она встала и сказала: „Ну, Богъ съ вами, Алексѣй Петровичъ, а я думала..." Не договорила, заплакала и ушла. Мы рѣшили, что завтра же она и скажетъ махнѣ, что не хочетъ за меня, и что завтра же и я долженъ все сказать отцу и высказать твердо и смѣло. Она упрекала меня, зачѣмъ я раньше ему не сказалъ: „Честный человѣкъ ничего не долженъ бояться!" Она такая благородная. Отца моего она тоже не любитъ; говорить, что онъ хитрый и ищетъ денегъ".

Нелли. [Въ той комнатѣ, въ которую переселился авторъ, жилъ до него старикъ, одинокій, никому неизвѣстный. Его навѣщала только внучка Нелли. Ничего не зная о смерти дѣда, она разъ явилась въ комнату автора].

Трудно было встрѣтить болѣе странное, болѣе оригинальное существо, по крайней мѣрѣ, по наружности. Маленькая, съ сверкающими, черными, какими-то не русскими глазами, съ густѣйшими, черными, включенными волосами и съ загадочнымъ, нѣмымъ и упорнымъ взглядомъ, она могла остановить вниманіе даже всякаго прохожаго на улицѣ. Особенно поражалъ ея взглядъ: въ немъ сверкала умъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и какая-то инквизиторская недовѣрчивость и даже подозрительность. Ветхое и грязное ея платье при дневномъ свѣтѣ еще больше вчерашняго походило на рубище. Мнѣ казалось, что она больна въ какой-нибудь медленной, упорной и постоянной болѣзни, постепенно, но неумолимо разрушающей ея организмъ. Блѣдное и худое ея лицо имѣло какой-то не натуральный смугложелтый, желчный оттѣнокъ. Но вообще, несмотря на все безобразіе нищеты и болѣзни, она была даже недурна собою. Брови ея были рѣзкія, тонкія и красивыя; особенно былъ хорошъ ея широкій лобъ, немного низкій, и губы, прекрасно обрисованныя, съ какой-то гордой, смѣлой складкой, но блѣдныя, чуть-чуть только окрашенныя.

[Она сначала дичилась автора, спрашивала только о дѣдѣ, но потомъ рассказала кое-что о себѣ. Она жила далеко отъ той части города, гдѣ была квартира автора, и къ дѣдушкѣ ее не пускали, она бѣгала потихоньку и за это ее били. Увидя участіе автора, Нелли стала ходить къ нему. Адреса своего она не сказала].

Она пристально посмотрѣла и вдругъ, съ мольбою обратившись ко мнѣ, сказала:

— „Ради Бога, не ходите за мной. А я приду, приду! Какъ только можно будетъ, такъ и приду!“ — „Хорошо, я сказалъ уже, что не пойду къ тебѣ. По чего ты боишься? Ты вѣрно какая-то несчастная. Мнѣ больно смотрѣть на тебя...“ — „Я никого не боюсь“, — отвѣчала она съ какимъ-то раздраженіемъ въ голосѣ. — „Но ты давеча сказала: „она прибѣтъ меня!“ — „Пусть бьетъ!“ — отвѣчала она и глаза ея засверкали. — „Пусть бьетъ! Пусть бьетъ!“ — горько повторяла она, и верхняя губка ея какъ-то презрительно приподнялась и задрожала.

Наконецъ, мы пріѣхали на Васильевскій. Она остановила извозчика въ началѣ шестой линіи и прыгнула съ дрожью, съ безпокойствомъ озираясь кругомъ.

— „Потѣжайте прочь; я приду, приду!“ — повторяла она въ страшномъ безпокойствѣ, умоляя меня не ходить за ней. — „Ступайте же скорѣе, скорѣе!“

Наташа. [Алеша такъ странно относился къ Наташѣ, что она отъ надежды переходила къ отчаянію. Князь-отецъ хитростью и энергіей своею отводилъ Алешу отъ нея].

Наташа была мнительна, но чиста сердцемъ и прямодушна. Мнительность ея происходила изъ чистаго источника. Она была горда, и благородно горда, и не могла перенести, если то, что она считала выше всего, предалось бы на посмѣяніе въ ея же глазахъ. На презрѣніе человѣка низкаго она, конечно, отвѣчала бы только презрѣніемъ, но все-таки болѣла бы сердцемъ за насмѣшку надъ тѣмъ, что считала святынею, кто бы ни смѣялся.

Не отъ недостатка твердости происходило это. Происходило отчасти и отъ слишкомъ малаго знанія свѣта, отъ непривычки къ людямъ, отъ замкнуто-сти въ своемъ углу. Она всю жизнь прожила въ своемъ углу, почти не выходя изъ него. И, наконецъ, свойство самыхъ добродушныхъ людей, можетъ-быть, перешедшее къ ней отъ отца, — захвалить человѣка, упорно считать его лучше, чѣмъ онъ въ самомъ дѣлѣ, сгоряча преувеличивать въ немъ все доброе, — было въ ней развито въ сильной степени. Тяжело такимъ людямъ потомъ разочаровываться; еще тяжеле, когда чувствуешь, что самъ виноватъ. Зачѣмъ ожидалъ болѣе, чѣмъ могутъ дать? А такихъ людей по-инутно ждетъ такое разочарованіе. Всего лучше, если они спокойно сидятъ въ своихъ углахъ и не выходятъ на свѣтъ; я даже замѣтилъ, что они дѣйствительно любятъ свои углы до того, что даже дичають въ нихъ. Впрочемъ, Наташа перенесла много несчастій, много оскорбленій. Это было уже больное существо, и ее нельзя винить, если только въ моихъ словахъ есть обвиненіе.

Но я спѣшилъ и сталъ уходить. Она изумилась и чуть не заплакала, что я уйду, хотя все время, какъ я сидѣлъ, не показывала мнѣ никакой особенной нѣжности, напротивъ, даже была со мной какъ-будто холоднѣе обыкновеннаго. Она горячо поцѣловала меня и какъ-то долго смотрѣла мнѣ въ глаза.

— „Послушай,—сказала она, — Алеша былъ пресмѣшной сегодня и даже удивилъ меня. Онъ былъ очень милъ, очень счастливъ съ виду, но злетѣлъ такимъ мотылькомъ, такимъ фатомъ, все передъ зеркаломъ, вертѣлся. Ужъ онъ слишкомъ какъ-то безъ церемоніи теперь... Да и сидѣлъ-то недолго. Представь: мнѣ конфетъ привезъ!“ — „Конфетъ? Что-жъ, это очень мило и простодушно. Ахъ, какіе вы оба! Вотъ ужъ и пошли теперь наблюдать другъ за другомъ, шпионить, лица другъ у друга изучать, тайныя мысли на нихъ читать (а ничего-то вы въ нихъ и не понимаете!). Еще онъ ничего. Онъ веселый и шпильникъ по-прежнему. А ты-то, ты-то!“

И всегда, когда Наташа перемѣняла тонъ и подходила, бывало, ко мнѣ или съ жалобой на Алешу, или для разрѣшенія какихъ-нибудь щекотливыхъ недоумѣній, или съ какимъ-нибудь секретомъ и съ желаніемъ, чтобъ я понялъ его съ полслова, то, помню, она всегда смотрѣла на меня оскала зубы и какъ будто вымаливая, чтобъ я непременно рѣшилъ какъ-нибудь такъ, чтобъ ей тотчасъ же стало легче на сердцѣ. Но помню тоже, я въ такихъ случаяхъ всегда какъ-то принималъ суровый и рѣзкій тонъ, точно распекая кого-то, и дѣлалось это у меня совершенно нечаянно, но всегда удавалось. Суровость и важность моя были кстати, казались авторитетнѣе, а вѣдь иногда человѣкъ чувствуетъ непреодолимую потребность, чтобъ его кто-нибудь пораспекъ. Но крайней мѣрѣ, Наташа уходила отъ меня иногда совершенно утѣшенная.

— „Пѣтъ, видишь, Ваня,—продолжала она, держа одну свою ручку на моемъ плечѣ, другою сжимая мнѣ руку, а глазками заискивая въ моихъ глазахъ,—мнѣ показалось, что онъ былъ какъ-то мало проникнутъ... онъ показался мнѣ такимъ ужъ магі,—знаешь, какъ будто десять лѣтъ жемать,

по все еще любезный съ женой человѣкъ. Не рано-ли ужъ очень?.. Смился, вертѣлся, но какъ будто это все ко мнѣ только такъ, только ужъ отчасти относится, а не такъ, какъ прежде... Очень торопился къ Катеринѣ Федоровнѣ... Я ему говорю, а онъ не слушаетъ или о другомъ заговариваетъ, знаешь, эта сѣверная, великосвѣтская привычка, отъ которой мы оба его такъ отучали. Однимъ словомъ, былъ такой... даже какъ будто равнодушный... Но что я! Вотъ и пошла, вотъ и начала! Ахъ, какіе мы всѣ требовательные, Ваня, какіе капризные деспоты! Только теперь вижу! Пустой переѣзъ въ лицѣ человѣку не простимъ, а у него еще Богъ знаетъ отчего переѣзилось лицо! Ты правъ, Ваня, что сейчасъ укорялъ меня! Это я одна во всемъ виновата! Сами себѣ горести создаемъ, да еще жалуемся... Спасибо, Ваня, ты меня совершенно утѣшилъ. Ахъ, кабы онъ сегодня пріѣхалъ! Да чего! Пожалуй еще разсердится за давешнее“.

Нелли. [Автору удалось освободить Нелли изъ рукъ той женщины, которая приняла ее къ себѣ, якобы изъ состраданія, какъ сироту, но мучила ее и оскорбляла. Нелли поселилась на время въ комнатѣ автора].

Проснулся я больной, поздно, часовъ въ десять утра. У меня кружилась и болѣла голова. Я взглянулъ на постель Елены: постель была пуста. Въ то же время, изъ правой моей комнаты, долетали до меня какіе-то звуки, какъ будто кто-то шуркалъ по полу вѣшникомъ. Я вышелъ посмотреть. Елена держала въ рукѣ вѣшникъ и, придерживая другой рукой свое нарядное платье, которое она еще и не снимала съ того самаго вечера, мела полъ. Дрова, приготовленныя въ печку, были сложены въ уголку; со стола стерто, чайникъ вычищенъ; однимъ словомъ, Елена хозяйничала.

— „Послушай, Елена,—закричалъ я,—кто-же тебя заставляетъ полъ мести? Я этого не хочу, ты больна; развѣ ты въ работницы пришла ко мнѣ?“ — „Кто-жъ будетъ здѣсь полъ мести?“—отвѣчала она, выпрямляясь и прямо смотря на меня.—Теперь я не больна.“.—„Но я не для работы взялъ тебя, — Елена. Ты какъ будто боишься, что я буду попрекать тебя, какъ Бубнова, что ты у меня даромъ живешь? И откуда ты взяла этотъ гадкій вѣшникъ? У меня не было вѣшника“, — прибавилъ я, смотря на нее съ удивленіемъ. — „Это мой вѣшникъ. Я его сама сюда принесла. Я и дѣдушкѣ здѣсь полъ мела. А вѣшникъ вотъ тутъ, подъ печкой, съ того времени и лежалъ“.

Я воротился въ комнату въ раздумьи. Могло быть, что я грѣшилъ; но мнѣ именно казалось, что ей какъ будто тяжело было мое гостепріимство и что она всячески хотѣла доказать мнѣ, что живетъ у меня не даромъ. „Въ такомъ случаѣ, какой-же это озлобленный характеръ?“—подумалъ я. Минуты двѣ спустя вошла и она и молча сѣла на свое вчерашнее мѣсто на диванѣ, пытливо на меня поглядывая. Между тѣмъ, я вскипятилъ чайникъ, заварилъ чай, налилъ ей чашку и подаль съ кускомъ бѣлаго хлѣба. Она взяла молча и безпрекословно. Цѣлыя сутки она почти ничего не ѣла.

— „Вотъ и платье хорошенькое запачкала вѣшникомъ“,—сказалъ я, замѣтивъ большую грязную полосу на подолѣ ея юбки.

Она осмотрѣлась и вдругъ, къ величайшему моему удивленію, отставила чашку, уцепилась обѣими руками, повидимому, хладнокровно и тихо,

кисейное полотнище юбки и однимъ взмахомъ разорвала его сверху до низу. Сдѣлавъ это, она молча подняла на меня свой упорный, сверкающій взглядъ. Лицо ея было блѣдно.

— „Что ты дѣлаешь, Елена?“—закричалъ я, увѣренный, что вижу передъ собой сумасшедшую. — „Это нехорошее платье,—проговорила она, почти задыхаясь отъ волненія. — Зачѣмъ вы сказали, что это хорошее платье? Я не хочу его носить,—вскричала она вдругъ, вскочивъ съ мѣста. — Я его изорву. Я не просила ее рядить меня. Она меня нарядила сама, насильно. Я ужъ разорвала одно платье, разорву и это. Разорву, разорву, разорву!..“

И она съ яростью накинута на свое несчастное платьице. Въ одинъ мигъ она изорвала его чуть не въ клочки. Когда она кончила, она была такъ блѣдна, что едва стояла на мѣстѣ. Я съ удивленіемъ смотрѣлъ на такое ожесточеніе. Она-же смотрѣла на меня какимъ-то вызывающимъ взглядомъ, какъ будто и я былъ тоже въ чемъ-нибудь виноватъ передъ нею. Но я уже зналъ, что мнѣ дѣлать.

Я положилъ, не откладывая, сегодня-же утромъ купить ей новое платье. На это дикое, ожесточенное существо нужно было дѣйствовать добротой. Она смотрѣла такъ, какъ будто никогда и не видывала добрыхъ людей. Если она ужъ разъ, несмотря на жестокое наказаніе, изорвала въ клочки свое первое, такое-же платье, то съ какимъ-же ожесточеніемъ она должна была смотрѣть на него теперь, когда оно напоминало ей такую ужасную недавнюю минуту.

На Толкучемъ можно было очень дешево купить хорошенькое и простенькое платьице. Бѣда была въ томъ, что у меня въ ту минуту почти совсѣмъ не было денегъ. Но я еще наканунѣ, ложась вчера спать, рѣшилъ отправиться сегодня въ одно мѣсто, гдѣ была надежда достать ихъ и какъ разъ приходилось идти въ ту самую сторону, гдѣ Толкучій. Я взялъ шляпу. Елена пристально слѣдила за мной, какъ будто чего-то ждала.

— „Вы опять запрете меня?“—спросила она, когда я взялся за ключъ, чтобъ запереть за собой квартиру, какъ вчера и третьягодня. — „Другъ мой,—сказалъ я, подходя къ ней,—не сердись за это. Я потому запираю, что можетъ кто-нибудь придти. Ты же больная, пожалуй, испугаешься. Да и Богъ знаетъ, кто еще придетъ, можетъ-быть, Бубнова вздумаетъ придти...“

Я нарочно сказалъ ей это. Я запиралъ ее, потому что не довѣрялъ ей. Мнѣ казалось, что она вдругъ вздумаетъ уйти отъ меня. До времени я рѣшился быть осторожнѣе. Елена промолчала и я таки заперъ ее и въ этотъ разъ.

— „Вотъ, другъ мой Елена,—сказалъ я, подходя къ ней,—въ такихъ ключахъ, какъ ты теперь, ходить нельзя. Я и купилъ тебѣ платье, буднишнее, самое дешевое, такъ что тебѣ нечего беспокоиться; оно всего рубль двадцать копеекъ стоитъ. Носи на здоровье“.

Я положилъ платье подлѣ себя. Она вспыхнула и смотрѣла на меня нѣкоторое время во всѣ глаза.

Она была чрезвычайно удивлена и, вмѣстѣ съ тѣмъ, мнѣ показалось, ей было чего-то ужасно стыдно. Но что-то мягкое, нѣжное засвѣтилось въ

глазахъ ея. Видя, что она молчитъ, я отвернулся къ столу. Поступокъ мой видимо поразилъ ее. Но она съ усиленіемъ превозмогла себя и сидѣла, опустивъ глаза въ землю.

Голова моя болѣла и кружилась все болѣе и болѣе. Свѣжій воздухъ не принесъ мнѣ ни малѣйшей пользы. Между тѣмъ, надо было идти къ Наташѣ. Безпокойство мое о ней не уменьшалось со вчерашняго дня, напротивъ, возрастало все болѣе и болѣе. Вдругъ мнѣ показалось, что Елена меня окликнула. Я оборотился къ ней.

— „Вы когда уходите, не запирайте меня!— проговорила она, смотря въ сторону и пальчикомъ теребя на диванѣ покрыву, какъ будто-бы вся была погружена въ это занятіе.— Я отъ васъ никуда не уйду.— Вамъ кто бѣлье моетъ?“ — спросила она вдругъ, прежде чѣмъ я успѣлъ ей отвѣчать что-нибудь. — „Здѣсь, въ этомъ домѣ, есть женщина“. — „Я умѣю мыть бѣлье. А гдѣ вы кушанье вчера взяли?“ — „Въ трактирѣ“. — „Я и стряпать умѣю. Я вамъ буду кушанье готовить“. — „Полно, Елена; ну, что ты можешь стряпать? Все это ты не къ дѣлу говоришь...“

Елена замолчала и потупилась. Ее видимо огорчило мое замѣчаніе. Прошло, по крайней мѣрѣ, минутъ десять; мы оба молчали.

— „Супъ“, — сказала она вдругъ, не поднимая головы. — „Какъ супъ? Какой супъ?“ — спросилъ я, удивляясь. — „Супъ умѣю готовить. Я для маменьки готовила, когда она была больна. Я и на рынокъ ходила“. — „Вотъ видишь, Елена, вотъ видишь, какая ты гордая, — сказалъ я, подходя къ ней и садясь съ ней на диванъ рядомъ.— Я съ тобою поступаю, какъ мнѣ велитъ мое сердце. Ты теперь одна, безъ родныхъ, несчастная. Я тебѣ помочь хочу. Такъ-же бы и ты мнѣ помогла, когда-бы мнѣ было худо. Но ты не хочешь такъ разсудить и вотъ тебѣ тяжело отъ меня самый простой подарокъ принять. Ты тотчасъ-же хочешь за него заплатить, заработать, какъ будто я Бубнова и тебя попрекаю. Если такъ, то это стыдно, Елена“.

Она не отвѣчала, губы ея вздрагивали. Кажется, ей хотѣлось что-то сказать мнѣ, но она скрѣпилась и смолчала.

[Однажды, когда авторъ вернулся домой, онъ, давно уже хворавшій, упалъ безъ памяти на полъ].

Помню только крикъ Елены: она всплеснула руками и бросилась ко мнѣ поддержать меня. Это было послѣднее мгновеніе, уцѣлѣвшее въ моей памяти...

Помню потомъ себя уже на постели. Елена рассказывала мнѣ впоследствии, что она, вмѣстѣ съ дворникомъ, принесшимъ въ это время намъ кушанье, перенесла меня на диванъ. Нѣсколько разъ я просыпался, и каждый разъ видѣлъ склонившееся надо мной сострадательное заботливое личико Елены. Но все это я помню какъ сквозь сонъ, какъ въ туманѣ, и милый образъ бѣдной дѣвочки мелькалъ передо мной, среди забытья, какъ видѣнье, какъ картинка; она подносила мнѣ пить, оправляла меня на постели или сидѣла передо мной грустная, испуганная, и приглаживала своими пальцами мои волосы. Одинъ разъ вспоминаю ея тихій поцѣлуй на моемъ лицѣ. Въ другой разъ, вдругъ очнувшись ночью, при свѣтѣ нагорѣвшей свѣчи,

стоявшей передо мной на придвинутомъ къ дивану столикѣ, я увидѣлъ, что Елена прилегла лицомъ на мою подушку и пугливо спала, полураскрывъ свои блѣдныя губки и приложивъ ладонь къ своей теплой щечкѣ. Но очнувшись я хорошо уже только рано утромъ. Свѣча догорѣла вся; яркій, розовый лучъ начинавшейся зари уже игралъ на стѣнѣ. Елена сидѣла на стулѣ передъ столомъ и, склонивъ свою усталую головку на лѣвую руку, улегшуюся на столѣ, крѣпко спала и, помню, я заглядѣлся на ея дѣтское личико, полное и во снѣ какъ-то не дѣтски-грустнаго выраженія и какой-то странной, болѣзненной красоты; блѣдное, съ стрѣльчатыми длинными рѣсницами на худенькихъ щекахъ, обрамленное черными какъ смоль волосами, пусто и тяжело ниспадавшими небрежно завязаннымъ узломъ на сторону. Круглая рука ея лежала на моей подушкѣ. Я тихо-тихо поцѣловалъ эту худенькую ручку, но блѣдное дитя не проснулось, только какъ будто улыбка гротескольно изогнулась на ея блѣдныхъ губкахъ. Я смотрѣлъ-смотрѣлъ на нее и тихо заснулъ покойнымъ, цѣлительнымъ сномъ. Въ этотъ разъ я проспалъ чуть не до полудня. Проснувшись, я почувствовалъ себя почти выздоровѣвшимъ. Только слабость и тягость во всѣхъ членахъ свидѣтельствовали о недавней болѣзни. Подобные нервныя и быстрые припадки бывали со мною и прежде; я зналъ ихъ хорошо. Болѣзнь обыкновенно почти совсѣмъ проходила въ сутки, что, впрочемъ, не мѣшало ей дѣйствовать въ эти сутки бурно и круто.

Быль уже почти полдень. Первое, что я увидѣлъ, это протянутые въ тѣлу, на шнурѣ, занавѣсы, купленные мною вчера. Распорядилась Елена и отмежевала себѣ въ комнатѣ особый уголокъ. Она сидѣла передъ печкой и кипятила чайникъ. Замѣтивъ, что я проснулся, она весело улыбнулась и готчасъ-же подошла ко мнѣ.

— „Другъ ты мой,—сказала я, взявъ ее за руку,—ты цѣлую ночь за мной смотрѣла. Я не зналъ, что ты такая добрая“. — „А вы почему знаете, что я за вами смотрѣла; можетъ быть, я всю ночь проспала?“ — спросила она, смотря на меня съ добродушнымъ и стыдливимъ лукавствомъ и въ то же время застѣнчиво краснѣя отъ своихъ словъ. — „Я просыпался и видѣлъ все. Ты заснула только передъ разсвѣтомъ...“ — „Хотите чаю?“ — перебила она, какъ-бы затрудняясь продолжать этотъ разговоръ, что бываетъ со всѣми цѣломудренными и сурово-честными сердцами, когда о нихъ имъ-же заговаривать съ похвалою. — „Хочу, — отвѣчалъ я. — Но обѣдала-ли ты вчера?“ — „Не обѣдала, а ужинала. Дворникъ принесъ. Вы, впрочемъ, не разговаривайте, а лежите покойно: вы еще не совсѣмъ здоровы“, — прибавила она, поднося мнѣ чаю и садясь на мою постель. — „Какое лежите! До сумерокъ, впрочемъ, буду лежать, а тамъ пойду со двора. Непремѣнно, надо, Лепочка. — „Ну, ужъ и надо! Къ кому вы пойдете? Ужъ не къ вчерашнему-ли гостю?“ — „Нѣтъ, не къ нему“. — „Вотъ и хорошо, что не къ нему. Это онъ васъ разстроилъ вчера. Такъ къ его дочери?“ — „А ты почему знаешь про его дочь?“ — „Я все вчера слышала“, — отвѣчала она, потупившись.

Лицо ея нахмурилось. Брови сдвинулись надъ глазами.

— „Онъ дурной старикъ“,—прибавила она потомъ.—„Развѣ ты знаешь
Савоскинъ. ил. 31

его? Напротивъ, онъ очень добрый человѣкъ“. — „Нѣтъ, нѣтъ, онъ злой; я слышала“, — отвѣчала она съ увлеченіемъ. — „Да что-же ты слышала?“ — „Онъ свою дочь не хочетъ простить...“ — „Но онъ любитъ ее. Она передъ нимъ виновата, а онъ о ней заботится, мучается“. — „А зачѣмъ не прощаетъ? Теперь какъ простить, дочь и не шла-бы къ нему“. — „Какъ такъ? Почему-же?“ — „Потому что онъ не стоитъ, чтобъ его дочь любила, — отвѣчала она съ жаромъ. — Пусть она уйдетъ отъ него навсегда и лучше пусть милостыню проситъ, а онъ пусть видитъ, что дочь проситъ милостыню, да мучается“.

Глаза ея сверкали, щечки загорѣлись. „Вѣрно, она не проста такъ говорить“, — подумалъ я про себя.

— „Это вы меня къ нему-то въ домъ хотѣли отдать?“ — прибавила она, помолчавъ. — „Да, Елена“. — „Нѣтъ, я лучше въ служанки наймусь“. — „Ахъ, какъ не хорошо это все, что ты говоришь, Леночка. И какой вздоръ: ну, къ кому ты можешь наняться?“ — „Ко всякому мужику“, — нетерпѣливо отвѣчала она, все болѣе и болѣе потупляясь.

Она была примѣтно вспылчива.

— „Да мужику и не надо такой работницы“, — сказалъ я, усмѣхаясь. — „Ну, къ господамъ“. — „Съ твоимъ-ли характеромъ жить у господъ?“ — „Съ моимъ“.

Чѣмъ болѣе раздражалась она, тѣмъ отрывистѣе отвѣчала.

— „Да ты не выдержишь“. — „Выдержу. Меня будутъ бранить, а я буду нарочно молчать. Меня будутъ бить, а я буду все молчать, все молчать, пусть бьютъ, ни за что не заплачу. Имъ-же хуже будетъ отъ злости, что я не плачу“. — „Что ты, Елена! Сколько въ тебѣ озлобленія; и гордая ты какая! Много, знать, ты видѣла горя...“

[Узнавъ, что авторъ занимается литературой и очень бѣденъ, Нелли сказала]:

— „Такъ я буду работать и вамъ помогать...“

Она быстро взглянула на меня, вспыхнула, опустила глаза и, ступивъ ко мнѣ два шага, вдругъ обхватила меня обѣими руками, а лицомъ крѣпко крѣпко прижалась въ моей груди. Я съ изумленіемъ смотрѣлъ на нее.

— „Я васъ люблю... я не гордая, — проговорила она. — Вы сказали вчера, что я гордая. Нѣтъ, нѣтъ... я не такая... я васъ люблю. Вы только одинъ меня любите...“

Но уже слезы задушали ее. Минуту спустя, онѣ вырвались изъ груди съ такою силою, какъ вчера во время припадка. Она упала передъ мной на колѣни, цѣловала мои руки, ноги...

— „Вы любите меня!.. — повторяла она, — вы только одинъ, одинъ!..“

Она судорожно сжимала мои колѣни своими руками. Все чувство ея, сдерживаемое столько времени, вдругъ разомъ вырвалось наружу, въ неуправляемый порывъ, и мнѣ стало понятно это странное упорство сердца, цѣломудренно таищаго себя до времени и тѣмъ упорнѣе, тѣмъ суровѣе, чѣмъ сильнѣе потребность излить себя, высказаться, и все это до того не

избѣжнаго порыва, когда все существо вдругъ до самозабвенія отдается этой потребности любви, благодарности, ласкамъ, слезамъ...

Она рыдала до того, что съ ней сдѣлалась истерика. Насилу я развелъ ея руки, обхватившія меня. Я поднялъ ее и отнесъ на диванъ. Долго еще она рыдала, укрывъ лицо въ подушки, какъ будто стыдась смотрѣть на меня, но крѣпко стиснувъ мою руку въ своей маленькой ручкѣ и не отнимая ея отъ своего сердца.

Мало-по-малу она утихла, но все еще не подымала ко мнѣ своего лица. Раза два, мелькомъ, ея глаза скользнули по моему лицу, и въ нихъ было столько мягкости и какого-то пугливаго и снова прятавшагося чувства. Наконецъ, она покраснѣла и улыбнулась.

„Любящее и гордое сердечко“,—подумалъ я.

[Немнѣ стала откровеннѣе: она рассказала автору многое изъ своего прошлаго].

Я не хотѣлъ ее мучить разспросами. Это былъ характеръ странный, нервный и пылкій, но подавлявшій въ себѣ свои порывы, симпатичный, но замыкавшійся въ гордость и недоступность. Все время какъ я ее зналъ, она, несмотря на то, что любила меня всѣмъ сердцемъ своимъ, самую свѣтлою и ясною любовью, почти наравнѣ съ своею умершею матерью, о которой даже не могла вспоминать безъ боли,—несмотря на то, она рѣдко была со мной наружу и, кромѣ этого дня, рѣдко чувствовала потребность говорить со мной о своемъ прошедшемъ; даже, напротивъ, какъ-то сурово таилась отъ меня. Но въ этотъ день, въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ, среди мукъ и судорожныхъ рыданій, прерывавшихъ разсказъ ея, она передала мнѣ все, что наиболѣе волновало и мучило ее въ ея воспоминаніяхъ, и никогда не забуду я этого страшнаго разсказа.

Это была страшная исторія; это исторія покинутой женщины, пережившей свое счастье; больной, измученной и оставленной всѣми; отвергнутой послѣднимъ существомъ, на которое она могла надѣяться, отцомъ своимъ, оскорбленнымъ когда-то ею и, въ свою очередь, выжившимъ изъ ума отъ нестерпимыхъ страданій и униженій. Это исторія женщины, доведенной до отчаянія; ходившей съ своей дѣвочкой, которую она считала еще ребенкомъ, по холоднымъ грязнымъ петербургскимъ улицамъ и просившей милостыню; женщины, умиравшей потомъ цѣлые мѣсяцы въ сыромъ подвалѣ, и которой отецъ отказывалъ въ прощеніи до послѣдней минуты ея жизни и только въ послѣднюю минуту опомнившійся и прибѣжавшій простить ее, но уже заставшій одинъ холодный трупъ вмѣсто той, которую любилъ больше всего на свѣтѣ. Это былъ странный разсказъ о таинственныхъ, даже едва понятныхъ отношеніяхъ выжившаго изъ ума старика съ его маленькой внучкой, уже понимавшей его, уже понимавшей, несмотря на свое дѣтство, многое изъ того, до чего не развивается иной въ цѣлые годы своей обезпеченной и гладкой жизни. Мрачная это была исторія, одна изъ тѣхъ мрачныхъ и мучительныхъ исторій, которыя такъ часто и непримѣтно, почти таинственно, сбываются подъ тяжелымъ петербургскимъ небомъ, въ темныхъ, потаенныхъ закоулкахъ огромнаго города, среди взбалмошнаго кипѣнія

жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересовъ, угрюмага разврата, сокровенныхъ преступленій, среди всего этого кромѣшнаго ада безсмысленной и ненормальной жизни...

Наташа. [Желая поскорѣе разорвать связь Алеши съ Наташей, князь разрѣшилъ ему на ней жениться. Сдѣлавъ онъ это, тонко рассчитавъ, что Алеша, не видя препятствій своему браку, скорѣе перестанетъ имъ интересоваться и охладѣетъ къ Наташѣ, а Наташа будетъ съ большимъ довѣріемъ относиться къ князю и этимъ умалитъ свое вліяніе на Алешу. Но Наташа поняла эту игру. Однажды Алеша, нѣсколько дней не посѣщавшій Наташу, явился къ ней и съ обычной восторженностью сталъ рассказывать о своемъ временипрепровожденіи въ обществѣ Кати и молодыхъ людей, которые всѣ идеально смотрятъ на жизнь, мечтаютъ о счастіи всего человѣчества и дали обѣтъ служить этому человѣчеству. Князь высмѣялъ наивную вѣру сына].

— „И такъ измѣнился, отецъ, что все это, конечно, должно удивлять тебя; даже заранѣе предчувствую всѣ твои возраженія, — отвѣчалъ торжественно Алеша. — Всѣ вы люди практическіе, у васъ столько выжитыхъ правилъ, серьезныхъ, строгихъ, на все новое, на все молодое, свѣжее вы смотрите недоувѣрчиво, враждебно, насмѣшливо. Но теперь ужъ я не тотъ, — какимъ ты зналъ меня нѣсколько дней тому назадъ. Я другой! Я смѣлю смотреть въ глаза всему и всѣмъ на свѣтѣ. Если я знаю, что мое убѣжденіе справедливо, я преслѣдую его до послѣдней крайности; и если я не сойду съ дороги, то я честный человѣкъ. Съ меня довольно. Говорите послѣ того, что хотите, я въ себѣ увѣренъ.“ — „Ого!“ — сказалъ князь насмѣшливо.

Наташа съ безпокойствомъ оглядѣла насъ. Она боялась за Алешу. Ему часто случалось очень невыгодно для себя увлекаться въ разговорѣ, она знала это. Ей не хотѣлось, чтобъ Алеша выказалъ себя съ смѣшно стороны передъ нами и особенно передъ отцомъ.

— „Что ты, Алеша! Вѣдь это ужъ философія какая-то, — сказала она, — тебя вѣрно кто-нибудь научилъ... ты-бы лучше рассказывалъ.“ — „Да я и рассказываю! — вскричалъ Алеша. — Вотъ видишь: у Кати есть два дальніе родственника, какіе-то кузены, Левинька и Буринька, одинъ студентъ, а другой просто молодой человѣкъ. Она съ ними имѣетъ сношенія, а тѣ — просто необыкновенные люди! Къ графинѣ они почти не ходятъ, по принципу. Когда мы говорили съ Катей о назначеніи человѣка, о призваніи и обо всемъ этомъ, она указала мнѣ на нихъ и немедленно дала мнѣ къ нимъ записку; я тотчасъ-же полетѣлъ съ ними знакомиться. Въ тотъ-же вечеръ мы сошлись совершенно. Тамъ было человѣкъ двѣнадцать разнаго народа, — студентовъ, офицеровъ, художниковъ; былъ одинъ писатель... они всѣ васъ знаютъ, Иванъ Петровичъ, то-есть читали ваши сочиненія и много ждутъ отъ васъ въ будущемъ. Такъ они мнѣ сами сказали. Я говорилъ имъ, что съ вами знакомъ и обѣщалъ имъ васъ познакомить съ ними. Всѣ они приняли меня по-братски, съ распростертыми объятіями. Я съ перваго-же разу сказалъ имъ, что буду скоро женатый человѣкъ; такъ они и принимали меня за женатаго человѣка. Живутъ они въ пятомъ этажѣ, подъ кры-

шами, собираются какъ можно чаще, но преимущественно по средамъ, къ Левинькѣ и Боринькѣ. Это все молодежь свѣжая; всѣ они съ пламенной любовью ко всему человѣчеству; всѣ мы говорили о нашемъ настоящемъ, будущемъ, о наукахъ, о литературѣ, и говорили такъ хорошо, такъ прямо и просто... Туда тоже ходитъ одинъ гимназистъ. Какъ они обращаются между собой, какъ они благородны! Я не видалъ еще до сихъ поръ такихъ! Гдѣ я бывалъ до сихъ поръ? Что я видалъ? На чемъ я выросъ? Одна ты только, Наташа, и говорила мнѣ что-нибудь въ этомъ родѣ. Ахъ, Наташа, ты непременно должна познакомиться съ ними; Катя уже знакома. Они говорятъ о ней чуть не съ благоговѣніемъ, и Катя уже говорила Левинькѣ и Боринькѣ, что когда она войдетъ въ права надъ своимъ состояніемъ, то непременно тотчасъ-же пожертвуетъ миллионъ на общественную пользу. — „И распорядителями этого миллиона вѣрно будутъ Левинька и Боринька и ихъ вся компанія?“—спросилъ князь. — „Неправда, неправда; стыдно, отецъ, такъ говорить!“—съ жаромъ вскричалъ Алеша. — „Я подозрѣваю твою мысль! А объ этомъ миллионѣ дѣйствительно былъ у насъ разговоръ, и долго рѣшали: какъ его употребить? Рѣшили, наконецъ, что прежде всего на общественное просвѣщеніе...“ — „Да, я дѣйствительно не совсѣмъ зналъ до сихъ поръ Катерину Федоровну,“—замѣтилъ князь какъ-бы про себя, все съ той-же насмѣшливой улыбкой. — „И, впрочемъ, многого отъ нея ожидалъ, но этого...“ — „Чего этого!“—прервалъ Алеша, — „что тебѣ такъ странно? Что это выходитъ нѣсколько изъ вашего порядка? Что никто до сихъ поръ не жертвовалъ миллиона, а она жертвуетъ? Это, что-ли! Но, что-жъ, если она не хочетъ жить на чужой счетъ, потому что жить этими миллионами, значить жить на чужой счетъ (я только теперь это узналъ). Она хочетъ быть полезна отечеству и всѣмъ, и принести на общую пользу свою лепту. Про лепту-то мы еще въ прописяхъ читали, и какъ лепта запахла миллионотъ, такъ ужъ и тутъ не то? И на чемъ держится все это хваленое благоразуміе, въ которое я такъ вѣрилъ? Что ты такъ смотришь на меня, отецъ? Точно ты видишь передъ собой шута, дурачка! Ну, что-жъ что дурачокъ! Послушала-бы ты, Наташа, что говорила объ этомъ Катя: „Не умъ главное, а то, что направляетъ его, — натура, сердце, благородныя свойства, развитіе“. Но главное, на этотъ счетъ есть геніальное выраженіе Безмыгина. Безмыгинъ—это знакомый Левиньки и Бориньки, и, между нами, голова, и дѣйствительно геніальная голова! Не далѣе какъ вчера, онъ сказалъ къ разговору: „дуракъ, сознавшійся, что онъ дуракъ, есть уже не дуракъ!“ Какова правда! Такія изреченія у него поминутно. Онъ сыплетъ истинами.“ — „Дѣйствительно геніально!“—замѣтилъ князь. — „Ты все смѣшешься. Но вѣдь я отъ тебя ничего никогда не слыхалъ такого, и отъ всего вашего общества тоже никогда не слыхалъ. У васъ, напротивъ, все это какъ-то прячутъ, все-бы пониже къ землѣ, чтобъ всѣ росты, всѣ носы выходили непременно по какимъ-то мѣркамъ, по какимъ-то правиламъ, — точно это возможно! Точно это не въ тысячу разъ невозможно, чѣмъ то, о чемъ мы говоримъ и что думаемъ. А еще называютъ насъ утопистами! Послушай-бы ты, какъ они мнѣ вчера говорили...“ — „Но что-же, о чемъ вы говорите к

думаете? Расскажи, Алеша, я до сихъ поръ какъ-то не понимаю,“—сказала Наташа.—„Вообще обо всемъ, что ведетъ къ прогрессу, къ гуманности, къ любви; все это говорится по поводу современныхъ вопросовъ. Мы говоримъ о гласности, о начинающихся реформахъ, о любви къ человѣчеству, о современныхъ дѣятеляхъ; мы ихъ разбираемъ, читаемъ. Но, главное, мы дали другъ другу слово быть совершенно между собой откровенными и прямо говорить другъ другу все о самихъ себѣ, не стѣсняясь. Только откровенность, только прямота могутъ достигнуть пѣли. Объ этомъ особенно старается Безмыгинъ. Я рассказалъ объ этомъ Катѣ, и она совершенно сочувствуетъ Безмыгину. И потому мы всѣ, подъ руководствомъ Безмыгина, дали себѣ слово дѣйствовать честно и прямо всю жизнь, и что-бы ни говорили о насъ, какъ-бы ни судили о насъ,—не смущаться ничѣмъ, не стыдиться нашей восторженности, нашихъ увлеченій, нашихъ ошибокъ и идти напрямки. Коли ты хочешь, чтобъ тебя уважали, во-первыхъ, и главное, уважай самъ себя; только этимъ, только самоуваженіемъ ты заставишь и другихъ уважать себя. Это говоритъ Безмыгинъ, и Катя совершенно съ нимъ согласна. Вообще мы теперь уговариваемся въ нашихъ убѣжденіяхъ и положили заниматься изученіемъ самихъ себя порознь, а всѣ вмѣстѣ толковать другъ другу другъ друга...“—„Что за галиматья!—вскричалъ князь съ безпокойствомъ. — И кто этотъ Безмыгинъ? Нѣтъ, это такъ оставить нельзя...“—„Чего нельзя оставить?—подхватилъ Алеша.—Слушай, отецъ, почему я говорю все это теперь, при тебѣ? Потому что хочу и надѣюсь ввести и тебя въ нашъ кругъ. Я далъ уже тамъ и за тебя слово. Ты смѣешься, ну, такъ и зналъ, что ты будешь смѣяться! Но, выслушай! Ты добръ, благороденъ; ты поймешь. Вѣдь ты не знаешь, ты не видалъ никогда этихъ людей, не слыхалъ ихъ самихъ. Положимъ, что ты обо всемъ этомъ слышалъ, все изучилъ, ты ужасно ученъ; но самихъ-то ихъ ты не видалъ, у нихъ не былъ, а потому какъ-же ты можешь судить о нихъ вѣрно! Ты только воображаешь, что знаешь. Нѣтъ, ты побудь у нихъ, послушай ихъ, и тогда,—и тогда я даю слово за тебя, что ты будешь нашъ! А главное, я хочу употребить всѣ средства, чтобъ спасти тебя отъ гибели въ твоемъ обществѣ, къ которому ты такъ прилѣпился, и отъ твоихъ убѣжденій.“

Князь молча и съ ядовитѣйшей насмѣшкой выслушалъ эту выходку; злость была въ лицѣ его.

[Алеша былъ обиженъ отношеніемъ отца къ его рѣчамъ и высказалъ откровенно тѣ неясныя подозрѣнія, которыя его волновали].

— „Не разсердись-же за полную мою откровенность,—началъ Алеша.— Ты самъ ее хочешь, самъ вызываешь. Слушай. Ты согласился на мой бракъ съ Наташей; ты далъ намъ это счастье и для этого побѣдилъ себя самого. Ты былъ великодушенъ, и мы всѣ оцѣнили твой благородный поступокъ. Но почему-же теперь ты съ какою-то радостью непрерывно намекаешь мнѣ, что я еще смѣшной мальчикъ и вовсе не гожусь быть мужемъ; мало того, ты какъ будто хочешь осмѣять, унизить, даже какъ будто очернить меня въ глазахъ Наташи. Ты очень радъ всегда, когда можешь хоть чѣмъ-нибудь меня выказать съ смѣшной стороны; это я замѣтилъ не теперь, а уже

давно. Какъ будто ты именно стараешься для чего-то доказать намъ, что бракъ нашъ смѣшонъ, нелѣпъ и что мы не пара. Право, какъ будто ты самъ не вѣришь въ то, что для насъ предназначаешь; какъ будто смотришь на все это какъ на шутку, на забавную выдумку, на какой-то смѣшной водевиль... Я вѣдь не изъ сегодняшнихъ только словъ твоихъ это вывожу. Я въ тотъ-же вечеръ, во вторникъ-же, какъ воротился къ тебѣ отсюда, слышалъ отъ тебя нѣсколько странныхъ выраженій, изумившихъ, даже огорчившихъ меня. И въ среду, уѣзжая, ты тоже сдѣлалъ нѣсколько какихъ-то намековъ на наше теперешнее положеніе, сказалъ и о ней — не оскорбительно, напротивъ, но какъ-то не такъ, какъ-бы я хотѣлъ слышать отъ тебя, какъ-то слишкомъ легко, какъ-то безъ любви, безъ такого уваженія къ ней... Это трудно рассказать, но тонъ ясенъ; сердце слышитъ. Скажи же мнѣ, что я ошибаюсь. Разувѣрь меня, ободрь меня и... и ее, потому что ты и ее огорчилъ. Я это угадалъ съ перваго-же взгляда, какъ вошелъ сюда..."

Алеша высказалъ это съ жаромъ и съ твердостью. Наташа съ какою-то торжественностью его слушала и вся въ волненіи, съ пылающимъ лицомъ, раза два проговорила про себя въ продолженіе его рѣчи: „да, да, это такъ!“ Князь смутился.

[Объясненія князя были убѣдительны для Алеши, но не для Наташи].

— „Объяснитесь, Наталья Николаевна,—подхватилъ князь,—убѣдительно прошу васъ! Я уже два часа слышу объ этомъ загадки. Это становится невыносимо и, признаюсь, не такой ожидалъ я здѣсь встрѣчи“. — „Можетъ быть, потому что думали очаровать насъ словами, такъ что мы и не замѣтимъ вашихъ тайныхъ намѣреній. Что вамъ объяснять! Вы сами все знаете и все понимаете. Алеша правъ. Самое первое желаніе ваше—разлучить насъ. Вы заранѣе, почти наизусть знали все, что здѣсь случится, послѣ того вечера, во вторникъ, и рассчитали все какъ по пальцамъ. Я уже сказала вамъ, что вы смотрите и на меня, и на сватовство, вами затѣянное, не серьезно. Вы шутите съ нами; вы играете и имѣете вамъ извѣстную цѣль. Игра ваша вѣрная. Алеша былъ правъ, когда укорялъ васъ, что вы смотрите на все это, какъ на водевиль. Вы бы, напротивъ, должны были радоваться, а не упрекать Алешу, потому что онъ, не зная ничего, исполнилъ все, что вы отъ него ожидали, можетъ быть, даже и больше“. — „Вспомните, въ чемъ вы меня сейчасъ обвинили,—вскричалъ князь,—и хоть немножко обдумайте ваши слова... Я ничего не понимаю“. — „А! Такъ вы не хотите понять съ двухъ словъ,—сказала Наташа,—даже онъ, даже вотъ Алеша васъ понялъ такъ-же, какъ и я, а мы съ нимъ не сговаривались, даже не видались! И ему тоже показалось, что вы играете съ нами недостойную, оскорбительную игру, а онъ любитъ васъ и вѣрить въ васъ, какъ въ божество. Вы не считали за нужное быть съ нимъ поосторожнѣе, похитрѣе; рассчитывали, что онъ не догадается. Но у него чуткое, нѣжное, впечатлительное сердце, и ваши слова, вашъ тонъ, какъ онъ говорить, у него остались на сердцѣ...“ — „Ничего, ничего не понимаю!“—повторилъ князь, съ видомъ величайшаго изумленія обращаясь ко мнѣ. — „Да, да, не останавливайте меня, а покаж-

лась все высказать,—продолжала раздраженная Наташа.—Вы помните сами: Алеша не слушался васъ. Цѣлые полгода вы трудились надъ нимъ, чтобъ отвлечь его отъ меня. Онъ не поддавался вамъ. И вдругъ у васъ настала минута, когда время уже не терпѣло. Упустить его, и невѣста, деньги, главное—деньги, цѣлыхъ три милліона приданого, ускользнуть у васъ изъ подъ пальцевъ. Оставалось одно: чтобъ Алеша полюбилъ ту, которую вы назначили ему въ невѣсты; вы думали: если полюбить, то, можетъ быть, и отстанетъ отъ меня...“—„Наташа, Наташа!—съ тоскою вскричалъ Алеша,—что ты говоришь!“—„Вы такъ и сдѣлали,—продолжала она, не останавливаясь на крикъ Алеши,—но и тутъ опять та же, прежняя исторія! Все-бы могло уладиться, да я-то опять мѣшаю! Одно только могло вамъ подать надежду: вы, какъ опытный и хитрый человѣкъ, можетъ быть, ужъ и тогда замѣтили, что Алеша иногда какъ-будто тяготится своей прежней привязанностью. Вы не могли не замѣтить, что онъ начинаетъ мною пренебрегать, скучать, по пяти дней ко мнѣ не ѣздить. Авось наскучить совсѣмъ и бросить, какъ вдругъ, во вторникъ, рѣшительный поступокъ Алеши поразилъ васъ совершенно. Что вамъ дѣлать!“...—„Позвольте,—вскричалъ князь,—напротивъ, этотъ фактъ...“—„Я говорю,—настойчиво перебила Наташа,—вы спросили себя въ тотъ вечеръ: „что теперь дѣлать?“ и рѣшили позволить ему жениться на мнѣ, не въ самомъ дѣлѣ, а только такъ, *на словахъ*, чтобъ только его успокоить. Срокъ свадьбы, думали вы, можно отдалать сколько угодно, а между тѣмъ новая любовь началась; вы это замѣтили. И вотъ на этомъ-то началъ новой любви вы все и основали.“—„Романы, романы,—произнесъ князь вполголоса, какъ-будто про себя,—уединеніе, мечтательность и чтеніе романовъ!“—„Да, на этой-то новой любви вы все и основали,—повторила Наташа, не слыхавъ и не обративъ вниманія на слова князя, вся въ лихорадочномъ жару и все болѣе и болѣе увлекаясь, — и какіе шансы для этой новой любви! Вѣдь она началась еще тогда, когда онъ еще не узналъ всѣхъ совершенствъ этой дѣвушки. Въ ту самую минуту, когда онъ, въ тотъ вечеръ, открывается этой дѣвушкѣ, что не можетъ ее любить, потому что долгъ и другая любовь запрещаютъ ему, эта дѣвушка, вдругъ, выказываетъ передъ нимъ столько благородства, столько сочувствія къ нему и къ своей соперницѣ, столько сердечнаго прощенія, что онъ хоть и вѣрилъ въ ея красоту, но и не думалъ до этого мгновенія, чтобъ она была такъ прекрасна! Онъ и ко мнѣ тогда прѣхалъ,—только и говорилъ, что о ней; она слишкомъ поразила его. Да, онъ на завтра-же непремѣнно долженъ былъ почувствовать неотразимую потребность увидѣть опять это прекрасное существо, хоть изъ одной только благодарности. Да и почему-жъ къ ней не ѣхать? Вѣдь та, прежняя, уже не страдаетъ, судьба ея рѣшена, вѣдь той цѣлый вѣкъ отдается, а тутъ одна какая-нибудь минутка... И что за неблагодарная была-бы эта Наташа, если-бъ она ревновала даже къ этой минутѣ? И вотъ незамѣтно отнимается у этой Наташи, вмѣсто минуты, день, другой, третій... А между тѣмъ въ это время дѣвушка выказываетъ передъ нимъ въ совершенно неожиданномъ, *новомъ видѣ*; она такая благородная, энтузіастка и въ то-же время такой

наивный ребенокъ, и въ этомъ такъ сходна съ нимъ характеромъ. Они кланутся другъ другу въ дружбѣ, въ братствѣ, хотя не разлучатся всю жизнь. „Въ какіе-нибудь пять-шесть часовъ разговора“ вся душа его открывается для новыхъ ощущеній и сердце его отдается все... Придетъ, наконецъ, время, думаете вы, онъ сравнитъ свою прежнюю любовь со своими новыми, свѣжими ощущеніями: тамъ все знакомое, всегдашнее; тамъ такъ серьезны, требовательны; тамъ его ревнуютъ, бранятъ, тамъ слезы... А если и начинаютъ съ нимъ шалить, играть, то какъ-будто не съ ровней, а съ ребенкомъ... а главное: все такое прежнее, извѣстное...

Слезы и горькая спазма душили ее, но Наташа сгрѣпилась еще на минуту.

— „Что-жъ дальше? А дальше время; вѣдь не сейчасъ-же назначена свадьба съ Наташей; времени много и все измѣнится... А тутъ ваши слова, намеки, толкованія, краснорѣчіе... Можно даже и поклеветать на эту досадную Наташу; можно выставить ее въ такомъ невыгодномъ свѣтѣ и... какъ это все разрѣшится—неизвѣстно, но побѣда ваша! Алеша! Не вини меня, другъ мой! Не говори, что я не понимаю твоей любви и мало цѣню ее. Я вѣдь знаю, что ты и теперь любишь меня и что въ эту минуту, можешь быть, и не понимаешь моихъ жалобъ. Я знаю, что я очень-очень худо сдѣлала, что теперь это все высказала. Но что-же мнѣ дѣлать, если я это все понимаю и все больше и больше люблю тебя... совѣмъ... безъ памяти!“

Она закрыла лицо руками, упала въ кресла и зарыдала.

[Наташа вернула слово Алешѣ и заявила, что замужъ за него не пойдетъ].

Наташа плакала. Они крѣпко обнялись другъ съ другомъ, и Алеша еще разъ поклялся ей, что никогда ее не оставитъ. Затѣмъ онъ полетѣлъ къ отцу. Онъ былъ въ твердой увѣренности, что все уладитъ, все устроитъ.

— „Все кончено! Все пропало!—сказала Наташа, судорожно сжавъ мою руку.—Онъ меня любитъ и никогда не разлюбитъ; но онъ и Катю любитъ и черезъ нѣсколько времени будетъ любить ее больше меня. А эта ехидна, князь, не будетъ дремать, и тогда...“—„Наташа! Я самъ вѣрю, что князь поступаетъ не чисто, но...“—„Ты не вѣришь всему, что я ему высказала! Я замѣтила это по твоему лицу. Но погоди, самъ увидишь, права была я или нѣтъ? Я вѣдь еще только вообще говорила, а Богъ знаетъ, что у него еще въ мысляхъ! Это ужасный человѣкъ. Я ходила эти четыре дня здѣсь по комнатамъ и догадалась обо всемъ. Ему именно надо было освободить, облегчить сердце Алеши отъ его грусти, мѣшавшей ему жить, отъ обязанностей любви ко мнѣ. Онъ выдумалъ это сватовство и для того еще, чтобы втереться между нами своимъ вліяніемъ и очаровать Алешу благородствомъ и великодушіемъ. Это правда, правда, Ваня! Алеша именно такого характера. Онъ-бы успокоился на мой счетъ, тревога-бы у него прошла за меня. Онъ-бы думалъ, что вѣдь теперь ужъ она жена моя, на-вѣки со мной и невольно-бы обратилъ больше вниманія на Катю. Князь, видно, изучилъ эту Катю и угадалъ, что она пара ему, что она можетъ его сдѣлать

увлечь, чѣмъ я. Охъ, Ваня! На тебя вся моя надежда теперь: онъ ~~д~~ чего-то хочетъ съ тобой сойтись, знакомиться. Не отвергай этого и пострадайся, голубчикъ, ради Бога, поскорѣ попасть къ графинѣ. Познакомь ~~с~~ съ этой Катей, разгляди ее лучше и скажи мнѣ: что она такое? Мнѣ надо, чтобъ тамъ былъ твой взглядъ. Никто такъ меня не понимаетъ, какъ ты, и ты поймешь, что мнѣ надо. Разгляди еще, въ какой степени они дружны, что между ними, о чемъ они говорятъ; Катю, Катю главное разсмотри.. Докажи мнѣ еще разъ, милый, возлюбленный мой Ваня, докажи мнѣ еще разъ свою дружбу! На тебя, только на тебя теперь и надежда моя!.

[Алеша продолжалъ бывать у Наташи, не рѣшаясь ее оставить, и въ то-же время всей душой стремясь къ Катѣ. Происходили такія сцены]:

— „Знаешь что? Ему ужасно хочется уйти отъ меня,—шепнула мнѣ ~~н~~ паскоро Наташа, когда онъ вышелъ на минуту что-то сказать Маврѣ,—да и бонится. А я сама боюсь ему сказать, чтобъ онъ уходилъ, потому что онъ тогда, пожалуй, нарочно не уйдетъ, а пуще всего боюсь, что онъ соскучится и за это совсѣмъ охладѣетъ ко мнѣ! Какъ сдѣлать?“—„Боже, въ какое положеніе вы сами себя ставите! И какіе вы мнительные, какъ вы слѣдите другъ за другомъ! Да просто объяснитесь, ну и кончено. Вотъ черезъ это-то положеніе онъ, можетъ быть, и дѣйствительно соскучится.“— „Какъ-же быть?“ — вскричала она, испуганная. — „Постой, я вамъ все улажу...“

И я вышелъ въ кухню, подъ предлогомъ попросить Мавру обтереть одну очень загрязнившуюся мою калошу.

— „Осторожнѣе, Ваня!“—закричала она мнѣ вслѣдъ.

Только-что я вошелъ къ Маврѣ, Алеша такъ и бросился ко мнѣ, точно меня ждалъ.

— „Иванъ Петровичъ, голубчикъ, что мнѣ дѣлать? Посоветуйте мнѣ: я еще вчера далъ слово быть сегодня, именно теперь, у Кати. Не могу-же я манкировать! Я люблю Наташу какъ не знаю что, готовъ просто въ огонь, но согласитесь сами, тамъ совсѣмъ бросить, вѣдь это нельзя...“—„Ну, что-жъ, поѣзжайте...“—„Да какъ-же Наташа-то? Вѣдь я огорчу ее. Иванъ Петровичъ, выручите какъ-нибудь...“—„По-моему лучше поѣзжайте. Вы знаете, какъ она васъ любитъ: ей все будетъ казаться, что вамъ съ ней скучно и что вы съ ней сидите насильно. Непринужденнѣе лучше. Впрочемъ, пойдемте, я вамъ помогу.“—„Голубчикъ, Иванъ Петровичъ! Какой вы добрый!“

Мы вошли; черезъ минуту я сказалъ ему:

— „А я видѣлъ сейчасъ вашего отца.“—„Гдѣ?“—вскричалъ онъ, испуганный.—„На улицѣ, случайно. Онъ остановился со мной на минутку, опять просилъ быть знакомымъ. Спрашивалъ о васъ: не знаю-ли я, гдѣ теперь вы? Ему очень надо было васъ видѣть, что-то сказать вамъ.“—„Ахъ, Алеша, сѣзди, покажись ему“,—подхватила Наташа, понявшая, къ чему я клоню.—„Но... гдѣ-жъ я теперь его встрѣчу? Онъ дома?“—„Нѣтъ, помнится, онъ сказалъ, что онъ у графини будетъ.“—„Ну, такъ какъ-же...“—наивно произнесъ Алеша, печально смотря на Наташу.—„Ахъ, Алеша, такъ что-же!—

сказала она.—Неужели-жъ ты вправду хочешь оставить это знакомство, чтобъ меня успокоить. Вѣдь это по-дѣтски. Во-первыхъ, это невозможно, а во-вторыхъ, ты просто будешь неблагороденъ передъ Катей. Вы друзья; развѣ можно такъ грубо разрывать связи. Наконецъ, ты меня просто обижаешь, коли думаешь, что я такъ тебя ревную. Поѣзжай, немедленно поѣзжай, я прошу тебя! Да и отецъ твой успокоится“.—„Наташа, ты ангелъ, а я твоего пальчика не стою!—вскричалъ Алеша съ восторгомъ и съ раскаяніемъ.—Ты такъ добра, а я... я... ну, узнай-же! Я сейчасъ-же просилъ тамъ, въ кухнѣ, Ивана Петровича, чтобъ онъ помогъ мнѣ уѣхать отъ тебя. Онъ это и выдумалъ. Но не суди меня, ангелъ Наташа! Я не совсѣмъ виноватъ, потому что люблю тебя въ тысячу разъ больше всего на свѣтѣ и потому выдумалъ новую мысль: открыться во всемъ Катѣ и немедленно рассказать ей наше теперешнее положеніе и все, что вчера было. Она что-нибудь выдумаетъ для нашего спасенія, она намъ всею душою предана...“.—„Ну и ступай,—отвѣчала Наташа, улыбаясь,—и вотъ что, другъ мой, я сама хотѣла-бы очень познакомиться съ Катей. Какъ-бы это устроить?“

Восторгу Алеши не было предѣловъ. Онъ тотчасъ-же пустился въ предположенія, какъ познакомиться. По его выходило очень легко: Катя выдумаетъ. Онъ развивалъ свою идею съ жаромъ, горячо. Сегодня-же общался и отвѣтъ принести, черезъ два-же часа, и вечеръ просидѣть у Наташи.

— „Вправду пріѣдешь?“—спросила Наташа, отпуская его.—„Неужели ты сомнѣваешься? Прощай, Наташа, прощай, возлюбленная ты моя, вѣчная моя возлюбленная! Прощай, Ваня! Ахъ, Боже мой, я васъ несчаинно назвалъ Ваней; послушайте, Иванъ Петровичъ, я васъ люблю—зачѣмъ мы не на *ты*? Будемъ на *ты*“.

Катя. [Исполняя желаніе Наташи, авторъ поѣхалъ къ Катѣ. Алеша былъ тамъ].

— „Что-жъ вы ничего не говорите?—началъ онъ, съ улыбкой смотря на насъ.—Соплились и молчатъ“.—„Ахъ, Алеша, какой ты... мы сейчасъ,—отвѣчала Катя.—Намъ вѣдь такъ много надо переговорить вмѣстѣ, Иванъ Петровичъ, что не знаю съ чего и начать. Мы очень поздно знакомимся, надо бы раньше, хоть я васъ и давнымъ-давно знаю. И такъ мнѣ хотѣлось васъ видѣть. Я даже думала вамъ письмо написать...“ — „О чемъ?“—спросилъ я, невольно улыбаясь. — „Мало-ли о чемъ,—отвѣчала она серьезно.—Вотъ хоть-бы о томъ, правду-ли онъ рассказываетъ про Наталью Николаевну, что она не оскорбляется, когда онъ ее въ такое время оставляетъ одну? Ну, можно-ли такъ поступать, какъ онъ? Ну, зачѣмъ ты теперь здѣсь, скажи пожалуйста?“—„Ахъ, Боже мой, да я сейчасъ и поѣду. Я вѣдь сказалъ, что здѣсь только одну минутку пробуду, на васъ обоихъ посмотрю, какъ вы вмѣстѣ будете говорить, а тамъ и туда“.— „Да что мы вмѣстѣ, ну, вотъ и сидимъ,—видѣлъ? И всегда-то онъ такой,—прибавила она, слегка краснѣя и указывая мнѣ на него пальчикомъ.—„Одну минутку, говорить, только одну минутку“, а смотришь и до полночи просидѣлъ, а тамъ ужъ и поздно. „Она, говоритъ, не сердится, она добрая“, вотъ какъ онъ

разсуждаетъ! Ну, хорошо-ли это, ну, благородно-ли?“ — „Да я пожалуй поѣду,—жалобно отвѣчалъ Алеша,—только мнѣ бы очень хотѣлось побыть съ вами...“ — „А что тебѣ съ нами? Намъ, напротивъ, надо о многомъ наединѣ переговорить. Да послушай, ты не сердись; это необходимость, пойми хорошенько“. — „Если необходимость, то я сейчасъ же... чего же тутъ сердиться. Я только на минуточку къ Левинькѣ, — а тамъ тотчасъ и къ ней. Вотъ что, Иванъ Петровичъ,—продолжалъ онъ, взявъ свою шляпу, — вы знаете, что отецъ хочетъ отказаться отъ денегъ, которыя выигралъ по процессу съ Ихменева“. — „Знаю; онъ мнѣ говорилъ“. — „Какъ благородно онъ это дѣлаетъ. Вотъ Катя не вѣритъ, что онъ дѣлаетъ благородно. Поговорите съ ней объ этомъ. Прощай, Катя, и пожалуйста не сомнѣвайся, что я люблю Наташу. И зачѣмъ вы всѣ навязываете мнѣ эти условія, упрекаете меня, слѣдите за мной,—точно я у васъ подъ надзоромъ! Она знаетъ, какъ я ее люблю, и увѣрена во мнѣ, и я увѣренъ, что она во мнѣ увѣрена. Я люблю ее безо всего, безо всякихъ обязательствъ. Я не знаю, какъ и ее люблю. Просто люблю. И потому нечего меня допрашивать какъ виноватаго. Вотъ спроси Ивана Петровича, теперь ужъ онъ здѣсь и подтвердитъ тебѣ, что Наташа ревнива и хоть очень любитъ меня, но въ любви ея много эгоизма, потому что она ничѣмъ не хочетъ для меня пожертвовать“. — „Какъ это?“ — спросилъ я въ удивленіи, не вѣря ушамъ своимъ. — „Что ты это, Алеша?“ — чуть не вскрикнула Катя, всплеснувъ своими руками. — „Ну, да; что-жъ тутъ удивительнаго? Иванъ Петровичъ знаетъ. Она все требуетъ, чтобъ я съ ней былъ. Она хоть и не требуетъ этого, но видно, что ей этого хочется“. — „И не стыдно, не стыдно это тебѣ!“ — сказала Катя, вся загорѣвшись отъ гнѣва. — „Да что-же стыдно-то? Какая ты, право, Катя! Я вѣдь люблю ее больше, чѣмъ она думаетъ, а если-бъ она любила меня настоящимъ образомъ, такъ, какъ я ее люблю, то навѣрно пожертвовала бы мнѣ своимъ удовольствіемъ. Она, правда, и сама отпускаетъ меня, да вѣдь я вижу по лицу, что это ей тяжело, стало-быть, для меня все равно, что и не отпускаетъ“. — „Нѣтъ, это не спроста! — вскричала Катя, снова обращаясь ко мнѣ съ сверкающимъ гнѣвнымъ взглядомъ. — Признавайся, Алеша, признавайся сейчасъ, это все наговорилъ тебѣ отецъ? Сегодня наговорилъ? И пожалуйста не хитри со мной: я тотчасъ узнаю! Такъ или нѣтъ?“ — „Да, говорилъ,—отвѣчалъ смущенный Алеша. — Что-жъ тутъ такого? Онъ говорилъ со мною сегодня такъ ласково, такъ по-дружески, а ее все мнѣ хвалилъ, такъ что я даже удивился: она его такъ оскорбила, а онъ ее же такъ хвалить“. — „А вы, вы и повѣрили,—сказалъ я,—вы, которому она отдала все, что могла отдать, и даже теперь, сегодня же все ея безпокойство было объ васъ, чтобъ вамъ не было какъ-нибудь скучно, чтобы какъ-нибудь не лишитъ васъ возможности видѣться съ Катериной Федоровной! Она сама мнѣ это говорила сегодня. И вдругъ вы повѣрили этимъ фальшивымъ наговорамъ! Не стыдно-ли вамъ?“ — „Неблагодарный! Да что, ему никогда ничего не стыдно!“ — проговорила Катя, махнувъ на него рукой, какъ будто на совершенно потеряннаго человѣка.

И съ крайнимъ любопытствомъ всматривался въ нее. Мнѣ хотѣлось

Поскорѣ узнать эту странную дѣвушку. Она была совершенный ребенокъ, но какой-то странный, *убѣжденный* ребенокъ, съ твердыми правилами и съ страстной, врожденной любовью къ добру и къ справедливости. Если ее действительно можно было назвать еще ребенкомъ, то она принадлежала къ разряду *задумывающихся* дѣтей, довольно многочисленному въ нашихъ семействахъ. Видно было, что она уже много разсуждала. Любопытно было бы заглянуть въ эту разсуждающую головку и посмотрѣть, какъ смѣшивались тамъ совершенно дѣтскія идеи и представленія съ серьезно выжитыми впечатлѣніями и наблюденіями жизни (потому что Катя уже жила), а вмѣстѣ съ тѣмъ и съ идеями, еще ей незнакомыми, невыжитыми ею, но поразившими ее отвлеченно, книжно, которыхъ уже должно было быть очень много и которыя она, вѣроятно, принимала за выжитыя ею самою. Во весь этотъ вечеръ и впослѣдствіи, мнѣ кажется, я довольно хорошо изучилъ ее. Сердце въ ней было пылкое и воспріимчивое. Она въ иныхъ случаяхъ какъ будто пренебрегала умѣньемъ владѣть собою, ставя прежде всего истину, а всякую жизненную выдержку считала за условный предразсудокъ и, кажется, тщеславилась такимъ убѣжденіемъ, что случается со многими пылкими людьми, даже и не въ очень молодыхъ годахъ. Но это-то и придавало ей какую-то особенную прелесть. Она очень любила мыслить и добиваться истины, но была до того не педантъ, до того съ ребяческими дѣтскими выходками, что вы съ перваго взгляда начинали любить въ ней всѣ ея оригинальности и мириться съ ними. Я вспомнилъ Левиньку и Бороиньку, и мнѣ показалось, что все это совершенно въ порядкѣ вещей. И странно: лицо ея, въ которомъ я не замѣтилъ ничего особенно прекраснаго съ перваго взгляда, въ этотъ же вечеръ поминутно становилось для меня все прекраснѣе и привлекательнѣе. Это наивное раздвоеніе ребенка и размышляющей женщины; эта дѣтская и въ высшей степени правдивая жажда истины и справедливости, и непоколебимая вѣра въ свои стремленія, — все это освѣщало ея лицо какимъ-то прекраснымъ свѣтомъ искренности, придавало ему какую-то высшую, духовную красоту, и вы начинали понимать, что не такъ скоро можно исчерпать все значеніе этой красоты, которая не поддается вся сразу каждому обыкновенному, безучастному взгляду. И я понялъ, что Алеша долженъ былъ страстно привязаться къ ней. Если онъ не могъ самъ мыслить и разсуждать, то любилъ именно тѣхъ, которые за него мыслили и даже желали, — а Катя уже взяла его подъ опеку. Сердце его было благородно и неотразимо, разомъ покорялось всему, что было честно и прекрасно, а Катя уже много и со всею искренностью дѣтства и симпатіи передъ нимъ высказалась. У него не было ни капли собственной воли; у ней было очень много настойчивой, сильной и пламенно настроенной воли, а Алеша могъ привязаться только къ тому, кто могъ имъ властвовать и даже повелѣвать. Этимъ отчасти привязала его къ себѣ и Наташа, въ началѣ ихъ связи, но въ Катѣ было большое преимущество передъ Наташей, — то, что она сама была еще дитя и, кажется, еще долго должна была остаться ребенкомъ. Эта дѣтскость ея, ея яркій умъ и въ то же время нѣкоторый недостатокъ разсудка, все это было какъ-то болѣе сродни для Алеши. Онъ чувствовалъ

это, и потому Катя влекла его къ себѣ все сильнѣй и сильнѣй. Я увѣренъ, что когда они говорили между собой наединѣ, то рядомъ съ серьезнымъ „пропагандными“ разговорами Кати дѣло, можетъ-быть, доходило у нихъ и до игрушекъ. И хотъ Катя, вѣроятно, очень часто журила Алешу и удерживала его въ рукахъ, но ему, очевидно, было съ ней легче, чѣмъ съ Наташей. Они были болѣе *пара* другъ другу, а это было главное.

— „Полно, Катя, полно, довольно; ты всегда права выходишь, а нѣтъ. Это потому, что въ тебѣ душа чище моей,—сказалъ Алеша, вставъ и подавая ей на прощанье руку.—Сейчасъ же и къ ней, и къ Левиньѣ не заѣду...“

Мы отошли на два шага.

— „Я сегодня безстыдно поступилъ,—прошпенталъ онъ мнѣ,—я низъ поступилъ, я виноватъ передъ всѣми на свѣтѣ, а передъ ними обѣи больше всего. Сегодня отецъ послѣ обѣда познакомилъ меня съ Александринной (одна француженка) — очаровательная женщина. Я... увлекся и ну, ужъ что тутъ говорить, я не достоинъ быть вмѣстѣ съ ними... Прощайте, Иванъ Петровичъ!“

Разговоръ Кати съ Иваномъ Петровичемъ. — „Скажите же, во-первыхъ (это главное), какъ по вашему мнѣнію: будутъ Алеша и Наташа вмѣстѣ счастливы или нѣтъ? Это мнѣ прежде всего нужно знать для окончательнаго моего рѣшенія, чтобъ ужъ самой знать, какъ поступать“. — „Какъ можно объ этомъ сказать навѣрно?...“ — „Да, разумѣется, не навѣрно,—преребала она,—а какъ вамъ кажется,—потому что вы очень умный человѣкъ“. — „По-моему, они не могутъ быть счастливы“. — „Почему-же?“ — „Они не пара“. — „Я такъ и думала!“

И она сложила ручки, какъ бы въ глубокой тоскѣ.

— „Расскажите подробнѣе. Слушайте: я ужасно желаю видѣть Наташу потому что мнѣ много надо съ ней переговорить, и мнѣ кажется, что и съ ней все рѣшимъ. А теперь я все ее представляю себѣ въ умѣ: она должна быть ужасно умна, серьезная, правдивая и прекрасная собой. Вѣдь такъ — „Такъ“. — „Такъ и я была увѣрена. Ну, такъ если она такая, какъ она могла полюбить Алешу, такого мальчика? Объясните мнѣ это; я часъ объ этомъ думаю“. — „Это нельзя объяснить, Катерина Федоровна; трудно представить, за что и какъ можно полюбить. Да, онъ ребенокъ. Но знаете-ли какъ можно полюбить ребеночка? (Сердце мое размягчилось, глядя на нее на ея глазки, пристально, съ глубокимъ, серьезнымъ и нетерпѣливымъ вниманіемъ устремленные на меня).—И чѣмъ больше Наташа сама не похожа на ребенка,—продолжалъ я,—чѣмъ серьезнѣе она, тѣмъ скорѣе она могла полюбить его. Онъ правдивъ, искрененъ, наивенъ ужасно, а иногда граціозно наивенъ. Она, можетъ быть, полюбила его — какъ бы это сказать?... Какъ будто изъ какой-то жалости. Великодушное сердце можетъ полюбить и жалости... Впрочемъ, я чувствую, что я вамъ ничего не могу объяснить, но за то спрошу васъ самихъ, вѣдь вы его любите?“ — „Ей-Богу еще не знаю, тихо отвѣчала она мнѣ, свѣтло смотря мнѣ въ глаза,—но, кажется, очень люблю...“ — „Ну, вотъ видите. А можете-ли изъяснить, за что его любите

— „Въ немъ лжи нѣтъ, — отвѣчала она подумавъ. — И когда онъ посмотритъ прямо въ глаза и что-нибудь говоритъ мнѣ при этомъ, то мнѣ это очень нравится... Послушайте, Иванъ Петровичъ, вотъ я съ вами говорю объ этомъ, я дѣвушка, а вы мужчина; хорошо-ли я это дѣлаю или нѣтъ?“ — „Нѣтъ! Вѣдь вы не чувствуете въ сердцѣ, что поступаете дурно, стало-быть...“ — „Такъ я и всегда дѣлаю, — перебила она, очевидно спѣша какъ можно больше наговориться со мною. — Какъ только я въ чемъ смущаюсь, сейчасъ спрошу свое сердце, и коль оно спокойно, то и я спокойна. Такъ и всегда надо поступать. И я потому съ вами говорю такъ совершенно откровенно, какъ будто сама съ собой, что, во-первыхъ, вы прекрасный человѣкъ и я знаю вашу прежнюю исторію съ Наташей, до Алеши, и я плакала, когда слушала“. — „А вамъ кто рассказывалъ?“ — „Разумѣется, Алеша, и самъ со слезами рассказывалъ: это было очень хорошо съ его стороны и мнѣ очень понравилось“.

Она задумалась.

— „Я вѣдь только такъ объ этомъ заговорила; будемте говорить о самомъ главномъ. Научите меня, Иванъ Петровичъ: вотъ я чувствую теперь, что я Наташина соперница, я вѣдь это знаю, какъ же мнѣ поступать? Я потому и спросила васъ: будутъ-ли они счастливы. Я объ этомъ день и ночь думаю. Положеніе Наташи ужасно, ужасно! Вѣдь онъ совсѣмъ ее пересталъ любить, а меня все больше и больше любить. Вѣдь такъ?“

И она вдругъ заплакала.

— „Вы не повѣрите, какъ мнѣ жалко Наташу“, — прошептала она дрожащими отъ слезъ губками.

Нечего было тутъ прибавлять. Я молчалъ и мнѣ самому хотѣлось заплакать, смотря на нее, такъ, отъ любви какой-то. Что за милый былъ это ребенокъ! Я ужъ не спрашивалъ ее, почему она считаетъ себя способною сдѣлать счастье Алеши.

Нелли. [Она заболѣла и перво капризничала. Докторъ-нѣмецъ приготовилъ ей лѣкарство, она нарочно пролила его, тогда онъ приготовилъ ей во второй разъ].

Но въ этотъ разъ она даже и не схитрила, а просто снизу вверхъ подтолкнула рукой ложку, и все лѣкарство выплеснулось прямо на манишку и на лицо бѣдному старичку. Нелли громко засмѣялась, но не прежнимъ простодушнымъ и веселымъ смѣхомъ. Въ лицѣ ея промелькнуло что-то жестокое, злое. Во все это время она какъ будто избѣгала моего взгляда, смотрѣла на одного доктора и съ насмѣшкою, сквозь которую проглядывало однако же беспокойство, ждала, что-то будетъ теперь дѣлать „смѣшпой“ старичокъ.

— „О! Вы опять!.. Какое несчастье! Но... можно еще развести порошокъ!“ — проговорилъ старикъ, отирая платкомъ лицо и манишку.

Это ужасно поразило Нелли. Она ждала нашего гнѣва, думала, что ее начнутъ бранить, упрекать и, можетъ быть, ей, безсознательно, того только и хотѣлось въ эту минуту, чтобъ имѣть предлогъ тотчасъ же заплакать, зарыдать, какъ въ истерикѣ, разбросать опять порошки, какъ давеча, и

даже разбить что-нибудь съ досады, и всё́мъ этимъ утолить свое капризное, наболѣвшее сердечко. Такіе капризы бывають и не у однихъ больныхъ, и не у одной Нелли. Какъ часто, бывало, я ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ съ безсознательнымъ желаніемъ, чтобъ поскорѣй меня кто-нибудь обидѣлъ или сказалъ слово, которое бы можно было принять за обиду, и поскорѣй сорвать на чемъ-нибудь сердце. Женщины же, „срываая“ такимъ образомъ сердце, начинаютъ плакать самыми искренними слезами, а самыя чувствительныя изъ нихъ даже доходятъ до истерики. Дѣло очень простое и самое житейское и бывающее чаще всего, когда есть другая, часто никому неизвѣстная печаль въ сердцѣ и которую хотѣлось бы, да нельзя никому высказать.

Но вдругъ, пораженная ангельской добротою обиженного ею старика и терпѣніемъ, съ которымъ онъ снова разводилъ ей третій порошокъ, сказавъ ей ни одного слова упрека, Нелли вдругъ притихла. Насмѣшка слетѣла съ ея губокъ, краска ударила ей въ лицо, глаза повлажнѣли: она мелькомъ взглянула на меня и тотчасъ же отворотилась. Докторъ поднесъ ей лѣкарство. Она смирно и робко выпила его, схватила красную, пухлую руку старика и медленно поглядѣла ему въ глаза.

— „Вы... сердитесь, что я злая“,—сказала было она, но не докончила, юркнула подъ одеяло, накрылась съ головой и громко, истерически зарыдала.

И съ этихъ поръ между нимъ и Нелли началась какая-то странная удивительная симпатія.

Но Нелли перемѣнилась ко мнѣ окончательно. Ея странности, капризы, иногда чуть не ненависть ко мнѣ—все это продолжалось вплоть до самаго того дня, когда она перестала жить со мной, вплоть до самой той катастрофы, которая развязала весь нашъ романъ. Но объ этомъ послѣ.

Случалось иногда, впрочемъ, что она вдругъ становилась на какой-нибудь часъ ко мнѣ попрежнему ласкова. Ласки ея, казалось, удваивались въ эти мгновенія; чаще всего въ эти же минуты она горько плакала. Но часы эти проходили скоро, и она впадала опять въ прежнюю тоску и опять враждебно смотрѣла на меня, или капризилась, какъ при докторѣ, или вдругъ, замѣтивъ, что мнѣ непріятна какая-нибудь ея новая шалость, начинала хохотать и всегда почти кончала слезами.

Я рѣшительно не зналъ, что дѣлать съ нею. Она какъ будто совсѣмъ не хотѣла говорить со мной, точно я передъ ней въ чемъ-нибудь провинился. Мнѣ это было очень горько. Я даже самъ нахмурился и однажды цѣлый день не заговаривалъ съ нею, но на другой день мнѣ стало стыдно. Часто она плакала, и я рѣшительно не зналъ, чѣмъ ее утѣшить. Впрочемъ, она однажды прервала со мной свое молчаніе.

Разъ я воротился домой передъ сумерками и увидѣлъ, что Нелли быстро спрятала подъ подушку книгу. Это былъ мой романъ, который она взяла со стола и читала въ мое отсутствіе. Къ чему же было его прятать отъ меня? Точно она стыдится, подумалъ я, но не показалъ виду, что замѣтилъ что-нибудь. Четверть часа спустя, когда я вышелъ на минутку въ

кухню, она быстро вскочила съ постели и положила романъ на прежнее мѣсто; воротясь, я увидалъ уже его на столѣ. Черезъ минуту она позвала меня къ себѣ; въ голосѣ ея отзывалось какое-то волненіе. Уже четыре дня какъ она почти не говорила со мной.

— „Вы... сегодня... пойдете къ Наташѣ?“—спросила она меня прерывающимся голосомъ.—„Да, Нелли; мнѣ очень нужно ее видѣть сегодня“.

Нелли замолчала.

— „Вы... очень... ее любите?“—спросила она опять слабымъ голосомъ.—„Да, Нелли, очень люблю“.—„И я ее люблю“,—прибавила она тихо.

Затѣмъ опять наступило молчаніе.

— „Я хочу къ ней и съ ней буду жить“,—начала опять Нелли, робко взглянувъ на меня.—„Это нельзя, Нелли — отвѣчалъ я, нѣсколько удивленный.—Развѣ тебѣ дурно у меня?“

— „Вѣдь вы ее любите же очень, — отвѣчала Нелли, не поднимая на меня глазъ.—А коли любите, стало-быть, замужъ ее возьмете, когда тотъ уѣдетъ“.—„Нѣтъ, Нелли, она меня не любитъ такъ, какъ я ее люблю, да и я... Нѣтъ, не будетъ этого, Нелли“.—„А я бы вамъ обоимъ служила какъ служанка ваша, а вы бы жили и радовались“,—проговорила она чуть не шопотомъ, не смотря на меня.

„Что съ ней, что съ ней!“—подумалъ я, и вся душа перевернулась во мнѣ. Нелли замолчала и болѣе во весь вечеръ не сказала ни слова. Когда же я ушелъ, она заплакала, плакала весь вечеръ, какъ донесла мнѣ Александра Семеновна, и такъ и уснула въ слезахъ. Даже ночью, во снѣ, она плакала и что-то ночью говорила въ бреду.

[Нелли оставила комнату автора и убѣжала къ старику-доктору].

Докторъ рассказывалъ мнѣ, что онъ такъ и обмеръ, когда увидѣлъ у себя Нелли, и все время, пока она была у него, „не вѣрилъ глазамъ своимъ“. „Я и теперь не вѣрю, — прибавилъ онъ, въ заключеніе своего рассказа, — и никогда этому не повѣрю“. И однакожъ Нелли дѣйствительно была у него. Онъ сидѣлъ спокойно въ своемъ кабинетѣ, въ креслахъ, въ шлафрогѣ и за кофеемъ, когда она вбѣжала и бросилась къ нему на шею, прежде чѣмъ онъ успѣлъ опомниться. Она плакала, обнимала и цѣловала его, цѣловала ему руки и убѣдительно, хотя и безсвязно, просила его, чтобъ онъ взялъ ее жить къ себѣ; говорила, что не хочетъ и не можетъ болѣе жить со мной, потому и ушла отъ меня; что ей тяжело; что она уже не будетъ болѣе смѣяться надъ нимъ и говорить о новыхъ платьяхъ, и будетъ вести себя хорошо, будетъ учиться, выучится „манишки ему стирать и гладить“ (вѣроятно, она сообразила всю свою рѣчь дорогою, а, можетъ быть, и раньше) и что, наконецъ, будетъ послушна и хотъ каждый день будетъ принимать какіе угодно порошки. А что если она говорила тогда, что замужъ хотѣла за него выйти, такъ вѣдь это она шутила, что она и не думаетъ объ этомъ. Старый нѣмецъ былъ такъ ошеломленъ, что сидѣлъ все время разинувъ ротъ, поднявъ свою руку, въ которой держалъ сигару, и забывъ о сигарѣ, такъ что она и потухла.

— „Мадмуазель, — проговорилъ онъ, наконецъ, получивъ кое-какъ

употребленіе языка,—мадмуазель, сколько я васъ понялъ, вы просите, чтобы я вамъ далъ мѣсто у себя. Но это—невозможно! вы видите, я очень стѣсненъ и не имѣю значительнаго дохода... И, наконецъ, такъ прямо, не подумавъ... Это ужасно! И, наконецъ, вы, сколько я вижу, бѣжали изъ своего дома. Это очень непохвально и невозможно... И, наконецъ, я вамъ позволилъ только немного гулять, въ ясный день, подъ надзоромъ вашего благодѣтеля, а вы бросаете своего благодѣтеля и бѣжите ко мнѣ, тогда какъ вы должны беречь себя и... и... принимать лѣбварство. И, наконецъ... наконецъ, я ничего не понимаю“...

[Нелли опять вернула къ автору. Однажды къ нему пришелъ старикъ Ихменевъ и сталъ просить, чтобы Нелли поселилась у нихъ: безъ Наташи одинокимъ старикамъ было скучно].

Онъ прямо подошелъ къ Нелли, которая все еще лежала, скрывъ лицо свое въ подушкахъ, и, взявъ ее за руку, спросилъ: хочетъ ли она перейти къ нему жить вмѣсто дочери?

— „У меня была дочь, я ее любилъ больше самого себя,—заклучилъ старикъ,—но теперь ее нѣтъ со мной. Она умерла. Хочешь-ли ты заступить ее мѣсто въ моемъ домѣ и... въ моемъ сердцѣ?“

И въ его глазахъ, сухихъ и воспаленныхъ отъ лихорадочнаго жара, закипѣла слеза.

— „Нѣтъ, не хочу“,—отвѣчала Нелли, не подымая головы.—„Почему же, дитя мое? У тебя нѣтъ никого. Иванъ не можетъ держать тебя вѣчно при себѣ, а у меня ты будешь какъ въ родномъ домѣ“.—„Не хочу, потому что вы злой. Да, злой, злой“,—прибавила она, подымая голову и садясь на постели противъ старика.—Я сама злая, и злѣе всѣхъ, но вы еще злѣе меня!...“

Говори это, Нелли поблѣднѣла, глаза ея засверкали; даже дрожавшія губы ея поблѣднѣли и искривились отъ прилива какого-то сильнаго ощущенія. Старикъ въ недоумѣніи смотрѣлъ на нее.

— „Да, злѣе меня, потому что вы не хотите простить свою дочь; вы хотите забыть ее совсѣмъ и берете къ себѣ другое дитя, а развѣ можно забыть свое родное дитя? Развѣ вы будете любить меня? Вѣдь какъ только вы на меня взглянете, такъ и вспомните, что я вамъ чужая, и что у васъ была своя дочь, которую вы сами забыли, потому что вы жестокой человѣкъ. А я не хочу жить у жестокихъ людей; не хочу, не хочу!...“

Нелли всхлинула и мелькомъ взглянула на меня.

— „Послѣзавтра Христосъ воскресъ, всѣ цѣлуются и обнимаются, всѣ мирятся, всѣ вины прощаются... Я вѣдь знаю... Только вы... одинъ вы... у, жестокой! Подите прочь!“

Она залилась слезами. Эту рѣчь она, кажется, давно уже сообразила и вытвердила, на случай, если старикъ еще разъ будетъ ее приглашать къ себѣ. Старикъ былъ пораженъ и поблѣднѣлъ. Болѣзненное ощущеніе выразилось въ лицѣ его.

— „И къ чему, къ чему, зачѣмъ обо мнѣ всѣ такъ беспокоятся? Я не хочу, не хочу!—вскрикнула вдругъ Нелли въ какомъ-то изступленіи.—

Я милостыню пойду просить!“—„Нелли, что съ тобой? Нелли, другъ мой!“—вскрикнулъ я невольно, но восклицаніемъ моимъ только подлилъ къ огню масла.—„Да, я буду лучше ходить по улицамъ и милостыню просить, а здѣсь не останусь!“—кричала она, рыдая.—И мать моя милостыню просила, а когда умирала, сама сказала мнѣ: будь бѣдная, и лучше милостыню проси, чѣмъ... Милостыню не стыдно просить: я не у одного человѣка прошу, я у всѣхъ прошу, а всѣ не одинъ человѣкъ; у одного стыдно, а у всѣхъ не стыдно; такъ мнѣ одна нищенка говорила; вѣдь я маленькая, мнѣ негдѣ взять. Я у всѣхъ и прошу, не хочу, не хочу, я злая, я злѣе всѣхъ; вотъ какая я злая!“

И Нелли вдругъ совершенно неожиданно схватила со столика чашку и бросила ее объ полъ.

— „Вотъ теперь и разбилась,—прибавила она, съ какимъ-то вызывающимъ торжествомъ смотря на меня,—чашекъ-то всего двѣ,—прибавила она,—я и другую разобью... Тогда изъ чего будете чай-то пить?“

[Вечеромъ авторъ возвращался домой. Мысль о поведеніи Нелли его мучила].

Въ смертельной тоскѣ возвращался я къ себѣ домой поздно вечеромъ. Мнѣ надо было въ этотъ вечеръ быть у Наташи; она сама звала меня еще утромъ. Но и даже и не ѣлъ ничего въ этотъ день; мысль о Нелли возмущала всю мою душу.

„Что-же это такое?—думалъ я.—Неужели-жъ это такое мудреное слѣдствіе болѣзни? Ужъ не сумасшедшая-ли она или сходить съ ума? Но Боже мой, гдѣ она теперь, гдѣ я сыщу ее!“—Только-что я это воскликнулъ, какъ вдругъ увидѣлъ Нелли, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня, на В—мъ мосту. Она стояла у фонаря и меня не видала. Я хотѣлъ бѣжать къ ней, но остановился: „Что-жъ это она здѣсь дѣлаетъ?“—подумалъ я въ недоумѣніи и, увѣренный, что теперь ужъ не потеряю ее, рѣшился ждать и наблюдать за ней. Прошло минутъ десять, она все стояла, поглядывая на прохожихъ. Наконецъ, прошелъ одинъ старичокъ, хорошо одѣтый, и Нелли подошла къ нему: тотъ, не останавливаясь, вынулъ что-то изъ кармана и подаль ей. Она ему поклонилась. Не могу выразить, что почувствовалъ я въ это мгновеніе. Мучительно жалось мое сердце; какъ будто что-то дорогое, что я любилъ, лелѣялъ и миловалъ, было опозорено и оплевано передо мной въ эту минуту, но вмѣстѣ съ тѣмъ и слезы потекли изъ глазъ моихъ.

Да, слезы о бѣдной Нелли, хотя я въ то же время чувствовалъ непримиримое негодованіе: она не отъ нужды просила; она была не брошенная, не оставленная кѣмъ-нибудь на произволъ судьбы; бѣжала не отъ жестокихъ притѣснителей, а отъ друзей своихъ, которые ее любили и лелѣяли. Она какъ-будто хотѣла кого-то изумить или испугать своими подвигами; точно она хвасталась передъ кѣмъ-то! Но что-то тайное зрѣло въ ея душѣ... Да, старикъ былъ правъ; она оскорблена, рана ея не могла зажить, и она какъ-бы нарочно старалась растравлять свою рану этой таинственностью, этой недовѣрчивостью ко всѣмъ намъ; точно она наслаждалась сама своей болью, этимъ *эпизмомъ страданія*, если такъ можно выразиться. Это растра-

вление боли и это наслаждение ею было мнѣ понятно; это наслаждение многих обиженных и оскорбленных, пригнетенных судьбою и сознающих въ себѣ ея несправедливость. Но на какую же несправедливость нашу могла пожаловаться Нелли? Она какъ будто хотѣла насъ удивить и испугать своими подвигами, своими капризами и дикими выходками, точно она въ самомъ дѣлѣ передъ нами хвалилась... Но нѣтъ! Она теперь одна, никто не видитъ изъ насъ, что она просила милостыню. Неужели-жъ она сама про себя находила въ этомъ наслаждение? Для чего ей милостыня, для чего ей деньги?

Получивъ подаиіе, она сошла съ моста и подошла къ ярко освѣщеннымъ окнамъ одного магазина. Тутъ она принялась считать свою добычу; я стоялъ въ десяти шагахъ. Денегъ въ рукѣ ея было уже довольно; видно, что она съ самаго утра просила. Зажавъ ихъ въ рукѣ, она перешла черезъ улицу и вошла въ мелочную лавочку. Я тотчасъ-же подошелъ къ дверямъ лавочки, отвореннымъ настежь, и смотрѣлъ, что она тамъ будетъ дѣлать?

Я видѣлъ, что она положила на прилавокъ деньги и ей подали чашку, простую чайную чашку, очень похожую на ту, которую она давеча разбила, чтобъ показать мнѣ и Ихменеву, какая она злая. Чашка эта стояла, можетъ быть, копеекъ пятнадцать, можетъ быть, даже и меньше. Купецъ завернулъ ее въ бумагу, завязалъ и отдалъ Нелли, которая торопливо, съ довольнымъ видомъ, вышла изъ лавочки.

— „Нелли!—вскрикнулъ я, когда она поровнялась со мною,—Нелли!“

Она вздрогнула, взглянула на меня, чашка выскользнула изъ ея рукъ, упала на мостовую и разбилась. Нелли была блѣдна; но, взглянувъ на меня и увѣрившись, что я все видѣлъ и знаю, вдругъ покраснѣла; этой краской сказывался нестерпимый, мучительный стыдъ. Я взялъ ее за руку и повелъ домой; идти было недалеко. Мы ни слова не промолвили дорогою. Придя домой, я сѣлъ, Нелли стояла передо мной, задумчивая и смущенная, блѣдая попрежнему, опустивъ въ землю глаза. Она не могла смотрѣть на меня.

— „Нелли, ты просила милостыню?“ — „Да!“ — прошептала она и еще больше потупилась. — „Ты хотѣла набрать денегъ, чтобъ купить разбитую давеча чашку?“ — „Да“... — „Но развѣ я попрекалъ тебя, развѣ я бранилъ тебя за эту чашку? Неужели-жъ ты не видишь, Нелли, сколько злого, самодовольно злого въ твоемъ поступкѣ? Хорошо-ли это? Неужели тебѣ не стыдно? Неужели...“ — „Стыдно...“ — прошептала она чуть слышнымъ голосомъ и слезинка покатила по ея щекѣ. — „Стыдно...“ — повторилъ я за нею. — „Нелли, милая, если я виноватъ передъ тобой, прости меня и помирись“.

Она взглянула на меня, слезы брызнули изъ ея глазъ, и она бросилась ко мнѣ на грудь.

Въ этотъ вечеръ рѣшалась наша судьба, намъ было много о чемъ говорить съ Наташей, но я все-таки ввернулъ словечко о Нелли и рассказать все, что случилось, со всѣми подробностями. Разсказъ мой очень заинтересовалъ и даже поразилъ Наташу.

— „Знаешь что, Ваня,—сказала она, подумавъ,—мнѣ кажется, она

тебя любить". — „Что... какъ это?“ — спросилъ я въ удивленіи. — „Да, это начало любви, женской любви...“ — „Что ты, Наташа, полно! Вѣдь она ребенокъ!“ — „Которому скоро четырнадцать лѣтъ. Это ожесточеніе оттого, что ты не понимаешь ея любви, да и она-то, можетъ быть, сама не понимаетъ себя; ожесточеніе, въ которомъ много дѣтскаго, но серьезное, мучительное. Главное—она ревнуетъ тебя ко мнѣ. Ты такъ меня любишь, что вѣрно и дома только обо мнѣ одной заботишься, говоришь и думаешь, а потому на нее обращаешь мало вниманія. Она замѣтила это, и ее это уязвило. Она, можетъ быть, хочетъ говорить съ тобой, чувствуетъ потребность раскрыть передъ тобой свое сердце, не умѣетъ, стыдится, сама не понимаетъ себя, ждетъ случая, а ты, вмѣсто того, чтобъ ускорить этотъ случай, отдаляешься отъ нея, убѣгаешь отъ нея ко мнѣ и даже, когда она была больна, по цѣлымъ днямъ оставлялъ ее одну. Она и плачетъ объ этомъ; ей тебя недостаетъ и пуще всего ей больно, что ты этого не замѣчаешь. Ты вотъ и теперь, въ такую минуту, оставилъ ее одну для меня.

Алеша. Алеша довольно часто бывалъ у Наташи, но все на минутку; одинъ разъ только просидѣлъ у ней нѣсколько часовъ сряду, но это было безъ меня. Входилъ онъ обыкновенно грустный, смотрѣлъ на нее робко и нѣжно; но Наташа такъ нѣжно, такъ ласково встрѣчала его, что онъ тотчасъ-же все забывалъ и развеселялся. Ко мнѣ онъ тоже началъ ходить очень часто, почти каждый день. Правда, онъ очень мучился, но не могъ и минуты пробыть одинъ съ своей тоской и поминутно прибѣгалъ ко мнѣ за утѣшеніемъ.

Что могъ я сказать ему? Онъ упрекалъ меня въ холодности, въ равнодушіи, даже въ злобѣ къ нему; тосковалъ, плакалъ, уходилъ къ Катѣ и ужъ тамъ утѣшался.

Въ тотъ день, когда Наташа объявила мнѣ, что знаетъ про отъѣздъ (это было съ недѣлю послѣ разговора моего съ княземъ), онъ вбѣжалъ ко мнѣ въ отчаяніи, обнялъ меня, упалъ ко мнѣ на грудь и зарыдалъ какъ ребенокъ. Я молчалъ и ждалъ, что онъ скажетъ.

— „Я низкій, я подлый человѣкъ, Ваня, — началъ онъ мнѣ, — спаси меня отъ меня самого. Я не оттого плачу, что я низокъ и подлъ, но оттого, что черезъ меня Наташа будетъ несчастна. Вѣдь я оставляю ее на несчастъе... Ваня, другъ мой, скажи мнѣ, рѣши за меня, кого я больше люблю изъ нихъ: Катю или Наташу?“ — „Мнѣ кажется, что Катю ты больше любишь“. — „Тебѣ такъ кажется! Нѣтъ, нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ! Ты совсѣмъ не угадалъ. Я безпредѣльно люблю Наташу. Я ни за что, никогда не могу ее оставить; я это и Катѣ сказалъ, и Катя совершенно со мною согласна. Что-жъ ты молчишь? Вотъ, я видѣлъ, ты сейчасъ улыбулся. Эхъ, Ваня, ты никогда не утѣшалъ меня, когда мнѣ было слишкомъ тяжело, какъ теперь... Прощай!“

Черезъ два часа онъ явился снова и я удивился его радостному лицу. Онъ опять бросился ко мнѣ на шею и обнялъ меня.

— „Кончено дѣло!—вскричалъ онъ,—всѣ недоумѣнія разрѣшены. Отъ васъ я прямо пошелъ къ Наташѣ: я былъ разстроенъ, я не могъ быть безъ

ней. Войдя, я упалъ передъ ней на колѣни и цѣловалъ ея ноги: мнѣ это нужно было, мнѣ хотѣлось этого; безъ этого я бы умеръ съ тоски. Она молча обняла меня и заплакала. Тутъ я прямо ей сказалъ, что Катю люблю больше ея.—„Что-жь она?“—„Она ничего не отвѣчала, а только ласкала и утѣшала меня, — меня, который ей это сказалъ! Она умѣетъ утѣшать, Иванъ Петровичъ! О, я выплакалъ передъ ней все мое горе, все ей высказалъ. Я прямо сказалъ, что люблю очень Катю, но что какъ-бы я ее ни любилъ и кого-бы я ни любилъ, а все-таки безъ нея, безъ Наташи, обойтись не могу и умру. Да, Ваня, дня не проживу безъ нея, я это чувствую, да! И потому мы рѣшили немедленно съ ней обвѣнчаться; а такъ какъ до отъѣзда нельзя этого сдѣлать, потому что теперь Великій постъ и вѣнчать не стануть, то ужъ по пріѣздѣ моемъ, а это будетъ къ первому іюня. Отецъ позволить, въ этомъ нѣтъ и сомнѣнія. Что-же касается до Кати, то что-жь такое! Я вѣдь не могу жить безъ Наташи... Обвѣнчаемся и тоже туда съ ней поѣдемъ, гдѣ Катя...“

Бѣдная Наташа! Какое было ей утѣшать этого мальчика, сидѣть надъ нимъ, выслушать его признаніе и выдумать ему, наивному эгоисту, для спокойствія его, сказку о скоромъ бракѣ. Алеша дѣйствительно на нѣсколько дней успокоился. Онъ и бѣгалъ къ Наташѣ собственно изъ того, что слабое сердце его не въ силахъ было одно перенести печали. Но все-таки, когда время начало приближаться къ разлукѣ, онъ опять впалъ въ безпокойство, въ слезы, и опять прибѣгалъ ко мнѣ и выплакивалъ свое горе. Въ послѣднее время онъ такъ привязался къ Наташѣ, что не могъ ее оставить и на день, не только на полтора мѣсяца. Онъ вполне былъ однакожь увѣренъ, до самой послѣдней минуты, что оставляетъ ее только на полтора мѣсяца и что по возвращеніи его будетъ ихъ свадьба. Что же касается до Наташи, то она, въ свою очередь, вполне понимала, что вся судьба ея мѣняется, что Алеша ужъ никогда теперь къ ней не воротится, и что такъ тому и слѣдуетъ быть.

День разлуки ихъ наступилъ. Наташа была больна,—блѣдная, съ воспаленнымъ взглядомъ, съ запекшимися губами, изрѣдка разговаривала сама съ собою, изрѣдка быстро и пронзительно взглядывала на меня, не плакала, не отвѣчала на мои разспросы и вздрагивала, какъ листокъ на деревѣ, когда раздавался звонкій голосъ входившаго Алеши. Она вспыхивала какъ зарево и спѣшила къ нему, судорожно обнимала, цѣловала его, смѣялась... Алеша вглядывался въ нее, иногда съ безпокойствомъ разспрашивалъ, здорова-ли она, утѣшалъ, что уѣзжаетъ не надолго, что потомъ ихъ свадьба. Наташа дѣлала видимыя усилія, перемогала себя и давила свои слезы. Она не плакала передъ нимъ.

Катя у Наташи. Она вошла робко, какъ виноватая, и пристально взглянула на Наташу, которая тотчасъ же улыбнулась ей. Тогда Катя быстро подошла къ ней, схватила ее за руки и прижалась къ ея губамъ своими пухленькими губками. Затѣмъ, еще ни слова не сказавъ Наташѣ, серьезно и даже строго обратилась къ Алешѣ и попросила его оставить насъ на полчаса однихъ.

— „Сядемъ,—сказала она Наташѣ по уходѣ Алеша,—я такъ, противъ васъ, сяду. Мнѣ хочется сначала на васъ посмотрѣть“.

Она сѣла почти прямо противъ Наташи и нѣсколько мгновеній пристально на нее смотрѣла. Наташа отвѣчала ей невольной улыбкой.

— „Я уже видѣла вашу фотографію,—сказала Катя,—мнѣ показывалъ Алеша“.—„Что-жъ, похожа я на портретъ?“—„Вы лучше,—отвѣтила Катя рѣшительно и серьезно.—Да я такъ и думала, что вы лучше“.—„Правда? А я вотъ засматриваюсь на васъ. Какая вы хорошенькая!“ — „Что вы! Куда мнѣ!.. Голубчикъ вы мой! — прибавила она, дрожащей рукой взявъ руку Наташи, и обѣ опять примолкли, всматриваясь другъ въ друга.—Я хочу... я должна... ну, я васъ просто спрошу: очень вы любите Алешу?“ — „Да, очень“.—„А если такъ... если вы очень любите Алешу... то... вы должны любить и его счастье...“—прибавила она робко и шопотомъ.—„Да, я хочу, чтобъ онъ былъ счастливъ...“—„Это такъ... но вотъ въ чемъ вопросъ: составлю-ли я его счастье? Имѣю-ли я право такъ говорить, потому что я его у васъ отнимаю. Если вамъ кажется, и мы рѣшимъ теперь, что съ вами онъ будетъ счастливѣе, то... то...“ — „Это уже рѣшено, милая Катя, вѣдь вы же сами видите, что все рѣшено“,—отвѣчала тихо Наташа и склонила голову. Ей было видимо тяжело продолжать разговоръ.

Катя приготовилась, кажется, на длинное объясненіе на тему: кто лучше составитъ счастье Алеша и кому изъ нихъ придется уступить? Но послѣ отвѣта Наташи тотчасъ же поняла, что все уже давно рѣшено и говорить больше не о чемъ. Полураскрывъ свои хорошенькія губки, она съ недоумѣніемъ и съ печалью смотрѣла на Наташу, все еще держа ее руку въ своей.

— „А вы его очень любите?“—спросила вдругъ Наташа.—„Да; и вотъ я тоже хотѣла васъ спросить и ѣхала съ тѣмъ: скажите мнѣ, за что именно вы его любите?“ — „Не знаю“,—отвѣчала Наташа, и какъ будто горькое нетерпѣніе слышалось въ ея отвѣтѣ.—„Умень онъ, какъ вы думаете?“—спросила Катя.—„Нѣтъ, я такъ его, просто, люблю...“—„И я тоже. Мнѣ его все какъ будто жалко“.—„И мнѣ тоже“,—отвѣчала Наташа.—„Что съ нимъ дѣлать теперь! И какъ онъ могъ оставить васъ для меня, не понимаю! — воскликнула Катя.—Вотъ, какъ теперь увидѣла васъ и не понимаю!“

Наташа не отвѣчала и смотрѣла въ землю. Катя помолчала немного и вдругъ, поднявшись со стула, тихо обняла ее. Обѣ, обнявъ одна другую, заплакали. Катя сѣла на ручку креселъ Наташи, не выпуская ее изъ своихъ объятій, и начала цѣловать ее руки.

— „Если-бъ вы знали, какъ я васъ люблю!—проговорила она, плача.—Будемъ сестрами, будемъ всегда писать другъ другу... а я васъ буду вѣчно любить, я васъ буду такъ любить, такъ любить...“ — „Онъ вамъ о нашей свадьбѣ, въ іюнѣ мѣсяцѣ, говорилъ?“—спросила Наташа.—„Говорилъ. Онъ говорилъ, что и вы согласны. Вѣдь это все только такъ, чтобъ его утѣшить, не правда-ли?“—„Конечно“.—„И такъ и поняла. Я буду его очень любить, Наташа, и вамъ обо всемъ писать. Кажется, онъ будетъ теперь скоро ж-

имъ мужемъ; на то идти. И они всё такъ говорятъ. Милая...
вѣдь вы пойдете теперь... въ вашъ домъ?"

Наташа не отвѣчала ей, но молча и крѣпко поцѣловала ее.

— „Будьте счастливы!“ — сказала она. — „И... и вы... и вы тоже“, — проговорила Катя.

Наташа встала. Обѣ стояли одна противъ другой, держась за руки и какъ будто силясь передать взглядомъ все, что скопилось въ душѣ.

— „Вѣдь мы ужъ больше никогда не увидимся“, — сказала Катя. — „Никогда, Катя“, — отвѣчала Наташа. — „Ну, такъ простимся“.

Обѣ обнялись.

— „Не проклиняйте меня, — прошептала наскоро Катя, — а я... всегда... будьте увѣрены... онъ будетъ счастливъ... Пойдемъ, Алеша, проводи меня!“ — быстро произнесла она, схватывая его руку,

Когда въ девять часовъ, оставивъ Нелли (послѣ разбитой чашки) съ Александрой Семеновной, я пришелъ къ Наташѣ, она уже была одна и съ петербургскимъ ждала меня. Мавра подала намъ самоваръ; Наташа налила мнѣ чаю, сѣла на диванъ и подозвала меня поближе къ себѣ.

— „Вотъ и кончилось все“, — сказала она, пристально взглянувъ на меня.

Никогда не забуду я этого взгляда.

— „Вотъ и кончилась наша любовь. Полгода жизни! И на всю жизнь“, — прибавила она, сжимая мнѣ руку.

Ея рука торѣла. Я сталъ уговаривать ее одѣться потеплѣе и лечь въ постель.

— „Видишь, Ваня, вѣдь я рѣшила, что я его не любила какъ равню, такъ, какъ обыкновенно женщина любитъ мужчину. Я любила его какъ... почти какъ мать. Мнѣ даже кажется, что совсѣмъ и не бываетъ на свѣтѣ такой любви, чтобъ оба другъ друга любили какъ равные, а? Какъ ты думаешь?"

Я съ безпокойствомъ смотрѣлъ на нее и боялся, не начинается-ли съ ней горячка. Какъ будто что-то увлекало ее; она чувствовала какую-то особенную потребность говорить; инныя слова ея были какъ будто безъ связи; даже иногда она плохо выговаривала ихъ. Я очень боялся.

— „Онъ былъ мой, — продолжала она. — Почти съ первой встрѣчи с нимъ у меня явилось тогда непреодолимое желаніе, чтобъ онъ былъ *моимъ*, и чтобъ онъ ни на кого не глядѣлъ, никого и не зналъ кромѣ меня, одной меня... Катя, давеча, хорошо сказала; я именно любила его такъ, какъ будто мнѣ все время было отчего-то его жалко... Была у меня всегда непреодолимая потребность, даже мученіе, когда я оставалась одна, о томъ, чтобъ онъ былъ ужасно и вѣчно счастливъ. На его лицо (ты знаешь выраженіе его лица, Ваня) я спокойно смотрѣть не могла: та выраженія ни у кого не бываетъ, а засмѣется онъ, такъ у меня холодеетъ дрожь была... Право!..“ — „Наташа, послушай...“ — „Вотъ говорили, — пересказала она, — да и ты, впрочемъ, говорилъ, — что онъ безъ характера и... и у него не далеко, какъ ребенокъ. Ну, а я это-то въ немъ и любила больше всего. Видишь-ли этому? Не знаю, впрочемъ, любила-ли именно одно это;

просто, всего его любила, и будь онъ хоть чѣмъ-нибудь другой, съ характеромъ, или умнѣе, я бы, можетъ, и не любила его такъ“.

Она взглянула мнѣ въ лицо и какъ-то странно разсмѣялась. Потомъ какъ будто задумалась, какъ будто все еще припоминала. И долго сидѣла она такъ, съ улыбкой на губахъ, вдумываясь въ прошедшее.

— „Я ужасно любила его прощать, Вани,—продолжала она.—Знаешь что: когда онъ оставлялъ меня одну, я хожу, бывало, по комнатѣ, мучаюсь, плачу, а сама иногда подумаю: чѣмъ виноватѣе онъ передо мной, тѣмъ вѣдь лучше... да! И знаешь, мнѣ всегда представлялось, что онъ какъ будто такой маленькій мальчикъ: я сижу, а онъ положилъ ко мнѣ на колѣни голову, заснулъ, а я его тихонько по головкѣ глажу, ласкаю... Всегда такъ воображала о немъ, когда его со мной не было... Послушай, Вани,—прибавила она вдругъ,—какая это прелесть Катя. Катя, мнѣ кажется, можетъ его сдѣлать счастливымъ,—продолжала она.—Она съ характеромъ и говорить какъ будто такая убѣжденная, и съ нимъ она такая серьезная, важная,—все объ умныхъ вещахъ говоритъ, точно большая. А сама-то, сама-то—настоящій ребенокъ! Милочка, милочка! О! Пусть они будутъ счастливы! Пусть, пусть, пусть!“

И слезы, рыданія вдругъ разомъ такъ и хлынули изъ ея сердца. Цѣлыхъ полчаса она не могла придти въ себя и хоть сколько-нибудь успокоиться.

На утро, ровно въ девять часовъ, я уже былъ у нея. Въ одно время со мной пріѣхалъ и Алеша... прощаться. Не буду говорить, не хочу вспоминать объ этой сценѣ. Наташа какъ будто дала себѣ слово скрѣпить себя, казаться веселѣе, равнодушнѣе, но не могла. Она обняла Алешу судорожно, крѣпко. Мало говорила съ нимъ, но глядѣла на него долго, пристально, мученическимъ и словно безумнымъ взглядомъ. Жадно вслушивалась въ каждое слово его и, кажется, ничего не понимала изъ того, что онъ ей говорилъ. Помню, онъ просилъ простить ему, простить ему и любовь эту, и все, чѣмъ онъ оскорблялъ ее въ это время, свои измѣны, свою любовь къ Катѣ, отъѣздъ... Онъ говорилъ безсвязно, слезы душили его. Иногда онъ вдругъ принимался утѣшать ее, говорилъ, что ѣдетъ только на мѣсяцъ, или много что на пять недѣль, что пріѣдетъ лѣтомъ, тогда будетъ ихъ свадьба, и отецъ согласится и, наконецъ, главное, что вѣдь онъ послѣзавтра пріѣдетъ изъ Москвы, и тогда цѣлыхъ четыре дня они еще пробудутъ вмѣстѣ и что, стало-быть, теперь расстаются на одинъ только день...

Странное дѣло: самъ онъ былъ вполне увѣренъ, что говоритъ правду и что непременно послѣзавтра воротится изъ Москвы... Чего же самъ онъ такъ плакалъ и мучился?

Нелли. [Желая вернуть Наташу въ родной домъ, авторъ рѣшился добиться того, чтобы отецъ ее простилъ. Для этого онъ хотѣлъ, чтобы Нелли разжалобила старика рассказомъ о жизни своей матери].

— „Расскажи имъ, Нелли, все такъ, какъ ты мнѣ рассказывала. Все, все расскажи, просто и ничего не утаивая. Расскажи имъ, какъ твою мать оставилъ злой человѣкъ, какъ она умирала въ подвалѣ у Бубновой, какъ вы съ матерью вмѣстѣ ходили по улицамъ и просили милостыню; что говорила

она тебѣ и о чемъ просила тебя, умирая... Расскажи тутъ-же и про дѣдушку. Расскажи, какъ онъ не хотѣлъ прощать твою мать и какъ она посылала тебя къ нему въ свой предсмертный часъ, чтобъ онъ пришелъ къ ней простить ее, и какъ онъ не хотѣлъ... и какъ она умерла. Все, все расскажи! И какъ расскажешь все это, то старикъ почувствуетъ все это и въ своемъ сердцѣ. Онъ вѣдь знаетъ, что сегодня бросилъ ее Алеша, и она осталась униженная и поруганная, одна, безъ помощи и безъ защиты, на поруганіе своему врагу. Онъ все это знаетъ... Нелли! Спаси Наташу! Хочешь-ли ѣхать?

— „Да“, — отвѣчала она, тяжело переводя духъ и какимъ-то страннымъ взглядомъ пристально и долго посматривавъ на меня; что-то похожее на укоръ было въ этомъ взглядѣ, и я почувствовалъ это въ моемъ сердцѣ.

[Она рассказала печальную исторію своей матери, которая умерла съ голоду и болѣзни и не могла добиться прощенія у своего отца].

— „За недѣлю до смерти, мамаша подозвала меня и сказала: „Нелли, сходи еще разъ къ дѣдушкѣ, въ послѣдній разъ, и попроси, чтобъ онъ пришелъ ко мнѣ и простилъ меня; скажи ему, что я черезъ нѣсколько дней умру и тебя одну на свѣтѣ оставляю. И скажи ему еще, что мнѣ тяжело умирать...“ Я и пошла, постучалась къ дѣдушкѣ, онъ отворилъ, и какъ увидѣлъ меня, тотчасъ хотѣлъ было передо мной дверь затворить, но я ухватила за дверь обѣими руками и закричала ему: „мамаша умираетъ, васъ зоветъ, идите!..“ Но онъ оттолкнулъ меня и захлопнулъ дверь. Я воротилась къ мамашѣ, легла подлѣ нея, обняла ее и ничего не сказала... Мамаша тоже обняла меня и ничего не спрашивала...“

Тутъ Николай Сергѣичъ тяжело оперся рукой на столъ и всталъ, но, обведя насъ всѣхъ какимъ-то страннымъ, мутнымъ взглядомъ, какъ-бы въ бѣсилѣ опустился въ кресла. Анна Андреевна уже не глядѣла на него, но, рыдая, обнимала Нелли...

— „Вотъ въ послѣдній день, передъ тѣмъ, какъ ей умереть, передъ вечеромъ, мамаша подозвала меня къ себѣ, взяла меня за руку и сказала: „Я сегодня умру, Нелли“, хотѣла было еще говорить, но ужъ не могла. Я смотрю на нее, а она ужъ какъ будто меня и не видитъ, только въ рукахъ мою руку крѣпко держитъ. Я тихонько вынула руку и побѣжала изъ дому, и всю дорогу бѣжала бѣгомъ и прибѣжала къ дѣдушкѣ. Какъ онъ увидѣлъ меня, то вскочилъ со стула и смотритъ, и такъ испугался, что совсѣмъ сталъ такой блѣдный и весь задрожалъ. Я схватила его за руку и только одно и выговорила: „сейчасъ умереть“. Тутъ онъ вдругъ такъ и заметался; схватилъ свою палку и побѣжалъ за мной; даже и шляпу забылъ, а было холодно. Я схватила шляпу и надѣла ее ему, и мы вмѣстѣ побѣжали. Я торопила его и говорила, чтобъ онъ напаялъ извозчика, потому что мамаша сейчасъ умереть, но у дѣдушки было только семь копеекъ всѣхъ денегъ. Онъ останавливалъ извозчиковъ, торговался, но они только смѣялись, и надъ Азоркой смѣялись, а Азорка съ нами бѣжала, и мы все дальше и дальше бѣжали. Дѣдушка усталъ и дышалъ трудно, но все торопился и бѣжалъ. Вдругъ онъ упалъ и шляпа съ него соскочила. Я подняла его, на-

дѣла ему опять шляпу и стала его рукой вести, и только передъ самой ночью мы пришли домой... Но матушка уже лежала мертвая, Какъ увидѣлъ ее дѣдушка, всплеснулъ руками, задрожалъ и сталъ надъ ней, а самъ ничего не говоритъ. Тогда я подошла къ мертвой мамашѣ, схватила дѣдушку за руку и закричала ему: „вотъ, жестокий и злой человѣкъ, вотъ, смотри!.. Смотри!“ Тутъ дѣдушка закричалъ и упалъ на полъ, какъ мертвый...”

Нелли вскочила, высвободилась изъ объятій Анны Андреевны и стала посреди насъ, блѣдная, измученная и испуганная. Но Анна Андреевна бросилась къ ней, и, снова обнявъ ее, закричала, какъ будто въ какомъ-то вдохновеніи:

— „Я, я буду тебѣ мать теперь, Нелли, а ты мое дитя! Да, Нелли, уйдемъ, бросимъ ихъ всѣхъ, жестокихъ и злыхъ! Пусть потѣшаются надъ людьми, Богъ, Богъ зачтетъ имъ... Пойдемъ, Нелли, пойдемъ отсюда, пойдемъ!...”

Я никогда, ни прежде, ни послѣ, не видалъ ее въ такомъ состояніи, да и не думалъ, чтобъ она могла быть когда-нибудь такъ взволнована. Николай Сергѣичъ выпрямился въ креслахъ, приподнялся и прерывающіея голосомъ спросилъ:

— „Куда ты, Анна Андреевна?“ — „Къ ней, къ дочери, къ Наташѣ!“ — закричала она и потащила Нелли за собою къ дверямъ. — „Постой, постой, подожди!“ — „Нечего ждать, жестокосердый и злой человѣкъ! Я долго ждала и она долго ждала, а теперь прощай!...”

Отвѣтивъ это, старушка обернулась, взглянула на мужа и остолбенѣла. Николай Сергѣичъ стоялъ передъ ней, захвативъ свою шляпу, и дрожащими, безсильными руками торопливо натягивалъ на себя свое пальто.

— „И ты... и ты со мной!“ — вскрикнула она, съ мольбою сложивъ руки и недовѣрчиво смотря на него, какъ будто не смѣя и повѣрить такому счастью. — „Наташа, гдѣ моя Наташа? Гдѣ она? Гдѣ дочь моя? — вырвалось, наконецъ, изъ груди старика. — Отдайте мнѣ мою Наташу! Гдѣ, гдѣ она?“

И, схвативъ костыль, который я ему подаль, онъ бросился къ дверямъ.

— „Простилъ! Простилъ!“ — вскричала Анна Андреевна.

Но старикъ не дошелъ до порога. Дверь быстро отворилась, и въ комнату вбѣжала Наташа, блѣдная, съ сверкающими глазами, какъ будто въ горячкѣ. Платье ея было измято и смочено дождемъ. Платочекъ, которымъ она накрыла голову, сбился у ней на затылокъ и на разбившихся густыхъ прядяхъ ея волосъ сверкали крупныя капли дождя. Она вбѣжала, увидала отца и съ крикомъ бросилась передъ нимъ на колѣни, простиралъ къ нему руки.

— „Да поцѣлуйте же меня, жестокий вы человѣкъ, въ губы, въ лицо поцѣлуйте, какъ мамаша цѣлуетъ!“ — воскликнула Наташа больнымъ, разслабленнымъ, полнымъ слезами радости голосомъ. — „И въ глазки тоже! И въ глазки тоже! Помнишь, какъ прежде, — повторялъ старикъ, послѣ долгаго, сладкаго объятія съ дочерью. — О, Наташа! Снилось-ли тебѣ когда про насъ? А мнѣ ты снилась чуть не каждую ночь и каждую ночь ты ко мнѣ приходила, и я надъ тобой плакалъ, а одинъ разъ ты какъ маленькая пришла, помнишь, когда еще тебѣ только десять лѣтъ было, и ты на фортепиано только-что начинала учиться, — пришла въ коротенькомъ платьицѣ, въ хоро-

пенькихъ башмачкѣхъ и съ ручками красненькими... вѣдь у ней красненькія такія ручки были тогда, помнишь, Аннушка? — пришла ко мнѣ, на колѣни сѣла и обняла меня... И ты, и ты, дѣвочка ты злая! И ты могла думать, что я проклялъ тебя, что я не приму тебя, если-бъ ты пришла!.. Да вѣдь я... слушай, Наташа; да вѣдь я часто къ тебѣ ходилъ, и мать не знала, и никто не зналъ; то подѣ окнами у тебя стою, то жду; полсутки иной разъ жду, гдѣ-нибудь на тротуарѣ у твоихъ воротъ! Не выйдешь-ли ты, чтобъ издали только посмотрѣть на тебя! А то у тебя по вечерамъ свѣча на окошкѣ часто горѣла; такъ сколько разъ я, Наташа, по вечерамъ къ тебѣ ходилъ, хотѣ на свѣчку твою посмотрѣть, хотѣ тѣнь твою въ окнѣ увидать, благословить тебя на ночь. А ты благословляла-ли меня на ночь? Думала-ли обо мнѣ? Слышало-ли твое сердечко, что я тутъ подѣ окномъ? А сколько разъ, зимой, я поздно ночью на твою лѣстницу подымусь и въ темныхъ сѣняхъ стою, сквозь дверь прислушиваюсь, не услышу-ли твоего голоса. Не засмѣешься-ли ты? Проклялъ? Да вѣдь я въ этотъ вечеръ къ тебѣ приходилъ, простить тебя хотѣлъ и только отъ дверей воротился... О, Наташа!

Онъ всталъ, приподнялъ ее изъ креселъ и крѣпко, крѣпко прижалъ ее къ сердцу.

— „Она здѣсь, опять у моего сердца! — вскричалъ онъ. — О, благодарю Тебя, Боже, за все, за все, и за гнѣвъ Твой, и за милость Твою!.. И за солнце Твое, которое просіяло теперь, послѣ грозы, на насъ! За всю эту минуту благодарю! О! пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вмѣстѣ, и пусть, пусть теперь торжествуютъ эти гордые и надменные, унижившіе и оскорбившіе насъ! Пусть они бросятъ въ насъ камень! Не бойся, Наташа... Мы пойдемъ рука въ руку, и я скажу имъ: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, это безгрѣшная дочь моя, которую вы оскорбили и унижили, но которую я, я люблю, и которую благословлю во вѣки вѣковъ!“ — „Ваня! Ваня!..“ — слабымъ голосомъ проговорила Наташа, протягивая мнѣ изъ объятій отца свою руку.

О, никогда я не забуду, что въ эту минуту она вспомнила обо мнѣ и позвала меня!

— „Гдѣ же Нелли?“ — спросилъ старикъ, озираясь. — „Ахъ, гдѣ же она?“ — вскрикнула старушка. — Голубчикъ мой! Вѣдь мы такъ ее и оставили!“

Но ея не было въ комнатѣ; она незамѣтно проскользнула въ спальню. Всѣ пошли туда. Нелли стояла въ углу, за дверью, и пугливо пряталась отъ насъ.

— „Нелли, что съ тобой, дитя мое!“ — воскликнулъ старикъ, желая обнять ее.

Но она какъ-то долго на него посмотрѣла...

— „Мамаша, гдѣ мамаша, — проговорила она, какъ въ безпамятствѣ. — Гдѣ моя мамаша?“ — вскрикнула она еще разъ, протягивая свои дрожащія руки къ намъ.

И вдругъ страшный, ужасный крикъ вырвался изъ ея груди; судороги пробѣжали по лицу ея и она въ страшномъ припадкѣ упала на полъ...

Но цвѣточный праздникъ нашъ на другой день не удался. Нелли сдѣлалось хуже и она уже не могла выйти изъ комнаты.

И ужъ никогда больше она не выходила изъ этой комнаты.

Она умерла двѣ недѣли спустя. Въ эти двѣ недѣли своей агоніи она уже ни разу не могла совершенно придти въ себя и избавиться отъ своихъ странныхъ фантазій. Разсудокъ ея какъ будто помутился. Она твердо была увѣрена, до самой смерти своей, что дѣдушка зоветъ ее къ себѣ и сердится на нее, что она не приходитъ, стучить на нее палкой и велитъ ей идти просить у добрыхъ людей на хлѣбъ и на табакъ. Часто она начинала плакать во снѣ и, просыпаясь, рассказывала, что видѣла мамашу.

Иногда только разсудокъ какъ-будто возвращался къ ней вполне. Однажды мы оставались одни; она потянулась ко мнѣ и схватила мою руку своей худенькой, воспаленной отъ горячечнаго жару ручкой.

— „Ваня,—сказала она мнѣ,—когда я умру, женись на Наташѣ!“

Это, кажется, была постоянная и давнишняя ея идея. Я молча улыбнулся ей. Увидя мою улыбку, она улыбнулась сама, съ шаловливымъ видомъ погрозила мнѣ своимъ худенькимъ пальчикомъ и тотчасъ же начала меня цѣловать.

За три дня до своей смерти, въ прелестный лѣтній вечеръ, она попросила, чтобъ подняли штору и открыли окно въ ея спальнѣ. Окно выходило въ садикъ; она долго смотрѣла на густую зелень, на заходящее солнце и вдругъ попросила, чтобъ насъ оставили однихъ.

— „Ваня, — сказала она едва слышнымъ голосомъ, потому что была уже очень слаба,—я скоро умру. Очень скоро, и хочу тебѣ сказать, чтобъ ты меня помнилъ. На память я тебѣ оставляю вотъ это (и она показала мнѣ большую ладонку, которая висѣла у ней на груди, вмѣстѣ съ крестомъ). Это мнѣ мамаша оставила, умирая. Такъ вотъ, когда я умру, ты и сними эту ладонку, возьми себѣ и прочти, что въ ней есть. Я и всѣмъ имъ сегодня скажу, чтобъ они одному тебѣ отдали эту ладонку. И когда ты прочтешь, что въ ней написано, то поди къ нему и скажи, что я умерла, а его не простила. Скажи ему тоже, что я Евангеліе недавно читала. Тамъ сказано: прощайте всѣмъ врагамъ своимъ. Ну, такъ я это читала, а его все-таки не простила, потому что, когда мамаша умирала и еще могла говорить, то послѣднее, что она сказала, было: *проклиная его*, ну, такъ и я его проклиная, не за себя, а за мамашу проклиная... Расскажи же ему, какъ умирала мамаша, какъ я осталась одна у Бубновой; расскажи, какъ ты видѣлъ меня у Бубновой, — все, все расскажи, и скажи тутъ же, что я лучше хотѣла быть у Бубновой, а къ нему не пошла...“

Говоря это, Нелли поблѣднѣла, глаза ея засверкали и сердце начало стучать такъ сильно, что она опустила на подушки и минуты двѣ не могла проговорить слова.

— „Позови ихъ, Ваня,—сказала она, наконецъ, слабымъ голосомъ,—я хочу съ ними со всѣми проститься. Прощай, Ваня!..“

Она крѣпко, крѣпко обняла меня въ послѣдній разъ. Вошли всѣ наши. Старикъ не могъ понять, что она умираетъ; допустить этой мысли не могъ.

Онъ до послѣдняго времени спорилъ со всѣми нами и увѣрялъ, что она выздоровѣетъ непременно. Онъ весь высохъ отъ заботы, онъ просиживалъ у кровати Нелли по цѣлымъ днямъ и даже ночамъ. Послѣднія ночи онъ буквально не спалъ. Онъ старался предупредить малѣйшее желаніе Нелли, и выходя отъ нея къ намъ, горько плакалъ, но черезъ минуту опять начиналъ надѣяться и увѣрять насъ, что она выздоровѣетъ. Онъ заставилъ цвѣтами всю ея комнату. Одинъ разъ купилъ онъ цѣлый букетъ прелестнѣйшихъ розъ, бѣлыхъ и красныхъ, куда-то далеко ходилъ за ними и принесть своей Нелличкѣ... Всѣмъ этимъ онъ очень волновалъ ее. Она не могла не отзываться всѣмъ сердцемъ своимъ на такую всеобщую любовь. Въ этотъ вечеръ, въ вечеръ прощанья ея съ нами, старикъ никакъ не хотѣлъ прощаться съ ней навсегда. Нелли улыбнулась ему и весь вечеръ старалась казаться веселою, шутила съ нимъ, даже смѣялась... Мы всѣ вышли отъ нея почти въ надеждѣ, но на другой день она уже не могла говорить. Черезъ два дня она умерла.

Помню, какъ старикъ убиралъ ея гробикъ цвѣтами и съ отчаяніемъ смотрѣлъ на ея исхудалое мертвое личико, на ея мертвую улыбку, на руки ея, сложенные крестомъ на груди. Онъ плакалъ надъ ней, какъ надъ своимъ роднымъ ребенкомъ. Наташа, я, мы всѣ утѣшали его, но онъ былъ неутѣшенъ и серьезно заболѣлъ послѣ похоронъ Нелли.

Анна Андреевна сама отдала мнѣ ладонку, которую сняла съ ея груди. Въ этой ладонкѣ было письмо матери Нелли къ князю. Я прочиталъ его въ день смерти Нелли. Она обращалась къ князю съ проклятіемъ, говорила, что не можетъ простить ему, описывала всю послѣднюю жизнь свою, всѣ ужасы, на которые оставляетъ Нелли, и умоляла его сдѣлать хоть что-нибудь для ребенка. „Онъ вашъ,—писала она, — это дочь *ваша* и *вы сами знаете*, что она *ваша настоящая* дочь. Я велѣла ей идти къ вамъ, когда я умру, и отдать вамъ въ руки это письмо. Если вы не отвергнете Нелли, то, можетъ быть, *тамъ* я прошу васъ, и въ день суда сама стану передъ престоломъ Божиимъ и буду умолять Судію простить вамъ грѣхи ваши. Нелли знаетъ содержаніе письма моего: я читала его ей; я разъяснила ей *все*, она знаетъ *все*, *все*...“

Но Нелли не исполнила завѣщанія; она знала все, но не пошла къ князю и умерла непримиренная.

Когда мы воротились съ похоронъ Нелли, мы съ Наташей вышли въ садъ. День былъ жаркій, сіяющій свѣтомъ. Черезъ недѣлю они уѣзжали. Наташа взглянула на меня долгимъ, страннымъ взглядомъ.

— „Ваня, — сказала она, — Ваня, вѣдь это былъ сонъ“. — „Что было сонъ?“ — спросилъ я. — „Все, все, — отвѣчала она, — все, за весь этотъ годъ. Ваня, зачѣмъ я разрушила твое счастье?“

И въ глазахъ ся я прочелъ:

„Мы бы могли быть на-вѣки счастливы вмѣстѣ!“

Ф. Достоевскій.

ХІ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ.

Раскольниковъ. [Это былъ бѣдный студентъ, озлобленный сознаниемъ своею нищеты, своею зависимости].

Не то чтобъ онъ былъ такъ трусливъ и забитъ, совсѣмъ даже напротивъ; но съ нѣкотораго времени онъ былъ въ раздражительномъ и напряженномъ состояніи, похожемъ на ипохондрію. Онъ до того углубился въ себя и уединился отъ всѣхъ, что боялся даже всякой встрѣчи, не только встрѣчи съ хозяйкой. Онъ былъ задавленъ бѣдностью; но даже стѣсненное положеніе перестало въ послѣднее время тяготить его. Насущными дѣлами юнми онъ совсѣмъ пересталъ и не хотѣлъ заниматься. Никакой хозяйки въ сущности онъ не боялся, что бы та ни замышляла противъ него. Но станавливаясь на лѣстницѣ, слушать всякій вздоръ про всю эту обиденную ребедень, до которой ему нѣтъ никакого дѣла, всѣ эти приставанія о плакѣхъ, угрозы, жалобы, и при этомъ самому изворачиваться, извиняться, гадать,—нѣтъ ужъ лучше проскользнуть какъ-нибудь кошкой по лѣстницѣ улизнуть, чтобы никто не видалъ.

Впрочемъ, на этотъ разъ страхъ встрѣчи съ своею кредиторшей даже до самого поразила по выходѣ на улицу.

„На какое дѣло хочу покуситься и въ то же время какихъ пустяковъ юсь!—подумалъ онъ съ странною улыбкой.—Гм... да... все въ рукахъ словѣка, и все-то онъ мимо носу проноситъ, единственно отъ одной труости... это ужъ аксіома... Любопытно, чего люди больше всего боятся? Ничего шага, новаго собственнаго слова они всего больше боятся... А впрочемъ я слишкомъ много болтаю. Оттого и ничего не дѣлаю, что болтаю. Пожалуй, впрочемъ, и такъ: оттого болтаю, что ничего не дѣлаю. Это я въ этотъ послѣдній мѣсяцъ выучился болтать, лежа по цѣлымъ суткамъ въ глу и думая... о царѣ Горохѣ. Ну, затѣмъ я теперь иду? Развѣ я способенъ на *это*? Развѣ *это* серьезно? Совсѣмъ не серьезно. Такъ ради фантазій самъ себя тѣшу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!“

[Въ головѣ Раскольникова засѣла мысль, что онъ долженъ убить старуху, богатую и скупую, которая давала деньги подъ закладъ вещей. Раскольниковъ дошелъ до такой идеи путемъ сравненія себя, молодого чело-

вѣка, полного силъ, полезнаго для родины и задавленнаго бѣдностью, съ старухой, злобной и вредной, однако обладающей ненужными для нея деньгами. Но мысль о томъ, что онъ долженъ избавить мѣръ отъ этого гадкаго существа не безъ борьбы овладѣла имъ. Иногда онъ самъ упрекалъ себя].

„О Боже! какъ это все отвратительно! И неужели, неужели я... нѣтъ, это вздоръ, это нелѣпость!—прибавилъ онъ рѣшительно.—И неужели такой ужасъ могъ придти мнѣ въ голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!... И я цѣлый мѣсяць...“

Но онъ не могъ выразить ни словами, ни восклицаніями, своего волненія. Чувство безконечнаго отвращенія, начинавшее давить и мутить его сердце еще въ то время какъ онъ только шелъ къ старухѣ, достигло теперь такого размѣра и такъ ярко выяснилось, что онъ не зналъ, куда дѣться отъ тоски своей. Онъ шелъ по тротуару какъ пьяный, не замѣчая прохожихъ и сталкиваясь съ ними, и опомнился уже въ слѣдующей улицѣ. Оглядѣвшись, онъ замѣтилъ, что стоитъ подлѣ распивочной, въ которую входъ былъ съ тротуара по лѣстницѣ внизъ, въ подвальный этажъ. Изъ дверей, какъ разъ въ эту минуту, выходили двое пьяныхъ, и другъ друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу. Долго не думая Раскольниковъ тотчасъ же спустился внизъ. Никогда до сихъ поръ не входилъ онъ въ распивочныя, но теперь голова его кружилась, и къ тому же палищая жажда томила его. Ему захотѣлось выпить холоднаго пива, тѣмъ болѣе что внезапную слабость свою онъ относилъ и къ тому, что былъ голоденъ. Онъ ушелъ въ темномъ и грязномъ углу, за липкимъ столикомъ, спросилъ пива и съ жадностью выпилъ первый стаканъ. Тотчасъ же все отлегло, и мысли его прояснились. „Все это вздоръ,—сказалъ онъ съ надеждой,—и нечѣмъ тутъ было смущаться! Просто физическое разстройство! Одинъ какой-нибудь стаканъ пива, кусокъ сухаря,—и вотъ, въ одинъ мигъ, крѣпнетъ умъ, яснѣетъ мысль, твердѣютъ намѣренія! Тыфу, какое все это ничтожество!...“ Но несмотря на этотъ презрительный плевокъ, онъ глядѣлъ уже весело, какъ будто внезапно освободясь отъ какого-то ужаснаго бремени, и дружески окинулъ глазами присутствующихъ.

Раскольниковъ не привыкъ къ толпѣ, и какъ уже сказано, бѣжалъ всякаго общества, особенно въ послѣднее время. Но теперь его вдругъ что-то потянуло къ людямъ. Что-то совершалось въ немъ какъ бы новое, и вмѣстѣ съ тѣмъ ощутилась какая-то жажда людей. Онъ такъ усталъ отъ цѣлаго мѣсяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачнаго возбужденія, что хотя одну минуту хотѣлось ему вздохнуть въ другомъ мѣрѣ, хоть бы въ какомъ бы то ни было, и несмотря на всю грязь обстановки, онъ съ удовольствіемъ оставался теперь въ распивочной.

[Въ распивочной Раскольниковъ встрѣтилъ пьянаго чиновника, Мармеладова].

Мармеладовъ. На остальныхъ, бывшихъ въ распивочной, не исключая и хозяина, чиновникъ смотрѣлъ какъ-то привычно и даже со скукой, а вмѣстѣ съ тѣмъ и съ оттѣнкомъ нѣкотораго высокомернаго пренебреженія, какъ бы на людей низшаго положенія и развитія, съ которыми нечего ему

говорить. Это былъ человекъ лѣтъ уже за пятьдесятъ, средняго роста и плотнаго сложенія, съ просѣдью и съ большою лысиной, съ отекившимъ отъ постоянного пьянства желтымъ, даже зелѣноватымъ лицомъ и съ припухшими вѣками, изъ-за которыхъ сіяли крошечные какъ щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было въ немъ очень странное; во взглядѣ его свѣтилась какъ будто даже восторженность, — пожалуй былъ и смыслъ и умъ, — но въ то же время мелькало какъ будто и безуміе. Одѣтъ онъ былъ въ старый, совершенно оборванный черный фракъ, съ осмывшимися шуговицами. Одна только еще держалась кое-какъ, и на все-то онъ и застегивался, видимо желая не удалиться приличій. Изъ-подъ нанковаго жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито, по чиновничьи, но давно уже, такъ что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и въ ухваткахъ его дѣйствительно было что-то солидно-чиновничье. Но онъ былъ въ безпокойствѣ, ерошилъ волосы и подширалъ иногда, въ тоскѣ, обѣими руками голову, положа продранные локти на залитый и липкій столъ.

Онъ былъ хмѣленъ, но говорилъ рѣчисто и бойко, изрѣдка только мѣстами сбиваясь немного и затягивая рѣчь. Съ какою-то даже жадностью накинулся онъ на Раскольниковъ, точно цѣлый мѣсяцъ тоже ни съ кѣмъ не говорилъ.

— „Милостивый государь, — началъ онъ почти съ торжественностью, — бѣдность не порокъ, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродѣтель, и это тѣмъ паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порокъ-съ. Въ бѣдности вы еще сохраняете свое благородство врожденныхъ чувствъ, въ нищетѣ же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняютъ, а метлой выметають изъ компаніи человѣческой, чтобы тѣмъ оскорбительнѣе было; и справедливо, ибо въ нищетѣ я первый самъ готовъ оскорблять себя. И отсюда питейное! Милостивый государь, мѣсяцъ назадъ тому супругу мою избилъ г. Лебезятниковъ, а супруга моя не то что я! Понимаете-съ? Позвольте еще васъ спросить, такъ, хотя бы въ видѣ простаго любопытства: изволи ли вы почевать на Невѣ, на сѣнныхъ баркахъ?“ — „Нѣтъ, не случилось, — отвѣчалъ Раскольниковъ. — Это что такое?“ — „Ну-съ, а я оттуда, и уже пятую ночь-съ... Для чего я не служу, милостивый государь?“ — подхватилъ Мармеладъ, исключительно обращаясь къ Раскольникову, какъ будто это онъ ему задалъ вопросъ, — для чего не служу? А развѣ сердце у меня не болитъ о томъ, что я пресмыкаюсь втупѣ? Когда г. Лебезятниковъ, тому мѣсяцъ назадъ, супругу мою собственноручно избилъ, а я лежалъ пьяненькой, развѣ я не страдалъ? Позвольте, молодой человекъ, случилось вамъ... гм... ну хоть испраивать денегъ въ займы безнадежно?“ — „Случалось... то-есть какъ безнадежно?“ — „То-есть безнадежно вполне-съ, заранѣе зная, что изъ сего ничего не выйдетъ. Вотъ вы знаете, напимѣръ, заранѣе и досконально, что сей человекъ, сей благонамѣреннѣйшій и паче всего полезнѣйшій гражданинъ, ни за что вамъ денегъ не дастъ, ибо зачѣмъ, спрошу я, онъ дастъ? Вѣдь онъ знаетъ же, что я не отдамъ. Изъ состраданія? Но г. Лебезятниковъ, слѣдующій за новыми мыслями, объяснялъ намедни, что состра-

даніе въ наше время даже наукой воспрещено, и что такъ уже дѣлается въ Англіи, гдѣ политическая экономія. Зачѣмъ же, спрошу я, онъ дастъ? И вотъ зная впередъ, что не дастъ, вы все-таки отправляетесь въ путь и...“ — „Для чего же ходить?“ — прибавилъ Раскольниковъ. — „А коли не къ кому, коли идти больше некуда! Вѣдь надобно же, чтобы всякому человѣку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бываетъ такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти! Когда однородная дочь моя въ первый разъ по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошелъ... (ибо дочь моя по желтому билету живетъ-съ...)—прибавилъ онъ въ скобкахъ, съ нѣкоторымъ безпокойствомъ смотря на молодого человѣка. — Ничего, милостивый государь, ничего,—поспѣшилъ онъ тотчасъ же, и повидимому спокойно, заявить, когда фыркнули оба мальчишки за стойкой и улыбнулся самъ хозяинъ. — Ничего-съ! Сямъ покиваніемъ главъ не смущаюсь, ибо уже всѣмъ все извѣстно, и все тайное становится явнымъ; и не съ презрѣніемъ, а со смиреніемъ къ сему отношусь. Пусть! пусть! „Се человѣкъ!“ Позвольте, молодой человѣкъ, можете ли вы... Но нѣтъ, изъяснить сильнѣе и изобразительнѣе: не можете ли вы, а осмыслитесь ли вы, взирая въ сей часъ на меня, сказать утвѣдительно, что я не свинья?“

Молодой человѣкъ не отвѣчалъ ни слова.

— „Ну-съ,—продолжалъ ораторъ, солидно и даже съ усиленным на этотъ разъ достоинствомъ переждавъ опять послѣдовавшее въ комнатѣ хихиканіе. — Ну-съ, я пусть свинья, а она дама! Я звѣринный образъ имѣю, а Катерина Ивановна, супруга моя—особа образованная и урожденная штабъ-офицерская дочь. Пусть, пусть я подлецъ, она-же и сердца высокаго, и чувствъ облагороженныхъ воспитаніемъ исполнена. А между тѣмъ... о, еслибъ она пожалѣла меня! Милостивый государь, милостивый государь, вѣдь надобно-же, чтобы у всякаго человѣка было хоть одно такое мѣсто, гдѣ-бы его пожалѣли! А Катерина Ивановна дама хотя и великодушная, но несправедливая... И хотя я и самъ понимаю, что когда она и вихры мои деретъ, но деретъ ихъ не иначе какъ отъ жалости сердца (ибо, повторяю безъ смущенія, она деретъ мнѣ вихры, молодой человѣкъ,—подтвердилъ онъ съ сугубымъ достоинствомъ, услышавъ опять хихиканіе), но Боже, что еслибъ она хотя одинъ разъ... Но нѣтъ! нѣтъ! все сіе втунѣ, и нечего говорить! нечего говорить!.. ибо и не одинъ уже разъ бывало желаемое, и не одинъ уже разъ жалѣли меня, по... такова уже черта моя, а я прирожденный скотъ!“ — „Еще-бы!“ — замѣтилъ зѣвая хозяинъ.

Мармеладовъ рѣшительно ступнулъ кулакомъ по столу.

— „Такова ужъ черта моя! Знаете-ли, знаете-ли вы, государь мой, что я даже чулки ея прошилъ? Не башмаки-съ, ибо это хотя сколько-нибудь походило-бы на порядокъ вещей, а чулки, чулки ея прошилъ-съ! Косыночку ея изъ козьяго пуха тоже прошилъ, дареную, прежнюю, ея собственную, не мою; а живемъ мы въ холодномъ углу, и она въ эту зиму простудилась и кашлять пошла уже кровью. Дѣтей-же маленькихъ у насъ трое, и Катерина Ивановна въ работѣ съ утра до ночи, скребетъ и моетъ и дѣтей обмываетъ, ибо въ чистотѣ съ измалѣтства привыкла, а съ грудью слабою и

къ чахоткѣ наклонною, и я это чувствую. Развѣ я не чувствую? И чѣмъ болѣе пью, тѣмъ болѣе и чувствую. Для того и пью, что въ питіи семъ состраданія и чувства ищу... Пью, ибо сугубо страдать хочу!"

И онъ, какъ-бы въ отчаяніи, склонилъ на столъ голову.

— „Молодой человѣкъ,—продолжалъ онъ восклоняясь опять,—въ лицѣ вашемъ я читаю какъ-бы нѣкую скорбь. Какъ вошли, я прочелъ ее, а потому тотчасъ-же и обратился къ вамъ. Ибо, сообщая вамъ исторію жизни моей, не на позорище себя выставить хочу передъ сими празднолюбцами, которымъ и безъ того все извѣстно, а чувствительнаго и образованнаго человѣка ищу. Знайте-же, что супруга моя въ благородномъ губерпскомъ дворянскомъ институтѣ воспитывалась, и при выпускѣ съ шалю танцевала при губернаторѣ и при прочихъ лицахъ, за что золотую медаль и похвальный листъ получила. Медаль... ну, медаль-то продали... ужъ давно... гм... похвальный листъ до сихъ поръ у ней въ сундукѣ лежитъ, и еще недавно его хозяйкѣ показывала. И хотя съ хозяйкой у ней наибезпрерывнѣйшіе раздоры, но хотъ передъ бѣмъ-нибудь погордиться захотѣлось и сообщить о счастливыхъ минувшихъ дняхъ. И я не осуждаю, не осуждаю, ибо сіе послѣднее у ней и осталось въ воспоминаніяхъ ея, а прочее все пошло прахомъ! Да, да; дама горячая, гордая и непреклонная. Полъ сама моетъ и на черномъ хлѣбѣ сидитъ, а неуваженія къ себѣ не допустить. Оттого и г. Лебезятникову грубость ея не захотѣла спустить, и когда прибилъ ее за то г. Лебезятниковъ, то не столько отъ побоевъ, сколько отъ чувства въ постель слегла. Вдовой уже взялъ ее, съ тронми дѣтьми, малъ-мала меньше. Вышла замужъ за перваго мужа, за офицера пѣхотнаго, по любви, и съ нимъ бѣжала изъ дому родительскаго. Мужа любила чрезмѣрно, но въ картинки пустился, подъ судъ попалъ, съ тѣмъ и померъ. Бывалъ онъ ее подъ конецъ; а она хотъ и не спускала ему, о чемъ мнѣ доподлинно и по документамъ извѣстно, но до сихъ поръ воспоминаетъ его со слезами и меня имъ коритъ, и я радъ, я радъ, ибо хотя въ воображеніяхъ своихъ зрять себя когда-то счастливой... И осталась она послѣ него съ тремя малолѣтними дѣтьми въ уѣздѣ далекомъ и звѣрскомъ, гдѣ и я тогда находился, и осталась въ такой нищетѣ безнадежной, что я хотя и много видалъ заключеній различныхъ, но даже и описать не въ состояніи. Родные-же всѣ отказались. Да и горда была, черезчуръ горда... И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже вдовецъ, и отъ первой жены четырнадцатилѣтнюю дочь имѣя, руку свою предложилъ, ибо не могъ смотрѣть на такое страданіе. Можете судить потому, до какой степени ея бѣдствія доходили, что она, образованная и воспитанная, и фамиліи извѣстной, за меня согласилась пойти! Но пошла! Плача и рыдая, и руки ломая—пошла! Ибо некуда было идти. Понимаете-ли, понимаете-ли вы, милостивый государь, что значить когда уже некуда больше идти? Нѣтъ! Этого вы еще не понимаете... И цѣлый годъ я обязанность свою исполнялъ благочестиво и свито и не касался сего (онъ ткнулъ пальцемъ въ полуштофъ), ибо чувство имѣю. Но и симъ не могъ угодить; а тутъ мѣста лишился, и тоже не по винѣ, а по измѣненію въ штатахъ, и тогда прикоснулся!.. Полтора года уже будетъ

адъ какъ очутились мы, наконецъ, послѣ странствій и многочисленныхъ дѣствій, въ сей великолѣпной и украшенной многочисленными памятными столицѣ. И здѣсь я мѣсто достала... Достала, и опять потеряла. занимаете-ся? Тутъ уже по собственной винѣ потеряла, ибо черта моя нагупила... Проживаемъ-же теперь въ углу, у хозяйки Амалии Федоровны липпехезель, а чѣмъ живемъ и чѣмъ платимъ, не вѣдаю. Живутъ-же тамъ много и кромѣ насъ... Содомъ-съ, безобразнѣйшій... гм... да... А тѣмъ временемъ возросла и дочка моя, отъ перваго брака, и что только вытерпѣла она, дочка моя, отъ мачихи своей, возрастая, о томъ я умалчиваю. Ибо хотя Катерина Ивановна и исполнена великодушныхъ чувствъ, но дама горячая и раздраженная, и обоветъ... Да-съ! Ну, да нечего вспоминать о томъ! Воспитанія, какъ и представить можете, Соня не получила. Пробовалъ я съ ней, года четыре тому, географію и всемірную исторію проходить, но какъ я самъ въ познаніи семъ былъ не крѣпокъ, да и приличныхъ къ тому руководствъ не имѣлось, ибо какія имѣвшіеся книжки... гм!.. ну, ихъ уже теперь и нѣтъ этихъ книжекъ, то тѣмъ и кончилось все обученіе. На Кирѣ Персидскомъ остановились. Потомъ, уже достигнувъ зрѣлаго возраста, прочла она нѣсколько книгъ содержанія романческаго, да недавно еще, черезъ посредство г. Лебезятникова, одну книжку *Физиологію* Льюиса—изволите знать-съ?—съ большимъ интересомъ прочла, и даже намъ отрывочно вслухъ сообщала; вотъ и все ея просвѣщеніе. Теперь-же обращаюсь къ вамъ, милостивый государь мой, самъ отъ себя съ вопросомъ приватнымъ: много-ли можете, по вашему, бѣдная, но честная дѣвица, честнымъ трудомъ заработать?.. Пятнадцать копѣекъ въ день, сударь, не зарабатаетъ, если честна и не имѣетъ особыхъ талантовъ. А тутъ ребятишки голодные... А тутъ Катерина Ивановна руки ломая по козпнѣ ходитъ, да красныя пятна у ней на щекахъ выступаютъ,—что въ болѣзни этой и всегда бываетъ: „Живешь, дескать, ты, дармоѣдка, у насъ, ѣшь и пьешь, и тепломъ пользуешься“, а что тутъ пьешь и ѣшь, когда и ребятишки-то по три дня корки не видятъ! Лежалъ я тогда... ну, да ужъ что! лежалъ пьяненькой-съ, и слышу, говоритъ моя Соня (безотвѣтная она, и голосокъ у ней такой кроткій... бѣлокуренькая, и личико всегда блѣдненькое, худенькое), говоритъ: „Что-жъ, Катерина Ивановна, неужели-же мнѣ на такое дѣло пойти?“ И вижу я, эдакъ часу въ шестомъ, Сонечка встала, надѣла платочекъ, надѣла бурнусикъ и съ квартиры отправилась, а въ девятомъ часу и назадъ обратно пришла. Пришла, и прямо къ Катеринѣ Ивановнѣ, и на столъ передъ ней тридцать цѣлковыхъ молча выложила. Ни словечка при этомъ не вымолвила, хоть-бы взглянула, а взяла только нашъ большой драдедамовый зеленый платокъ (общій такой у насъ платокъ есть, драдедамовый), накрыла имъ совсѣмъ голову и лицо и легла на кровать, лицомъ къ стѣнкѣ, только плечики, да тѣло все вздрагиваютъ... А я, какъ и давеч въ томъ-же видѣ лежалъ-съ... И видѣлъ я тогда, молодой человѣкъ, а дѣлъ я, какъ затѣмъ Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, дошла къ Сонечкиной постелькѣ и весь вечеръ въ ногахъ у ней на колѣняхъ, ноги ей цѣловала, встать не хотѣла, а потомъ тажъ

и заснули вмѣстѣ, обнявшись... обѣ... обѣ... да-съ... а я... лежалъ пьяненькой-съ...”

Мармеладовъ замолчалъ, какъ будто голосъ у него пресѣлся. Потомъ вдругъ поспѣшно палилъ, вынулъ и крикнулъ.

[Затѣмъ Мармеладовъ разсказалъ, какъ его бывшій пачальникъ простилъ его, принялъ опять на службу, какъ онъ, Мармеладовъ, усердно служилъ нѣсколько времени и за нимъ дома всѣ ухаживали].

— „Милостивый государь, милостивый государь!—воскликнулъ Мармеладовъ, оправившись,—о, государь мой, вамъ можетъ быть все это въ смѣхъ, какъ и прочимъ, и только безпокою я васъ глупостью всѣхъ этихъ мизерныхъ подробностей домашней жизни моей, ну, а мнѣ не въ смѣхъ! Ибо я все это могу чувствовать... И въ продолженіе всего того райскаго дня моей жизни и всего того вечера я и самъ въ мечтаніяхъ летучихъ препровождалъ, и то-есть, какъ я это все устрою, и ребятишекъ одѣну, и ей сподобой дамъ, и дочь мою однородную отъ безчестія въ лоно семьи возвращу... И многое, многое... Позвольте, сударь. Ну-съ, государь ты мой (Мармеладовъ вдругъ какъ будто вздрогнулъ, поднялъ голову и въ упоръ посмотрѣлъ на своего слушателя), ну-съ, а на другой-же день послѣ всѣхъ сихъ мечтаній (то-есть это будетъ ровно пять сутокъ назадъ тому) къ вечеру, я хитрымъ обманомъ, какъ тать въ ночи, похитилъ у Катерины Ивановны отъ сундука ея ключъ, вынулъ что осталось изъ принесеннаго жалованья, сколько всего ужъ не помню, и вотъ-съ, глядите на меня всѣ! Пятый день изъ дома, и тамъ меня ищутъ, и службѣ конецъ, и вицъ-мундиръ въ распушечной у Египетскаго моста лежитъ, взамѣнъ чего и получилъ сіе одѣяніе... и всему конецъ!”

Мармеладовъ стукнулъ себя кулакомъ по лбу, стиснулъ зубы, закрылъ глаза и крѣпко оперся локтемъ на столъ. Но черезъ минуту лицо его вдругъ измѣнилось и съ какимъ-то напускнымъ лукавствомъ и видѣннымъ нахальствомъ взглянулъ на Раскольника, засмѣялся и проговорилъ:

— „А сегодня у Сони былъ, на похмѣлье ходилъ просить! Хе, хе, хе!”—„Неужели дала?”—крикнулъ кто-то со стороны изъ вошедшихъ, крикнулъ и захохоталъ во всю глотку.—„Вотъ этотъ самый полуштофъ-съ на ея деньги и купленъ,—произнесъ Мармеладовъ, исключительно обращаясь къ Раскольникову.—Тридцать копѣекъ вынесла, своими руками, послѣднія, все, что было, самъ видѣлъ... Ничего не сказала, только молча на меня посмотрѣла... Такъ не на землѣ, а тамъ... о людяхъ тоскуютъ, плачутъ, а не укоряютъ, не укоряютъ! а это больнѣй-съ, больнѣй-съ, когда не укоряютъ!.. Тридцать копѣекъ, да-съ. Ну-съ, а я вотъ, кровный-то отецъ, тридцать-то эти копѣекъ и стащилъ себѣ на похмѣлье! И пью-съ! И ужъ пропилю-съ!.. Ну, кто-же такого, какъ я, пожалѣетъ? ась? Жаль вамъ теперь меня, сударь, аль нѣтъ? Говори, сударь, жаль, али нѣтъ? Хе, хе, хе, хе!”

Онъ хотѣлъ было палить, но уже нечего было. Полуштофъ былъ пустой.

— „Да чего тебя жалѣть-то?”—крикнулъ хозяинъ, очутившійся опять подлѣ нихъ.—„Жалѣть! зачѣмъ меня жалѣть!—вдругъ завопилъ Мармела-

довъ, вставая съ протянутою впередъ рукой, въ рѣшительномъ вдохновеніи, какъ будто только и ждалъ этихъ словъ.—Зачѣмъ жалѣть, говоришь ты? Да! меня жалѣть не за что! Меня распять надо, распять на крестѣ, а не жалѣть! Но распни, судія, распни и распянь пожалѣй его! И тогда я самъ къ тебѣ пойду на пропѣтіе, ибо не веселья жажду, а скорби и слезъ!.. Думаешь-ли ты, продавецъ, что этотъ полуштофъ твой мнѣ въ сласть пошелъ? Скорби, скорби искалъ я на днѣ его, скорби и слезъ, и вкусилъ, и обрѣлъ, а пожалѣть насъ Тотъ, Кто всѣхъ пожалѣлъ, и Кто всѣхъ и вся понималъ, Онъ Единный, Онъ и Судія. Придетъ въ тотъ день и спроситъ: „А гдѣ дщерь, что мачихѣ злой и чахоточной, что дѣтямъ чужимъ малолѣтнимъ себя предала? Гдѣ дщерь, что отца своего земнаго, пьяницу непотребнаго, не ужасаясь звѣрства его, пожалѣла? И скажетъ: „Принди! Я уже простилъ тебя разъ... Простилъ тебя разъ. Прощаются-же и теперь грѣхи твои мнози, за то, что возлюбила много...“ И проститъ мою Соню, проститъ, я ужъ знаю, что проститъ... Я это давеча, какъ у ней былъ, въ моемъ сердцѣ почувствовалъ!.. И всѣхъ разсудитъ и проститъ, и добрыхъ и злыхъ, и премудрыхъ и смиренныхъ... И когда уже кончитъ надъ всѣми, тогда возглаголетъ и намъ: „Выходите, скажетъ, и вы! Выходите, пьяненькіе, выходите, слабенькіе, выходите, соромники!“ И мы выйдемъ всѣ, не стыдась, и станемъ. И скажетъ: „Свиньи вы! образа звѣринаго и печати его; но приидите и вы!“ И возглаголятъ премудрые, возглаголятъ разумные: „Господи! почто сихъ приемиши?“ И скажетъ: „Потому ихъ приемию, премудрые, потому приемию, разумные, что ни единый изъ сихъ самъ не считалъ себя достойнымъ сего...“ И простретъ къ намъ руки свои, и мы припадемъ... и заплачемъ... и все поймемъ! Тогда все поймемъ!.. и всѣ поймутъ... и Катерина Ивановна... и она пойметъ... Господи, да придетъ Царствіе Твое! Я не Катерины Ивановны теперь боюсь, — бормоталъ онъ въ волненіи,—и не того, что она мнѣ волосы драть начнетъ. Что волосы!.. вздоръ волосы! Это я говорю! Оно даже и лучше коли драть начнетъ, а я не того боюсь... я... глазъ ея боюсь... да... глазъ... Красныхъ пятенъ на щекахъ тоже боюсь... и еще—ея дыханія боюсь... Видаль ты, какъ въ этой болѣзни дышутъ... при взволнованныхъ чувствахъ? Дѣтскаго плача тоже боюсь... Потому, какъ если Соня не накормила, то... ужъ не знаю что! не знаю! А побоевъ не боюсь... Знай, сударь, что мнѣ таковыя побои не токмо не въ боль, но и въ наслажденіе бываютъ... Ибо безъ сего я и самъ не могу обойтись. Оно лучше. Пусть побьетъ, душу отведетъ... оно лучше... А вотъ и домъ. Козеля домъ. Слесаря, нѣмца богатаго... веди!“

Письмо матери Раскольникова. [Онъ получилъ отъ матери письмо, дышащее любовью. Въ письмѣ рассказывалось, какой цѣной достались Дунѣ, сестрѣ его, тѣ деньги, которыя она зарабатывала для матери и для него. Она поступила гувернанткой въ домъ Свидригайлова. Хозяинъ дома сталъ за ней ухаживать, хозяйка ревновать; по городу разошлись слухи, непріятные для репутаціи Дунѣ. Убѣдившись въ полной невинности Дунѣ, г-жа Свидригайлова поспѣшила опровергнуть тѣ слухи, которые были ею-же распушены. Изъ Дунечки посватался нѣкто Лужинъ, богатый и пожилой человѣкъ].

„Человѣкъ онъ дѣловой и занятый, и спѣшитъ теперь въ Петербургъ, такъ что дорожить каждою минутой. Разумѣется, мы сначала были очень поражены, такъ какъ все это произошло слишкомъ скоро и неожиданно. Соображали и раздумывали мы обѣ вмѣстѣ весь тотъ день. Человѣкъ онъ благонадежный и обеспеченный, служить въ двухъ мѣстахъ и уже имѣетъ свой капиталъ. Правда, ему уже сорокъ пять лѣтъ, но онъ довольно пріятной наружности и еще можетъ нравиться женщинамъ, да и вообще человѣкъ онъ весьма солидный и приличный, немного только угрюмый и какъ-бы высокомерный. Но это, можетъ быть, только такъ кажется, съ перваго взгляда. Да и предупреждаю тебя, милый Родя, когда увидишься съ нимъ въ Петербургѣ, что произойдетъ въ очень скоромъ времени, то не суди слишкомъ быстро и пылко, какъ это и свойственно тебѣ, если на первый взглядъ тебѣ что-нибудь въ немъ не покажется. Говорю это на случай, хотя и увѣрена, что онъ произведетъ на тебя впечатлѣніе пріятное. Да и кромѣ того, чтобъ обознать какого-бы то ни было человѣка, нужно относиться къ нему постепенно и осторожно, чтобы не впасть въ ошибку и предубѣжденіе, которыя весьма трудно послѣ исправить и загладить. А Петръ Петровичъ, по крайней мѣрѣ по многимъ признакамъ, человѣкъ весьма почтенный. Въ первый-же свой визитъ онъ объявилъ намъ, что онъ человѣкъ положительный, но во многомъ раздѣляется, какъ онъ самъ выразился, „убѣжденіи новѣйшихъ поколѣній нашихъ“ и врагъ всѣхъ предрассудковъ. Многое и еще онъ говорилъ, потому что нѣсколько какъ-бы тщеславенъ и очень любитъ, чтобъ его слушали, но вѣдь это почти не порокъ. Я, разумѣется, мало поняла, но Дуня объяснила мнѣ, что онъ человѣкъ хотя и не большого образованія, но умный и, кажется, добрый. Ты знаешь характеръ сестры твоей, Родя. Это дѣвушка твердая, благоразумная, терпѣливая и великодушная, хотя и съ пылкимъ сердцемъ, что я хорошо въ ней изучила. Конечно, ни съ ея, ни съ его стороны особенной любви тутъ нѣтъ, но Дуня, кромѣ того что дѣвушка умная,—въ то же время и существо благородное, какъ ангель, и за долгъ поставить себѣ составить счастье мужа, который въ свою очередь сталъ-бы заботиться о ея счастьѣ, а въ послѣднемъ мы не имѣемъ, пока мѣстъ, большихъ причинъ сомнѣваться, хотя и скоренько, признаться, сдѣлалось дѣло. Къ тому-же, онъ человѣкъ очень расчетливый, и, конечно, самъ увидитъ, что его собственное супружеское счастье будетъ тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ Дунечка будетъ за нимъ счастливѣе. А что тамъ какія-нибудь неровности въ характерѣ, какія-нибудь старыя привычки и даже нѣкоторое несогласіе въ мысляхъ (чего и въ самыхъ счастливыхъ супружествахъ обойти нельзя), то на этотъ счетъ Дунечка сама мнѣ сказала, что она на себя надѣется; что безпокоиться тутъ нечего, и что она многое можетъ перепести, подъ условіемъ если дальнѣйшія отношенія будутъ честныя и справедливыя. Онъ, напримѣръ, и мнѣ показался сначала какъ-бы рѣзкимъ; но вѣдь это можетъ происходить именно оттого, что онъ прямодушный человѣкъ, и непремѣнно такъ. Напримѣръ, при второмъ визитѣ, уже получивъ согласіе, въ разговорѣ онъ выразился, что ужъ и прежде, не зная Дуни, положили взять дѣвушку честную, но безъ приданого, и непремѣнно такую, которую

уже испытала бѣдственное положеніе; потому, какъ объяснилъ онъ, что мужъ ничѣмъ не долженъ быть обязанъ своей женѣ, а гораздо лучше, если жена считаетъ мужа за своего благодѣтеля. Прибавлю, что онъ выразился нѣсколько мягче и ласковѣе, чѣмъ я написала, потому что я забыла настоящее выраженіе, а помню одну только мысль, и кромѣ того, сказалъ онъ это отнюдь не преднамѣренно, а очевидно проговорившись, въ пылу разговора, такъ что даже старался потомъ поправиться и смягчить; но мнѣ все-таки показалось это немного какъ-бы рѣзко, и я сообщила потомъ Дунѣ. Но Дуня даже съ досадой отвѣчала мнѣ, что „слова еще не дѣло“, и это конечно справедливо. Передъ тѣмъ какъ рѣшиться, Дунечка не спала всю ночь, и полагая, что я уже сплю, встала съ постели и всю ночь ходила взадъ и впередъ по комнатѣ; наконецъ стала на колѣни и долго и горячо молилась передъ образомъ, а на утро объявила мнѣ, что она рѣшилась.

А теперь, безцѣнный мой Родя, обнимаю тебя до близкаго свиданія нашего и благословляю тебя материнскимъ благословеніемъ моимъ. Люби Дуню, свою сестру, Родя; люби такъ, какъ она тебя любитъ, и знай, что она тебя безпредѣльно, больше себя самой любитъ. Она ангелъ, а ты, Родя, ты у насъ все, — вся надежда наша и все упованіе. Былъ-бы только ты счастливъ, и мы будемъ счастливы. Молишься-ли ты Богу, Родя, попрежнему и вѣришь-ли ты въ благодѣтельность Творца и Искупителя нашего? Боюсь я, въ сердцѣ своемъ, не посѣтило-ли и тебя повѣйшее модное безвѣріе? Если такъ, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, какъ еще въ дѣтствѣ своемъ, еще при жизни твоего отца, ты лепеталъ молитвы свои у меня на колѣняхъ, и какъ мы всѣ тогда были счастливы! Прощай, или, лучше, *до свиданія!* Обнимаю тебя крѣпко-крѣпко и цѣлую безсчетно.

Твоя до гроба

„Пульхерія Раскольниковъ“.

Раскольниковъ. [Письмо матери его взволновало. Онъ рѣшилъ, что этому браку помѣшаетъ, такъ какъ онъ видѣлъ, что Дуня выходитъ замужъ за богатаго старика только ради него, Раскольниковъ, чтобы дать ему средства къ существованію].

„Но Дуня-то, Дуня? Вѣдь ей человѣкъ-то ясенъ, а вѣдь жить-то съ человѣкомъ. Вѣдь она хлѣбъ черный одинъ будетъ ѣсть, да водой запивать, а ужъ душу свою не продастъ, а ужъ нравственную свободу свою не отдастъ за комфортъ: за весь Шлезвигъ-Голштейнъ не отдастъ, не то что за господина Лужина. Нѣтъ, Дуня не та была, сколько я зналъ, и... ну да ужъ конечно не измѣнилась и теперь!.. Что говорить! Тяжелы Свидригайловы! Тяжело за двѣсти рублей всю жизнь въ гувернанткахъ по губерніямъ шляться, но я все-таки знаю, что сестра моя скорѣе въ негры пойдетъ къ плантатору, или въ латыши къ остзейскому нѣмцу, чѣмъ оподлѣнить духъ свой и нравственное чувство свое связью съ человѣкомъ, котораго не уважаетъ, и съ которымъ ей нечего дѣлать, — на-вѣки, изъ одной своей личной выгоды! И будь даже господинъ Лужинъ весь изъ одного чистѣйшаго золота или изъ цѣльнаго брилліанта, и тогда не согласится стать законною

наложницей господина Лужина! Почему-же теперь соглашается? Въ чемъ-же штука-то? въ чемъ-же разгадка-то? Дѣло ясное: для себя, для комфорта своего, даже для спасенія себя отъ смерти, себя не продастъ, а для другого вотъ и продастъ! Для милаго, для обожаемаго человѣка продастъ! Вотъ въ чемъ вся наша штука-то и состоитъ: за брата, за мать продастъ! все продастъ! О, тутъ мы, при случаѣ, и нравственное чувство наше придавимъ; свободу, спокойствіе, даже совѣсть, все, все на толкучій рынокъ сплесемъ. Пропадай жизнь! только-бы эти возлюбленные существа наши были счастливы. Мало того, свою собственную казуистику выдумаемъ, у іезуитовъ научимся, и на время, пожалуй, и себя самихъ успокоимъ, убѣдимъ себя, что такъ надо, дѣйствительно надо для доброй цѣли. Таковы-то мы и есть, и все ясно какъ день. Ясно, что тутъ никто иной какъ Родіонъ Романовичъ Раскольниковъ въ ходу и на первомъ планѣ стоитъ. Ну какъ-же-съ, счастье его можетъ устроить, въ университетѣ содержать, компаніономъ сдѣлать въ конторѣ, всю судьбу его обезпечить; пожалуй, богачомъ впоследствии будетъ, почетнымъ, уважаемымъ, а можетъ быть даже славнымъ человѣкомъ окончить жизнь! А мать? Да вѣдь тутъ Родя, безцѣнный Родя, первенецъ! Ну какъ для такого первенца хотя-бы и такую дочь не пожертвовать! О, милія и несправедливыя сердца! Да чего: тутъ мы и отъ Сонечкина жребія пожалуй что не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вѣчная Сонечка, пока міръ стоитъ! Жертву-то, жертву-то обѣ вы измѣрили-ли вполне? Такъ-ли? Подъ силу-ли? Въ пользу-ли? Разумно-ли? Знаете-ли вы, Дунечка, что Сонечкинъ жребій ничѣмъ не сквернѣе жребія съ господиномъ Лужинымъ? „Люби тутъ не можетъ быть“, пишетъ мамаша. А что если кромѣ любви-то и уваженія не можетъ быть, а напротивъ, уже есть отвращеніе, презрѣніе, омерзѣніе, что-же тогда? А и выходитъ тогда, что опять стало-быть „чистоту наблюдать“ придется. Не такъ что-ли? Понимаете-ли, понимаете-ли вы, что значить сія чистота? Понимаете-ли вы, что лужинская чистота все равно что и Сонечкина чистота, а можетъ быть даже и хуже, таже, подлѣе, потому что у васъ, Дунечка, все-таки на излишекъ комфорта расчетъ, а тамъ просто за просто о голодной смерти дѣло идетъ! „Дорого, дорого стоитъ, Дунечка, сія чистота!“ Ну, если потомъ не подѣ-силу станетъ, раскаетесь? Скорби-то сколько, грусти, проклятій, слезъ-то, скрываемыхъ ото всѣхъ, сколько, потому что не Мароа-же вы Петровна? А съ матерью что тогда будетъ? Вѣдь она ужъ и теперь неспокойна, мучается, а тогда, когда все ясно увидитъ? А со мной?.. Да что же въ самомъ дѣлѣ обо мнѣ-то подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я живъ, не бывать, не бывать! Не принимаю!“

[Опъ не зналъ, что дѣлать].

Давнымъ-давно, какъ зародилась въ немъ вся эта теперешняя тоска, нарастала, накаплилась, и въ послѣднее время созрѣла и концентрировалась, принявъ форму ужаснаго, дикаго и фантастическаго вопроса, который замучилъ его сердце и умъ, неотразимо требуя разрѣшенія. Теперь же письмо матери вдругъ какъ громомъ въ него ударило. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно, одними разсужденіями, о

томъ что вопросы неразрѣшимы, а непременно что-нибудь сдѣлать, и сейчас же, и поскорѣе. Во что бы то ни стало надо рѣшиться, хоть на что-нибудь, или...

— „Или отказаться отъ жизни совсѣмъ! — вскричалъ онъ вдругъ въ изступленіи, — послушно принять судьбу, какъ она есть, разъ навсегда, и задушить въ себѣ все, отказавшись отъ всякаго права дѣйствовать, жить и любить! Понимаете-ли, понимаете-ли вы, милостивый государь, что значитъ, когда уже некуда больше идти? — вдругъ припомнился ему вчерашній вопросъ Мармеладова, — ибо надо, чтобы всякому человѣку хоть куда-нибудь можно было пойти...“

Вдругъ онъ вздрогнулъ: одна, тоже вчерашняя мысль опять пронеслась въ его головѣ. Но вздрогнулъ онъ не оттого, что пронеслась эта мысль. Онъ вѣдь зналъ, онъ *предчувствовалъ*, что она непременно „пронесется“, и уже ждалъ ея; да и мысль эта была совсѣмъ не вчерашняя. Но разница была въ томъ, что мѣсяцъ назадъ, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь... теперь явилась вдругъ не мечтой, а въ какомъ-то новомъ, грозномъ и совсѣмъ незнакомомъ ему видѣ, и онъ вдругъ самъ созналъ это... Ему стукнуло въ голову, и потемнѣло въ глазахъ.

[Затѣмъ рѣшимость его опять покидала].

Все тѣло его было какъ-бы разбито; смутно и темно на душѣ. Онъ положилъ локти на колѣна и подперъ обѣими руками голову.

— „Боже! — воскликнулъ онъ, — да неужели-жъ, неужели-жъ я въ самомъ дѣлѣ возьму топоръ, стану бить по головѣ, размозжу ей черепъ... буду скользить въ липкой, теплой крови, взламывать замокъ, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... съ топоромъ. Господи, неужели?“

Онъ дрожалъ, какъ листъ, говоря это.

— „Да что же это я! — продолжалъ онъ, восклоняясь опять и какъ-бы въ глубокомъ изумленіи, — вѣдь я зналъ-ли, что я этого не вынесу, такъ чего-жъ я до сихъ поръ себя мучилъ? Вѣдь еще вчера, вчера, когда я пошелъ дѣлать эту... *пробу*, вѣдь я вчера же понялъ совершенно, что не вытерплю... Чего-жъ я теперь-то? Чего-жъ я еще до сихъ поръ сомнѣвался? Вѣдь вчера же, сходя съ лѣстницы, я самъ сказалъ, что это подло, гадео, низко, низко... вѣдь меня отъ одной мысли *на-яву* стошнило и въ ужасъ бросило. Нѣтъ, я не вытерплю, не вытерплю! Пусть, пусть даже нѣтъ никакихъ сомнѣній во всѣхъ этихъ расчетахъ, будь это все, что рѣшено въ этотъ мѣсяцъ, ясно какъ день, справедливо какъ ариметика. Господи! вѣдь я все-же равно не рѣшусь! Я вѣдь не вытерплю, не вытерплю!.. Чего же, чего же и до сихъ поръ...“

Онъ всталъ на ноги, въ удивленіи осмотрѣлся кругомъ, какъ бы дивясь и тому, что зашелъ сюда, и пошелъ на Т—въ мостъ. Онъ былъ блѣденъ, глаза его горѣли, изнеможеніе было во всѣхъ его членахъ, но ему вдругъ стало дышать какъ бы легче. Онъ почувствовалъ, что уже сбросилъ съ себя это страшное бремя, давившее его такъ долго, и на душѣ его стало вдругъ легко и мирно. „Господи! — молилъ онъ, — покажи мнѣ путь мой, а я отрекаюсь отъ этой проклятой... мечты моей!“

[Случайно Раскольниковъ услышалъ, что сожительницы старухи, Лизаветы, не будетъ дома на слѣдующій день въ семь часовъ].

Раскольниковъ тутъ уже прошелъ и не слышалъ больше. Онъ проходилъ тихо, незамѣтно, стараясь не проронить ни единого слова. Первоначальное изумленіе его мало-по-малу смѣнилось ужасомъ, какъ будто морозъ прошелъ по спинѣ его. Онъ узналъ, онъ вдругъ внезапно и совершенно неожиданно узналъ, что завтра, ровно въ семь часовъ вечера, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ея сожительницы, дома не будетъ, и что стало-быть старуха, ровно въ семь часовъ вечера, *останется дома одна*.

До его квартиры оставалось только нѣсколько шаговъ. Онъ вошелъ къ себѣ, какъ приговоренный къ смерти. Ни о чемъ онъ не разсуждалъ и совершенно не могъ разсуждать; но всѣмъ существомъ своимъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ у него болѣе ни свободы разсудка, ни воли, и что все вдругъ рѣшено окончательно.

[Однажды Раскольниковъ] зашелъ въ одинъ плохенькій трактиришко. Онъ спросилъ чаю, сѣлъ и крѣпко задумался. Странная мысль наклеивалась въ его головѣ, какъ изъ яйца цыпленокъ, и очень, очень занимала его.

Почти рядомъ съ нимъ на другомъ столикѣ сидѣлъ студентъ, котораго онъ совсѣмъ не зналъ и не помнилъ, и молодой офицеръ. Они сыграли на билліардѣ и стали пить чай. Вдругъ онъ услышалъ, что студентъ говорить офицеру про процентщицу, Алену Ивановну, коллежскую секретаршу, и сообщаетъ ему ея адресъ. Это уже одно показалось Раскольникову какъ-то страннымъ: онъ сейчасъ оттуда, а тутъ какъ-разъ про нее же. Конечно случайность, но онъ вотъ не можетъ отвязаться теперь отъ одного весьма необыкновеннаго впечатлѣнія, а тутъ какъ-разъ ему какъ-будто кто-то подслуживается: студентъ вдругъ начинаетъ сообщать товарищу объ этой Аленѣ Ивановнѣ разныя подробности.

— „Славная она,—говорилъ онъ,—у ней всегда можно денегъ достать. Богата какъ жидъ, можетъ сразу пять тысячъ выдать, а и рублевымъ закладомъ не брезгаетъ. Нашихъ много у ней перебывало. Только стерва ужасная...“

И онъ сталъ разсказывать какая она злая, капризная, что стоитъ только однимъ днемъ просрочить закладъ, и пропала вещь. Даетъ вчетверо меньше, чѣмъ стоитъ вещь, а процентовъ по пяти и даже по семи беретъ въ мѣсяцъ и т. д. Студентъ разболтался и сообщилъ, кромѣ того, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьетъ поминутно и держитъ въ совершенномъ порабощеніи какъ маленькаго ребенка, тогда какъ Лизавета, по крайней мѣрѣ, восьми вершковъ росту...

— „Вотъ вѣдь тоже феноменъ!“ — вскричалъ студентъ и захохоталъ.

Они стали говорить о Лизаветѣ. Студентъ разсказывалъ о ней съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ и все смѣялся, а офицеръ съ большимъ интересомъ слушалъ и просилъ студента прислать эту Лизавету для починки бѣлья. Раскольниковъ не проронилъ ни одного слова и заразъ все узналъ. Лизавета была младшая, сводная (отъ разныхъ матерей) сестра старухи, и

было ей уже тридцать пять лѣтъ. Она работала на сестру день и ночь, была въ домѣ вмѣсто кухарки и прачки, и кромѣ того шла на продажу, даже полы мыть нанималась, и все сестрѣ отдавала. Никакого заказа и никакой работы не смѣла взять на себя безъ позволенія старухи. Старуха же уже сдѣлала свое завѣщаніе, что извѣстно было самой Лизаветѣ, которой по завѣщанію не доставалось ни гроша, кромѣ движимости, стульевъ и прочаго; деньги же всѣ назначались въ одинъ монастырь въ Н—ской губерніи, на вѣчный поминъ души.

— „Нѣтъ, вотъ что я тебѣ скажу. Я бы эту проклятую старуху убилъ и ограбилъ, и увѣряю тебя, что безъ всякаго зазору совѣсти“,—съ жаромъ прибавилъ студентъ.

Офицеръ опять захохоталъ, а Раскольниковъ вздрогнулъ. Какъ это было странно!

— „Позволь, я тебѣ серьезный вопросъ задать хочу, — загорячился студентъ. — Я сейчасъ, конечно, пошутилъ, но смотри: съ одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная, а напротивъ, всѣмъ вредная, которая сама не знаетъ, для чего живетъ, и которая завтра же сама собой умретъ. Понимаешь? Понимаешь?“ — „Ну, понимаю“ — отвѣчалъ офицеръ, внимательно уставясь въ горячившагося товарища. — „Слушай дальше. Съ другой стороны, молодая, свѣжія сила, пропадающая даромъ безъ поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрыхъ дѣлъ и начинаній, которыя можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченныя въ монастырь! Сотни, тысячи, можетъ быть, существованій, направленныхъ на дорогу; десятки семействъ спасенныхъ отъ нищеты, отъ разложенія, отъ гибели, отъ разврата, отъ венерическихкихъ больницъ, — и все это на ея деньги. Убей ее и возьми ея деньги, съ тѣмъ чтобы съ ихъ помощью посвятить потомъ себя на служеніе всему человѣчеству и общему дѣлу; какъ ты думаешь, не загладится ли одно, крошечное преступленье тысячами добрыхъ дѣлъ? За одну жизнь — тысячи жизней, спасенныхъ отъ гніенія и разложенія. Одна смерть и сто жизней взаимны, — да вѣдь тутъ ариметика! Да и что значить на общихъ вѣсахъ жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не болѣе какъ жизнь вши, таракана, да и того не стоитъ, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заѣдаетъ: она зла; она намеренно Лизаветѣ палецъ со зла укусила; чуть-чуть не отрѣзали!“ — „Конечно, она недостойна жить, — замѣтилъ офицеръ, — но вѣдь тутъ природа“. — „Эхъ, братъ, да вѣдь природу поправляютъ и направляютъ, а безъ этого пришлось бы потонуть въ предрасудкахъ. Безъ этого ни одного бы великаго человѣка не было. Говорятъ: „долгъ, совѣсть“, — я ничего не хочу говорить противъ долга и совѣсти, — но вѣдь какъ мы ихъ понимаемъ? Стой, я тебѣ еще задамъ одинъ вопросъ. Слушай!“ — „Нѣтъ, ты стой; я тебѣ задамъ вопросъ. Слушай!“ — „Ну!“ — „Вотъ ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мнѣ: убьешь ты самъ старуху, или нѣтъ?“ — „Разумѣется, нѣтъ! Я для справедливости... Не во мнѣ тутъ и дѣло...“ — „А по-моему, коль ты самъ не рѣшася, такъ нѣтъ тутъ никакой и справедливости! Пойдемъ еще партію!“

Раскольниковъ былъ въ чрезвычайномъ волненіи. Конечно, все это были самыя обыкновенныя и самыя частыя, по разъ уже слышанныя имъ, въ другихъ только формахъ и на другія темы, молодые разговоры и мысли. Но почему именно теперь пришлось ему выслушать именно такой разговоръ и такія мысли, когда въ собственной головѣ его только-что зародились... *такія же точно мысли?* И почему именно сейчасъ, какъ только онъ вынесъ зародыши своей мысли отъ старухи, какъ-разъ и попадаетъ онъ на разговоръ о старухѣ?.. Станнымъ всегда казалось ему это совпаденіе. Этотъ ничтожный, трактирный разговоръ имѣлъ чрезвычайное на него вліяніе при дальнѣйшемъ развитіи дѣла: какъ будто дѣйствительно было тутъ какое-то предопредѣленіе, указаніе...

[Раскольниковъ убилъ старуху, убилъ и Лизавету, которая вернулась раньше времени домой, взявъ нѣсколько золотыхъ вещей и ушелъ изъ квартиры убитой].

Такъ пролежалъ онъ очень долго. Случалось, что онъ какъ будто и проспался, и въ эти минуты замѣчалъ, что уже давно ночь, а встать ему не приходило въ голову. Наконецъ онъ замѣтилъ, что уже свѣтло по-днвному. Онъ лежалъ на диванѣ навзничъ, еще остолебѣлый отъ недавняго забытья. До него рѣзко доносились страшныя, отчаянныя вопли съ улицы, которые впрочемъ онъ каждую ночь выслушивалъ подъ своимъ окномъ въ третьемъ часу. Они-то и разбудили его теперь:—„А! вотъ ужъ и изъ расшивочныхъ шляпныя выходятъ,—подумалъ онъ,—третій часъ,—и вдругъ вскочилъ, точно его сорвалъ кто съ дивана. — Какъ! третій уже часъ!“—Онъ сѣлъ на диванъ—и тутъ все припомнилъ! Вдругъ, въ одинъ мигъ все припомнилъ!

Въ первое мгновеніе онъ думалъ, что съ ума сойдетъ. Страшный холодъ обхватилъ его; но холодъ былъ и отъ лихорадки, которая уже давно началась съ нимъ во снѣ. Теперь же вдругъ ударилъ такой ознобъ, что чуть зубы не выпрыгнули и все въ немъ такъ и заходило. Онъ отворилъ дверь и началъ слушать: въ домѣ все совершенно спало. Съ изумленіемъ оглядывалъ онъ себя и все кругомъ въ комнатѣ и не понималъ: какъ это онъ могъ вчера, войдя, не запереть дверей на крючокъ и броситься на диванъ не только не раздѣвшись, но даже въ шляпѣ: она скатилась и тутъ же лежала на полу, близъ подушки.—„Если бы кто зашелъ, что бы онъ подумалъ? Что я пьянъ? но...“ Онъ бросился къ окошку. Свѣту было довольно, и онъ поскорѣй сталъ себя оглядывать, всего, съ ногъ до головы, все свое платье, нѣтъ ли слѣдовъ? Но такъ нельзя было, дрожа отъ озноба, сталъ онъ снимать съ себя все и опять осматривать кругомъ. Онъ перевертѣлъ все, до послѣдней нитки, до послѣдняго лоскутка и, не довѣряя себѣ, повторилъ осмотръ раза три. Но не было ничего, кажется, никакихъ слѣдовъ; только на томъ мѣстѣ, гдѣ панталоны внизу осѣклись и висѣли бахромой, на бахромѣ этой оставались густыя слѣды запекшейся крови. Онъ схватилъ свой складной большой ножикъ и обрѣзалъ бахрому. Больше, кажется, ничего не было. Вдругъ онъ вспомнилъ, что кошелекъ и вещи, которыя онъ вытащилъ у старухи изъ сундука, всѣ, до сихъ поръ, у него по карманамъ лежатъ!

Онъ и не подумалъ до сихъ поръ ихъ вынуть и спрятать! Не вспомнилъ о нихъ даже теперь, какъ платье осматривалъ! Что-жъ это? Мигомъ бросился онъ ихъ **вынимать** и выбрасывать на столъ. Выбравъ все, даже выворотивъ карманы, чтобъ **удостовериться**, не остается ли еще чего, онъ всю эту кучу перенесъ въ уголъ. Тамъ, въ **самомъ** углу, внизу, въ одномъ мѣстѣ были разодраны отставшіе отъ стѣны обои: **тотчасъ-же** началъ онъ все запихивать въ эту дыру, подъ бумагу. „Вошло! Все съ **глазъ** долой и кошелекъ тоже!“— радостно думалъ онъ, привставъ и тупо смотря въ **уголъ**, въ оттопырившуюся еще больше дыру. Вдругъ онъ весь вздрогнулъ отъ **ужаса**:— „Боже мой,— шепталъ онъ въ отчаяніи, — что со мной? Развѣ это спрятано? развѣ такъ прячутъ?“

Правда, онъ и не рассчитывалъ на вещи; онъ думалъ, что будутъ **одни** только деньги, а потому и не приготовилъ заранѣе мѣста,— „но теперь-то, теперь чему я радъ?—думалъ онъ.—Развѣ такъ прячутъ? Подлинно разумъ меня оставляетъ!“ Въ изнеможеніи сѣлъ онъ на диванъ, и тотчасъ-же нестерпимый ознобъ снова затрясъ его. Машинально потащилъ онъ лежавшее подлѣ, на стулѣ, бывшее его студенческое зимнее пальто, теплое, но уже почти въ лохмотьяхъ, накрывъ имъ, и сонъ и бредъ опять разомъ охватили его. Онъ забылся.

Не болѣе какъ минутъ черезъ пять вскочилъ онъ снова, и тотчасъ-же, въ изступленіи, опять кинулся къ своему платью.— „Какъ это могъ я опять заснуть, тогда какъ ничего не сдѣлано! такъ и есть, такъ и есть: петлю подъ мышкой до сихъ поръ не снялъ! Забылъ, объ такомъ дѣлѣ забыть! Такая улика.—Онъ сдернулъ петлю и поскорѣй сталъ разрывать ее въ куски, запихивая ихъ подъ подушку въ бѣлье.—Куски рваной холстины ни въ какомъ случаѣ не возбуждаютъ подозрѣнія; кажется такъ, кажется такъ!—повторилъ онъ, стоя среди комнаты, и съ напряженнымъ до боли вниманіемъ сталъ опять высматривать кругомъ, на полу и вездѣ, не забылъ-ли еще чего-нибудь? Увѣренность, что все, даже память, даже простое соображеніе оставляютъ его, начинала нестерпимо его мучить. — Что, неужели ужъ начинается, неужели это ужъ казнь наступаетъ? Вонъ, вонъ, такъ и есть! Дѣйствительно, обрѣзки бахромы, которую онъ срѣзалъ съ панталонъ, такъ и валялись на полу, среди комнаты, чтобы первый увидѣлъ!—Да что же это со мною!“— вскричалъ онъ опять какъ потерянный.

Тутъ пришла ему въ голову странная мысль, что можетъ быть и все его платье въ крови, что можетъ быть много пятенъ, но что онъ ихъ только не видитъ, не замѣчаетъ, потому что соображеніе его ослабѣло, раздроблено... умъ помраченъ... Вдругъ онъ вспомнилъ, что и на кошелькѣ была кровь.— „Ба, такъ стало быть и въ карманѣ тоже должна быть кровь, потому что я еще мокрый кошелекъ тогда въ карманъ сунулъ!—Мигомъ выворотилъ онъ карманъ и—такъ и есть—на подкладкѣ кармана есть слѣды, пятна!—Стало быть не оставилъ же еще совсѣмъ разумъ, стало быть есть же соображеніе и память, коли самъ спохватился и догадался!—подумалъ онъ съ торжествомъ, глубоко и радостно вздохнувъ всею грудью,—просто слабосиліе лихорадочное, бредъ на минуту“,—и онъ вырвалъ всю подкладку изъ

лѣваго кармана панталонъ. Въ эту минуту лучъ солнца освѣтилъ его лѣвый сапогъ: на носкѣ, который выглядывалъ изъ сапога, какъ будто показались знаки. Онъ сбросилъ сапогъ—дѣйствительно знаки! весь кончикъ носка пропитанъ кровью; должно быть онъ въ ту лужу неосторожно тогда ступилъ... „Но что же теперь съ этимъ дѣлать? Куда дѣвать этотъ носокъ, бахрому, карманъ?“

Онъ сгребъ все это въ руку и стоялъ среди комнаты.—„Въ печку? Но въ печкѣ прежде всего начнутъ рыться. Сжечь? да и чѣмъ сжечь? спичекъ даже нѣтъ. Нѣтъ, лучше выдти куда-нибудь и все выбросить. Да! лучше выбросить! — повторялъ онъ, опять садясь на диванъ,—и сейчасъ, сию минуту, не медля!..“ Но вмѣсто того, голова его опять склонялась на подушку; опять оледенилъ его нестерпимый ознобъ; опять онъ потащилъ на себя шинель. И долго, нѣсколько часовъ ему все еще мерещилось порывами, что „вотъ бы сейчасъ, не откладывая, пойти куда-нибудь и все выбросить, чтобъ ужъ съ глазъ долой, поскорѣй, поскорѣй!“ Онъ порывался съ дивана нѣсколько разъ, хотѣлъ было встать, но уже не могъ. Окончательно разбудилъ его сильный стукъ въ двери.

[Прислуга принесла ему повѣстку съ приглашеніемъ явиться въ участокъ. Это его поразило].

Тотчасъ же бросился онъ къ свѣту осматривать носокъ и бахрому.—„Пятна есть, но не совсѣмъ примѣтно; все загрязнилось, затерлось и уже выпѣкло. Кто не знаетъ заранѣе — ничего не разглядитъ. Настасья, стало быть, ничего издали не могла примѣтить, слава Богу!“ Тогда съ трепетомъ распечаталъ онъ повѣстку и сталъ читать; долго, долго читалъ онъ и наконецъ-то понялъ. Это была обыкновенная повѣстка изъ квартала явиться на сегодняшний день, въ половинѣ десятаго, въ контору квартального надзирателя.

„Да когда-жъ это бывало? Никакихъ я дѣлъ самъ по себѣ не имѣю съ полиціей! И почему какъ разъ сегодня?—думалъ онъ въ мучительномъ недоумѣніи, — Господи, поскорѣй бы ужъ! — Онъ было бросился на колѣни молиться, но даже самъ разсмѣялся, — не надъ молитвой, а надъ собой. Онъ поспѣшно сталъ одѣваться.—Пронаду такъ пронаду, все равно! Носокъ надѣть!“—вздумалось вдругъ ему.

Контора была отъ него съ четверть версты. Она только-что переѣхала на новую квартиру, въ новый домъ, въ четвертый этажъ. На прежней квартирѣ онъ былъ когда-то мелькомъ, но очень давно. Войдя подъ ворота, онъ увидѣлъ направо лѣстницу, по которой сходилъ мужикъ съ книжкой въ рукахъ:—„дворникъ, значитъ; значитъ тутъ и есть контора“, и онъ сталъ подниматься наверхъ наугадъ. Спрашивать ни у кого ни объ чемъ не хотѣлъ.

„Войду, стану на колѣна и все расскажу...“—подумалъ онъ, входя въ четвертый этажъ.

[Онъ совершенно недоумѣвалъ, зачѣмъ его позвали въ участокъ; мысль, что онъ приглашенъ по дѣлу объ убійствѣ, его мучила].

Онъ перевелъ духъ свободнѣе. — „Навѣрно не то!“ Мало-по-малу онъ

галь ободряться, онъ усовѣщевалъ себя всѣми силами ободриться и оптимизироваться.

„Какая-нибудь глупость, какая-нибудь самая мелкая неосторожность, и я могу всего себя выдать! Гм... жаль, что здѣсь воздуха нѣтъ,—прибавилъ онъ,—духота... Голова еще больше кружится... и умъ тоже...“

Онъ чувствовалъ во всемъ себѣ страшный безпорядокъ. Онъ самъ боялся не совладѣть съ собой. Онъ старался прицѣпиться къ чему-нибудь и о чемъ-бы-нибудь думать, о совершенно постороннемъ, но это совсѣмъ не удавалось.

[Когда Раскольниковъ узналъ, что его позвали вслѣдствіе того, что предъявленъ былъ его вексель ко взиманію, онъ успокоился и даже заговорилъ о себѣ въ непривычномъ жалобномъ тонѣ].

— „Да помилуйте, капитанъ,—началъ онъ весьма развязно, обращаясь вдругъ къ Никодиму Фомичу, —вникните и въ мое положеніе... Я готовъ даже просить у нихъ извиненія, если въ чемъ съ своей стороны манкировалъ. Я бѣдный и больной студентъ, удрученный (онъ такъ и сказалъ: „удрученный“) бѣдностью. Я бывший студентъ, потому что теперь не могу содержать себя, но я получаю деньги... У меня мать и сестра въ—й губерніи... Миѣ пришлютъ и я... заплачу. Хозяйка моя добрая женщина, но она до того озлилась, что я уроки потерялъ и не плачу уже четвертый мѣсяцъ, что не прислаетъ миѣ даже обѣдать... И не понимаю совершенно, какой это вексель! Теперь она съ меня требуетъ по заемному этому письму, что-жъ я ей заплачу, посудите сами!.. Позвольте и миѣ съ своей стороны разъяснить, что я живу у ней уже около трехъ лѣтъ, съ самаго пріѣзда изъ провинціи и прежде... прежде... впрочемъ отчего-жъ миѣ и не признаться въ свою очередь, съ самаго начала я далъ обѣщаніе, что женюсь на ея дочери, обѣщаніе словесное, совершенно свободное... Это была дѣвушка... впрочемъ, она миѣ даже нравилась... хоть я и не былъ влюбленъ... однимъ словомъ молодость, т.-е. я хочу сказать, что хозяйка миѣ дѣлала тогда много кредиту и я велъ отчасти такую жизнь... я очень былъ легкомысленъ... Но позвольте, позвольте же миѣ, отчасти, все рассказать... какъ было дѣло и... въ свою очередь... хотя это и лишнее, согласенъ съ вами, рассказывать,—но годъ назадъ эта дѣвица умерла отъ тифа, я же остался жильцомъ, какъ былъ, и хозяйка, какъ переѣхала на теперешнюю квартиру, сказала миѣ... и сказала дружески... что она совершенно во миѣ увѣрена и все... но что захочу ли я дать ей это заемное письмо въ сто пятнадцать рублей всего, что она считала за мной долгу. Позвольте-съ, она именно сказала, что какъ только я дамъ эту бумагу, она опять будетъ меня кредитовать, сколько угодно, и что никогда, никогда, въ свою очередь—это ея собственныя слова были,—она не воспользуется этой бумагой, покаместъ я самъ заплачу... вотъ теперь, когда я и уроки потерялъ, и миѣ ѣсть нечего, она и подавно ко взиманію... Что-жъ я теперь скажу?“

Раскольникову показалось, что письмоводитель сталъ съ нимъ небрежнѣе и презрительнѣе послѣ его исповѣди,—но странное дѣло,—ему вдругъ стало самому рѣшительно все равно до чьего-бы то ни было мнѣнія, и г

мѣна эта произошла какъ-то въ одинъ мигъ, въ одну минуту. Еслибъ онъ захотѣлъ подумать немного, то, конечно, удивился бы тому, какъ могъ онъ такъ говорить съ ними, минуту назадъ, и даже навязываться съ своими чувствами? и откуда взились эти чувства? Напротивъ теперь, еслибы вдругъ комната наполнилась не квартальными, а первѣйшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для нихъ у него ни одного челоѣческаго слова, до того вдругъ опустѣло его сердце. Мрачное ощущеніе мучительнаго, безконечнаго уединенія и отчужденія вдругъ сознательно сказалось душѣ его. Не низость его сердечныхъ изліаній передъ Ильей Петровичемъ, не низость и поручикова торжества надъ нимъ перевернули вдругъ такъ ему сердце. О, какое ему дѣло теперь до собственной подлости, до всѣхъ этихъ амбіцій, поручиковъ, нѣмокъ, взысканій, конторъ и проч. и проч.! Еслибъ его приговорили даже съечь въ эту минуту, то и тогда онъ не шевельнулся бы, даже врядъ ли прослушалъ бы приговоръ внимательно. Съ нимъ совершалось что-то совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда небывалое. Не то чтобъ онъ понималъ, но онъ ясно ощущалъ, всею силой ощущенія, что не только съ чувствительными экспансивностями, какъ давеча, но даже съ чѣмъ бы то ни было, ему уже нельзя болѣе обращаться къ этимъ людямъ, въ квартальной конторѣ, и будь это все его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачѣмъ было бы обращаться къ нимъ и даже ни въ какомъ случаѣ жизни; онъ никогда еще до сей минуты не испытывалъ подобнаго страннаго ужаснаго ощущенія. И что всего мучительнѣе — это было болѣе ощущеніе, чѣмъ сознаніе, чѣмъ понятіе; непосредственное ощущеніе, мучительнѣйшее ощущеніе изъ всѣхъ до сихъ поръ жизнью пережитыхъ имъ ощущеній.

Письмоводитель сталъ диктовать ему форму обыкновеннаго въ такомъ случаѣ отзыва, то-есть заплатить не могу, общаюсь тогда-то (когда-нибудь), изъ города не выѣду, имущество ни продавать, ни дарить не буду и проч.

Раскольниковъ отдалъ перо, но вмѣсто того чтобъ встать и уйти, положилъ оба локтя на столъ и стиснулъ руками голову. Точно гвоздь ему вбивали въ темя. Странная мысль пришла ему вдругъ, встать сейчасъ, подойти къ Никодиму Семичу и рассказать ему все вчерашнее, все до послѣдней подробности, затѣмъ пойти вмѣстѣ съ ними на квартиру и указать имъ вещи, въ углу, въ дырѣ. Позывъ былъ до того силенъ, что онъ уже всталъ съ мѣста, для исполненія. — „Не обдумать ли хоть одну минуту? — пронеслось въ его головѣ. — Идѣтъ, лучше и не думая, и съ плечъ долой!“ — Но вдругъ онъ остановился какъ вкопанный.

[Присутствующіе заговорили о томъ, что задержано нѣсколько челоѣкъ, подозрѣваемыхъ въ убійствѣ старухи. Раскольникову стало казаться, что и его подозрѣваютъ. Опасаясь, что у него сдѣлаютъ обыскъ, Раскольниковъ всѣ взятія у старухи вещи закопалъ на одномъ дворѣ].

Тогда онъ вышелъ и направился къ площади. Опять сильная, едва выносимая радость, какъ давеча въ конторѣ, овладѣла имъ на мгновеніе. „Скоронены концы! И кому, кому въ голову можетъ придти искать подѣ

этимъ камнемъ? Онъ тутъ, можетъ быть, съ построения дома лежить и еще столько же пролежить. А хоть бы и нашли: Кто на меня подумаетъ? Все кончено! нѣтъ уликъ!“—и онъ засмѣялся. Да, онъ помнилъ потомъ, что онъ засмѣялся нервнымъ, мелкимъ, неслышнымъ, долгимъ смѣхомъ, и все смѣялся, все время какъ проходилъ черезъ площадь. Но когда онъ ступилъ на К—й бульваръ, гдѣ третьягодня повстрѣчался съ тою дѣвочкой, смѣхъ его вдругъ прошелъ. Другія мысли полѣзли ему въ голову. Показалось ему вдругъ тоже, что ужасно ему теперь отвратительно проходить мимо той скамейки, на которой онъ тогда, по уходѣ дѣвочки, сидѣлъ и раздумывалъ, и ужасно тоже будетъ тяжело встрѣтить опять того усача, которому онъ тогда далъ двугривенный: „Чортъ его возьми!“

Онъ шелъ, смотря кругомъ разсѣянно и злобно. Всѣ мысли его кружились теперь около одного какого-то главнаго пункта,—и онъ самъ чувствовалъ, что это дѣйствительно такой главный пунктъ и есть, и что теперь, именно теперь, онъ остался одинъ-на-одинъ съ этимъ главнымъ пунктомъ,—и что это даже въ первый разъ послѣ этихъ двухъ мѣсяцевъ.

„А чортъ возьми это все!—подумалъ онъ вдругъ въ припадкѣ неистощимой злобы. — Ну началось, такъ и началось, чортъ съ ней и съ новою жизнью! Какъ это, Господи, глупо!.. А сколько я напалъ и наподличалъ сегодня! Какъ мерзко лебезилъ и заигрывалъ давеча съ сквернѣйшимъ Ильей Петровичемъ! А, впрочемъ, вздоръ и это! Наплевать мнѣ на нихъ на всѣхъ, да и на то, что я лебезилъ и заигрывалъ! Совсѣмъ не то! Совсѣмъ не то!..“

Вдругъ онъ остановился; новый, совершенно неожиданный и чрезвычайный простой вопросъ разомъ сбилъ его съ толку и горько его изумилъ.

„Если дѣйствительно все это дѣло сдѣлано было сознательно, а не по-дурачки, если у тебя дѣйствительно была опредѣленная и твердая цѣль, то какимъ же образомъ ты до сихъ поръ даже и не заглянулъ въ кошелекъ и не знаешь, что тебѣ досталось, изъ-за чего всѣ муки принялъ и на такое подлое, гадкое, низкое дѣло сознательно шелъ? Да вѣдь ты въ воду его хотѣлъ сейчасъ бросить, кошелекъ-то, вмѣстѣ со всѣми вещами, которыхъ ты тоже еще не видалъ... Это какъ же?“

Да, это такъ, это все такъ. Онъ, впрочемъ, это и прежде зналъ, и совсѣмъ это не новый вопросъ для него; и когда ночью рѣшено было въ воду кинуть, то рѣшено было безо всякаго колебанія и возраженія, а такъ, какъ будто такъ тому и слѣдуетъ быть, какъ будто иначе и быть невозможно... Да, онъ это все зналъ и все помнилъ; да чутъ ли это уже вчера не было такъ рѣшено, въ ту самую минуту, когда онъ надъ сундукомъ сидѣлъ и футляры изъ него таскалъ... А вѣдь такъ!..

„Это оттого, что я очень боленъ, — угрюмо рѣшилъ онъ наконецъ,—я самъ измучилъ и истерзалъ себя, и самъ не знаю, что дѣлаю... И вчера, и третьягодня, и все это время терзалъ себя... Выздоровлю и... не буду терзать себя... А ну какъ совсѣмъ и не выздоровлю? Господи! какъ это мнѣ все надоѣло!..“ Онъ шелъ не останавливаясь. Ему ужасно хотѣлось какъ-нибудь разсѣяться, но онъ не зналъ что сдѣлать и что предпринять. Одно

новое, непреодолимое ощущение овладало имъ все болѣе и болѣе почти съ каждой минутой; это было какое-то безконечное, почти физическое отвращеніе ко всему встрѣчавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были всѣ встрѣчные, — гадки были даже ихъ лица, походка, движенія. Просто наплевалъ бы на кого-нибудь, укусилъ бы, кажется, еслибы кто-нибудь съ нимъ заговорилъ...

[Измученный вернулся Раскольниковъ домой и легъ спать—онъ былъ въ жару и бредилъ].

Онъ очнулся въ полныя сумерки отъ ужаснаго крика. Боже, что это за крикъ! Такихъ неестественныхъ звуковъ воя, вопля, скрежета, слезъ, побой и ругательствъ онъ никогда еще не слыхивалъ и не видывалъ. Онъ и вообразить не могъ себѣ такого звѣрства и такого изступленія. Въ ужасѣ приподнялся онъ и сѣлъ на своей постели, каждое мгновеніе замирая и мучаясь. Но драки, вопли и ругательства становились все сильнѣе и сильнѣе. И вотъ, къ величайшему изумленію, онъ вдругъ слышалъ голосъ своей хозяйки. Она выла, визжала и причитала, спѣша, торопясь, выпуская слова такъ, что и разобрать пельзы было, о чемъ-то умолая,—конечно о томъ, чтобъ ее перестали бить, потому что ее безпощадно били на лѣстницѣ. Голосъ бившаго сталъ до того ужасенъ отъ злобы и бѣшенства, что ужъ только хрипѣлъ, но все-таки и бившій тоже что-то такое говорилъ, и тоже скоро, неразборчиво, торопясь и захлебываясь. Вдругъ Раскольниковъ затрепеталъ какъ листъ: онъ узналъ этотъ голосъ; это былъ голосъ Ильи Петровича. Илья Петровичъ здѣсь и бьетъ хозяйку! Онъ бьетъ ее ногами, колотитъ ее головою о ступени,—это ясно, это слышно по звукамъ, по воплямъ, по ударамъ! Что это свѣтъ перевернулся что ли? Слышно было, какъ во всѣхъ этажахъ, по лѣстницѣ собиралась толпа, слышались голоса, восклицанія, всходили, стучали, хлопали дверями, сбѣгались. „Но за что же, за что же, и какъ это можно!—повторялъ онъ, серьезно думая, что онъ совсѣмъ помѣшался. Но нѣтъ, онъ слишкомъ ясно слышитъ!.. Но, стало быть, и къ нему сейчасъ придутъ, если такъ, „потому что... вѣрно все это изъ того же... изъ-за вчерашняго... Господи!“ Онъ хотѣлъ было запереться на крючокъ, но рука не поднялась... да и бесполезно! Страхъ какъ ледъ обложилъ его душу, замучилъ его, окоченилъ его... Но вотъ наконецъ весь этотъ гамъ, продолжавшійся вѣрныхъ десять минутъ, сталъ постепенно утихать. Хозяйка стопала и охала, Илья Петровичъ все еще грозилъ и ругался... Но вотъ, наконецъ, кажется и онъ затихъ; вотъ ужъ и не слышно его; „неужели ушелъ! Господи!“ Да, вотъ уходитъ и хозяйка, все еще со стономъ и плачемъ... вотъ и дверь у ней захлопнулась... Вотъ и толпа расходится съ лѣстницъ по квартирамъ,—ахаютъ, спорятъ, перекликаются, то возвышая рѣчь до крику, то понижая до шопоту. Должно быть ихъ много было; чуть ли не весь домъ сбѣжался. „Но, Боже, развѣ все это возможно! И зачѣмъ, зачѣмъ онъ приходилъ сюда!“

Раскольниковъ въ безсиліи упалъ на диванъ, но уже не могъ сомкнуть глазъ; онъ пролежалъ такъ съ полчаса, въ такомъ страданіи, въ такомъ нестерпимомъ ощущеніи безграничнаго ужаса, какого никогда еще не испы-

тиваль. Вдругъ яркій свѣтъ озарилъ его комнату: вошла Настасья со свѣчкой и съ тарелкой супа. Посмотрѣвъ на него внимательно и разглядѣвъ, что онъ не спитъ, она поставила свѣчку на столъ и начала раскладывать принесенное: хлѣбъ, соль, тарелку, ложку.

— „Небось со вчерашняго дня не ѣлъ. Цѣлый-то день промаялся, а самого лихоманка бьетъ“. — „Настасья... за что били хозяйку?“

Она пристально на него посмотрѣла.

— „Кто билъ хозяйку?“ — „Сейчасъ... полчаса назадъ, Илья Петровичъ, надзирателя помощникъ, на лѣстницѣ... За что онъ такъ ее избилъ? и... зачѣмъ приходилъ?..“

Настасья молча и нахмурившись его разсматривала и долго такъ смотрѣла. Ему очень непріятно стало отъ этого разсматриванія, даже страшно.

— „Настасья, что-жъ ты молчишь?“ — робко проговорилъ онъ, наконецъ, слабымъ голосомъ. — „Это кровь“, — отвѣчала она, наконецъ, тихо и какъ будто про себя говоря. — „Кровь!.. какая кровь?“.. — бормоталъ онъ, блѣднѣя и отодвигаясь къ стѣнѣ. Настасья продолжала молча смотрѣть на него. — „Никто хозяйку не билъ“, — проговорила она опять строгимъ и рѣшительнымъ голосомъ. Онъ смотрѣлъ на нее едва дыша. — „Я самъ слышалъ... я не спалъ... я сидѣлъ, — еще робче проговорилъ онъ. — Я долго слушалъ... Приходилъ надзирателя помощникъ... На лѣстницу всѣ сбѣжались, изъ всѣхъ квартиръ...“ — „Никто не приходилъ. А это кровь въ тебѣ кричитъ. Это когда ей выходу нѣтъ и ужъ печенками запекаться начнетъ, тутъ и начнетъ мерещиться... Ёсть-то станешь что-ли?“

Онъ не отвѣчалъ. Настасья все стояла надъ нимъ, пристально глядѣла на него и не уходила.

— „Пить дай... Настасьюшка“.

Она сошла внизъ и минуты черезъ двѣ воротилась съ водой въ бѣлой глиняной кружкѣ; но онъ уже не помнилъ, что было дальше. Помнилъ только, какъ отхлебнулъ одинъ глотокъ холодной воды и пролилъ изъ кружки на грудь. Затѣмъ наступило безпамятство.

Онъ однако-жъ не то чтобы ужъ былъ совсѣмъ въ безпамятствѣ во все время болѣзни: это было лихорадочное состояніе, съ бредомъ и полусознаніемъ. Многие онъ потомъ припомнилъ. То казалось ему, что около него собирается много народу и хотятъ его взять и куда-то вынести, очень объ немъ спорятъ и ссорятся. То вдругъ онъ одинъ въ комнатѣ, всѣ ушли и боятся его, и только изрѣдка чуть-чуть отворяютъ дверь посмотрѣть на него, грозятъ ему, сговариваются объ чемъ-то промежъ себя, смѣются и дразнятъ его. Настасью онъ часто помнилъ подлѣ себя; различалъ и еще одного человѣка, очень будто ему знакомаго, но кого именно — никакъ не могъ догадаться и тосковалъ объ этомъ и даже плакалъ. Иной разъ казалось ему, что онъ уже съ мѣсяцъ лежитъ; въ другой разъ — что все тотъ же день идетъ. Но объ томъ, — объ томъ онъ совершенно забывалъ; за то ежеминутно помнилъ, что объ чемъ-то забывалъ, чего нельзя забывать, — терзался, мучился припоминая, стопалъ, впадалъ въ бѣшенство, или въ

ужасный, невыносимый страхъ. Тогда онъ порывался съ мѣста, хотѣлъ бѣжать, но всегда кто-нибудь его останавливалъ силой, и онъ опять впадалъ въ безсиліе и безпамятство. Наконецъ онъ совсѣмъ пришелъ въ себя.

[Онъ пришелъ въ ужасъ, узнавъ отъ своего друга Разумихина, что онъ много бредилъ во время болѣзни. Пріятель смѣялся надъ бредомъ Раскольниковъ, не придавая никакого значенія его словамъ].

Едва только затворилась дверь, больной сбросилъ съ себя одѣяло и какъ полоумный вскочилъ съ постели. Со жгучимъ, судорожнымъ нетерпѣніемъ ждалъ онъ, чтобы они поскорѣе ушли, чтобы тотчасъ-же безъ нихъ и приняться за дѣло. Но за что-же, за какое дѣло?—онъ какъ будто-бы теперь какъ нарочно и забылъ.—„Господи! скажи Ты мнѣ только одно: знаютъ они обо всемъ, или еще не знаютъ? А, ну какъ ужъ знаютъ, и только прикидываются, дразнятъ, покуда лежу, а тамъ, вдругъ, войдутъ и скажутъ, что все давно ужъ извѣстно и что они только такъ... Что-же теперь дѣлать? Вотъ и забылъ, какъ нарочно; вдругъ забылъ, сейчасъ помнилъ!..“

Онъ стоялъ среди комнаты и въ мучительномъ недоумѣніи осматривался кругомъ; подошелъ къ двери, отворилъ, прислушался; но это было не то. Вдругъ, какъ-бы вспомнивъ, бросился онъ къ углу, гдѣ въ обояхъ была дыра, началъ все осматривать, запустилъ въ дыру руку, пошарилъ, но и это не то. Онъ пошелъ къ печкѣ, отворилъ ее и началъ шарить въ золѣ: кусочки бахромы отъ панталонъ и лоскутья разорваннаго гармана такъ и валялись, какъ онъ ихъ тогда бросилъ, стало-быть никто не смотрѣлъ! Тутъ вспомнилъ онъ про носокъ, про который Разумихинъ сейчасъ рассказывалъ. Правда, вотъ онъ на диванѣ лежитъ, подъ одѣяломъ, но ужъ до того затерся и загрязнился съ тѣхъ поръ, что ужъ, конечно, Заметовъ ничего не могъ рассмотреть.

„Ба, Заметовъ!.. контора!.. А зачѣмъ меня въ контору зовутъ? гдѣ повѣстка? Ба!.. я смѣшалъ; это тогда требовали! Я тогда тоже носокъ осматривалъ, а теперь... теперь я былъ боленъ. А зачѣмъ Заметовъ заходилъ? зачѣмъ приводилъ его Разумихинъ?.. — бормоталъ онъ въ безсиліи, садясь опять на диванъ. — Что-жъ это? Бредъ-ли это все со мной продолжается, или вѣдъ правду? Кажется, вѣдъ правду... А, вспомнилъ: бѣжать! скорѣе бѣжать, непременно, непременно бѣжать! да... а куда? а гдѣ мое платье? Сапоговъ нѣтъ! Убрали! Спрятали! Понимаю! А, вотъ пальто—проглядѣли! Вотъ и деньги на столѣ, слава Богу! вотъ и вексель... Я возьму деньги и уйду, и другую квартиру найму, они не сыщутъ!.. Да, а адресный столъ? Найдутъ! Разумихинъ найдетъ. Лучше совсѣмъ бѣжать... далеко... въ Америку, и наплевать на нихъ! И вексель взять... онъ тамъ пригодится. Чего еще-то взять? Они думаютъ, что я боленъ! Они и не знаютъ, что я ходить могу, хе, хе, хе!.. Я по глазамъ угадалъ, что они все знаютъ! Только-бы съ лѣстницы сойти! А ну, какъ у нихъ тамъ сторожа стоятъ, полицейскіе! Что это, чай? А, вотъ и пиво осталось, полбутылки, холодное!“

Лужинъ у Раскольниковъ. [На правахъ жениха Лужинъ явился къ Раскольникову, ожидая, что его, какъ благодѣтеля всей семьи, тотъ при-

метъ съ выраженіемъ признательности, но Раскольниковъ былъ болѣе чѣмъ грубъ, и встрѣча кончилась ссорой].

— „А правда-ль, что вы,—перебилъ вдругъ опять Раскольниковъ дрожащимъ отъ злости голосомъ, въ которомъ слышалась какая-то радость обиды,—правда-ль, что вы сказали вашей невѣстѣ... въ тотъ самый часъ какъ отъ нея согласіе получили, что всего больше рады тому... что она нищая... потому что выгоднѣе брать жену изъ нищеты, чтобъ потомъ надъ ней властвовать... и попрекать тѣмъ, что она вами облагодѣтельствована?..“ — „Милостивый государь!—злобно и раздражительно вскричалъ Лужинъ, весь вспыхнувъ и смѣшавшись, — милостивый государь... такъ исказить мысль! Извините меня, но я долженъ вамъ высказать, что слухи, до васъ дошедшіе или, лучше сказать, до васъ доведенные, не имѣютъ и тѣни здраваго основанія, и я... подозреваю кто... однимъ словомъ... эта стрѣла... однимъ словомъ, ваша мамаша... Она и безъ того показалась мнѣ, при всѣхъ, впрочемъ, своихъ превосходныхъ качествахъ, нѣсколько восторженнаго и романическаго отбѣнка въ мысляхъ... Но я все-таки былъ въ тысячѣ верстахъ отъ предположенія, что она въ такомъ извращенномъ фантазіей видѣ могла понять и представить дѣло... И наконецъ... наконецъ...“ — „А знаете что?—вскричалъ Раскольниковъ, поднимаясь на подушкѣ и смотря на него въ упоръ пронзительнымъ, сверкающимъ взглядомъ: — знаете что?“ — „А что-съ?“ — Лужинъ остановился и ждалъ съ обиженнымъ и вызывающимъ видомъ. Нѣсколько секундъ длилось молчаніе. — „А то, что если вы еще разъ... осмѣлитесь упомянуть хоть одно слово... о моей матери... то я васъ съ лѣстницы кувырккомъ спущу!..“ — „Что съ тобой!“ — крикнулъ Разумихинъ. — „А, такъ вотъ оно что-съ!—Лужинъ поблѣднѣлъ и закусилъ губу. — Слушайте, сударь, меня,—началъ онъ съ разстановкой и сдерживая себя всѣми силами, но все-таки задыхаясь, — я еще давеча, съ перваго шагу, разгадалъ вашу неприязнь, но нарочно оставался здѣсь, чтобъ узнать еще болѣе. Многое я-бы могъ простить больному и родственнику, но теперь... вамъ... никогда-съ...“ — „Я не боленъ!“—вскричалъ Раскольниковъ. — „Тѣмъ паче-съ...“ — „Убирайтесь къ чорту!“

Раскольниковъ. [Его интересовало, что пишутъ въ газетахъ объ убійствѣ старухи. Въ трактирѣ, куда онъ зашелъ, чтобы пересмотрѣть газеты, онъ встрѣтился съ Заметовымъ; ему казалось, что Заметовъ за нимъ слѣдитъ. Раскольниковъ показался ему страннымъ].

— „Что-й-то какой вы странный... Вѣрно еще очень больны. Напрасно вышли...“ — „А я вамъ страннымъ кажусь?“ — „Что это вы газеты читаете?“ — „Газеты“. — „Много про пожары пишутъ“. — „Нѣтъ, я не про пожары. — Тутъ онъ загадочно посмотрѣлъ на Заметова; насмѣшливая улыбка опять искривила его губы. — Нѣтъ, я не про пожары, — продолжалъ онъ, подмигивая Заметову. — А сознайтесь, милый юноша, что вамъ ужасно хочется знать про что я читалъ?“ — „Вовсе не хочется; я такъ спросилъ. Развѣ нельзя спросить? Что вы все...“ — „Послушайте, вы человѣкъ образованный, литературный, а?“ — „Я изъ шестого класса гимназій“, — отвѣчалъ Заметовъ съ нѣкоторымъ достоинствомъ. — „Изъ шестого! ахъ, ты, мой воро-

бушекъ! Съ пробормотомъ, въ перстняхъ — богатый человѣкъ! Фу, какой миленькій мальчикъ!“—Тутъ Раскольниковъ залился нервнымъ смѣхомъ, прямо въ лицо Заметову. Тотъ отшатнулся, и не то что обидѣлся, а ужъ очень удивился.—„Фу, какой странный!—проговорилъ Заметовъ очень серьезно.—Мнѣ сдается, что вы еще бредите“.—„Брежу? врешь, воробушекъ!.. Такъ я страненъ? ну, а любопытенъ я вамъ, а? любопытенъ?“ — „Любопытенъ?“ — „Такъ сказать про что я читалъ, что разыскивалъ? Ишь вѣдь сколько пугеровъ велѣлъ натащить! Подозрительно, а?“—„Ну, скажите“.—„Ушки на макушкѣ?“—„Какая еще тамъ макушка?“—„Послѣ скажу какая макушка, а теперь, мой милѣйшій, объявляю вамъ... нѣтъ, лучше: „сознаюсь...“ Нѣтъ, и это не то: „показаніе даю, а вы снимаете“—вотъ какъ! Такъ даю показаніе, что читалъ, интересовался... отыскивалъ... разыскивалъ...—Раскольниковъ прищурилъ глаза и выждалъ:—разыскивалъ,—и для того и зашелъ сюда,—объ убійствѣ старухи чиновницы“, — произнесъ онъ наконецъ, почти шопотомъ, чрезвычайно приблизивъ свое лицо къ лицу Заметова. Заметовъ смотрѣлъ на него прямо въ упоръ, не шевелясь и не отодвигая своего лица отъ его лица. Страннѣе всего показалось потомъ Заметову, что ровно цѣлую минуту длилось у нихъ молчаніе, и ровно цѣлую минуту они такъ другъ на друга глядѣли. — „Ну, что-жъ что читали?“ — вскричалъ онъ вдругъ въ недоумѣніи и въ нетерпѣніи. — Мнѣ-то какое дѣло! Что-жъ въ томъ?“ — „Это вотъ та самая старуха,—продолжалъ Раскольниковъ, тѣмъ-же шопотомъ и не шевельнувшись отъ восклицанія Заметова, — та самая, про которую, помните, когда стали въ конторѣ разсказывать, а я въ обморокъ-то упалъ. Что, теперь понимаете?“ — „Да что такое? что... „понимаете?“ — произнесъ Заметовъ въ тревогѣ.

Неподвижное и серьезное лицо Раскольникова преобразилось въ одно мгновеніе, и вдругъ онъ залился опять тѣмъ-же нервнымъ хохотомъ, какъ давеча, какъ будто самъ совершенно не въ силахъ былъ сдержать себя. И въ одинъ мигъ припомнилось ему до чрезвычайной ясности ощущеніе одно недавнее мгновеніе, когда онъ стоялъ за дверью, съ топоромъ, запоръ прыгалъ, они за дверью ругались и ломились, а ему вдругъ захотѣлось закричать имъ, ругаться съ ними, высунуть имъ языкъ, дразнить ихъ, смѣяться, хохотать, хохотать, хохотать!

— „Вы или сумасшедшій, или...“ — проговорилъ Заметовъ и остановился, какъ будто вдругъ пораженный мыслью, внезапно промелькнувшею въ умъ его.—„Или? Что „или?“ Ну, что? Ну, скажите-ка!“ — „Ничего! — въ сердцахъ отвѣчалъ Заметовъ,—все вздоръ!“

Оба замолчали. Послѣ внезапнаго, припадочнаго взрыва смѣха, Раскольниковъ сталъ вдругъ задумчивъ и грустенъ. Онъ облокотился на столъ и подперъ рукой голову. Казалось, онъ совершенно забылъ про Заметова. Молчаніе длилось довольно долго.

— „Что вы чай-то не пьете? Остынетъ“, — сказалъ Заметовъ. — „А? что? чай?.. пожалуй...“—Раскольниковъ глотнулъ изъ стакана, положилъ въ ротъ кусочекъ хлѣба и вдругъ, посмотрѣвъ на Заметова, казалось все припомнилъ и какъ будто встрахнулся; лицо его приняло въ ту-же минуту

первоначальное насмѣшливое выраженіе. Онъ продолжалъ пить чай. — „Нынче много этихъ мошенничествъ развелось, — сказалъ Заметовъ. — Вотъ недавно еще я читалъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, что въ Москвѣ цѣлую шайку фальшивыхъ монетчиковъ изловили. Цѣлое общество было. Поддѣлывали билеты“. — „О, это уже давно! я еще мѣсяцъ назадъ читалъ, — отвѣчалъ спокойно Раскольниковъ. — Такъ это-то по вашему мошенники!“ — прибавилъ онъ, усмѣхаясь. — „Какъ-же не мошенники?“ — „Это? Это дѣти, бланбеки, а не мошенники! Цѣлая полсотня людей для этакой цѣли собирается! Развѣ это возможно? Тутъ и трехъ много будетъ; да и то чтобы другъ въ другъ каждый пуще себя самого былъ увѣренъ! А то стоитъ одному спяну проболтаться, и все прахомъ пошло! Бланбеки! Нанимаютъ ненадежныхъ людей размѣнивать билеты въ конторахъ: этакое-то дѣло да повѣрить первому встрѣчному! Ну, положимъ, удалось и съ бланбеками, положимъ, каждый себѣ по милліону намѣнялъ, ну, а потомъ? всю-то жизнь? Каждый одинъ отъ другого зависитъ на всю свою жизнь! Да лучше удавиться! А они и размѣнять-то не умѣли: сталъ въ конторѣ мѣнять, получилъ пять тысячъ, и руки дрогнули. Четыре пересчиталъ, а пятую принялъ не считая, на вѣру, чтобы только въ карманъ, да убѣжать поскорѣе. Ну, и возбудилъ подозрѣніе. И лопнуло все изъ-за одного дурака! Да развѣ этакъ возможно?“ — „Что руки-то дрогнули? — подхватилъ Заметовъ, — нѣтъ, это возможно-съ. Нѣтъ, это я совершенно увѣренъ, что это возможно. Иной разъ не выдержишь“. — „Этого-то?“ — „А, вы, небось, выдержите? Нѣтъ, я-бы не выдержалъ! За сто рублей награжденія идти на этакій ужасъ! Идти съ фальшивымъ билетомъ — куда-же? — въ банкирскую контору, гдѣ на этомъ собаку съѣли, — нѣтъ, я-бы сконфузился. А вы не сконфузитесь?“

Раскольникову ужасно вдругъ захотѣлось опять „языкъ высунуть“. Ознобъ, минутами, проходилъ по спинѣ его.

— „Я бы не такъ сдѣлалъ, — началъ онъ издалека. — Я бы вотъ какъ сталъ мѣнять: пересчиталъ-бы первую тысячу, этакъ раза четыре со всѣхъ концовъ, въ каждую бумажку всматриваясь, и принялся-бы за другую тысячу; началъ-бы ее считать, досчиталъ-бы до середины, да и вынулъ-бы какую-нибудь пятидесятирублевую, да на свѣтъ, да переверотилъ-бы ее и опять на свѣтъ — не фальшивая-ли? „Я, дескать, боюсь, у меня родственница одна двадцать пять рублей такимъ образомъ, намедни, потеряла“; и исторію-бы тутъ рассказалъ. — А какъ сталъ-бы третью тысячу считать — нѣтъ, позвольте: я, кажется, тамъ, во второй тысячѣ, седьмую сотню невѣрно сосчиталъ, сомнѣніе беретъ, да бросилъ-бы третью, да опять за вторую, — да этакъ-бы всѣ-то пять. А какъ кончилъ-бы, изъ пятой-бы да изъ второй вынулъ-бы по кредиткѣ, да опять на свѣтъ, да опять сомнительно, „перемѣните пожалуйста“, да до седьмого поту конторщика-бы довелъ, такъ что онъ меня какъ и съ рукъ-то сбить ужъ не зналъ-бы! Кончилъ-бы все наконецъ, пошелъ, двери-бы отворилъ — да, нѣтъ, извините, опять воротился, спросить о чемъ-нибудь, объясненіе какое-нибудь получить, — вотъ я бы какъ сдѣлалъ!“ — „Фу, какія вы страшныя вещи говорите! — сказалъ, смѣясь, Заметовъ. — Только все это одинъ разговоръ, а на дѣлѣ, навѣрно,

споткнулись-бы. Тутъ, я вамъ скажу, по-моему, не только намъ съ вами, даже патертому, отчаянному человѣку за себя поручиться нельзя. Да чего ходить — вотъ примѣръ: въ нашей-то части старуху-то убили. Вѣдь ужъ, кажется, отчаянная башка, среди бѣла-дня на всѣ риски рискнулъ, однимъ чудомъ спасся, — а руки-то все-таки дрогнули: обокрасть не сумѣлъ, не выдержалъ; по дѣлу видно...

Раскольниковъ какъ-будто обидѣлся.

— „Видно! А вотъ поймите-ка его, подите, теперь!“ — вскрикнулъ онъ, злорадно подзадоривая Заметова. — „Что-жъ и поймаютъ“. — „Кто? вы? вамъ поймать? Упрыгаются! Вотъ вѣдь что у васъ главное: тратитъ-ли человѣкъ деньги или нѣтъ? То денегъ не было, а тутъ вдругъ тратитъ начнется, — ну какъ-же не онъ? Такъ васъ вотъ этакій ребенокъ надуетъ на этомъ, коли захочетъ!“ — „То-то и есть, что они всѣ такъ дѣлаютъ, — отвѣчалъ Заметовъ, — убѣдетъ-то хитро, жизнь отваживаетъ, а потомъ тотчасъ въ кабаки и попался. На тратѣ-то ихъ и ловятъ. Не все-же такіе какъ вы хитрецы. Вы бы въ кабаки не пошли, разумѣется?“

Раскольниковъ нахмурилъ брови и пристально посмотрѣлъ на Заметова.

— „Вы, кажется, разлакомились и хотите узнать какъ-бы я и тутъ поступилъ?“ — спросилъ онъ съ неудовольствіемъ. — „Хотѣлось-бы,“ — твердо и серьезно отвѣтилъ тотъ. Слишкомъ что-то серьезно сталъ онъ говорить и смотрѣть. — „Очень?“ — „Очень“. — „Хорошо. Я вотъ-бы какъ поступилъ, — началъ Раскольниковъ, опять вдругъ приближая свое лицо къ лицу Заметова, опять въ упоръ смотря на него и говоря опять шопотомъ, такъ что тотъ даже вздрогнулъ на этотъ разъ. — Я бы вотъ какъ сдѣлалъ: я бы взялъ деньги и вещи, и какъ ушелъ-бы оттуда, тотчасъ, не заходя никуда, пошелъ-бы куда-нибудь, гдѣ мѣсто глухое и только заборы одни, и почти нѣтъ никого, — огородъ какой-нибудь, или въ этомъ родѣ. Наглядѣлъ-бы я тамъ еще прежде, на этомъ дворѣ, какой-нибудь такой камень, така въ пудъ или полтора вѣсу, гдѣ-нибудь въ углу, у забора, что съ построения дома, можетъ, лежитъ; приподнялъ-бы этотъ камень — подъ нимъ должна ямка быть, — да въ ямку-то эту всѣ-бы вещи и деньги сложили-бы, да и навалили-бы камнемъ, въ томъ видѣ какъ онъ прежде лежалъ, придавили-бы ногой, да и пошелъ-бы прочь. Да годъ-бы, два-бы не бралъ, три-бы не бралъ, — ну, и ищите! Былъ да весь вышелъ!“ — „Вы сумасшедшій“, — выговорилъ почему-то Заметовъ тоже шопотомъ, и почему-то отодвинулся вдругъ отъ Раскольникова. У того засверкали глаза; онъ ужасно поблѣднѣлъ: верхняя губа его дрогнула и запрыгала. Онъ склонился къ Заметову какъ можно ближе и сталъ шевелить губами, ничего не произнося; такъ длилось съ полминуты; онъ зналъ, что дѣлалъ, но не могъ сдержать себя. Страшное слово, какъ тогдашній запоръ въ дверяхъ, такъ и прыгало на его губахъ: вотъ-тотъ сорвется; вотъ-вотъ только спустить его, вотъ-вотъ только выговорить! — „А что если это я старуху и Лизавету убилъ?“ — проговорилъ онъ вдругъ и — опомнился.

Заметовъ дико поглядѣлъ на него и поблѣднѣлъ какъ сватерть. Лицо его искривилось улыбкой.

— „Да развѣ это возможно?“—проговорилъ онъ едва слышно.

Раскольниковъ злобно взглянулъ на него.

— „Признайтесь, что вы повѣрили?—да? вѣдь да?“—„Совсѣмъ нѣтъ! Теперь больше чѣмъ когда-нибудь не вѣрю!“—торопливо вскричалъ Заметовъ. — „Попался наконецъ! Поймали воробушка. Стало-быть вѣрили-же прежде, когда теперь „больше чѣмъ когда-нибудь, не вѣрите?“ — „Да совсѣмъ-же нѣтъ! — воскликнулъ Заметовъ, видимо сконфуженный. — Это вы для того-то и пугали меня, чтобъ къ этому подвести?“—„Такъ не вѣрите? а объ чемъ вы безъ меня заговорили, когда я тогда изъ конторы вышелъ? А зачѣмъ меня поручикъ Порохъ допрашивалъ послѣ обморока? Эй ты, — крикнулъ онъ половому вставая и взявъ фуражку, — сколько съ меня?“ — „Тридцать копѣекъ всего-съ“, — отвѣчалъ тотъ подбѣгая. — „Да вотъ тебѣ еще двадцать копѣекъ на водку. Ишь сколько денегъ!—протянулъ онъ Заметову свою дрожащую руку съ кредитками:—красненькія, синенькія, двадцать пять рублей. Откуда? А откуда платье новое явилось? Вѣдь знаете-же, что копѣйки не было! хозяйку-то, небось, ужъ опрашивали... Ну, довольно! Assez causé! до свиданья... пріятнѣйшаго!..“

Онъ вышелъ, весь дрожа отъ какого-то дикаго истерическаго ощущенія, въ которомъ между тѣмъ была часть нестерпимаго наслажденія,—впрочемъ мрачный, ужасно усталый. Лицо его было искривлено какъ-бы послѣ какого-то припадка. Утомленіе его быстро увеличивалось. Силы его возбуждались и приходили теперь вдругъ, съ первымъ толчкомъ, съ первымъ раздражающимъ ощущеніемъ и также быстро ослабѣвали по мѣрѣ того, какъ ослабѣвало ощущеніе.

[Раскольниковъ потянуло *туда*, гдѣ онъ убилъ старуху. Онъ пошелъ осматривать всю квартиру. Тамъ работали маляры].

Раскольниковъ всталъ и пошелъ въ другую комнату, гдѣ прежде стояла укладка, постель и комодъ; комната показалась ему ужасно маленькою безъ мебели. Обои были все тѣ-же; въ углу на обояхъ рѣзко обозначено было мѣсто, гдѣ стоялъ кіотъ съ образами. Онъ поглядѣлъ и воротился на свое окошко. Старшій работникъ искося приглядывался.

— „Вамъ чего-съ?“—спросилъ онъ вдругъ, обращаясь къ нему.

Вмѣсто отвѣта Раскольниковъ всталъ, вышелъ въ сѣни, взялся за колокольчикъ и дернулъ. Тотъ-же колокольчикъ, тотъ-же жестяной звукъ! Онъ дернулъ второй, третій разъ; онъ вслушивался и припоминалъ. Прежнее, мучительно-страшное, безобразное ощущеніе начинало все ярче и живѣе припоминаться ему, онъ вздрагивалъ съ каждымъ ударомъ, и ему все пріятнѣе и пріятнѣе становилось.

— „Да что-те надо! Кто таковъ?“ — крикнулъ работникъ, выходя къ нему. Раскольниковъ вошелъ опять въ дверь. — „Квартиру хочу нанять, — сказалъ онъ,—осматриваю“. — „Фатеру по ночамъ не нанимаютъ; а къ тому-же вы должны съ дворникомъ придти“. — „Полъ-то вымыли; красить будутъ?“ — продолжалъ Раскольниковъ. — „Крови-то нѣтъ?“ — „Какой крови?“ — „А старуху-то вотъ убили съ сестрой. Тутъ цѣлая лужа была“. — „Да что ты за человѣкъ?“ — крикнулъ въ безпокойствѣ работ-

никъ. — „Я?“ — „Да“. — „А тебѣ хочется знать?.. Пойдемъ въ контору, тамъ скажу“.

Работники съ недоумѣніемъ посмотрѣли на него.

— „Намъ выходить пора-съ, замѣшкали. Идемъ, Алешка. Запирать надо“, — сказалъ старшій работникъ. — „Ну, пойдемъ! — отвѣчалъ Раскольниковъ равнодушно, и вышелъ впередъ, медленно спускаясь съ лѣстницы. — Эй, дворникъ!“ — крикнулъ онъ, выходя подъ ворота.

Нѣсколько людей стояло при самомъ входѣ въ домъ съ улицы, глаза на прохожихъ: оба дворника, баба, мѣщанинъ въ халатѣ и еще кое-кто. Раскольниковъ пошелъ прямо къ нимъ.

— „Чего вамъ?“ — отозвался одинъ изъ дворниковъ. — „Въ контору ходилъ?“ — „Сейчасъ былъ. Вамъ чего?“ — „Тамъ сидятъ?“ — „Сидятъ“. — „И помощникъ тамъ?“ — „Былъ время. Чего вамъ?“

Раскольниковъ не отвѣчалъ и сталъ съ ними рядомъ, задумавшись.

— „Фатеру смотрѣть приходилъ“, — сказалъ, подходя, старшій работникъ. — „Какую фатеру?“ — „А гдѣ работаемъ. „Зачѣмъ, дескать, кровь отжили? Тутъ, говорить, убивство случилось, а я пришелъ нанимать“. И въ колокольчикъ сталъ звонить, мало не оборвалъ. А пойдемъ, говорить, въ контору, тамъ все докажу. Навязался“.

Дворникъ съ недоумѣніемъ и нахмурясь разглядывалъ Раскольникова.

— „Да вы кто таковъ?“ — крикнулъ онъ погрозише. — „Я Родіонъ Романовичъ Раскольниковъ, бывшій студентъ, а живу въ домѣ Шила, здѣсь въ переулкѣ, отсюда недалеко, въ квартирѣ № 14. У дворника спроси... меня знаетъ“. — Раскольниковъ проговорилъ все это какъ-то лѣниво и задумчиво, не оборачиваясь, и пристально смотря на потемнѣвшую улицу. — „Да вы зачѣмъ въ фатеру-то приходили?“ — „Смотрѣть“. — „Чего тамъ смотрѣть?“ — „А вотъ взять да свести въ контору!“ — ввизался вдругъ мѣщанинъ и замолчалъ.

Раскольниковъ черезъ плечо скосилъ на него глаза, посмотрѣлъ внимательно и сказалъ также тихо и лѣниво:

— „Пойдемъ!“ — „Да и свести!“ — подхватилъ ободрившійся мѣщанинъ. — „Зачѣмъ онъ объ томъ доходилъ, у него что на умѣ, а?“ — „Пьянъ, не пьянъ, а Богъ ихъ знаетъ“, — пробормоталъ работникъ. — „Да вамъ чего?“ — крикнулъ дворникъ, начинавшій серьезно сердиться, — ты чего присталъ?“ — „Струсилъ въ контору-то?“ — съ насмѣшкой проговорилъ ему Раскольниковъ. — „Чего струсилъ? Ты чего присталъ?“ — „Выжиги!“ — крикнула баба. — „Да чего съ нимъ толковать“, — крикнулъ другой дворникъ, огромный мужикъ, въ армякѣ на распахку и съ ключами за поясомъ. — Пшоль!.. И впрямъ выжиги... Пшоль!“

И схвативъ за плечо Раскольникова, онъ бросилъ его на улицу. Тотъ кувырнулся-было, но не упалъ, выправился, молча посмотрѣлъ на всѣхъ зрителей, и пошелъ далѣе.

— „Чуденъ человекъ“, — проговорилъ работникъ. — „Чуденъ нынче сталъ народъ“, — сказала баба. — „А все-бы свести въ контору“, — прибавилъ мѣщанинъ. — „Нечего связываться“, — рѣшилъ большой дворникъ. — „Какъ

есть выжига! Самъ на то лѣзетъ, извѣстно, а свяжись, не развяжешь! Знаешь!”

— „Такъ идти что-ли, или нѣтъ“, думалъ Раскольниковъ, оставшись посреди мостовой на перекресткѣ и осматриваясь кругомъ, какъ-то ожидая отъ кого-то послѣдняго слова. Но ничего не отозвалось ни отъ все было глухо и мертво, какъ камни, по которымъ онъ ступалъ, для мертво, для него одного... Вдругъ, далеко, шаговъ за двѣсти отъ него, концѣ улицы, въ сгущавшейся темнотѣ, различилъ онъ толпу, громкіе крики... Среди толпы стоялъ какой-то экипажъ... Замелькалъ среди у огня огонекъ. „Что такое?“ Раскольниковъ поворотилъ вправо и пошелъ на толпу. Онъ точно цѣплялся за все, и холодно усмѣхнулся, подумавъ это, потомъ ужъ навѣрно рѣшилъ про контору и твердо зналъ, что сейчасъ все кончитъ.

Смерть Мармеладова. [Мармеладова, пьянаго, раздавили на улицѣ. Раскольниковъ доставилъ его домой. Позванъ былъ докторъ, священникъ около умирающаго собралась толпа любопытныхъ жильцовъ. Жена Мармеладова отъ горя переходила къ злости].

— „Хоть бы умереть-то дали спокойно! — закричала она на толпу:—что за спектакль нашли! Съ папиросами! кхе-кхе-кхе! Въ шляпѣ войдите еще!.. И то въ шляпѣ одинъ... Вонъ! Къ мертвому тѣлу уваженіе имѣйте!“

Кашель задушилъ ее, но остротка пригодилась. Катерины Ивановны очевидно даже побаивались; жильцы, одинъ за другимъ, протѣснись обратно къ двери съ тѣмъ страннымъ внутреннимъ ощущеніемъ довольства, которое всегда замѣчается, даже въ самыхъ близкихъ людяхъ, при видѣ номъ несчастія съ ихъ ближнимъ, и отъ котораго не избавленъ ни одинъ человѣкъ, безъ исключенія, несмотря даже на самое искреннее чувство сожалѣнія и участія.

Изъ толпы, неслышно и робко, протѣснилась дѣвушка, и случилось ея внезапное появленіе въ этой комнатѣ, среди нищеты, лохмотьевъ смерти и отчаянія. Она была тоже въ лохмотьяхъ; нарядъ ея былъ шовный, но разукрашенный по уличному, подъ вкусъ и правила, сложившіеся въ своемъ мірѣ, съ ярко и позорно выдающеюся цѣлью. Соня остановилась въ сѣняхъ у самаго порога, но не переходила за порогъ и глядѣла потерянная, не сознавая, казалось, ничего, забывъ и о своемъ перекупномъ изъ четвертыхъ рукъ шелковомъ, неприличномъ здѣсь, цвѣтѣ платкѣ съ длиннѣйшимъ и смѣшнымъ хвостомъ, и о необъятномъ кринолинѣ, загородившемъ всю дверь, и о свѣтлыхъ ботинкахъ, и объ омбрелькѣ, нужной ночью, но которую она взяла съ собой, и о смѣшной соломенной круглой шляпкѣ съ яркимъ, огненнаго цвѣта перомъ. Изъ-подъ этой надмалычишески на бекрень шляпки выглядывало худое, блѣдное и испуганное личико, съ раскрытымъ ртомъ и съ неподвижными отъ ужаса глазами. Соня была малаго роста, лѣтъ восемнадцати, худенькая, но хорошаго блондинка, съ замѣчательными голубыми глазами. Она пристально смотрѣла на постель, на священника; она тоже задыхалась отъ скорой ходьбы. Конечъ шушуканье, нѣкоторые слова въ толпѣ, вѣроятно, до нея долетѣли.

Она потупилась, переступила шагъ черезъ порогъ и стала въ компанѣ, но опять-таки въ самыхъ дверяхъ.

Исповѣдь и причащеніе кончились. Катерина Ивановна снова подошла къ постели мужа. Священникъ отступилъ, и уходя, обратился-было сказать два слова въ напутствіе и утѣшеніе Катеринѣ Ивановнѣ.

— „А куда я этихъ-то дѣну?“ — рѣзко и раздражительно перебила она, указывая на малютокъ. — „Богъ милостивъ, надѣйтесь на помощь Всевышняго,“ — началъ-было священникъ. — „Э-эхъ! милостивъ да не до васъ!“ — „Это грѣхъ, грѣхъ, сударыня,“ — замѣтилъ священникъ, качая головой. — „А это не грѣхъ?“ — крикнула Катерина Ивановна, показывая на умирающаго. — „Быть можетъ тѣ, которые были невольною причиною, согласятся вознаградить васъ, хоть бы въ потерѣ доходовъ...“ — „Не понимаете вы меня! — раздражительно крикнула Катерина Ивановна, махнувъ рукой. — Да и за что вознаграждать-то? Вѣдь онъ самъ пьяный подъ лошадей полѣзъ! Какихъ доходовъ? Отъ него не доходы, а только мука была. Вѣдь онъ, пьяница, все пропивалъ! Насъ обкрадывалъ да въ кабакъ носилъ, всю мою жизнь въ кабакѣ извелъ! И слава Богу, что помираетъ! убытку меньше!“ — „Простить-бы надо въ предсмертный часъ, а это грѣхъ, сударыня, таковыя чувства большой грѣхъ.“

Катерина Ивановна суетилась около больного, она подавала ему пить, обтирала потъ и кровь съ головы, оправляла подушки и разговаривала съ священникомъ, изрѣдка успѣвая оборотиться къ нему между дѣломъ. Теперь же она вдругъ набросилась на него въ изступленіи.

— „Эхъ, батюшка! Слова да слова одни! Простить! Вотъ онъ пришелъ бы сегодня пьяный, какъ бы не раздавили-то, рубашка-то на немъ одна, вся изношенная, да въ лохмотьяхъ, такъ онъ бы завалился дрыхнуть, а я бы до разсвѣта въ водѣ полоскалась, обноси бы его да дѣтскіе мыла, да потомъ высушила бы за окномъ, да тутъ же, какъ разсвѣтетъ, и штопать бы сѣла, — вотъ моя и ночь!... Такъ чего ужъ тутъ о прощеніи говорить! И то простила!“

Глубокій, страшный кашель прервалъ ея слова. Она отхаркнулась въ платокъ и сунула его на показъ священнику, съ болью придерживая другою рукой грудь. Платокъ былъ весь въ крови...

Священникъ поникъ головой и не сказалъ ничего.

Мармеладовъ былъ въ послѣдней агоніи; онъ не отводилъ своихъ глазъ отъ лица Катерины Ивановны, склонившейся снова надъ нимъ. Ему все хотѣлось что-то ей сказать; онъ было и началъ, съ усиліемъ шевеля языкомъ и неясно выговаривая слова, но Катерина Ивановна, понявшая, что онъ хочетъ просить у ней прощенія, тотчасъ же повелительно крикнула на него:

— „Молчи-и-и! Не надо!.. знаю, что хочешь сказать!...“ — И больной умолкъ; но въ ту же минуту блуждающій взглядъ его упалъ на дверь, и онъ увидалъ Соню...

До сихъ поръ онъ не замѣчалъ ея: она стояла въ углу и въ тѣни.

— „Кто это? кто это?“ — проговорилъ онъ вдругъ хриплымъ задыхаю-

пимся голосомъ, весь въ тревогѣ, съ ужасомъ указывая глазами на дверь, гдѣ стояла дочь и усиливаясь приподняться.— „Лежи! Лежи-и-и!“—крикнула было Катерина Ивановна.

Но онъ съ неестественнымъ усиленіемъ успѣлъ опереться на рукѣ. Онъ дико и неподвижно смотрѣлъ нѣкоторое время на дочь, какъ бы не узнавая ея. Да и не разу еще онъ не видалъ ея въ такомъ костюмѣ. Вдругъ онъ узналъ ее припиченную, убитую, расфранченную и стыдливую, смиренно ожидающую своей очереди проститься съ умирающимъ отцомъ. Безконечное страданіе изобразилось въ лицѣ его.

— „Соня! дочь! прости!“ — крикнулъ онъ, и хотѣлъ-было протянуть къ ней руку, но, потерявъ опору, сорвался и грохнулся съ дивана, прямо лицомъ на-земь; бросились поднимать его, положили, но онъ уже отходилъ. Соня слабо вскрикнула, подбѣжала, обняла его, и такъ и замерла въ этомъ объятіи. Онъ умеръ у нея въ рукахъ. — „Добился своего! — крикнула Катерина Ивановна, увидавъ трупъ мужа, — ну, что теперь дѣлать! Чѣмъ я похороню его! А чѣмъ ихъ-то, ихъ-то завтра чѣмъ накормлю?“

[Раскольниковъ отдалъ ей всѣ деньги, полученные недавно отъ матери].

— „А какъ вы однакожъ кровью замочились“, — замѣтилъ Никодимъ Фомичъ, разглядѣвъ при свѣтѣ фонаря нѣсколько свѣжихъ пятенъ на жилетѣ Раскольникова. — „Да, замочился... я весь въ крови!“ — проговорилъ съ какимъ-то особеннымъ видомъ Раскольниковъ, затѣмъ улыбнулся, кивнулъ головой и пошелъ внизъ по лѣстницѣ.

Онъ сходилъ тихо, не торопясь, весь въ лихорадкѣ, и не сознавая того, полный одного, новаго, необъятнаго ощущенія вдругъ прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущеніе могло походить на ощущеніе приговореннаго къ смертной казни, которому вдругъ и неожиданно объявляютъ прощеніе.

— „Довольно! — произнесъ онъ рѣшительно и торжественно, — прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидѣнія... Есть жизнь! Развѣ я сейчасъ не жилъ! Не умерла еще моя жизнь вмѣстѣ съ старою старухой! Царство ей небесное и довольно, матушка, пора на покой! Царство разсудка и свѣта теперь и... и воли, и силы... и посмотримъ теперь! помѣрлемся теперь!—прибавилъ онъ заносчиво, какъ бы обращаясь къ какой-то темной силѣ и вызывая ее. — А вѣдь я уже соглашался жить на аршинѣ пространства!“

„...Слабъ я очень въ эту минуту, но... кажется, вся болѣзнь моя прошла. Я и зналъ, что пройдетъ, когда вышелъ давеча. Кстати: домъ Починкова, это два шага. Ужъ непремѣнно къ Разумихину, хоть бы и не два шага..... пусть выиграстъ закладъ!... пусть и онъ потѣшится, — ничего, пусть!... сила, сила нужна; безъ силы ничего не возьмешь; а силу надо добывать силой же, вотъ этого-то они и не знаютъ,“—прибавилъ онъ гордо и самоувѣренно и пошелъ, едва переводя ноги, съ моста. Гордость и самоувѣренность нарастали въ немъ каждую минуту; уже въ слѣдующую минуту это становился не тотъ человѣкъ, что былъ въ предыдущую. Что же однако

случилось такого особенного, что такъ перевернуло его? Да онъ и самъ не зналъ; ему, какъ хватавшемуся за соломенку, вдругъ показалось, что и ему „можно жить, что есть еще жизнь, что не умерла его жизнь вмѣстѣ съ старою старухой“. Можетъ быть онъ слишкомъ поспѣшилъ заключеніемъ, но онъ объ этомъ не думалъ.

Раскольниковъ первый взялся за дверь и отворилъ ее настежь, отворилъ, и сталъ на порогъ какъ вкопанный.

Мать и сестра его сидѣли у него на диванѣ и ждали уже полтора часа. Почему-же онъ всего менѣе ихъ ожидалъ и всего менѣе о нихъ думалъ, несмотря на повторившееся даже сегодня извѣстіе, что онъ выѣзжаютъ, ѣдутъ, сейчасъ придутъ? Всѣ эти полтора часа онъ наперебивъ разспрашивали Настасью, стоявшую и теперь передъ ними и уже успѣвшую рассказать имъ всю подноготную. Онъ себя не помнилъ отъ испуга, когда услышали, что онъ „сегодня сбѣжалъ“, больной и, какъ видно изъ разсказа, непремѣнно въ бреду! „Боже, что съ нимъ!“ Обѣ плакали, обѣ вынесли крестную муку въ эти полтора часа ожиданія.

Радостный, восторженный крикъ встрѣтилъ появленіе Раскольникова. Обѣ бросились къ нему. Но онъ стоялъ какъ мертвый; невыносимое внезапное сознаніе ударило въ него какъ громомъ. Да и руки его не поднимались обнять ихъ: не могли. Мать и сестра сжимали его въ объятіяхъ, цѣловали его, смѣялись, плакали... Онъ ступилъ шагъ, покачнулся и рухнулся на полъ въ обморокъ.

[Придя въ себя, Раскольниковъ сталъ требовать у сестры, чтобы она не выходила замужъ за Лужина].

— „Дуня,— съ усиліемъ продолжалъ Раскольниковъ, — я этого брака не желаю, а потому ты и должна, завтра-же, при первомъ словѣ, Лужину отказать, чтобы и духу его не пахло.“— „Боже мой!“— вскричала Пульхерія Александровна. — „Братъ, подумай, что ты говоришь!“— вспылчиво начала было Авдотья Романовна, но тотчасъ-же удержалась.— Ты можетъ быть теперь не въ состояніи, ты усталъ“,— кротко сказала она.— „Въ бреду? Нѣтъ... Ты выходишь за Лужина для меня. А я жертвы не принимаю. И потому, къ завтраму, напиши письмо... съ отказомъ... Утромъ дай мнѣ прочесть, и конецъ!“— „Я этого не могу сдѣлать!“— вскричала обиженная дѣвушка.— По какому праву...“— „Дунечка, ты тоже вспылчива, перестань, завтра... Развѣ ты не видишь...— перепугалась мать, бросаясь къ Дунѣ.— Ахъ, уйдемте ужъ лучше!“— „Бредить!“— закричалъ хмѣльной Разумихинъ,— а то какъ бы онъ смѣлъ! Завтра вся эта дурь выскочить... А сегодня онъ дѣйствительно его выгналъ. Это такъ и было. Ну, а тотъ разсердился... Ораторствовалъ здѣсь, знанія свои выставлялъ, да и ушелъ, хвостъ поджавъ...“— „Такъ это правда?“— вскричала Пульхерія Александровна.— „До завтра, братъ,— съ состраданіемъ сказала Дуня,— пойдите, маменька... Прощай, Родя!“— „Слышишь, сестра,— повторилъ онъ вслѣдъ, собравъ послѣднія усилія, — я не въ бреду; этотъ бракъ—подлость. Пусть я подлецъ, а ты не должна... одинъ кто-нибудь... а я хоть и подлецъ, но такую сестру сестрой считать не буду. Или я, или Лужинъ! Ступайте...“

Разумихинъ о Раскольниковѣ. — „Полтора года я Родиона знаю: угрюмъ, мраченъ, надмененъ и гордъ; въ послѣднее время (а можетъ, гораздо прежде) мнителенъ и ипохондрикъ. Великодушенъ и добръ. Чувствъ своихъ не любитъ высказывать и скорѣй жестокость сдѣлаетъ, чѣмъ словами выскажетъ сердце. Иногда, впрочемъ, вовсе не ипохондрикъ, а просто холоденъ и безчувственъ до безчеловѣчія, право точно въ немъ два противоположные характера поочередно смѣняются. Ужасно иногда не разговорчивъ! все ему, некогда, все ему мѣшаютъ, а самъ лежитъ, ничего не дѣлаетъ. Не насмѣшливъ, и не потому чтобъ остроты не хватало, а точно времени у него на такіе пустяки не хватаетъ. Не дослушиваетъ, что говорятъ. Никогда не интересуется тѣмъ, чѣмъ всѣ въ данную минуту интересуются. Ужасно высоко себя цѣнитъ и, кажется, не безъ нѣкотораго права на то. Ну, что еще?.. Мнѣ кажется, вашъ пріѣздъ будетъ имѣть на него спасительнѣйшее вліяніе“.

[На слѣдующій день Раскольниковъ былъ спокойнѣе], только былъ очень блѣденъ, разсѣянъ и угрюмъ. Снаружи онъ походилъ какъ-бы на раненаго человѣка, или вытерпливающаго какую-нибудь сильную физическую боль: брови его были сдвинуты, губы сжаты, взглядъ воспаленный. Говорилъ онъ мало и неохотно, какъ-бы черезъ силу или исполняя обязанность, и какое-то безпокойство изрѣдка появлялось въ его движеніяхъ.

Не доставало какой-нибудь повязки на рукѣ или чехлѣ изъ тафты на пальцѣ для полнаго сходства съ человѣкомъ, у котораго, напримѣръ, очень больно парываетъ палецъ, или ушиблена рука, или что-нибудь въ этомъ родѣ.

Впрочемъ, и это блѣдное и угрюмое лицо озарилось на мгновеніе какъ-бы свѣтомъ, когда вошли мать и сестра, но это прибавило только къ выраженію его, вмѣсто прежней тоскливой разсѣянности, какъ-бы болѣе сосредоточенной муки. Свѣтъ померкъ скоро, но мука осталась, и Зосимовъ, наблюдавшій и изучавшій своего пациента со всѣмъ молодымъ жаромъ только-что начинающаго полѣчивать доктора, съ удивленіемъ замѣтилъ въ немъ, съ приходомъ родныхъ, вмѣсто радости, какъ-бы тяжелую скрытую рѣшимость перенести часъ — другой пытки, которой нельзя ужъ избѣгнуть. Онъ видѣлъ потомъ, какъ почти каждое слово послѣдовавшаго разговора точно прикасалось къ какой-нибудь ранѣ его пациента и бредило ее; но въ то же время онъ и подивился отчасти сегодняшнему умѣнію владѣть собой и скрывать свои чувства вчерашняго мономана, изъ-за малѣйшаго слова впадавшаго вчера чуть не въ бѣшенство.

[Онъ велъ продолжительную бесѣду, но ему все казалось, что мать и сестра его боятся. Наконецъ онъ не выдержалъ и послѣ разсказа матери объ одномъ происшествіи грубо замѣтилъ]:

— „Гм! А впрочемъ, охота вамъ, маменька, о такомъ вздорѣ рассказывать“, — раздражительно и какъ-бы нечаянно проговорилъ вдругъ Раскольниковъ. — „Ахъ, другъ мой, да я не знала о чемъ ужъ и заговорить“, — вырвалось у Пульхеріи Александровны. — „Да что вы, боитесь что-ль меня всѣ?“ — сказалъ онъ съ искривившеюся улыбкою. — „Это дѣйствительно

ида,—сказала Дуня, прямо и строго смотря на брата.—Маменька, входя въ лестницу, даже крестилась отъ страху“.

Лицо его перекосилось какъ-бы отъ судороги.

— „Ахъ, что ты, Дуня! Не сердись, пожалуйста, Родя... Зачѣмъ ты, ии!—заговорила въ смущеніи Пульхерія Александровна,— это я, вправду, шла сюда, всю дорогу мечтала, въ вагонѣ: какъ мы увидимся, какъ мы всемъ сообщимъ другъ другу... и такъ была счастлива, что и дороги не пала! Да что я! Я и теперь счастлива... Напрасно ты, Дуня! Я ужъ тѣмъ ѣко счастлива, что тебя вижу, Родя...“— „Полноте, маменька,—съ смущеніемъ пробормоталъ онъ, не глядя на нее и сжавъ ея руку, — успѣемъ говорить!“

Сказавъ это, онъ вдругъ смутился и поблѣднѣлъ: опять одно недавнее асное ощущеніе мертвымъ холодомъ прошло по душѣ его; опять ему вдругъ ло совершенно ясно и понятно, что онъ сказалъ сейчасъ ужасную ложь, и не только никогда теперь не придется ему успѣть наговориться, но уже объ чемъ больше, никогда и ни съ кѣмъ нельзя ему теперь *говорить*. Очутлѣніе этой мучительной мысли было такъ сильно, что онъ, на мгновение, почти совсѣмъ забылся, всталъ съ мѣста и, не глядя ни на кого, пошелъ вонъ изъ комнаты.

Соня у Раскольниковъ. [Она пришла звать его на отпѣваніе отца и онъ смутился, когда застала у него его мать, сестру и товарища].

Соня сѣла, чуть не дрожа отъ страху, и робко взглянула на обѣихъ ихъ. Видно было, что она и сама не понимала, какъ могла она сѣсть съ ними рядомъ. Сообразивъ это, она до того испугалась, что вдругъ опять пала и въ совершенномъ смущеніи обратилась къ Раскольникову.

— „Я... я... зашла на одну минуту, простите, что васъ обезпокоила,—говорила она, запинаясь.—Я отъ Катерины Ивановны, а ей послать было много... А Катерина Ивановна приказала васъ очень просить быть завтра отпѣваніи, утромъ... за обѣдней... на Митрофаніевскомъ, а потомъ у насъ... у ней... откусать... Честь ей сдѣлать... Она велѣла просить“.

Между разговоромъ Раскольниковъ пристально ее разглядывалъ. Это ю худенькое, совсѣмъ худенькое и блѣдное личико, довольно неправильное, какое-то востренькое, съ востренькимъ маленькимъ носомъ и подбородкомъ. Ее даже нельзя было назвать и хорошенькою, но за то голубые за ея были такіе ясные, и, когда оживлялись они, выраженіе лица ея новилось такое доброе и простодушное, что невольно привлекало къ ней.

лицъ ея, да и во всей ея фигурѣ, была сверхъ того одна особенная характерная черта: несмотря на свои восемнадцать лѣтъ, она казалась еще дѣвочкой, гораздо моложе своихъ лѣтъ, совсѣмъ почти ребенкомъ, и это иногда даже смѣшно проявлялось въ нѣкоторыхъ ея движеніяхъ.

— „Но неужели Катерина Ивановна могла обойтись такими малыми дѣлами, даже еще закуску намѣрена?..“—спросилъ Раскольниковъ, наконецъ продолжая разговоръ.—„Гробъ вѣдь простой будетъ-съ.. и все будетъ просто, такъ что не дорого... мы давеча съ Катериной Ивановной все считали, такъ что и останется, чтобы поминуть... а Катеринѣ Ивановнѣ

очень хочется, чтобы такъ было. Вѣдь нельзя-же-съ... ей утѣшеніе... она такая, вѣдь вы знаете..." — „Понимаю, понимаю... конечно... Что это вы мою комнату разглядываете? Вотъ маменька говоритъ тоже, что на гробъ похожа.“ — „Вы намъ все вчера отдали!“ — проговорила вдругъ въ отвѣтъ Сонечка какимъ-то сильнымъ и скорымъ шопотомъ, вдругъ опять сильно потупившись. Губы и подбородокъ ея опять запрыгали. Она давно уже поражена была бѣдною обстановкой Раскольниковъ, и теперь слова эти вдругъ вырвались сами собой. Послѣдовало молчаніе. Глаза Дунечки какъ-то прояснѣли, а Пульхерія Александровна даже привѣтливо посмотрѣла на Соню.

Раскольниковъ у судебного слѣдователя Порфирія. [Не желая дать повода къ подозрѣніямъ, Раскольниковъ направился къ судебному слѣдователю, который велъ дѣло объ убійствѣ старухи, съ цѣлью объявить, какія вещи его были у нея въ закладѣ. Порфирій (имя слѣдователя) подозрѣвалъ Раскольниковъ, и тотъ сразу почувствовалъ это въ рѣчахъ Порфирія. Раскольниковъ напрягалъ всѣ свои душевныя силы, чтобы не проговориться, не даться въ руки Порфирія, который разставлялъ свои сѣти очень ловко].

— „А почти всѣ закладчики теперь ужъ извѣстны, такъ что вы только одни и не изволили пожаловать,“—отвѣтилъ Порфирій съ чуть примѣтнымъ оттѣнкомъ насмѣшливости.—„Я не совсѣмъ былъ здоровъ.“—„И объ этомъ слышалъ-съ. Слышалъ даже, что ужъ очень были чѣмъ-то разстроены. Вы и теперь какъ будто блѣдны?“—„Совсѣмъ не блѣденъ... напротивъ, совсѣмъ здоровъ!“—грубо и злобно отрѣзалъ Раскольниковъ, вдругъ перемѣняя тонъ. Злоба въ немъ накопилась, и онъ не могъ подавить ее.—„А въ злобѣ-то и проговорюсь!—промельнуло въ немъ опять.—А зачѣмъ они меня мучаютъ!“—„Не совсѣмъ здоровъ!—подхватилъ Разумихинъ.—Эвона сморозилъ! До вчерашняго дня чуть не безъ памяти бредилъ... Ну, вѣришь, Порфирій, самъ едва на ногахъ, а чуть только мы, я да Зосимовъ, вчера отвернулись—одѣлся и удралъ потихоньку и куралесилъ гдѣ-то чуть не до полночи, и это въ совершеннѣйшемъ, я тебѣ скажу, бреду, можешь ты это представить! Замѣчательнѣйшій случай!“—„И неужели въ совершеннѣйшемъ бреду? Скажите пожалуйста!“—съ какимъ-то бабимъ жестомъ покачалъ головою Порфирій.—„Э, вздоръ! не вѣрьте! А впрочемъ, вѣдь вы и безъ того не вѣрите!“—слишкомъ ужъ со зла сорвалось у Раскольниковъ. Но Порфирій Петровичъ какъ будто не слышалъ этихъ странныхъ словъ.—„Надоѣли они мнѣ очень вчера,—обратился вдругъ Раскольниковъ къ Порфирію съ нахально вызывающею усмѣшкой,—я и убѣждалъ отъ нихъ квартиру нанять, чтобы они меня не сыскали, и денегъ кучу съ собой захватилъ. Вонъ господинъ Заметовъ видѣлъ деньги-то. А что, господинъ Заметовъ, уменъ я былъ вчера, али въ бреду, разрѣшите-ка споръ?“

Онъ-бы, кажется, такъ и задушилъ въ эту минуту Заметова. Слишкомъ ужъ взглядъ его и молчаніе ему не нравились.

— „По-моему, вы говорили весьма разумно-съ и даже хитро-съ, только раздражительно были ужъ слишкомъ“,—сухо заявилъ Заметовъ.

Порфирій Петровичъ вышелъ приказать чаю.

Мысли крутились какъ вихрь въ головѣ Раскольниковъ. Онъ былъ ужасно раздраженъ.

„Главное, даже и не скрываются, и церемониться не хотятъ! А по какому случаю, коль меня совѣтъ не знаетъ, говорилъ ты обо мнѣ съ Никодимомъ Ѳомичемъ? стало-быть ужъ скрывать не хотятъ, что слѣдять за мной какъ стая собакъ! Такъ откровенно въ рожу и плюютъ! — дрожалъ онъ отъ бѣшенства.— Ну, бейте прямо, а не играйте какъ кошка съ мышью. Это вѣдь невѣжливо, Порфирій Петровичъ, вѣдь я еще, можетъ быть, не позволю-сь!.. Встану, да и брякну всѣмъ въ рожу всю правду; и увидите, какъ я васъ презираю!..—Онъ съ трудомъ перевелъ дыханіе.—А что, если мнѣ такъ только кажется? Что, если это миражъ, и я во всемъ ошибаюсь, по неопытности злюсь, подлой роли моей не выдерживаю? Можетъ быть, это все безъ намѣренія? Всѣ слова ихъ обыкновенныя, но что-то въ нихъ есть... Все это всегда можно сказать, но что-то есть. Почему онъ сказалъ прямо „у ней?“ Почему Заметовъ прибавилъ, что я *хитро* говорилъ? Почему они говорятъ такимъ тономъ? Да... тонъ... Разумихинъ тутъ-же сидѣлъ, почему-жъ ему ничего не кажется? Этому невинному болвану никогда ничего не кажется! Опять лихорадка! Подмигнулъ мнѣ давеча Порфирій, а нѣтъ? Вѣрно вздоръ; для чего-бы подмигивать? Нервы что-ль хотятъ меня раздражить, али дразнить меня? Или все миражъ, или *знаютъ*!.. Даже Заметовъ дерзокъ... Дерзокъ-ли Заметовъ? передумалъ за ночь. Я и предчувствовалъ, что передумаетъ! Онъ здѣсь какъ свой, а самъ въ первый разъ. Порфирій его за гостя не считаетъ, къ нему задомъ сидитъ. Снохались! Непремѣнно *изъ-за меня* снохались! Непремѣнно до насъ обо мнѣ говорили!.. Знаютъ-ли про квартиру-то? Поскорѣй-бы ужъ!.. Когда я сказалъ, что квартиру нанять убѣждалъ, онъ пропустилъ, не поднялъ... А это я ловко про квартиру вернулъ: потомъ пригодится!.. Въ бреду, дескать!.. Ха, ха, ха! Онъ про весь вечеръ вчерашній знаетъ! Про прїѣздъ матери не знаетъ! А вѣдьма и число прописала карандашомъ!.. Врете, не дамъ! Вѣдь это еще не факты, это только миражъ! Нѣтъ, вы давайте-ка фактовъ! И квартира не фактъ, а бредъ; я знаю, что имъ говорилъ... Знаютъ-ли про квартиру-то? Не уйду, не узнавъ! Зачѣмъ я пришелъ? А вотъ что я злюсь теперь, такъ это, пожалуй, и фактъ! Ау, какъ я раздражителенъ! А можетъ, и хорошо; болѣзненная роль... Онъ меня ошупываетъ. Сбивать будетъ. Зачѣмъ я пришелъ?“

Все это какъ молнія пронеслось въ его головѣ.

Порфирій Петровичъ много воротился. [Затѣмъ Порфирій завелъ рѣчь о томъ, что такое преступленіе съ философской точки зрѣнія. На эту точку зрѣнія энергично напалъ Разумихинъ]:

— „Я тебѣ книжки ихнія покажу: все у нихъ потому, что „среда зашла“—ничего больше! Любимая фраза! Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разомъ и всѣ преступленія исчезнутъ, такъ какъ не для чего будетъ протестовать и всѣ въ одинъ мигъ станутъ праведными. Натура не берется въ расчетъ, натура изгоняется, натуры не полагаются! У нихъ не человѣчество, развившіеся, историческимъ, *живымъ* путемъ до

конца, само собою обратится наконецъ въ нормальное общество, а напротивъ, социальная система, выйдя изъ какой-нибудь математической головы, тотчасъ-же и устроитъ все человѣчество и въ одинъ мигъ сдѣлаетъ его праведнымъ и безгрѣшнымъ, раньше всякаго живого пути! Оттого-то они такъ инстинктивно и не любятъ исторію: „безобразія одни въ ней, да глупости“—и все одною только глупостью объясняется! Оттого такъ и не любить *живого* процесса жизни: не надо *живой души*! Живая душа жизни потребуетъ, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна! А тутъ хоть и мертвечинкой припахиваетъ, изъ каучука сдѣлать можно,—за то не живал, за то безъ воли, за то рабская не взбунтуется! И выходитъ въ результатъ, что все на одну только кладку кирпичиковъ, да на расположеніе корридоровъ и комнатъ въ фаланстерѣ свели! Фаланстера-то и готова, да натура-то у васъ для фаланстеры еще не готова, жизни хочетъ, жизненного процесса еще не завершила, рано на кладбище! Съ одной логикой нельзя черезъ натуру перескочить! Логика предугадаетъ три случая, а ихъ миллионъ! Отрѣзаетъ весь миллионъ и все на одинъ вопросъ о комфортѣ свести! Самое легкое разрѣшеніе задачи! Соблазнительно ясно, и думать не надо! Главное—думать не надо. Вся жизненная тайна на двухъ печатныхъ листкахъ умѣщается!“

[Порфирій сообщилъ, что прочелъ статью Раскольниковъ].

— „По поводу всѣхъ этихъ вопросовъ, преступленій, среды, дѣвочекъ, мнѣ вспомнилась теперь,—а впрочемъ и всегда интересовала меня,—одна ваша статейка: *О преступленіи*... или какъ тамъ у васъ, забылъ названіе, не помню. Два мѣсяца назадъ имѣлъ удовольствіе въ *Періодической Речи* прочесть“.—„А вы почему узнали, что статья моя? она буквой подписана“.—„А случайно, и то на-дняхъ. Черезъ редактора; я знакомъ... Весьма заинтересовался“.—„Я разсматривалъ, помнится, психологическое состояніе преступника въ продолженіе всего хода преступленія“.—„Да-съ, и настаиваете, что актъ исполненія преступленія сопровождается всегда болѣзнью. Очень, очень оригинально, но... меня собственно не эта часть вашей статейки заинтересовала, а нѣкоторая мысль, пропущенная въ концѣ статьи, по которую вы, къ сожалѣнію, проводите только намекомъ, неясно... Однимъ словомъ, если припомните, проводится нѣкоторый намекъ на то, что существуютъ на свѣтѣ, будто бы, нѣкоторые такіе лица, которые могутъ... то есть не то что могутъ, а полное право имѣютъ совершать всякія безчинства и преступленія, и что для нихъ, будто бы, и законъ не писанъ“.

Раскольниковъ усмѣхнулся усиленному и умышленному искаженію своей идеи.

— „Какъ? Что такое? Право на преступленіе? Но вѣдь не потому, что „злая среда“? — съ какимъ-то даже испугомъ освѣдомился Разумихинъ.— „Нѣтъ, нѣтъ, не совсѣмъ потому,—отвѣтилъ Порфирій.— Все дѣло въ томъ, что въ ихней статьѣ всѣ люди какъ-то раздѣляются на „обыкновенныхъ“ и „необыкновенныхъ“. Обыкновенные должны жить въ послушаніи и не имѣютъ права переступать закона, потому что они, видите-ли, обыкновенные.

А необыкновенные имѣютъ право дѣлать всякія преступленія и вслѣдствіе преступать законъ, собственно потому, что они необыкновенные. Такъ у васъ, кажется, если только не ошибаюсь?“—„Да какъ же это? Быть не можетъ, чтобы такъ!“—въ недоумѣніи бормоталъ Разумихинъ.

Раскольниковъ усмѣхнулся опять. Онъ разомъ понялъ въ чемъ дѣло и на что его хотятъ натолкнуть; онъ помнилъ свою статью. Онъ рѣшился принять вызовъ.

— „Это не совсѣмъ такъ у меня,—началъ онъ просто и скромно.— Впрочемъ, признаюсь, вы почти вѣрно ее изложили, даже, если хотите, и совершенно вѣрно... (Ему точно пріятно было согласиться, что совершенно вѣрно). Разница единственно въ томъ, что я вовсе не настаиваю, чтобы необыкновенные люди непременно должны и обязаны были творить всегда всякія безчинства, какъ вы говорите. Миѣ кажется даже, что такую статью и въ печать бы не пропустили. Я просто-за-просто намекнулъ, что „необыкновенный“ человѣкъ имѣетъ право... то-есть не официальное право, а самъ имѣетъ право разрѣшить своей совѣсти перешагнуть... черезъ инныя препятствія, и единственно въ томъ только случаѣ, если исполненіе его идеи (иногда спасительной, можетъ быть, для всего человѣчества) того потребуетъ. Вы изволите говорить, что статья моя не ясна; я готовъ ее вамъ разъяснить по возможности. Я можетъ быть не ошибусь, предполагая, что вамъ, кажется, того и хочется; извольте-съ. По-моему, еслибы Кеплеровы и Ньютоновы открытія, вслѣдствіе какихъ-нибудь комбинацій, никомъ образомъ не могли бы стать извѣстными людямъ иначе, какъ съ пожертвованіемъ жизни одного, десяти, ста и такъ далѣе человѣкъ, мѣшавшихъ бы этому открытію или ставшихъ бы на пути какъ препятствіе, то Ньютонъ имѣлъ бы право, и даже былъ бы обязанъ... *устранить* этихъ десять или сто человѣкъ, чтобы сдѣлать извѣстными свои открытія всему человѣчеству. Изъ этого, впрочемъ, вовсе не слѣдуетъ, чтобы Ньютонъ имѣлъ право убивать кого вздумается, встрѣчныхъ и поперечныхъ, или воровать каждый день на базарѣ. Далѣе, помнится миѣ, я развиваю въ моей статьѣ, что всѣ... ну, напримѣръ, хотъ законодатели и установители человѣчества, начиная съ древнѣйшихъ, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и такъ далѣе, всѣ до единого были преступники, уже тѣмъ однимъ, что, давая новый законъ, тѣмъ самымъ нарушали древній, свято чтимый обществомъ и отцовъ перешедшій, и ужъ, конечно, не останавливались и передъ кровью, если только кровь (иногда совсѣмъ невинная и доблестно пролитая за древній законъ) могла имъ помочь. Замѣчательно даже, что большая часть этихъ благодѣтелей и установителей человѣчества были особенно страшные кровопроливцы. Однимъ словомъ, я вывожу, что и всѣ, не то, что великіе, но и чуть-чуть изъ колѣнъ выходящіе люди, то-есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природѣ своей, быть непременно преступниками — болѣе или менѣе, разумеется. Иначе трудно имъ выйти изъ колѣнъ, а оставаться въ колѣяхъ они, конечно, не могутъ согласиться, опять-таки по природѣ своей, а по-моему такъ даже и обязаны не соглашаться. Однимъ словомъ, вы видите, что до сихъ поръ

тутъ нѣтъ ничего особенно новаго. Это тысячу разъ было напечатано и прочитано. Что же касается до моего дѣленія людей на обыкновенныхъ и необыкновенныхъ, то я согласенъ, что оно нѣсколько произвольно, но вѣдь я же на точныхъ цифрахъ и не настаиваю. Я только въ главную мысль мою вѣрю. Она именно состоитъ въ томъ, что люди, по закону природы, раздѣляются *вообще* на два разряда: на низшій (обыкновенныхъ), то-есть, такъ сказать, на матеріалъ, служащій единственно для зарожденія себѣ подобныхъ, и собственно на людей, то-есть имѣющихъ даръ или талантъ сказать въ средѣ своей *новое слово*. Подраздѣленія тутъ, разумѣется, безконечныя, но отличительныя черты обоихъ разрядовъ довольно рѣзкія: первый разрядъ, то-есть матеріалъ, говоря вообще, люди по натурѣ своей консервативныя, чинныя, живутъ въ послушаніи и любятъ быть послушными. По моему, они и обязаны быть послушными, потому что это ихъ назначеніе, тутъ рѣшительно нѣтъ ничего для нихъ унижительнаго. Второй разрядъ всѣ преступаютъ законъ, разрушители, ибо склонны къ тому, судя по способностямъ. Преступленія этихъ людей, разумѣется, относительны и многоразличны; большею частью они требуютъ, въ весьма разнообразныхъ заведеніяхъ, разрушенія настоящаго во имя лучшаго. Но если ему надо, ~~да~~ своей идеи, перешагнуть хотя бы и черезъ трупъ, черезъ кровь, то онъ внутри себя, по совѣсти, можетъ, по-моему, дать себѣ разрѣшеніе перешагнуть черезъ кровь,—смотря впрочемъ по идеѣ и по размѣрамъ ея,—это замѣтите. Въ этомъ только смыслъ я и говорю въ моей статьѣ объ ихъ правѣ на преступленіе. (Вы припомните, у насъ вѣдь съ юридическаго вопроса началось). Впрочемъ, тревожиться много нечего: масса никогда почти не признаетъ за ними этого права, казнить ихъ и вѣшаетъ (болѣе или менѣе) и тѣмъ, совершенно справедливо, исполняетъ консервативное свое назначеніе, съ тѣмъ однакожъ, что въ слѣдующихъ поколѣніяхъ эта же масса ставитъ казненныхъ на пьедесталъ и имъ поклоняется (болѣе или менѣе). Первый разрядъ всегда—господинъ настоящаго, второй разрядъ—господинъ будущаго. Первые сохраняютъ міръ и приумножаютъ его численныя вторые двигаютъ міръ и ведутъ его къ цѣли. И тѣ, и другіе имѣютъ совершенно одинаковое право существовать. Однимъ словомъ, у меня всѣ равныя право имѣютъ, и—*vive la guerre éternelle*,—до Новаго Іерусалима разумѣется!“—„Такъ вы все-таки вѣрите же въ Новый Іерусалимъ?“—, рую“,—твердо отвѣчалъ Раскольниковъ; говоря это и въ продолженіе длинной тирады своей, онъ смотрѣлъ въ землю, выбравъ себѣ точи коверъ.—„И-и въ Бога вѣруете? Извините, что такъ любопытству“ „Вѣрую“,—повторилъ Раскольниковъ, поднимая глаза на Порфирія.— „въ воскресеніе Лазаря вѣруете?“—„Вѣ-вѣрую. Зачѣмъ вамъ все э“ „Буквально вѣруете?“—„Буквально“.—„Вотъ какъ-съ... такъ полюбощивалъ. Извините-съ. Но позвольте, обращаюсь къ давешнему—вѣ не всегда же казнить; иные напротивъ“...—„Торжествуютъ при жидѣ, иные достигаютъ и при жизни, и тогда...“—„Сами начинаютъ ка“—„Если надо, и, знаете, даже большею частью. Вообще замѣчал остроумно“.—„Благодарю-съ. Но вотъ что скажите: чѣмъ же бы

этихъ необыкновенныхъ-то отъ обыкновенныхъ? При рожденіи что-ль знаки такіе есть? Я въ томъ смыслѣ, что тутъ надо бы побольше точности, такъ сказать, болѣе наружной опредѣленности: извините во мнѣ естественное безпокойство практическаго и благонамѣреннаго человѣка, но нельзя ли тутъ одежду, напимѣръ, особую завести, носить что-нибудь, клеймы тамъ что-ли какія?... Потому, согласитесь, если произойдетъ путаница, и одинъ изъ одного разряда вообразить, что онъ принадлежитъ къ другому разряду и начнетъ „устранять всѣ препятствія“, какъ вы весьма счастливо выразились, такъ вѣдь тутъ...“—„О, это весьма часто бываетъ! Это замѣчаніе ваше еще даже остроумнѣе давешняго...“—„Благодарю-съ“...—„Не стоитъ-съ; но примите въ соображеніе, что ошибка возможна вѣдь только со стороны перваго разряда, то-есть „обыкновенныхъ“ людей (какъ я, можетъ быть очень неудачно, ихъ назвалъ). Несмотря на врожденную склонность ихъ къ послушанію, по нѣкоторой игривости природы, въ которой не отказано даже и коровѣ, весьма многіе изъ нихъ любятъ воображать себѣ передовыми людьми, „разрушителями“ и лѣзть въ „новое слово“, и это совершенно искренно-съ. Дѣйствительно же *новыя* они въ то же время весьма часто не замѣчаютъ и даже презируютъ, какъ отсталыхъ и унижительно думающихъ людей. Но, по моему, тутъ не можетъ быть значительной опасности, и вамъ, право, нечего безпокоиться, потому что они никогда далеко не шагаютъ. За увлеченіе, конечно, ихъ можно иногда бы посѣть, чтобы напомнить имъ свое мѣсто; но не болѣе; тутъ и исполнителя даже не надо: они сами себя посѣкутъ, потому что очень благоправны; иные другъ дружку эту услугу оказываютъ, а другіе сами себя собственноручно... Покаянія разныя публичныя при семъ на себя налагаютъ—выходить красиво и назидательно, однимъ словомъ, вамъ безпокоиться нечего... Такой законъ есть“.—„Ну, по крайней мѣрѣ, съ этой стороны вы меня хоть нѣсколько успокоили; но вотъ, вѣдь, опять бѣда-съ: скажите пожалуйста, много-ли такихъ людей, которые другихъ-то рѣзать право имѣютъ, „необыкновенныхъ-то“ этихъ? Я, конечно, готовъ преклониться, но вѣдь, согласитесь, жутко-съ, если ужъ очень-то много ихъ будетъ, а?“—„О, не безпокойтесь и въ этомъ,—тѣмъ же тономъ продолжалъ Раскольниковъ.—Вообще, людей съ новою мыслью, даже чуть-чуть только способныхъ сказать хоть что-нибудь *новое*, необыкновенно мало рождается, даже до странности мало. Ясно только одно, что порядокъ зарожденія людей, всѣхъ этихъ разрядовъ и подраздѣленій, должно быть весьма вѣрно и точно опредѣленъ какимъ-нибудь закономъ природы. Законъ этотъ, разумѣется, теперь не извѣстенъ, но я вѣрю, что онъ существуетъ и впоследствии можетъ стать и извѣстнымъ. Огромная масса людей, матеріалъ, для того только и существуетъ на свѣтѣ, чтобы наконецъ, чрезъ какое-то усиленіе, какимъ-то таинственнымъ до сихъ поръ процессомъ, посредствомъ какого-нибудь перекрещиванія родовъ и породъ, понатужиться и породить, наконецъ, на свѣтъ, ну, хоть изъ тысячи одного, хотя сколько-нибудь самостоятельнаго человѣка. Еще съ болѣе широкою самостоятельностью рождается, можетъ быть, изъ десяти тысячъ одинъ (я говорю примѣрно, наглядно). Еще съ болѣе широкою—изъ ста тысячъ одинъ. Гениальные люди изъ мил-

новъ, а великіе геніи, завершители челоуѣчества, можетъ быть по исте-
іи многихъ тысячей милліоновъ людей на землѣ. Однимъ словомъ, въ
торту, въ которой все это происходитъ, я не заглядывалъ. Но опредѣ-
енный законъ непремѣнно есть и долженъ быть; тутъ не можетъ быть слу-
ая“. — „Да что вы оба шутите, что-ль? — вскричалъ наконецъ Разумихинъ. —
Морочите вы другъ друга или нѣтъ? Сидятъ и одинъ надъ другимъ под-
шучиваютъ! Ты серьезно, Родя?“

Раскольниковъ молча поднялъ на него свое блѣдное и почти грустное
лицо и ничего не отвѣтилъ. И странною показалась Разумихину, рядомъ
съ этимъ тихимъ и грустнымъ лицомъ, нескрываемая, навязчивая, раздра-
жительная и *невъжливая* извительность Порфирія.

— „Ну, братъ, если дѣйствительно это серьезно, то... Ты, конечно,
правъ, говоря, что это не ново и похоже на все, что мы тысячу разъ чи-
тали и слышали; но что, дѣйствительно, *оригинально* во всемъ этомъ, — и
дѣйствительно принадлежитъ одному тебѣ, къ моему ужасу, это то, что
все-таки кровь *по совѣсти* разрѣшаешь, и, извини меня, съ такимъ фана-
тизмомъ даже... Въ этомъ стало-быть и главная мысль твоей статьи заклю-
чается. Вѣдь это разрѣшеніе крови *по совѣсти*, это... это по моему страш-
нѣе, чѣмъ бы официальное разрѣшеніе крови проливать, законное...“. — „Со-
вершенно справедливо, страшнѣе-съ“, — отозвался Порфирій. — „Нѣтъ, ты
какъ-нибудь да увлечся! Тутъ ошибка. Я прочту... Ты увлечся! Ты не мо-
жешь такъ думать... Прочту“. — „Въ статьѣ всего этого нѣтъ, тамъ только
намеки“, — проговорилъ Раскольниковъ. — „Такъ-съ, такъ-съ, — не сидѣлось
Порфирію, — мнѣ почти стало ясно теперь, какъ вы на преступленіе изволите
смотрѣть-съ, но... ужъ извините меня за мою назойливость (безпокою ужъ
очень васъ, самому совѣстно!) — видите ли-съ: успокоили вы меня давеча
очень-съ насчетъ ошибочныхъ-то случаевъ смѣшенія обоихъ разрядовъ, но...
меня все тутъ практическіе разные случаи опять безпокоятъ! Ну, какъ инс
какой-нибудь мужъ, али юноша, вообразить, что онъ Ликургъ, али Маг-
метъ... — будущій разумѣется, — да и давай устранять къ тому всѣ преп-
ствія... Предстоитъ, дескать, далекій походъ, а въ походъ деньги нужны
ну, и начнетъ добывать себѣ для похода... знаете?“

Заметовъ вдругъ фыркнулъ изъ своего угла. Раскольниковъ даже г.
на него не поднялъ.

— „Я долженъ согласиться, — спокойно отвѣчалъ онъ, — что такіе
чаи дѣйствительно должны быть. Глупенькіе и тщеславные особенно г
удочку попадаются; молодежь въ особенности.“ — „Вотъ видите-съ. Ну
какъ-же-съ?“ — „Да и также, — усмѣхнулся Раскольниковъ, — не я въ
виноватъ. Такъ есть и будетъ всегда. Вотъ онъ (онъ кивнулъ на І
хна) говорилъ сейчасъ, что я кровь разрѣшаю. Такъ что-же? Ос-
вѣдъ слишкомъ обезпечено ссылками, тюрьмами, судебными слѣдова-
каторгами, — чего-же безпокоиться? И ищите вора!..“ — „Ну, а коль с-
— „Туда ему и дорога.“ — „Вы таки логичны. Ну-съ, а насчетъ е-
сти-то?“ — „Да какое вамъ до нея дѣло?“ — „Да такъ ужъ, по гуманн-
ость она, тотъ страдай, коль сознаетъ ошибку. Это и

ему опричь каторги.“ — „Ну, а дѣйствительно-то гениальные, — нахмурясь спросилъ Разумихинъ, — вотъ тѣ-то, которымъ рѣзать-то право дано, тѣ такъ ужъ и должны не страдать совсѣмъ, даже за кровь пролитую?“ — „Зачѣмъ тутъ слово *должны*? Тутъ нѣтъ ни позволенія, ни запрещенія. Пусть страдаетъ, если жаль жертву... Страданіе и боль всегда обязательны для широкаго сознанія и глубокаго сердца. Истинно великіе люди, мнѣ кажется, должны ощущать на свѣтѣ великую грусть,“ — прибавилъ онъ вдругъ задумчиво, даже не въ тонъ разговора.

Онъ поднялъ глаза, вдумчиво посмотрѣлъ на всѣхъ, улыбнулся и взялъ фуражку. Онъ былъ слишкомъ спокоенъ сравнительно съ тѣмъ, какъ велъ давеча, и чувствовалъ это. Всѣ встали.

— „Ну-съ, браните меня или нѣтъ, сердитесь или нѣтъ, а я не могу потерпѣть, — заключилъ опять Порфирій Петровичъ, — позвольте еще вопросикъ одинъ (очень ужъ я васъ безпокою-съ!), одну только маленькую идейку хотѣлъ пропустить, единственно только чтобы не забыть-съ...“ — „Хорошо, скажите вашу идейку,“ — серьезный и блѣдный стоялъ передъ нимъ въ ожиданіи Раскольниковъ. — „Вѣдь вотъ-съ... право не знаю, какъ-бы удачнѣе выразиться... идейка-то ужъ слишкомъ игривенькая... психологическая-съ... Вѣдь вотъ-съ, когда вы вашу статейку-то сочиняли, — вѣдь ужъ быть того не можетъ, хе, хе! чтобы вы сами себя не считали, ну хоть на капельку, тоже человѣкомъ „необыкновеннымъ“ и говорящимъ *новое слово*, въ вашемъ то-есть смыслѣ-съ... Вѣдь такъ-съ?“ — „Очень можетъ быть,“ — презрительно отвѣтилъ Раскольниковъ. Разумихинъ сдѣлалъ движеніе. — „А коль такъ-съ, то неужели вы-бы сами рѣшились, ну тамъ, въ виду житейскихъ какихъ-нибудь неудачъ и стѣсненій, или для споспѣшествованія какъ-нибудь всему человѣчеству, перешагнуть черезъ препятствіе-то?.. Ну, напримѣръ, убить и ограбить?..“

И онъ какъ-то вдругъ опять подмигнулъ ему лѣвымъ глазомъ и разсмѣялся неслышно, точь-въ-точь какъ давеча.

— „Если-бъ я и перешагнулъ, то ужъ конечно-бы вамъ не сказалъ,“ — съ вызывающимъ надменнымъ презрѣніемъ отвѣтилъ Раскольниковъ. — „Нѣтъ-съ, это вѣдь я такъ только интересуюсь, собственно для уразумѣнія вашей статьи, въ литературномъ только одномъ отношеніи-съ...“

„Фу, какъ это явно и нагло!“ — съ отвращеніемъ подумалъ Раскольниковъ.

— „Позвольте вамъ замѣтить, — отвѣчалъ онъ сухо, — что Магометомъ или Наполеономъ я себя не считаю... ни кѣмъ-бы то ни было изъ подобныхъ лицъ, а слѣдственно и не могу, не бывъ ими, дать вамъ удовлетворительнаго объясненія о томъ, какъ-бы я поступилъ.“ — „Ну, полноте, кто-жъ у насъ на Руси себя Наполеономъ теперь не считаетъ?“ — съ страшною фамильярностью произнесъ вдругъ Порфирій. Даже въ интонаціи его голоса было на этотъ разъ нѣчто ужъ особенно ясное. — „Ужъ не Наполеонъ-ли какой будущій и нашу Алену Ивановну на прошлой недѣлѣ топоромъ уколошилъ?“ — брякнулъ вдругъ изъ угла Заметовъ.

Раскольниковъ молчалъ и пристально, твердо смотрѣлъ на Порфирія.

Разумихинъ мрачно нахмурился. Ему ужъ и прежде стало какъ будто что-то казаться. Онъ гнѣвно посмотрѣлъ кругомъ. Прошла минута мрачнаго молчанія. Раскольниковъ повернулся уходить.

— „Вы ужъ уходите! — ласково проговорилъ Порфирій, чрезвычайно любезно протягивая руку. — Очень, очень радъ знакомству. А насчетъ вашей просьбы не имѣйте и сомнѣнія. Такъ-таки и напишите, какъ я вамъ говорилъ. Да лучше всего зайдите ко мнѣ туда сами... какъ-нибудь на-дняхъ... да хоть завтра. Я буду тамъ часовъ этакъ въ одиннадцать навѣрно. Все и устроимъ... поговоримъ... Вы-же какъ одинъ изъ послѣднихъ, *тамъ бывшихъ*, можетъ что-нибудь и сказать-бы намъ могли...“ — прибавилъ онъ съ добродушнѣйшимъ видомъ. — „Вы хотите меня официально допрашивать, со всею обстановкой?“ — рѣзко спросилъ Раскольниковъ. — „Зачѣмъ-же-съ? пока-мѣстъ это вовсе не требуется. Вы не такъ поняли. Я, видите-ли, не упускаю случая и... и со всѣми закладчиками уже разговаривалъ... отъ иныхъ отбиралъ показанія... а вы, какъ послѣдній. Да вотъ, кстати-же! — вскрикнулъ онъ, чему-то внезапно обрадовавшись, — кстати вспомнилъ, чтожъ это я!... — повернулся онъ къ Разумихину, — вотъ вѣдь ты объ этомъ Николашкѣ мнѣ тогда уши проморозилъ... ну, вѣдь и самъ знаю, — повернулся онъ къ Раскольникову, — что парень чистъ, да вѣдь чтожъ дѣлать, и Митьку вотъ пришлось обезпечить... вотъ въ чемъ дѣло-съ, вся-то суть-съ: проходя тогда по лѣстницѣ... позвольте: вѣдь вы въ восьмомъ часу были-съ?“ — „Въ восьмомъ,“ — отвѣчалъ Раскольниковъ, неприятно почувствовавъ въ ту-же секунду, что могъ-бы этого и не говорить. — „Такъ проходя-то въ восьмомъ часу-съ, по лѣстницѣ-то, не видали-ль хоть вы, во второмъ-то этажѣ, въ квартирѣ-то отворенной — помните? двухъ работниковъ или хоть одного изъ нихъ? они красили тамъ, не замѣтили-ли? это очень, очень важно для нихъ!“ — „Красильщиковъ? нѣтъ, не видалъ... — медленно и какъ-бы роясь въ воспоминаніяхъ отвѣчалъ Раскольниковъ, въ тотъ-же мигъ напрягаясь всѣмъ существомъ своимъ и замирая отъ муки поскорѣй-бы отгадать, въ чемъ именно ловушка и не просмотрѣть-бы чего. — Нѣтъ, не видалъ, да и квартиры такой, отпертой, что-то не замѣтилъ... а вотъ въ четвертомъ этажѣ (онъ уже вполне овладѣлъ ловушкой и торжествовалъ) такъ помню, что чиновникъ одинъ переѣзжалъ изъ квартиры... напротивъ Алены Ивановны... помню... это я ясно помню... солдаты диванъ какой-то выносили и меня къ стѣнѣ прижали... а красильщиковъ нѣтъ, не помню, чтобы красильщики были... да и квартиры отпертой нигдѣ, кажется, не было. Да, не было...“ — „Да ты что-же! — крикнулъ вдругъ Разумихинъ, какъ-бы опомнившись и сообразивъ, — да вѣдь красильщики мазали въ самый день убійства, а вѣдь онъ за три дня тамъ былъ? ты что спрашиваешь-то?“ — „Фу! пере-мѣшалъ! — хлопнулъ себя по лбу Порфирій. — Чортъ возьми, у меня съ этимъ дѣломъ умъ за разумъ заходитъ! — обратился онъ, какъ-бы даже извиняясь, къ Раскольникову; намъ вѣдь такъ-бы важно узнать, не видалъ-ли кто ихъ, въ восьмомъ-то часу, въ квартирѣ-то, что мнѣ и вообразись сейчасъ, что вы тоже могли-бы сказать... совсѣмъ перемѣшалъ!“ — „Такъ надо быть внимательнѣе,“ — угрюмо замѣтилъ Разумихинъ.

Послѣднія слова были сказаны уже въ передней. Порфирій Петровичъ проводилъ ихъ до самой двери чрезвычайно любезно. Оба вышли мрачные и хмурые на улицу и нѣсколько шаговъ не говорили ни слова. Раскольниковъ глубоко перевелъ дыханіе...

Мѣщанинъ. [Когда Раскольниковъ подходилъ къ своему дому, онъ увидалъ, что дворникъ показываетъ на него какому-то мѣщанину. Увидавъ Раскольникова, онъ пошелъ далѣе].

Раскольниковъ бросился вслѣдъ за мѣщаниномъ и тотчасъ же увидѣлъ его идущаго по другой сторонѣ улицы, прежнимъ ровнымъ и неспѣшнымъ шагомъ, уткнувъ глаза въ землю и какъ бы что-то обдумывая. Онъ скоро догналъ его, но нѣкоторое время шелъ сзади, наконецъ поровнялся съ нимъ и заглянулъ ему сбоку въ лицо. Тотъ тотчасъ же замѣтилъ его, быстро оглядѣлъ, но опять опустилъ глаза, и такъ шли они съ минутой, одинъ подлѣ другого и не говоря ни слова.

— „Вы меня спрашивали... у дворника?“ — проговорилъ наконецъ Раскольниковъ, но какъ-то очень не громко.

Мѣщанинъ не далъ никакого отвѣта и даже не поглядѣлъ. Опять помолчали.

— „Да что вы... приходите спрашивать... и молчите... да что же это такое?“ — Голосъ Раскольникова прерывался, и слова какъ-то не хотѣли ясно выговариваться.

Мѣщанинъ на этотъ разъ поднялъ глаза и зловѣщимъ мрачнымъ взглядомъ посмотрѣлъ на Раскольникова.

— „Убивецъ!“ — проговорилъ онъ вдругъ тихимъ, но яснымъ и отчетливымъ голосомъ...

Раскольниковъ шелъ подлѣ него. Ноги его ужасно вдругъ ослабѣли, на спинѣ похолодѣло, и сердце на мгновеніе какъ-будто замерло; потомъ вдругъ застучало, точно съ крючка сорвалось. Такъ прошли они шаговъ сотню рядомъ и опять совсѣмъ молча.

Мѣщанинъ не глядѣлъ на него.

— „Да что вы... что... кто убійца?“ — пробормоталъ Раскольниковъ едва слышно. — „Ты убивецъ“, — произнесъ тотъ еще раздѣльнѣе и внушительнѣе и какъ-бы съ улыбкой какого-то ненавистнаго торжества и опять прямо глянулъ въ блѣдное лицо Раскольникова и въ его помертвѣвшіе глаза. Оба подошли тогда къ перекрестку. Мѣщанинъ повернулъ въ улицу налѣво и пошелъ не оглядываясь. Раскольниковъ остался на мѣстѣ и долго глядѣлъ ему вслѣдъ. Онъ видѣлъ, какъ тотъ, пройдя уже шаговъ съ пятьдесятъ, обернулся и посмотрѣлъ на него, все еще стоявшаго неподвижно на томъ же мѣстѣ. Разглядѣть нельзя было, но Раскольникову показалось, что тотъ и въ этотъ разъ улыбнулся своею холодно-ненавистною и торжествующею улыбкой.

Тихимъ, ослабѣвшимъ шагомъ, съ дрожащими колѣнями и какъ бы ужасно озыбшій, воротился Раскольниковъ назадъ и поднялся въ свою каморку. Онъ снялъ и положилъ фуражку на столъ и минутъ десять стоялъ подлѣ, неподвижно. Затѣмъ въ безсиліи легъ на диванъ и болѣзненно, съ

слабымъ стономъ, протянулся на немъ; глаза его были закрыты. Такъ пролежалъ онъ съ полчаса.

Прошло еще съ полчаса. Раскольниковъ открылъ глаза и вскинулся опять навзничь, заломивъ руки за голову...

„Кто онъ? Кто этотъ вышедшій изъ-подъ земли человѣкъ? Гдѣ былъ онъ и что видѣлъ? Онъ видѣлъ все, это несомнѣнно. Гдѣ-жъ онъ тогда стоялъ и откуда смотрѣлъ? Почему онъ только теперь выходитъ изъ-подъ полу? И какъ могъ онъ видѣть, — развѣ это возможно?.. Гм...—продолжалъ Раскольниковъ, холодѣя и вздрагивая, — а футляръ, который нашелъ Николай за дверью: развѣ это тоже возможно? Улики? Стотысячную черточку просмотришь, — вотъ и улика въ пирамиду египетскую! Муха летала, она видѣла! Развѣ такъ возможно?“

И онъ съ омерзениемъ почувствовалъ вдругъ, какъ онъ ослабѣлъ, физически ослабѣлъ.

„Я это долженъ былъ знать, — думалъ онъ съ горькою усмѣшкой, — и какъ смѣлъ я, зная себя, *предчувствуя* себя, брать топоръ и кровавиться. Я обязанъ былъ заранѣе знать... Э! да вѣдь я же заранѣе и зналъ!..“ — прошепталъ онъ въ отчаяніи.

Порою онъ останавливался неподвижно передъ какою-нибудь мыслью:

„Нѣтъ, тѣ люди не такъ сдѣланы: настоящій *властелинъ*, кому все разрѣшится, громить Тулонъ, дѣлаетъ рѣзню въ Парижѣ, *забываетъ* армию въ Египтѣ, *тратитъ* полмилліона людей въ московскомъ походѣ и отдѣлывается каламбуромъ въ Вильнѣ; и ему же, по смерти, ставятъ кумиры, а стало-быть и *все* разрѣшается. Нѣтъ, на такихъ людяхъ, видно, не тѣло, а бронза!“

Одна внезапная посторонняя мысль вдругъ почти разсмѣшила его:

„Наполеонъ, пирамиды, Ватерлоо, — и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, съ красною укладкою подъ кроватью, — ну каково это переварить хоть бы Порфирію Петровичу!.. Гдѣ-жъ имъ переварить!.. эстетика помѣшаетъ: „полѣзетъ-ли, дескать, Наполеонъ подъ кровать къ „старушонкѣ!“ Эхъ, дрянь!..“

Минутами онъ чувствовалъ, что какъ бы бредить; онъ впадалъ въ лихорадочно-восторженное настроеніе.

„Старушонка вздоръ, — думалъ онъ горячо и порывисто, — старуха пожалуй что и ошибка, не въ ней и дѣло! Старуха была только болѣзнь... я переступить поскорѣе хотѣлъ... я не человѣка убилъ, я принципъ убилъ! Принципъ-то я и убилъ, а переступить-то не переступилъ, на этой сторонѣ остался... Только и сумѣлъ что убить! Да и того не сумѣлъ оказывается... Принципъ? За что давеча дурачокъ Разумихинъ социалистовъ бранилъ? Трудолюбивый народъ и торговый; „общимъ счастьемъ“ занимаются... Нѣтъ, мнѣ жизнь однажды дается и никогда ея больше не будетъ: я не хочу дожидаться „всеобщаго счастья“. Я и самъ хочу жить, а то лучше ужъ и не жить. Чтожъ? Я только не захотѣлъ проходить мимо голодной матери, зажимая въ карманѣ свой рубль, въ ожиданіи „всеобщаго счастья“. „Несу, дескать, кирпичикъ на *всеобщее счастье* и отъ того ощущаю спокойствіе сердца“. Ха-ха! Зачѣмъ же

вы меня-то пропустили? Я вѣдь всего однажды живу, я вѣдь тоже хочу... Эхъ, эстетическая я вошь, и больше ничего,—прибавилъ онъ вдругъ, разсмѣявшись, какъ помѣшанный. — Да, я дѣйствительно вошь,—продолжалъ онъ, съ злорадствомъ прицѣпившись къ мысли, роаясь въ ней, играя и потѣшаясь ею, — и ужъ потому одному, что, во-первыхъ, теперь разсуждаю про то, что я вошь; потому, во-вторыхъ, что цѣлый мѣсяцъ всеблагое Провидѣніе беспокоилъ, призывая въ свидѣтели, что не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имѣя въ виду великолѣпную и пріятную цѣль, ха-ха! Потому, въ-третьихъ, что возможную справедливость положилъ наблюдать въ исполненіи, вѣсь и мѣру и ариметику: изъ всѣхъ вшей выбралъ самую наибезполезнѣйшую и, убивъ ее, положилъ взять у ней ровно столько, сколько мнѣ надо для перваго шага и ни больше и ни меньше (а остальное, стало быть, такъ и пошло бы на монастырь, по духовному завѣщанію—ха-ха!)... Потому, потому я окончательно вошь,—прибавилъ онъ скрежеща зубами,—потому, что самъ-то я, можетъ быть, еще сквернѣе и гаже, чѣмъ убитая вошь, и заранѣе *предчувствовалъ*, что скажу себѣ это уже *послѣ* того, какъ убью! Да развѣ съ такимъ ужасомъ что-нибудь можетъ сравниться! О, пошлость! о, подлость!.. О, какъ я понимаю „пророка“ съ саблей, на конѣ. Велитъ Аллахъ, и повинуйся, „дрожащая“ тварь! Правъ, правъ „пророкъ“, когда ставитъ гдѣ-нибудь поперекъ улицы хор-р-рошую батарею и дуется въ праваго и виноватаго, не удостоивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь и — *не желай*, потому не твое это дѣло!.. О, ни за что, ни за что не прощу старушонкѣ!“

Волосы его были смочены потомъ, вздрагивавшія губы запеклись, неподвижный взглядъ былъ устремленъ въ потолокъ.

„Мать, сестра, какъ любилъ я ихъ! Отчего теперь я ихъ ненавижу? Да, я ихъ ненавижу, физически ненавижу, подлѣ себя не могу выносить... Давеча я подошелъ и поцѣловалъ мать, я помню... Обнимать и думать, что еслибъ она узнала, то... развѣ сказать ей тогда? Отъ меня это станется... Гм! она должна быть такая же, какъ и я,—прибавилъ онъ, думая съ успліемъ, какъ будто борясь съ охватывавшимъ его бредомъ.—О, какъ я ненавижу теперь старушонку! кажется бы другой разъ убилъ, еслибъ очнулась! Бѣдная Лизавета! Зачѣмъ она тутъ подвернулась!.. Странно однакожъ, почему я объ ней почти и не думаю, точно и не убивалъ?.. Лизавета! Соня! бѣдныя, кроткія, съ глазами кроткими... Милыя!.. Зачѣмъ онѣ не плачутъ? Зачѣмъ онѣ не стонутъ?.. Онѣ все отдають... глядятъ кротко и тихо... Соня! Соня! тихая Соня!..“

Раскольниковъ у Сони. [Раскольниковъ пришелъ къ ней сказать, что онъ бросилъ мать и сестру, не можетъ съ ними жить. Въ разговорѣ съ Соней онъ вспоминалъ подробности ея жизни,—все, что узналъ онъ Мармеладова].

— „Катерина Ивановна вѣдь васъ чуть не била, у отца-то?“ — „Ахъ нѣтъ, что вы, что вы это, нѣтъ!“—съ какимъ-то даже испугомъ посмотрѣла на него Соня. — „Та кѣвы ее любите?“ — „Ее? да ка-а-акъ-же!—протянула Соня жалобно и съ состраданіемъ сложивъ вдругъ руки.—Ахъ! вы ее... Ескабъ

вы только знали. Вѣдь она совсѣмъ какъ ребенокъ... Вѣдь у ней умъ совсѣмъ какъ помѣшанъ... отъ горя. А какая она умная была... какая великодушная... какая добрая! Вы ничего, ничего не знаете... ахъ!"

Соня проговорила это точно въ отчаяніи, волнуясь и страдая, и ломая руки. Блѣдныя щеки ея опять вспыхнули, въ глазахъ выразилась мука. Видно было, что въ ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотѣлось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то *ненасытимое* состраданіе, если можно такъ выразиться, изобразилось вдругъ во всѣхъ чертахъ лица ея.

— „Била! Да что вы это! Господи, била! А хоть-бы и била, такъ чтожъ! Ну такъ чтожъ? Вы ничего, ничего не знаете... Это такая несчастная, ахъ, какая несчастная! И больная... Она справедливости ищетъ... Она чистая. Она такъ вѣритъ, что во всемъ справедливость должна быть, и требуетъ... И хоть мучайте ее, а она несправедливаго не сдѣлаетъ. Она сама не замѣчаетъ, какъ это все нельзя, чтобы справедливо было въ людяхъ, и раздражается... Какъ ребенокъ, какъ ребенокъ! Она справедливая, справедливая!“ — „А съ вами что будетъ?“

Соня посмотрѣла вопросительно.

— „Съ чего-жъ это она такъ храбрится? На васъ надѣется?“ — „Ахъ, нѣтъ, не говорите такъ! Мы одно, заодно живемъ,—вдругъ опять взволновалась и даже раздражилась Соня, точъ-въ-точъ какъ если бы разсердилась банарейка или какая другая маленькая птичка.—Да и какъ-же ей быть? Ну какъ-же, какъ-же быть?—спрашивала она, горячась и волнуясь.—А сколько, сколько она сегодня плакала! У ней умъ мѣшается, вы этого не замѣтили? Мѣшается; то тревожится какъ маленькая о томъ, чтобы завтра все прилично было, закуски были и все... то руки ломаетъ, кровью харкаетъ, плачетъ, вдругъ стучать начнетъ головой объ стѣну, какъ въ отчаяніи. А потомъ опять утѣшится, на васъ она все надѣется: говоритъ, что вы теперь ей помощникъ и что она гдѣ-нибудь немного денегъ займетъ и поѣдетъ въ свой городъ, со мною, и пансіонъ для благородныхъ дѣвицъ заведетъ, а меня возьметъ надзирательницей, и начнется у насъ совсѣмъ новая, прекрасная жизнь, и цѣлуетъ меня, обнимаетъ, утѣшаетъ и вѣдь такъ вѣритъ, такъ вѣритъ фантазіямъ-то! Ну, развѣ можно ей противорѣчить? А сама-то весь-то день сегодня моетъ, чиститъ, чинитъ, корыто сама, съ своею слабенькою-то силой, въ комнату втащила, запыхалась, такъ и упала на постель; а то мы въ ряды еще съ ней утромъ ходили, башмачки Полчекѣ и Ленѣ купить, потому у нихъ всѣ развалились, только у насъ денегъ-то и не достало по расчету, очень много не достало, а она такія маленькія ботиночки выбрала, потому у ней вкусъ есть, вы не знаете... Тутъ-же въ лавкѣ такъ и заплакала, при покупкахъ-то, что не достало... Ахъ, какъ было жалко смотрѣть.“ — „Ну, а коль вы, еще при Катеринѣ Ивановичѣ, теперь заболѣте и васъ въ больницу свезутъ. ну что тогда будетъ?“ — безжалостно настаивалъ онъ.— „Ахъ, что вы, что вы!“ — „Этого-то ужъ не можетъ-быть!“ — и лицо Сони искривилось страшнымъ испугомъ. — „Какъ не можетъ быть? — продолжалъ Раскольниковъ съ жесткой усмѣшкой, — не застрахованы же вы? Тогда что съ ними станется? На улицу всюю гурьбой пойдутъ, она будетъ кашлять и

просить и объ стѣну гдѣ-нибудь головой стучать, какъ сегодня, а дѣти плакать... А тамъ упадетъ, въ часть свезутъ, въ больницу, умретъ, а дѣти...“ — „Охъ, нѣтъ!.. Богъ этого не попуститъ!“ — вырвалось наконецъ изъ стѣсенной груди у Сони. Она слушала съ мольбой, смотря на него и складывая въ нѣмой просьбѣ руки, точно отъ него все и зависѣло. — „Да можетъ и Бога-то совсѣмъ нѣтъ“, — съ какимъ-то даже злорадствомъ отвѣтилъ Раскольниковъ, засмѣялся и посмотрѣлъ на нее.

Лицо Сони вдругъ страшно измѣнилось: по немъ пробѣжали судороги. Съ невыразимымъ укоромъ взглянула она на него, хотѣла было что-то сказать, но ничего не могла выговорить и только вдругъ горько-горько зарыдала, закрывъ руками лицо.

— „Вы говорите, у Катерины Ивановны умъ мѣшается; у васъ самой умъ мѣшается“, — проговорилъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.

Прошло минутъ пять. Онъ все ходилъ взадъ и впередъ, молча и не взглядывая на нее. Наконецъ подошелъ къ ней; глаза его сверкали. Онъ взялъ ее обѣими руками за плечи и прямо посмотрѣлъ въ ея плачущее лицо. Взглядъ его былъ сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали... Вдругъ онъ весь быстро наклонился и, припавъ къ полу, поцѣловалъ ея ногу. Соня въ ужасѣ отъ него отшатнулась, какъ отъ сумасшедшаго. И дѣйствительно онъ смотрѣлъ какъ совсѣмъ сумасшедшій.

— „Что вы, что вы это? Передо мной!“ — пробормотала она поблѣднѣвъ и больно-больно сжало вдругъ ей сердце.

Онъ тотчасъ же всталъ.

— „Я не тебѣ поклонился, я всему страданію человѣческому поклонился, — какъ-то дико произнесъ онъ и отошелъ къ окну. — Слушай, — прибавилъ онъ, воротившись къ ней черезъ минуту, — я давеча сказалъ одному обидчику, что онъ не стоитъ одного твоего мизинца... и что я моей сестрѣ сдѣлалъ сегодня честь, посадивъ ее рядомъ съ тобою“. — „Ахъ, что вы это имъ сказали! и при ней? — испуганно вскрикнула Соня, — сидѣть со мной! Честь! Да вѣдь я... безчестная... Ахъ, что вы это сказали!“ — „Не за безчестіе и грѣхъ я сказалъ это про тебя, а за великое страданіе твое. А что ты великая грѣшница, то это такъ, — прибавилъ онъ почти восторженно, — а хуже всего тѣмъ ты грѣшница, что *понапрасну* умертвила и предала себя. Еще бы это не ужасъ! Еще бы не ужасъ, что ты живешь въ этой грязи, которую такъ ненавидишь, и въ то же время знаешь сама (только стоишь глаза раскрыты), что никому ты этимъ не помогаешь и никого ни отъ чего не спасаешь! Да скажи же мнѣ наконецъ, — проговорилъ онъ, почти въ изступленіи, — какъ этакой позоръ и такая низость въ тебѣ рядомъ съ другими противоположными и святыми чувствами совмѣщаются? Вѣдь справедливѣе, тысячу разъ справедливѣе и разумнѣе было бы прямо головой въ воду и разомъ покончить!“ — „А съ ними-то что будетъ?“ — слабо спросила Соня, страдальчески взглянувъ на него, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы вовсе и не удивившись его предложенію. Раскольниковъ странно посмотрѣлъ на нее. — „Такъ ты очень молишься Богу-то, Соня?“ — спросилъ онъ ее.

Соня молчала, онъ стоялъ подлѣ нея и ждалъ отвѣта.

— „Что-жъ бы я безъ Бога-то была?“ — быстро, энергически шептала она, мелькомъ вскинувъ на него вдругъ засверкавшими глазами и крѣпко стиснула рукой его руку.

„Ну, такъ и есть!“ — подумалъ онъ.

— „А тебѣ Богъ что за это дѣлаетъ?“ — спросилъ онъ, выжидающе.

Соня долго молчала, какъ бы не могла отвѣчать. Слабенькая, она вся колыхалась отъ волненія.

— „Молчите! Не спрашивайте! Вы не стоите...“ — вскрикнулъ вдругъ, строго и гнѣвно смотря на него.

„Такъ и есть! такъ и есть!“ — повторялъ онъ настойчиво про себя.

— „Все дѣлаетъ!“ — быстро прошептала она, опять потупившись.

„Вотъ и исходъ! Вотъ и объясненіе исхода!“ — рѣшилъ онъ про себя жаднымъ любопытствомъ разсматривая ее.

Съ новымъ, страннымъ, почти болѣзненнымъ чувствомъ всматриваясь онъ въ это блѣдное, худое и неправильное угловатое личико, въ эти голубые глаза, могущіе сверкать такимъ огнемъ, такимъ суровымъ, истиннымъ чувствомъ, въ это маленькое тѣло, еще дрожавшее отъ негодованія и гнѣва, и все это казалось ему болѣе и болѣе страннымъ, почти невозможнымъ. „Юродивая! юродивая!“ — твердилъ онъ про себя.

На комодѣ лежала какая-то книга. Онъ каждый разъ, проходя и впередъ, замѣчалъ ее; теперь же взялъ и посмотрѣлъ. Это былъ Евангеліе въ русскомъ переводѣ. Книга была старая, подержанная, въ жакетѣ переплетѣ.

— „Это откуда?“ — крикнулъ онъ ей черезъ комнату. Она стояла на томъ-же мѣстѣ, въ трехъ шагахъ отъ стола. — „Мнѣ принесли“, — сказала она будто нехотя и не взглядывая на него. — „Кто принесъ?“ — „Вѣста принесла, я просила“.

„Лизавета! странно!“ — подумалъ онъ. Все у Сони становилось для него какъ-то страннымъ и чудеснымъ съ каждою минутой. Онъ перенесъ книгу съ мѣста и сталъ перелистывать.

— „Гдѣ тутъ про Лазаря?“ — спросилъ онъ вдругъ.

Соня упорно глядѣла въ землю и не отвѣчала. Она стояла не бокомъ къ столу.

— „Про воскресеніе Лазаря гдѣ? Отыщи мнѣ, Соня“.

Она искоса глянула на него.

— „Не тамъ смотрите... въ четвертомъ Евангеліи...“ — сурово шептала она, не подвигаясь къ нему. — „Найди и прочти мнѣ“, — сказалъ онъ, сѣлъ, облокотился на столъ, подперъ рукой голову и угрюмо вился въ сторону, приготовившись слушать.

„Недѣли черезъ три на седьмую версту милости просимъ! Я, какъ самъ тамъ буду, если еще хуже не будетъ“, — бормоталъ онъ про себя. Соня нерѣшительно ступила къ столу, недовѣрчиво выслушавъ страстное желаніе Раскольниковъ. Впрочемъ взяла книгу.

— „Развѣ вы не читали?“ — спросила она, глянувъ на него че-

столь исподлобья. Голосъ ея становился все суровѣе и суровѣе. — „Давно... Когда учился. Читай!“ — „А въ церкви не слыхали?“ — „Я... не ходилъ. А ты часто ходишь?“ — „Нѣтъ“, — прошентала Соня.

Раскольниковъ усмѣхнулся.

— „Понимаю... И отца стало-быть завтра не пойдешь хоронить?“ — „Пойду. Я и на прошлой недѣлѣ была... панихиду служила“. — „По комъ?“ — „По Лизаветѣ. Ее топоромъ убили“.

Первы его раздражались все болѣе и болѣе. Голова начинала кружиться.

— „Ты съ Лизаветой дружна была?“ — „Да... Она была справедливая... она приходила... рѣдко... нельзя было. Мы съ ней читали п... говорили. Она Бога узреть“.

Странно звучали для него эти книжныя слова, и опять новость: какія-то таинственные сходки съ Лизаветой, и обѣ — юродивыя.

„Тутъ и самъ станешь юродивымъ! заразительно!“ — подумалъ онъ. — „Читай!“ — воскликнулъ онъ вдругъ настойчиво и раздражительно.

Соня все колебалась. Сердце ея стучало. Не смѣла какъ-то она ему читать. Почти съ мученіемъ смотрѣлъ онъ на „несчастную помѣшанную“.

— „Зачѣмъ вамъ? вѣдь вы не вѣруете?“ — прошентала она тихо и какъ-то задышавшись. — „Читай! я такъ хочу! — настаивалъ онъ, — ч-гала-же Лизаветѣ!“

Соня развернула книгу и отыскала мѣсто. Руки ея дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она и все не выговаривалось перваго слога.

„Былъ-же боленъ нѣкто Лазарь, изъ Вифаніи...“ — произнесла она, наконецъ, съ усиленіемъ, но вдругъ, съ третьяго слова, голосъ зазвенѣлъ и порвался, какъ слишкомъ натянутая струна. Духъ пересѣкло и въ груди стѣснилось.

Раскольниковъ понималъ отчасти, почему Соня не рѣшалась ему читать, и чѣмъ болѣе понималъ это, тѣмъ какъ-бы грубѣе и раздражительнѣе настаивалъ на чтеніи. Онъ слишкомъ хорошо понималъ, какъ тяжело было ей теперь выдавать и обличать все *свое*. Онъ понималъ, что чувства эти действительно какъ-бы составляли настоящую и уже давнишнюю, можетъ быть, тайну ея, можетъ быть еще съ самаго отрочества, еще въ семьѣ, подлѣ несчастнаго отца и сумасшедшей отъ горя мачихи, среди голодныхъ дѣтей, разнообразныхъ криковъ и попрековъ. Но въ то же время онъ узналъ теперь, и узналъ навѣрно, что хоть и тосковала она, и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вмѣстѣ съ тѣмъ ей мучительно самой хотѣлось прочесть, несмотря на всю тоску и на всѣ опасенія, и именно *ему*, чтобъ онъ слышалъ, и непремѣнно *теперь*, — „что-бы тамъ ни вышло потомъ!“ Онъ прочелъ это въ ея глазахъ, понималъ изъ ея восторженнаго волненія... Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресѣкшую въ началѣ стиха ея голосъ, и продолжала чтеніе одиннадцатой главы Евангелія Іоаннова. Такъ дочла она до 19-го стиха:

„И многіе изъ Іудеевъ пришли къ Марѣѣ и Маріи утѣшать ихъ въ печали о братѣ ихъ. Марѣа, услыша, что идетъ Іисусъ, пошла на встрѣчу Ему; Марія же сидѣла дома. Тогда Марѣа сказала Іисусу: „Господи! еслибы

Ты былъ здѣсь, не умеръ бы братъ мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, дастъ Тебѣ Богъ“.

Тутъ она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнетъ и порвется ея голосъ....

„Исусъ говоритъ ей: воскреснетъ братъ твой. Марѳа сказала ему: „Знаю, что воскреснетъ въ воскресеніе, въ послѣдній день“. Исусъ сказалъ ей: „Я *есть* воскресеніе и жизнь“; вѣрующій въ Меня, если и умретъ, оживетъ. И всякій живущій и вѣрующій въ Меня не умретъ во вѣкъ. Вѣришь ли сему? Она говоритъ ему:

(и какъ бы съ болью переведи духъ, Сопя раздѣльно и съ силою прочла, точно сама во всеуслышаніе исповѣдовала):

„Такъ, Господи! Я вѣрую, что Ты Христосъ, Сынъ Божій, грядущій въ міръ“.

Она было остановилась, быстро подняла было на *него* глаза, но поскорѣй пересилила себя и стала читать далѣе. Раскольниковъ сидѣлъ и слушалъ неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на столъ и смотря въ сторону. Дочли до 32-го стиха.

„Марія же, пришедши туда, гдѣ былъ Исусъ, и увидѣвъ Его, пала къ ногамъ Его и сказала Ему: „Господи! если бы Ты былъ здѣсь, не умеръ бы братъ мой“. Исусъ, когда увидѣлъ ее плачущую и пришедшихъ съ нею Иудеевъ плачущихъ, Самъ возскорбѣлъ духомъ и возмущился. И сказалъ: „гдѣ вы положили его?“ Говорятъ ему: „Господи! поди и посмотри“. Исусъ прослезился. Тогда Иудеи говорили: „смотри, какъ Онъ любилъ его“. А нѣкоторые изъ нихъ сказали: „не могъ ли Сей, отверзшій очи слѣпому, сдѣлать, чтобы и этотъ не умеръ?“

Раскольниковъ обернулся къ ней и съ волненіемъ смотрѣлъ на *нее*. Да, такъ и есть! Она уже вся дрожала въ дѣйствительной, настоящей *любови* — хорадкѣ. Онъ ожидалъ этого. Она приближалась къ слову о величайшемъ и неслыханномъ чудѣ, и чувство великаго торжества охватило ее. Голосъ *ея* сталъ звонокъ какъ металлъ; торжество и радость звучали въ немъ и крѣпили его. Строчки мѣшались передъ ней, потому что въ глазахъ *темнѣло*, но она знала наизусть что читала. При послѣднемъ стихѣ: „не могъ ли Сей, отверзшій очи слѣпому...“ она, понизивъ голосъ, горячо и страстно передала сомнѣніе, укоръ и хулу невѣрующихъ, слѣпыхъ Иудеевъ, которые сейчасъ, черезъ минуту, какъ громомъ пораженные, падутъ, зарыдають и увѣруютъ... „И *онъ, онъ*—тоже ослѣпленный и не вѣрующій, онъ тоже сейчасъ услышитъ, онъ тоже увѣруетъ, да, да! сейчасъ же, теперь же“, мечталось ей, и она дрожала отъ радостнаго ожиданія.

„Исусъ же, опять скорбя внутренно, проходитъ ко гробу. То была пещера, и камень лежалъ на ней. Исусъ говоритъ: „Отнимите камень!“ Сестра умершаго Марѳа говоритъ Ему: „Господи! уже смердитъ; ибо *четыре* дня, какъ онъ во гробѣ“.

Она энергично ударила на слово: *четыре*.

„Исусъ говоритъ ей: „не сказалъ ли Я тебѣ, что если будешь вѣровать, увидишь славу Божію?“ И такъ отшвырнулъ камень отъ пещеры, гдѣ лежалъ

умершій. Иисусъ же возвелъ очи къ нему и сказалъ: „Отче! благодарю Тебя, что Ты услышалъ Меня. И я зналъ, что Ты всегда услышишь Меня; но сказать сіе для народа здѣсь стоящаго, чтобы повѣрили, что Ты послалъ Меня. Сказавъ сіе, воззвалъ громкимъ голосомъ: „Лазарь! иди вонъ“. *И вышелъ умершій,*

(Громко и восторженно прочла она, дрожа и холодѣя, какъ бы вочію сама видѣла):

обвитый по рукамъ и ногамъ погребальными пеленами; и лицо его обвязано было платкомъ. Иисусъ говоритъ имъ: „развяжите его; пусть идетъ“.

„Тогда многіе изъ Иудеевъ, пришедшихъ къ Маріи и видѣвшихъ, что сотворилъ Иисусъ, уверовали въ Него“.

Далѣе она не читала и не могла читать, закрыла книгу и быстро встала со стула.

— „Все объ воскресеніи Лазаря“, — отрывисто и сурово прошептала Она и стала неподвижно, отвернувшись въ сторону, не смѣя и какъ бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ея еще продолжалась. Огарокъ уже давно погасалъ въ кривомъ подсвѣчникѣ, тускло освѣщая въ этой нищенской комнатѣ убійцу и блудницу, странно сошедшихся за чтеніемъ вѣчной книги. Прошло минутъ пять или болѣе.

[Черезъ нѣсколько времени Раскольниковъ опять пришелъ къ Сонѣ].

— „Я сказалъ уходя, что можетъ быть прощаюсь съ тобой навсегда, но что если приду сегодня, то скажу тебѣ... кто убилъ Лизавету“.

Она вдругъ задрожала всѣмъ тѣломъ.

— „Ну, такъ вотъ я и пришелъ сказать“. — „Такъ вы это въ самомъ дѣлѣ вчера... — съ трудомъ прошептала она, — почему-жъ вы знаете?“ — быстро спросила она, какъ будто вдругъ опомнившись.

Соня начала дышать съ трудомъ. Лицо становилось все блѣднѣе и блѣднѣе.

— „Знаю“.

Она помолчала съ минуту.

— „Нашли что-ли ея?“ — робко спросила она. — „Нѣтъ, не нашли“. — „Такъ какъ же вы про это знаете?“ — опять чуть слышно спросила она, и опять почти послѣ минутнаго молчанія.

Онъ обернулся къ ней и пристально, пристально посмотрѣлъ на нее.

— „Угадай“, — проговорилъ онъ съ прежнею искривленною и безсильною улыбкой.

Точно конвульсіи пробѣжали по всему ея тѣлу.

— „Да вы... меня... что же вы меня такъ... пугаете?“ — проговорила она, улыбаясь какъ ребенокъ. — „Стало-быть я съ нимъ пріятель большой... коли знаю, — продолжалъ Раскольниковъ, неотступно продолжая смотрѣть въ ея лицо, точно уже былъ не въ силахъ отвести глазъ, — онъ Лизавету эту... убить не хотѣлъ... Онъ ее... убилъ нечаянно... Онъ старуху убить хотѣлъ... когда она была одна... и пришелъ... А тутъ вошла Лизавета... Онъ тутъ... и ее убилъ“.

Прошла еще ужасная минута. Оба все глядѣли другъ на друга.

— „Такъ не можешь угадать-то?“ — спросилъ онъ вдругъ, съ тѣмъ ощущеніемъ, какъ бы бросался внизъ съ колокольни. — „Н-нѣтъ“, — чуть слышно прошептала Соня. — „Погляди-ка хорошенько“.

И какъ только онъ сказалъ это, опять одно прежнее, знакомое ощущение оледенило вдругъ его душу; онъ смотрѣлъ на нее и вдругъ въ ея лицѣ какъ бы увидѣлъ лицо Лизаветы. Онъ ярко запомнилъ выраженіе лица Лизаветы, когда онъ приближался къ ней тогда съ топоромъ, а она отходила отъ него къ стѣнѣ, выставивъ впередъ руку, съ совершенно дѣтскимъ испугомъ въ лицѣ, точь-въ-точь какъ маленькія дѣти, когда они вдругъ начинаютъ чего-нибудь пугаться, смотрятъ неподвижно и безпокойно на пугающій ихъ предметъ, отстраняются назадъ и, протягивая впередъ ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и съ Соней; также безсильно, съ тѣмъ же испугомъ, смотрѣла она на него нѣсколько времени, и вдругъ, выставивъ впередъ лѣвую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами въ грудь и медленно стала подниматься съ кровати, все болѣе и болѣе отъ него отстраняясь, и все неподвижнѣе становилась ея взглядъ на него. Ужасъ ея вдругъ сообщился и ему: точно такой же испугъ показался и въ его лицѣ, точно также и онъ сталъ смотрѣть на нее, и почти даже съ тою же *дѣтскою* улыбкой.

— „Угадала?“ — прошепталъ онъ наконецъ. — „Господи!“ — вырвался ужасный вопль изъ груди ея. Безсильно упала она на постель, лицомъ въ подушки. Но черезъ мгновеніе быстро приподнялась, быстро придвинулась къ нему, схватила его за обѣ руки и, крѣпко сжимая ихъ, какъ въ тискахъ, тонкими своими пальцами, стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотрѣть въ его лицо. Этимъ послѣднимъ, отчаяннымъ взглядомъ она хотѣла высмотрѣть и уловить хоть какую-нибудь послѣднюю себѣ надежду. Но надежды не было; сомнѣнія не оставалось никакого; все было *такъ*. Даже потомъ, впоследствии, когда она припоминала эту минуту, ей становилось и странно и чудно: почему именно она такъ *сразу* увидѣла тогда, что нѣтъ уже никакихъ сомнѣній? Вѣдь не могла же она сказать, напри- мѣръ, что она что-нибудь въ этомъ родѣ предчувствовала? А между тѣмъ, теперь, только что онъ сказалъ это, ей вдругъ и показалось, что и дѣйствительно она какъ будто *это* самое и предчувствовала. — „Полно, Соня, довольно! не мучь меня!“ — страдальчески попросилъ онъ.

Онъ совсѣмъ, совсѣмъ не такъ думалъ открыть ей, но вышло *такъ*.

Какъ бы себя не помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до середины комнаты, но быстро воротилась и сѣла опять подлѣ него, почти прикасаясь къ нему плечомъ къ плечу. Вдругъ, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, передъ нимъ на колѣни.

— „Что вы, что вы это надъ собой сдѣлали!“ — отчаянно проговорила она, и вскочивъ съ колѣнъ, бросилась ему на шею, обняла его и крѣпко-крѣпко сжала его руками.

Раскольниковъ отшатнулся и съ грустною улыбкой посмотрѣлъ на нее:

— „Странная какая ты, Соня, — обнимаешь и цѣлуешь когда я тебѣ

сказать *про это*. Себя ты не помнишь“. — „Нѣтъ, нѣтъ тебя несчастіе никого теперь въ цѣломъ свѣтѣ!“ — воскликнула она, какъ въ изступленіи, не слыхавъ его замѣчанія и вдругъ заплакала навзрыдъ, какъ въ истерикѣ.

Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло въ его душу и разомъ размягчило ее. Онъ не сопротивлялся ему: двѣ слезы выкатились изъ его глазъ и повисли на рѣсницахъ.

— „Такъ не оставишь меня, Соня?“ — говорилъ онъ, чуть не съ надеждой смотря на нее. — „Нѣтъ, нѣтъ; никогда и нигдѣ! — вскрикнула Соня, — за тобой пойду, всюду пойду! О, Господи!.. Охъ, я несчастная! И зачѣмъ, зачѣмъ я тебя прежде не знала! Зачѣмъ ты прежде не приходилъ? О, Господи!“ — „Вотъ и пришелъ“. — „Теперь-то! О, что теперь дѣлать!... Вмѣстѣ, вмѣстѣ! — повторяла она какъ бы въ забытіи и вновь обнимая его, — въ каторгу съ тобой вмѣстѣ пойду!“ Его какъ бы вдругъ передернуло, прежняя, ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губахъ его: — „Я, Соня, еще въ каторгу-то, можетъ, и не хочу идти“, — сказалъ онъ.

Соня быстро на него посмотрѣла.

Послѣ перваго, страстнаго и мучительнаго сочувствія къ несчастному, опять страшная идея убійства поразила ее. Въ перемѣнившемся тонѣ его словъ ей вдругъ послышался убійца. Она съ изумленіемъ глядѣла на него. Ей ничего еще не было извѣстно, ни зачѣмъ, ни какъ, ни для чего это было. Теперь всѣ эти вопросы разомъ вспыхнули въ ея сознаніи. И опять она не повѣрила: „онъ, онъ убійца! да развѣ это возможно?“

— „Да что это! да гдѣ это я стою! — проговорила она въ глубокомъ недоумѣніи, какъ будто еще не придя въ себя, — да какъ вы, вы, *такой*... могли на это рѣшиться?.. Да что это!“ — „Ну да, чтобъ ограбить! Перестань, Соня!“ — какъ-то устало и даже какъ бы съ досадой отвѣтилъ онъ.

Соня стояла какъ бы ошеломленная, но вдругъ вскричала:

— „Ты былъ голоденъ! ты... чтобъ матери помочь? да?“ — „Нѣтъ, Соня, нѣтъ, — бормоталъ онъ, отвернувшись и свѣсивъ голову, — не былъ я такъ голоденъ... я дѣйствительно хотѣлъ помочь матери, но... и это не со всѣмъ вѣрно... не мучь меня, Соня!“

Соня всплеснула руками:

— „Да неужель, неужель это все взаправду! Господи! да какая-жъ это правда? Кто же этому можетъ повѣрить?.. И какъ же, какъ же вы сами послѣднее отдаете, а убили, чтобъ ограбить! А!.. — вскрикнула она вдругъ, — тѣ деньги, что Катеринѣ Ивановѣ отдали... тѣ деньги... Господи, да неужели-жъ и тѣ деньги...“ — „Нѣтъ, Соня, — торопливо прервалъ онъ, — эти деньги были не тѣ, успокойся! Эти деньги мнѣ мать прислала, черезъ одного вупца, и получилъ я ихъ больной, въ тотъ же день какъ и отдалъ... Разумѣешь видѣлъ... онъ же и получалъ за меня... эти деньги мои, мои собственныя, настоящія мои“..

Соня слушала его въ недоумѣніи и изъ всѣхъ силъ старалась что-то сообразить.

— „А *ты* деньги... я впрочемъ даже и не знаю, были ли тамъ и деньги-то, — прибавилъ онъ тихо и какъ бы въ раздумьи, — я снялъ у ней тогда кошелекъ съ шен, замшевый... полный, тугой такой кошелекъ... да я не посмотрѣлъ въ него; не успѣлъ, должно-быть... Ну, а вещи, какія-то все запонки да цѣпочки — я всѣ эти вещи и кошелекъ на чужомъ одномъ дворѣ, на Б—мъ проспектѣ подъ камень схоронилъ, на другое же утро.. Все тамъ и теперь лежитъ...”

Соня изъ всѣхъ силъ слушала.

— „Ну, такъ зачѣмъ же... какъ же вы сказали: чтобъ ограбить, а сами ничего не взяли?“ — быстро спросила она, хватаясь за соломинку. — „Не знаю... я еще не рѣшилъ — возьму или не возьму эти деньги, — промолвилъ онъ, опять какъ бы въ раздумьи, и вдругъ опомнившись, быстро и коротко усмѣхнулся: — Эхъ, какую я глупость сейчасъ сморозилъ, а?“

У Сони промелькнула было мысль: „не сумасшедшій ли?“ Но тотчасъ же она ее оставила: нѣтъ, тутъ другое. Ничего, ничего она тутъ не понимала!

— „Знаешь, Соня, — сказалъ онъ вдругъ съ какимъ-то вдохновеніемъ, — знаешь, что я тебѣ скажу: еслибъ только я зарѣзалъ изъ того, что голодентъ былъ, — продолжалъ онъ, упирая на каждое слово и загадочно, но искренно смотря на нее, — то я бы теперь... *счастливъ* былъ! Знай ты это! Потому я и звалъ съ собою тебя вчера, что одна ты у меня и осталась“. — „Куда звалъ?“ — робко спросила Соня. — „Не воровать и не убивать, не беспокойся, не за этимъ, — усмѣхнулся онъ ѣдко, — мы люди разные. И знаешь, Соня, я вѣдь только теперь, только сейчасъ понялъ, *куда* тебя звалъ вчера. А вчера, когда звалъ, я и самъ еще не понималъ куда. За однимъ и звалъ, за однимъ и приходилъ: не оставить меня. Не оставишь, Соня?“

Она стиснула его руку.

— „И зачѣмъ, зачѣмъ я ей сказалъ, зачѣмъ я ей открылъ, — въ отчаяніи воскликнулъ онъ черезъ минуту, съ безконечнымъ участіемъ смотря на нее, — вотъ ты ждешь отъ меня объясненій, Соня, сидишь и ждешь, я это вижу; а что скажу тебѣ? Ничего вѣдь ты не поймешь въ этомъ, а только изстрадаешься вся... изъ-за меня! Ну, вотъ, ты плачешь и опять меня обнимаешь, — ну, за что ты меня обнимаешь? — За то, что я самъ не вынесъ и на другого пришелъ свалить: „страдай и ты, мнѣ легче будетъ!“ И можешь ты любить такого подлеца?“ — „Да развѣ ты тоже не мучаешься?“ — вскричала Соня.

Опять то же чувство волной хлынуло въ его душу и опять на мигъ размягло ее.

— „Соня, у меня сердце злое, ты это замѣть: этимъ можно многое объяснить. Я потому и пришелъ, что золь. Есть такіе, которые не пришли бы. А я трусь и... подлецъ! Но... пусть! все это не то... Говорить теперь надо, а я пачать не умѣю... Я вѣдь только вошь убилъ, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную“. — „Это человѣкъ-то вошь!“ — „Да вѣдь я и знаю, что не вошь, — отвѣтилъ онъ, странно смотря на нее. — А впрочемъ и вру, Соня, — прибавилъ онъ, — давно уже вру... Это все не то: ты спра-

ведливо говоришь. Совсѣмъ, совсѣмъ, совсѣмъ тутъ другія причины!.. Я давно ни съ кѣмъ не говорилъ, Соня... Голова у меня теперь очень болитъ“.

Глаза его горѣли лихорадочнымъ огнемъ. Онъ почти начиналъ бредить; безпокойная улыбка бродила на его губахъ. Сквозь возбужденное состояніе духа уже проглядывало страшное безсиліе. Соня поняла, какъ онъ мучается. У ней тоже голова начинала кружиться. И странно онъ такъ говорилъ: какъ будто и понятно что-то, но... по какъ же! какъ же, о, Господи! И она ломала руки въ отчаяніи.

— „Нѣтъ, Соня, это не то!—началъ онъ опять, вдругъ поднимая голову, какъ будто внезапный новый поворотъ мыслей поразилъ и вновь возбуждиль его,—это не то! А лучше... предположи, (да! эдакъ дѣйствительно лучше!), предположи, что я самолюбивъ, завистливъ, золъ, мерзокъ, мститель, ну... и пожалуй еще наклоненъ къ сумасшествію. (Ужъ пусть все заразъ! Про сумасшествіе-то говорили прежде, я замѣтилъ!) Я вотъ тебѣ сказалъ давеча, что въ университетѣ себя содержать не могъ. А знаешь ли ты, что я, можетъ, и могъ? Мать прислала бы, чтобы внести что надо, а на сапоги, платье и на хлѣбъ я бы и самъ заработалъ навѣрно! Уроки выходили, по полтиннику предлагали. Работаетъ же Разумихинъ! Да я озлился и не захотѣлъ. Именно *озлился* (это слово хорошее!) Я тогда, какъ паукъ, къ себѣ въ уголъ забился. Ты вѣдь была въ моей канурѣ, видѣла... А знаешь ли, Соня, что низкіе потолки и тѣсныя комнаты душу и умъ тѣснятъ! О, какъ ненавидѣлъ я эту кануру! А все-таки выходить изъ нея не хотѣлъ. Нарочно не хотѣлъ! По суткамъ не выходилъ и работать не хотѣлъ, и даже ѣсть не хотѣлъ, все лежалъ. Принесетъ Настасья—поѣмъ, не принесетъ—такъ и день пройдетъ; нарочно со зла не спрашивалъ! Ночью огня нѣтъ, лежу въ темнотѣ, а на свѣчи не хочу заработать. Надо было учиться, я книги распродалъ; а на столъ у меня, на запискахъ да на тетрадяхъ, на палецъ и теперь пыли лежитъ. Я лучше любилъ лежать и думать. И все думалъ... И все такіе у меня были сны странные, разные сны, нечего говорить какіе! Но только тогда начало мнѣ тоже мерещиться, что... Нѣтъ, это не такъ! я опять не такъ рассказываю! Видишь, я тогда все себя спрашивалъ: зачѣмъ я такъ глупъ, что если другіе глупы, и коли я знаю ужъ навѣрно, что они глупы, то самъ не хочу быть умнѣе? Потомъ я узналъ, Соня, что если ждать, пока всѣ станутъ умными, то слишкомъ ужъ долго будетъ... Потомъ я еще узналъ, что никогда этого и не будетъ, что не переменяются люди и не передѣлать ихъ никому, и труда не стоитъ терять! Да, это такъ! Это ихъ законъ... Законъ, Соня! Это такъ!.. И я теперь знаю, Соня, что кто крѣпокъ и силенъ умомъ и духомъ, тотъ надъ ними и властелинъ! Кто много посмѣетъ, тотъ у нихъ и правъ. Кто на большее можетъ плюнуть, тотъ у нихъ и закоподатель, а кто больше всѣхъ можетъ посмѣть, тотъ и всѣхъ правѣ! такъ доселѣ велось и такъ всегда будетъ! Только слѣпой не разглядить!“

Раскольниковъ, говоря это, хотъ и смотрѣлъ на Соню, но ужъ не заботился болѣе пойметъ она или нѣтъ. Лихорадка вполне охватила его.

Онъ былъ въ какомъ-то мрачномъ восторгѣ. (Дѣйствительно, онъ слишкомъ долго ни съ кѣмъ не говорилъ!) Соня поняла, что этотъ мрачный катихизисъ сталъ его вѣрой и закономъ.

— „Я догадался тогда, Соня,—продолжалъ онъ восторженно,—что власть дается только тому, кто посмѣетъ наклониться и взять ее. Тутъ одно только, одно: стоитъ только посмѣть! У меня тогда одна мысль выдумалась въ первый разъ въ жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывалъ! Никто! Мнѣ вдругъ ясно, какъ солнце, представилось, что какъ же это ни единый до сихъ поръ не посмѣлъ и не смѣетъ, проходя мимо всей этой нелѣпости, взять просто-за-просто все за хвостъ и стряхнуть къ чорту! Я... я захотѣлъ *осмѣлиться*, и убилъ... я только осмѣлиться захотѣлъ, Соня, вотъ вся причина!“—„О молчите, молчите!—вскрикнула Соня, всплеснувъ руками.—Отъ Бога вы отошли, и васъ Богъ поразилъ, дьяволу предаль!..“—„Кстати, Соня, это когда я въ темнотѣ-то лежалъ, и мнѣ все представлялось, это вѣдь дьяволъ смущалъ меня? а!“—„Молчите! не смѣйтесь, богохульникъ, ничего, ничего-то вы не понимаете! О Господи! Ничего-то, ничего-то онъ не пойметъ!“—„Молчи, Соня, я совсѣмъ не смѣюсь; я вѣдь и самъ знаю, что меня чортъ тащилъ. Молчи, Соня, молчи!—повторилъ онъ мрачно и настойчиво.—Я все знаю. Все это я уже передумалъ и перешепталъ себѣ, когда лежалъ тогда въ темнотѣ... Все это я самъ съ собой переспорилъ, до послѣдней малѣйшей черты, и все знаю, все! И такъ надоѣла, такъ надоѣла мнѣ тогда вся эта болтовня! Я все хотѣлъ забыть и вновь начать, Соня, и перестать болтать! И неужели ты думаешь, что я какъ дуракъ пошелъ, очертя голову? Я пошелъ какъ умникъ, и это-то меня и сгубило! И неужели ты думаешь, что я не зналъ, на примѣръ, хоть того, что если ужъ началъ я себя спрашивать и допрашивать: имѣю-ль я право власть имѣть, то стало-быть не имѣю права власть имѣть. Или что если задаю вопросъ: вошь ли человѣкъ, то стало-быть ужъ не вошь человѣкъ *для меня*, а вошь для того, кому этого и въ голову не заходить, и кто прямо безъ вопросовъ идетъ... Ужъ если я столько дней промучился:—пошелъ ли бы Наполеонъ или нѣтъ, такъ вѣдь ужъ ясно чувствовалъ, что я не Наполеонъ... Всю, всю муку всей этой болтовни я выдержалъ, Соня, и всю ее съ плечъ стряхнуть пожелалъ; я захотѣлъ, Соня, убить безъ казуистики, убить для себя, для себя одного! Я лгать не хотѣлъ въ этомъ даже себѣ; не для того, чтобы матери помочь я убилъ—вздоръ! Не для того я убилъ, чтобы, получивъ средства и власть, сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества. Вздоръ! Я просто убилъ; для себя убилъ, для себя одного; а тамъ сталъ ли бы я чѣмъ-нибудь благодѣтелемъ, или всю жизнь, какъ паукъ, ловилъ бы всѣхъ въ паутину и изъ всѣхъ живые соки высасывалъ, мнѣ, въ ту минуту, все равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мнѣ были, Соня, когда я убилъ; не столько деньги нужны были, какъ другое... Я это все теперь знаю... Пойми меня, можетъ быть тою же дорогой ида, я уже никогда болѣе не повторилъ бы убійства. Мнѣ другое надо было узнать, другое толкало меня подъ руки: мнѣ надо было узнать тогда, и поскорѣй узнать, вошь ли я, какъ всѣ,

или человекъ? смогу ли я переступить, или не смогу? Осмѣлюсь ли нагнуться и взять или нѣтъ? Тварь ли я дрожащая или *право* имѣю...“ — „Убивать? Убивать-то право имѣете?“ — всплеснула руками Соня. — „Э-эхъ, Соня! — вскрикнувъ онъ раздражительно, хотѣлъ было что-то ей возразить, но презрительно замолчалъ. — Не прерывай меня, Соня! Я хотѣлъ тебѣ только одцо доказать, что чортъ-то меня тогда потащилъ, а ужъ послѣ того мнѣ объяснилъ, что не имѣлъ я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь какъ и всѣ! Ну, что теперь дѣлать, говори!“ — спросилъ онъ, вдругъ поднявъ голову и съ безобразно искаженнымъ отъ отчаянія лицомъ смотря на нее. — „Что дѣлать! — воскликнула она, вдругъ вскочивъ съ мѣста, и глаза ея, доселѣ полные слезъ, вдругъ засверкали. — Встань! (Она схватила его за плечо; онъ приподнялся, смотря на нее почти въ изумленіи). Поди сейчасъ, сію же минуту, стань на перекрестѣ, поклонись, поцѣлуй сначала землю, которую ты осквернилъ, а потомъ поклонись всему свѣту, на всѣ четыре стороны и скажи всѣмъ, вслухъ: „я убилъ!“ Тогда Богъ опять тебѣ жизни пошлетъ. Пойдешь? пойдешь?“ — спрашивала она его, вся дрожа, точно въ припадкѣ, схвативъ его за обѣ руки, крѣпко стиснувъ ихъ въ своихъ рукахъ и смотря на него огненнымъ взглядомъ.

Онъ изумился и былъ даже пораженъ ея внезапнымъ восторгомъ.

— „Это ты про каторгу что ли, Соня? Донести что-ль на себя надо?“ — спросилъ онъ мрачно. — „Страданіе принять и искупить себя имъ, вотъ что надо“.

Оба сидѣли рядомъ, грустные и убитые, какъ бы послѣ бури выброшенные на пустой берегъ одни. Онъ смотрѣлъ на Соню и чувствовалъ, какъ много на немъ было ея любви, и странно, ему стало вдругъ тяжело и больно, что его такъ любятъ. Да, это было странное и ужасное ощущеніе! Идя къ Сонѣ, онъ чувствовалъ, что въ ней вся его надежда и весь исходъ; онъ думалъ сложить хоть часть своихъ мукъ, и вдругъ теперь, когда все сердце уже обратилось къ нему, онъ вдругъ почувствовалъ и созналъ, что онъ сталъ безпримѣрно несчастнѣе, чѣмъ былъ прежде.

— „Соня, — сказалъ онъ, — ужъ лучше не ходи ко мнѣ, когда я буду въ острогѣ сидѣть“.

Соня не отвѣтила, она плакала. Прошло нѣсколько минутъ.

— „Есть на тебѣ крестъ? — вдругъ неожиданно спросила она, точно вдругъ вспомнила.

Онъ сначала не понялъ вопроса.

— „Нѣтъ, вѣдь нѣтъ? На, возьми вотъ этотъ, кипарисный. У меня другой остался, мѣдный, Лизаветинъ. Мы съ Лизаветой крестами помѣнялись; она мнѣ свой крестъ, а я ей свой образокъ дала. Я теперь Лизаветинъ стану носить, а этотъ тебѣ. Возьми... вѣдь мой! вѣдь мой! — упрашивала она. — Вмѣстѣ вѣдь страдать пойдемъ, вмѣстѣ и крестъ понесемъ!..“ — „Дай! — сказалъ Раскольниковъ. Ему не хотѣлось ее огорчить. Но онъ тотчасъ же отдернулъ протянутую за крестомъ руку. — Не теперь, Соня. Лучше потомъ“, — прибавилъ онъ, чтобъ ее успокоить. — „Да, да, лучше, лучше, — подхватила она съ увлеченіемъ, — какъ пойдешь на страданіе,

тогда и надѣнешь. Придешь ко мнѣ, я надѣну на тебя, помолимся и пойдемъ“.

Раскольниковъ у матери.—„Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мнѣ ни слышали, что бы вамъ обо мнѣ ни сказали, будете ли вы любить меня такъ, какъ теперь?“—спросилъ онъ вдругъ отъ полноты сердца, какъ бы не думая о своихъ словахъ и не взвѣшивая ихъ. — „Родя, Родя, что съ тобою? Да какъ же ты объ этомъ спрашивать можешь? Да кто прѣдъ тобой мнѣ что-нибудь скажетъ? Да я и не повѣрю никому, кто бы ко мнѣ ни пришелъ, просто прогоню“. — „Я пришелъ васъ увѣрить, что я васъ всегда любилъ, и теперь радъ, что мы одни, радъ даже, что Дунечки нѣтъ, — продолжалъ онъ съ тѣмъ же порывомъ, — я пришелъ вамъ сказать прямо, что хоть вы и несчастны будете, но все-таки знайте, что сынъ вашъ любитъ васъ теперь больше себя и что все, что вы думали про меня, что я жестокъ и не люблю васъ, все это была неправда. Васъ я никогда не перестану любить... Ну, и довольно; мнѣ казалось, что такъ надо сдѣлать и этимъ кончить...“

Пульхерія Александровна молча обнимала его, прижимала къ своей груди и тихо плакала.

— „Что съ тобой, Родя, не знаю, — сказала она наконецъ, — думала я все это время, что мы просто надоѣдаемъ тебѣ, а теперь вижу по всему, что тебѣ великое горе готовится, оттого ты и тоскуешь. Давно я ужъ предвижу это, Родя. Прости меня, что объ этомъ заговорила; все объ этомъ думаю и по ночамъ не сплю. Эту ночь и сестра твоя всю напролетъ въ бреду пролежала и все о тебѣ вспоминала. Разслушала я что-то, а ничего не поняла. Все утро какъ передъ казнь ходила, чего-то ждала, предчувствовала и вотъ дождалась! Родя, Родя, куда же ты? Ёдешь, что ли, куда-нибудь?“—„Ёду“. — „Такъ я и думала! Да вѣдь и я съ тобой поѣхать могу, если тебѣ надо будетъ. И Дуня; она тебя любитъ, она очень любитъ тебя, и Софья Семеновна, пожалуй, пусть съ нами ѣдетъ, если надо; видишь, я охотно ее вмѣсто дочери даже возьму. Намъ Дмитрій Прокофьевичъ поможетъ вмѣстѣ собраться... но... куда же ты... ѣдешь?“—„Прощайте, маменька“. — „Какъ! сегодня же!“—вскрикнула она, какъ бы теряя его на-вѣки. — „Мнѣ нельзя, мнѣ пора, мнѣ очень нужно...“—„И мнѣ нельзя съ тобой?“—„Нѣтъ, а вы станьте на колѣни и помолитесь за меня Богу. Ваша молитва, можетъ, и дойдетъ“. — „Дай-же, я перекрещу тебя, благословлю тебя! Вотъ такъ, вотъ такъ. О, Боже, что это мы дѣлаемъ!“

Да, онъ былъ радъ, онъ былъ очень радъ, что никого не было, что они были наединѣ съ матерью. Какъ бы за все это ужасное время разомъ размягчилось его сердце. Онъ упалъ предъ нею, онъ ноги ей цѣловалъ, и оба, обнявшись, плакали. И она не удивлялась и не спрашивала въ этотъ разъ. Она уже давно понимала, что съ сыномъ что-то ужасное происходитъ, а теперь приспѣла какая-то страшная для него минута.

— „Родя, милый мой, первенецъ ты мой, — говорила она рыдая, — вотъ ты теперь такой же, какъ былъ маленькій, также приходилъ ко мнѣ, также обнималъ и цѣловалъ меня; еще когда мы съ отцомъ жили и бѣдовали,

ты утѣшалъ насъ однимъ уже тѣмъ, что былъ съ нами, а какъ я похоронила отца,—то сколько разъ мы, обнявшись съ тобой вотъ такъ, какъ теперь, на могилѣ его плакали. А что я давно плачу, то это сердце материнское бѣду предузнало. Я какъ только въ первый разъ увидѣла тебя тогда, вечеромъ, помнишь, какъ мы только-что пріѣхали сюда, то все по твоему взгляду одному угадала, такъ сердце у меня тогда и дрогнуло, а сегодня какъ отворила тебѣ, взглянула, ну, думаю, видно пришелъ часъ роковой. Родя, Родя, ты вѣдь не сейчасъ ѣдешь? — „Нѣтъ“. — „Ты еще приедешь?“ — „Да... приду“. — „Родя, не сердись, я и разспрашивать не смѣю. Знаю, что не смѣю, но такъ, два только словечка скажи мнѣ, далеко куда ты ѣдешь?“ — „Очень далеко“. — „Что же тамъ служба какая, карьера что-ли тебѣ?“ — „Что Богъ пошлетъ... помолитесь только за меня...“

Раскольниковъ пошелъ къ дверямъ, но она ухватила за него и отчаяннымъ взглядомъ смотрѣла ему въ глаза. Лицо ея исказилось отъ ужаса.

Разговоръ Раскольникова съ сестрой. Раскольниковъ вошелъ въ комнату и въ изнеможении сѣлъ на стулъ.

— „Я какъ-то слабъ, Дуня; ужъ очень усталъ; а мнѣ бы хотѣлось хоть въ эту-то минуту владѣть собою вполне“.

Онъ недовѣрчиво вскинулъ на нее глазами.

— „Гдѣ же ты былъ всю ночь?“ — „Не помню хорошо; видишь, сестра, я окончательно хотѣлъ рѣшиться и много разъ ходилъ близъ Невы; это я знаю. Я хотѣлъ тамъ и покончить, но... я не рѣшился...“ — прошепталъ онъ, опять недовѣрчиво взглядывая на Дуню. — „Слава Богу! А какъ мы боялись именно этого, я и Софья Семеновна! Стало-быть, ты въ жизнь еще вѣруешь; слава Богу, слава Богу!“

Раскольниковъ горько усмѣхнулся.

— „Я не вѣровалъ, а сейчасъ вмѣстѣ съ матерью, обнявшись, плакали; я не вѣрую, а ее просилъ за себя молиться. Это Богъ знаетъ какъ дѣлается, Дунечка, и я ничего въ этомъ не понимаю“. — „Ты у матери былъ? Ты же ей и сказалъ?“ — въ ужасѣ воскликнула Дуня. — „Неужели ты рѣшился сказать?“ — „Нѣтъ, не сказалъ... словами, но она многое поняла. Она слышала ночью, какъ ты бредила. Я увѣренъ, что она уже половину понимаетъ. Я, можетъ быть, дурно сдѣлалъ, что заходилъ. Ужъ и не знаю, для чего я даже и заходилъ-то. Я низкій человѣкъ, Дуня!“ — „Низкій человѣкъ, а на страданье готовъ идти! Вѣдь ты идешь же?“ — „Иду. Сейчасъ. Да, чтобъ избѣжать этого стыда, я и хотѣлъ утопиться, Дуня, но подумалъ, уже стоя надъ водой, что если я считалъ себя до сей поры сильнымъ, то пусть же я и стыда теперь не боюсь, — сказалъ онъ, забѣгая напередъ. — Это гордость, Дуня?“ — „Гордость, Родя“.

Какъ будто огонь блеснулъ въ его потухшихъ глазахъ; ему точно пріятно стало, что онъ еще гордъ.

— „А ты не думаешь, сестра, что я просто струсилъ воды?“ — спросилъ онъ съ безобразною усмѣшкой, заглядывая въ ея лицо. — „О, Родя, полно!“ — горько воскликнула Дуня.

Минуты двѣ продолжалось молчаніе. Онъ сидѣлъ потупившись и смо-

трѣлъ въ землю; Дунечка стояла на другомъ концѣ стола и съ мученіемъ смотрѣла на него. Вдругъ онъ всталъ.

— „Поздно, пора. Я сейчасъ иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя“.

Крупныя слезы текли по щекамъ ея.

— „Ты плачешь, сестра, а можешь ты протянуть мнѣ руку?“ — „И ты сомнѣвался въ этомъ?“

Она крѣпко обняла его.

— „Развѣ ты, идучи на страданіе, не смываешь уже вполонину свое преступленіе?“ — вскричала она, сжимая его въ объятіяхъ и цѣлуя его. — „Преступленіе? Какое преступленіе? — вскричалъ онъ вдругъ, въ какомъ-то внезапномъ бѣшенствѣ, — то, что я убилъ гадкую, зловредную вошь, старушонку-процентщицу, никому не нужную, которую убить сорокъ грѣховъ простятъ, которая изъ бѣдныхъ соекъ высасывала, и это-то преступленіе? Не думаю я о немъ и смывать его не думаю. И что мнѣ всѣ тычутъ со всѣхъ сторонъ „преступленіе, преступленіе!“ Только теперь вижу ясно всю нелѣпость моего малодушія, теперь, какъ ужъ рѣшился идти на этотъ ненужный стыдъ! Просто отъ низости и бездарности моей рѣшаюсь, да развѣ еще изъ выгоды, какъ предлагалъ... этотъ... Порфирій!..“ — „Братъ, братъ, что ты это говоришь! Но вѣдь ты кровь пролилъ!“ — въ отчаяніи вскричала Дуня. — „Которую всѣ проливаютъ, — подхватилъ онъ чуть не въ изступленіи, — которая льется и всегда лилась на свѣтѣ какъ водопадъ, которую льютъ какъ шампанское и за которую вѣнчаютъ въ Капитоліи и называютъ потомъ благодѣтелемъ человѣчества. Да ты взгляни только пристальнѣе и разгляди! Я самъ хотѣлъ добра людямъ и сдѣлалъ-бы сотни, тысячи добрыхъ дѣлъ, вмѣсто одной этой глупости, даже не глупости, а просто неловкости, такъ какъ вся эта мысль была вовсе не такъ глупа, какъ теперь она кажется, при неудачѣ... (при неудачѣ все кажется глупо)! Этою глупостью я хотѣлъ только поставить себя въ независимое положеніе, первый шагъ сдѣлать, достичь средствъ, и тамъ все-бы загладилось неизмѣримое, сравнительно, пользою... Но я, я и перваго шага не выдержалъ, потому что я — подлецъ! Вотъ въ чемъ все и дѣло! И все-таки вашимъ взглядомъ не стану смотрѣть; если-бы мнѣ удалось, то меня бы увѣнчали, а теперь въ капканъ!“ — „Но вѣдь это не то, совсѣмъ не то! Братъ, что ты это говоришь!“ — „А! не та форма, не такъ эстетически хорошая форма! Ну, я рѣшительно не понимаю, почему лупить въ людей бомбами, правильною осадой, болѣе почтенная форма? Боязнь эстетики есть первый признакъ безскіи!.. Никогда, никогда яснѣе не сознавалъ я этого, какъ теперь, и болѣе чѣмъ когда-нибудь не понимаю моего преступленія! Никогда, никогда не былъ я сильнѣе и убѣжденнѣе, чѣмъ теперь!...“

Краска даже ударила въ его блѣдное, изнуренное лицо. Но проговаривая послѣднее восклицаніе, онъ печально встрѣтился взглядомъ съ глазами Дунини и столько, столько муки за себя встрѣтилъ онъ въ этомъ взглядѣ, что невольно опомнился. Онъ почувствовалъ, что все-таки сдѣлалъ несчастными этихъ двухъ бѣдныхъ женщинъ. Все-таки онъ-же причиной...

— „Дуня, милая! Если я виновенъ, прости меня (хоть меня и нельзя простить, если я виновенъ). Прощай! не будемъ спорить! Пора, очень пора. Не ходи за мной, умоляю тебя, мнѣ еще надо зайти... А поди теперь и тотчасъ-же сядь подлѣ матери. Умоляю тебя объ этомъ! Это послѣдняя, самая большая моя просьба къ тебѣ. Не отходи отъ нея все время; я оставилъ ее въ тревогѣ, которую она врядъ-ли перенесетъ: она или умретъ, или сойдетъ съ ума. Будь-же съ нею! Разумихинъ будетъ при васъ; я ему говорилъ... Не плачь обо мнѣ; я постараюсь быть и мужественнымъ, и честнымъ всю жизнь, хоть я и убійца. Можетъ быть, ты услышишь когда-нибудь мое имя. Я не осрамлю васъ, увидишь; я еще докажу... теперь покаместъ до свиданья,—поспѣшилъ онъ заключить, опять замѣтивъ какое-то странное выраженіе въ глазахъ Дуни при послѣднихъ словахъ и обѣщаніяхъ его. — Что-же ты такъ плачешь? Не плачь, не плачь, гдѣ же совсѣмъ-же расстаемся!.. Ахъ, да! Пстой, забылъ!..“

Онъ подошелъ къ столу, взялъ одну толстую, запыленную книгу, развернулъ ее и вынулъ заложенный между листами маленькій портретикъ, акварелью, на слоновой кости. Это былъ портретъ хозяйкиной дочери, его бывшей невесты, умершей въ горячкѣ, той самой страшной дѣвушки, которая хотѣла идти въ монастырь. Съ минуту онъ всматривался въ это выразительное и болѣзненное личико, поцѣловалъ портретъ и передалъ Дунечкѣ.

— „Вотъ съ нею я много переговорилъ и *объ этомъ*, съ нею одной,—произнесъ онъ вдумчиво,—ей сердцу я много сообщилъ изъ того, что потомъ такъ безобразно сбылось. Не безпокойся,—обратился онъ къ Дунѣ,—она не согласна была, какъ и ты, и я радъ, что ее ужъ нѣтъ. Главное, главное въ томъ, что все теперь пойдетъ по-новому, переломится на двое,—вскричалъ онъ вдругъ, опять возвращаясь къ тоскѣ своей,—все, все, а приготовленъ-ли я къ тому? Хочу-ли я этого самъ? Это, говорятъ, для моего испытанія пузно! Къ чему, къ чему все эти бессмысленныя испытанія? Къ чему они, лучше-ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками, идиотствомъ, въ старческомъ безсильи послѣ двадцатилѣтней каторги, чѣмъ теперь сознаю, и къ чему мнѣ тогда и жить? Зачѣмъ я теперь-то соглашаюсь такъ жить? О, я зналъ, что я подлецъ, когда я сегодня, на разсвѣтѣ, стоялъ надъ Невой!“

Оба наконецъ вышли. Трудно было Дунѣ, но она любила его! Она пошла, но отойдя шаговъ пятьдесятъ, обернулась еще разъ взглянуть на него. Его еще было видно. Но, дойдя до угла, обернулся и онъ; въ послѣдній разъ они встретились взглядами; но замѣтивъ, что она на него смотритъ, онъ нетерпѣливо и даже съ досадой махнулъ рукой, чтобъ она шла, а самъ круто повернулъ за уголъ.

„Я золь, я это вижу,—подумалъ онъ про себя, устыдись черезъ минуту своего досадливаго жеста рукой Дунѣ.—Но зачѣмъ-же онъ самъ меня такъ любитъ, если я не стою того! О, если-бъ я былъ одинъ и никто не любилъ меня, и самъ-бы я никого никогда не любилъ! *Не было-бы всего этого!* А любопытно, неужели въ эти будущія пятнадцать-двадцать лѣтъ такъ уже смирится душа моя, что я съ благоговѣніемъ буду хныкать предъ людьми,

называя себя ко всякому слову разбойником? Да, именно, именно! Для этого-то они и ссылают меня теперь, этого-то имъ и надобно... Вотъ они снуютъ всѣ по улицѣ взадъ и впередъ, и вѣдь всякій-то изъ нихъ подлецъ и разбойникъ уже по натурѣ своей; хуже того—идіотъ! А попробуй обойти меня ссылкой, и всѣ они взбѣсятся отъ благороднаго негодованія! О, какъ я ихъ всѣхъ ненавижу!“

Онъ глубоко задумался о томъ, „какимъ-же это процессомъ можетъ такъ произойти, что онъ наконецъ предъ всѣми ими уже безъ разсужденій смирится, убѣжденіемъ смирится? А что-жъ, почему-жъ и нѣтъ? Конечно, такъ и должно быть. Развѣ двадцать лѣтъ непрерывнаго гнета не добьются окончательно? Вода камень точитъ. И зачѣмъ, зачѣмъ-же жить послѣ этого, зачѣмъ я иду теперь, когда самъ знаю, что все это будетъ именно такъ какъ по книгѣ, а не иначе!“

Онъ уже въ сотый разъ, можетъ быть, задавалъ себѣ этотъ вопросъ со вчерашняго вечера, но все-таки шель.

Раскольниковъ у Сони. Онъ вошелъ въ ея комнату.

Радостный крикъ вырвался изъ ея груди. Но взглянувъ пристально въ его лицо, она вдругъ поблѣднѣла.

— „Ну, да!—сказалъ усмѣхаясь Раскольниковъ,—я за твоими крестами, Соня. Сама-же ты меня на перекрестокъ посылала; что-жъ теперь, какъ дошло до дѣла, и струсила?“

Соня въ изумленіи смотрѣла на него. Страненъ показался ей этотъ тонъ; холодная дрожь прошла-было по ея тѣлу, но чрезъ минуту она догадалась, что и тонъ и слова эти, все было напускное. Онъ и говорилъ-то съ нею, глядя какъ-то въ уголь и точно избѣгая заглянуть ей прямо въ лицо.

— „Я, видишь, Соня, разсудилъ, что этакъ, пожалуй, будетъ и выгодно. Тутъ есть обстоятельство... Ну, да долго рассказывать, да и нечего. Меня только, знаешь, что злитъ? Мнѣ досадно, что всѣ эти глупыя, звѣрскія хари обступаютъ меня сейчасъ, будутъ лить прямо на меня свои бурканы, задавать мнѣ свои глупые вопросы, на которые надобно отвѣчать, — будутъ указывать пальцами... Тыфу! Знаешь, я не къ Порфирію иду; надобно онъ мнѣ. Я лучше къ моему пріятелю Пороху пойду, то-то удивлю, то-то эффекта въ своемъ родѣ достигну. А надо-бы быть хладнокровнѣе; слишкомъ ужъ я желченъ сталъ въ послѣднее время. Вѣришь-ли, я сейчасъ погрозилъ сестрѣ чуть не кулакомъ за то только, что она обернулась въ послѣдній разъ взглянуть на меня. Свинство эдакое состояніе! Эхъ, до чего я дошелъ! Ну, что-же, гдѣ-же кресты?“

Онъ былъ какъ-бы самъ не свой. Онъ даже и на мѣстѣ не могъ устоять одной минуты, ни на одномъ предметѣ не могъ сосредоточить вниманія; мысли его перескакивали одна черезъ другую, онъ заговаривался; руки его слегка дрожали.

Соня молча вынула изъ ящика два креста, кипарисный и мѣдный, перекрестилась сама, перекрестила его и надѣла ему на грудь кипарисный крестикъ.

— „Это, значитъ, символъ того, что крестъ беру на себя, хе! хе! И точно я до сихъ поръ мало страдалъ!“

Чувство однако-жъ родилось въ немъ; сердце его сжалось, на нее глядя.—„Эта-то, эта-то чего?—думалъ онъ про себя,—я-то что ей? Чего она плачетъ, чего собираетъ меня, какъ мать или Дуня? Нянька будетъ моя!“

— „Перекрестись, помолись хоть разъ“,—дрожащимъ, робкимъ голосомъ попросила Соня.—„О, изволь, это сколько тебѣ угодно! И отъ чистаго сердца, Соня, отъ чистаго сердца...“

Ему хотѣлось, впрочемъ, сказать что-то другое.

Онъ перекрестился нѣсколько разъ.

[Раскольниковъ пошелъ на улицу].

Онъ вдругъ вспомнилъ слова Сони: „Поди на перекрестокъ, поклонись народу, поцѣлуй землю, потому что ты и предъ ней согрѣшилъ, и скажи всему міру вслухъ: „я убійца!“ Онъ весь задрожалъ, припомнивъ это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно послѣднихъ часовъ, что онъ такъ и ринулся въ возможность этого дѣльнаго, новаго, полнаго ощущенія. Какимъ-то припадкомъ оно къ нему вдругъ подступило: загорѣлось въ душѣ одною искрой и вдругъ, какъ огонь, охватило всего. Все разомъ въ немъ размягчилось, и хлынули слезы. Какъ стоялъ, такъ и упалъ онъ на землю.

Онъ сталъ на колѣни среди площади, поклонился до земли и поцѣловалъ эту грязную землю съ наслажденіемъ и счастьемъ. Онъ всталъ и поклонился въ другой разъ.

— „Ишь нахлестался!“—замѣтилъ подлѣ него одинъ парень.

Раздался смѣхъ.

— „Это онъ въ Іерусалимъ идетъ, братцы, съ дѣтьми, съ родиною прощается, всему міру поклоняется, столичный городъ Санктпетербургъ и его грунтъ лобызаетъ“, — прибавилъ какой-то пьяненькій изъ мѣщанъ. — „Парнишка еще молодой!“—вернулъ третій.—„Изъ благородныхъ!“—замѣтилъ кто-то солиднымъ голосомъ.—„Нонѣ ихъ не разберешь, кто благородный, кто нѣтъ“.

Всѣ эти отклики и разговоры сдержали Раскольникова и слова: „я убилъ“, можетъ быть готовившіяся слетѣть у него съ языка, замерли въ немъ Онъ спокойно однако-жъ вынесъ всѣ эти крики, и не озираясь пошелъ прямо черезъ переулокъ по направленію къ конторѣ. Одно видѣніе мелькнуло предъ нимъ дорогой, но онъ не удивился ему; онъ уже предчувствовалъ, что такъ и должно было быть. Въ то время, когда онъ, на Сѣнной, поклонился до земли въ другой разъ, оборотившись влѣво, пагахъ въ пятидесяти отъ себя, онъ увидѣлъ Соню. Она пряталась отъ него за однимъ изъ деревянныхъ барачковъ, стоявшихъ на площади, стало-быть, она сопровождала все его скорбное шествіе. Раскольниковъ почувствовалъ и понялъ въ эту минуту, разъ навсегда, что Соня теперь съ нимъ на-вѣки и пойдетъ за нимъ хоть на край свѣта, куда-бы ему ни вышла судьба. Все сердце его перевернулось... но—вотъ ужъ онъ и дошелъ до роковаго мѣста...

Раскольниковъ. [Онъ предалъ себя въ руки правосудія, былъ осужденъ

и отправленъ въ Сибирь въ каторжныя работы. Въ Сибири онъ переживалъ тяжелыя минуты, — ему казалось, что онъ сдѣлалъ глупость, покаявшись].

Теперь, уже въ острогѣ, *на свободѣ*, онъ вновь обсудилъ и обдумалъ всѣ прежніе свои поступки и совѣтъ не нашелъ ихъ такъ глупыми и безобразными, какъ казались они ему въ то роковое время, прежде.

„Чѣмъ, чѣмъ,—думалъ онъ,—моя мысль была глупѣ другихъ мыслей и теорій, роящихся и сталкивающихся одна съ другой на свѣтѣ, съ тѣхъ поръ какъ этотъ свѣтъ стоитъ? Стоитъ только посмотрѣть на дѣло совершенно независимымъ, широкимъ и избавленнымъ отъ обыденныхъ вліяній взглядомъ, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не такъ... странною. О, отрицатели и мудрецы въ пятачокъ серебра, зачѣмъ вы останавливаетесь на полдорогѣ!

„Ну, чѣмъ мой поступокъ кажется имъ такъ безобразенъ? — говорилъ онъ себѣ.—Тѣмъ, что онъ — злодѣяніе? Что значитъ слово злодѣяніе? Совѣсть моя спокойна. Конечно, сдѣлано уголовное преступленіе; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну, и возьмите за букву закона мою голову... и довольно! Конечно, въ такомъ случаѣ, даже многіе благодѣтели человѣчества, не наслѣдовавшіе власти, а сами ее захватившіе, должны-бы были быть казнены при самыхъ первыхъ своихъ шагахъ. Но тѣ люди вынесли свои шаги, и потому *они правы*, а я не вынесъ и стало-быть я не имѣлъ права разрѣшить себѣ этотъ шагъ“.

Вотъ въ чемъ одномъ признавалъ онъ свое преступленіе: только въ томъ, что не вынесъ его и сдѣлалъ явку съ повинною.

Онъ страдалъ тоже отъ мысли: зачѣмъ онъ тогда себя не убилъ? За-чѣмъ онъ стоялъ тогда надъ рѣкой и предпочелъ явку съ повинною? Неужели такая сила въ этомъ желаніи жить и такъ трудно одолѣть его? Одолѣлъ-же Свидригайловъ, боявшійся смерти?

Онъ съ мученіемъ задавалъ себѣ этотъ вопросъ и не могъ понять, что ужъ и тогда, когда стоялъ надъ рѣкой, можетъ быть, предчувствовалъ въ себѣ и въ убѣжденіяхъ своихъ глубокую ложь. Онъ не понималъ, что это предчувствіе могло быть предвѣстникомъ будущаго перелома въ жизни его, будущаго воскресенія его, будущаго новаго взгляда на жизнь.

Онъ скорѣе допускалъ тутъ одну только тупую тягость инстинкта, которую не ему было порвать и черезъ которую онъ опять-таки былъ не въ силахъ перешагнуть (за слабостью и ничтожностью). Онъ смотрѣлъ на каторжныхъ товарищей своихъ и удивлялся: какъ тоже всѣ они любили жизнь, какъ они дорожили ею! Именно, ему показалось, что въ острогѣ ее еще болѣе любятъ и цѣнятъ и болѣе дорожатъ ею, чѣмъ на свободѣ. Какіхъ страшныхъ мукъ и истязаній не перенесли нѣкоторые изъ нихъ, напримѣръ, бродяги? Неужели ужъ столько можетъ для нихъ значить одинъ какой-нибудь лучъ солнца, дремучій лѣсъ, гдѣ-нибудь въ невѣдомой глуши холодный ключъ, отмѣченный еще съ третьяго года и о свиданіи съ которымъ бродяга мечтаетъ какъ о свиданіи съ любовницей, видитъ его во снѣ, зеленую травку кругомъ его, поющую птичку въ кустѣ? Всмотриваясь дальше, онъ видѣлъ примѣры еще болѣе необъяснимые.

Въ острогѣ, въ окружающей его средѣ, онъ, конечно, многого не замѣчалъ, да и не хотѣлъ совсѣмъ замѣчать. Онъ жилъ какъ-то опустивъ глаза; ему омерзительно и невыносимо было смотрѣть. Но подъ-конецъ многое стало удивлять его, и онъ, какъ-то поневолѣ, сталъ замѣчать то, чего прежде и не подозрѣвалъ. Вообще-же и наиболѣе стала удивлять его та страшная, та непроходимая пропасть, которая лежала между нимъ и всѣмъ этимъ людомъ. Казалось, онъ и они были разныхъ націй. Онъ и они смотрѣли другъ на друга недоувѣрчиво и неприязненно. Онъ зналъ и пови-малъ общія причины такого разъединенія, но никогда не допускалъ онъ прежде, чтобъ эти причины были на самомъ дѣлѣ такъ глубоки и сильны.

Его-же самого не любили и избѣгали всѣ. Его даже стали подъ-конецъ ненавидѣть, почему? Онъ не зналъ того. Презирали его, смѣялись надъ нимъ, смѣялись надъ его преступленіемъ тѣ, которые были гораздо его преступнѣе.

— „Ты баринъ!—говорили ему. — Тебѣ-ли было съ топоромъ ходить; не барское вовсе дѣло“.

На второй недѣлѣ Великаго поста пришла ему очередь говѣть вмѣстѣ съ своею казармой. Онъ ходилъ въ церковь и молился вмѣстѣ съ другими. Изъ-за чего, онъ и самъ не зналъ того, произошла однажды ссора; всѣ разомъ напали на него съ остервененіемъ:

— „Ты безбожникъ! Ты въ Бога не вѣруешь!—кричали ему.— Убить тебя надо!“

Онъ никогда не говорилъ съ ними о Богѣ и о вѣрѣ, но они хотѣли убить его, какъ безбожника; онъ молчалъ и не возражалъ имъ. Одинъ каторжный бросился было на него въ рѣшительномъ изступленіи; Раскольниковъ ожидалъ его спокойно и молча: бровь его не шевельнулась, ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успѣлъ во-время стать между нимъ и убійцей, не то пролилась-бы кровь.

Не разрѣшивъ былъ для него еще одинъ вопросъ: почему всѣ они такъ полюбили Соню? Она у нихъ не заискивала; встрѣчали они ее рѣдко, иногда только на работахъ, когда она приходила на одну минутку, чтобы повидать его. А между тѣмъ всѣ уже знали ее, знали и то, что она за нимъ послѣдовала, знали, какъ она живетъ, гдѣ живетъ. Денегъ она имъ не давала, особенныхъ услугъ не оказывала. Разъ только, на Рождествѣ, принесла она на весь острогъ подавнѣе: пироговъ и казачей. Но мало-по-малу между ними и Соней завязались нѣкоторые болѣе близкія отношенія: она писала имъ письма къ ихъ роднымъ и отправляла ихъ на почту. Ихъ родственники и родственницы, пріѣзжавшіе въ городъ, оставляли, по указанію ихъ, въ рукахъ Сони вещи для нихъ и даже деньги. Жены ихъ и любовницы знали ее и ходили къ ней. И когда она являлась на работахъ, приходи къ Раскольникову, или встрѣчалась съ партіей арестантовъ, идущихъ на работы, всѣ снимали шапки, всѣ кланялись: „Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша, нѣжная, болѣзная!“—говорили эти грубые клейменые каторжные этому маленькому и худенькому созданію. Она улыбалась и откланивалась, и всѣ они любили, когда она имъ улыбалась. Они любили даже

ея походку, оборачивались посмотреть ей въ слѣдъ, какъ она идетъ, и хвалили ее; хвалили ее даже за то, что она такая маленькая, даже ужъ не знали, за что похвалить. Къ ней даже ходили лѣчиться.

Онъ пролежалъ въ больницѣ весь конецъ поста и Святую. Уже выздоравливая, онъ припомнилъ свои сны, когда еще лежалъ въ жару и бреду. Ему грезилось въ болѣзни, будто весь міръ осужденъ въ жертву какой-то страшной, несыханной и невиданной моровой язвѣ, идущей изъ глубины Азіи на Европу. Всѣ должны были погибнуть, кромѣ нѣкоторыхъ, весьма немногихъ, избранныхъ. Появились какія-то новыя трихины, существа микроскопическія, вселившіяся въ тѣла людей. Но эти существа были духи, одаренные умомъ и волей. Люди, принявшіе ихъ въ себя, становились тотчасъ-же бѣсноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такъ умными и непоколебимыми въ истинѣ, какъ считали эти зараженные. Никогда не считали непоколебимѣе своихъ приговоровъ, своихъ научныхъ выводовъ, своихъ нравственныхъ убѣжденій и вѣрованій. Цѣлыя селенія, цѣлые города и народы заражались и сумасшествовали. Всѣ были въ тревогѣ и не понимали другъ друга, всякій думалъ, что въ немъ одномъ заключается истина, и мучился, глядя на другихъ, билъ себя въ грудь, плакалъ и ломалъ себѣ руки. Не знали, кого и какъ судить, не могли согласиться что считать зломъ, что добромъ. Не знали кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали другъ друга въ какой-то бессмысленной злобѣ. Собирались другъ на друга цѣлыми арміями, но арміи, уже въ походѣ, вдругъ начинали сами терзать себя, ряды разстраивались, воины бросались другъ на друга, кололись и рѣзались, кусали и ѣли другъ друга. Въ городахъ цѣлый день били въ набатъ: созывали всѣхъ, но кто и для чего зоветъ, никто не зналъ того, а всѣ были въ тревогѣ. Оставили самыя обыкновенныя ремесла, потому что всякій предлагалъ свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледѣліе. Кое-гдѣ люди сбѣгались въ кучи, соглашались вмѣстѣ на что-нибудь, клялись не разставаться, но тотчасъ-же начинали что-нибудь совершенно другое, чѣмъ сейчасъ-же сами предполагали, начинали обвинять другъ друга, дрались и рѣзались. Начались пожары, начался голодъ. Всѣ и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спасти въ всемъ мірѣ могли только нѣсколько человѣкъ, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый родъ людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигдѣ не видалъ этихъ людей, никто не слышалъ ихъ слова и голоса.

Раскольниковъ мучило то, что этотъ бессмысленный бредъ таеъ грустно и такъ мучительно отзывается въ его воспоминаніяхъ, что такъ долго не проходитъ впечатлѣніе этихъ горячечныхъ грезъ. Шла уже вторая недѣля послѣ Свѣтой; стояли теплыя, ясныя, весенніе дни; въ арестантской палатѣ отворили окна (рѣшетчатая, подъ которыми ходилъ часовой). Соня, во все время болѣзни его, могла только два раза его навѣстить въ палатѣ; каждый разъ надо было испрашивать разрѣшенія, а это было трудно. Но она часто приходила на госпитальный дворъ, подъ окна, особенно подъ вечеръ, а иногда такъ только, чтобы постоять на дворѣ минутку и хотъ издали

посмотрѣть на окна палаты. Однажды, подѣ вечерѣ, ужъ совсѣмъ почти выздоровѣвшій Раскольниковъ заснулъ; проснувшись, онъ нечаянно подошелъ къ окну и вдругъ увидѣлъ вдали, у госпитальныхъ воротъ, Соню. Она стояла и какъ-бы чего-то ждала. Что-то какъ-бы пронзило въ ту минуту его сердце; онъ вздрогнулъ и поскорѣе отошелъ отъ окна. Въ слѣдующій день Соня не приходила, на третій день тоже; онъ замѣтилъ, что ждетъ ея съ безпокойствомъ. Наконецъ его выписали. Придя въ острогъ, онъ узналъ отъ арестантовъ, что Софья Семеновна заболѣла, лежитъ дома и никуда не выходитъ.

Онъ былъ очень безпокоенъ, посылалъ о ней справляться. Скоро узналъ онъ, что болѣзнь ея не опасна. Узнавъ въ свою очередь, что онъ объ ней такъ тоскуетъ и заботится, Соня прислала ему записку, написанную карандашомъ, и увѣдомляла его, что ей гораздо легче, что у ней пустая легкая простуда, и что она скоро, очень скоро, придетъ повидаться съ нимъ на работу. Когда онъ читалъ эту записку, сердце его сильно и больно билось.

День опять былъ ясный и теплый. Раннимъ утромъ, часовъ въ шесть, онъ отправился на работу, на берегъ рѣки, гдѣ въ сараѣ устроена была обжигательная печь для алебаstra и гдѣ толкли его. Отправилось туда всего три работника. Одинъ изъ арестантовъ взялъ конвойнаго и пошелъ съ нимъ въ крѣпость за какимъ-то инструментомъ; другой сталъ изготавлять дрова и накладывать въ печь. Раскольниковъ вышелъ изъ сарая на самый берегъ, сѣлъ на складенныя у сарая бревна и сталъ глядѣть на широкую и пустынную рѣку. Съ высокаго берега открывалась широкая окрестность. Съ дальняго другого берега чуть слышно доносилась нѣсня. Тамъ, въ облитой солнцемъ необозримой степи, чуть примѣтными точками, чернѣлись кочевыя юрты. Тамъ была свобода, и жили другіе люди, совсѣмъ не похожіе на здѣшнихъ, тамъ какъ-бы само время остановилось, точно не прошли еще вѣки Авраама и стада его. Раскольниковъ сидѣлъ, смотрѣлъ неподвижно, не отрываясь; мысль его переходила въ грезы, въ созерцаніе; онъ ни о чемъ не думалъ, но какая-то тоска волновала его и мучила.

Вдругъ подлѣ него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и сѣла съ нимъ рядомъ. Было еще очень рано; утренній холодокъ еще не смягчился. На ней былъ ея бѣдный, старый бурнусъ и зеленый платокъ. Лицо ея еще носило признаки болѣзни, похудѣло, поблѣднѣло, осунулось. Она привѣтливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновенію, робко протянула ему свою руку.

Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсѣмъ, какъ-бы боялась, что онъ оттолкнетъ ее. Онъ всегда какъ-бы съ отвращеніемъ бралъ ея руку, всегда точно съ досадой встрѣчалъ ее, иногда упорно молчалъ во все время ея посѣщенія. Случалось, что она трептала его и уходила въ глубокой скорби. Но теперь ихъ руки не разнимались; онъ мелькомъ и быстро взглянулъ на нее, ничего не выговорилъ и опустилъ свои глаза въ землю. Они были одни, ихъ никто не видѣлъ. Конвойный на ту пору отворотился.

Какъ это случилось, онъ и самъ не зналъ, но вдругъ что-то какъ-бы

подхватило его и какъ-бы бросило къ ея ногамъ. Онъ плакалъ и обнималъ ея колѣни. Въ первое мгновеніе она ужасно испугалась, и все лицо ея помертвѣло. Она вскочила съ мѣста и, задрожавъ, смотрѣла на него. Но тотчасъ-же, въ тотъ-же мигъ она все поняла. Въ глазахъ ея засвѣтилось безконечное счастье; она поняла, и для нея уже не было сомнѣнія, что онъ любить, безконечно любить ее, и что настала-же наконецъ эта минута...

Они хотѣли было говорить, но не могли. Слезы стояли въ ихъ глазахъ. Они оба были блѣдны и худы, но въ этихъ больныхъ и блѣдныхъ лицахъ уже сіяла заря обновленнаго будущаго, полного воскресенія въ новую жизнь. Ихъ воскресила любовь, сердце одного заключало безконечныя источники жизни для сердца другого.

Они положили ждать и терпѣть. Имъ осталось еще семь лѣтъ, а до тѣхъ поръ столько нестерпимой муки и столько безконечнаго счастья! Но онъ воскресъ, и онъ зналъ это, чувствовалъ вполне всѣмъ обновившимся существомъ своимъ, а она—она вѣдь и жила только одною его жизнью!

Вечеромъ того-же дня, когда уже заперли казармы, Раскольниковъ лежалъ на парахъ и думалъ о ней. Въ этотъ день ему даже показалось, что какъ будто всѣ каторжные, бывшіе враги его, уже глядѣли на него иначе. Онъ даже самъ заговаривалъ съ ними, и ему отвѣчали ласково. Онъ припомнилъ теперь это, но вѣдь такъ и должно было быть: развѣ не должно теперь все измѣниться?

Онъ думалъ объ ней. Онъ вспомнилъ, какъ онъ постоянно ее мучилъ и терзалъ ея сердце; вспомнилъ ея блѣдное, худенькое личико, но его почти и не мучили теперь эти воспоминанія: онъ зналъ какою безконечною любовью искупить онъ теперь всѣ ея страданія.

Да и что такое эти всѣ, *всѣ* муки прошлаго! Все, даже преступленіе его, даже приговоръ и ссылка, казались ему теперь, въ первомъ порывѣ, какимъ-то виѣшнимъ, страннымъ, какъ-бы даже и не съ нимъ случившимся фактомъ. Онъ, впрочемъ, не могъ въ этотъ вечеръ долго и постоянно о чемъ-нибудь думать, сосредоточиться на чемъ-нибудь мыслью; да онъ ничего-бы и не разрѣшилъ теперь сознательно; онъ только чувствовалъ. Въмѣсто діалектики наступила жизнь, и въ сознаніи должно было выработаться что-то совершенно другое.

Подъ подушкой его лежало Евангеліе. Онъ взялъ его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, изъ которой она читала ему о воскресеніи Лазаря. Въ началѣ каторги онъ думалъ, что она замучитъ его религіей, будетъ заговаривать о Евангеліи и навязывать ему книги. Но къ величайшему его удивленію она ни разу не заговаривала объ этомъ, ни разу даже не предложила ему Евангелія. Онъ самъ попросилъ его у ней незадолго до своей болѣзни, и она молча принесла ему книгу. До сихъ поръ онъ ее и не раскрывалъ.

Онъ не раскрывъ ее и теперь, но одна мысль промелькнула въ немъ: „развѣ могутъ ея убѣжденія не быть теперь и моими убѣжденіями? Ея чувства, ея стремленія, по крайней мѣрѣ...“

Она тоже весь этотъ день была въ волненіи, а въ ночь даже опять

захворала. Но она была до того счастлива и до того неожиданно счастлива, что почти испугалась своего счастья. Семь лѣтъ, *только* семь лѣтъ! Въ началѣ своего счастья, въ инныя мгновенія, они оба готовы были смотрѣть на эти семь лѣтъ, какъ на семь дней. Онъ даже и не зналъ того, что новая жизнь не даромъ же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великимъ, будущимъ подвигомъ...

Но тутъ ужъ начинается новая исторія, исторія постепеннаго обновленія чловѣка, исторія постепеннаго перерожденія его, постепеннаго перехода изъ одного міра въ другой, знакомства съ новою, доселѣ совершенно незнакомою дѣйствительностью. Это могло-бы составить тему новаго разсказа, но теперешній разсказъ нашъ оконченъ.

Ф. Достоевскій.

2004

2005

2006

2007

Всего 1000 000

(Курс 100)

Курс 100 000 000

100 000 000 + -

100 000 000 000

100 000 000 + -

100 000 000 000

100 000 000 000

100 000 000 000

100 000 000 000

100 000 000 000

100 000 000 000

100 000 000 000

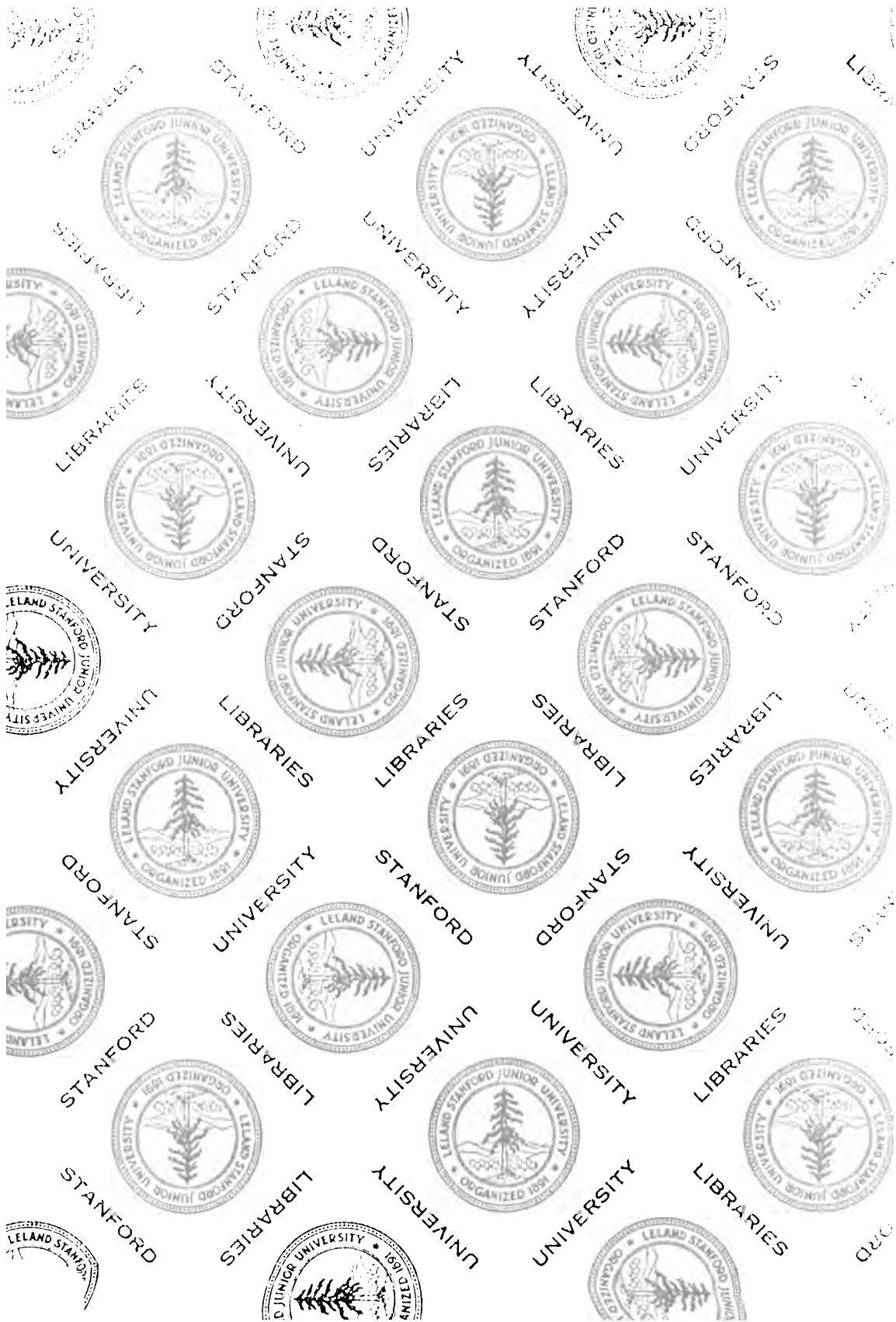
100 000 000 000

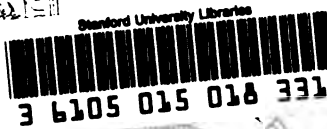
100 000 000 000

100 000 000 000

100 000 000 000

100 000 000 000





PG
3201
558
v.3
pt.2

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

NOV 1961

